

ВОШЛИМЕ КНИГУ

Арчибальд
Кронин



ЗВЕЗДЫ
СМОТРЯТ
ВНИЗ

«ИНОСЕРБИЯ»

Звезды смотрят вниз

Замок Броуди

Цитадель

Памятник крестоносцу

Три любви

Ключи Царства

Юные годы

**Песенка в шесть пенсов
и карман пшеницы**

Путь Шеннона

Арчибальд
Кронин

ЗВЕЗДЫ
СМОТРЯТ ВНИЗ



Издательство «Иностранка»
МОСКВА

УДК 821.111
ББК 84(4Вел)-44
К 83

A.J. Cronin
THE STARS LOOK DOWN
Copyright © A.J. Cronin, 1935
All rights reserved

Перевод с английского Марии Абкиной

Серийное оформление Вадима Пожидаева

Оформление обложки Валерия Гореликова

Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».

ISBN 978-5-389-17296-8

© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа
„Азбука-Аттикус“», 2019
Издательство Иностранка®

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



I

Когда Марта проснулась, было еще темно и очень холодно. Ледяной ветер с Северного моря врвался сквозь трещины в стенах, образовавшиеся от постепенного оседания этого старого домика из двух комнат. Вдалеке глухо шумел прибой. Больше ничто не нарушало тишины.

Марта лежала не шевелясь, отодвинувшись подальше от Роберта, который всю ночь кашлял и метался, часто прерывая ее сон. Минуту-другую она размышляла, с суровым терпением встречая наступающий день и стараясь подавить в себе чувство горькой обиды на мужа. Наконец с трудом поднялась с постели.

Каменный пол леденил ее босые ноги. Она торопливо, хотя и через силу, одевалась. В ее движениях сказывалась энергия крепкой женщины, которой не было еще и сорока лет. Тем не менее одевание так утомило ее, что она задышалась. Марта не была голодна, — с некоторого времени она почему-то перестала ощущать сильный голод, — но ее мучила нестерпимая тошнота. Дотаскившись до раковины, она открыла кран. Вода не шла. Трубы замерзли.

Марта словно оторопела на мгновение — стояла, прижав огрубевшую руку к вздутому животу и глядя в окно на медленно занимающуюся зарю. Внизу ряд за рядом вырисовывались в тумане дома шахтеров; справа чернел город Слискейл, за ним — гавань, где мерцал один-единственный холодный огонек, а дальше — море, еще более холодное. Слева застывший силуэт копра над шахтой «Нептун № 17», напоминавший виселицу, выступал на фоне бледного утреннего неба, царил над городом, гаванью и морем.

Морщина на лбу Марты обозначилась резче. Вот уже три месяца тянется забастовка... Словно спасаясь от мыслей об этой беде, она круто отвернулась от окна и принялась разводиться огонь.

Нелегкая задача! У нее были только сырые дрова, которые Сэмми вчера выловил из воды у берега, да немного угольной мелочи самого худшего сорта — ее принес Гюи с отвала. Марту Фенвик бесило, что ей, которая, как и подобает жене углекопа, всегда имела запас наилучшего угля, приходится теперь возиться с таким мусором. Но в конце концов ей удалось развести огонь. Она вышла за дверь, одним сердитым ударом разбила лед в кадке, наполнила водой чайник и, воротясь в кухню, поставила его на огонь.

Ждать пришлось долго. Но наконец вода закипела, и Марта, налив себе чашку, примостилась у огня, сжимая ее обеими руками и медленно прихлебывая кипяток. Он ее согрел, по онемевшему телу разлилась живительная теплота. Конечно, напиток чаю было бы еще приятнее — с чаем ничто, ничто не может сравниться, — но и кипяток неплох. Марта чувствовала, что приходит в себя. Пламя, охватив сырые дрова, вспыхнуло ярче и осветило клочок старой газеты, оставшийся от растопки и лежавший на глиняном очаге. Продолжая пить из чашки горячую воду, Марта машинально прочла:

«М-р Кейр Харди внес в палату общин запрос: предполагает ли правительство, ввиду крайней нужды среди населения северных районов, предоставить школам возможность организовать питание детей неимущих родителей? На это получен ответ, что правительство не намерено предоставить такую возможность».

Лицо Марты, исхудавшее до костей, не выразило ничего — ни интереса, ни возмущения. Оно было непроницаемо, как сама смерть.

Вдруг она обернулась. Так и есть, Роберт проснулся. Он лежал на боку в знакомой позе, подперев щеку рукой, и смотрел на нее. Сразу же вся накопившаяся горечь снова поднялась в душе Марты. Во всем, во всем, во всем виноват он! В эту минуту Роберт закашлялся; она знала, что он все время пытался удержать кашель из страха перед ней. Это был глубокий, тихий, привычный кашель, в нем не было ничего раздражающего. Кашель этот был как будто неотделим от Роберта, — он его не мучил, он одолевал его как-то мягко, почти ласково. Рот его наполнился мокротой. Приподнявшись на локте, Роберт выплюнул ее в клочок бумаги. Он постоянно заготавливал такие квадратики, старательно, заботливо вырезая их из журнала «Тит-Битс» старым кухонным ножом с костяной ручкой. Запас их у него никогда не пере-

водился. Он отхаркивал мокроту в такую бумажку, рассматривал ее, потом складывал и сжигал... сжигал с чувством облегчения. Лежа в постели, он бросал эти сложенные бумажки на пол и сжигал позже, когда вставал.

В Марте внезапно проснулась ненависть к мужу, к этому постоянному кашлю... Тем не менее она поднялась, снова наполнила чашку кипятком и отнесла ему. Роберт молча взял чашку из ее рук.

Стало светлее. Часов в комнате теперь не было, они первыми были заложены — эти мраморные, с башенкой, приз, полученный ее отцом за игру в шары. Да, отец был славный человек и настоящий атлет!

Марта решила, что уже, должно быть, около семи. Она обернула шею чулком Дэвида, надела суконную кепку мужа, перешедшую теперь в ее собственность, и потрепанное черное пальто. Вот это уж, во всяком случае, приличная вещь — ее черное суконное пальто! Она не из тех, что ходят в накинутом на плечи платке, нет! Она всегда была и будет одета, как подобает приличной женщине, несмотря ни на что. Она всю жизнь старалась быть «приличной».

Не сказав ни слова, не взглянув на мужа, она вышла на этот раз через парадный ход и, закрывая лицо от резкого ветра, направилась вниз, в город, по крутому спуску Каупен-стрит.

Было еще холоднее, чем вчера, ужасно холодно. Террасы пустынные, нигде ни души. Марта миновала трактир «Привет», потом Миддльриг, прошла мимо безлюдной лестницы клуба шахтеров, покрытой замерзшими плевками — следы, оставшиеся от последнего собрания, как остается на берегу пена после прилива. На стене было написано мелом: «Общее собрание в три часа». Это написал Чарли Гоулен — тот, что работает контролером у весов, здоровенный шалопаи и забулдыга.

Марта дрожала от холода и старалась идти быстрее, но не могла. Ребенок, которого она носила в себе, лежал внутри свинцовым грузом, еще не шевелясь, мешал двигаться, тянул вниз, пригибал к земле. Беременна! В такое время!.. У нее три взрослых сына: Дэвиду, самому младшему, уже скоро пятнадцать... Попасться таким образом! Она сжала кулаки. Негодование закипело в ней. А все он, Роберт... приходит домой пьяный и молча, упрямо делает с ней, что хочет.

Почти все лавки в городе были заперты. Многие закрылись совсем. Даже кооперативная. Но Марта не унывала. В ее кошельке сохранилась еще медная монета в два пенса. На эти два пенса она накупит всего вдоволь. Конечно, к Мастерсу идти бесполезно: вот уже два дня, как он держит на запоре свою лавку, битком набитую закладами, среди которых имеются и ее ценные вещи. Три медных шарика над его дверью позвякивают безнадежно. То же самое у Мэрчисона, и у Доббса, и у Бэйтса — все они закрыли свои лавки, все боятся, до смерти боятся, как бы не случилось беды.

Марта свернула на Лам-стрит, перешла через дорогу, спустилась узким переулком к бойне. Когда она подошла ближе, лицо ее просветлело: Хоб был здесь. В жилетке поверх рубахи и в кожаном фартуке, он подметал залитый бетоном двор.

— Найдется что-нибудь сегодня, Хоб? — Голос ее звучал робко, и она стояла не двигаясь, ожидая, пока он обратит на нее внимание.

Он отлично ее видел, но продолжал, не поднимая головы, сгнать метлой грязную воду с плит. От его мокрых красных рук шел пар. Марта терпеливо дожидалась. Хоб молодчина. Хоб знает ее, он сделает для нее, что может. Она стояла и ждала.

— Нет ли обрезочков, Хоб?

Она просила немногого — какой-нибудь никому не нужный кусок или потроха, которые обычно выбрасывались.

Хоб наконец прервал свою работу и, не глядя на Марту, сказал отрывисто и сердито, потому что ему было неприятно отказывать ей:

— Ничего сегодня нет.

Она смотрела ему в лицо:

— Ничего?

Он покачал головой:

— Ничего! Ремедж приказал нам заколоть весь скот еще вчера вечером, в шесть часов, и все свезти в лавку. Он, должно быть, узнал, что я раздаю кости. Он мне чуть голову не оторвал!

Марта закусила губы. И так, значит, Ремедж отнял у них надежду поесть супу или жареной печенки. Она стояла расстроенная. Хоб с ожесточением орудовал метлой.

Марта шла обратно задумавшись, постепенно ускоряя шаг, — снова переулком, потом по Лам-стрит до гавани. Она с первого взгляда увидела, что и здесь нет надежды достать хотя бы се-

ледку. Ветер раздувал ее платье, но она стояла неподвижно. Изможденное лицо выражало теперь полное смятение. Не раздобыть и селедки! А она было уже решилась обратиться за подачкой к Мэйсерам. Но «Энни Мэйсер» стояла среди других лодок, выстроившихся в ряд за молом, с убранными, нетронутыми сетями. «Это все из-за погоды», — подумала Марта уныло, блуждая взглядом по грязным бурлящим волнам. Ни одна лодка не вышла сегодня в море.

Она медленно повернулась и с поникшей головой зашагала обратно в город. На улицах теперь было больше народу, город оживал, несколько телег с грохотом катилось по мостовой. Прошел Харкнесс из школы на Бетель-стрит, человек с острой бородкой, в золотых очках и в теплом пальто; пробежало несколько работников канатного завода в деревянных башмаках; клерк, дуя на окоченевшие пальцы, торопился в канцелярию городского магистрата. Все они старались не замечать Марту, избегали ее взгляда. Они не знали, кто эта женщина, но они знали, что она с Террас, откуда шла беда, та напасть, что обрушилась на весь город и длилась вот уже три месяца. Едва волоча ноги, Марта стала взбираться на холм.

У булочной Тисдэйла стоял запряженный фургон, в который грузили хлеб для развозки. Сын хозяина, Дэн Тисдэйл, бегал из пекарни на улицу и обратно с большой корзиной на плече, наполненной свежеспеченными хлебами. Когда Марта поравнялась с булочной, у нее дух захватило от вкусного аромата горячего, свежего хлеба, шедшего из подвала, где помещалась пекарня. Она инстинктивно остановилась. Она была близка к обмороку — так сильно ей захотелось хлеба. В эту минуту Дэн вышел на улицу с полной корзиной. Он увидел Марту, увидел и голодное выражение ее лица. Дэн побледнел: что-то похожее на ужас омрачило его глаза. Недолго думая, он схватил хлеб и бросил его Марте в руки.

Она ни слова не вымолвила, но от благодарности чуть не заплакала. Туман застилал ей глаза. Она продолжала свой путь вверх по Каупен-стрит и потом по Севастопольской улице. Марте всегда нравился Дэн, славный парень, который работал в шахте «Нептун», потому что это освобождало от военной службы, а с тех пор, как началась забастовка, помогал отцу развезить в фургоне хлеб. Он часто болтал с ее сыном Дэви.

Немного запыхавшись после крутого подъема, Марта добралась до дверей своего дома и уже взялась было за ручку.

— Знаете, у миссис Кинч заболела Элис, — остановила Марту Ханна Брэйс, ее ближайшая соседка.

Марта покачала головой: всю последнюю неделю дети на Террасах один за другим заболевали воспалением легких.

— Передайте миссис Кинч, что я забегу к ней попозже, — сказала она и вошла к себе.

Все четверо — Роберт и трое сыновей — уже встали, оделись и собрались вокруг огня. Как и всегда, глаза Марты первым делом обратились к Сэмми. Он улыбнулся ей, не разжимая губ, подкупающей улыбкой, от которой его голубые глаза, глубоко посаженные под шишковатым лбом, превращались в едва видимые щелочки. В улыбке Сэма сквозила беспредельная уверенность в себе. Он был старший сын и любимец Марты и, несмотря на свои девятнадцать лет, работал уже забойщиком в шахте «Нептун».

— Эге, гляди-ка! — Сэм подмигнул Дэвиду. — Гляди, какова у нас мамаша! Ходила, ходила до тех пор, пока не подцепила где-то целую буханку для тебя!

Дэви в своем углу кротко улыбнулся; это был худенький, тихий и бледный мальчик с серьезным и упрямым выражением продолговатого лица. Когда он наклонился к огню, на спине его резко выступили лопатки; большие темные глаза всегда глядели пытливо и строго, но сейчас их взгляд немного смягчился. Дэвиду было четырнадцать лет, он работал под землей в «Нептуне» на участке «Парадиз» в качестве коногона, по девяти часов в смену, в настоящее же время бастовал и был порядком голоден.

— Что вы на это скажете, ребята? — продолжал Сэм. — Дядя Сэмми тренируется для роли «живого скелета», теряет в весе шестьдесят кило за две недели, потому что выполняет «Советы полным дамам» и проходит курс лечения от тучности. А тут мамаша является домой с таким угощением! Тяжелая задача для Сэмми, не так ли, Гюи, парнишка?

Марта сдвинула темные брови:

— Скажи спасибо, что хоть это достала. — И принялась резать хлеб на ломти.

Все следили за ней как зачарованные. Даже Гюи, занятый починкой своих старых футбольных башмаков, и тот поднял глаза. А чтобы отвлечь мысли Гюи от футбола, требовалось немаловаж-

ное событие. Гюи был прямо-таки помешан на футболе. Он был «центральный нападающий» футбольной команды — это в семнадцать лет, заметьте! — и посвящал ей все то время, когда не был занят откаткой вагонеток в «Парадизе» в шахте «Нептун».

Гюи редко находил, что сказать. Он был молчалив, еще молчаливее, чем его отец. Он ничего не ответил Сэму, но тоже не отрывал глаз от хлеба.

— Ах, извини, мама. — Сэмми вскочил и взял из рук Марты тарелку с нарезанным хлебом. — И о чем я только думаю! Совсем забыл правила хорошего тона. «Разрешите мне...» — как сказал герцог в великолепном мундире тайнсайских гусар. — И Сэм поднес тарелку отцу.

Роберт взял один ломтик, посмотрел на него, потом на Марту:

— Это из попечительства?¹ Если от них, то я не стану есть.

Их взгляды скрестились.

Он повторил упавшим голосом:

— Я тебя спрашиваю: откуда хлеб? Из попечительства или нет?

Марта все еще смотрела на него, думая о том, каким безумством с его стороны было ухлопать все их сбережения на эту забавку. Она ответила:

— Нет.

— Господи, да не все ли равно? — с шумной веселостью вмешался Сэм. — Никто из нас не откажется его есть, я полагаю. — Он выдержал взгляд отца все с той же дерзкой веселостью. — Нечего так смотреть на меня, папа. Всему бывает конец. И я не заплачу, когда это кончится. Я хочу работать, а не сидеть сложа руки и дожидаться, пока мать добудет какую-нибудь жратву. — Он обратился к Дэви: — Прошу вас, граф, возьмите кусок этой мочалы! Не сомневайтесь! Уверяю вас, единственное, что может случиться, это то, что вас стошнит...

Марта вырвала тарелку из его рук:

— Я не люблю таких шуток, Сэмми! Нечего хаять хорошую пищу!

Она сердито хмурилась, говоря это, но все же дала Сэму самый большой ломоть, другой протянула Гюи, а себе оставила самый маленький.

¹ Попечительство о бедных.

II

Десять часов. Дэвид взял шапку, вышел из дому и побрел по неровно осевшей мостовой Инкерманской улицы. Все улицы шахтерского поселка в Слискейле носили названия тех мест Крыма, где были некогда одержаны славные победы. Главная улица — та, на которой жил Дэвид, — называлась Инкерманской, соседняя — Альминской, под ней шла Севастопольская, а в самом низу, где жил Джо, — Балаклавская. Дэвид направился к Джо, в надежде, что тот пойдет с ним погулять.

Ветер утих, и неожиданно выглянуло солнце. Обилие яркого света радовало мальчика, хотя он и слепил не привыкшие к нему глаза. Дэвид работал в шахте и зимой часто не видел солнца по многу дней подряд: когда он утром спускался в шахту, было еще темно, и в такой же темноте он вечером поднимался наверх.

А сегодня день, хотя и холодный, ярко сиял, наполняя все существо Дэвида какой-то необычайной радостью и смутными воспоминаниями о тех редких случаях, когда отец отправлялся удить рыбу на Уонсбек и брал его с собой. Мрак и грязь шахты оставались далеко позади, вокруг зеленел орешник и журчала чистая, прозрачная вода... «Гляди, гляди, папа!» — вскрикивал он, когда его восхищенный взгляд встречал целую полянку раннего первоцвета.

Дэвид свернул на Балаклавскую.

Подобно другим улицам шахтеров, она имела в длину всего каких-нибудь пятьсот ярдов. Здесь было царство почерневших от грязи и копоти каменных домов, испещренных безобразными белыми шрамами в тех местах, где были залиты известкой самые большие или свежие трещины. Четырехугольные трубы, полуразвалившиеся, покривившиеся, походили на пьяных. Длинный ряд крыш из-за оседания домов тянулся волнообразной линией, напоминая море в бурную погоду. Дворы были обнесены заборами, сооруженными из чего попало: сгнивших железнодорожных шпал, кольев, ржавого рифленого железа; за заборами навалены кучи пустой породы и шлака. В каждом дворе была общая уборная, и в каждой такой уборной стоял железный бак. Уборные были похожи на сторожевые будки между рядами домов, а в конце каждого ряда беспорядочно громоздились разные службы, выстроенные кое-как на неровной земле, рядом с голыми участками рельсовых путей. Шахта «Нептун № 17» была расположена при-

близительно посредине, а за ней простирался кочковатый, весь изрезанный канавками унылый пустырь «Снук». Пустырь окаймляли старые выработки «Нептуна», заброшенные сотню лет назад. На «Снук» выходило зияющее устье старой шахты Скаппер-Флетс. На плоской равнине далеко вокруг не видно было ничего, кроме труб, отвалов, надшахтных копров — всего, что связано с копами. Развешанное на веревках белье с прямо-таки оскорбительной резкостью выделялось сочными голубыми и алыми тонами на унылом грязно-сером фоне этого места. Белье на веревках придавало всей картине какую-то своеобразную мрачную красоту.

Дэвиду все здесь было хорошо знакомо. Он и раньше находил в этом мало привлекательного, а теперь — меньше, чем когда бы то ни было. Над длинным рядом прижатых друг к другу унылых жилищ словно нависла атмосфера апатии и безнадежности. Несколько шахтеров — Боксер Лиминг, Кикер Хау, Боб Огль и другие, весь кружок завязтых картежников, — сидели на корточках у стены. Они теперь не играли в карты, потому что у них не было ни гроша медного, и сидели молча, просто так, от нечего делать. Боб Огль, работавший в «Парадизе» в первой смене, кивком поздоровался с Дэви, поглаживая узкую голову своей гончей. Лиминг промолвил:

— Здорово, Дэви.

Дэвид ответил:

— Здорово, Боксер.

Остальные с интересом посматривали на Дэвида, так как он был сыном Роберта, зачинщика забастовки. Перед ними стоял бледный мальчик в грубошерстном костюме, из которого он давно вырос, с бумажным шарфом на шее, в тяжелых шахтерских башмаках на деревянной подошве (хорошие были заложены), с давно не стриженными волосами и большими рабочими руками, по-детски тонкими в запястье.

Он чувствовал на себе любопытные взгляды, но, спокойно выдержав их, с высоко поднятой головой зашагал к дому № 19, где жил Джо. На воротах этого дома была вкось и вкривь намалевана вывеска: «Агент по продаже велосипедов. Похоронное бюро. Даются обеды». Дэвид вошел.

Джо и его отец, Чарли Гоулен, завтракали: на деревянном некрашеном столе стояли горшок, полный холодного паштета, большой коричневый чайник, открытая жестянка со сгущенным мо-

локом и неровно початый каравай хлеба. Беспорядок на столе был невообразимый. Такой же хаос царил во всей квартире из двух комнат — грязь, куча всяких съестных припасов, треск огня, разбросанная повсюду одежда, невымытая посуда, запах неопрятного жилья, пива, сала, пота — и во всем неряшливый, убогий комфорт.

— Алло, мальчик, как поживаешь?

Чарли Гоулен сидел в ночной сорочке, заправленной в брюки с незастегнутыми, свисавшими на толстый живот подтяжками, в ковровых домашних туфлях на босу ногу. Отправив в свой большой рот громадный кусок мяса, он помахал могучим красным кулаком, в котором держал нож, и приветливо закивал Дэвиду. Чарли был неизменно приветлив, всегда и со всеми; да, этот Большой Чарли, контролер-весовщик в «Нептуне», был, что называется, душа человек. Он ладил с рабочими, ладил и с Баррасом. Он был на все руки мастер — сам хозяйничал, так как жена его умерла три года тому назад, не прочь был тайком поохотиться на кроликов или половить лососей там, где это было запрещено.

Дэвид сидел, наблюдая, как ели Джо и Чарли. А ели они со вкусом, с безмерным аппетитом, молодые челюсти Джо методически жевали. Причмокивая жирными губами, Чарли выгребал ножом застывший соус из горшка с паштетом. Дэвид невольно облинулся, рот его наполнился слюной. Вдруг, когда они уже почти кончили завтрак, Чарли, словно осененный внезапной догадкой, перестал на минуту орудовать ножом в горшке:

— Может быть, и ты, паренек, не прочь поскрести в горшке?

Дэвид отрицательно покачал головой: что-то заставило его отказаться. Он усмехнулся:

— Я уже завтракал.

— Ах так! Ну что ж, раз ты уже перекусил... — Маленькие глазки Чарли лукаво поблескивали на широком красном лице. Он покончил с паштетом. — А что думает твой отец теперь? Ведь похоже на то, что дело наше лопнуло?

— Не знаю.

Чарли облизал нож и удовлетворенно вздохнул:

— Да, натерпелись мы горя... Я с самого начала был против... и Геддон был против. Никто из нас не хотел этого. Поднимать историю из-за кожанов¹ и полпенни прибавки на тонну! Говорил я, что из этого ничего не выйдет.

¹ *Кожаны* — непромокаемые куртки для шахтеров.

Дэвид посмотрел на Чарли. Чарли был весовщиком от рабочих, служащим местной организации Союза горняков и состоял в приятельских отношениях с Геддоном, представителем Союза в Тайнкасле. И Чарли отлично знал, что дело тут вовсе не в кожанах и не в прибавке полпенни на тонну угля.

Дэвид сказал серьезно:

— В шахтах Скаппер-Флетс очень много воды.

— Воды! — Чарли улыбнулся снисходительной улыбкой всезнающего человека. Он работал у выхода шахты, проверяя вес поднятых наверх вагонеток с углем, в шахту ему никогда не приходилось спускаться, поэтому он был против забастовки и разыгрывал авторитетного специалиста. — «Парадиз» всегда был мокрым местом. Там вода стояла подолгу. И Скаппер-Флетс, я думаю, не хуже остальных шахт. Не такой человек твой отец, чтобы испугаться лишней капли воды, ведь правда?

Дэвид, не глядя, чувствовал, что Чарли ухмыляется, и негодование его росло. Он сказал сдержанно:

— Отец работает внизу вот уже двадцать пять лет, так что вряд ли он боится воды.

— Отлично, отлично, я так и знал, что ты это скажешь. Стой крепко за отца. Если не ты, то кто же за него постоит? Я тебя за это ничуть не осуждаю. Ты парень сметливый.

Чарли громко рыгнул, уселся на свое место у огня и принялся набивать почерневшую трубку, зевая и потягиваясь.

Джо и Дэви вышли на улицу.

— Ему-то не приходилось спускаться в «Парадиз»! — непочтительно заметил Джо, как только дверь за ними захлопнулась. — Старый черт! Ему бы очень полезно было поработать внизу в воде, как работаю я.

— Не в одной только воде тут дело, Джо, — сказал убежденно Дэвид. — Знаешь, мой отец говорит...

— Знаю, знаю! Мне до смерти надоело все это слышать, и всем остальным тоже, Дэви. Твой отец знает Скаппер-Флетс, а думает, что знает все штреки.

Дэвид горячо возразил:

— Поверь, Джо, ему известно очень многое. Не для потехи же он все это затеял!

— Он-то нет, а вот некоторые другие... Осточертело им работать в воде, вот они и подумали, что хорошо будет отдохнуть. Ну

а теперь, после того как они этим треклятым отдыхом вволю на-тешились, они рады на все пойти, только бы снова начать работать, хотя бы шахты доверху были залиты водой.

— Что ж, пускай выходят на работу.

Джо сказал хмуро:

— Они и выйдут, можешь быть спокоен. Вот подожди, в три часа будет собрание, тогда услышишь. И не становись, пожалуйста, на дыбы! Меня все это бесит не меньше, чем тебя. Опротивела мне эта шахта проклятушая! При первом удобном случае улизну отсюда, — я вовсе не намерен торчать здесь до конца своих дней! Я хочу обзавестись монетой и пожить в свое удовольствие.

Дэвид молчал, расстроенный и возмущенный, чувствуя, что все в жизни против него. Ему тоже хотелось бы избавиться от «Нептуна», но не таким путем, каким хотел сделать это Джо. Он вспомнил, как Джо убежал когда-то, как его, плачущего, привел обратно Роддэм, полицейский сержант, а потом отец задал ему здоровую порку.

Мальчики молча шагали рядом. Джо, немного рисуясь, на ходу раскачивался всем телом, засунув руки в карманы. Это был хорошо сложенный подросток, двумя годами старше Дэвида, с квадратными плечами, прямой спиной, густой шапкой черных курчавых волос и небольшими живыми карими глазами. Джо был очень красив и знал это. Во взгляде его светилась самоуверенность, даже в лихо заломленной кепке чувствовались задор и тщеславие. Помолчав некоторое время, он продолжал:

— Когда хочешь жить в свое удовольствие, надо иметь деньги. А разве здесь, на шахтах, накопишь что-нибудь? Черта с два! На большие деньги здесь рассчитывать нечего. Ну а я хочу жить весело, мне нужно много денег. Пойду искать в других местах. Тебе-то хорошо, ты, может быть, попадешь в Тайнкасл: твой отец хочет, чтобы ты поступил в колледж... Вот тоже одна из его фантазий!.. А мне придется самому о себе позаботиться. И позабочусь, вот увидишь! Надо только одно запомнить: занимай место, пока его не занял другой!

Джо вдруг оборвал свою хвастливую болтовню и дружески ударил Дэви по плечу, улыбаясь веселой и ласковой улыбкой. Когда Джо хотел, он умел быть веселым и приятным, как никто, — его веселость согревала душу, красивые карие глаза излучали доброту, и он казался самым славным из всех славных малых.

— Пойдем к лодке, Дэви, покатаемся у берега, потом отъедем подальше — авось попадетсЯ что-нибудь.

Они прошли уже Кэй-стрит, вышли к берегу, перелезли через дамбу и очутились на твердом песке. За ними тянулась цепь высоких дюн, поросших редкой жесткой травой и осокой, покрытой налетом соли. Дэвид любил дюны. Летом, по субботам, когда шахтеры рано поднимались вверх из «Нептуна» и отец отправлялся с товарищами в трактир «Привет», Дэвид забирался на дюны и здесь в одиночестве, среди осоки, слушал пение жаворонка, бросив свою книгу и ища глазами крошечное пятнышко — там, высоко в ярко-голубом небе. И сейчас его тянуло лечь на песок. Голова опять кружилась, толстый ломоть свежего хлеба, проглоченный утром с такой жадностью, свинцом лежал у него в желудке. А Джо шел быстро и был уже у мола.

Взобравшись на мол, они очутились в гавани. Здесь в тихой пенящейся воде несколько мальчиков с Террас собирали уголь. Привязав к шесту старое ведро, в котором были пробиты дырки, они вылавливали им куски угля, упавшие в воду при погрузке барж еще в то время, когда в порту работали. Лишившись угольного пайка, который рабочие получали из шахты два раза в месяц, они рылись здесь в грязи в поисках топлива, о котором прежде никто бы и не вспомнил. Джо смотрел на них с тайным пренебрежением. Он стоял у воды, широко расставив ноги и засунув руки в карманы брюк. Джо испытывал презрение к этим беднякам. Погреб его отца был набит отличным углем, украденным из шахты: Джо сам воровал его, выбирая лучший из кучи. А желудок его был всегда набит пищей, хорошей пищей, — об этом заботился Чарли, его отец. И все потому, что они с отцом знали, как нужно действовать: брать, добывать все, а не стоять вот так в воде, дрожа, умирая с голоду, роясь в грязи с робкой надеждой — авось что-нибудь сжалится над тобой и прыгнет к тебе в ведро.

— А, Джо, здорбво! — заискивающе окликнул его Нед Софтли, слабоумный откатчик из «Парадиза». Его длинный нос покраснел и все тщедушное недоразвитое тело судорожно дрожало от холода. Он бессмысленно посмеивался. — Нет ли окурочка, Джо, голубчик? Смерть покурить хочется.

— Будь я проклят, Нед, дружище... — Джо мгновенно проявил сочувствие и великолепный размах. — Будь я проклят, если это у меня не последний! — Он вытащил торчавший у него за

ухом окурок, огорченно посмотрел на него и зажег его с самым дружеским сожалением. Но когда Нед, взяв окурок, отошел, Джо ухмыльнулся: конечно, у него в кармане лежала целая пачка папирос «Вудбайн». Но неужели же рассказывать об этом Неду? Боже сохрани! Все еще усмехаясь, Джо посмотрел на Дэвида, как вдруг чей-то вопль заставил его быстро обернуться.

Это вопил Нед, громко протестуя. Он набрал полный или почти полный мешок угля, проработав три часа на пронизывающем ветру, и только что собрался взвалить мешок на спину и нести домой, как Джейк Уикс опередил его. Джейк, здоровенный неотесанный малый лет семнадцати, преспокойно дожидался подходящего момента, чтобы присвоить добычу Неда. Он подхватил мешок и, с вызовом посмотрев на остальных, хладнокровно, походкой гуляющего человека, зашагал из гавани. В толпе мальчишек раздался взрыв хохота. Ну и потеха! Джейк стащил уголь Софтли и идет себе с ним как ни в чем не бывало, а Нед ревет и визжит ему вслед как сумасшедший! Настоящая комедия! Джо хохотал громче всех.

Не смеялся только Дэвид. В лице его не было ни кровинки.

— Джейк не смеет брать этого угля, — сказал он тихо. — Это уголь Софтли. Софтли его собирал.

— Хотел бы я видеть, кто ему помешает! — Джо захлебывался от смеха. — О господи! Нет, ты только посмотри на рожу Неда, скорее посмотри!..

Юный Уикс шествовал по дамбе, легко неся мешок, а за ним с плачем бежал Софтли, сопровождаемый толпой оборванцев.

— Это мой уголь, — хныкал Нед, и слезы текли по его лицу. — Я столько навозился тут, пока собрал его, ведь маме нечем топить...

Дэвид сжал кулаки и шагнул наперерез Уиксу. Тот сразу остановился.

— Эй, — сказал он. — А тебе чего?

— Это уголь Неда, — сказал Дэвид сквозь стиснутые зубы. — Ты не смеешь его отнимать. Это нечестно. Несправедливо.

— Черт возьми! — пробурчал Джейк растерянно. — А кто же это мне запретит?

— Я.

В толпе больше никто не смеялся. Джейк не торопясь опустил мешок на землю:

— Ты?

Дэвид утвердительно кивнул головой. Нервы его были до того напряжены, что он не мог произнести ни слова. В нем кипело возмущение несправедливым поступком Джейка. Уикс был уже почти взрослый, курил, ругался и пил водку, как мужчина. Он был на целый фут выше Дэви и на полпуда тяжелее. Но Дэвида это не остановило, он в эту минуту помнил только одно: надо помешать Уиксу обидеть Неда Софтли.

Уикс вытянул перед собой кулаки, один над другим.

— Ну-ка ударь! — ехидно предложил он. Это был традиционный вызов на бой.

Дэви одним взглядом охватил одутловатое, прыщавое лицо Джейка, увенчанное копной светлых, как лен, волос. Он видел как-то особенно отчетливо и ясно и угри на нечистой коже Джейка, и крошечный бугорок на его левом веке. Затем он быстрым, как молния, движением сбил вниз кулаки Джейка, а правой рукой нанес ему сильный удар в нос.

Замечательный удар! Нос Джейка заметно сплюснулся, из него хлынула кровь. Толпа взревела, и трепет неистового и радостного возбуждения пронизал Дэвида.

Джейк отступил, мотая головой, как собака, потом яростно бросился вперед. Он размахивал руками, словно молотя цепом.

В эту минуту из обступившей их толпы раздался предостерегающий крик:

— Берегись, ребята, Скорбящий идет!

Дэвид, отвлеченный этим криком, повернул голову, и кулак Джейка угодил ему прямо в висок.

Сразу же все стало как-то странно уплывать назад, все закружилось перед его глазами, на миг ему почудилось, будто он спускается в шахту, — так внезапно надвинулась на него темнота и зазвенело в ушах. Потом он лишился сознания. Увидев, что он упал, мальчишки поспешно разбежались. Даже Нед Софтли торопливо ушел, не забыв захватить свой уголь.

Скорбящий тем временем подошел ближе. Он прогуливался по берегу, наблюдая, как волны тихо набегали на песок и отбегали назад. Иисус Скорбящий очень любил море. Он каждый год брал в «Нептуне» отпуск на десять дней и проводил его в Уитли-Бэй, мирно бродя взад и вперед по набережной с двумя щитами, на которых начертан был его любимый текст: «Иисус скорбел

о грехах мира». Эти же слова были выведены золотыми буквами на фасаде его домика, и потому-то, хотя настоящее имя этого человека было Клем Дикери, его все звали Иисус Скорбящий или просто Скорбящий. Скорбящий работал в копиях, но жил не на Террасах. Жена его Сюзен пекла пироги и торговала ими в маленькой лавчонке в конце Лам-стрит, а над лавчонкой помещалась их квартира. Сюзен предпочитала другой, более грозный текст Священного Писания: «Будь готов предстать перед Господом». Этот текст был напечатан на всех бумажных мешочках, в которых она отпускала свои изделия, и отсюда в Слискейле пошла поговорка: «Ешь пироги Сюзен Дикери и готовься предстать перед Господом». Но пироги были отличные. Дэвид их любил. Любил он и Клема Дикери. Скорбящий был тихий, безобидный фанатик. И он, по крайней мере, был человеком искренним.

Когда Дэвид очнулся и открыл затуманенные глаза, Скорбящий стоял, наклонясь над ним, похлопывал его по ладоням и глядел на него с огорчением и беспокойством.

— Теперь все прошло, — сказал Дэвид, с трудом приподнявшись на локте.

Скорбящий проявил замечательную выдержку, ни словом не упомянув о драке. Вместо этого он спросил:

- Ты когда в последний раз ел?
- Сегодня утром. Я завтракал.
- Встать можешь?

Дэвид поднялся, держась за Клема. Он пошатывался, но пытался улыбкой скрыть слабость.

Скорбящий мрачно смотрел на него. Он всегда говорил и действовал напрямик.

- Ты ослабел от голода, — сказал он. — Пойдем ко мне.

Поддерживая мальчика, он медленно вел его по песку через дюны и привел в свой дом на Лам-стрит.

На кухне у Дикери Дэвида усадили за стол. Здесь Клем устраивал свои «кухонные собрания». На стенах ярчайшими красками пылали аллегорические изображения «Страшного суда», «Воскресения мертвых», «Широкой и узкой стези». На этих картинах было множество парящих ангелов, бесполох, светлокудрых, в белоснежных одеяниях, они трубили в золотые трубы. Ангелов окружало ослепительное сияние. А ниже царил мрак — там, среди разрушенных коринфских колонн, выли исчадия тьмы, подгоняя толпы грешников, трепетавших на краю бездны.

Над камином были развешаны на веревочках сухие травы и морские водоросли. Клем знал все лекарственные растения и во время цветения усердно собирал их под изгородями и среди скал. И сейчас он стоял у огня, заваривая что-то вроде ромашки в фаянсовом чайнике. Заварив, налил полную чашку и поставил ее перед Дэвидом, затем, не говоря ни слова, вышел из кухни.

Дэвид выпил отвар. Горькая, но ароматная и очень горячая жидкость согрела его, подкрепила и успокоила. Он забыл о драке и почувствовал, что голоден. Тут дверь открылась, снова вошел Скорбящий и с ним его жена. Она до странности походила на своего мужа, эта маленькая опрятная женщина, всегда в черном, тихая, неторопливая и с таким же, как у Клема, спокойно-сосредоточенным выражением лица. Молча поставила она перед Дэви тарелку с двумя только что испеченными пирожками, потом из синего эмалированного кувшинчика облила каждый пирожок горячим соусом.

— Ешь не сразу, а помаленьку, — сказала она ровным голосом и, отойдя, стала рядом с мужем. Оба наблюдали за мальчиком, который после минутного колебания принялся за еду.

Пирожки были восхитительны, подливка жирная, вкусная. Дэвид съел один пирожок до крошки, потом, случайно подняв глаза, увидел, что муж и жена все еще смотрят на него с серьезным выражением. Скорбящий торжественно процитировал вполголоса текст Священного Писания: «Я напитая вас и детей ваших. И Он утешал их и ласково говорил с ними».

Дэвид пытался улыбкой выразить благодарность, но от неожиданности ли этой проявленной к нему доброты или от чего другого — у него вдруг перехватило горло. Его это злило, но он ничего не мог с собой поделать. Им овладело мучительное волнение при воспоминании о том, что он перенес, что все они перенесли за последние три месяца. Ужас всего этого внезапно встал перед ним. Он вспомнил, как они урезывали себя во всем, закладывали вещи, вспомнил скрытую горечь в отношениях между родителями, раздражительность матери, упорство отца... Ему было только четырнадцать лет. И за весь вчерашний день он съел одну репу, которую взял на ферме Лиддля. Мир вокруг был богат и прекрасен, а он, как дикое животное, забрался на поле и украл репу, чтобы утолить голод.

Дэвид опустил голову на худенькую руку. В нем росла неожиданная страстная потребность изменить все это, сделать что-ни-

будь, что помогло бы людям, заживило их раны. Он *должен* сделать что-нибудь! И сделает. Слеза покатила по щеке и капнула в подливку. На стенах ангелы трубили в трубы. Дэвид сконфуженно высморкался.

III

Половина второго. В «Холме» кончают завтракать. Артур сидит за столом, держась очень прямо, его голые коленки скрыты под белой скатертью, а башмаками он едва достает до пушистого темно-красного ковра. Пока завтракали, он все время смотрел на отца, не отрывая от него любящих, встревоженных глаз. Атмосфера скрытого напряжения, предчувствие какого-то кризиса пугали, почти парализовали Артура. И, как всегда в минуты сильного волнения, он потерял аппетит, самый вид еды вызывал у него тошноту. Артур слышал, что сегодня собрание шахтеров, рабочих отца, которым полагалось честно и преданно работать в его копях. Он знал, что все зависит от этого собрания, что на нем решится вопрос, выйдут ли шахтеры на работу или будут продолжать свою ужасную забастовку. Эта мысль вызывала у Артура легкий трепет беспокойства. В глазах его светилась горячая преданность отцу.

Волнение Артура объяснялось еще и тем, что он ждал от отца приглашения поехать с ним в Тайнкасл. Он ожидал этого с десяти часов утра, с той минуты, когда услышал, что Бартли приказано запрягать шарабан. Но обычного приглашения не последовало. Отец едет в Тайнкасл, едет к Тоддам, а его, Артура, не берет! С этим было очень трудно примириться.

За столом шел спокойный разговор, направляемый отцом Артура. Такого рода мирные беседы велись здесь все время, пока шла забастовка, — и всегда на самые нейтральные темы: о предстоящей постановке «Мессии» в Союзе певчих, о том, помогает ли матери новое лекарство, о том, как хорошо растут цветы на бабушкиной могилке, — и всегда в спокойном, очень спокойном тоне. Ричард Баррас был вообще человек уравновешенный. Во всем его поведении сказывалась непоколебимая выдержка. Он сидел во главе стола, сурово-безмятежный, словно эти три месяца забастовки в его шахте «Нептун» были совершеннейшей чепу-

хой, — сидел в своем большом кресле, чопорно выпрямившись (вот почему Артур тоже старался держаться прямо), и ел сыр, сельдерей из собственных парников и пудинг. Простое меню. Весь завтрак состоял из самых простых блюд, — этого требовал Баррас. Он любил придерживаться известного режима: тонкие ломтики говядины, холодная ветчина, баранье филе — все в свое время. Он терпеть не мог пышности и богатой сервировки. Он это запрещал у себя в доме. Ел он как-то рассеянно, сжимая узкие красные губы и грызя крепкими зубами сельдерей. Это был человек среднего роста, но с широкой грудью, могучими плечами и большими руками. В нем чувствовалась большая физическая энергия. У него было румяное скуластое лицо и мускулистая шея, такая короткая, что казалось, голова выростала прямо из груди. Седоватые волосы были коротко острижены, глаза с красивым разрезом глядели пронзительно. Это был тип северянина, несколько суровый и тяжеловесный. Человек твердых убеждений и твердой веры, либерал, который строго соблюдал воскресенье, он ввел у себя в доме общую вечернюю молитву, читал членам семьи вслух Библию, часто доводя Артура до слез, и не боялся признаться, что в юности сочинял гимны. Вообще у Барраса хватило бы смелости признаться в чем угодно. Когда он вот так, как сейчас, сидел за столом, выделяясь на желтом лакированном фоне большого американского органа, который он из любви к музыке Генделя поставил в столовой, истратив на него большие деньги, вся его фигура, казалось, излучала присущую ему внутреннюю цельность. Артур это инстинктивно чувствовал. Он любил отца. Для Артура отец был совершенством, богом.

— Да ну же, Артур, ешь пудинг, милый!

Услышав мягкий упрек тети Кэрри, Артур в замешательстве посмотрел на стоявшую перед ним тарелку. Пудинг — из остатков пирога, из подгорелых кусков, — он терпеть его не мог, но сделал над собой усилие и принялся есть, в надежде, что отец заметит это и похвалит его.

Хильда уже кончила завтракать и смотрела куда-то в пространство; лицо ее, как всегда, было угрюмо. А Грэйс, улыбающаяся, простодушная, казалось, чему-то тайно радовалась про себя.

— Вы вернетесь к чаю, Ричард? — почтительно спросила тетя Кэрри.

— Да, к пяти часам, — был сдержанный, лаконичный ответ.

— Хорошо, Ричард.

— Вы бы спросили у Гарриэт, нет ли у нее каких-нибудь поручений.

— Сейчас, Ричард.

Тетя Кэрри наклонила голову. Она всегда выказывала стремительную готовность повиноваться Ричарду. Голова у нее обычно наклонена была немного набок, в знак покорности, покорности всем и всему, главным же образом — своей судьбе.

Тетушка Кэролайн Уондлес знала свое место. Она никогда ни на что не претендовала, несмотря на то что происходила из хорошей нортумберлендской семьи, одной из знатных фамилий графства. Не злоупотребляла она и тем, что была сестрой жены Ричарда. Она присматривала за детьми, занималась с ними каждое утро в классной комнате, сидела у их постели, когда они заболели, неутомимо ухаживала за Гарриэт, готовила всякие вкусные вещи, выращивала цветы, штопала чулки, вязала теплые шарфы, собирала, считала и записывала грязное белье со всего дома, — и все это с видом кроткой услужливости. Пять лет тому назад, когда Гарриэт слегла, тетя Кэрри приехала к Баррасам в их усадьбу «Холм», чтобы помогать по хозяйству, как приезжала всегда на роды Гарриэт. Эта начинавшая уже полнеть сорокалетняя дама с бледным пухлым лицом, с морщиной заботы на лбу, с небрежно заколотыми волосами неопределенного цвета, умела быть полезной. Ей, вероятно, неизмеримое число раз представлялась возможность закрепить за собой известные права в этом доме, но она никогда не забывала о своей зависимости и усвоила себе некоторые привычки человека, занимающего подчиненное положение. В спальне у себя она прятала чайник и запас печенья; пока другие беседовали, она неслышно ускользала из комнаты, как будто вдруг решив, что она здесь лишняя; при других она обращалась к слугам с подчеркнутой официальной вежливостью, наедине же разговаривала с ними приветливо, даже фамильярно, с заискивающей доброжелательностью: «Хотите, Энн, я вам подарю эту блузку? Смотрите, дитя мое, она еще совсем мало ношена...»

Тетя Кэрри имела немного денег в процентных бумагах, они приносили ей около ста фунтов годового дохода. Все ее платья были серого цвета, одного и того же оттенка. Она слегка прихрамывала — следствие какого-то несчастного случая в юности, — и глухая молва, без всяких к тому оснований, утверждала, будто

в ту же пору ее жизни с ней дурно поступил один господин. Тетя Кэрри всю жизнь принимала каждый вечер горячую ванну — это было ее любимым удовольствием. Но она всегда ужасно боялась, как бы Ричарду не понадобилась ванная комната как раз тогда, когда она ею пользовалась; иногда это мучило ее даже во сне, и после такого ночного кошмара она просыпалась бледная, вся в поту, убежденная, что Ричард *видел* ее в ванне.

Баррас обвел взглядом стол. Все кончили завтракать.

— Не съешь ли ты бисквит, Артур? — спросил он настойчиво, положив руку на серебряную крышку стеклянной сахарницы.

— Нет, папа, спасибо. — Артур в волнении проглотил слюну.

Ричард налил себе воды и уверенной рукой поднял стакан. Вода, казалось, стала еще прозрачнее, еще холоднее оттого, что он подержал стакан в руке. Он медленно выпил ее.

Молчание. Но вот наконец Ричард поднялся и вышел из комнаты.

Артур чуть не заплакал. Отчего, отчего отец не берет его с собой в Тайнкасл именно сегодня, когда ему так хочется быть с отцом? Почему он не хочет взять его с собой к Тоддам? Отец, видимо, едет к Адаму Тодду, горному инженеру, его старому другу, не в гости, а по делу. Так что же из этого? Он все-таки мог бы взять его с собой, — ему так хотелось поиграть с Гетти. С тяжелым сердцем торчал Артур в передней (которую тетя Кэрри называла вестибюль), рассматривая узор облицовки из черных и белых плиток, глаза на любимые картины отца. Несмотря ни на что, он все еще не терял надежды. Хильда с книгой прошла наверх в свою комнату. Артур не обратил на нее внимания. Они с Хильдой не очень любили друг друга: она была слишком резка, неразговорчива, нелепо вспыльчива; казалось, в душе она постоянно борется с чем-то невидимым. Ей шел только восемнадцатый год. Три месяца назад, перед самым началом забастовки, она остригла волосы. Это еще больше оттолкнуло от нее Артура. Он замечал, что Хильда никому не нравится: она некрасива, строга, и вид у нее такой, словно она презирает всех и все. Кожа у нее смуглая, и от нее никогда не пахнет духами.

Артур все стоял в передней. Из классной сошла вниз Грэйс с яблоком в руке.

— Пойдем, Артур, покормим Боксера, — попросила она. — Пойдем со мной, ну пожалуйста!

Артур смотрел на одиннадцатилетнюю Грэйс сверху вниз, — она была на год моложе его и на целый фут ниже! Он завидовал ее постоянной веселости. Грэйс обладала счастливейшим характером. Это была хорошенькая, милая, но ужасно неряшливая девочка. Гребенка, косо торчавшая в ее мягких светлых волосах, придавала личику комично-удивленное выражение; в больших голубых глазах светилось наивное простодушие. Даже Хильда любила Грэйс. Артур видел однажды, как она после страшной вспышки гнева принялась вдруг с бурной нежностью тискать Грэйс в объятиях.

Артур раздумывал: идти или не идти ему с Грэйс? Он никак не мог решить. Для него всегда было мучением решать что-нибудь. В конце концов он отрицательно покачал головой.

— Ты иди, а я не пойду, — заявил он мрачно. — Я расстроен из-за забастовки.

— Неужели, Артур? — спросила Грэйс с удивлением.

Он утвердительно кивнул головой. Ему стало еще грустнее при мысли, что он лишает себя удовольствия видеть, как пони будет жевать яблоко.

Грэйс ушла, а он все стоял, прислушиваясь. Наконец отец сошел вниз с черным кожаным портфелем под мышкой. Не обращая внимания на Артура, он направился прямо к ожидавшему его экипажу, сел и уехал.

Артур был глубоко обижен, подавлен, убит горем. Не оттого, что ему не придется побывать в Тайнкасле и погостить у Тоддов. Конечно, Гетти — милая девочка, ему нравились ее длинные шелковистые косы, веселый смех, теплота ее рук, когда она порой обнимала его за шею, прося купить ей шоколадного крема на тот шестипенсовик, что он получал каждую субботу. О да, он любит Гетти и, наверно, женится на ней, когда вырастет. Он любил и ее брата Алана, и «старину Тодда» (так Алан зовет своего отца) с колючими, всегда испачканными табаком усами, с желтыми точками в глазах и таким странным запахом гвоздичного масла и еще чего-то. Но сейчас его огорчало вовсе не то, что он их не увидит, — его огорчало, мучило, убивало пренебрежение со стороны родного отца.

Может, он, Артур, и не заслуживает внимания. Пожалуй, в этом все дело. Он так мал для своих лет и, должно быть, не совсем здоров, — тетя Кэрри несколько раз при нем говорила: «Артур

такой хрупкий». Хильда училась в школе в Хэррогейте, и Грэйс скоро туда же поступит. А вот его, Артура, не пускают в школу! И у него так мало товарищей. Просто удивительно, как мало людей бывает у них в «Холме». Артур с болезненной остротой сознавал, что он дикарь, что он одинок и слишком впечатлителен. Он легко краснел и из-за этого часто готов был от стыда сквозь землю провалиться. Он всей душой жаждал, чтобы поскорее наступило то время, когда он начнет работать вместе с отцом в «Нептуне». В шестнадцать лет он начнет знакомиться с делом, потом несколько лет учения, чтобы получить аттестат, — и наконец придет великий день, когда он станет компаньоном отца. Да, для этого стоит жить!

Слезы жгли ему глаза, и, выйдя из дому, он долго слонялся без цели. Парк усадьбы лежал перед ним — красивый газон с кустами золотистого ракитника, а дальше луг, отлого спускавшийся к лесистой долине. Деревья двумя рядами опоясывали усадьбу со всех сторон, скрывая все, что могло бы испортить вид. Усадьба была расположена совсем близко от Слискейла, на холме, — потому-то ее так и назвали. Но можно было подумать, что сотня миль отделяет ее от труб и шахт.

Дом был прекрасный — каменный, с прямоугольным фасадом, с портиком в стиле Георгинской эпохи, с более поздней пристройкой позади и обширными оранжереями. Весь фасад дома был увит аккуратно подстриженным плющом. Здесь ничто не бросалось в глаза — Ричард так ненавидел вычурность! — но повсюду царил безупречный порядок: трава на лужайке подстрижена, края ровные, будто ножом срезанные, и ни единая сорная травка не омрачала великолепия длинной аллеи. Повсюду преобладала белая краска, наилучшая белая краска; ею были выкрашены ворота, ограды, оконные рамы и деревянная обшивка парников. Так нравилось Ричарду. Он держал одного только работника — Бартли, но в «Нептуне» всегда находилось достаточно охотников пойти в усадьбу «поработать у хозяина».

Артур окинул мрачным взглядом открывшуюся перед ним красивую картину. Не пойти ли ему к Грэйс? Сначала он решил идти, потом подумал: «Нет». Всеми оставленный, безутешный, он ни на что не мог решиться. Потом, как всегда, перестал об этом думать и, словно спасаясь от необходимости принять решение, побрел обратно в переднюю, рассеянно оглядел висевшие на сте-

нах картины, которые отец его так ценил. Каждый год отец покупал какую-нибудь картину, а то и две, через Винцента, крупного торговца предметами искусства в Тайнкасле, и тратил на это, по мнению Артура, подслушавшего обрывок разговора, баснословные суммы. Но Артур одобрял это, как одобрял все, что делал отец, и точно так же одобрял он его вкус. Да это и в самом деле красивые картины: большие, чудесно раскрашенные полотна Стона, Орчэрдсона, Уоттса, Лейтона, Холмэна Ханта. Особенно много картин Холмэна Ханта. Артуру все эти имена были знакомы. Он слышал, как отец говорил, что все они — будущие великие мастера. Особенно привлекала Артура одна картина — «Влюбленные в саду», в ней было столько очарования, она вызывала непонятную боль, что-то похожее на томление глубоко внутри.

Артур, хмурясь, ходил по передней, разглядывая все, что попадалось ему на глаза. Он пытался думать, разобраться во всем, что касалось этой ужасной забастовки, объяснить себе странную озабоченность отца и его отъезд к Тодду. Из передней он повернул в коридор, а пройдя его, вошел в уборную и заперся там. Наконец-то он в надежном укрытии.

Уборная была его обычным убежищем: здесь никто его не тревожил, здесь он переживал свои горести или предавался мечтам. Очень хорошо было мечтать, сидя здесь. Уборная чем-то напоминала ему церковь, придел собора, потому что это была высокая комната, в ней было прохладно, как в церкви, глянцевитые обои разрисованы готическими арками. Здесь Артур испытывал такие же ощущения, как тогда, когда смотрел на картину «Влюбленные в саду».

Он опустил продолговатую лакированную крышку и уселся, упершись локтями в колени и обхватив голову руками. Им овладел внезапный приступ напряженного тоскливого беспокойства. Изнемогая от жажды утешения, он крепко зажмурил глаза. В горячем порыве, как это с ним часто бывало, он стал молиться: «Боже, сделай, чтобы сегодня закончилась забастовка, чтобы все рабочие опять стали работать для папы, чтобы они поняли, что не правы. Боже, Ты ведь знаешь, какой папа хороший, я люблю его и Тебя люблю. Так сделай же, чтобы рабочие поступали так же справедливо, как он, чтобы больше не бастовали, и сделай, чтобы я поскорее вырос и вместе с папой управлял „Нептуном“. Во имя Отца и Сына, аминь!»

IV

Вернувшись домой к пяти часам, Ричард Баррас застал ожидавших его Армстронга и Гудспета. Когда он вошел в дом, слегка хмураясь, неторопливый, холодный и решительный, внося с собой дух присущей ему суровой энергии, он застал их обоих в передней: они сидели рядышком на стульях, в молчании уставившись на пол. Это тетя Кэрри, в волнении и нерешительности, усадила их здесь. Джорджа Армстронга, как зрителя шахты «Нептун», можно было бы, конечно, пустить в курительную комнату. Но Гудспет только помощник зрителя, он раньше был простым штейгером, а до того — десятником по безопасности, к тому же он пришел прямо из шахты, в грязных сапогах, мокрых коротких штанах, в кожаной кепке и с палкой. Немыслимо было пустить его в комнату Ричарда, где он непременно наследит. Словом, тетя Кэрри была в тяжелом затруднении. Приняв наконец компромиссное решение, она оставила обоих в вестибюле.

Увидев этих двух людей, Ричард ничуть не изменил выражения лица. Их приход не был для него неожиданным. Все же сквозь холодную, непоколебимую важность на миг пробилось что-то неуловимое, слабый огонек мелькнул в глазах и тотчас потух. Армстронг и Гудспет встали. Короткое молчание.

— Ну что? — спросил Ричард.

Армстронг взволнованно закивал головой:

— Кончилось, слава богу!

Ричард выслушал это сообщение и глазом не моргнув; ему, казалось, была крайне неприятна легкая дрожь в голосе Армстронга. Он стоял чопорный, замкнутый, безучастный, но наконец шевельнулся, сделал приглашающий жест и повел посетителей в столовую. Здесь он подошел к буфету, огромному дубовому голландскому сооружению во вкусе барокко, на котором были вырезаны головки смеющихся детей, налил два стаканчика виски, а себе, позвонив, приказал подать чаю. Энн тотчас принесла чашку чая на подносе.

Все трое пили стоя. Гудспет одним привычным глотком выпил свое виски неразбавленным, Армстронг смешал его с большой порцией содовой и пил торопливыми, нервными глотками. Джордж Армстронг был человек в высшей степени нервный — постоянно волновался, огорчался из-за пустяков, легко выходил

из себя и ругал рабочих. Он был чрезвычайно работоспособен только благодаря постоянному нервному напряжению, с которым работал. Этот человек среднего роста, с облысевшей уже макушкой, с изможденным лицом и мешками под глазами, обладал прекрасным баритоном и нередко пел на масонских концертах. Несмотря на свою вспыльчивость, он был очень популярен в городе. Армстронг был женат, имел пятерых детей и втайне ужасно боялся потерять службу. Как бы извиняясь за нервное дрожание рук, он заискивающе, отрывисто засмеялся:

— Видит бог, мистер Баррас, я очень рад, что кончилась эта дурацкая история... Трудно приходилось нам все это время. Я предпочел бы работать по две смены круглый год, чем снова пережить такие три месяца.

Баррас, не слушая его, спросил:

— Как все это вышло?

— Они устроили собрание в клубе. Выступил Фенвик, но его не хотели слушать. За ним — Гоулен... знаете, Чарли Гоулен, контрольный весовщик. Он встал и сказал, что ничего другого не остается, как выйти на работу. Потом Геддон напустился на них. Он специально приехал из Тайнкасла. Да, он с ними не церемонился, мистер Баррас, можете мне поверить. Объявил, что они не имели права выступать без согласия Союза, что Союз умывает руки во всем этом деле, назвал их кучей отпетых дураков (то есть он употребил другое слово, но его я в вашем присутствии повторить не смею, мистер Баррас) за то, что они все это затеяли на свой страх и риск. Потом голосовали. Восемьсот с лишним голов за то, чтобы приступить к работе. Семь — против.

Наступила пауза.

— Ну, что же дальше? — спросил Баррас.

— Потом они пришли к конторе целой толпой — Геддон, Гоулен, Огль, Хау, Диннинг, и вид у них был довольно-таки приниженный. Спрашивали вас. А я им передал то, что вы сказали: что вы не пустите к себе на глаза никого из них, пока они не начнут работать. Тут Гоулен произнес речь... он неплохой малый, хоть и пьяница. «Мы, — говорит, — побеждены и признаём это». Потом выступил Геддон с обычной профсоюзной трескотней. Развел турысы на колесах, будто они через Гарри Нэджента поднимут вопрос в парламенте. Но это говорилось так, для отвода глаз. Одним словом, они совсем присмирели и спрашивают, можно ли

выйти на работу завтра в первую смену. Я сказал, что мы поговорим с вами, сэр, и дадим им ответ в шесть часов.

Ричард допил чай.

— Значит, они хотят вернуться на работу. Так, так... — Кажалось, Баррас находил создавшееся положение любопытным и хладнокровно его обдумывал.

Три месяца тому назад Баррас заключил с Парсоном договор на поставку коксующегося угля. Такие договоры — золотое дно, их трудно бывает добиться. С договором в кармане Баррас начал подготовительную разработку в районе Скаппер-Флетс шахты «Парадиз» и выемку коксующегося угля особого сорта из единственного места в «Нептуне», где этот уголь еще имелся.

Но тут рабочие забастовали, не считаясь ни с ним, ни с Союзом. Договора больше не существовало, он был брошен в огонь. Баррасу пришлось расторгнуть сделку. Он на этом потерял двадцать тысяч фунтов.

Застывшая на губах Ричарда слабая усмешка словно говорила: «Любопытно, клянусь богом!»

Армстронг спросил:

— Так вывесить объявление, мистер Баррас?

Ричард, жвав губы, с неожиданным неудовольствием глянул на услужливого Армстронга.

— Да, — сказал он сухо. — Пускай завтра приступают к работе.

Армстронг с облегчением вздохнул и сделал инстинктивное движение в сторону двери. Но Гудспет, неразвитому уму которого было доступно лишь очевидное, не трогался с места и мял шапку в руках.

— А с Фенвиком как же быть? — спросил он. — И ему приступить к работе?

— Это его дело.

— И потом, как насчет второго насоса? — не унимался Гудспет. Это был рослый, флегматичный мужчина с отвислой нижней губой и сонным лицом землистого цвета.

Ричард сделал нетерпеливый жест:

— Какой еще второй насос?

— А верхний, с напорной трубой, о котором вы говорили три месяца назад, когда ребята забастовали. Он выкачал бы много воды из Скаппер-Флетс... то есть выкачал бы ее скорее, и внизу, там, где работают, было бы меньше слякоти.

— Вы очень ошибаетесь, если думаете, что я буду продолжать выработку в Скаппер-Флетс. С коксовым углем придется подождать другого договора.

— Ваша воля, сэр. — Землистое лицо Гудспета густо покраснело.

— Ну, кажется, все! — Голос Барраса звучал уже, как всегда, спокойно и внушительно. — Можете передать, что я рад за рабочих, которые вернутся на работу. Все эти никому не нужные лишения — возмутительное безобразие.

— Обязательно передам, мистер Баррас, — с готовностью отозвался Армстронг.

Баррас молчал. Говорить было больше не о чем, и Армстронг и Гудспет вышли.

Некоторое время Баррас, размышляя, стоял на том же месте, спиной к камину, потом запер виски в буфет, подобрал упавшие на поднос два кусочка сахару и аккуратно уложил их обратно в сахарницу. Он страдал при виде какого-нибудь беспорядка, при одной только мысли, что напрасно пропадет кусок сахару. В его доме *ничего* не должно пропадать даром, он этого не потерпит. Эта черта Барраса сказывалась больше всего в мелочах: он не тратил лишней спички, карандаш исписывал до последнего дюйма, свет в доме полагалось выключать в строго определенное время, из обмылков прессовались новые бруски мыла, горячую воду экономили и даже топили очень скупно, угольным мусором. При звоне разбившейся чашки или блюда кровь бросалась Баррасу в голову. Главной заслугой тети Кэрри, по его мнению, была строгая бережливость, с какой она вела хозяйство.

Он стоял не двигаясь, разглядывая свои белые холеные руки. Потом вышел из комнаты, медленно поднялся наверх, не заметив Артура, чье обращенное к нему робкое лицо белело, как луна, в полутьме передней, и вошел в комнату жены:

— Гарриэт!

— Здравствуй, Ричард.

Она вязала, сидя в постели, с тремя подушками за спиной и одной у ног. Ей укладывали за спину три подушки, потому что кто-то сказал, что три подушки — самое удобное. А вязать ей предписал для успокоения нервов молодой доктор Льюис, ее новый врач. Когда вошел муж, Гарриэт перестала вязать и подняла глаза. У нее были густые черные брови, а под глазами коричневые тени — типичный признак неврастении.

Гарриэт улыбнулась, словно прося извинения, и дотронулась до своих распушенных лоснящихся волос, обрамлявших бледное лицо:

— Ты извинишь, Ричард? У меня опять был приступ жестокой головной боли. Пришлось Кэролайн расчесывать мне щеткой волосы.

Она снова улыбнулась привычной улыбкой страдальцы, меланхолической улыбкой тяжело больного человека. У нее болела поясница, у нее был больной желудок, больные нервы. Временами у нее бывали отчаянные головные боли, от которых не помогало и туалетный уксус, не помогало ничего, кроме осторожного растирания головы, — это лежало на обязанности Кэролайн. Тетя Кэрри выстаивала на ногах битый час, тихонько, медленно водя щеткой по волосам Гарриэт. Никто не мог доискаться подлинной причины страданий Гарриэт. Никто. Она измучила всех докторов в Слискейле — Скотта, Ридделя и Проктора; она побывала у многих специалистов в Тайнкасле; в отчаянии обращалась к лечившим травами, к гомеопату, к специалисту по физиотерапии, который обергывал ее какими-то чудодейственными электрическими бинтами. Каждый шарлатан вначале казался ей спасителем. «Наконец-то настоящий врач!» — объявляла она. Но все они, как и Риддель, Скотт, Проктор и специалисты Тайнкасла, оказывались в конце концов невеждами. Впрочем, Гарриэт не унывала. Она сама изучала свои болезни, читала терпеливо, упорно и систематически множество книг, трактующих о тех недугах, которые она у себя находила. Увы, все было напрасно. Ничто, ничто не помогало. И не потому, что Гарриэт не принимала лекарств, — она принимала все лекарства, какие только существуют; ее спальня была уставлена аптечными склянками и банками, дюжинами бутылок с лекарствами — укрепляющими, болеутоляющими, слабительными, успокаивающими спазмы, разными мазями, — всем, что ей прописывалось докторами за последние пять лет. О Гарриэт можно было смело сказать, что она никогда не выбросила ни одного лекарства. Из некоторых бутылочек она приняла лекарство только по одному разу, — Гарриэт была настолько опытна, что уже после первой ложки какого-нибудь снадобья говорила иногда: «Уберите это. Я знаю, что оно мне не поможет». И бутылка отправлялась на полку.

Это было ужасно. Но Гарриэт отличалась терпением. Она уже давно не вставала с постели, тем не менее аппетит сохранила

прекрасный. По временам она кушала прямо-таки великолепно, — и это тоже вызывало недомогания: с желудком, видно, было неблагополучно, ее так мучили газы! Но, несмотря на все это, Гарриэт была кротка; никогда никто не слышал, чтобы она спорила из-за чего-нибудь с мужем, она всегда оставалась покорной и доброй женой. Она никогда не уклонялась от интимных обязанностей жены, она всегда была к услугам своего супруга — в постели. У нее было пышное белое тело и мина святой. Что-то в ней странным образом напоминало корову. Она была очень благочестива, — может быть, это была священная корова.

Баррас смотрел на нее словно издалека. Как он, собственно, относился к ней? Его взгляд ничего не выдавал.

— А теперь голова болит меньше?

— Да, Ричард, немножко меньше. Боль не совсем прошла, но стало лучше. После того как Кэролайн расчесала мне волосы, я приняла ту микстуру с валерьянкой, что прописал доктор Льюис. Я думаю, это от нее мне стало легче.

— Хотел привезти тебе из Тайнкасла винограду, да забыл.

— Спасибо, Ричард. — (Просто удивительно, как часто Ричард забывал о винограде. Но доброе намерение уже само по себе что-нибудь да значит.) — Ты, конечно, побывал у Тоддов?

Что-то жесткое едва заметно мелькнуло в лице Ричарда. Жаль, что Артур, все еще занятый решением загадки, не мог видеть это выражение.

— Да, я был у них. Там все здоровы. Гетти еще похорошела и всецело занята предстоящим днем рождения: ей на будущей неделе минет тринадцать. — Он замолчал и направился к двери. — Да, знаешь, забастовка прекращена. Рабочие завтра приступают к работе.

Маленький рот Гарриэт округлился в виде буквы «О». Она, словно обороняясь, прижала руку к груди, прикрытой фланелью.

— О Ричард, как я рада! Отчего же ты мне сразу не сказал? Это чудесно. Какое облегчение!

Уже приоткрывая дверь, Ричард остановился.

— Я, вероятно, приду к тебе ночью, — сказал он и вышел.

— Хорошо, Ричард.

Гарриэт легла на спину, с лица ее еще не сошло выражение радостного удивления. Она достала листок бумаги и серебряный карандаш, украшенный на конце топазом, записала аккуратным

почерком: «Не забыть сказать д-ру Льюису, что сердце сильно забилось, когда Ричард сообщил приятную новость» — и после некоторого размышления подчеркнула слово «сильно»; потом взяла вязанье и мирно принялась вязать.

V

Было уже совсем темно, когда Армстронг и Гудспет вышли из больших белых ворот усадьбы в аллею высоких буков — местные жители называли ее Слус-Дин, и дальше аллея переходила в Хедли-роуд, дорогу к городу. Некоторое время они шли молча и врозь, так как не слишком любили друг друга, но потом Гудспет, уязвленный резкостью, с которой хозяин его осадил, злобно пробормотал:

— Он умеет человека с грязью смешать! Ну и каменная же душа, дьявол его возьми! Не пойму я его. Никак не пойму.

Армстронг усмехнулся в темноте. Он тайно презирал Гудспета, как человека без всякого образования, человека, который пробил себе дорогу скорее упорством, чем подлинными заслугами. Гудспет часто раздражал, даже оскорблял Армстронга своей грубой прямоотой и физическим превосходством, — и Армстронгу приятно было видеть его сейчас униженным.

— Что ты хочешь этим сказать? — переспросил он Гудспета, притворившись непонимающим.

— Да то, что слышишь, черт возьми! — сердито отрезал Гудспет.

— Он знает, что делает.

— Еще бы! Свою выгоду понимает. А мы — свою. Да ведь от этакого пощады не жди. А слышал ты, как он сказал? — Гудспет с горечью передразнил Барраса: — «Все эти напрасные, никому не нужные лишения». Комедия, да и только!

— Нет, нет, — торопливо возразил Армстронг. — Это он искренне так думает.

— Да, как же, искренне, будь он проклят! Скареее его нет человека в Слискейле. Он теперь так и кипит злобой, что упустил договор. И вот что я тебе скажу, раз уж к слову пришлось: я очень рад, что с разработкой Скаппер-Флетс дело не выгорело. Я хоть и держал язык за зубами, а в душе согласен с Фенвиком насчет этой проклятой воды.

Армстронг метнул на Гудспета быстрый неодобрительный взгляд:

— Не дело так говорить, Гудспет.

Наступила короткая пауза. Потом Гудспет, насупившись, возразил:

— Во всяком случае, Скаппер-Флетс — ужасное место.

Армстронг ничего не ответил. Они молча шагали по Хедли-роуд, затем по Каупен-стрит, мимо Террас. Когда они завернули за угол, яркий свет и гул голосов из трактира «Привет» заставили обоих обернуться. Армстронг, явно желая переменить тему, заметил:

— Сегодня трактир полон.

— Битком набит, — подтвердил Гудспет с прежней угрюмостью. — Эмур опять начал отпускать в долг. Сегодня впервые за две недели вытащил свою грифельную доску.

Не говоря больше ни слова, оба отправились вывешивать объявления.

VI

В трактире «Привет» становилось все шумнее. Помещение было полно народу, набито до того, что голова шла кругом от табачного дыма, криков, яркого света и пивных испарений. Берт Эмур, без пиджака, стоял за стойкой, за ним на стене висела большая грифельная доска, на которой он мелом записывал, сколько выпито посетителями в долг. Берт был не дурак: последние две недели он, несмотря на мольбы и проклятия, всем отказывал в кредите. А сегодня, когда субботняя получка стала чем-то близким и вполне реальным, сразу же переменял тактику: трактир был открыт и кредит посетителям тоже.

— Налей-ка нам еще, Берт, дружище!

Чарли Гоулен с силой стукнул кружкой о прилавок и потребовал новую круговую. Чарли не был пьян, он никогда не пьянел по-настоящему, — впитывая вино, как губка, он обливался потом, лицо у него бледнело, принимая цвет сырой телятины, но вдрызг пьяным его никогда никто не видел. Кое-кто из толпившихся вокруг него были уже сильно навеселе, а больше всех — Толли Браун, старый Риди и Боксер Лиминг. Боксер был безоб-

разно пьян. Этот неотесанный, грубый малый с красной, словно расплющенной физиономией, плоским носом и одним ухом иссиня-белым, как цветная капуста, в юности действительно был боксером и выступал в Сент-Джеймс-холле под эффектной кличкой «Чудо-мальчик из шахты». Но водка и разные другие вещи погубили его. Теперь он снова работал в шахте, не был больше ни мальчиком, ни чудом. От тех золотых дней остались лишь буйный, хоть и добродушный нрав, легкая хромота и сильно изуродованное лицо.

Чарли Гоулен, неизменный председатель на всех выпивках в трактире, снова постучал кружкой о стол. Ему не нравилось, что здесь сегодня не чувствуется беззаботного веселья, и хотелось восстановить былой уют и дружескую атмосферу вечеров в «Привете». Он сказал:

— Со многим нам приходилось мириться за последние три месяца. А все же, ребята, унывать не будем. Ничего не стоит та душа, которая не способна никогда разгуляться!

Его свиные глазки так и бегали вокруг, он ожидал обычного шумного одобрения. Но на всех лицах читалась лишь угрюмая усталость. Вместо одобрения Чарли встретил взгляд Роберта Фенвика, устремленный на него с саркастическим выражением. Роберт стоял на своем обычном месте, в самом конце прилавка, и спокойнопил с таким видом, словно ничто его здесь не интересовало.

Гоулен поднял кружку:

— Выпьем, Роберт, дружище! Тебе следует сегодня хорошенько промочить нутро. Ведь завтра ты порядком промокнешь снаружи.

Роберт со странной сосредоточенностью вглядывался в лицо Гоулена, точно налитое пивом.

— Все мы рано или поздно очутимся под водой, — сказал он.

В толпе раздались крики:

— Заткни глотку, Роберт!

— Помалкивай, парень! Довольно поговорил на собрании!

— Уж мы наслушались об этом за последние три месяца!

Тень печали и усталости легла на лицо Роберта. Он отвечал на все лишь огорченным взглядом:

— Ладно, товарищи. Делайте, как знаете. Больше ничего говорить не стану.

Гоулен хитро осклабился:

— Если ты боишься спуститься в «Парадиз», ты бы так прямо и говорил.

— Заткни пасть, Гоулен, — вступился Лиминг. — Мелешь языком, как баба! Роберт со мной в одной бригаде. Он отличный забойщик и работает на совесть. Он знает проклятую шахту лучше, чем ты — собственное брюхо.

Внезапно наступила тишина, все затаили дыхание, ожидая, не начнется ли драка. Но Чарли никогда в драки не вступал. Он пьяно ухмылялся. Напряжение зрителей сменилось разочарованием.

В этот момент дверь с улицы распахнулась. Вошел Уилл Кинч и как-то нерешительно стал проталкиваться к прилавку:

— Дай в долг кружку пива, Берт, ради бога! Хотя бы одну, иначе не выдержу..

Внимание толпы снова пробудилось и сосредоточилось на Уилле.

— Что такое? Что за беда с тобой приключилась, Уилл?

Уилл откинул жидкие волосы со лба, взял с прилавка кружку пива и повел вокруг блуждающим взглядом.

— Бед целая куча, ребята. — Он плюнул так, словно у него был полон рот грязи, затем стремительно заговорил: — С Элис моей плохо, ребята, — воспаление легких. Жена хотела сварить для нее мясной бульон. Прихожу я к Ремеджу четверть часа тому назад. Ремедж сам стоит за прилавком — брюхо жирное выставил и стоит. «Мистер Ремедж, — говорю я самым вежливым образом, — не отпустите ли мне каких-нибудь обрезков для моей девочки, она очень больна. А деньги я отдам в субботнюю получку, обязательно отдам». — Тут губы Уилла побелели, он весь затрясся, но стиснул зубы и, сделав над собой усилие, продолжал: — И что же вы думаете, ребята? Он смерил меня глазами с головы до ног и с ног до головы! «Никаких обрезков я тебе не дам», — говорит он этими самыми словами. «Уж будьте так добры, мистер Ремедж, — говорю, а у самого сердце упало. — Уделите нам какой-нибудь кусочек. Забастовка кончилась, через две недели обязательно будет получка, и я вам заплачу, как бог свят...» — Тут Уилл остановился, чтобы перевести дух. — Он ничего не ответил и опять так же на меня посмотрел... Потом говорит, словно перед ним собака, а не человек: «Ничего я тебе не дам, ни косточки. Вы — позор для города, ты и тебе подобные. Бросаете работу из-за ерунды, а потом приходите попрошайничать у порядочных лю-

дей. Убирайся вон из моей лавки, пока я тебя не вышвырнул отсюда...» И я ушел, ребята...

Рассказ Уилла был выслушан в полном молчании. Первым встрепенулся Боб Огль.

— Клянусь богом, это уж слишком! — простонал он.

Тут вскочил пьяный Боксер и крикнул:

— Да, слишком! Мы этого так не оставим!

Все заговорили разом, поднялся шум. Боксер уже прокладывал себе дорогу в толпе:

— Не стерплю я этого, товарищи! Сам пойду к этому ублюдку Ремеджу. Пойдем, Уилл! Ты получишь для девчонки самый лучший кусок, а не какие-то паршивые обрезки! — Он дружески ухватил Кинча за руку и потащил его к двери. Толпа сомкнулась вокруг обоих, выражая одобрение, и хлынула вслед за ними на улицу.

Трактир вмиг опустел. Это было просто чудо — никогда он не пустел так быстро и при возгласе хозяина: «Джентльмены, закрываем!» Минуту назад комната была битком набита — сейчас в ней оставался один только Роберт. Он стоял и смотрел на ошеломленного Эмура все с тем же мрачным, разочарованным видом... Выпил еще кружку. Наконец ушел и он.

На улице к толпе присоединилась большая группа молодежи, уличные мальчишки, зеваки. Не зная, что тут происходит, они чували злое возбуждение толпы. Раз Боксер несется вперед с воинственным видом, значит будет драка. И все устремились на Каупен-стрит. Юный Джо Гоулен затесался в самую гущу толпы.

Завернули за угол и очутились на Лам-стрит, но здесь, у лавки Ремеджа, их ожидало разочарование. Большая лавка была уже заперта и, пустая, неосвещенная, являла взорам лишь холод опущенных железных штор и вывеску на фасаде: «Джеймс Ремедж. Мясная». Даже окна нельзя было разбить!

— Заперто! — раздался рев Боксера. Водка бушевала в его крови. Он не отступит, нет! Ни за что! Найдутся другие лавки тут же, рядом с Ремеджем, и без железных штор, — например, лавка Бэйтса или Мэрчисона, бакалейщика, где дверь была просто заперта на засов с висячим замком. Боксер заорал снова: — Ничего, ребята, не сдадимся, — вместо Ремеджа примемся за Мэрчисона!

Разбежавшись, он поднял ногу и тяжелым сапогом изо всей силы ударил по замку. В эту минуту кто-то из напиравшей сзади

толпы швырнул кирпичом в окно. Стекло разлетелось вдребезги. Это решило все: звон разбитого стекла послужил как бы сигналом к разгрому лавки.

Толпа налегла на дверь, вышибла ее, ворвалась в лавку. Многие были пьяны, и все они уже несколько месяцев не видели настоящей еды. Толли Браун схватил окорок и сунул его под мышку. Старик Риди завладел несколькими жестянками компота. Боксер, совершенно забыв о больной дочке Уилла Кинча, возбуждавшей в нем только что пьяную слезливую жалость, выбил втулку у бочонка с пивом. Несколько женщин из гавани, привлеченные шумом, вслед за мужчинами протиснулись внутрь и начали панически хватать все: пикули, желе, мыло, — все, что попадалось под руку; они были слишком боязливы, чтобы выбирать, и попросту хватали и хватали, с лихорадочной поспешностью пряча все под свои шали. Уличный фонарь снаружи освещал эту картину холодным, резким светом.

О кассе вспомнил Джо Гоулен. Съестное его не интересовало — он, как и его папаша, был сыт до отвала, — а вот выручка могла пригодиться.

Встав на четвереньки, он, как ящерица, проскользнул среди ног толпившихся в лавке людей, заполз за конторку и отыскал денежный ящик. Не заперт! Злорадно посмеиваясь над беспечностью старого Мэрчисона, Джо сунул руку в кассу, загреб полную горсть серебра и преспокойно высыпал его к себе в карман. Затем, поднявшись, шмыгнул в дверь и пустился наутек.

В ту минуту, когда Джо выбегал из лавки, туда вошел Роберт, вернее — стал на пороге. Выражение тревоги на его лице медленно уступало место ужасу.

— Что вы делаете, товарищи?! — В голосе его звучала мольба: этот бунт, направленный по ложному пути, больно поразил его. — Ведь вы попадете в беду!

На него не обратили ни малейшего внимания. Он повысил голос:

— Говорю вам, прекратите это! Неужели вы не понимаете, дураки вы такие, что хуже ничего нельзя было придумать?! После этого нам уже никто не будет сочувствовать. Уходите!

Но его никто не слушал.

Судорога исказила лицо Роберта. Он двинулся было на толпу, но в этот миг шум за спиной заставил его обернуться, так что

свет фонаря упал на его лицо. Полиция! Роддэм из Гаванского участка и новый сержант со станции.

— Фенвик! — громко воскликнул Роддэм, сразу узнав Роберта, и схватил его за плечо.

На этот крик внутри лавки ответили еще более громкими криками:

— Полиция! Бегите, ребята, полиция!

И живая лавина неразличимо смешавшихся тел хлынула из лавки. Роддэм и сержант не пытались ее задержать. Они стояли в какой-то растерянности и дали всем уйти. Затем, все еще держа Роберта за плечо, Роддэм вошел в лавку.

— А вот и еще один, сержант! — крикнул он вдруг с торжеством.

Среди разграбленной, опустевшей лавки, беспомощно покачиваясь, сидел верхом на пивном бочонке Боксер Лиминг и, плавая в блаженстве, одним пальцем затыкал отверстие. Он был слеп и глух ко всему, что происходило вокруг.

Сержант оглядел Боксера, потом лавку, потом Роберта.

— Здесь нешуточное дело, — сказал он сурово, официальным тоном. — Вы — Фенвик? Тот самый, зачинщик забастовки?

Роберт твердо выдержал его взгляд. Он возразил:

— Я ничего не сделал.

— Да, конечно! Ничего не сделали!

Роберт открыл было рот, хотел объяснить, но в ту же минуту почувствовал, как безнадежна эта попытка. Он ничего не ответил сержанту, покорился. И его вместе с Боксером отвели в участок.

VII

Пять дней спустя, часов около четырех, Джо Гоулен беззаботно слонялся по Скоттсвуд-роуд, одной из улиц Тайнкасла, обследуя те окна, на которых висели объявления о сдаче комнат. Тайнкасл, этот полный движения и шума город севера с его кипучей суетой, светло-серыми домами, звоном трамваев, топотом ног, стуком молотков на верфи, милостиво поглотил Джо. Тайнкасл, всего на восемнадцать миль отстоявший от его родного Сликкейла, всегда привлекал Джо как город больших возможностей и приключений. Джо выглядел прекрасно: краснощекий, кудря-

вый, в ослепительно начищенных ботинках и с веселой миной человека, который знает, чего хочет. Однако при такой блестящей внешности Джо был окончательно на мели. Сбежав из дому, он успел прокутить те два фунта серебром, что украл у Мэрчисона, истратив их на развлечения, гораздо более легкомысленные, чем это можно было предположить по его добропорядочному виду: Джо побывал на хорах мюзик-холла «Эмпайр», в баре Лоу и тому подобных местах. Он покупал пиво, папиросы, самые красивые голубые открытки. А теперь, честно истратив последний шестипенсовик на стирку и наведение лоска, Джо подыскивал приличное жилье.

Он прошел по Скоттсвуд-роуд, мимо широких железных решеток скотопригонного рынка, мимо «Герцога Кумберлендского», через Пламмер-стрит и Эльсвикскую Восточную террасу. День был серый, без солнца, но сухой; на улицах царило веселое оживление, где-то внизу, на станции, внушительно свистел прибывающий поезд, и ему вторил с реки густой и низкий звук паровой сирены. Кипевшая вокруг жизнь возбуждала Джо. Мир представлялся ему чем-то вроде огромного, великолепного футбольного мяча у его ног, и он готовился с азартом гонять его.

Пройдя Пламмер-стрит, Джо остановился перед домом с вывеской: «Меблированные комнаты. Хорошие постели. Только для мужчин». Некоторое время он в раздумье созерцал дом, потом отрицательно покачав кудрявой головой, продолжал свою прогулку. Через минуту с ним поравнялась какая-то девушка, шедшая быстро в том же направлении, и обогнала его. У Джо глаза разгорелись, все его тело напряглось.

«Славная штучка, честное слово!» Маленькие ножки с тонкой циколоткой, стройная талия, красивые бедра, и голова поднята гордо, как у королевы. Глаза Джо жадно следили за ней. Девушка перешла улицу и, взбежав по ступенькам, торопливо вошла в дом № 117/А на Скоттсвуд-роуд.

Джо, как замороженный, остановился и облизал внезапно пересохшие губы. На окне дома 117/А висело объявление о сдаче комнаты. «Черт возьми!» — вырвалось у Джо. Он застегнул куртку и, решительно перейдя улицу, дернул звонок.

Открыла та самая девушка. Без шляпы она показалась Джо как-то ближе и милее. Она была даже красивее, чем он ожидал: на вид лет шестнадцать, тоненький носик, ясные серые глаза, вос-

ковое личико, на котором недавняя прогулка вызвала свежий румянец. Ушки у нее были крохотные и плотно прилегли к голове. Но лучше всего был рот — так мысленно решил Джо, — большой, не яркий, а нежно-розовый, с умопомрачительной впадинкой на верхней губе.

— Чего вам? — спросила она резко.

Джо скромно ей улыбнулся, опустил глаза и, сняв шапку, мял ее в руках. Никто лучше Джо не умел разыгрывать добродетельного простака, — он это делал в совершенстве.

— Извините за беспокойство, мисс. Я ищу комнату.

Ответной улыбки Джо не дождался. Девушка вздернула губку и недовольно посмотрела на него. Дженни Сэнли не нравилось, что мать вздумала пустить жильцов, хотя бы даже одного-единственного, в лишнюю комнату наверху. Она считала это «вульгарным», а «вульгарность» была в глазах Дженни непростительным грехом.

Она обдернула на себе блузку и, сунув руки за изящный лакированный пояс, сказала с некоторым высокомерием:

— Что ж, войдите, пожалуй.

Ступая с почтительной осторожностью, Джо прошел за ней в узкий коридор и тотчас уловил запах голубей и их воркование. Он поднял голову и посмотрел наверх, но голубей не заметил. Выходившая на площадку внутренней лестницы дверь ванной комнаты была открыта, и виднелось развешанное на веревке белье — длинные черные чулки и какие-то белые принадлежности туалета. «Это ее вещи», — с восхищением подумал Джо, но отвел глаза раньше, чем девушка успела покраснеть. Дженни все же покраснела от стыда за такое упущение, и голос ее вдруг прозвучал сердито, когда она, потрянув головой, объявила:

— Ну вот, тут, если хотите знать. Задняя комната.

Он вошел вслед за ней в эту «заднюю комнату» — маленькую, грязную, со следами пребывания множества жильцов, набитую старой ломаной мебелью с волосяными сиденьями; повсюду дешевые иллюстрированные журналы, сувениры из Уитли-Бэй, мешочки с кормом для голубей. На каминной доске важно восседали два домашних голубя. У огня, тихонько покачиваясь в скрипучем кресле-качалке, сидела в ленивой позе, с журналом «Домашняя болтовня» неряшливо одетая женщина, большеглазая, с целой копной волос, заколотых на макушке.

— Вот, ма, тут пришли насчет комнаты. — Дженни с надменным видом села на диван со сломанными пружинами и схватила измятый журнал, всячески стараясь показать, что не желает больше принимать никакого участия в этом деле.

Миссис Сэнли продолжала безмятежно покачиваться. Разве только удар грома, возвещающий конец света, мог заставить Аду Сэнли переменить удобное положение на неудобное. Она постоянно заботилась о своих удобствах: то снимет туфли, расстегнет корсет, то примет немного соды, чтобы не было отрыжки, то нальет себе чашку чаю, то присядет отдохнуть и почитает газету, пока закипает чайник. Это была жирная, благодушная, мечтательная неряха. Иногда она принималась пилить мужа, но большей частью пребывала в беззаботном равнодушии ко всему окружающему. В молодости Ада была прислугой «в одном почтенном семействе», как она всегда усиленно подчеркивала. Она любила смотреть на молодой месяц, была романтична и суеверна: никогда не надевала ничего зеленого, никогда не проходила под лестницей и, если просыпала соль, непременно бросала щепотку через левое плечо. Она обожала увлекательные романы, особенно такие, где в конце концов героине-брюнетке удается «поймать» героя. Аде хотелось разбогатеть — она постоянно участвовала в разных конкурсах, главным образом на шуточные стишки, и всегда надеялась выиграть кучу денег. Но стихи Ады были безнадежно плохи. Ее часто осеняли неожиданные идеи (в семье их называли «мамины фантазии»): переменить обои в комнате, или обить диван красивым розовым плюшем, или заново эмалировать ванну, или уехать в деревню, или открыть гостиницу либо галантерейный магазин, или даже написать рассказ, — она была убеждена, что у нее «талант». Но ни одно из этих намерений Ады никогда не осуществлялось. Ада никогда не покидала надолго своей качалки. Ее супруг Альф говаривал кротко: «Боже мой, Ада, какая ты неугомонная!»

— О, а я думала, что это из клуба, — сказала она в ответ на слова Дженни. Затем, помолчав, спросила: — Так вам нужна комната?

— Да, мэм.

— Мы сдадим только одинокому молодому человеку. — Разговаривая с кем-нибудь в первый раз, Ада всегда принимала томный вид, но томность эта очень быстро с нее соскакивала. — Наш

последний жилец выехал неделю тому назад. Вы хотите комнату с частичным пансионом?

— Да, мэм, если это вас не затруднит.

— Вам придется обедать с нами за общим столом. Семья у нас из шести человек: я, муж, Дженни — вот эта самая, ее целый день дома не бывает, она служит у Слэттери, — потом Филлис, Клэрис и Салли, самая младшая. — Ада помолчала и оглядела Джо, на этот раз пытливо. — А между прочим, вы кто такой? И откуда?

Джо смиренно потупил глаза. Он вдруг струсил: он вошел сюда просто так, шутки ради, чтобы посмотреть, что из этого выйдет, но теперь почувствовал, что должен снять у них комнату, что это ему просто необходимо. Эта Дженни — прелесть, лакомый кусочек, она его прямо-таки с ума свела. Но что отвечать, черт возьми?! Вихрь подходящих к случаю выдумок пронесся у него в голове, но он сразу же все их отверг. Где у него багаж, где деньги, чтобы дать задаток? Дьявольское положение! Его даже пот прошиб, и он уже был близок к отчаянию, как вдруг его осенила мысль, что самое разумное — сказать правду. «Да, да, правду, — ликовал он внутренне, — но, конечно, не всю правду, а что-нибудь похожее на правду». Он вскинул голову и, посмотрев Аде прямо в глаза, сказал с застенчивой прямоотой:

— Я бы мог наврать вам с три короба, мэм, но лучше уж скажу вам всю правду: я сбежал из дому.

— Господи помилуй! Слыхано ли что-нибудь подобное!

Журнал упал на колени, даже качалка на этот раз остановилась. Миссис Сэнли и Дженни обе с интересом уставились на Джо. Лучшими традициями романтики повеяло в этой затхлой комнате.

Джо продолжал:

— Мне страшно тяжело жилось и стало уже немогогу. Мать умерла, а отец стегал меня ремнем так, что я едва на ногах держался. У нас в шахтах бастовали и все такое... Я... я голодал. — Глаза Джо выражали мужественно сдерживаемое волнение. «Замечательно! Замечательно придумано! Теперь я их окончательно приручил!»

— Значит, матери у вас нет? — спросила Ада чуть слышно.

Джо молча покачал головой. Все, что нужно, было сказано.

Ада с возрастающим сочувствием рассматривала своими большими кроткими глазами этого чистенького, аккуратно причесан-

ного и красивого юношу. «Он немало узнал горя, бедняга, — думала она, — и к тому же он прехорошенький». Ей нравились его блестящие карие глаза и кудрявые волосы. Но кудри кудрями, а квартирная плата квартирной платой — одно другого не заменит, конечно... А тут еще приходится думать об уроках музыки для Салли... Ада снова принялась покачиваться. При всей своей лени и беспечности Ада Сэнли была далеко не глупа. Она взяла себя в руки.

— Послушайте, — она перешла на деловой тон, — ведь вы же не можете жить у нас из милости. Вам следует найти себе работу, постоянную работу. Вот, кстати, мой Альф сегодня говорил, что в Ерроу, на чугунолитейном заводе Миллингтона, набирают рабочих. Знаете, это по дороге в Плэтт-лейн. Попытайте там счастья. Если удастся, приходите опять сюда. Если нет — не приходите.

— Хорошо, мэм.

Джо сохранял мину строгой добродетели до тех пор, пока не вышел от Сэнли, но тут он в экзальтации большими прыжками помчался через улицу.

— Эй ты, рожа! — Он сгреб за воротник проходившего мальчика-посыльного. — Укажи дорогу к заводу Миллингтона или я сверну тебе шею!

Джо чуть не бегом направился в Ерроу; а идти пришлось далеко, очень далеко. На заводе он лгал бесстыдно и вдохновенно и показал мастеру свои мускулы. Ему повезло: здесь очень нужны были рабочие руки, и он был принят в качестве подручного пудлинговщика за двадцать пять шиллингов в неделю. По сравнению с заработком на шахте это было целым состоянием. И к тому же здесь, в Тайнкасле, есть Дженни, Дженни, Дженни!

Он отправился обратно на Скоттсвуд-роуд, стараясь идти медленно, обуздывая себя увещаниями, что надо быть осмотрительным, ничего не делать наспех, налаживать все постепенно. Но когда он оказался снова в «задней комнате» у Сэнли, его ликование бурно прорывалось сквозь тонкую броню осторожности.

Вся семья была в сборе, только что отпили чай. Ада сидела, развалившись, во главе стола, рядом с ней — Дженни. Дальше, одна за другой, три младшие дочери: тринадцатилетняя Филлис, апатичная блондинка, вылитый портрет матери, Клэрис, длинноногая брюнетка одиннадцати с половиной лет, — волосы у нее были перевязаны красивой алой лентой с коробки шоколада, принад-

лежавшей Дженни, — и, наконец, Салли, забавное десятилетнее существо с таким же большим ртом, как у Дженни, и с сердитыми черными глазами, смотревшими на людей пристально и настороженно. В конце стола сидел Альфред, муж Ады, отец четырех девочек, глава семьи, — невзрачный, сутулый мужчина с одуловатым лицом, водянистыми глазами и жиденькими желто-бурыми усами. У него было растяжение шейных мускулов, и поэтому он не носил воротничка. Альфред был по профессии маляр и в свое время немало наглотался свинцовых белил, пока накладывал их на фасады тайнкаслских домов. Свинцу он был обязан землистым цветом лица, сильными болями в желудке и синеватыми деснами. Но в растяжении шейных мускулов виновато было не ремесло маляра, а голуби. Альф был страстным любителем голубей, сизых, красноватых, пестрых, прелестных премированных домашних голубей. И, выпуская голубей, следя за их полетом в небесной синеве, Альф постепенно искривил себе шею.

Оглядев всех, Джо радостно воскликнул:

— Меня приняли! Завтра начинаю работать. Двадцать пять монет в неделю!

Дженни демонстративно не узнавала его. Зато Ада с обычной томностью выразила удовольствие:

— Вот видите, я же вам говорила! Мне вы будете платить пятнадцать в неделю, так что у вас будет оставаться чистых десять. Конечно, только вначале, потому что вам скоро дадут прибавку. Пудлинговщики хорошо зарабатывают.

Она тихонько зевнула в руку, потом кое-как очистила местечко на загроможденном столе:

— Садитесь и закусывайте. Клэри, принеси из кухни чашку и блюдечко и будь умницей — сбегай к миссис Гризли, возьми на три пенса ветчины, да смотри, чтобы она тебя не обвесила. Для первого раза надо угостить вас чем-нибудь повкуснее. Альф, это мистер Джо Гоулен, наш новый жилец.

Альф перестал медленно жевать намоченный в чае сухарь и приветствовал Джо коротким, но выразительным кивком, Клэри влетела с вымытой чашкой и блюдцем. Джо налили черного, как чернила, чаю, затем появилась и ветчина и полбулки, а Альфред торжественно подал ему через стол горчицу.

Джо уселся рядом с Дженни на волосяном диване. Его опьяняло соседство этой девушки и мысль о том, как замечательно

у него все вышло. Дженни была очаровательна, и никогда еще он не испытывал такого сильного, такого властного желания. Он изо всех сил старался понравиться, пленить всех, — но не Дженни, конечно. О господи, конечно нет! Джо знал, как надо действовать. Он улыбался своей открытой сердечной улыбкой, он болтал, втянув всех в непринужденный разговор, придумывал анекдоты из своей прошлой жизни; он говорил Аде комплименты, шутил с девочками, он даже рассказал одну вполне приличную и очень забавную историю, которую однажды слышал на концерте, устроенном обществом «Надежда». Он не то чтобы по-настоящему состоял в обществе «Надежда», нет, просто вступил накануне концерта, а наутро после него сразу же отмежевался от этого благочестивого братства. Рассказ имел успех у всех, за исключением Салли, которая отнеслась к нему презрительно, и Дженни, чье высокомерное равнодушие ничем нельзя было поколебать. Зато Ада покатывалась со смеху, упершись руками в жирные бока и роняя шпильки из прически:

— И Бонс нашел муху в своей ежевичной настойке! Ну и история, я вам доложу, мистер Гоулен!

— Пожалуйста, зовите меня просто Джо, миссис Сэнли. Смотрите на меня как на члена вашей семьи.

Он начинает их завоевывать. О, он скоро всех их завоеует! Восторг ударил ему в голову, как вино. Да, это верный путь, он сумеет добиться всего, он сумеет ухватиться за жизнь, выжать из нее все, что можно. Он пойдет далеко, будет иметь все, чего ему захочется, все, все, — вот увидите!

Потом Альф предложил Джо посмотреть, как он кормит своих голубей. Они вышли во двор; здесь жемчужно-серые птицы чистили перья клювом и то высовывали головки из самодельной голубятни Альфа, то прятались снова, деликатно поклевывая корм. Альф, который при жене был тише воды, ниже травы, теперь сразу преобразился в героического мужчину и высказывал веские мнения не только о голубях, но и о пиве, патриотизме и о шансах Спирминта на скачках в Дэрби. С Джо он был приветлив и обращался с ним, как с младшим товарищем. Но Джо жаждал вернуться туда, где была Дженни. Докурив папиросу, он извинился и поспешил обратно в дом.

Дженни была одна в угловой комнате. Она по-прежнему сидела на диване, углубившись в чтение журнала.

— Извините, — пролепетал Джо. — Я хотел попросить, чтобы вы указали мне мою комнату.

Она даже не опустила журнал, который держала, изящно согнув мизинец:

— Вам ее укажет кто-нибудь из девочек.

Но он не уходил.

— А вы не прогуливаетесь по вечерам в свой свободный день? Вот сегодня, например?

Никакого ответа.

— Вы служите в магазине, да? — терпеливо попытался он снова завязать разговор. Он смутно помнил, что Слэттери — это, кажется, большой мануфактурный магазин с зеркальными витринами на Грэйнджер-стрит.

Дженни наконец удостоила его взглядом.

— А если и в магазине — вам-то что? — отрезала она. — Вас это не касается. И вообще, я не «служу». Это вульгарное, простонародное выражение, я его не выношу. Я состою в штате у Слэттери, в отделении шляп, там самая чистая и тонкая работа. Ненавижу все грубое и вульгарное! И больше всего не выношу мужчин, которые делают грязную работу.

И она рывком снова подняла журнал. Джо в раздумье потирал подбородок, пожирая глазами всю ее — от тонких лодыжек и стройных бедер до красивых маленьких грудей. «Вот как, ты не любишь мужчин, которые занимаются грязной работой? — думал он, усмехаясь про себя. — Ладно, подожди. Ты полюбишь такого мужчину».

VIII

Марта переживала это как тяжкий позор. Никогда ей и не снилось такое, никогда в жизни! Ужас! Стряпая на кухне, то пробуя вилкой, готова ли картошка, то поднимая крышку с кастрюли, чтобы посмотреть, как тушится мясо, она старалась не думать о том, что случилось. Но ничего не выходило, она не могла не думать. Тщетно боролась она с собой, гнала прочь мысли о том, что она, Марта Редпас, дожила до такого позора. Редпасы всегда были приличными людьми. В ее роду все были честные сектанты, честные углекопы. Она могла с гордостью перебрать предста-

вителей целых четырех поколений и не отыскать ни единого пятна на их репутации. Все честно работали под землей и наверху тоже вели себя как порядочные люди. А теперь? Теперь она уже не Марта Редпас, а Марта Фенвик, жена Роберта Фенвика. А Роберт Фенвик — в тюрьме.

Гримаса горечи исказила ее лицо. В тюрьме! Ее обожгло воспоминание об этой сцене, как обжигало сотни раз: Роберт на скамье подсудимых, рядом с Лимингом, — и надо же, чтобы вместе с таким, как Лиминг! — а этот красноречивый грубиян Джеймс Ремедж — за судейским столом. Он не церемонился и говорил напрямик все, что думал. Марта была на суде, она не могла не пойти. Да, была, и видела, и слышала все. «На три недели, без замены штрафом». Она чуть не вскрикнула, когда Ремедж прочел приговор. Ей казалось, что она сейчас умрет. Но гордость помогла ей взять себя в руки, сделать каменное лицо. Гордость поддерживала ее все эти жуткие дни, помогла ей даже сегодня, когда жена Боксера Лиминга, возвратившаяся из города с новостями, подстерегла ее, Марту, на углу и с громогласным сочувствием объявила, что «наши мужья» будут выпущены в субботу. «Наши мужья... Выпущены!»

Посмотрев на часы (первая вещь, которую Сэм выкупил для нее из заклада), она подтащила к огню жестяную лохань и принялась носить кипяток из прачечной. Она черпала воду железным ведром, и хождение с тяжелой ношей сильно измучило ее. Последнее время ей нездоровилось, и сейчас тоже она ощущала слабость и головокружение. Начинались боли. На минутку пришлось остановиться, пока немного не утихнут схватки. «Это все из-за волнения», — подумала Марта. Ведь она женщина крепкая. Ей казалось, что ей было бы легче, если бы ребенок внутри подавал какие-нибудь признаки жизни, но он не шевелился, она чувствовала только тянущую боль и тяжесть в животе.

Пробило пять часов, и очень скоро с улицы донесся топот — медленные, тяжелые шаги утомленных людей. Работать девять часов в смену, а потом еще взбираться на самый верх холма, на Террасы... Но это хорошая, честная работа, на ней они выросли, и она тоже. Ее сыновья молоды и сильны. Они шахтеры. И другой работы она для них не желала.

В ту минуту, как она это подумала, дверь открылась, и вошли все трое: впереди Гюи, за ним Дэвид и последним Сэмми, тащивший под мышкой кусок распиленного бревна на растопку. Ми-

лый Сэмми! Всегда позаботится о матери! Теплая волна умиления пробилась сквозь холодную тоску в сердце, и Марте вдруг захотелось обнять Сэмми и заплакать.

Сыновья следили за выражением лица матери. В последние дни дома царил гнетущая атмосфера. Марта была с ними резка и придиричива. Она это сознавала, видела, что они с опаской всматриваются в ее лицо, и, хотя она сама была в этом виновата, ее это задело.

— Ну, как дела, мать? — Сэмми улыбнулся, и его белые зубы сверкнули на черном фоне угольной пыли, которая, смешавшись с потом, коркой облепила ему лицо.

Марте нравилось, что он называл ее «мать», а не «ма», как было принято у них в предместье. Но она только указала кивком головы на приготовленную ванну с водой и, отвернувшись, принялась накрывать на стол.

Несмотря на присутствие матери, все трое сняли башмаки, куртки, фуфайки и брюки — рабочий костюм шахтера, насквозь пропитанный потом, водой и грязью шахты. Раздевшись догола, они стали все вместе мыться в жестяной ванне, из которой поднимался пар. Теснота обычно не мешала им дружелюбно шутить. Но сегодня шутки слышались редко. Сэм, правда, пробовал поддразнивать Дэви и смеялся:

— Над ванной мойся, ты, бегемот! — А потом: — Эй, парень, где мыло? Ты проглотил его, что ли?

Но в шутках этих не было настоящего веселья. Гнет, нависший над домом, мрачное лицо Марты парализовали его. Братья оделись на этот раз без обычных дурачеств и, почти не разговаривая, сели обедать.

Обед был отличный — большие порции аппетитного мяса, тушеного с луком и картофелем. Марта всегда готовила прекрасные обеды: она понимала, как много значит обед для рабочего человека. Теперь, слава богу, эта несчастная забастовка прекратилась и можно кормить своих досыта. Она сидела и наблюдала, как они едят, снова наполнила их тарелки. Самой ей не хотелось есть, она только выпила чаю. Но даже от чая ей не стало лучше. Какая-то блуждающая боль началась в пояснице, защемила грудь и исчезла раньше, чем Марта поняла, что это за боль.

Сыновья кончили обед. Первым поднялся Дэвид и отошел в угол, где хранились его книги, потом уселся на низенькую табуретку у очага с карандашом и записной книжкой, положив ее

на колени. «Латынь, — подумала огорченно Марта, — он может теперь заниматься латынью!» И эта мысль, мелькнувшая среди других, горьких, почему-то вызвала раздражение. Вот тоже одна из затей Роберта — это учение: он хочет, чтобы мальчик в будущем году поступил в колледж, держал экзамен на стипендию, — и Дэви лезет из кожи. Роберт послал его учиться в вечернюю школу к мистеру Кэрмайклу на Бетель-стрит. А она, Марта, насчитывавшая в своем роду длинный ряд предков-углекопов, гордилась этим, презирала книги и чувствовала, что из этого учения ничего хорошего не выйдет.

Вслед за Дэви встал из-за стола Гюи, отправился в прачечную и принес оттуда молоток, колодку, свои старые футбольные башмаки и дюжину новых сапожных гвоздей. Он присел на корточки в дальнем углу кухни, в стороне от остальных, и, наклонив темную, еще блестящую от воды голову, начал подбивать гвоздями башмаки, как всегда молчаливый, сосредоточенный. В прошлую субботу он из своей получки утаил от матери шестипенсовик — просто оставил его себе, не сказав ей ни слова об этом. Марте нетрудно было догадаться для чего. Футбол! Дело тут не только в увлечении спортом, хотя Гюи и обожал спорт. Нет, нет, у Гюи была более серьезная цель: Гюи хотел стать чемпионом, футболистом высокого класса, получающим шесть фунтов в неделю за величайшую ловкость в игре, — вот в чем заключалась тайна Гюи, его заветная мечта. Оттого он отказывался от папирос и даже от стакана пива по воскресеньям, оттого он не встречается с девушками (Марта знала, что Гюи никогда не смотрит ни на одну из них, хотя очень многие девушки заглядывались на него), оттого он носился по вечерам, пробегая целые мили, — это называлось тренировкой. Марта не сомневалась, что, как бы Гюи ни был утомлен, он уйдет, как только починит свои башмаки.

Она нахмурилась еще сильнее. Спартанские привычки Гюи она от всей души одобряла, ничто не могло быть лучше. Но цель! Бросить шахту? И он тоже жаждал уйти из шахты! Марта не верила в его ослепительную мечту и не боялась, что она может осуществиться, но ее тревожила эта страсть Гюи — да, она ее очень заботила.

Инстинктивно глаза ее обратились на Сэма, который еще сидел за столом и черенком вилки беспокойно выводил на клеенке узоры. Он, видно, почувствовал взгляд матери — тотчас в смущении положил вилку и встал. Засунув руки в карманы, он минуты

две слонялся по кухне, подошел к квадратному зеркальцу, висевшему над раковиной, взял гребень с полочки, намочил его и старательно расчесал волосы на пробор, потом достал висевший на перекладине у очага чистый воротничок, который мать накрахмалила и выгладила только сегодня утром, надел его, завязал поновому галстук, прифрантился; затем, удовлетворенно насвистывая, схватил шапку и весело направился к двери.

Лежавшая на коленях рука Марты сжалась так сильно, что костяшки пальцев торчали, как острия.

— Сэмми!

Сэм, уже на пороге, обернулся, словно в него выстрелили.

— Куда ты, Сэмми?

— Ухожу, мать.

Его улыбка не смягчила ее, она не хотела ее замечать.

— Вижу, что уходишь. Но куда?

— Пройдусь по улице.

— По Кэй-стрит?

Сэм посмотрел на нее. Его простодушное некрасивое лицо вспыхнуло и приняло упрямое выражение:

— Да, если желаешь знать, мама, я иду на Кэй-стрит.

Значит, инстинкт ее не обманул: он идет к Энни Мэйсер. Марта терпеть не могла Мэйсеров, ей не внушали никакого доверия этот непутевый отец и бешеный Пэг Мэйсер, его сын. То были люди такого же сорта, как Лиминги, — не особенно почтенные. Они даже не были шахтерами, а принадлежали к «рыбацкой братии», державшейся особняком и не имевшей верного заработка. У этих людей, по выражению Марты, было «сегодня густо, завтра пусто», один месяц объедались, другой — закладывали и лодку и сети. Против самой Энни Марта ничего не имела, — люди говорили, что она славная девушка. Но Сэмми она не пара. У нее бог знает какая родня, она торгует рыбой вразнос и даже как-то, когда выдался плохой год, нанялась в Ярмуте потрошить сельдей. Чтобы Сэмми, ее любимый сын, которого она надеялась увидеть когда-нибудь лучшим забойщиком «Нептуна», женился на какой-то уличной торговке? Никогда! Никогда! Марта тяжело перевела дух.

— Я не хочу, чтобы ты сегодня вечером уходил из дому, Сэмми.

— Но я обещал, ты же знаешь, мама. Мы идем гулять с Пэггом Мэйсером. И Энни с нами.

— Все равно, Сэмми. — Ее голос стал неприятно резким и скрипучим. — Я не хочу, чтобы ты туда шел.

Сэм посмотрел на нее в упор, и в его глазах, кротких, как у преданной собаки, она прочла неожиданную решимость.

— Энни меня ждет, мать. Ты извини, но мне надо идти.

Он вышел и очень тихо закрыл за собой дверь.

Марта сидела как окаменелая: в первый раз в жизни Сэмми ее послушался. У нее было такое чувство, словно он дал ей пощечину. Заметив, что Дэвид и Гюи украдкой на нее поглядывают, она попыталась взять себя в руки — встала, убрала со стола, трясущимися руками перемыла посуду.

Дэвид сказал:

— Давай, мама, я перетру все.

Она покачала головой, сама перетерла тарелки и села чинить одежду сыновей. С некоторым трудом вдела нитку в иглу, достала старую рабочую фуфайку Сэмми, в стольких местах штопанную и заплатанную, что уже почти не видно было фланели, из которой она первоначально была сделана. При виде этой старой фуфайки шахтера у Марты сжалось сердце. Она вдруг почувствовала, что была слишком резка с Сэмми, обошлась с ним не так, как следовало бы. Не Сэм виноват, а она. Эта мысль взволновала Марту, и глаза ее затуманились. Сэм сделал бы для нее что угодно, если бы она поговорила с ним по-хорошему!

Она принялась было чинить фуфайку, как вдруг снова почувствовала боль в пояснице. На этот раз боль была злая, пронизывающая, и Марта мгновенно поняла, что это означает. Она с ужасом выжидала. Боль утихла, потом возобновилась. Молча, без единого слова, Марта поднялась и вышла через заднюю дверь. Она двигалась с трудом. Вошла в чулан. «Да, началось».

Выйдя из чулана во двор, она с минуту стояла среди вечернего мрака и безмолвия, одной рукой опираясь на низкую ограду, другой — придерживая свой тяжелый живот. Вот оно и пришло, а муж в тюрьме. Какой срам! И на глазах у взрослых сыновей! На вид непроницаемая, как окружавший ее мрак, Марта торопливо соображала: нельзя звать ни доктора Скотта, ни миссис Риди, повитуху. Роберт безрассудно ухлопал все их сбережения на эту забастовку. У нее долги, она не может, не должна допускать новых расходов. В одну минуту решение было принято.

Она воротилась в дом:

— Дэвид! Сбегай к миссис Брэйс. Попроси ее зайти ко мне сейчас же.

Дэвид, встревоженный, вопросительно посмотрел на мать. Марта никогда особенно не благоволила к Дэвиду, он был любимцем отца, но в эту минуту выражение его глаз тронуло ее. Она сказала ласково:

— Беспokoиться не о чем, Дэви. Мне просто нездоровится.

Когда мальчик поспешно вышел, она отперла комод, где хранила свой скудный запас белья; затем, неловко ступая, с трудом переставляя ноги, взобралась по лестнице наверх, в спальню сыновей.

Миссис Брэйс, ближайшая соседка, пришла сразу же. Это была добродушная женщина, страдавшая одышкой, очень тучная. Бедняжка выглядела так, словно и сама ожидала ребенка. На самом же деле у Ханны Брэйс была пупочная грыжа, следствие частой беременности, и, несмотря на то что муж ее Гарри каждый год клятвенно обещал ей купить к Рождеству бандаж, бандажа у нее до сих пор не было. Каждый вечер, ложась спать, она усердно вправляла выпирающую массу, и каждое утро эта масса снова вылезала. Ханна почти привыкла к своей грыже, говорила о ней с близкими людьми так, как говорят о погоде. Грыжа была для нее любимой темой разговора.

Ханна с такими же предосторожностями, как и Марта, поднялась по лестнице и скрылась в комнате наверху.

Дэви и Гюи сидели в кухне. Гюи бросил чинить башмаки и делал вид, что с интересом читает газету. Дэвид тоже притворялся, будто читает. Но время от времени они обменивались взглядами, чувствуя, что там, наверху, совершается что-то таинственное, и каждый видел в глазах другого выражение какого-то смутного стыда. Нет, только подумать! Это происходит с их собственной матерью!

Из спальни наверху доносился лишь шум тяжелых шагов миссис Брэйс, и больше ничего. Один раз она крикнула вниз, чтобы принесли горячей воды. Дэви отнес ей чайник.

В десять часов вернулся Сэм. Он вошел бледный, стиснув зубы, ожидая ужаснейшей сцены. Мальчики рассказали ему, что случилось. Сэм покраснел (он вообще легко краснел), раскаяние охватило его, — он был незлопамятен.

— Бедная мама, — сказал он, глядя на потолок.

На бóльшее проявление нежности никто из них никогда не решился бы.

В три четверти одиннадцатого миссис Брэйс, расстроенная и озабоченная, сошла вниз с небольшим свертком, завернутым в газету... Она вымыла под краном испачканные чем-то красным руки, напилась холодной воды, потом обратилась к Сэмми, как к самому старшему.

— Девочка, — сказала она. — Прехорошенькая, но мертвая. Да, родилась мертвой. Я все сделала не хуже, чем миссис Риди, не сомневайтесь. Но ничем уже нельзя было помочь... Завтра приду убирать маленькую. Ты снеси-ка матери наверх чашку какао. Ей уже немножко лучше. А мне надо идти готовить моему хозяину завтрак к первой смене.

Она осторожно подняла сверток, ласково улыбнулась Дэвиду, заметившему, что сквозь газету протекает что-то красное, и заковыляла из кухни.

Сэм сварил какао и понес наверх. Он оставался там минут десять. Когда он спустился вниз, лицо у него было желто-серое, как глина, на лбу выступил пот. Сэм вернулся со свидания с любимой девушкой — и увидел лицом к лицу смерть.

Дэвид надеялся, что Сэм заговорит, расскажет, лучше ли матери. Но Сэм сказал только:

— Ложитесь спать, ребята. Мы все трое ляжем здесь, на кухне.

На другое утро, во вторник, миссис Брэйс пришла проводить Марту и, как обещала, обмыть и обрядить мертвого ребенка.

Дэвид вернулся из шахты раньше других: в эту ночь ему повезло, он поднялся наверх сразу и на две клетки обогнал главную смену. Когда он пришел домой, в кухне было еще полутемно. На кухонном столе лежал трупик девочки.

Дэвид подошел ближе и стал рассматривать ее со странной смесью страха и благоговения. Она была такая маленькая, ручонки не больше лепестка белой кувшинки, на крохотных пальчиках не было ногтей. Он мог бы одной своей ладонью закрыть все ее личико. Точеное, белое, как мрамор, оно было прелестно. Синие губки полуоткрыты, словно в удивлении, что жизнь не наступила. Миссис Брэйс с искусством настоящей профессионалки заткнула ей рот и ноздри ватой. Глядя через плечо Дэвида, она не без гордости объявила:

— Чудо как хороша. Но твоя мама, Дэви, не хочет, чтобы она лежала у нее наверху.

Дэвид вряд ли слышал ее. Упрямое возмущение росло в его душе, пока он смотрел на это мертворожденное дитя. Почему так должно было случиться? Почему его мать была лишена той пищи, того ухода и внимания, которые требовались в ее положении? Почему этот ребенок не живет, не улыбается, не сосет грудь?

Дэвида это мучило, будило в нем бешеный гнев. Как тогда, когда Скорбящий и его жена накормили его, в нем что-то болезненно трепетало, как натянутая струна. И снова он со всей сумбурной страстностью юной души давал себе клятву что-то сделать... Что-то... он не знал, что именно, не знал как... Но он сделает!.. Он нанесет сокрушительный удар гнусной бесчеловечности окружающей жизни.

Сэм и Гюи вошли одновременно. Посмотрели на малютку. Не переодеваясь, пообедали жареной грудинкой, которую приготовила миссис Брэйс. Обед был не так вкусен, как всегда, картошка не разварилась, в ванне было мало горячей воды, в кухне грязно и все вверх дном — чувствовалось отсутствие матери.

Попозже, когда Сэмми пришел сверху, он исподтишка посмотрел на братьев и сказал как-то натянуто:

— Она не хочет, чтобы были похороны. Я толковал ей, толковал, а она не хочет, и все, — говорит, что после забастовки мы не можем тратить таких денег.

— Но ведь это обязательно, Сэмми! — воскликнул Дэвид. — Спроси у миссис Брэйс...

Миссис Брэйс послали уговаривать Марту. Но и это не помогло — Марта была неумолима. С холодной горечью думала она об этом ребенке, которого она не хотела и который теперь уже не нуждался в ней. Закон не требует, чтобы мертворожденных хоронили по обряду. И не надо никаких похорон, всех этих церемоний, которыми обставляют смерть.

Гюи, мастер на все руки, сделал аккуратный гробик из простых досок, внутри его выстлала чистой белой бумагой и уложили трупик на это незатейливое ложе. Потом Гюи приколотил крышку. Поздно ночью, в четверг, Сэм взял гробик под мышку и вышел один. Он запретил Гюи и Дэви идти за ним. Было темно и ветрено. Мальчики не знали, куда ходил Сэм, пока он не вернулся и не рассказал им. Оказалось, что он занял пять шиллингов у Пэга Мэйсера, старшего брата Энни, заплатил Джиддису, кладбищенскому сторожу, и Джиддис позволил ему тайно зарыть ребенка в углу кладбища. Часто потом Дэвид думал об этой могилке,

которую Сэм сровнял с землей. Он так никогда и не узнал, в каком месте она находится. Ему было только известно, что неподалеку от участка нищих. Это ему удалось выпытать у Сэма.

Прошла пятница, настала суббота — день выхода Роберта из тюрьмы. Марта родила в понедельник вечером, а в субботу днем она была уже на ногах и ожидала. Ожидала его, Роберта.

Он пришел в восемь часов, когда она была одна на кухне и стояла, наклонясь над огнем; вошел так тихо, что она не заметила его, пока знакомый кашель не заставил ее круто обернуться. Муж и жена в упор смотрели друг на друга, он — спокойно, беззлобно, она — с терпкой горечью, мрачным огнем пылавшей в ее глазах. Оба молчали. Роберт бросил шапку на диван и сел к столу движением очень усталого человека. Марта тотчас подошла к печке, вынула гревшийся для него обед, поставила перед ним тарелку — все в том же зловещем молчании.

Роберт начал есть, время от времени бросая беглые взгляды на ее фигуру, взгляды, в которых читалась просьба о прощении. Наконец спросил:

— Что тут с тобой приключилось, детка?

Она задрожала от гнева:

— Не смей больше называть меня так.

Тогда он понял. В нем шевельнулось что-то вроде удивления.

— Мальчик или девочка? — спросил он.

Марта знала, что ему всегда хотелось иметь дочку. И, чтобы сделать ему больно, рассказала, что дочь родилась мертвой.

— Вот, значит, как!.. — сказал он со вздохом. И, помолчав, добавил: — Плохо тебе приходилось это время, детка?

Это было уж слишком. Марта не сразу удостоила его ответом. Со скрытым ожесточением убрала пустую тарелку, поставила перед ним чай и только тогда сказала:

— Я привыкла к плохому. Хорошего не знавала с того дня, как вышла за тебя.

Роберт вернулся домой в самом миролюбивом настроении, но злобные выходки жены разгорячили усталую кровь.

— Я не виноват, что все так случилось, — сказал он с не меньшей горечью, чем Марта. — Ты, надеюсь, знаешь, что меня посадили ни за что.

— Нет, этого я не знаю, — возразила она, подбоченясь и вызывающе глядя ему в лицо.

— Они хотели со мной рассчитаться за забастовку, неужели ты не понимаешь?

— И это меня ничуть не удивляет! — ответила она, задыхаясь от гнева.

Тут у Роберта лопнуло терпение. Господи, да что он сделал плохого? Он убедил людей бастовать, потому что страшно боялся за них с тех пор, как начались работы в Скаппер-Флетс. А в конце концов они же над ним глумились. Им на него плевать, — вот допустили, чтобы его без всякой вины посадили в тюрьму. Яростное возмущение забушевало в нем, возмущение против Марты и против своей судьбы. Он размахнулся и ударил Марту по лицу.

Она не дрогнула, приняла удар даже с каким-то удовлетворением, ноздри ее раздулись.

— Спасибо, — сказала она. — Мило с твоей стороны. Только этого и ждала.

Роберт тяжело опустился на стул, побледнев еще больше, чем она, и закашлялся своим глухим, надрывным кашлем. Этот кашель лишил его сил. Когда приступ прошел, Роберт сидел согнувшись, совсем разбитый. Через некоторое время встал, разделся и лег на стоявшую в кухне кровать.

На другой день, в воскресенье, он хотя и проснулся в семь часов утра, но оставался в постели до полудня. Марта встала рано и ушла в церковь. Она заставила себя пойти туда, выдерживать любопытные взгляды, знаки пренебрежения и выражения сочувствия со стороны прихожан Бетель-стрит, отчасти в пику Роберту, отчасти же для того, чтобы поддержать свое достоинство.

Обед был настоящим мучением, в особенности для мальчиков. Они терпеть не могли те дни, когда у отца с матерью дело доходило до открытой ссоры. Эти ссоры словно парализовали всех, тучей нависали над ними.

После обеда Роберт пошел в контору копей. Он ожидал увольнения, но оказалось, что его не уволили. У него мелькнула смутная догадка, что здесь сыграла роль его дружба с Геддоном, полномоченным шахтеров, и с Гарри Нэджентом, одним из лидеров Союза. Хозяин, видно, опасался, как бы не вышло конфликта с Союзом, и благодаря этому его, Роберта, оставили на работе в «Нептуне».

Он пошел прямо домой, посидел с книгой у огня, потом молча улегся в постель. Его разбудил гудок, в два часа он был уже в шахте, так как работал в первой, утренней смене.

Весь день Марта ждала его возвращения. Неутихшая злоба все так же бушевала в ней. Она ему покажет, рассчитается с ним за все!.. Она беспрестанно поглядывала на часы, желая, чтобы время шло поскорее.

Сменившись, Роберт пришел домой совершенно разбитый и промокший до костей. Марта готовилась донимать мужа враждебным молчанием, но его жалкий вид неожиданно утишил всю глодавшую ее злобу.

— Что это с тобой? — вырвалось у нее инстинктивно.

Роберт оперся о стол, стараясь удержать кашель, с трудом переводя дух.

— Они уже принялись строить каверзы, — сказал он, намекая на отмену жребия при распределении мест в «Парадизе». — Меня занесли в черный список и дали самое скверное место на всем участке. Паршивая трехфутовая кровля. Всю смену я работал лежа на животе в воде.

Острая жалость полоснула Марту по сердцу. И вместе с этим трепетом боли в ней ожило то, что она считала давно умершим. Она протянула руки к Роберту:

— Дай я помогу тебе, муженек. Дай помогу раздеться.

Она помогла ему снять грязную, промокшую одежду, помогла вымыться. Теперь она знала, что все еще любит его.

IX

Дэвид, работавший на глубине пятисот футов под землей, в двух милях от главной шахты, решил, что, вероятно, скоро перерыв. Он находился в «Парадизе», на участке «Миксен», самом низком этаже «Нептуна», на двести футов ниже «Глоба» и на триста ниже «Файв-Квотерс». Часов у Дэвида не было, и он определял время по числу рейсов, которые проделал с вагонетками от рудничного двора до погрузочной площадки. Он стоял сейчас подле Дика, своего шотландского пони, на площадке, где нагруженные углем вагонетки прицеплялись к механическому подъемнику и передавались на главный откаточный путь «Парадиза».

Дэвид ожидал, пока Толли Браун переведет ему пустые вагонетки. Он ненавидел «Парадиз», но на площадке ему нравилось. Здесь ему, потному и разгоряченному от бега, казалось так прохладно, и можно было стоять во весь рост, не боясь удариться головой о кровлю.

Стоя здесь, он думал об ожидавшей его счастливой судьбе. Едва верилось, что сегодня его последняя суббота в «Нептуне». Не только последняя суббота — последний день! Нет, такому счастью даже трудно поверить!

Дэвид всегда ненавидел шахту. Некоторым из его товарищей нравилось работать в ней, они чувствовали себя здесь как рыба в воде. А ему совсем не нравилось. Может быть, потому, что у него слишком развито было воображение, он не мог отделаться от мысли, что шахтеры — те же заключенные, что они словно погребены в этих темных клетках, глубоко под землей. Кроме того, Дэвид, бывая в забое «Файв-Квотерс», всякий раз вспоминал, что он находится под морским дном. Мистер Кэрмайлк, младший преподаватель школы на Бетель-стрит, помогавший ему готовиться к экзаменам, объяснил ему, как называется это странное ощущение, будто находишься взаперти... Да, глубоко под землей, под дном морским... А там, наверху, светит солнце, дует свежий ветер, серебряные волны бьются о берег.

Дэвид всегда упрямо боролся с этим ощущением: пусть его повесят, если он поддастся такой глупой слабости! И все же он был рад, рад, что уходит из «Нептуна», тем более что испытывал странную уверенность, будто шахта считает своей добычей всякого, кто раз попал в нее, и не выпускает его больше никогда. Так говорили, шутя, старые шахтеры. Дэвид усмехнулся в темноте. Это шутка! Ну конечно, не более как шутка.

Толли Браун перевел пустые вагонетки, Дэвид собрал поезд из четырех вагонеток, вскочил на перекладину, щелкнул языком, погоняя Дика, и помчался по черневшему сплошным мраком скату. Вагонетки, грохоча, неслись за ним по неровному пути, а он все подгонял пони. Дэвид гордился своим умением ездить быстро. Он ездил быстрее всех откатчиков в «Парадизе» и привык к грохоту вагонеток. Этот грохот ему не мешал. Неприятно было только, когда какая-нибудь из них отрывалась и сходила с рельсов. Усилия, которые приходилось затрачивать на то, чтобы опять водворить ее на место, могли убить человека!

Он летел все ниже, ниже, стремглав, с головокружительной быстротой, выравнивая ход, направляя его, зная, где нужно быстро нагнуть голову, а где налечь на дугу. Это безрассудство, ужасное безрассудство, отец часто бранил его за слишком быструю езду, но Дэвиду она доставляла наслаждение. Великолепным последним скачком он достиг рудничного двора и остановился.

Здесь, как он и ожидал, уже сидели в нише на корточках и завтракали Нед Софтли и Том Риди, возившие вручную вагонетки от забоя до рудничного двора.

— Ну, садись и пожуй, старина! — крикнул Том, у которого рот был набит хлебом и сыром, и отодвинулся в глубь ниши, давая место Дэвиду.

Дэвиду нравился Том, крупный, добродушный парень, заменивший Джо в забое. Дэвид часто спрашивал себя: куда мог деваться Джо и что он теперь делает? И удивлялся при этом, отчего он так мало замечает отсутствие Джо, — ведь как-никак они с Джо были напарниками. Может быть, оттого, что Том Риди вполне заменил ему Джо? Он такой же веселый и притом гораздо охотнее помогает, когда вагонетка сходит с рельсов, и не ругается так цинично, как Джо. Но хотя Дэвиду общество Тома доставляло удовольствие, он отрицательно покачал головой:

— Нет, Том, я пойду вниз.

Он хотел завтракать вместе с отцом. Всякий раз, когда представлялся случай, он забирал свой мешочек с едой и отправлялся в забой. И сегодня, в последний день, он не хотел изменять этой привычке.

Кровля наклонной просеки, ведущей к забою, была так низка, что Дэвиду приходилось сгибаться чуть не пополам. Туннель был тесен, как кроличий садок, и в нем царил чернильный мрак, так что открытая рудничная лампочка, немного коптившая, едва освещала его на какой-нибудь фут впереди. Здесь было так мокро, что вода хлупала под ногами. Дэвид пробирался с трудом. Раз он ударился головой о твердую неровную поверхность базальтового свода и тихо выругался.

Добравшись до забоя, он увидел, что отец и Лиминг еще не завтракают и продолжают рубить уголь для нагрузки на порожние вагонетки, которые Том и Нед должны были скоро привезти. Полуголые, в одних только сапогах и коротких штанах, они вырубали уголь длинными столбами. Забой был убийственный,

и работа — Дэвиду это было известно — страшно тяжелая. Он выбрал сухое местечко и сел, наблюдая за работавшими и ожидая, пока они кончат. Роберт, согнувшись боком под глыбой угля, подсекал ее, готовясь опустить на землю. Он дышал тяжело, лова ртом воздух, и пот струился из каждой поры его тела. У него был вид вконец замученного человека. В забое негде было повернуться, кровля нависла так низко, что казалось, вот-вот расплющит его, но Роберт работал упорно, умело и с замечательной ловкостью. Подле него рубил Боксер. Рядом с Робертом этот человек с могучей волосатой грудью и воловьей шеей казался великаном. Он не говорил ни слова и все время с ожесточением жевал табак. Жевал, сплевывал, рубил. Но Дэвид с мгновенно вспыхнувшей благодарностью заметил, что Боксер, жалея его отца, берет всякий раз за более тяжелый конец и делает самую трудную часть работы. Пот лил градом с изуродованного лица Боксера, и сейчас в нем не оставалось уже ничего от «чудо-мальчика из шахты».

Наконец они прекратили работу, обтерли пот фуфайками, надели их и уселись завтракать.

— Здорово, Дэви, — сказал Роберт, только теперь увидев сына.

— Здравствуй, папа.

Из соседнего забоя вынырнули Гарри Брэйс и Боб Огль и подсади к ним. Последним молча вошел Гюи, брат Дэвида. Все принажились за еду.

После утомительной езды в течение целого утра Дэвиду показались необыкновенно вкусными хлеб и холодная свинина, положенные матерью в его мешок. Отец же, как он заметил, едва дотрагивался до еды и только жадными, большими глотками пил холодный чай из бутылки. В мешке у него оказался еще и пирог. С тех пор как Роберт и Марта помирились, она готовила для него превкусные завтраки. Но Роберт половину пирога отдал Боксеру, сказав, что ему не хочется есть.

— Тут у кого угодно аппетит пропадет, — заметил Гарри Брэйс, кивая в сторону забоя, где работал Роберт. — Собачье место, что и говорить!

— Рабочему повернуться негде, будь оно проклято! — подтвердил Боксер, уписывая пирог с шумным удовольствием. Его «миссус» обыкновенно давала ему с собой в шахту только ломоть хлеба с жиром. — А пирог, ей-богу, первоклассный!

— Это от сырости все мы тут здоровье теряем, — вмешался Огль. — С кровли вода так и хлещет.

Наступило молчание, нарушаемое лишь хрипением воздуха в насосе. Будя в темноте эхо, эти звуки сливались с журчанием и бульканьем воды, протекавшей через нижнюю всасывающую трубу насоса. Этот шум был так привычен, что шахтеры уже почти не замечали его, тем не менее он приносил каждому бессознательное успокоение: где-то в глубине души рождалась уверенность, что насос работает хорошо.

Гарри Брэйс повернулся к Роберту:

— Но здесь все-таки не так мокро, как в Скаппер-Флетс, правда?

— Нет, — отвечал Роберт глухо. — Мы еще дешево отделались.

Боксер заметил:

— Если тебя донимает сырость, Гарри, ты бы попросил свою хозяйку, чтобы она тебе по вечерам утюжила кости.

Все засмеялись. Окрыленный успехом, Боксер шутливо ткнул Дэвида локтем в бок:

— Ты ведь у нас ученый малый, Дэви. Не посоветуешь ли какого средства, чтобы отогреть мой зад, а то он отсырел.

— Не хотите ли несколько тумачков? — сухо предложил Дэви.

Вокруг еще громче захохотали. Боксер ухмыльнулся. В тусклом полумраке он казался каким-то веселым великаном, склонным к сатанинским шуткам.

— Молодец, молодец! Это бы меня, наверное, согрело! — Он одобрительно поглядел сбоку на Дэви. — Ты, я вижу, действительно голова! Правда, что ты едешь в Бедлейский колледж, чтобы обучать всех профессоров Тайнкасла?

Дэвид сказал:

— Я рассчитываю, что они меня будут обучать, Боксер.

— Но чего ради тебя туда несет, скажи на милость? — укоризненно спросил Лиминг, подмигнув при этом Роберту. — Неужто тебе не хочется вырасти настоящим шахтером, вот как я, с такой же изящной фигурой, и лицом, и с кругленьким капиталцем в банке Фиддлера?

На этот раз шутки не захотел понять Роберт.

— Он поедет в колледж, потому что я хочу вытащить его *отсюда*, — сказал он сурово. И страстная выразительность, с кото-

рой он произнес последнее слово, заставила всех умолкнуть. — Пускай попытает счастья. Он усердно работал, выдержал экзамен на стипендию и в понедельник поедет в Тайнкасл.

Наступила пауза. Затем Гюи, все время молчавший, вдруг объявил:

— Хотелось бы и мне попасть в Тайнкасл! Интересно бы посмотреть на игру настоящих футболистов — тамошней объединенной команды...

Он сказал это с такой тоской, что Боксер снова захохотал.

— Не горюй, мальчик! — Он хлопнул Гюи по спине. — Скоро тебе самому придется играть с объединенной командой. Я видел твою игру и знаю, чего ты стоишь. Говорят, тайнкаслские спортсмены приезжают в Слискейл на ближайший матч специально для того, чтобы посмотреть на тебя.

Лицо Гюи покраснело под слоем грязи. Он понимал, что Боксер смеется над ним, но это его не трогало — пускай себе шутят, а он все-таки рано или поздно туда попадет! Он себя покажет, и скоро покажет, да!

Неожиданно Брэйс повернул голову в сторону просеки и прислушался.

— Эге! — воскликнул он. — Что это случилось с насосом?!

Боксер перестал жевать, все притихли, вслушиваясь в темноту. Хрипение насоса прекратилось.

За целую минуту никто не произнес ни слова. Дэвид почувствовал, что у него по спине поползли мурашки.

— Черт побери! — сказал наконец Лиминг медленно, с каким-то тупым удивлением. — Слышите? Насос не действует!

Огль, работавший в «Парадизе» недавно, вскочил и стал ощупывать засасывающий рукав насоса. Потом торопливо воскликнул:

— Вода поднимается. Здесь ее уже больше, гораздо больше, чем было!

Он снова погрузил в воду руку до самого плеча и, повозившись у насоса, сказал с внезапной тревогой:

— Схожу, пожалуй, за десятником.

— Постой! — остановил его Роберт резко-повелительным тоном и прибавил уже спокойнее: — Ну чего ты сразу побежишь в главную шахту, как испуганный мальчишка? Пусть себе Диннинг остается там, где он есть. Погоди немножко! С черпачным

насосом никогда беды не случится. И сейчас, наверное, ничего серьезного. Должно быть, засорился клапан. Я сам пойду посмотрю.

Он спокойно, не торопясь, встал и пошел по скату. Остальные ожидали в молчании. Не прошло и пяти минут, как послышалось медленное чавканье прочищенного клапана, и снова, журча, заработал насос. А спустя еще три минуты стало слышно его привычное мощное хрипение. Сковывавшее всех напряжение исчезло. Чувство великой гордости за отца охватило Дэвида.

— Здорово, черт возьми! — ахнул Огль.

Боксер поднял его на смех:

— Разве ты не знаешь, что когда работаешь с Робертом Фенвиком, то беспокоиться нечего? Ну валяй, нагружай вагонетки. А будешь тут сидеть целый день, так много не заработаешь.

Он встал, стащил с себя фуфайку, Брэйс, Гюи и Огль ушли в свой забой, а Дэвид, пройдя мимо Роберта, направился к вагонеткам.

— Ты быстро справился, Роберт, — заметил Боксер. — А Огль уже готов был нас хоронить! — И он оглушительно захохотал.

Но Роберт не смеялся. С каким-то странным, отсутствующим выражением изможденного лица он снял фуфайку и швырнул ее, не глядя, на землю. Фуфайка упала в лужу.

Они снова принялись за работу. Кайлы поднимались и опускались, подсекая глыбы угля, которые затем нужно было спускать вниз. Пот градом катился с обоих мужчин. Грязь забивалась во все поры кожи. Пятьсот футов под землей и две мили до рудничного двора. Вода медленно сочилась с потолка, непрерывно капала, подобно дождю, невидимому в сплошном мраке. И, заглушая все, мерно хрипел насос.

Х

К концу смены Дэвид отвел своего пони в стойло и распряг его.

Теперь предстояло самое тяжелое; он знал, что это будет тяжелее всего, но оказалось даже хуже, чем он ожидал. Он порывисто гладил шею пони. Дик, повернув длинную морду, казался, глядел на Дэвида своими кроткими слепыми глазами, по-

том ткнулся носом в карман его куртки. Дэвид часто оставлял для него от своего завтрака кусочек хлеба или сухарик. Но сегодня Дика ждал необычайный сюрприз: Дэвид вытащил из кармана кусок сыра — Дик просто обожал сыр! — и стал медленно кормить пони. Отламывая маленькие кусочки и держа их на ладони, он старался продлить удовольствие и Дику и себе. Когда влажная бархатистая морда касалась его ладони, у Дэвида клубок подкатывал к горлу. Он тихонько отер руку об отворот куртки, в последний раз посмотрел на Дика и торопливо пошел прочь.

Он шел к выходу из шахты по главному откаточному штреку, мимо того места, где в прошлом году обвалившаяся кровля задавила трех человек: Хэрроуэра и двух братьев Престон — Нейля и Аллена. Дэвид видел, как их отрывали, изуродованных, сплюснутых... окровавленные тела, набитые грязью рты... Он никогда не мог забыть этого ужаса и, проходя мимо места их гибели, всегда замедлял шаг, упрямо желая доказать себе, что ему не страшно.

По дороге к нему присоединились Том Риди и его брат Джек, Нед Софтли, Огль, юный Ча Лиминг — сын Боксера, Дэн Тисдэйл и другие. Они пришли к рудничному двору, где целая толпа шахтеров ожидала своей очереди подняться наверх, терпеливая, несмотря на тесноту. Клеть поднимала только двенадцать человек зараз. Кроме «Парадиза», она обслуживала еще два верхних этажа, «Глоб» и «Файв-Квотерс». Дэвида оттеснили от весело дурчаившихся Тома Риди и Неда Софтли и прижали к Скорбящему. Скорбящий уставился на него своими темными внимательными глазами:

— Ты, говорят, поступаешь в колледж в Тайнкасле?

Дэвид утвердительно кивнул головой. И опять предстоящее событие показалось ему слишком необычайным, чтобы быть правдой. Должно быть, его утомили за последние полгода напряженная работа по ночам, занятия с мистером Кэрмайклом, поездки в Тайнкасл на экзамены и затем радость, когда он узнал о результатах. Мучила его и молчаливая борьба из-за него между отцом и матерью: Роберт упорно и страстно желал, чтобы Дэвид получил стипендию и бросил работу в шахте, а Марта так же твердо решила, что он останется дома. Весть об успехе сына она приняла молча, без единого слова, и даже не приготовила его вещи к отъезду. Она не хотела принимать в этом никакого участия, нет, не хотела!

— Смотри, остерегайся Тайнкасла, мальчик, — сказал Скорбящий. — Ты едешь в пустыню, где люди бродят во тьме среди бела дня и в полдень, как среди ночи, ощупью ищут дорогу. Вот возьми. — Он сунул руку в грудной карман и достал оттуда тонкую, сложенную пополам и носившую следы пальцев брошюрку, сильно испачканную угольной пылью. — Здесь ты найдешь хорошие советы. За этой книжкой я не раз коротал обеденное время в шахте.

Дэвид, покраснев, взял брошюрку. Она его не интересовала, но не хотелось обижать Скорбящего. Он смущенно перелистал ее, — ничего другого не оставалось, — но в полутьме трудно было разобрать что-нибудь. Вдруг огонь в его лампе вспыхнул ярче, и одна фраза бросилась ему в глаза: «Никакой слуга не может служить двум господам, и вы не можете служить и Богу и мамоне».

Скорбящий не отводил от него испытующего взгляда. А Том Риди лукаво шепнул Дэвиду:

— Чем это он наградил тебя?

Толпа вдруг засуетилась. С грохотом опустилась клеть. Сзади кто-то крикнул:

— Полезайте все, ребята! Все полезайте!

Толпа хлынула к клетки. Началась обычная при посадке давка. Дэвид протиснулся вслед за остальными. Клеть, со свистом рассекая воздух, поднималась все выше и выше, словно подхваченная невидимой гигантской рукой. Навстречу лился дневной свет. Вот с лязгом поднялась перекладина, и люди сплошной, словно спаянной, массой двинулись из клетки навстречу дню.

Дэвид вместе с другими спустился по ступеням, прошел через двор и занял место в ряду шахтеров, ожидавших получки у конторы. Был солнечный июньский день. Его безмятежная прелесть смягчала резкие контуры копра, столбов, вращающихся шкивов и даже дымящей вытяжной трубы. Чудесно в такой день навсегда уходить из шахты!

Стоявшие в очереди медленно продвигались вперед. Дэвид видел, как его отец вышел из клетки (он последним поднялся наверх) и стал в конце очереди. Потом он заметил, что в ворота въехал кабриолет из усадьбы. В появлении кабриолета хозяина не было ничего необычного: каждую субботу Ричард Баррас приезжал в контору в час получки, когда рабочие, выстроившись во дворе, ожидали своих конвертов с деньгами. Это превратилось в своего рода ритуал.

Экипаж сделал ловкий поворот, так что его желтые спицы засверкали на солнце, и остановился у конторы. Баррас сошел, прямой и чопорный, и скрылся в главном подъезде. Бартли, соскочив еще раньше, возился с лошастью. Артур Баррас, втиснутый в кабриолет между двумя мужчинами, теперь остался в нем один.

Медленно продвигаясь вперед, Дэвид рассматривал Артура, лениво размышляя о нем. Артур, неизвестно почему, внушал ему симпатию — удивительно странное чувство, почти парадоксальное, потому что оно было похоже на жалость. А ему, Дэвиду, жалеть Артура Барраса было просто смешно! Между тем этот сидевший в экипаже тщедушный подросток с мягкими белокурыми волосами, которыми играл ветер, казался ему очень одиноким. Он вызывал покровительственное чувство. И у него был такой серьезный вид. Эта серьезная сосредоточенность походила на печаль. Когда Дэвид вдруг открыл, что жалеет Артура Барраса, он чуть не засмеялся.

Наконец и он добрался до окошка. Подошел, взял конверт с получкой, выброшенный ему из окошка кассиром Петтитом, и побрел, не торопясь, к воротам, чтобы подождать там отца. Здесь он остановился, прислонясь спиной к калитке. Мимо него проходила Энни Мэйсер. Увидев Дэвида, она улыбнулась ему и остановилась. Она ничего не сказала — Энни редко заговаривала с кем-нибудь первая, — она просто остановилась и, дружески улыбаясь Дэвиду, ожидала, чтобы он заговорил с ней.

— Одна гуляете, Энни? — сказал он ласково.

Энни Мэйсер ему нравилась, очень нравилась. Вполне понятно, что Сэм влюблен в нее. Она такая простая, бодрая, приветливая и ни капельки не спесива. За Энни глупостей не водилось. Почему-то она напоминала Дэвиду живую серебристую рыбку, хотя была далеко не миниатюрна и не имела ни малейшего сходства с рыбой. Это была рослая, ширококостная девушка одних лет с Дэви, с пышными бедрами и красивой тугой грудью; на ней было синее саржевое платье и грубые чулки ручной вязки. Энни сама вязала себе чулки. Она не прочитала за свою жизнь ни одной книги, но чулок связала очень много.

— Я сегодня в последний раз здесь, Энни, — сказал Дэвид, заговорив с ней только для того, чтобы она не ушла. — Расстаюсь с «Нептуном» навсегда... с водой, грязью, пони, вагонетками и всем прочим.

Энни сочувственно улыбнулась.

— И ничуть не жалко, — добавил Дэвид. — Уверяю вас! Ничуть.

Энни понимающе кивнула головой. Наступило молчание. Энни окинула взглядом улицу, кивнула Дэвиду все с той же приветливой улыбкой и пошла дальше.

А он с теплым чувством смотрел ей вслед. И вдруг вспомнил, что Энни, собственно, не произнесла ни одного слова. Но, несмотря на это, каждая минутка, проведенная в ее обществе, доставляла удовольствие. Такова уж была Энни Мэйсер!

Дэвид оглянулся, ища глазами отца. Роберт был еще далеко от окошка. Как Петтит копается сегодня! Дэвид снова прислонился к воротам, постукивая ногой о столб.

Вдруг он заметил, что и за ним тоже наблюдают. Баррас в сопровождении Армстронга вышел из конторы, и оба, хозяин и смотритель, стояли теперь у кабриолета и смотрели прямо на него, Дэвида. Он решительно встретил эти взгляды, не желая смиряться перед ними: в конце концов, теперь ему наплевать — разве он не уходит из шахты? Баррас и Армстронг с минуту продолжали разговор, затем Армстронг, почтительно улыбнувшись хозяину, поманил рукой Дэвида. Тот неохотно направился к ним, но старался идти медленно.

— Мистер Армстронг сказал мне, что вы получили стипендию в Бедлейском колледже?

Дэвид видел, что Баррас в превосходном настроении. Тем не менее холодные глаза хозяина смотрели на него с суровой проницательностью.

— Я очень рад вашему успеху, — продолжал Баррас. — А что вы думаете делать потом... по окончании колледжа?

— Буду держать экзамены на степень бакалавра словесности.

— Словесности? Гм... А почему бы вам не выбрать профессию горного инженера?

Что-то в тоне Барраса заставило Дэвида ответить вызывающе:

— Меня это дело не интересует.

Вызов скользнул по Баррасу так же бесследно, как капля воды по холодному камню.

— Вот как! Не интересует?

— Нет. Мне не нравится работать под землей.

— Не нравится, — равнодушно повторил Баррас. — Так вы хотите быть преподавателем?

Дэвид понял, что Армстронг все рассказал ему.

— Нет, нет. Я на этом не остановлюсь.

Он тут же пожалел, что у него это вырвалось. Порыв возмущенной гордости толкнул его на такую откровенность. Он понимал, как неуместны подобные заявления здесь, когда он стоит в грязном рабочем платье, а Артур из кабриолета смотрит на него и слушает. Зачем выступать в роли тошнотворного героя какого-то автобиографического романа «От хижины до Белого дома»? Но из упрямства он не хотел отступать. Если Баррас спросит, он ответит ему прямо, что намерен делать в будущем.

Но Баррас не проявлял никакого любопытства и, казалось, не заметил враждебности. Спокойно, точно не слыша слов Дэвида, он наставительным тоном продолжал:

— Образование — прекрасная вещь. Я никогда никому не стану навязывать на дороге. Когда окончите колледж, дайте мне знать. Я член попечительского совета и могу устроить вас в одну из школ нашего графства. У нас всегда имеются вакансии для младших учителей.

Пряча глаза за сильными стеклами, он с тем же отсутствующим видом сунул руку в карман брюк и достал целую горсть серебра. Со своей обычной неторопливостью выудил монету в полкроны, как бы взвесил ее мысленно, положил обратно и взял вместо нее монету в два шиллинга.

— Вот вам флорин, — сказал он с величественным спокойствием, одновременно и одаряя и отпуская этим жестом Дэвида.

Дэвид был настолько ошарашен, что машинально принял от него монету. Он стоял, зажав ее в руке, пока Баррас садился в экипаж, и смутно сознавал, что Артур дружелюбно улыбается ему. Кабриолет тронулся.

Дэвид с трудом удерживал распиравший его смех. Вспомнился евангельский текст из брошюры, которую дал ему Скорбящий: «Нельзя служить и Богу и мамоне». Он повторял про себя: «Нельзя служить и Богу и мамоне. Нельзя служить и Богу...» Комедия, да и только!..

Резко повернувшись, он зашагал к воротам, где уже стоял Роберт, ожидая его. Дэвид понял, что отец был свидетелем всей этой сцены. Роберт даже побледнел от гнева и не поднимал глаз, избегая смотреть на сына. Оба вышли за ворота и пошли по Каупен-стрит. Ни одного слова не было сказано между ними. Скоро

их догнал Сви Мессюэр. Роберт тотчас же заговорил с ним обычным дружеским тоном. Сви, красивый белокурый юноша, был всегда беззаботно-весел. Он работал грузчиком, но не в «Парадизе», а выше этажом, в «Глобе». Настоящее его имя было Освей Мессюэр; он был сыном цирюльника с Лам-стрит, натурализовавшегося австрийца, вот уже двадцать лет жившего в Слискейле. Оба, отец и сын, были популярны: сын — в шахте, где весело нагружал вагонетки, отец — в своем «Салоне», где ловко намыливал подбородки.

Роберт разговаривал со Сви так, как будто ничего неприятного не произошло. Когда Сви распрощался с ними, перед тем как свернуть на Фрихолд-стрит, он сказал ему:

— Передай отцу, что приду в четыре, как всегда.

Но как только Сви ушел, лицо Роберта приняло прежнее горькое выражение. Черты его словно сжались, скулы резко обозначились. Молча брел он рядом с Дэвидом и, когда они уже прошли половину Каупен-стрит, вдруг остановился против Миддльрига, заднего двора старой запущенной молочной фермы, которая у города была бельмом на глазу. Двор был завален гниющей соломой, всякими нечистотами, а посреди высилась большая куча навоза. Остановившись, Роберт в упор посмотрел на Дэвида.

— Что он дал тебе, сын? — спросил он тихо.

— Два шиллинга, папа. — И Дэвид показал флорин, который он с каким-то чувством стыда до сих пор еще крепко сжимал в кулаке.

Роберт взял монету, посмотрел на нее и с бешеной силой швырнул прочь.

— Вон ее! — сказал он, выговаривая эти слова так, как будто они причиняли ему боль. — Вон ее!

Флорин угодил прямо в середину навозной кучи.

XI

Наступил вечер, великий вечер праздника в Миллингтоновском клубе. Завод Миллингтона, расположенный в тупике одного из переулков Плэтт-стрит, был невелик — на нем работало всего человек двести, но с виду производил довольно внушительное впечатление, особенно в серенький мартовский день.

Из труб чугуноплавильных печей вырывались красные языки пламени и густые клубы дыма. Поток добела раскаленного жидкого металла, текущий из вагранки¹ в литейные ковши, освещал бурое небо, и оно словно пылало медным блеском. Едкие пары, поднимавшиеся с пола литейной, где вливалась в формы жидкая масса чугуна, раздражали ноздри. В уши мучительно били тяжелые удары молотов, звон зубил, которыми обтесывают железо после отливки, жужжание приводных ремней и колес, пронзительное гудение токарных и фрезерных станков, визг пил, вгрызающихся в металл. И в открытые двери виднелись сквозь туман неясные фигуры людей, обнаженных до пояса из-за невыносимой жары.

Завод готовил главным образом оборудование для угольных шахт — железные вагонетки, лебедки, балки для крепления кровли, массивные кованые болты. Но сбыт этих изделий затруднялся сильной конкуренцией, и Миллингтоны держались не столько благодаря своей предприимчивости, сколько благодаря связям со старыми солидными фирмами. Да Миллингтоны и сами были старой, много лет существовавшей фирмой, фирмой с традициями. И одной из таких традиций был Общественный клуб.

Клуб Миллингтоновского завода, открытый в семидесятых годах Великим Старцем — Уэсли Миллингом, должен был демонстрировать благосклонную заботу о Рабочем и Семье Рабочего. Клуб имел четыре секции: литературную, экскурсионную, фотосекцию с темной комнатой и секцию спорта. Но гвоздем клубной программы был ежегодный танцевальный вечер, который с незапамятных времен неизменно устраивался в «Зале Чудаков»².

И вечер пятницы, 23 марта, обещал быть вечером подлинного веселья и радости. А между тем Джо в этот день возвращался домой с завода угнетенный мрачными думами. Разумеется, Джо собирался идти на бал, он успел уже стать первым любимцем в клубе, почти чемпионом в кружке бокса, и его намечали в жюри по состязанию новичков на бильярде. Все эти восемь месяцев Джо преуспевал. Он заметно пополнил, развил мускулы и, по его собственному выражению, «завел чертову уйму приятелей». Джо

¹ Вагранка — печь для переплавки металла.

² «Чудаки» (Oddfellows) — тайное общество вроде масонского ордена.

был великий проныра, умел дружески хлопать каждого по спине с громким «Здорово, старина!», у него всегда была наготове улыбка — открытая, веселая улыбка и крепкое рукопожатие, и он так мило умел рассказывать неприличные анекдоты. На заводе все влиятельные лица, начиная от Портерфилда, старшего мастера, и кончая самим мистером Стэнли Миллингтоном, явно благоволители к Джо. Словом, он имел успех у всех, кроме Дженни.

Дженни! О ней и думал Джо, бредя через Высокий мост и уныло взвешивая свои шансы. Правда, она сегодня идет с ним на бал — ну конечно идет! — но какое это имеет значение, раз между ними уже все сказано и все кончено? Никакого, ровно никакого! Чего он добился от Дженни за восемь месяцев? Не слишком многого, видит бог! Он водил ее повсюду — Дженни любила развлечения, — тратился на нее, бросал свои кровные денежки на ветер. А что получил взамен? Несколько раз она неохотно позволила себя поцеловать, и только. Но из его объятий она вырывалась и этим только разжигала его аппетит.

Джо уныло вздохнул. Нет, Дженни ошибается, если думает, что его можно водить за нос. Он ей скажет правду в глаза и прекратит все это, порвет с ней окончательно.

Но Джо не в первый раз говорил себе это. Он говорил это себе уже десятый раз — и все же до сих пор не решился на разрыв. Его влекло к Дженни даже сильнее, чем в первый день. А ведь уже и тогда она возбудила в нем пылкие желания... Джо громко выругался.

Дженни ставила его в тупик: она была с ним то надменно-дерзка, то кокетливо-ласкова. Милостивее всего она бывала к нему, когда он надевал свой новый синий костюм и котелок, который она заставила его купить. Когда же она случайно встречала его в грязном рабочем комбинезоне, то проплывала мимо, чуть не замораживая его своим холодным взглядом. То же самое бывало, когда Джо приглашал ее пойти с ним куда-нибудь: если он брал хорошие места в «Эмпайре», она ворковала, улыбалась ему, позволяла держать ее за руку; если же он затевал прогулку в сумерки по городскому бульвару, она шла рядом недовольная, капризно вскинув голову, на все отвечала сердито и односложно и держалась от него на расстоянии целого ярда. Если Джо хотел повести ее в кофейню Макгайгена и угостить сосисками с картофельным пюре, она презрительно фыркала: «В такие места ходит только мой отец». Зато приглашение в первоклассный ресторан Леонар-

да на Хай-стрит она принимала сияя и нежно прижималась к Джо. Дженни считала себя выше своей семьи, лучше всех. Она делала замечания отцу, матери, сестрам, особенно Салли. Она и Джо постоянно делала замечания, поучала его, объясняя, как надо снимать шляпу при встрече, как держать тросточку, внушая, что по тротуару мужчине следует ходить ближе к краю, что, когда берешь чашку чая, мизинец следует сгибать. Дженни больше всего ценила в людях светский лоск и была помешана на правилах хорошего тона, вычитанных ею в грошовых дамских журналах. Из тех же журналов она черпала сведения о модах, «идеи» туалетов, которые сама себе шила, советы, как сохранить белизну рук, как придать волосам мягкость и блеск с помощью «яичного белка, влитого в воду перед ополаскиванием».

Нельзя сказать, чтобы Джо не одобрял этого стремления Дженни к аристократической изысканности. Оно ему даже нравилось. Всякие мелочи, вроде ее духов «Жокей-клуб», ее кружевных лифчиков и просвечивающих сквозь блузку розовых ленточек, приятно возбуждали его, создавали ощущение, что Дженни *другая*, особенная, не такая, как те уличные девицы, к которым он ходил иногда, когда Дженни заставляла его испытывать муки Тантала, дразня его надеждой.

Самая мысль о том, что он претерпел, еще больше разжигала в нем неутолимое желание. И сегодня, поднимаясь по лестнице дома № 117/А на Скоттсвуд-роуд, он говорил себе, что вечером доведет дело до конца или выяснит, почему это ему не удастся.

Войдя в заднюю комнату, он взглянул на часы и увидел, что опоздал. Дженни уже ушла наверх одеваться. Миссис Сэнли лежала в гостиной с сильной мигренью. Филлис и Клэри убежали на улицу играть. Одна Салли дожидалась Джо, чтобы подать ему ужин.

— А где твой папа? — спросил вдруг Джо, после того как с волчьей жадностью проглотил две копченые рыбки и почти целую свежую булку, запив все это тремя большими чашками чаю.

— Уехал в Бирмингем. Секретарь не мог ехать, так папу послали вместо него. Он повез всех голубей, клубных и наших, для завтрашних полетов.

Джо задумчиво ковырял вилкой в зубах. Значит, Альф бесплатно прокатится в Бирмингем на полеты голубей, которые назначены на субботу! Везет же некоторым!

Салли, критически наблюдавшая за Джо, пустила в него стрелу своего скороспелого остроумия.

— Смотрите не проглотите вилку, — предупредила она серьезным тоном. — А то она станет дребезжать, когда вы будете танцевать польку.

Джо надулся. Он отлично понимал, что Салли его терпеть не может, и, как он ни старался, ему не удалось расположить ее к себе. Когда Салли смотрела на него своими темными глазами, он испытывал неприятное чувство человека, которого видят насквозь. Иногда резкий иронический смех Салли, врывающийся в его самоуверенный разговор, приводил Джо в полное замешательство, лишал хладнокровия, заставлял мучительно краснеть.

Его кислая мина доставила Салли удовольствие: глаза у нее так и засверкали. Эта одиннадцатилетняя девочка обладала уже сильно развитым чувством юмора. Она весело продолжала его поддразнивать:

— Вы, должно быть, хорошо танцуете — у вас такие длинные ноги. «Вы умеете танцевать обратный вальс, мисс Сэнли?» — «Да, конечно, Джо... Ах, извините, я хотела сказать — мистер Гоулен». — «Так попробуем?» — «Да, пожалуйста, дорогой мистер Гоулен. Какая чу-уд-ная музыка, не правда ли?.. Ох! Грубиян, вы наступили мне на мозоль!»

Салли была и в самом деле очень забавна, когда, скорчив уморительную гримасу, закатывала свои большие черные глаза, артистически подражая жеманному, брюзгливому тону Дженни:

— «Разрешите угостить вас мороженым, дорогая? Или, может быть, хотите требухи? Чудная требуха, прямо из коровы. Можете получить все эти завитые штучки». — Салли остановилась и кивком головы указала на потолок. — Мисс Сэнли завивается наверху. А вы знаете, что наша франтиха Дженни на ночь надевает на нос зажим — ну, которым мокрое белье закрепляют на веревке? Явилась час тому назад прямо из своего магазина (она не «служит», имейте в виду, служат только рабы), заставила греть ей утюги... ни за что ни про что дала мне оплеуху. Вот приятный характер, не правда ли, Джозеф? Советую вам подумать, пока не поздно.

— Ах, да замолчи ты, нахальная девчонка! — Он встал из-за стола и направился к двери.

Салли притворилась смущенной и жеманно затараторила:

— К чему такие церемонии, дорогой мистер Гоулен? Зовите меня просто Магги. И как не стыдно курить молодому человеку с такими м-и-иными глазами? О, не покидайте меня так скоро! — Она предусмотрительно загородила ему дорогу: — Позвольте, я спою вам песенку до вашего ухода, мистер Гоулен! Одну, и совсем коротенькую! — Она манерно сложила руки, точь-в-точь как Дженни у пианино, и запела высоким фальцетом:

Погляди на анютины глазки,
Что пестреют в нашем саду.

Пение прекратилось только тогда, когда за Джо захлопнулась дверь. Салли разразилась восторженным смехом, перекувырнувшись, бросилась со всего размаха на диван, свернулась калачиком на самом краю и от восторга забарабанила по пружинам.

У себя в комнате Джо побрился, вымылся, надел свой парадный синий костюм, повязал новый зеленый галстук, аккуратно зашнуровал блестящие коричневые ботинки. Все же он был готов раньше Дженни и нетерпеливо ожидал ее в передней. Но когда Дженни сошла вниз, у Джо дух захватило от восторга и он сразу перестал злиться: на ней было розовое платье, белые атласные туфельки, а на голове белый вязаный капор — последний крик моды. Серые глаза холодно блестели на прозрачном личике, нежном, как лепесток цветка. Она жеманно сосала ароматную пастилку.

— Честное слово, Дженни, вы просто загляденье!

Она приняла его восторг как нечто вполне естественное, накинула на свой наряд старое пальто, которое носила каждый день, взяла ключ от входной двери и сунула его в карман. Но тут ей бросились в глаза коричневые ботинки Джо. Углы ее губ опустились. Она сказала с раздражением:

— Я ведь еще неделю тому назад говорила вам, Джо, чтобы вы купили себе лакированные туфли.

— Пустяки, все наши ребята ходят на клубные вечера в таких, как у меня. Я у них нарочно спрашивал.

— Не говорите глупостей! Как будто я не знаю! Из-за ваших коричневых ботинок я буду казаться смешной... Наняли вы кеб?

«Кеб!» — Джо надулся. Что, она воображает, будто он — Карнеги? Он угрюмо возразил:

— Мы поедem в трамвае.

Глаза Дженни от гнева стали совсем ледяными:

— Ах так! Вот как вы, значит, ко мне относитесь! Я недостаточно хороша, по-вашему, чтобы ездить в кебе?

С верхней площадки раздался голос Ады:

— Дженни, Джо, не приходите поздно. Я приняла порошок и ложусь спать.

— Не беспокойся, ма, — ответила Дженни тоном оскорбленной добродетели. — Мы *конечно* придем рано.

Они успели вскочить в отходивший трамвай, но, к несчастью, он был переполнен. Теснота в трамвае еще больше рассердила Дженни, и она так посмотрела на кондуктора, когда он попросил Джо дать монету помельче, что кондуктор пришел в замешательство. Всю дорогу она молчала. Наконец приехали в Ерроу и вышли из битком набитого красного вагона. В холодном молчании, с видом оскорбленного достоинства Дженни дошла с Джо до «Зала Чудаков». Войдя, они увидели, что бал уже начался.

Вечер проходил неплохо, в атмосфере дружного непринужденного веселья и напоминал какое-нибудь ежегодное собрание родственников в большой счастливой семье зажиточного круга. На одном конце зала стояли столы, на которых был сервирован ужин: пирожные, сэндвичи, печенье, овощные консервы, груды мелких твердых апельсинов, по одному виду которых можно было безошибочно заключить, что они полны незрелых зернышек, бутылки колы с ярко-красными ярлыками и два огромных медных сосуда с кранами для чая и кофе. На другом конце зала, на очень высокой эстраде, замаскированной снизу пальмами в кадках, расположился оркестр — настоящий, с большим барабаном, который пускали в ход щедро, не жалея сил, а у рояля — Франк Макгарви. Таких чудесных веселых «штучек», как Франк, не умел играть никто. А такт? Когда Франк Макгарви играет, танцующим просто невозможно сбиться с такта, — он замечательно отбивает его, словно молотом ударяет: *ля-до-ля-до*. Самый пол в «Зале Чудаков», казалось, взлетал при этом «ля» и опускался в такт финальному «до».

Люди собрались компанейские, никто не важничал, не держался особняком. На стенах, один против другого, были наклеены два больших листа писчей бумаги, на которых великолепным почерком сестры Франка Макгарви были перечислены все танцы в том порядке, в каком они должны были исполняться: 1. Вальс «Ночи веселья»; 2. Валетта «С вами в гондоле» и так далее. У этих

листов весело толпилась публика, пересмеиваясь, вытягивая шею, чтобы лучше видеть; пары подходили рука об руку, стоял смешанный запах духов и пота, раздавались восклицания. «Послушай, Белла, милочка, ты умеешь танцевать военный тустеп?» — так приглашали на танцы. Или какой-нибудь юный кавалер, внимательно просмотрев список, отважно скользил по усыпанному опилками полу и, с разбегу попав прямо в объятия своей избранницы, говорил ей: «Это лансье, детка, неужто ты не узнала мотив? Пошли танцевать!»

Дженни оглядела зал. Увидела жалкое угощение, программы, наклеенные прямо на запотевшие стены, дешевые, крикливые туалеты — ярко-красные, голубые и зеленые, смешной сюртук старого Маккенна, главного распорядителя. Заметила, что здесь многие не сочли нужным прийти в перчатках и бальных туфлях. Увидела кружок толстых пожилых жен пудлинговщиков, дружелюбно беседовавших в углу, пока их отпрыски прыгали и кружились на паркете перед ними. Все это Дженни успела охватить одним долгим взглядом и презрительно вздернула хорошенький носик.

— Фи! — фыркнула она, обращаясь к Джо. — Просто смотреть противно!

— На что?! — Джо изумленно воззрился на нее.

— Да на все, — отрезала она. — Все тут так неизящно, *вульгарно*, не так, как в приличном обществе.

— Неужели вы не будете танцевать?

Она равнодушно тряхнула головой:

— Отчего же... Потанцуем, пожалуй, раз за билеты заплачено. Пол здесь подходящий.

Они танцевали. Но Дженни при этом старалась держаться подальше от Джо и решительно отмежевалась от происходившего вокруг — от всего этого хлопанья в ладоши, топанья и оглушительных криков веселья.

— А это еще что за фигура? — спросила она пренебрежительно, когда они, танцуя тустеп, пронеслись мимо двери.

Джо посмотрел через плечо. «Фигура» оказалась мужчиной самого безобидного вида, средних лет, плотного сложения, с круглой головой и несколько кривыми ногами.

— Это Джейк Линч, — пояснил Джо. — Кузнец в нашем цеху. Вы ему, кажется, понравились.

— Очень нужно! — сказала чопорно Дженни и, самодовольно усмехаясь, добавила, гордая своим остроумием: — Я видела таких только в зоологическом саду!

Она снова стала неразговорчива, надменно подняла брови, откинула голову с видом снисходительного превосходства, желая показать, что она «выше всего этого».

Но Дженни немного преждевременно осудила бал. К концу вечера начали появляться новые лица — и уже не рабочие, не рядовые члены клуба, как те, что с самого начала наводнили зал, а почетные гости: несколько чертежников из конторы, бухгалтер мистер Ирвинг с женой, кассир Морган и даже старый мистер Клегг — директор завода. Дженни немного оттаяла; она даже улыбнулась Джо:

— Здесь становится как будто приличнее.

Не успела она это сказать, как дверь распахнулась и появился Стэнли Миллингтон — сам мистер Стэнли, «наш» мистер Стэнли! Великая минута! Он вошел веселый, свежий, вылощенный, в щегольском смокинге, и с ним пришла его невеста.

Тут Дженни совсем воспрянула духом и пристальным взглядом впилась в молодую элегантную пару, следя, как они улыбаются и пожимают руки старейшим членам клуба.

— Это с ним Лаура Тодд, — прошептала она, задыхаясь от волнения. — Знаете, дочь инженера Грот-Маркетских копей. Я ее очень часто вижу у нас в магазине. Они обручились в августе, об этом писали в «Курьере».

Джо посмотрел на ее оживившееся лицо. Жадный интерес Дженни к «лучшему» обществу Тайнкасла, ее упоение своей осведомленностью о всех подробностях их жизни очень удивили его. Но зато она теперь окончательно отбросила свою холодную чопорность в обращении с ним.

— Отчего мы не танцуем, Джо? — пролепетала она и, встав, томно закружилась в его объятиях, стараясь держаться поближе к Миллингтону и мисс Тодд.

— Это платье, что на ней, — модель... прямо от Бонара, — конфиденциально шепнула она на ухо Джо, когда они проносились мимо. — У Бонара в Тайнкасле, конечно, последние новинки... А кружева... — Она многозначительно закатила глаза. — Знаете...

Веселье было в разгаре, гремел барабан, Франк Макгарви чаще прежнего импровизировал разные «штучки», пары кружились все быстрее, все неистовее. Люди были довольны тем, что моло-

дой мистер Стэнли «нашел время прийти», да еще привез с собою мисс Лауру. Стэнли Миллингтона «одобряли» в Ерроу. Отец его умер несколько лет назад, когда Стэнли было всего семнадцать лет и он еще учился в Сент-Бидской школе. Таким образом, Стэнли прямо со школьной скамьи, румяным и стройным молодым атлетом с только начинающими пробиваться усиками, явился на завод, чтобы знакомиться с делом под руководством старого Генри Клегга. Теперь, когда ему уже было двадцать пять, он сам управлял заводом и, как неутомимый энтузиаст, всегда стремился, по его собственному выражению, «поступать правильно». Все соглашались, что Стэнли — человек с устоями, и добавляли: «Вот что значит хорошая школа».

Основанная за пятьдесят лет перед тем группой богатых купцов-диссидентов, Сент-Бидская школа за короткое время своего существования успела приобрести все традиции закрытых учебных заведений. Здесь так же на старших учениках лежала обязанность поддерживать дисциплину, а младшие всячески угождали старшим; так же делались вылазки в одну любимую кондитерскую; так же царил «*esprit de corps*»¹; так же практиковалось хоровое пение для поднятия духа, — словом, можно было подумать, что доктор Фулер, директор Сент-Бидской школы, обошел все старые школы в Англии и сеткой для бабочек ловко вылавливал в каждой школе наилучшие из ее традиций. Спорту в школе придавалось громадное значение. Значки присуждались щедро, — в них сочетались цвета школы, красивые цвета — пурпуровый, алый и золотой. Стэнли, питавший горячую привязанность к своей школе, остался верен ее цветам: он всегда носил что-нибудь — галстук, запонки, подтяжки или подвязки — этих знаменитых цветов, пурпурового, алого и золотого, как бы отдавая дань уважения тому «духу порядочности», который был девизом их школы.

Эта-то «истинная порядочность» мистера Стэнли и побудила его явиться на вечер в клуб. Он хотел «поступать, как полагается порядочному человеку». И вот он пришел, был в высшей степени мил, пожимал мозолистые руки и в промежутках между вальсами с Лаурой танцевал несколько раз с тяжеловесными супругами своих старых служащих.

¹ Сословный дух (*фр.*).

Вечер проходил, и радостная улыбка, которой расцвело лицо Дженни при виде «нашего» мистера Стэнли и Лауры Тодд, стала несколько натянутой; ее журчащий смех, который раздавался всякий раз, когда она скользила в танце мимо этой пары или мимо одного из них, звучал уже чуточку искусственно.

Дженни сгорала от желания быть замеченной мисс Тодд, ей до смерти хотелось, чтобы мистер Стэнли пригласил ее танцевать. Но, увы, ни того ни другого не случилось. Как обидно! А тут еще этот Джейк Линч! Он не спускал с нее глаз, ходил за ней следом, ища случая пригласить ее танцевать.

Джейк был парень неплохой, но, на беду, он был пьян. Все знали, что Джейк любит выпить рюмочку, а в этот вечер он, шмыгая все время из клуба в соседний трактир «Герцог Кумберлендский», проглотил изрядное количество таких рюмочек. На прежних балах Джейк обычно стоял у дверей зала, блаженно кивая головой в такт музыке, а к концу вечера уходил домой, нетвердо ступая своими кривыми ногами. Но в этот вечер злой демон Джейка парил близко.

Когда заиграли последний вальс перед ужином, Джейк поправил галстук и важно подошел к Дженни.

— Пойдем, милочка, — сказал он со своим протяжным тайнсайским акцентом. — Мы с тобой сейчас всем им утрем нос!

Дженни вскинула голову и с подчеркнутым презрением устремила глаза куда-то в противоположный конец зала. А сидевший рядом с нею Джо сказал:

— Уходи прочь, Джейк. Мисс Сэнли танцует со мной.

Джейк, пошатываясь, возразил:

— А я хочу, чтобы она танцевала со мной. — И с неуклюжей галантностью протянул руку Дженни.

В жесте Джейка не было ничего грубого, но в ту минуту он покачнулся, и его громадная лапа невольно опустилась на плечо Дженни.

Дженни драматически взвизгнула. И Джо, вскочив, с внезапной яростью нанес Джейку ловкий удар в подбородок. Джейк во всю длину растянулся на полу. Шум в зале сразу утих.

— Что тут у вас такое? — Мистер Стэнли пробрался сквозь толпу к тому месту, где стоял Джо, геройски выпятив грудь и одной рукой обнимая бледную, испуганную Дженни. — Что случилось?

У храброго Джо сразу душа ушла в пятки. Он с добродетельным видом пояснил:

— Линч пьян, мистер Миллингтон, мертвецки пьян. Должен же человек знать меру и уметь вести себя! — В прошлую субботу Джо вместе с Линчем участвовал в грандиозной попойке, их обоих вывели из бара «Эмпайр», но сейчас он уже не помнил об этом, чувство собственного достоинства не позволяло вспомнить. — Он напился и приставал к моей знакомой, мистер Стэнли. Я только хотел ее защитить.

Стэнли посмотрел на стоящую перед ним пару: хорошо сложенный юноша... оскорбленная красавица. Затем, нахмурившись, перевел взгляд на лежавшего на полу пьяницу.

— Пьян! — воскликнул он. — Нет, это уж слишком, право! Этого я не потерплю! Мои рабочие — приличные люди, и я хочу, чтобы они могли прилично развлекаться. Уберите его отсюда! Мистер Клегг, попрошу вас распорядиться. И скажите ему, чтобы он завтра пришел в контору за расчетом.

Джейк Линч за непристойное поведение был выведен вон. На следующий день его уволили с завода.

Наведя порядок, Стэнли обратился к Джо и Дженни и улыбнулся, смягченный широкой улыбкой Джо и воздушной прелестью Дженни.

— Все в порядке, — сказал он успокоительно. — Вы Джо Гоулен, не так ли? Я вас отлично знаю. Я знаю всех своих рабочих, поставил себе это за правило. Познакомьте же меня с вашей дамой, Джо. Здравствуйте, мисс Сэнли. Мы с вами должны потанцевать, мисс Сэнли, чтобы загладить эту маленькую неприятность. А вас, Джо, разрешите представить *моей* невесте. Может быть, вы потанцуете с ней?

И Дженни в экстазе упорхнула в объятиях мистера Стэнли, держась самым великолепным образом, выпрямив по последней моде локоть, сознавая, что все глаза в зале устремлены на нее. А Джо неуклюже и торжественно выступал с мисс Тодд, которая, видимо забавляясь, поглядывала на него с некоторым интересом.

— А ловко вы его ударили, — сказала она с характерной для нее насмешливой гримаской.

Джо согласился, что удар был первоклассный. Он чувствовал себя героем — и все-таки сильно конфузился.

— Мне нравится, когда человек умеет за себя постоять, — небрежно пояснила мисс Тодд. Она снова усмехнулась. — И не

держите себя так, словно вы вступили в орден праведных тамплиеров!

Стэнли, мисс Тодд, Дженни и Джо ужинали вместе. Дженни была на седьмом небе. Она улыбалась, показывая красивые зубы, обворожительно опускала темные ресницы; желе она ела вилок и от каждого блюда неизменно оставляла немножко на тарелке. Она была несколько шокирована, когда Лаура Тодд, взяв апельсин, преспокойно надкусила кожицу своими белыми зубами. Еще больше потрясло ее то, что Лаура без церемоний попросила у Стэнли его носовой платок. Но все, все было упоительно, упоительна каждая минута. И в довершение всего, когда вечер кончился, Джо, искупая свою давешнюю оплошность, с царственной щедростью нанял кеб. В последний раз обменялись любезностями, прокричали «до свидания», усердно помахали платками. Шурша юбками, трепеща от возбуждения, Дженни вошла в зеленевший от плесени экипаж, пахнувший мышами, похоронами, свадьбами, сыростью извозчичьего двора. Вязаные шарики ее капора исступленно качались. Она откинулась на спинку сиденья.

— О Джо! — затараторила она. — Какой чудесный вечер! А я и не знала, что вы так хорошо знакомы с мистером Миллингтоном. Почему вы не говорили мне об этом раньше? Я понятия не имела... Он премилый. И она тоже, разумеется. Красивой ее назвать нельзя, зато какой шик! Платье, что было на ней сегодня, стоит не один десяток фунтов. Можете мне поверить, это последний крик моды, уж я-то знаю! А между прочим, вы заметили, как она надкусила апельсин? А носовой платок? Я чуть в обморок не упала!.. Никогда я бы себе не позволила сделать такую вещь! Это же неприлично! Да вы меня слушаете, Джо?

Он нежно уверил ее, что слушает. С той минуты, как он очутился с ней наедине в темном кебе, желание, которое в нем вызвала эта девушка, сжигало его, как лихорадка. Все его тело горело и напрягалось в стремлении к ней. Целый вечер она была в его объятиях, он ощущал под тонким платьем ее тело, прижимавшееся к нему во время танцев. В течение долгих месяцев Дженни держала его на почтительном расстоянии, а теперь она в его руках, одна с ним. В волнении ерзая на месте, Джо осторожно придвинулся ближе к Дженни, которая забилась в угол, и обнял ее одной рукой. А она продолжала болтать без умолку, счастливая, веселая, взбудораженная.

— Когда-нибудь и у меня будет такое платье, как у нее... у мисс Тодд. Шелк и настоящие кружева. Да, она знает толк в таких вещах. Могу поручиться, что и пожить умеет, это сразу видно.

Джо тихонько притянул ее к себе и шепнул как можно ласковее:

— Не хочу говорить о ней, Дженни. Я на нее никакого внимания не обратил. Я смотрел только на вас. Я только о вас и думаю! Она хихикнула, очень довольная.

— Вы гораздо, гораздо красивее. И платье у вас в сто раз лучше, и все лучше, чем у нее.

— А между тем эта материя по два шиллинга четыре пенса, Джо. А выкройку я достала у Уэлдона.

— Ей-богу, Дженни, вы просто чудо! — Он продолжал хитро льстить ей. И чем больше льстил, тем смелее ласкал. Он чувствовал, что она возбуждена, вся натянута, как струна. Она позволяла ему то, чего никогда не позволяла раньше. Окрыленный успехом, сгорая от желания, Джо осторожно притикал все ближе.

Дженни вдруг резко вскрикнула:

— Не смейте! Не смейте, Джо! Ведите себя прилично!

— Ну полно, чего ты испугалась, милая? — успокаивал он ее.

— Нет, Джо, нет! Этого нельзя. Это нехорошо.

— Ничего в этом нет дурного, Дженни, — вкрадчиво нашептывал он ей. — Разве мы не любим друг друга?

Тактика его была превосходна. Не знаю, каковы были его успехи на бильярде, но в тонком искусстве соблазнителя Джо был далеко не новичок.

Чувствуя, что он плотно прижимается к ней, Дженни в волнении пробормотала:

— Не надо, Джо... не здесь, Джо.

— Ах, Дженни...

Но она сопротивлялась:

— Смотри, Джо, мы уже совсем близко. Смотри, Пламмер-стрит. Мы уже почти дома. Пусти меня, Джо. Пусти же.

Он недовольно поднял с ее шеи разгоряченное лицо и увидел, что она говорит правду. Разочарование было так сильно, что он чуть не выругался вслух, но взял себя в руки и, выйдя из кэба, помог выйти Дженни. Потом бросил шиллинг «пугалу на козлах» и стал подниматься по лестнице вслед за девушкой. Линии ее фигуры, даже простой жест, которым она достала ключ и вста-

вила его в замочную скважину, сводили его с ума. Тут он вспомнил, что Альф, ее отец, сегодня не ночует дома.

В кухне, освещенной только огнем в камине, Дженни остановилась перед Джо и взглянула ему в лицо: несмотря на оскорбленное целомудрие, ей, видимо, не хотелось идти спать. Она была возбуждена необычностью всего пережитого сегодня, и успех в клубе еще кружил ей голову. Она стояла с немного застенчивым видом:

— Может быть, зажечь газ и сварить вам какао, Джо?

Джо с трудом скрывал раздражение и откровенное желание схватить ее:

— Вы никогда ничем не порадуете человека, Дженни. Подите сюда, посидите минутку со мной на диване. Мы за весь вечер и словом не перемолвились.

Настороженная, немного испуганная, она стояла в нерешительности. Проститься и пойти спать? Это скучно... А Джо сегодня так красив!.. И вел себя молодцом — нанял кеб...

Дженни сказала, посмеиваясь:

— Что ж... от *разговора* вреда никакого не будет, — и подошла к дивану.

Как только она села, Джо крепко обнял ее. Сейчас это оказалось легче, чем в кебе: Дженни вырывалась как-то нехотя. Он угадывал ее возбуждение, видел, что она еще вся трепещет от впечатлений этого вечера.

— Не надо, Джо... не надо... Мы должны вести себя прилично, — твердила она, сама не понимая, что говорит.

— Нет, Дженни, *надо*. Ты знаешь, что я с ума по тебе схожу. Ведь мы любим друг друга.

Покоренная, испуганная, сопротивляясь и вместе отдаваясь, обессиленная страхом, болью и каким-то новым, незнакомым ощущением, Дженни шепнула одним дыханием:

— Пусти, Джо... ты делаешь мне больно, Джо!

Он понял, что теперь она принадлежит ему, понял с дикой радостью, что перед ним наконец настоящая Дженни...

Огонь в камине догорал. Решетка опустела. Когда все уже было кончено, Дженни, похныкав, сколько полагается, внезапно зашептала:

— Обними меня крепко, Джо... крепче, дорогой!

Нет, можно ли этому поверить?! А он лежит в чертовски неудобной позе, и волосы Дженни лезут ему в рот. Когда она при-

льнула к нему, подставив его губам бледное, мокрое от слез, милое личико, теперь лишенное всякого глупого притворства, она была так же естественна и прекрасна, как одна из жемчужно-серых голубок ее отца. Но Джо в эту минуту почти готов был... да, готов был ударить ее. Имелось, впрочем, смягчающее вину обстоятельство: как он и сказал Дженни, это была его первая настоящая любовь.

ХII

В «Холме» субботний вечер имел свою раз навсегда установленную программу. После холодного ужина Хильда играла отцу на органе. И в этот вечер последней субботы ноября 1909 года, в восемь часов, Хильда играла «Музыку на воде» Генделя, а Баррас сидел в своем кресле, опершись головой на руку, и слушал. Хильда не любила играть в присутствии отца. Но играла. Это входило в ее обязанности.

Ричард Баррас крепко держался установленного им порядка. Это не значит, что он был рабом привычек, — они не имели власти над ним. И традиция также была для него не повелительницей, а скорее эхом, постоянно вторящим его принципам. Чтобы понять Ричарда Барраса, необходимо принять во внимание его принципы. Потому что он действительно был принципиальный человек, не лицемер. Он был искренен.

Он был также человеком нравственным. Он презирал слаботи, которым так часто и таким роковым образом предаются люди. Он, например, не способен был и подумать об измене Гарриэт с какой-нибудь другой женщиной. Несмотря на свои немощи, Гарриэт была ведь его женой! Он презирал и другие, более грубые вожделения: пристрастие к роскоши, к обильной еде и вину, обжорство, пьянство, сибаритство, чувственность, всякие эксцессы, все виды физической распущенности внушали ему омерзение. Он ел простую пищу и обычно пил только воду. Он не курил. Его костюмы были сшиты хорошо и из добротной материи, но их у него было мало, и он не отличался суетной страстью к щегольству.

У него, разумеется, была своя гордость, естественная гордость просвещенного либерала. Он всегда помнил, что он человек с положением и состоянием, владелец копеек, которыми их род владе-

ет вот уже сто лет. Он искренне гордился своими предками, начиная от Питера Барраса, который в 1805 году впервые углубил шахту № 1 на «Снуке» (в нынешнем старом «Нептуне») и оставил своему сыну Вильяму отлично налаженное небольшое предприятие. Вильям, в свою очередь, проложил шахты № 2 и 3. А отец Ричарда, Питер Вильям, предпринял бурение шахты № 4, — это было разумное дело, из которого его сын теперь извлекал огромную пользу. Ричард с глубоким удовлетворением думал об этих дальновидных, трезво мыслящих людях, создавших своим потомкам имя и состояние. Гордился он и тем, что унаследовал и развил в себе качества предков, гордился собственной дальновидностью и здравомыслием, своим умением выгодно заключать сделки.

Он не проявлял откровенного честолюбия. Когда при нем заходил разговор о каком-нибудь видном лице в графстве, Баррас всегда спрашивал спокойно: «А какой у него капитал?», с кроткой насмешкой констатируя, что сосед располагает самыми ничтожными средствами. Таким образом, Баррас, принимая с удовольствием дань уважения со стороны своего банкира и своего адвоката, не был снобом, — он презирал такие мелочные чувства. На Гарриэт Уондлес, принадлежавшей к одной из знатных фамилий графства, он женился не ради ее высокого происхождения, а просто потому, что хотел, чтобы она стала его женой.

Это наводит на мысль о страсти. Но Баррас не производил впечатления человека с сильными страстями. Он был подавляюще-сильной личностью, — но то была сила уравновешенная, холодная как лед. Ему не были свойственны стремительность, неистовые страсти, порывы пламенного чувства. То, что ему было чуждо, он отвергал; тем, что не было чуждо, он завладевал. Показания Гарриэт, которой он обладал в тиши ее спальни, конечно дали бы ключ к разгадке этого человека. Но Гарриэт наутро после этих регулярных ночных идиллий просто с аппетитом съедала обильный завтрак, наслаждаясь им со спокойным удовлетворением хорошо выдоенной коровы. Это единственное биологическое свидетельство могло быть и положительным и отрицательным, других свидетельств не допускала скромность Гарриэт.

Сам же Ричард редко обнаруживал себя. Он был человеком замкнутым. Эта замкнутость, несомненно, была достоинством. Не обычная скрытность, а нечто более тонкое — замкнутость человека, сурово негодующего на попытки копаться в его душе

и одним взглядом замораживающего всякую фамильярность. Он, казалось, говорил ледяным тоном: «Я — это я, и останусь самим собой, и никому, кроме меня, до этого дела нет. Я сам собой управляю и никому другому управлять собой не позволю».

Не надо, однако, думать, что все внутреннее существо Ричарда было целиком отлито в эту шаблонную форму. У него имелись свои индивидуальные особенности. Например, любовь к органу, к Генделю, в особенности к его «Мессии», приверженность к искусству, здоровому и общепризнанному искусству, о чем свидетельствовали дорогие картины на стенах его дома, верность семейному очагу, прочно укоренившаяся привычка к точности и аккуратности и, наконец, страсть к приобретению.

В ней-то, в этой страсти, и крылась разгадка души Барраса, самая сущность его «я». Он был крепко привязан ко всему, что составляло его собственность, — к своим копиям, дому, картинам, имуществу, ко всему, что принадлежало ему. Отсюда ненависть ко всякого рода мотовству, бледным отражением которой была выработавшаяся у тетушки Кэрри бережливость, ее неспособность что-нибудь выбросить. Тетушка часто обнаруживала эту черту, к полному удовлетворению Барраса. Он и сам никогда ничего не выбрасывал. Газеты и бумаги всякого рода, старые квитанции и договоры — все он аккуратно складывал в пачки, надписывал их и запирали в свой письменный стол. Это надписывание и складывание в ящик превратилось чуть ли не в священный ритуал. Он придавал ему какой-то высший смысл. Между этим занятием и его любовью к Генделю существовала некая гармония. Здесь был тот же внушительный размах и глубина и что-то вроде религии, недоступной чужому пониманию. А между тем источником ее была просто алчность, ибо больше всего душу Барраса снедала тайная страсть к деньгам. Он искусно скрывал ее от всех и даже от себя самого, но он обожал деньги. Он держался за них цепко, тешился ими, этим сверкающим олицетворением своего богатства, своей реальной ценности в мире.

Хильда перестала играть. Наконец-то покончено с Генделем, во всяком случае с этой «Музыкой на воде»! Обычно она, окончив, укладывала ноты обратно на табурет у рояля и сразу уходила к себе наверх, но сегодня Хильда, по-видимому, хотела угодить отцу. Не отводя глаз от клавиатуры, она спросила:

— Может быть, сыграть тебе «Largo», папа?

То была его любимая вещь, пьеса, которая производила на него большее впечатление, чем все остальные. Хильду же доводила чуть не до истерики.

Сегодня она сыграла ее медленно, в торжественном темпе.

Наступила тишина. Не отнимая руки от лба, отец сказал:

— Спасибо, Хильда.

Она поднялась и стояла по другую сторону стола. Лицо ее было угрюмо, как всегда, но внутренне она трепетала.

— Папа! — начала она.

— Что, Хильда?

Хильда тяжело перевела дух. Много недель собиралась она с силами для этого разговора.

— Мне скоро двадцать лет, папа. Вот уже почти три года, как я окончила школу и вернулась домой. И все это время я здесь ничего не делаю. Мне надоело бездельничать. Мне хочется чем-нибудь заняться. Позволь мне уехать отсюда и работать.

Баррас опустил руку, которой заслонял глаза, и смерил дочь любопытным взглядом, затем повторил:

— Работать?!

— Да, работать! — сказала она стремительно. — Позволь мне учиться чему-нибудь или найти себе какую-нибудь службу!

— Службу? — Все тот же тон холодного удивления. — Какую службу?

— Да любую. Ну хотя бы быть твоим секретарем. Или сестрой милосердия. Или отпусти меня на медицинский факультет. Этого мне больше всего хочется.

Он снова с легкой иронией посмотрел на нее:

— А как же будет, когда ты выйдешь замуж?

— Никогда я не выйду замуж! — вскипела Хильда. — Я и думать об этом не хочу. Я слишком безобразна, чтобы когда-нибудь выйти замуж.

Холодное выражение скользнуло по лицу Барраса, но тон его не изменился. Он сказал:

— Ты начиталась газет, Хильда!

Его догадливость вызвала краску на бледном лице Хильды. Это была правда: она прочла утреннюю газету. Накануне на Даунинг-стрит суфражистки устроили демонстрацию во время заседания парламента, и произошли скандалы при попытках некоторых из них ворваться в палату общин. Это послужило Хильде толчком к окончательному решению.

— «Была сделана попытка ворваться... — процитировал Баррас на память, — ворваться в здание палаты общин». — Он сказал это так, как говорят о последней степени безумия.

Хильда в бешенстве закусил губы, повторила:

— Папа, позволь мне уехать и изучать медицину. Я хочу быть врачом.

— Нет, Хильда.

— *Отпусти!* — В ее голосе звучала отчаянная мольба.

Отец ничего не ответил.

Наступило молчание. Лицо Хильды побелело как мел. Баррас с интересом созерцал потолок. Это продолжалось с минуту, затем Хильда без всякого мелодраматизма повернулась и вышла из комнаты.

Баррас, казалось, не заметил ухода дочери. Хильда нарушила незывлемую традицию — и он закрыл свою душу для Хильды.

Просидев неподвижно с полчаса, он встал, заботливо выключил газ и пошел в свой кабинет. В субботние вечера после игры Хильды он всегда уходил к себе в кабинет. Это была большая, комфортабельно обставленная комната с толстым ковром на полу, массивным письменным столом, темно-красными портьерами, закрывавшими окна, и несколькими фотографиями шахты на стенах. Баррас сел за свой стол, достал связку ключей, долго, с кропотливым усердием выбирал нужный ему ключ и наконец отпер средний верхний ящик стола. Оттуда он вынул три обыкновенные счетные книги в красных переплетах и привычным жестом начал их перелистывать. Первая содержала перечень его вкладов, который он сам написал своим аккуратным почерком. Он сосредоточенно просматривал книгу, и довольная, несколько двусмысленная усмешка скользила по его губам. Он взял перо и, не обмакивая его в чернильницу, осторожно водил им по рядам цифр, но вдруг остановился и глубоко задумался, мысленно решая продать привилегированные акции Объединенных копей. В последнее время они стояли очень высоко, но он имел неблагоприятные конфиденциальные сведения относительно доходности этих предприятий. Да, акции надо будет продать. Он опять слабо усмехнулся, похвалив себя мысленно за безошибочный инстинкт дельца, за коммерческую жилку. Он никогда не делает промахов. Каждая из ценных бумаг, записанных в этой книге, была твердопроцентной, надежной, имела солидное обеспечение.

Он снова сделал беглый подсчет. Результат привел его в хорошее настроение.

Потом он занялся второй книгой. Она содержала сведения о его домах в Сликскайле и окрестностях. На Террасах большинство домов было собственностью Барраса (он не мог примириться с тем, что мясник Ремедж владел половиной Балаклавской улицы), а в Тайнкасле ему принадлежали целые кварталы домов, в которых комнаты сдавались по понедельно. Эти дома у реки, где квартирную плату собирал специальный сборщик, давали колоссальный доход. Ричарду Баррасу не приходилось жалеть о скупке этих домов. Идея принадлежала ему, но всем делом ведал Бэннерман, его поверенный, на скромность и благоразумие которого можно было положиться. Баррас записал себе для памяти, что надо поговорить с Бэннерманом относительно расходов.

И наконец, с чувством облегчения, любовно придвинул он к себе третью книгу. Это был список его картин с указанием сумм, уплаченных за них. Он благодушно просматривал цифры. Ему было приятно, что на картины истрачено двадцать тысяч фунтов — целое состояние. Что ж, это тоже выгодное помещение капитала. Картины все тут, на стенах его дома, они будут цениться все выше, станут редкостью, как полотна Тициана и Рембрандта... Впрочем, больше покупать не надо. Отдал дань искусству — и хватит.

Он взглянул на часы и прищелкнул языком, увидев, что так поздно. Бережно спрятал книги, запер на ключ ящик и пошел к себе в спальню. Там он опять вынул часы и завел их, налил себе воды из графина, стоявшего на столике у постели, и начал раздеваться. В спокойных движениях его большого, сильного тела была какая-то сосредоточенность, неизменность. Движения эти были равномерны, систематичны. Они не допускали возможности других движений. В каждом сказывалась обдуманная забота о себе. Сильные белые руки имели свой собственный немой язык. Они как бы приговаривали: «Вот так... так... лучше всего сделать это таким образом... для меня так лучше всего. Может быть, это делается и другим способом... но *мне* удобнее всего так... Мне...» В полумраке спальни символический язык этих рук таил в себе какую-то загадочную угрозу.

Наконец Баррас окончил приготовления ко сну. Накинув темно-красный халат, с минуту стоял, поглаживая подбородок, потом неторопливо зашагал по коридору.

Хильда, сидевшая в темноте у себя в комнате, услышала тяжелые шаги отца: он вошел в расположенную рядом спальню матери. Девушка вся сжалась и словно застыла. На лице ее выразилась мука. В отчаянии пыталась она заткнуть уши, чтобы не слышать, но не могла. Ей никогда это не удавалось. Шаги слышались уже в комнате. Разговор вполголоса. Потом глухой, медленный скрип. Хильда содрогнулась всем телом. В муке отворачивания она ждала. И услышала знакомые звуки.

XIII

Джо сидел, развалившись, в комнате своих хозяев на Скоттсвудроуд, не обращая ни малейшего внимания на Альфа Сэнли, который у стола читал вслух статью капитана Санглера о скачках в Госфортском парке. Сегодня Джо и Альф собирались на скачки, но Джо, если судить по хмурому выражению его лица и презрительному невниманию к сообщениям капитана Санглера, по видимому, не слишком восхищалась эта перспектива. Обьевшись за обедом, он полулежал в кресле, вытянув ноги на подоконник, и предавался мрачным размышлениям.

— «На состязаниях я смело ставлю на Несфилд лорда Келла против Эддон Плэйт, считая первой фавориткой эту хорошо тренированную кобылу...» — монотонно гудел голос Альфа, в то время как глаза Джо угрюмо блуждали по комнате. Боже, какое тошнотворное место! Что за дыра! И только подумать, подумать только, что он, Джо, больше трех лет мирился с этим! Да, почти четыре года. Неужели ему еще долго торчать тут? Трудно поверить, что так незаметно промчалось время, а он все еще здесь, как выброшенный на берег кит. Черт побери, да где же его честолюбивые мечты? Что же, он всю жизнь так и будет тут пропадать?

Впрочем, по трезвом размышлении положение его показалось Джо не таким уж скверным. На заводе он эти четыре года зарабатывал довольно прилично. Да, прилично... но это еще не значит хорошо, этого далеко не достаточно для Джо Гоулена! Он теперь работал пудлинговщиком и получал регулярно три фунта в неделю. А в двадцать два года это уже кое-что! Его все знают и любят (сквозь угрюмость Джо пробилась слабая усмешка самодовольства), — даже удивительно, до чего любят! Он на заводе «свой парень». И сам мистер Миллингтон, видно, интересуется

им: всегда останавливается и заговаривает с ним, когда обходит мастерские. Но из всего этого до сих пор никакого толку не вышло. «Да, ничего, черт возьми!» — думал Джо хмурясь.

Чего он достиг? У него теперь не один, а три костюма, три пары коричневых ботинок и куча модных галстуков, и деньжонки всегда есть в кармане. Он окреп физически, даже выступал на состязаниях по боксу в Сент-Джеймс-холле. Он приобрел сноровку в некоторых делах и знал в городе все ходы и выходы. Ну а еще что? «Ничего, ровно ничего!» — твердил про себя Джо, все более мрачней. Он остался таким же рабочим, живет в чужой квартире, не так богат, чтобы можно было пускать людям пыль в глаза, и все еще... все еще не развязался с Дженни.

Джо беспокойно заерзал на месте. Дженни олицетворяла собой вершину всех его несчастий, грядущий кризис, она-то и была причиной его нынешней угрюмости. Дженни влюбилась в него, вешалась ему на шею. Надо же было ему впутаться в такую историю! Сначала это, конечно, щекотало его самолюбие. Недурно было, что Дженни бегаёт за ним и виснет на его руке, когда он, выпятив грудь, лихо сдвинув шляпу на затылок и щеголяя коричневыми ботинками, гулял с нею по улицам.

Но сейчас это уже не веселило его, как прежде, прыти в нем сильно поубавилось. Дженни ему надоела... Впрочем, это, пожалуй, слишком сильно сказано. Она была так податлива, соблазнительна, и тайная любовь между ними, бешеное утление желаний урывками — то в этой самой комнате, то в его комнате, то вне дома, в темноте, в чужих подъездах, за Эльсвикскими конюшнями, в самых странных и неожиданных местах, — все это еще не потеряло своей прелести. Но теперь это было слишком легко. Уже не приходилось преодолевать сопротивление Дженни. В ней даже замечался некоторый пыл, а иногда и обида, если Джо слишком долго оставлял ее одну. Проклятие! Он теперь все равно что женат.

А жениться он не хотел ни на этой, ни на какой-либо другой Дженни. Связать себя на всю жизнь — нет, благодарю покорно! Он слишком умная птица, чтобы попасться в эти силки. Ему надо идти вперед, выбиться в люди, накопить денег. Он хочет снимать сливки, а не пить снятое молоко.

Джо насупил брови. Слишком много места Дженни заняла в его жизни, слишком меняет эту жизнь! Она его просто угнетает

ет. Вот, например, еще сегодня, услышав, что он едет с ее отцом в Госфорд, а ее оставляет дома, она вдруг залилась слезами и успокоилась только тогда, когда он обещал взять ее с собой. Сейчас она наряжается наверху.

Эх, пропади все пропадом! Джо вдруг с бешеной злобой пнул ногой стоявшую перед ним табуретку. Альф перестал читать и посмотрел на него с кротким изумлением.

— Да вы не слушаете, Джо, — сказал он протестующе. — Для чего же мне трудить глотку, раз вы не слушаете?

— Этот парень ни черта не понимает, — ворчливо отозвался Джо. — Наверно, он свои сведения получает прямо от лошадей, а лошади врут. Я разузнаю все, что надо, на месте, у Дика Джоби. Мы с ним приятели, и это такой человек, на которого можно положиться.

Альф отрывисто захохотал:

— Да что с вами, Джо? Вот уже десять минут, как я перестал читать о лошадях. Я читал сейчас о новом аэроплане, который построил этот малый, Блерио, — знаете, тот, что в прошлом году перелетел через Канал.

— У меня у самого когда-нибудь будет целая флотилия этих чертовых аэропланов. Вот увидите! — буркнул Джо.

Альф покосился на него из-за газеты.

— Посмотрим! — согласился он с жестоким сарказмом.

Дверь открылась, и вошла Дженни. Джо сердито взглянул на нее:

— Наконец-то ты готова!

— Готова, — весело подтвердила она. С лица ее исчез всякий след недавних слез, и, как это часто с нею бывало после взрыва слезливого раздражения, она казалась безмятежно-счастливой и веселой, как жаворонок.

— Как тебе нравится моя новая шляпа? — спросила она с плутовским выражением, наклоняя голову к Джо. — Прехорошенькая, не правда ли, мистер?

При всем своем скверном настроении Джо не мог не признать, что Дженни сейчас очень мила. Новая шляпа, очень эффектно надетая, оттеняла ее бледную красоту. Фигура у нее была прекрасная, чудесные линии ног и бедер. С потерей девственности она еще похорошела: казалась теперь более уверенной и зрелой, не такой анемичной, в ней было больше «блеска», — красота ее приближалась к полному расцвету.

— Ну что же, пойдём, — торопила она со смехом. — Скорее, папа. Не заставляйте меня ждать, мы опоздаем.

— Это тебя-то заставляют ждать! — возмутился Джо.

Альф соболезнующе покачал головой и вздохнул:

— О женщины!

Они втроем поехали на трамвае к Госфортскому парку. Дженни сидела между обоими мужчинами, подтянутая, веселая. Трамвай, грохоча и подскакивая, двинулся по Северной дороге.

— Я сегодня хочу выиграть немного денег, — конфиденциально сообщила Дженни, похлопывая по своей сумочке.

— Не ты одна, — сухо ответил Джо.

Они вошли на трибуну, где место стоило два шиллинга и было уже довольно много народу — достаточно, чтобы развлечь Дженни, но не столько, чтобы ей показалось тесно. Все приводило ее в восхищение: белая ограда на ярко-зеленом фоне ипподрома, цветные костюмы жокеев, красивые лошади, на которых шерсть так и лоснилась, крики букмекеров под большими золотистыми и синими зонтами, движение, шум, возбуждение на трибуне, модные туалеты, возможность увидеть довольно близко, в отгороженной части ипподрома, разных знаменитостей.

— Смотри, Джо, смотри! — то и дело вскрикивала она, хватая его за руку. — Вот лорд Келл! Настоящий джентльмен, правда?

Лорд Келл, «вождь» британского спорта, миллионер и владелец больших имений, цветущий, добродушный на вид мужчина с бакенбардами, разговаривал с каким-то тщедушным человеком — своим жокеем Лью Лестером.

Джо завистливо проворчал:

— Он сильно ошибается, если воображает, что его Несфилд возьмет приз.

И он отправился разыскивать Дика Джоби.

Добраться до Дика оказалось делом нелегким, так как он был на десятишиллинговой трибуне. Но через другого букмекера Джо удалось вызвать Дика к ограде.

— Извините за беспокойство, мистер Джоби, — начал Джо с заискивающей любезностью. — Мне только хотелось спросить, не посоветуете ли вы что-нибудь? Я не о себе хлопочу, — я никогда не гонюсь за выигрышем, но со мною тут моя девушка и ее папаша... и она, знаете ли, будет плясать от радости, если выиграет здесь пару шиллингов.

Дик Джоби постукивал по ограде концом элегантного черного ботинка с видом любезным, но уклончивым. Букмекеров принято представлять себе багроволицыми толстяками, говорящими только одним углом рта, тогда как в другом углу торчит толстая сигара. Но Дик Джоби из Тайнкасла всем своим видом опровергал это общепринятое представление. Дик был букмекер, и букмекер очень крупного масштаба, имел свою контору в Биг-Маркете и отделение в Ерроу, против католического костела. Но Дик курил только самые слабые папиросы и пил одну лишь минеральную воду. Это был симпатичный, спокойный, ласковый человек среднего роста, просто одетый; он никогда не ругался, не выкрикивал ставок, как другие букмекеры, и ни на каких ипподромах, кроме местного в Госфортском парке, его не встречали. Среди его многочисленных друзей ходили слухи, будто Дик раз в год приезжал в Госфорт для того только, чтобы собирать на лугу лютики.

— Так не скажете ли вы, мистер Джоби, что я мог бы посоветовать моей подружке?

Дик Джоби внимательно посмотрел на Джо. Ему нравился тон, которым говорил с ним Джо. Он видел Джо в Сент-Джеймсхолле на состязаниях в боксе. Словом, он чувствовал, что Джо «подходящий парень». А так как Дик питал слабость к «подходящим парням», то он иногда давал Джо поручения. И Джо неутомимо старался втереться к нему в доверие.

Наконец Дик сказал:

— Я бы ей не советовал ставить что-нибудь до последнего рейса, Джо.

— Хорошо, мистер Джоби.

— А к концу пускай поставит какую-нибудь мелочь. Немного, знаете ли, — ну, скажем, полкроны для забавы.

— Слушаю, мистер Джоби.

— Разумеется, никогда нельзя предвидеть...

— Разумеется, нельзя, мистер Джоби. — Взволнованное молчание. — Вы рекомендуете Несфилд, мистер Джоби?

Дик отрицательно покачал головой:

— Нет, эта не имеет никаких шансов. Пусть ваша дама поставит на Бутон Гвоздики. Ровно полкроны, не больше, слышите? И просто так, для забавы.

Дик, улыбаясь, кивнул Джо и спокойно отошел. Трепеща от гордости, Джо протолкался обратно к Альфу и Дженни.

— Ах, Джо, где ты был? — упрекнула его Дженни. — Первый рейс прошел, а я еще ни разу ничего не поставила.

Джо, вернувшийся в отличном настроении, заверил ее, что теперь она может ставить сколько душе угодно. Он терпеливо слушал, как она и Альф рассуждали, на каких лошадей ставить. Дженни склонна была выбирать лошадей с самыми красивыми именами, с самыми красивыми цветами жокеев или тех, которые принадлежали видным людям. Джо, сияя, одобрял ее выбор. Все с той же кротостью он брал у нее деньги и ставил на выбранных ею лошадей. Дженни проиграла раз, другой, третий.

— Нет, это уже чересчур! — воскликнула она, совсем расстроенная, в конце четвертого рейса. Ей так хотелось выиграть! Дженни не была скупа, наоборот — она была непозволительно щедра и ничуть не жалела о потерянных полукронах. Но выиграть было бы так приятно!

Альф, упрямо следовавший советам капитана Санглера, успокоил ее:

— Мы вернем все на Несфилде, девочка. Эта лошадь получит сегодня первый приз.

Тайно злорадствуя, Джо слышал, как он ставил на одну только Несфилд.

Дженни нерешительно изучала программу.

— Я не очень-то доверяю вашему старому капитану, — заметила она. — А ты что думаешь, Джо?

— Как тут угадаешь? — сказал Джо с простодушным видом. — Ведь это кобыла лорда Келла, да?

— Да, да. — Дженни просияла. — Я и забыла об этом. Пожалуй, я поставлю на Несфилд.

— А может быть, лучше на Бутон Гвоздики? — рискнул предложить Джо довольно безразличным тоном.

— Никогда не слыхал о такой лошади, — поспешно вставил Альф.

— Нет, Джо... Для меня ты поставь на лошадь лорда Келла.

Джо собрался уходить:

— Ладно, делай как знаешь. А я, пожалуй, поставлю на Бутон.

Он вынул все деньги, какие имел при себе, четыре фунта, и смело поставил их на Бутон Гвоздики. Он стоял у перил, крепко ухватившись за них, и следил, как лошади, сбившись все вместе, огибали поворот. Они неслись все быстрее и быстрее. Джо

весь вспотел и едва осмеливался дышать. С бьющимся сердцем он смотрел, как они неслись по прямой перед финишем, как приближались к столбу. Затем он испустил дикий вопль: Бутон Гвоздики пришла первой, опередив других лошадей на добрых два корпуса.

В ту же минуту, как объявили результаты, он забрал свой выигрыш, запихал четыре пятифунтовые бумажки поглубже во внутренний карман, а четыре соверена небрежно опустил в карман и с гордым видом пошел обратно к Дженни.

— Ах, Джо! — Дженни чуть не плакала. — Отчего я не...

— Да, отчего ты не... — передразнил ее Джо, захлебываясь от удовольствия. — Надо было слушаться моего совета. Я выиграл целую кучу денег. И не говори, что я тебя не предупреждал. Сказал же я тебе, что поставлю на Бутон. У меня эта лошадь все время была на примете.

Он был в таком восторге от своей ловкости, что готов был сам себя обнять. Бледное, удрученное лицо Дженни рассмешило его. Он сказал покровительственно:

— Нечего расстраиваться из-за этого, Дженни. Я свезу тебя куда-нибудь сегодня вечером. Покутим на славу!

При выходе из парка они ловко ускользнули от Альфа. Им приходилось это проделывать и раньше, а на этот раз было совсем нетрудно. Альф плелся, опустив голову, мысленно проклиная капитана Санглера, и не заметил их маневра.

Они приехали в Тайнкасл в начале седьмого и пошли по Ньюгейт-стрит к Хэй-Маркет. Мрачное настроение Джо бесследно исчезло, сметенное порывом хвастливого великодушия. Он обращался с Дженни ласково, с размашистой любезностью и даже снизошел до того, что позволил ей взять себя под руку.

Когда они повернули на Нортумберленд-стрит, Джо вдруг остановился как вкопанный и ахнул:

— Господи, неужели он?! Не может быть! — Потом заорал: — Дэви! Эй, Дэви Фенвик, дружище!

Дэвид остановился, обернулся. По его лицу видно было, что он не сразу узнал Джо.

— Джо, ты? Не может быть!

— Ну конечно я! — весело прокричал Джо, с шумной приветливостью кидаясь к Дэвиду. — Я, и никто другой. В Тайнкасле есть только один Джо Гоулен.

Все трое захохотали. Джо самым великосветским образом представил Дженни:

— Это мисс Сэнли, Дэви. Моя маленькая приятельница. А это Дэви, Дженни, верный товарищ Джо в добрые старые времена.

Дэвид посмотрел на девушку, заглянул в большие ясные глаза и улыбнулся в ответ на ее улыбку. На лице его мелькнуло восхищение. Они очень вежливо пожали друг другу руки.

— А мы с Дженни как раз собирались где-нибудь перекусить, — заметил Джо, безапелляционно принимая на себя роль распорядителя. — Теперь мы пойдем все вместе. Ведь ты тоже не прочь пожевать чего-нибудь, Дэви?

— Очень хорошо, — с энтузиазмом согласился Дэвид. — Мы совсем близко от Нан-стрит. Давайте махнем к Локкарту.

Джо чуть с ног не свалился.

— К Локкарту! — повторил он, обращаясь к Дженни. — Нет, ты слышишь? К Локкарту!

— Да почему же нет? — спросил Дэвид растерянно. — Это отличное место. Я часто захожу туда по вечерам выпить чашку какао.

— Ка-ка-о! — слабо простонал Джо, делая вид, что хватается за фонарный столб, чтобы не упасть. — Что, он принимает нас за парочку святош-трезвенников?

— Веди себя прилично, Джо, пожалуйста, — умоляла Дженни, с притворной застенчивостью поглядывая на Дэвида.

Джо, приняв драматическую позу, подошел к Дэвиду.

— Послушай, мальчик, ты уже не в шахте. Ты в настоящее время находишься в обществе мистера Джо Гоулена. И угощай *он*. Так что помалкивай и иди за мной.

Ничего больше не говоря, Джо сунул под мышку большой палец и зашагал вперед по Нортумберленд-стрит к ресторану Перси. Дэвид и Дженни шли за ним. Они вошли в ресторан, заняли столик. Джо держался с великолепным апломбом. Он очень любил щеголять непринужденностью и изяществом манер. В ресторане Перси он чувствовал себя как дома. За последний год они часто бывали тут с Дженни. Ресторан был небольшой, второстепенный, но обставленный с вульгарной претензией на роскошь: всюду позолота, множество ламп под красными абажурами. Эта пристройка к соседнему трактиру известна была под именем «Погребок Перси». В ресторане имелся только один лакей с заткнутой за жилет салфеткой, который с раболепной услужливостью подбежал на повелительный оклик Джо.

— Что вы оба будете пить? — спросил Джо. — Себе я закажу виски. Тебе чего, Дженни? Портвейн, да? А тебе, Дэви? Смотри, парень, не вздумай сказать «какао».

Дэвид усмехнулся и сказал, что сейчас он предпочтет пиво.

Когда бутылки и стаканы были поданы, Джо заказал богатый ужин: котлеты, сосиски и жареную картошку. Потом развалился на стуле, критически разглядывая Дэвида. Он нашел, что Дэви вытянулся, возмужал и даже похорошел. Он спросил с внезапным любопытством:

— Что ты теперь делаешь, Дэви? А здорово ты переменялся, старина!

Да, Дэвид несомненно изменился. Ему шел уже двадцать первый год, а бледность и гладкие темные волосы делали его на вид старше. У него был красивый лоб и все та же упрямая линия подбородка. Энергичное, тонко очерченное лицо суживалось книзу, застенчивая улыбка очень его красила. И как раз в эту минуту Дэвид улыбался.

— Да ничего такого, о чем бы стоило рассказывать, Джо.

— Ну-ну, выкладывай, — покровительственноскомандовал Джо.

И Дэвид начал рассказывать.

Последние три года дались ему нелегко, они оставили по себе след, навсегда стерев с его лица печать незрелости. Он поступил в Бедлейский колледж, рассчитывая жить на стипендию — шестьдесят фунтов в год, и поселился в меблированных комнатах у Вестгейт-Хилл, напротив «Большого фонаря». Но шестьдесят фунтов в год были до смешного малой суммой, а деньги из дому не всегда присылались, — Роберт болел и два месяца не вставал с постели, да и Дэвид часто сам восставал против посылки ему денег. Раз, чтобы заработать шесть пенсов на ужин, он нес в город чемодан какого-то пассажира от самого Центрального вокзала.

Но все это казалось ему пустяками, в своем рвении он не замечал лишений. А рвение его родилось из сознания своего невежества. Уже первые недели в колледже показали Дэвиду, что он просто серый, неотесанный мальчишка-шахтер, которому помогли получить стипендию счастливый случай, усердная зубрежка и некоторые природные способности. Поняв это, Дэвид решил приобрести побольше знаний. Он принялся читать не только стереотипные книги, рекомендуемые в школе, — Гиббона, Маколея, Горация, — он читал все, что удавалось достать: Маркса и Мопас-

сана, Гёте и Гонкуров. Он читал, может быть, неразумно, но усердно. Читал с упоением, иногда до сумбура в голове, с неизменным упорством. Он вступил в члены Фабианского общества, всегда ухитрялся выкроить шестипенсовик на покупку билета на галерке в дни симфонических концертов и там познакомился с Бетховеном и Бахом; экскурсии в Тайнкаслский музей открыли ему красоту полотен Уистлера, Дега и единственного блестящего творения Мане, имевшегося там.

Нелегко давались ему эти беспокойные, одиночные искания, в которых было что-то трогательное. Дэвид был слишком беден, оборван и горд, чтобы заводить знакомства. Он тосковал по друзьям, но ждал, пока они придут к нему.

Потом он стал давать уроки в младших классах начальных школ в пригородах, заселенных бедняками, — в Солтли, Уиттоне, Хебберне. Принимая во внимание его идеалы, он должен был любить это дело, а между тем он его ненавидел: эти бледные, недоедающие и часто болезненные дети трущоб отвлекали его внимание от занятий, вызывали жестокую душевную боль. Хотелось не вбивать в их рассеянные головки таблицу умножения, а накормить их, одеть, обусть. Хотелось увезти их в Уонсбек и дать поиграть на воздухе и солнце, а не бранить их за то, что они не выучили десяти строк непонятных стихов о Ликиде, умирающем в цвете лет. У Дэвида порой сердце обливалось кровью при виде этой несчастной детворы. Он сразу и бесповоротно убедился, что у школьной доски он бесполезен, никогда не будет хорошим учителем, что преподавание в школе для него не цель, а средство и что ему надо перейти к другой, более активной, более «боевой» работе. В будущем году надо непременно выдержать экзамен на звание бакалавра, а затем идти дальше...

Дэвид вдруг замолк и снова улыбнулся своей удивительной улыбкой:

— Господи, неужели я говорил столько времени? Но тебе хотелось услышать мою «грустную историю» — так что пеняй на себя.

Однако Дженни не позволила ему говорить о себе таким легким тоном: его рассказ произвел на нее сильное впечатление.

— Право же, я... — начала она с живостью, но вместе с тем застенчиво, — я и не подозревала, что познакомилась с таким большим человеком.

Портвейн окрасил ее щеки слабым румянцем. Она смотрела на Дэвида блестящими глазами. Дэвид недовольно посмотрел на нее:

— «Большой человек»! Это очень ядовитая насмешка, мисс Дженни.

Но мисс Дженни и не думала насмеяться. До этого дня она не была знакома ни с одним студентом, настоящим студентом из Бедлейского колледжа. Большинство студентов Бедлея принадлежали к тому кругу, на представителей которого Дженни могла взирать только с завистью. К тому же, хотя Дэвид и выглядел чуть ли не оборванцем рядом с вылощенным Джо, она находила его очень недурным — нет, интересным, вот именно, интересным! И наконец, она говорила себе, что Джо последнее время относился к ней отвратительно и было бы забавно пококетничать с Дэвидом, сравнить их и заставить Джо ревновать. Она пролепетала:

— И подумать страшно про все эти книги, по которым вы учитесь. Да еще экзамен на бакалавра! Господи!

— И все это, верно, приведет меня в какую-нибудь непроветренную школу, где придется обучать голодных ребятишек.

— А разве вам этого не хочется? — не поверила Дженни. — Быть учителем! Ведь это чудесно!

Он с примирительной улыбкой покачал головой, собираясь возразить Дженни, но появление котлет, сосисок и картошки отвлекло их. Джо старательно все распределил, и у него был при этом весьма серьезный вид. Рассказ Дэвида Джо слушал вначале с завистливой, немного иронической усмешкой, готовый каждую минуту грубо высмеять и осадить Дэвида. Потом он заметил, как Дэвид смотрит на Дженни... Вот тут-то и осенила Джо замечательная идея. Он поднял голову, заботливо протянул Дэвиду его тарелку:

— Хватит тебе этого, Дэви?

— Да, большое спасибо, Джо. — Дэвид усмехнулся: уж много недель не видел он столько еды сразу.

Джо кивнул головой, любезно передал Дженни горчицу и указал для нее еще порцию портвейна.

— Что такое ты говорил, Дэвид? — спросил он благосклонно. — Хочешь стать чем-нибудь почище простого учителя? Ну-ка расскажи!

Дэвид покачал головой:

— Это тебе будет неинтересно, Джо, ничуть не интересно.

— Нет, интересно. Нам обоим интересно. Правда, Дженни? — В голосе Джо слышалось настоящее воодушевление. — Продолжай, старик, рассказывай все подробно.

Дэвид посмотрел на обоих и, ободренный вниманием Джо и блеском в глазах Дженни, начал:

— Ну так вот, слушайте. И не думайте, что я пьян, или самонадеянный нахал, или кандидат в сумасшедший дом. Когда я получу звание бакалавра, я, может быть, на время и займусь преподаванием. Но только ради куска хлеба. Получить образование я стремлюсь не для того, чтобы стать учителем. Не гожусь я в учителя — слишком нетерпелив. По совести говоря, я хочу совсем другого, и это трудно, ужасно трудно объяснить, но я попробую. Я хочу сделать что-нибудь для своих — для тех, кто работает в копях. Ты-то знаешь, Джо, какой это труд. Взять хотя бы «Нептун», где мы оба работали; ты знаешь, что там сделали с моим отцом, знаешь, в каких условиях там работать приходится... и как за это платят. Я хочу помочь людям изменить все это, сделать жизнь полегче. И образование мне нужно для борьбы.

Джо мысленно обозвал Дэвида сумасшедшим фантазером. Но вслух сказал слащавым тоном:

— Так, так, Дэви. Шахтерам помочь надо.

Дэвид с жаром продолжал:

— Нет, Джо, ты, наверное, думаешь, что это одно только хвастовство. Но тебе было бы понятно то, о чем я говорю, если бы ты познакомился с историей угольных копей, хотя бы наших нортумберлендских копей. Всего каких-нибудь шестьдесят-семьдесят лет тому назад там работали чуть ли не при феодальных порядках. На шахтеров смотрели как на дикарей, как на отверженных. Они были неграмотны. Учиться им не давали. Работали они в ужасных условиях: вентиляция была плохая, постоянно происходили несчастные случаи, из-за того что хозяева не принимали мер против взрывов рудничного газа. Работать внизу в шахтах разрешалось и женщинам, и детям с шести лет... С шести лет, подумать только! Мальчишки проводили под землей по восемнадцати часов в сутки. Рабочие были связаны договором, так что стоило им только шевельнуться, как их выбрасывали из квартир или сажали в тюрьму. Повсюду имелись заводские лавки, в них торговал обыкновенно какой-нибудь родственник смотрителя, и шахтеры были вынуждены покупать там все продукты, а в получку у них в уплату забирали весь заработок... — Дэвид вдруг

замолчал и натянуто засмеялся, глядя на Дженни: — Вам это вряд ли интересно. Идиотство с моей стороны надоедает вам такими вещами!

— Да нет же, право, нет, — восторженно заверила его Дженни. — Какой вы умница, все-то вы знаете!

— Дальше, дальше, Дэви, — весело понукал его Джо, приказав лакею подать Дженни еще вина. — Рассказывай!

Но на этот раз Дэвид решительно покачал головой:

— Я обо всем этом буду говорить на дискуссии в Фабианском обществе. Вот когда порботают языки! Вы, может быть, уже поняли, что я хотел сказать. Условия работы теперь лучше, мы отошли довольно далеко от тех ужасных времен. Но в некоторых копиях еще сохранились тяжелые условия — и плата грошовая, и слишком уж часты несчастья с рабочими. А люди, видимо, не знают этого. На днях в трамвае один пассажир читал газету, а его знакомый у него спрашивает: «Что нового?» Он отвечает «Да ничего, решительно ничего. Опять очередной случай в шахте...» Я заглянул через его плечо в газету и прочел, что при взрыве в Ноттингеме погибло пятнадцать углекопов.

Наступила короткая пауза. У Дженни глаза увлажнились от сочувствия. Она выпила три большие порции портвейна, и все ее чувства необыкновенно обострились, они вибрировали, как струна, и, утратив душевное равновесие, Дженни готова была не то захохотать от избытка жизнерадостности, не то заплакать от смертельной грусти. В последнее время она полюбила портвейн, прямо-таки пристрастилась к нему. Это, по ее мнению, было подбаживающее питье для леди, это самое изысканное вино. Познакомил ее с этим напитком, разумеется, Джо.

Молчание нарушил Джо.

— Ты далеко пойдешь, Дэви, — объявил он торжественно. — Никогда мне за тобой не угнаться. Ты доберешься до парламента, а я все буду тут пудлинговать сталь.

— Не будь ослом, — сказал Дэви отрывисто.

А Дженни слушала; ее интерес к Дэвиду возрастал. Она начала пленяться им не на шутку. Ее притворно-застенчивые взгляды стали еще застенчивее, еще многозначительнее. Она вся искрилась оживлением. Разумеется, она все время помнила, что ей надо превратить Дэвида в соперника Джо. Так заманчиво иметь двух поклонников на выбор!

Заговорили на менее серьезные темы; Джо рассказывал о себе; они болтали и смеялись до десяти часов, очень весело и дружески. Потом Дэвид спохватился, что уже поздно.

— Господи! — воскликнул он. — А ведь все уверены, что я сижу дома и занимаюсь!

— Не уходите, — запротестовала Дженни. — Еще вовсе не поздно!

— Как ни жаль, а я должен уйти. Право, должен. В понедельник экзамен по истории.

— Ну хорошо, — сказал Джо решительно, — мы увидимся с тобой во вторник, Дэви. Давай так и условимся. И тогда уж ты от нас легко не отделаешься!

Они встали из-за стола, Дженни ушла «привести себя в порядок», Джо заплатил по счету, хвастливо выставляя напоказ свои пятифунтовые бумажки.

На улице, когда они поджидали Дженни, Джо вдруг перестал жевать зубочистку.

— Она славная девочка, Дэви.

— Да, да. Одобряю твой вкус!

Джо от всей души рассмеялся:

— Ты жестоко ошибаешься, дружище! Мы с ней только добрые знакомые. Между мной и Дженни ничего *такого* нет.

— В самом деле? — спросил Дэвид с неожиданным интересом.

— Ну да! — Джо опять расхохотался, как будто самая мысль об этом казалась ему смешной. — Я и не подозревал, что ты в таком заблуждении.

Появилась Дженни, и они втроем дошли до угла Коллингвуд-стрит, где Дэвид свернул на Вестгейт-роуд.

— Смотри же, не забудь, — сказал ему Джо, — во вторник вечером, обязательно.

Прощальное рукопожатие было очень сердечным: пальцы Дженни тихонько, самым приличным образом, стиснули руку Дэвида.

Дэвид пошел домой пешком, а придя в свою жалкую каморку, раскрыл «Историю Французской революции» и закурил трубку.

Он думал о том, как великолепно, что он нежданно-негаданно встретил Джо. Странно, что они до сих пор ни разу не встретились. Но Тайнкасл большой город, «а Джо Гоулен в нем только один», — вспомнились ему слова Джо.

Дэвид как будто все время размышлял о Джо, но лицо, мелькавшее перед ним на страницах книги, не было лицом Джо, — то было смеющееся личико Дженни.

XIV

В следующий вторник Дэвид явился с визитом в дом 117/А на Скоттсвуд-роуд. Отсутствие Джо, которого задержала на заводе сверхурочная работа, было для него разочарованием, если принять во внимание, как нетерпеливо он ожидал этого вечера. Но что же делать, раз бедняге Джо пришлось работать сверхурочно? И Дэвид, несмотря на его отсутствие, чудесно провел время. Он по натуре был очень общителен, а между тем ему редко представлялся случай эту общительность проявить. Сегодня он пришел с надеждой на приятный вечер — и не обманулся. Семейство Сэнли, информированное Дженни, сначала отнеслось к нему с некоторой настороженностью: они ожидали высокомерия. Но скоро лед был сломан, на столе появился ужин, и всем стало весело. Миссис Сэнли, выйдя из обычной летаргии, приготовила гренки с сыром, и Салли объявила, что они просто объедение. Альф с помощью двух чайных ложечек и перечницы продемонстрировал придуманную им конструкцию голубятни. Он был убежден, что если взять патент, то можно нажать на этом целое состояние. Дженни, очаровательная в своем чистеньком ситцевом платье, сама разливала чай, так как ма слишком запыхалась и разомлела от жары после трудов на кухне.

Дэвид не мог глаз оторвать от Дженни. В неряшливой обстановке их дома она казалась ему чудесным цветком. Все те годы, что он прожил в Тайнкасле, ему почти не приходилось разговаривать с женщинами. В Слискейле же он еще не достиг того возраста, когда начинают «гулять», как принято выражаться в Террасах. Дженни была первой, самой первой женщиной, околдовавшей его.

В полуоткрытое окно влетал теплый ветер, и, хотя этот ветер приносил с собой извержения десяти тысяч дымовых труб, Дэвиду чудилось в нем благоухание весны. Он смотрел на Дженни, подстерегая ее улыбку; он никогда не видел ничего прелестнее мягкого изгиба ее рта, напоминавшего распускающийся цветок.

Когда Дженни передавала ему чашку и пальцы их соприкасались, божественное чувство нежности заливало душу Дэвида.

Дженни заметила, какое впечатление она производит на Дэвида, и была польщена. А когда тщеславие Дженни бывало удовлетворено, она всегда приходила в самое лучшее настроение и проявляла себя с выгодной стороны. На самом же деле ее не очень влекло к Дэвиду. Когда их руки встречались, она не ощущала трепета. Дженни была влюблена в Джо.

Когда-то, вначале, она презирала Джо за дурные манеры, за грубость, за то, что он, по ее выражению, «занимался грязным трудом». Однако, как ни странно, именно этими свойствами Джо и покорила ее. Дженни была из тех, кого подчиняют силой, где-то в самой глубине ее души жило неосознанное преклонение перед грубой силой, покорявшей ее.

Впрочем, это не мешало Дженни быть очень довольной своей новой победой: когда Джо узнает, это «научит» его дорожить ею.

После ужина Альф предложил развлечься музыкой. Все перешли в гостиную. Снаружи доносился смягченный вечерний шум улицы, воздух в комнате был свежий и прохладный. Под аккомпанемент Салли Дженни спела «Жуаниту» и «Милая Мария, приди ко мне». Голос у нее был слабый, и пела она с некоторой натугой, но зато была очень эффектна у пианино. Окончив «Милую Марию», она хотела было спеть «Прощание», но Альф, которого громко поддержали Клэри и Филлис, стал требовать выступления Салли.

— Салли — это гвоздь нашей программы, — конфиденциально пояснил он Дэвиду. — Если ее удастся расшевелить, вы увидите, как она забавна. Настоящая маленькая комедиантка. Мы с ней вдвоем регулярно каждую неделю ходим в «Эмпайр».

— Да ну же, Салли! — умоляла Клэри. — Изобрази Джека Плезентса.

Филлис тоже уговаривала ее:

— Да, Салли, пожалуйста. И Флорри Форд.

Но Салли, безучастно сидя на табурете перед пианино, отказывалась выступать. Беря одним пальцем меланхолические басовые ноты, она говорила:

— Я не в настроении... Ему, — кивок в сторону Дэвида, — ему хочется слушать Дженни, а не меня.

Дженни со снисходительной усмешкой сказала, как бы про себя:

— Она просто хочет, чтобы ее подольше упрашивали.

Салли тотчас же вспыхнула:

— Ну хорошо же, мисс «Милая Мария», я спою и без упрощивания! — Она выпрямилась на табурете.

Несмотря на свои пятнадцать лет, Салли была мала ростом и напоминала бочонок, но было в ней что-то непонятным образом привлекавшее и очаровывавшее. В эту минуту ее маленькая фигурка казалась наэлектризованной. Салли нахмурила брови, затем ее некрасивая рожица приняла неотразимо насмешливое выражение. Она взяла режущий уши аккорд.

— По требованию публики, — начала она, — вторая мисс Сэнли споет «Молли О'Морган». — И запела.

Это было превосходно, попросту превосходно! «Молли О'Морган» ровно ничего собой не представляла — обыкновенная, модная в то время песенка, — но Салли внесла в нее нечто новое. Песню она превратила в пародию, в шутовскую пародию. Она то визжала фальцетом, то вдруг начинала петь «с душой», чуть не плача над трагедией покинутых любовников Молли:

Молли О'Морган со своей шарманкой,
Рожденная в Ирландии итальянка.

И, забыв о том, что Дженни называла «приличиями», Салли в заключение самым непристойным образом изобразила обезьянку, которая (как с полным основанием можно было предположить) сопровождала мисс Морган и ее шарманку.

Все, кроме Дженни, корчились от смеха. А Салли, не дав им опомниться, с места в карьер начала «Я стоял на углу». Обезьянка исчезла, Салли преобразилась в Джека Плезентса, тупого, неотесанного деревенщину, медлительного, как улитка, торчащего под стеной городского трактира. Зрителям казалось, что они видят даже застрявшую в его волосах солому, когда Салли пела:

Тут какой-то малый в форме подошел и заорал:
«Как же ты попал в солдаты?» А я ему отвечал:
«На углу стоял я...»

Альф захопал в ладоши, громкими возгласами выражая свое одобрение. Салли с плутовской улыбкой поглядела на него, скосив глаза. Потом вмиг из Джека Плезентса превратилась снова

в особу женского пола и запела. Это была уже Флорри Форд, вылитая Флорри Форд, с пышной грудью, густым низким голосом и чудесными бедрами.

Пой о счастье, о радости, —
Никогда мы не знали их...

Песня неожиданно оборвалась. Салли соскользнула с табурета, покружилась на месте и, улыбаясь, остановилась перед слушателями.

— Отвратительно! — воскликнула она, морща нос. — И конфетки не стоит. Надо удирать, пока меня не забросали спелыми помидорами! — и вприпрыжку выбежала из комнаты.

Дженни потом извинялась перед Дэвидом за чудачества Салли.

— Уж вы простите, она часто бывает такая странная. А характер! Боже! Знаете... — она понизила голос. — Это довольно нелепо, но я боюсь, что она немножко ревнует ко мне...

— Да не может быть! — улыбнулся Дэвид. — Ведь она еще ребенок.

— Ей шестнадцатый год, — сухо возразила Дженни. — И она прямо-таки не выносит, когда кто-нибудь оказывает мне внимание. Вы не поверите, как бывает неприятно... точно я в этом виновата!

Нет, конечно, Дженни не была виновата. Так же мало можно было винить розу за ее благоухание, лилию — за ее чистоту.

В этот вечер Дэвид ушел домой еще более убежденный в том, что Дженни очаровательна.

Он стал часто бывать у Сэнли, проводить у них вечера. Иногда он заставал дома и Джо, чаще же — нет. У Джо был страшно занятый вид, лихорадочная сверхурочная работа не прекращалась, и его редко можно было увидеть в доме № 117/А. Через некоторое время Дэвид стал приглашать Дженни на прогулки. Они вдвоем предпринимали экскурсии, непривычные для Дженни: ходили на Эстонские холмы, ездили в Лиддль, устроили пикник в Эсмонд-Дине. В глубине души Дженни презирала такие развлечения: она привыкла к «щедрому кавалеру» Джо, водившему ее в Перси-Грилл, в «Биоскоп», к Кэррику. Развлечением Дженни считала людскую толчею, разные зрелища, парочку рюмок портвейна, траты «кавалера» на нее. А у Дэвида не было денег. Дженни ни на минуту не сомневалась, что он ходил бы с ней

по всем ее любимым местам, если бы позволило состояние его кошелька. Дэвид был «премильный молодой человек», он ей нравился, но иногда казался большим чудачком. В тот день, когда они отправились в Эсмонд-Дин, он привел ее в полное недоумение.

Ей не очень-то хотелось идти в Эсмонд — такое, по ее мнению, обыкновенное место, место, где за вход не платят, и поэтому люди самого низкого звания приходят сюда, приносят еду в бумажных свертках и располагаются на траве. Сюда ходили по воскресеньям со своими кавалерами самые «вульгарные» девицы из их мастерской. Но Дэвиду, видимо, очень хотелось, чтобы она пошла с ним, и Дженни согласилась.

Прежде всего он заставил ее сделать большой круг, чтобы показать ей гнезда ласточек, и с жадным нетерпением спросил:

— Вы когда-нибудь видели эти гнезда, Дженни?

Она отрицательно покачала головой:

— Я здесь была только один раз, и то совсем маленькой, когда мне было лет пять.

Дэвид был поражен:

— Да ведь это чудеснейшее место, Дженни. Я хожу сюда каждую неделю. Этот парк, как человеческая душа, бывает в разном настроении: иногда он мрачен, уныл, а иногда весел, весь залит солнцем. Посмотрите! Нет, вы только посмотрите на эти гнезда под крышей сторожки!

Она добросовестно смотрела. Но видела только комки грязи, лепившиеся по стене. Недоумевающая, немного рассерженная тем, что чего-то не может увидеть, она шла за Дэвидом вниз, по аллее рододендронов, к водопаду. Они остановились рядом на горбатом каменном мостике.

— Взгляните на эти каштаны, Дженни, — с восторгом сказал Дэвид. — Не правда ли, они как будто раздвигают небо? А мох вон там на скалах? А мельница... Смотрите, разве не прелесть все это? Совсем как на первых картинах Коро!

А Дженни видела старый полуразвалившийся домик с красной черепичной крышей и деревянным мельничным колесом, заросший плющом и забавно пестревший всевозможными красками. Неуютное, брошенное место. И бесполезное — ведь мельница больше не работает.

Дженни никогда еще так не злилась. Они проделали длинный путь, и ноги у нее распухли и болели в тесных новых туфлях, так

удачно купленных на распродаже за четыре шиллинга одиннадцать пенсов вместо девяти шиллингов. И здесь она ничего не видела, кроме травы, деревьев, цветов и неба, ничего не слышала, кроме журчания воды и пения птиц, а ела только подмоченные бутерброды с яйцами да два банана — и то канарские, а не большие ямайские, ее любимый сорт. Дженни была растеряна, выбита из колеи, сердита на Дэви, на себя, на Джо, на жизнь, на тесные туфли — неужели она уже натерла мозоль? — сердита на все решительно. Ей хотелось чаю или стаканчик портвейна, чего-нибудь! Стоя на этом живописном горбатом мостике, она поджимала бледноватые губы, затем раскрыла их, намереваясь сказать нечто весьма неприятное. Но в этот миг взгляд ее упал на лицо Дэвида. Лицо его светилось таким счастьем, таким сосредоточенным восторгом, таким пылом любви, что Дженни была сражена. Она вдруг фыркнула. Она смеялась, смеялась и — странно — не могла остановиться. Это был настоящий пароксизм истерической веселости.

Засмеялся и Дэвид, просто из сочувствия.

— В чем дело, Дженни? — спрашивал он. — Да скажите же, что вас так рассмешило?

— Не знаю, — сказала она, задыхаясь от приступа смеха. — В том-то и дело, что... я не знаю, отчего смеюсь.

Наконец она вытерла мокрые глаза кружевным платочком, прехорошеньким платочком, забытым какой-то леди в дамской комнате у Слэттери.

— Ох, — вздохнула она, — ну и умора!

Это было любимое выражение Дженни: всякое необычное явление, если оно оказывалось выше ее понимания, снисходительно определялось словом «умора».

После припадка веселости к Дженни вернулось хорошее настроение, она почувствовала даже нежность к Дэвиду, не протестовала, когда он взял ее под руку и когда затем, поднимаясь с ней по крутому склону холма к остановке трамвая, близко прижимался к ней. Но, жалуясь на усталость, она рассталась с ним раньше, чем они предполагали, и не позволила проводить себя домой.

Она шла по Скоттсвуд-роуд, беспокойная, возбужденная, занятая одной мыслью, которая пришла ей в голову, когда она ехала с Дэвидом в трамвае. На улице кипела жизнь. Была суббота, шестой час вечера. Люди выходили из домов погулять, развлечь-

ся. То был любимый час Дженни, час, когда она обыкновенно отправлялась куда-нибудь с Джо.

Она тихонько вошла в квартиру и, по счастливой случайности, от которой у нее забилося сердце, встретила Джо, шедшего по коридору к выходу.

— Эй, Джо! — окликнула она его весело, забыв, что целую неделю нарочно не обращала на него никакого внимания.

— Эй! — ответил он, не глядя на нее.

— У меня был сегодня такой уморительный день, Джо, — продолжала она оживленно и кокетливо. — Ты бы прямо умер со смеху, честное слово!

Джо метнул быстрый подозрительный взгляд на Дженни, загородившую ему путь в полутемном коридоре. В ответ на этот взгляд она придвинулась еще ближе, стараясь его соблазнить, тянулась к нему лицом, глазами, всем телом.

— Может, пойдем сегодня куда-нибудь, Джо? — сказала она манящим шепотом. — Честное слово, весь день мне было до смерти скучно. Мне так тебя не доставало! Хочется погулять с тобой. Очень хочется. И видишь, я готова, совсем одета.

— А какого...

Она прильнула к нему, гладила лацкан его пиджака, продела белый пальчик в его петлицу, по-детски умоляя и вместе соблазняя его:

— Я умираю от желания потанцевать. Сходим к Перси, Джо, покутим, как бывало. Ты ведь знаешь, Джо... ты знаешь, что...

Джо с грубым нетерпением покачал головой.

— Нет, — возразил он резко, — мне некогда, я замучился, у меня голова полна забот. — Отстранив ее, он торопливо прошел мимо, хлопнул дверью и исчез.

Дженни прислонилась к стене, полуоткрыв рот и устремив глаза на входную дверь. Вот как! Она просит его, унижается до просьб, она перед ним вся нараспашку, тянется к нему, а он бросает ей в лицо грубый отказ. Ее охватило чувство стыда. Никогда в жизни она не была так больно задета, так унижена. Бледная от гнева, она яростно кусала губы. Некоторое время она стояла не двигаясь, вне себя от злости. Потом овладела собой и, высоко подняв голову, вошла в комнату с таким видом, как будто ничего не произошло, швырнула шляпу и перчатки на диван и стала готовить себе чай.

Полулежавшая в качалке Ада опустила на колени журнал и недовольно наблюдала за дочерью.

— Где ты была? — спросила она лаконично и очень сухо.

— За городом.

— Гм... гуляла с этим молодым человеком... с Фенвиком?

— Да, разумеется, — с полным хладнокровием подтвердила Дженни. — Гуляла с Дэвидом Фенвиком. И прекрасно провела время. Просто чудно. Какие красивые цветы мы видели, каких птиц! Он славный малый, очень славный.

Безмятежная грудь Ады зловеще заколыхалась:

— Славный, вот как?!

— Да, очень. — Дженни, спокойно наливавшая себе чай, оставилась и благосклонно кивнула головой. — Он самый лучший, самый симпатичный из всех, кого я когда-нибудь встречала. Я в него совсем влюбилась. — И она беспечно стала что-то напевать.

Ада не выдержала:

— Нечего тут жужжать мне в уши! — Она вся дрожала от возмущения. — Я этого не позволю. И вообще, моя милая, должна тебе сказать, что считаю твое поведение неприличным. Ты нехорошо поступаешь с Джо. Четыре года он ухаживал за тобой, водил тебя повсюду и все такое, как настоящий жених. Но стоило только появиться другому молодому человеку, как ты даешь Джо отставку и бегаешь повсюду с тем... Это нечестно по отношению к Джо!

Дженни пила чай со «светским» самообладанием:

— Меня совсем не интересует Джо Гоулен, ма. Мне стоило бы только пальцем шевельнуть, и он был бы мой. Но я этого не сделала. Пока нет.

— Ах вот как, миледи! Теперь Джо недостаточно хорош для тебя... он тебе уже не пара, с тех пор как появился этот школьный учитель... Благородно, нечего сказать! Нет, сударыня, не так я поступала с твоим отцом. Я к нему относилась по-человечески, как следует порядочной девушке. И если ты не будешь хорошо обращаться с Джо, ты его упустишь, — это так же верно, как то, что тебя зовут Дженни Сэнли.

— Очень он мне нужен, подумаешь! — снисходительно усмехнулась Дженни. — Да пускай бы он и на глаза мне больше не показывался, ваш Джо Гоулен, мне решительно все равно.

Миссис Сэнли вскипела:

— Тебе-то, может быть, все равно. А Джо расстроен, ужасно расстроен. Только что он приходил ко мне. У бедняги слезы были на глазах, когда он говорил о тебе. Он не знает, что ему и делать. И на заводе у него неприятности. Ты ведешь себя возмутительно по отношению к нему, и, помяни мое слово, ни один мужчина этого долго терпеть не станет. Так смотри же! Ты скверная, бессердечная девчонка. Вот погоди, я все расскажу отцу.

Выпалив эту последнюю угрозу, Ада, в знак того, что разговор окончен, рывком подняла с колен свой журнал. Нравится это Дженни или не нравится, а она сказала свое слово, выполнила свой долг.

Дженни все с той же улыбкой превосходства допила чай, со снисходительной величавостью подобрала свои перчатки и шляпу, выплыла из комнаты и стала подниматься по лестнице.

Но, когда она очутилась у себя в спальне, улыбка вдруг сбегала с ее лица. Дженни одиноко стояла посреди комнаты, на холодном истертом линолеуме, превратившись в несчастного, брошенного, обиженного ребенка. Она уронила на пол шляпу и перчатки, затем, громко всхлипнув, бросилась на кровать. Лежала, распростершись на подушке, словно обнимая ее. Юбка на колене вздернулась и открыла над черным чулком полоску нежной белой кожи. Ее горе, горе покинутой, было невыразимо. Она плакала так, словно у нее сердце разрывалось.

А Джо, гордо шествуя по Биг-Маркет на свидание к Диду Джобби, с которым у него были важные и конфиденциальные дела, весело твердил про себя:

— Выгорит дело! Ей-богу, выгорит!

XV

Десять дней спустя Джо рано утром пришел в заводскую контору и заявил, что ему надо видеть мистера Стэнли.

— А, Джо! В чем дело? — спросил Стэнли Миллингтон, поднимая глаза от письменного стола, стоявшего посреди комнаты с высокими окнами, со множеством бумаг, чертежей и книг, лежавших повсюду, с коричневыми стенами, на которых висели фотографии — группы заводских служащих, администрации, снимки, сделанные на экскурсиях членов клуба, и снимки цеха, где

громадные болванки угрожающе раскачивались на подъемных кранах.

Джо почтительно ответил:

— Я отработал неделю после предупреждения, мистер Миллингтон. И не хотелось мне уйти, не попрощавшись с вами.

«Наш» мистер Стэнли выпрямился в кресле:

— Да неужели же вы уходите от нас, Джо? Очень жаль. Вы гордость цеха. И клуба тоже. Что случилось? Может быть, я могу помочь делу?

Джо покачал головой меланхолически, но решительно:

— Нет, мистер Стэнли, сэр, тут личное дело. Завод тут ни при чем. Мне очень нравилось у вас работать. Но... у меня вышла неприятность с моей невестой.

— Боже мой, Джо! — всполошился мистер Стэнли. — Неужели... (Мистер Стэнли не забыл Дженни. Мистер Стэнли недавно женился на Лауре, он, если позволено будет так выразиться, только что поднялся с брачного ложа и поэтому был склонен к драматическому сочувствию.) Неужели вы хотите сказать, что она вас бросила?

Джо молча кивнул:

— Придется мне уйти. Я не могу больше здесь оставаться. Хочу уехать как можно скорее.

Миллингтон отвел глаза. Не повезло бедняге! Да, ужасно не повезло. Но он переносит горе как настоящий мужчина. Чтобы дать Джо время успокоиться, Стэнли тактично вытащил свою трубку и стал медленно набивать ее табаком из стоявшей на столе коробки с эмблемой Сент-Бидской школы, потом поправил галстук цветов этой школы и сказал:

— Мне вас жаль, Джо. — Рыцарские чувства не позволили ему сказать больше: он не мог осуждать женщину. Он добавил только: — Мне вдвойне жаль лишиться вас, Джо. Вы у меня с некоторых пор на примете. Я наблюдал за вами и хотел помочь вам пробить себе дорогу.

«Отчего же ты этого не сделал, дьявол тебя возьми?» — подумал Джо злобно, а вслух сказал с благодарной улыбкой:

— Вы очень добры ко мне, мистер Стэнли.

— Да. — Стэнли важно пыхтел трубкой. — Люди вашего типа мне по душе, Джо. Я люблю работать с такими людьми, прямодушными и порядочными. Образование в наше время имеет очень мало значения. Главное — чтобы человек был настоящим...

Долгая пауза.

— Впрочем, не буду пытаться вас уговаривать. Что пользы предлагать человеку камень, когда ему нужен хлеб? На вашем месте и я бы, вероятно, поступил так же. Уезжайте и постарайтесь забыть. — Он снова помолчал, вынув трубку изо рта, и внезапно расчувствовался при мысли о том, как он счастлив с Лаурой и насколько его положение лучше, чем этого бедняги Джо. — Но запомните то, что я сказал, Джо. Это мое искреннее намерение. Когда бы вы ни вздумали вернуться, для вас здесь найдется работа. И работа, вас *достойная*. Понимаете?

— Да, мистер Стэнли. — Джо держал себя, как подобает мужчине.

Миллингтон поднялся, вынул трубку изо рта и протянул ему руку, как бы благословляя идти навстречу своей судьбе:

— До свидания, Джо. Уверен, что мы еще с вами встретимся.

Они обменялись рукопожатием. Потом Джо повернулся и вышел из кабинета. Он торопливо прошел Плэтт-стрит, вскочил в трамвай, мысленно подгоняя его. Потом все так же поспешно промчался по Скоттсвуд-роуд, тихонько вошел в дом № 117/А, прокрался наверх и уложил свой чемодан. Уложил все. Когда попалась фотография Дженни в рамке, которую она ему подарила, он с минуту всматривался в нее со слабой усмешкой, потом выбросил фотографию и спрятал в чемодан рамку. Рамка была хорошая, серебряная.

Таща в одной руке раздутый чемодан, он сошел вниз, бросил его на пол в передней и прошел в крайнюю комнату. Ада, неряшливая, расплывшаяся, по обыкновению лежала в качалке, предаваясь так называемой «утренней передышке».

— Прощайте, миссис Сэнли.

— Что такое? — Ада чуть не вскочила с качалки.

— Меня уволили, — коротко объявил Джо. — Работу я потерял, Дженни со мной порвала, не могу я этого больше выносить. Уезжаю...

— Ну, Джо... — ахнула Ада. — Неужели вы это всерьез?

— Совершенно серьезно.

Джо не притворялся печальным: это было опасно, могло вызвать протесты, уговоры остаться. Он был тверд, решителен, сдержан. Он уходил как человек, которого оскорбили, решение которого непоколебимо. И впечатлительная Ада поняла это по выражению его лица.

— Так я и знала, — причитала она. — Знала, что этим кончится. Ее поведение... Говорила я ей. Говорила, что вы этого не потерпите. Она возмутительно с вами поступила.

— Больше чем возмутительно, — вставил Джо угрюмо.

— И подумать только, что вы еще и работу потеряли! О Джо, как мне вас жалко! Это ужасно. Господи, что же вы будете делать?

— Найду себе работу, — сказал Джо твердо, — где-нибудь подалее от Тайнкасла.

— Но, Джо... может быть, вы...

— Нет! — неожиданно рявкнул Джо. — Ничего я не хочу. Довольно я настрадался. Меня обманул мой лучший друг. Не желаю я больше этого терпеть!

Дэвид был для Джо, конечно, последним козырем в игре. Не будь Дэвида, ему бы ни за что не удалось отделаться от Дженни. Это было бы невозможно. Никак невозможно. Его бы допрашивали, преследовали, шпионили за ним на каждом шагу. Даже когда он говорил с Адой, эта мысль промелькнула у него в голове. И его охватил порыв восхищения собственной ловкостью. Да, он умно придумал: разыграл все, как настоящий артист. Какое удовольствие — стоять сейчас тут, втирать ей очки и посмеиваться в кулак над всей компанией.

— Имейте в виду, миссис Сэнли, что я не злопамятен, — объявил он в заключение. — Скажите Дженни, что я ее прощаю. И передайте всем от меня поклон. Не могу никого видеть, мне слишком тяжело.

Аде не хотелось его отпустить. Она-то в самом деле была расстроена. Но что делать, раз человека обидели? И Джо покинул ее дом так же, как вошел в него, — без единого пятна на репутации, самым достойным образом.

В этот вечер Дженни поздно воротилась домой. В магазине Слэттери шла летняя распродажа, а так как сегодня была пятница, последний день этого ненавистного для Дженни периода, то магазин закрыли только около восьми часов вечера. Дженни пришла домой в четверть девятого.

Дома была только одна мать. С удивительной для нее энергией Ада устроила это нарочно, отослав Клэри и Филлис «погулять», а Альфа и Салли — на премьеру в «Эмпайр».

— Мне нужно с тобой поговорить, Дженни...

Что-то новое звучало в голосе матери, но Дженни была слишком утомлена, чтобы обратить на это внимание. Она до смерти устала, и, что еще хуже, ей нездоровилось. Сегодня был убийственный день.

— Ох и надоел же мне этот магазин! — сказала она, в изнеможении падая на стул. — Десять часов на ногах! Ноги у меня распухли и горят. Если это долго еще будет продолжаться, я наживу себе расширение вен. А я когда-то считала, что это приличная служба. Что за ерунда! Она становится все хуже. Женщины того круга, который мы теперь обслуживаем, такие ужасные!

— Джо уехал, — ледяным тоном сказала миссис Сэнли.

— Уехал? — повторила Дженни, оторопев.

— Да, уехал сегодня утром. Совсем.

Дженни поняла. Ее бледное лицо побелело как мел. Она перестала растирать опухшую ногу и сидела не шевелясь. Серые глаза глядели не на мать, а куда-то в пространство. Она казалась испуганной, но скоро овладела собой.

— Дай мне чаю, мама, — вымолвила она каким-то странным голосом. — И не говори больше ни слова. Дай мне только чаю и молчи.

Ада глубоко вздохнула, и все приготовленные было упреки замерли у нее на языке. Она немножко знала свою дочь, — не вполне, но настолько, чтобы понять, что сейчас не следует возражать Дженни. Она замолчала и принесла Дженни поесть.

Дженни очень медленно принялась за еду; это был, собственно, обед — деревенский пирог, еще горячий, потому что стоял в печке. Она сидела все так же прямо и неподвижно, глядя в одну точку. Она, казалось, размышляла.

Кончив есть, она повернулась к матери.

— Теперь слушай, ма, — сказала она. — И слушай хорошенько. Я знаю, вы все готовитесь меня пилить. Я заранее знаю каждое слово, которое у тебя на языке: ты, мол, поступила с Джо скверно и так далее. Я это знаю, слышишь? Все знаю. И нечего мне это говорить. Тогда вам не придется ни о чем жалеть. Вот! А теперь я иду спать.

Ошеломленная мать осталась одна, а Дженни стала с трудом подниматься по лестнице. Она ощущала невероятную усталость. Вот бы сейчас выпить стаканчик-другой портвейна, чтобы встряхнуться! Она почувствовала вдруг, что готова отдать все что угод-

но за один бодрящий стаканчик портвейна. Наверху она разделась, бросая свою одежду на стул, на пол, куда попало. Легла в постель. Она благодарила Бога, что Клэри, спавшей с ней в одной комнате, нет дома и никто не мешает ей.

Она лежала на спине в прохладной темноте спальни и думала, думала... На этот раз никакой истерики, потоков слез, дикого метания на подушке. Дженни была удивительно спокойна. Но под этим спокойствием скрывался страх.

Она смотрела прямо в лицо случившемуся: да, Джо бросил ее, нанес ей ужасный удар, почти смертельный для ее гордости, удар, морально сразивший ее в самое неподходящее время. Ей опротивел магазин, надоело в течение долгих часов быть на ногах, подавать, разворачивать, резать, надоело любезно угождать покупательницам низшего круга. Только сегодня картина этих шести лет ее работы у Слэттери встала перед ней. И она решительно сказала себе, что должна избавиться от всего этого. Дома ей тоже надоело: надоела теснота, грязь, беспорядок. Ей хотелось иметь свою собственную квартиру, свою собственную обстановку; хотелось принимать гостей, устраивать у себя званые вечера, возвращаться в «приличном обществе». А если ее желание никогда не осуществится? Если всю жизнь будет только этот магазин и дом на Скоттсвуд-роуд? Вот что было главной причиной внезапного испуга Дженни. В лице Джо она упустила уже одну возможность. Неужели она упустит и вторую?

Она много и упорно думала, раньше чем уснула. А наутро проснулась в бодром настроении. По субботам она работала только полдня. Придя домой, торопливо позавтракала и побежала наверх переодеваться. Она потратила много времени на туалет: надела самое нарядное из своих платьев — серебристо-серое с бледно-розовой отделкой, причесалась по-новому и, чтобы выглядеть свежее, намазала лицо кольдкремом «Винолия»; результатом осталась довольна и сошла вниз в гостиную дожидаться Дэвида. Он обещал прийти в половине третьего, но пришел на целых десять минут раньше, трепеща от нетерпеливого желания увидеть ее. Первый же взгляд на него успокоил Дженни: да, он по уши влюблен. Она сама открыла ему дверь, и Дэвид остановился в коридоре как вкопанный, пожирая ее глазами.

— Какая вы красивая, Дженни, — шепнул он. — Такая красота бывает только в сказке.

Проходя впереди него в гостиную, она усмехалась, довольная. Нельзя отрицать, что Дэвид гораздо лучше, чем Джо, умеет говорить комплименты, но подарок он принес ей ужасно нелепый: не шоколад, не конфеты, даже не духи, ничего путного — только букет желтофиоли, даже не букет, а просто пучок, такие продаются на лотках не дороже чем по два пенса. Ну да ничего, сейчас не стоит обращать на это внимания.

Она сказала с улыбкой:

— Я так рада вас видеть, Дэвид, право. И какие красивые цветы!

— Они самые обыкновенные, но они прелестны, Дженни. И вы также. Смотрите, лепестки такие же нежно-матовые, как ваши глаза.

Дженни не знала, что сказать. Такого рода разговор ставил ее в тупик. Она подумала, что виноваты книги, которых Дэвид читался за последние три года, — «стихи и все такое». В другое время она ответила бы, как полагается хорошо воспитанной особе: «О, я так люблю цветы!» — и суетливо убежала бы с букетом. Но сегодня ей не хотелось уходить от Дэвида. С цветами в руках она церемонно присела на кушетку. Дэвид сел рядом, посмеиваясь над строгой чопорностью их позы.

— Мы сидим как будто перед фотографом.

— Что? — Она недоумевающе посмотрела на него, окончательно рассмешив этим Дэвида.

— Знаете, Дженни, — сказал он, — никогда еще я не встречал такой... такой удивительно чистой девушки, как вы. Как Франческа... «когда ее, еще всю в росе, привезли из монастыря». Это написал один человек, которого звали Стивен Филлипс.

Глаза Дженни были опущены. Серое платье, бледное нежное лицо и неподвижные руки, сжимавшие цветы, придавали ей странное сходство с монахиней. После слов Дэвида она сидела все так же тихо, не понимая, что он хотел сказать. «Чистая»? Неужели он способен... Неужели это насмешка? Нет, конечно нет, он слишком влюблен. Наконец она сказала:

— Не надо смеяться надо мной. Последние дни у меня очень тяжело на душе.

— Неужели, Дженни? — Дэвид сразу встревожился. — А что случилось?

Она вздохнула и принялась теревить стебелек цветка из букета:

— Здесь все против меня, все... потом были неприятности с Джо... Он уехал.

— Как? Джо уехал?

Она утвердительно кивнула головой.

— Но отчего, скажите на милость? Отчего?

Она промолчала, продолжая с трогательным смущением теревить цветок, потом сказала:

— Он ревновал... не захотел оставаться у нас, оттого что... ну, если уж вы непременно хотите знать, — оттого, что вы мне больше нравитесь, чем он.

— Да что вы, Дженни, — возразил Дэвид смущенно. — Ведь Джо мне говорил... Так вы думаете... вы уверены, что Джо все же был влюблен в вас?

— Давайте не будем об этом говорить, — ответила Дженни, слегка вздрогнув. — Я не хочу говорить об этом. Я от всех только об одном и слышу... Меня бранят за то, что я не любила Джо... — Она неожиданно подняла глаза на Дэвида. — Сердцу не прикажешь, правда, Дэвид?

Послышавшийся ему в этих словах намек заставил сердце Дэвида мгновенно забиться дивным восторгом. Она предпочла его! Она назвала его — Дэвид! Глядя ей в глаза, как в тот вечер первой встречи, он забыл обо всем на свете, помнил только, что любит ее, стремится к ней всей душой. В мире есть одна только Дженни. И никогда не будет другой. Уже в одном ее имени Дженни крылось волшебное очарование, песня жаворонка, раскрывающийся цветок, красота и свежесть, музыка и благоухание. Он желал ее со всем пылом своей молодой и голодной души. Он наклонился к ней, и Дженни не отодвинулась.

— Дженни, — пробормотал он с бьющимся сердцем. — Так я вам нравлюсь?

— Да, Дэвид.

— Дженни... Я знал с самого начала, что так будет... Вы любите меня, Дженни?

Дженни ответила коротким нервным кивком.

Он обнял ее. Ничто в жизни не могло сравниться с упоением этого поцелуя. Он поцеловал ее робко, почти благоговейно. Весь трагизм первой юношеской любви, вся ее неискренность сказа-

лись в нежной неловкости этого объятия. Это был самый необычайный поцелуй из всех, которыми когда-либо целовали Дженни. И от необычайности этого поцелуя слеза задрожала на ее реснице, скатилась по щеке, за ней другая, третья.

— Дженни... ты плачешь? Так ты не любишь меня? Дорогая, скажи, что тебя огорчает?

— Я люблю тебя, Дэвид, люблю, — зашептала Дженни. — Никого у меня нет, кроме тебя. Я хочу, чтобы ты всегда меня любил. Хочу, чтобы ты взял меня отсюда. Я здесь все ненавижу.. ненавижу! Они относятся ко мне отвратительно. И надоело мне до смерти работать в магазине. Ни одной минуты не буду больше этого терпеть. Я хочу уйти с тобой, подальше отсюда. Хочу, чтобы мы поженились и были счастливы и... и... все такое.

Волнение в ее голосе довело Дэвида чуть не до экстаза.

— Я тебя возьму отсюда, Дженни, как только смогу. Как только сдам экзамен и получу место.

Она разразилась слезами:

— О Дэвид, да ведь это пройдет целый год! И ты будешь в Дерхэме, в университете, а я здесь. Ты меня забудешь. Я не могу так долго ждать. Мне тошно здесь, пойми. А ты не мог бы сейчас поступить на службу?

Она горько плакала, сама не зная отчего.

Эти слезы ужасно расстроили Дэвида. Он видел, что Дженни переутомлена и сильно взвинчена, каждое ее всхлипывание отзывалось в нем ранищей болью.

Он стал ее утешать, гладил по голове, склоненной к нему на плечо:

— Не так уж это долго, Дженни. И не горюй, милая, все уладится. В крайнем случае я могу, пожалуй, и теперь уже получить место. Я вполне подготовлен к преподаванию, понимаешь? Я сдал экзамены на бакалавра литературы, для этого достаточно двух лет учения в Бедлее. Конечно, это ничего не стоит в сравнении со степенью бакалавра филологических наук, но в конце концов, если нужда заставит, я могу взять место учителя.

— Правда, Дэвид? — В налитых слезами глазах Дженни была мольба. — О, постарайся! Но как ты это сделаешь?

— А вот как... — Он все гладил Дженни по голове и успокаивал ее. Только безумие любви могло заставить его сказать то, что он сказал: — Я напишу одному человеку из нашего города, кото-

рый пользуется большим влиянием. Его фамилия Баррас. Он может устроить меня куда-нибудь. Но понимаешь ли...

— Понимаю, Дэвид, — стремительно перебила Дженни, — отлично знаю, что ты хотел сказать. Тебе нужно добиться степени бакалавра. Но почему бы не сделать этого *потом*? О Дэвид, ты только представь себе: мы с тобой вдвоем в уютном домике. Ты работаешь по вечерам, разложив на столе свои большущие серьезные книги, а я сижу рядом. Не так уж трудно будет тебе давать днем уроки в школе. А заниматься ты можешь вволю по вечерам. Разве не чудесно было бы? Подумай, Дэвид, как чудесно!

Сентиментальная картина, нарисованная Дженни, вызвала у Дэвида улыбку насмешливой нежности. Он покровительственно посмотрел на девушку:

— Но, видишь ли, Дженни, нам следует быть рассудительными.

Она улыбнулась сквозь слезы:

— Дэвид, Дэвид, не говори больше ничего. Я так рада, не надо портить мне эту радость. — Она со смехом вскочила. — Теперь слушай. Мы сегодня сделаем отличную прогулку. Пойдем в Эсмонд-Дин, там так красиво, мне так нравятся деревья и та живописная старая мельница, помнишь? И там мы поговорим, обсудим все, каждую мелочь. В конце концов, не мешает тебе сразу написать этому мистеру Баррасу... — Она замолчала, чаруя Дэвида своими красивыми глазами, блестящими от непролитых слез. Она торопливо поцеловала его и убежала одеваться.

Дэвид стоял и улыбался, радостно взволнованный, но, пожалуй, немножко озабоченный. Впрочем, все казалось пустяком по сравнению с тем, что Дженни любит его. Его, Дэвида, любит Дженни! И он ее любит. Он был полон нежности, горячей веры в будущее. Дженни будет ждать, разумеется, будет ждать... ведь ему только двадцать два года... он должен получить степень бакалавра, она поймет это потом. В то время как он, поджидая Дженни, размышлял об этом, дверь распахнулась — и вошла Салли. Увидев его, она вдруг круто остановилась.

— Я не знала, что вы здесь, — сказала она, нахмурив брови. — Я пришла взять ноты.

Ее хмурое лицо тучей врезалось в ясное небо его счастья. Салли всегда разговаривала с ним как-то странно — отрывисто, язвительно, с упорной неприязнью. Чувствовалась какая-то оби-

да на него, инстинктивное желание задеть его побольнее. И Дэвиду вдруг захотелось наладить хорошие отношения с Салли теперь, когда он так счастлив, когда он женится на ее сестре. Повинуясь этому внезапному побуждению, он сказал:

— Почему вы так смотрите на меня, Салли? Я вам противен?

Девочка пристально посмотрела ему в глаза. На ней было старое синее платье, в котором она в прошлом году ходила в школу; волосы ее сильно растрепались.

— Вы мне не противны, — сказала она, на этот раз без тени своей обычной недетской заносчивости.

Дэвид видел, что она говорит правду. Он улыбнулся:

— Но вы всегда так... кисло на меня поглядываете.

Она возразила с необычной серьезностью:

— Вы знаете, где найти сахар, если он вам нужен. — И, опустив глаза, круто повернулась и вышла.

Разминувшись с Салли в дверях, впорхнула Дженни.

— Что эта маленькая злючка сказала тебе? — И, не дожидаясь ответа, она с уверенностью собственницы взяла Дэвида под руку, слегка прижавшись к нему. — Ну, пойдём, милый. Мне до смерти хочется поскорее обо всем, обо всем поговорить.

Она была весела теперь, весела, как птица. А почему бы и нет? Ведь у нее были все основания радоваться: есть жених — не просто «кавалер», а настоящий жених, и с аттестатом учителя! Чудесно иметь жениха-учителя. Она избавится от Слэттери и от Скоттсвуд-роуд тоже. Она покажет им всем, покажет и Джо! Всем назло они с Дэвидом будут венчаться в церкви, и о венчании объявят в газете. Она всегда мечтала венчаться в церкви... А теперь надо подумать, как ей одеться к венцу. Она оденется просто, но мило... Сошьет себе прелестное платье...

Воротясь с прогулки, Дэвид написал Баррасу («только для того, чтобы доставить удовольствие Дженни»). Через неделю пришел ответ: ему предлагали место младшего преподавателя в городской школе в Слискейле, на Нью-Бетель-стрит. Дэвид показал это письмо Дженни, ожидая, что она скажет. Рассудок боролся в нем с безоглядностью любви. Он подумал о родителях, о своем будущем... Но Дженни обхватила руками его шею.

— О Дэвид, милый, — всхлинула она, — ведь это великолепно, так великолепно, что я и слов не нахожу! Ну разве ты не рад, что я тебя заставила написать? Разве это не чудесно?

Держа ее в объятиях, прильнув губами к ее губам, закрыв глаза, все больше и больше пьянея, он чувствовал, что она права: это и в самом деле чудесно.

XVI

В это утро, даже еще до прибытия телеграммы на имя отца, Артур ощущал какой-то особенный подъем духа. Он проснулся с этим ощущением. С той минуты, как он открыл глаза и увидел в окно квадрат голубого неба, он почувствовал, что жизнь прекрасна, полна солнечного света, и надежд, и сил. Конечно, не всегда он просыпался в таком настроении. Иногда по утрам не бывало солнца, предстоял день уныния, какого-то мрачного застоя души, неприятного сознания своих недостатков.

Отчего он сегодня чувствовал себя таким счастливым? Это было так же необъяснимо, как и его печальные настроения. Предчувствие утренней телеграммы? Или мысль, что он увидит сегодня Гетти? Вернее всего — радостное сознание, что он совершенствуется нравственно, потому что, лежа в постели с закинутыми за голову руками, блаженно дотягиваясь всем своим длинным и тонким восемнадцатилетним телом, он первым делом подумал: «А я так и не ел вчера землянику!»

Разумеется, земляника сама по себе ничто, хотя он очень любит ее. Она только символ, она помогла ему доказать себе, что у него сильная воля. С легкой улыбкой он снова перебрал все в памяти. Вчерашний ужин, тетя Кэролайн, которая, как всегда, склонив голову набок, что-то приговаривала, раскладывая из вазы по тарелкам сочную землянику из парников, редкое лакомство за пуританским столом Баррасов. Да, и еще сливки — он чуть не забыл о большом серебряном кувшине желтых сливок. Ничего Артур так не любил, как землянику со сливками. «Теперь тебе, Артур», — сказала тетя Кэролайн, готовясь положить ему щедрую порцию ягод. А он послешно: «Нет, спасибо, тетя Кэрри. Я сегодня не хочу земляники». — «Да что ты, Артур!» В голосе тетушки удивление, даже растерянность. Холодный взгляд отца сразу же останавливается на нем. Тетя Кэрри начинает снова: «Разве ты нездоров, Артур, милый?» Он смеется: «Совершенно здоров, тетя Кэрри. Просто мне что-то не хочется сегодня зем-

ляники». И сидел, глотая слюнки, и смотрел, как все ели землянику.

Вот это путь к самовоспитанию — мелочь, может быть, но в книге сказано, что за мелкими следуют большие дела. Да, сегодня он доволен собой. «Я бы очень желала, чтобы у Артура был более сильный характер». Это ворчливое замечание матери, подслушанное им, когда он проходил по коридору мимо ее комнаты, на много месяцев запечатлелось в его мозгу, но теперь, когда он ответил на него своим отказом от земляники, больше не мучило его.

Он вскочил с постели — ведь нехорошо так лежать и праздно мечтать! — энергично проделал гимнастику перед открытым окном, помчался в ванную и принял холодную ванну, действительно холодную: не думайте, он не разбавил эту ледяную купель ни единой каплей горячей воды. Потом Артур, сияя, вернулся к себе в комнату и надел рабочий костюм. Во время одевания глаза его были набожно устремлены на висевший против кровати плакат, написанный от руки. Плакат большими жирными буквами возвещал: «Я добыюсь!» А пониже этой была вторая надпись: «Смотри каждому прямо в глаза».

Он зашнуровал наконец башмаки — грубые башмаки, которые надел сегодня потому, что собирался в шахту. Теперь он совсем готов. Отперев ящик стола, он достал оттуда небольшую красную книжку «Как излечиться от застенчивости» — одну из серии, выходявшей под общим заголовком «Воля и поступки», — и с серьезным видом присел на край кровати, чтобы почитать. Он всегда прочитывал одну главу утром, до первого завтрака, когда (как утверждала книга) ум наиболее восприимчив. К тому же он всегда читал у себя в комнате, в уединении: эти красные книжечки были его ревниво охраняемой тайной.

Где-то за пределами его внимания слышалось движение в доме: медленные шаги тетушки Кэрри в спальне матери, смех Грэйс, пробежавшей в ванную, глухой, сердитый стук над головой из комнаты Хильды, неохотно поднимавшейся с постели навстречу дню. Отец встал уже с час назад. Раннее вставание было частью его программы, привычной для всех, неизменной, никогда не подлежащей обсуждению.

Артур прочел: «Человеческая воля способна управлять не только судьбой одного человека, но и судьбами многих. Эта способ-

ность ума приказывать или запрещать, эта способность решать, который из двух путей должен быть нами избран, может оказывать влияние не только на нашу собственную жизнь, но и на жизнь многих других людей».

Он на минуту перестал читать. Как верно! Уже хотя бы ради этого следует воспитывать в себе волю — не ради того, чтобы владеть собой, а во имя этого широкого, всеобъемлющего влияния на окружающих. Артуру хотелось быть человеком сильным, решительным, с большим самообладанием. Он знал свои недостатки, свою врожденную застенчивость и робость, склонность копаться в себе, а главное — неисправимую мечтательность.

Подобно всем мягким и впечатлительным натурам, Артур легко поддавался искушению уходить от грубой действительности через ворота своей фантазии. Какие удивительные мечты его посещали! Как часто видел он себя совершающим героический подвиг в «Нептуне»... То он спасал ребенка, вытаскивая его из воды или из-под курьерского поезда, и скрывался, не сообщив своего имени, а потом его разыскивали, и безумствующая от восторга толпа несла его на руках... То он сбивал с ног здорового грубияна, оскорбившего женщину... Или стоял на трибуне, чаруя громадную толпу слушателей своим красноречием... Или где-нибудь на званом обеде, в изысканном кругу, рядом с Гетти Тодд, пленял ее и все общество непринужденностью и изяществом манер... Или... О, не было предела этим ослепительным грезам! Но Артур сознавал, что они опасны, и решил покончить с ними. Теперь он будет тверд, тверд просто на удивление! Ему почти девятнадцать лет. Через год он окончит горный институт. Жизнь начинается — да, начинается по-настоящему, и необходимы мужество и решительность. «Я добыюсь!» — твердо сказал себе Артур, закрыв книгу и с пылом верующего глядя на свой плакат. Он крепко зажмурил глаза и несколько раз повторил эти слова про себя, будто выжигая их в своей душе: «Добьюсь, добыюсь».

Затем он отправился вниз завтракать. Отец любил по утрам завтракать на полчаса раньше других и уже кончил есть. Он, задумавшись, пил последнюю чашку кофе, и газета лежала у него на коленях. На «доброе утро» Артура он ответил молчаливым кивком. В этом кивке не было той суровой рассеянности, которая иногда до костей леденила Артура. Сегодня в кивке отца была спокойная снисходительность. Она была для Артура как лас-

ка, она ободряла, означала, что отец принимает его преданность, признает его как личность. Артур просиял от счастья и усердно принялся очищать от скорлупы яйцо, с радостным волнением чувствуя на себе все время взгляд отца.

— Я полагаю, Артур, — сказал вдруг Баррас, словно решившись на что-то, — что сегодня мы узнаем интересные новости.

— Какие, папа?

— Предвидится новый контракт на уголь...

— Да, папа? — Артур поднял глаза, краснея: это «мы» было ему ужасно приятно, оно объединяло его с отцом, включало его, уже на правах компаньона, в управление копиями.

— Первоклассный, должен тебе сказать, контракт с Тихоокеанской компанией.

— Вот как, папа!

— Ты рад? — спросил Баррас с дружелюбной иронией.

— О да, папа.

Баррас снова кивнул головой:

— Им нужен наш коксующийся уголь. Я уже начинал думать, что никогда больше не придется снова разрабатывать этот пласт. Но если они согласятся на нашу цену, мы приступим к работе на будущей неделе. Начнем вскрывать жилу в Скаппер-Флетс.

— А когда мы узнаем, папа?

— Сегодня утром, — ответил Баррас. Прямой вопрос Артура как будто заставил его внезапно пожалеть о своей откровенности. Он опять взял газету и из-за нее сказал внушительно: — Пожалуйста, будь готов ровно к девяти. Я не желаю тебя дожидаться.

Артур снова принялся усердно чистить яйцо, благодарный уже и за те сообщения, которые были ему сделаны. Но у него неожиданно мелькнула одна тревожная мысль. Он вспомнил... вспомнил что-то очень неприятное. Скаппер-Флетс!.. Торопливо обратил он взгляд на заслоненное газетой лицо отца. Ему ужасно хотелось задать один вопрос. Спросить или нет? Пока он так колебался, вошла теть Кэрри с Грэйс и Хильдой. Лицо тети Кэрри, как всегда, светилось приветливостью, в которую она облачалась каждое утро так же неизменно и естественно, как вставляла свои фальшивые зубы.

— Твоя мать великолепно спала ночью, — весело обратилась она к Артуру.

Информация предназначалась для Ричарда, но тетя Кэрри сочла более удобным не обращаться к нему прямо: тетушка во имя собственной безопасности и общего мира всегда предпочитала обходный путь.

Артур, не слушая, передал ей гренки. Он весь сосредоточился на одной тревожной мысли... Скаппер-Флетс... Радость его наполовину уже исчезла, начинались внутренние терзания. Он не отрывал глаз от тарелки. И под влиянием мучивших его мыслей постепенно меркло великолепие этого утра. Он чуть не заплакал от раздражения: почему всегда одно и то же — этот неожиданный переход от восторженности к тяжкому смятению?

Он через стол посмотрел на Грэйс с чувством, похожим на зависть, наблюдая, как весело и безмятежно она уписывает мармелад. Грэйс была всегда одинакова: в шестнадцать лет она сохранила ту же милую, бездумную жизнерадостность, которую так живо помнил Артур в детстве, в те дни, когда оба летели кувырьком со спины пони Боксера. А не далее как вчера Артур видел, как она шла по аллее с Дэном Тисдэйлом, грызя большое румяное яблоко, и оба болтали, как веселые товарищи. Грэйс, которую в будущем месяце отправляют заканчивать учение в Хэррогейт, шагает, жуя яблоко, среди бела дня, через весь город с Дэном Тисдэйлом, сыном булочника! Должно быть, это он и дал ей яблоко, потому что он грыз точно такое. Если бы тетя Кэрри это увидела, то, без сомнения, дома был бы настоящий скандал.

Грэйс перехватила взгляд Артура раньше, чем он успел отвести его, улыбнулась и беззвучно прошептала какое-то слово. По крайней мере, она сложила губы, как бы произнося его одним дыханием. Артур знал, какое это слово. Грэйс, весело улыбаясь ему, сказала: «Гетти». Всякий раз, как Артур углублялся в самоанализ, она считала, что он мечтает о Гетти Тодд.

Артур неопределенно покачал головой, и это, по-видимому, чрезвычайно развеселило Грэйс. Глаза ее искрились смехом, она просто захлебывалась от какого-то тайного удовольствия. Но, так как рот у нее был набит гренками и пастилой, это кончилось плачевно: Грэйс вдруг прыснула, закашлялась, поперхнулась, и лицо ее сильно покраснело.

— О боже, — шепнула она наконец, задыхаясь. — Что-то попало мне в глотку.

Хильда хмуро бросила:

— Так выпей поскорее кофе. И не будь впредь такой болтушкой.

Грэйс послушно стала пить кофе. Хильда наблюдала за ней, прямая, суровая, все еще хмурясь, что придавало ее смуглому лицу жесткое выражение.

— Ты, я думаю, никогда не научишься вести себя прилично, — сказала она с убеждением.

Замечание это обрушилось, как резкий удар по пальцам. Так, по крайней мере, казалось Артуру. А между тем он знал, что Хильда любит Грэйс. Странно! Его всегда поражала любовь Хильды к Грэйс. То была любовь и бурная и вместе сдержанная, сочетание ласки и удара; бдительная, пассивная — и вместе собственническая; вся из внезапных, поспешно подавляемых порывов гнева и нежности. Хильда нуждалась в обществе Грэйс. Хильда отдала бы все на свете, только бы Грэйс любила ее. Но Хильда, как заметил Артур, презирала всякое проявление чувств, которое могло бы привлечь к ней Грэйс, разбудить в Грэйс любовь к ней.

Артур нетерпеливо отогнал эти мысли. Вот еще один недостаток, от которого ему необходимо избавиться, — эти скачки излишне пытливой мысли. Не достаточно ли у него материала для размышлений после сегодняшнего разговора с отцом? Он допил кофе, вложил салфетку в костяное кольцо и ожидал, пока встанет из-за стола отец. Он спросит по дороге к шахте... Или, может быть, лучше на обратном пути?..

Наконец Баррас оторвался от газеты. Он не бросил ее, а аккуратно сложил своими белыми холеными руками, пальцами разгладил края и молча протянул ее тете Кэрри.

Хильда всегда брала газету, как только отец выходил из столовой, и Баррас знал, что Хильда берет ее, но он предпочитал выскомерно игнорировать этот досадный факт.

Он вышел из комнаты, следом за ним — Артур, и через пять минут оба сидели уже в кабриолете и мчались к «Нептуну». Артур набирался духу для разговора с отцом. Десять раз нужные слова уже были на языке — и всякий раз иные. «Да, кстати, папа», — начнет он. Или лучше просто: «Папа, как ты думаешь...» Или так: «Знаешь, мне вдруг пришло в голову, что...» Это будет, пожалуй, самое подходящее начало. К его услугам всевозможные сочетания фраз, можно выбрать. Он уже представлял себе, как говорит с отцом, слышал слова, но... молчал. Это было мучительно.

Наконец, к его невыразимому облегчению, Баррас спокойно заговорил именно о том, что тревожило Артура:

— Несколько лет тому назад у нас вышла маленькая неприятность из-за Скаппер-Флетс. Помнишь?

— Помню, папа. — Артур украдкой бросил быстрый взгляд на отца, но тот сидел рядом с ним, как всегда, спокойный и хладнокровный.

— Скверная история. Я не хотел этого. Кому хочется неприятностей? Но их не удалось избежать. Они мне дорого обошлись. — Он решительно покончил с этим вопросом, сдав его в архив прошлого, и заключил сентенцией: — Жизнь подчас трудная штука, Артур. Но не следует сдавать позиций ни при каких обстоятельствах. — И через минуту добавил: — Впрочем, на этот раз никаких неприятностей не будет.

— Ты думаешь, папа?

— Уверен. Рабочие получили тогда хороший урок и за новым гнаться не будут. — Он говорил обдуманно, рассудительным тоном. Он бесстрастно взвешивал аргументы: — В Скаппер-Флетс, несомненно, много воды, но, в конце концов, и «Миксен» и весь «Парадиз» — тоже мокрые места. Для наших людей работать в таких условиях дело привычное. Вполне привычное.

От слов отца, скупых, но так много выразивших, волна блаженного успокоения хлынула в сердце Артура, смыв все те туманные тревоги и опасения, что мучили его последний час. Все они исчезли, как исчезают сразу и начисто смытые мощным приливом шаткие песчаные замки, выстроенные детьми на берегу. Артур изнемогал от чувства благодарности. Он любил в отце эту ясность духа, эту спокойную, невозмутимую силу. Он сидел молча, остро ощущая присутствие отца рядом. Беспокойство исчезло... Радостное настроение, с которым он встал сегодня утром, вернулось к нему.

Они быстро проехали Каупен-стрит, въехали во двор рудника и прошли прямо в контору. Там застали Армстронга, который, очевидно, поджидал их: он празднично стоял у окна и водил пальцем по стеклу. Когда Баррас вошел, он обернулся:

— Телеграмма для вас, мистер Баррас. — И через минуту прибавил, намекая, что ему известно важное значение этой телеграммы: — Я подумал, что, пожалуй, лучше мне подождать вас.

Баррас взял со стола оранжевую полоску бумаги и не спеша распечатал ее.

— Да, — сказал он ровным голосом. — Все в порядке. Они согласны на нашу цену.

— Значит, мы в понедельник начинаем работу в Скаппер-Флетс? — спросил Армстронг.

Баррас утвердительно наклонил голову.

Армстронг провел по губам тыльной стороной руки, — в этом жесте чувствовалось странное смущение. На лице его без всякой видимой причины появилось выражение растерянности. Вдруг зазвонил телефон. Почти с облегчением Армстронг подошел к столу и поднес трубку к уху.

— Алло! Алло! — Он слушал с минуту, затем посмотрел на Барраса: — Это мистер Тодд из Тайнкасла. Он уже два раза звонил сегодня.

Баррас взял телефонную трубку из рук Армстронга:

— Да, да, Баррас у телефона... Ну, Тодд, к своему удовольствию, могу вам сообщить, что все улажено.

Он помолчал, слушая, затем уже другим тоном произнес:

— Не говорите глупостей, Тодд... Да, конечно... Что? Я ведь вам сказал: *конечно!*

Новая пауза, во время которой знакомая Артуру морщинка раздражения появилась на лбу Барраса.

— А я говорю — да. — В голосе Барраса режущие звуки. — Что за ерунда, голубчик! Разумеется... По телефону неудобно. Что? Не вижу в этом ни малейшей надобности. Да, сегодня буду в Тайнкасле. Где? У вас дома? А в чем дело? Расстройство желудка? Неужели?.. — Сарказм в голосе Барраса стал еще заметнее, его глаза, блуждавшие по комнате, неожиданно встретились с глазами Артура и приковались к ним, насмешливые, выразительные. — ...Опять печень? Какая неприятность. Что-нибудь съели неподходящее? Ну что ж, раз вы расклеились, придется мне заехать к вам. Но я отказываюсь принимать всерьез ваши возражения. Да, решительно отказываюсь... Кстати, я привезу с собой Артура. Скажите Гетти, чтобы она дождалась его.

Круто оборвав разговор, он повесил трубку, но несколько секунд не двигался с места, и все та же презрительная усмешка морщила его губы. Затем он обратился к Артуру:

— Надо нам с тобой сегодня навестить Тодда. Он, кажется, опять был неосторожен и нарушил свою диету. Никогда еще я не слышал от него таких мрачных речей, как сегодня.

С отрывистым смешком он повернулся, собираясь уходить. Армстронг, подобострастно вторя смеху хозяина, распахнул перед ним дверь. Оба вышли во двор.

Артур остался в конторе, погруженный в какие-то смутные и несколько странные мысли. Он знал, разумеется, в чем состояла «неосторожность» Тодда: Тодд пил. У него не бывало сильного запоя, но во время приступов меланхолии он усердно «прикладывался к бутылке», что вызывало время от времени приступы болезни печени. Приступы были слабые, и все смотрели на них как на нечто неизбежное и неопасное, но Артур не мог без боли в сердце слышать о них. Он любил Адама Тодда, жалел этого опустившегося, но трогательного человека. Он угадывал, что Тодд в молодости знал те пламенные порывы, те тревоги и надежды, которые томят впечатлительную душу. Невозможно было себе представить, что Тодд, этот угрюмый, хилый человечек, испачканный нюхательным табаком и насквозь пропитанный алкоголем, мог быть когда-то пылким и чутким к призывам жизни, что этот оступелый взгляд когда-то сверкал весельем или отражал душевное волнение. А между тем это было так. В молодости, когда он вместе с Ричардом Баррасом проходил практику в копиях Тайнкасла, Тодд был живой, веселый малый, с энтузиазмом строивший планы будущего. Прошли годы. Жена умерла от родов. В одном судебном процессе, знаменитом Хеттонском процессе, где он выступал в качестве эксперта со стороны фирмы Бриггс-Хеттон, он потерпел фиаско; репутация его пострадала. Он утратил ко всему интерес, потерял веру в себя, работы становилось все меньше. Дети, вырастая, отходили от него. Теперь Лаура, его любимица, была уже замужем, Алан, видимо, больше занят погоней за удовольствиями, чем восстановлением фирмы Тодд, а Гетти с головой погружена в развлечения и свои собственные дела. И Адам Тодд постепенно все более замыкался в себе; он нигде больше не бывал, кроме клуба, где его почти каждый вечер от восьми до одиннадцати можно было видеть неизменно в одном и том же кресле: он молча пил, курил, слушал, вставляя иногда какое-нибудь замечание, — все это с застывшим, немного апатичным видом человека, окончательно во всем разочаровавшегося.

Все время Артур не в состоянии был почему-то отделаться от мыслей о старом Тодде. И когда в три часа они с отцом приехали в Тайнкасл и шли по Колледж-роу к дому Тодда, его томило

странное, необъяснимое ожидание чего-то, словно какая-то нить протянулась между его юной напряженной жизнью и жизнью этого старика, пропахшего нюхательным табаком. Артур не понимал этого чувства, оно было ново и как-то странно тревожило его.

Баррас позвонил, и дверь почти сразу отворилась. Их впустил сам Тодд (он никогда не соблюдал церемоний), в старом рыжем халате и стоптанных ночных туфлях.

— Что же это? — сказал Баррас, искоса поглядывая на Тодда. — Вы не в постели?

— Нет-нет, мне лучше. — Тодд поднял повыше очки в золотой оправе, всегда съезжавшие на кончик его испещренного красными жилками носа; очки немедленно снова скользнули вниз. — Это обыкновенная простуда. Через день-другой я буду совершенно здоров.

— Без сомнения, — вежливо согласился Баррас. Его очень забавляло то, что Тодд всегда объяснял простудой свои приступы печеночных колик, но он и виду не показал, — он разговаривал со своим старым другом тоном ласковой снисходительности, даже немного заискивающе. Как олицетворение полнейшего благополучия и преуспевания, стоял он перед жалким человечком в покрытом пятнами халате, посреди узкой грязноватой передней, где даже от коричневых обоев, массивной подставки для зонтиков и подаренного кем-то барометра из мореного дуба исходила, казалось, покорная, терпеливая печаль.

— Мне надо потолковать с вами, Ричард, — сказал Тодд с некоторой нерешительностью и словно обращаясь к своим туфлям.

— Я так и полагал.

— Вы не сердитесь на то, что я звонил вам сегодня?

— Да что вы, дорогой мой!

Благосклонная снисходительность Ричарда стала заметнее, и это еще более смутило Тодда.

— Я чувствовал, что мне необходимо поговорить с вами. — Это звучало почти как извинение.

— Понимаю.

— В таком случае... — Тодд сделал паузу. — Пойдемте в кабинет. Там у меня огонь в камине. Я все что-то зябну, должно быть от малокровия. — Он опять сделал паузу, занятый своими мыслями, расстроенный, и глаза его остановились на Артуре.

Он улыбнулся своей обычной неопределенной улыбкой: — А ты, может быть, поднимешься к Гетти, Артур? Сегодня приехала из Эрроу Лаура. Они обе сейчас наверху в гостиной.

Артур мгновенно покраснел. Слова Тодда его взволновали. У Тодда будет какой-то экстренный разговор с отцом, и он рассчитывал, что ему, как взрослому, предложат принять участие в этом разговоре. А его отстраняют, постыдно отсылают к женщинам. Он был глубоко обижен, но старался скрыть это, делая вид, что ему все равно.

— Да, я пойду к Гетти, — сказал он развязно, заставляя себя улыбнуться.

Тодд кивнул головой:

— Ты знаешь дорогу, мальчик.

Баррас все с тем же критически-снисходительным видом посмотрел на Артура.

— Я не задержусь долго, — заметил он небрежно. — Нам надо будет поспеть на обратный поезд в пять десять. — И пошел за Тоддом в его кабинет.

Артур остался в передней. Щека у него еще дергалась от мученной улыбки. Он был глубоко обижен таким пренебрежением к себе. Всегда одно и то же: какое-нибудь слово, мгновенное изменение голоса — и готово, он уже уязвлен, — его так легко расстроить. Сейчас его мучило недовольство своим несчастным характером и возбужденное, гневное любопытство. О каком это деле хотел Тодд говорить с отцом? Попросить денег в долг? Или что другое? Отчего Тодд был в таком волнении, а отец держал себя с такой презрительной уверенностью? Острое раздражение овладело Артуром, когда, внезапно подняв голову, он увидел спускающуюся с лестницы Гетти.

— Артур! — крикнула Гетти, торопливо сбегая по ступенькам. — Мне показалось, что я слышу твой голос. Но почему же ты не позвал меня?

Она подошла и протянула ему руку. И тотчас же, с почти магической быстротой, настроение Артура изменилось. Здороваясь с Гетти и глядя на нее, он забыл и об отце, и о Тодде, весь поглощенный одним желанием — произвести хорошее впечатление на Гетти. Ему вдруг захотелось блеснуть перед нею, мало того — он почувствовал, что может это сделать. Такие чувства не были свойственны его натуре: все это было лишь реакцией против только что испытанного унижения.

— Привет, Гетти! — сказал он отрывисто и, заметив, что она одета для выхода, спросил: — Ты уходишь?

Гетти улыбнулась без тени застенчивости, — Гетти никогда не смущалась.

— Я обещала Лауре проводить ее. Она сейчас уезжает. — Гетти сделала шаловливую гримаску. — Я занимала весь день мою богатую замужнюю сестру. Но как только я от нее отделаюсь, в ту же минуту примчусь обратно и угощу тебя чаем.

— Пойдем пить чай к Дилли, — предложил вдруг Артур.

При этом неожиданном приглашении Гетти захлопала в ладоши:

— Чудесно, Артур, чудесно!

Он смотрел на нее и говорил себе, что она стала еще красивее, с тех пор как укладывала волосы в высокую прическу. Восемнадцатилетняя Гетти была прехорошенькой девушкой. Несмотря на то что черты ее лица не отличались красотой, она была очень мила. Узкокостная, с тонкими запястьями и маленькими ручками, глаза большие, зеленоватые, нос ничем не замечательный, цвет лица несколько бледный. Но волосы, мягкие, золотистые, красивыми пушистыми завитками обрамляли узкий и гладкий белый лоб. Глаза всегда сияли влажным блеском, а зрачки их к тому же бывали иногда расширены, и эти большие черные зрачки составляли удивительно приятный контраст с мягким золотом волос. В этом-то и крылся весь секрет ее очарования. Гетти не была красавицей, но она была девушка привлекательная, с живым и ровным характером, задорная и подкупающе-ласковая, как грациозный котенок с гладкой и блестящей шерсткой. В эту минуту она, умильно улыбаясь Артуру, говорила, подражая лепету наивного ребенка:

— Какой Артур милый, он поведет Гетти к Дилли! Гетти любит ходить к Дилли.

— Ты хочешь сказать, что любишь бывать там со мной? — спросил Артур, поддельваясь под ее тон.

— М-м-м, — утвердительно промычала Гетти. — Артур и Гетти славно проводили время у Дилли, гораздо приятнее, чем здесь!

Она бессознательно подчеркнула последнее слово. Гетти не слишком-то любила отцовский дом. То был старый дом на Колледж-роу, дом с затхлою атмосферой и старомодной обстановкой, особенно раздражавшей Гетти, и она все время уговаривала отца переехать в более современное жилище.

— Но ты ходишь туда только ради пирожных с кофейным кремом, а не ради меня, — настаивал Артур, ожидая, чтобы Гетти пролила бальзам на раны его уязвленного самолюбия.

Она премило, по-детски сморщила нос:

— Так Артур в самом деле купит Гетти вкусные кофейные трубочки? Гетти их обожает!

Предостерегающий кашель заставил обоих обернуться. За ними в передней стояла Лаура, с чересчур подчеркнутой сосредоточенностью натягивая перчатки. Мина ласковой кошечки сразу же исчезла с лица Гетти, она воскликнула очень резко:

— Ну можно ли так пугать людей, Лаура! Что за манера подкрадываться неслышно!

— Я кашляла, — сухо возразила Лаура, — и только что собиралась чихнуть.

— Ловко придумано! — усомнилась Гетти, метнув сердитый взгляд на сестру.

Лаура продолжала натягивать перчатки, иронически поглядывая то на сестру, то на Артура. На ней был строгий и изящный темно-синий костюм. Артуру редко приходилось видеть Лауру, с тех пор как она вышла замуж за Стэнли Миллингтона. Он сам не знал, почему ему всегда как-то не по себе в ее присутствии. Гетти ему понятна, мила, у нее такая простая и прозрачная душа! А при Лауре он всегда терялся. В особенности ее сдержанность, это удивительное бесстрашие, что-то тщательно скрываемое, почти настороженность, которая чудилась ему за хмурой маской ее бледного лица, вызывала в нем странное смущение.

— Ну, идем! — воскликнула Гетти капризным тоном. Невозможное спокойствие Лауры, ее благополучный вид, видимо, злили Гетти. — Не стоять же нам тут весь день. Артур хочет пойти со мной к Дилли.

Легкая улыбка тронула губы Лауры, но она не сказала ничего. Когда они выходили на улицу, Артур торопливо переменял разговор:

— Как поживает Стэнли?

— Он вполне здоров, — ответила Лаура приветливо. — Должно быть, играет сегодня в гольф.

Обмениваясь такими банальными фразами, они дошли до угла Грэйнджер-стрит, где Лаура ласково простилась с ними: ей пора было к портному Бонару.

— Она помешана на нарядах, — с резким смехом пояснила Гетти, как только Лаура ушла. Пальцы ее легко легли на рукав Артура и оставались там, пока они шли к Дилли. — Если бы она не была такая мотовка, она бы могла относиться ко мне лучше.

— Что ты хочешь сказать, Гетти?

— Она дает мне только пять фунтов в месяц на мои туалеты, и карманные расходы, и на все остальное.

Артур посмотрел на нее с удивлением:

— В самом деле, Лаура дает тебе столько денег, Гетти? Да ведь это очень щедро с ее стороны.

— Очень рада, что ты так думаешь. — Гетти, видимо, была задела и почти жалела о своей откровенности. — Лауре вполне по средствам такой расход. Она сделала хорошую партию, не так ли?

Наступило молчание.

— Я никак не пойму Лауру, — заметил Артур смущенно.

— Меня это ничуть не удивляет. — Гетти снова рассмеялась от души, как смеялась всегда. — Я бы могла рассказать тебе о ней кое-что, но, конечно, не расскажу ни за что на свете. — Она с добродетельным испугом отмахнулась от такого предположения. — Во всяком случае, я рада, что не похожа на нее. И не будем больше о ней говорить.

В эту минуту они вошли в кафе Дилли, и Гетти оживилась, заражаясь встретившим их здесь шумным весельем. Было половина пятого, и кафе, как всегда в этот час, было полно. Пить чай у Дилли считалось в Тайнкасле высшим шиком. «Уголок избранных» — под таким громким названием оно фигурировало на страницах объявлений в «Курьере». Здесь за пальмами играл оркестр, и Артура и Гетти встретил приятный рокот голосов, когда они вошли в комнату Микадо, убранную в японском вкусе. Они уселись за бамбуковый столик, Артур заказал чай.

— А здесь довольно мило. — Он наклонился через стол к Гетти, весело кивавшей знакомым в битком набитой комнате.

В эти часы у Дилли собирались завсегдаги — главным образом молодое поколение Тайнкасла, сыновья и дочери видных и состоятельных адвокатов, врачей, коммерсантов, местная аристократия, отличавшаяся провинциальным снобизмом. В этой элегантной компании Гетти была весьма заметной фигурой, она пользовалась большой популярностью. Хотя старый Тодд был только горным инженером и дела его были в не слишком цве-

тушем состоянии, Гетти много выезжала. Она была молода, самоуверенна и в курсе всех интересов этого общества. О ней говорили, что она девушка с головой. Мудрецы, пророчившие хорошенькой Гетти блестящую партию, всегда многозначительно улыбались, встречая ее с Артуром Баррасом.

Она рассеянно пила чай.

— Алан тоже здесь. — Она нашла в толпе брата и весело указала на него Артуру. — С ним Дик Парвис и кое-кто из компании Раггера. Надо подойти к ним.

Артур послушно взглянул туда, где брат Гетти, Алан, которому в этот час следовало бы быть в конторе, расположился за столом посреди комнаты, в компании полудюжины молодых людей, которые с победоносным и вместе томным видом дымили папиросами.

— На что они нам, Гетти? — пробормотал он. — Вдвоем гораздо уютнее.

Гетти, с искорками в глазах, рассеянно играла вилкой, сознавая, что на нее со всех сторон обращены восхищенные взгляды.

— Красивый малый этот Парвис, — заметила она. — Слишком даже красивый.

— Он попросту осёл. — Артур пристально посмотрел на аляповато-красивого юношу с завитыми волосами, разделенными прямым пробором.

— Ну нет, Артур, он премилый мальчик. Танцует великолепно.

— Самонадеянный фат! — И, ревниво сжав под столом руку Гетти, он шепнул ей: — Ведь я нравлюсь тебе больше, чем он, да, Гетти?

— Ну конечно, глупыш ты этакий! — Гетти беспечно рассмеялась и перевела глаза на Артура. — Он только скучный банковский чиновник и никогда не будет большим человеком.

— А я буду, Гетти, — горячо уверил ее Артур.

— Ну разумеется, Артур.

— Вот погоди, я скоро стану компаньоном отца... Погоди — и увидишь! — Он умолк, взволнованный внезапно мелькнувшей перед ним картиной будущего, и, силясь увлечь Гетти своей пылкой верой в это будущее, добавил: — Сегодня мы заключили новый договор. Замечательно выгодный! Вот увидишь.

Она широко раскрыла глаза:

— Будешь загребать кучу денег?

Он серьезно кивнул головой.

— Дело не только в этом, Гетти. Важно другое... Работать вместе с отцом в «Нептуне», как делали все Баррасы, стать полезным. Потом подумать и о женитьбе... иметь для кого работать! Честное слово, Гетти, у меня дух захватывает, когда я думаю об этом.

Увлеченный, он смотрел на Гетти с сияющим лицом.

— Да, это очень приятно, Артур, — согласилась она, наблюдая его с сочувственной улыбкой. В эту минуту ей очень нравился Артур. Он был интереснее, чем когда-либо, его красил слабый румянец на щеках и горящие глаза. Конечно, он некрасив, это Гетти должна была с сожалением признать: светлые ресницы, бледное лицо, узкий рот придавали ему слишком женственный вид. Никакого сравнения хотя бы с Диком Парвисом, — тот настоящий красавец. Но в общем Артур милый мальчик, и его ждут копии «Нептун» и сундуки денег. Гетти позволила ему снова подержать ее руку под столом.

— У меня сегодня так радостно на душе, — сказал он порывисто. — Сам не знаю отчего.

— Не знаешь?

— Нет, впрочем, знаю.

Оба засмеялись. Смеясь, Гетти показывала мелкие ровные зубки, и это пленяло Артура.

— Тебе тоже хорошо со мной, Гетти?

— Ну конечно.

Прикосновение ее нежной руки под столом было как бы немой обещанием, от которого у него екнуло сердце. Гордая вера в себя, в Гетти, в будущее, как вино, кружила голову. Он окончательно осмелел и, подбадривая себя, сказал стремительно:

— Послушай, Гетти, я давно уже хочу спросить тебя: почему бы нам не обручиться?

Она снова засмеялась, ничуть не смутившись, и слегка сжала его руку:

— Какой ты милый, Артур.

Он то бледнел, то краснел. Заговорил горячо:

— Ты знаешь, какие у меня чувства к тебе. Мне кажется, так было всегда... Помнишь, как мы играли у нас в «Холме», когда были совсем маленькие? Ты самая лучшая девушка из всех, кого я знаю. Папа скоро сделает меня своим компаньоном... — Он остановился, чувствуя, что говорит очень бессвязно.

Гетти торопливо соображала. Ей уже раньше в перерывах между танцами делали предложение разные неоперившиеся юнцы. Но тут было другое — тут было нечто «настоящее». Все же ее расчетливый ум подсказывал ей, что спешить не следует. Она хорошо понимала, каким смешным покажется это преждевременное обручение, какие оно вызовет пересуды, язвительные намеки. Кроме того, ей хотелось хорошенько повеселиться, раньше чем выйти замуж.

— Ты такой милый, Артур, — повторила она чуть слышно, опустив ресницы. — И ты знаешь, как я к тебе привязана. Но, мне думается, мы оба еще слишком молоды для... ну, для официального обручения. Мы, конечно, дадим друг другу слово. Между нами все ясно.

— Так ты меня любишь, Гетти?

— Ах, Артур, ты же *знаешь*, что люблю.

Невыразимый восторг овладел Артуром. Он всегда легко поддавался волнению, и сейчас у него на глазах выступили слезы. В такое счастье трудно было поверить. Он казался себе зрелым, мужественным, способным всего достичь, он готов был на коленях благодарить Гетти за ее любовь.

Прошло несколько минут.

— Ну что ж, — со вздохом промолвила Гетти, — пожалуй, мне пора домой. Надо посмотреть, как чувствует себя старик.

Артур взглянул на часы:

— Без двадцати пять. Я обещал отцу встретиться с ним на вокзале в десять минут шестого.

— Я провожу тебя.

Артур нежно улыбнулся ей. Его глубоко тронула такая привязанность Гетти к больному отцу. Он с важностью подошел кельнершу и расплатился. Оба поднялись и пошли к выходу.

По дороге они задержались на минуту у столика Алана. Алан был славный юноша, немного, быть может, необузданный и ленивый, но безобидный и веселый. Он играл в футбольной команде, числился в территориальных войсках и был так близко знаком с несколькими кельнершами бара, что называл их по именам. Увидев Артура и сестру, он, смеясь и поддразнивая их, стал шутить по поводу того, что Артур бывает здесь с Гетти. Обычно Артур мучительно смущался в таких случаях, сегодня же он отражал все насмешки Алана. Он еще больше воспрянул духом. Он

ощущал в себе силу, смелость, он был счастлив и знал, что никогда больше не будет терзаться из-за таких мелочей, как его манера легко краснеть, приступы апатии и уныния, неуверенность в себе, зависть. Парвис, «стрелявший» глазами в Гетти, старавшийся «отбить» ее у него, казался ему теперь только глупым, ничтожным клерком, на которого решительно не стоит обращать внимания. Отпустив на прощание остроуту, встреченную громовым хохотом всей компании за столом, он закурил папиросу и галантно повел Гетти к выходу.

Они направились на Центральный вокзал. Артур плавал в блаженстве, испытывая новое для него чувство довольства собой, как актер, блестяще сыгравший главную роль в пьесе. Да, он хорошо держал себя. Он понимал, что Гетти хочется видеть его таким: не глупо робеющим зайкой, а самоуверенным и смелым.

Они пришли на вокзал и вышли на платформу рановато: поезд еще не подавали, и Барраса не было. Гетти вдруг остановилась.

— Да, кстати, Артур! — воскликнула она. — Я хотела тебя спросить... Зачем твой отец приезжал сегодня к моему?

Артур тоже остановился, глядя ей в лицо. Он совсем растерялся от неожиданности этого вопроса.

— Это, право, странно, — продолжала Гетти, усмехаясь. — Папа терпеть не может, чтобы кто-нибудь приходил к нему, когда он киснет, а тут он сегодня утром три раза телефонировал в Сликкейл. В чем дело, Артур?

— Не знаю, — промямлил Артур, все не сводя с нее глаз. — По правде сказать, меня самого это удивило. — Помолчав, он прибавил: — Я спрошу у отца.

Гетти со смехом сжала его руку:

— Да нет, не надо, глупый. Не делай такого серьезного лица. Не все ли равно, в конце концов?

XVII

В тот день в половине пятого Дэвид вышел из школы на Бетель-стрит и пересек залитую бетоном площадку для игр, направляясь к выходу на улицу. Школа, которую называли «новой» в отличие от старой, теперь закрытой, помещалась в крас-

ном кирпичном здании на высоко расположенном пустыре, на самом верху Бетель-стрит. Полгода тому назад открытие новой школы вызвало перемещение преподавателей во всей округе, и при этом освободилась одна вакансия младшего учителя. Это место и получил Дэвид.

Школа на Бетель-стрит была некрасива. Она состояла из двух совершенно отдельных половин. На фронтоне одной из них на сером камне было вырезано слово «Мальчики». Над другой такими же большими буквами — «Девочки». Для каждого пола был отдельный вход под аркой, и эти подъезды были разгорожены острым частоколом угрожающего вида. На внутреннюю отделку школы пошло очень много белого кафеля, и коридоры пропахли запахом дезинфекции. В общем, школа несколько напоминала большую общественную уборную.

Темная фигура Дэвида быстро мелькала на фоне пасмурного неба, по которому ветер гнал тучи. Он шел так поспешно, как будто ему поскорее хотелось уйти из школы. Ветер был холодный, а у Дэвида не было пальто. Он поднял воротник куртки и почти бегом помчался по улице. Но вдруг чуть не засмеялся над собственной стремительностью: он все еще не привык к мысли, что он женатый человек и учитель школы на Бетель-стрит. Пора, как говорит Стротер, соблюдать приличия...

Он был женат уже полгода и жил с Дженни в маленьком домике за дюнами. Найти дом, «подходящий» дом, как говорила Дженни, оказалось страшно ответственным делом. Конечно, Террасы исключались: Дженни ни за что на свете не согласилась бы перебраться в поселок шахтеров, а Дэвид счел благоразумным пока жить как можно дальше от родителей: их недовольство его женитьбой очень осложняло отношения.

Искали повсюду. Снять комнаты, меблированные или без мебели, Дженни не хотела. Наконец они набрали на отдельный домик в переулке, за Лам-стрит. Домик этот принадлежал жене Скорбящего, которая владела кое-каким недвижимым имуществом, купленным на ее имя в Слискейле, и сдала им домик за десять шиллингов в неделю, так как он пустовал уже полгода и в нем завелась сырость. Даже и эта недорогая плата была не по средствам Дэвиду при жалованье в семьдесят фунтов в год. Но он не хотел разочаровывать Дженни, которой домик сразу очень понравился тем, что стоял «нешаблонно», не в ряду других, как на

Террасах, а в стороне, и перед ним был разбит палисадник. Дженни утверждала, что этот садик создаст им как бы аристократическое уединение, и намекала на чудеса, которые она в нем разведет.

Не хотелось Дэвиду урезывать Дженни и в расходах на обстановку нового дома: она была так весела и неумоима, так полна решимости достать «настоящие вещи», она готова была обегать десять магазинов, не сдаваясь. Как же устоять перед таким энтузиазмом, как решиться охладить такой хозяйственный пыл? Но в конце концов он был все же вынужден остановить Дженни, и они пошли на компромисс. Обставили купленной в кредит мебелью только три комнаты — кухню, гостиную, спальню, — последнюю прекрасным гарнитуром орехового дерева, гордостью Дженни. Убранство дополняли разные ситцы, кисейные занавески и целый ассортимент кружевных салфеточек.

Дэвид был счастлив, очень счастлив в домике за дюнами, последние полгода были, несомненно, счастливейшим временем его жизни. А им предшествовал медовый месяц. Никогда не забыть ему первую неделю... семь блаженных дней в Каллеркотсе. Сперва он не считал возможным и думать о каком-то свадебном путешествии. Но Дженни, неумолимая во всех случаях, когда речь шла о романтических традициях, упрямо настаивала на своем. Неожиданно для Дэвида у нее оказался целый капитал — пятнадцать фунтов, скопленных за шесть лет в сберегательной кассе у Слэттери, — и она, взяв эти деньги оттуда, решительно вручила их Дэвиду. Кроме того, несмотря на все его протесты, она уговорила его купить себе из этих денег новый костюм на смену потрепанному серому, который он носил. Она сумела сделать так, что Дэвид не нашел в ее предложении ничего унижительного для себя. В мелочности Дженни нельзя было упрекнуть: когда нужно было потратить деньги, она не задумывалась ни на минуту. И Дэвид купил себе новый костюм. Да и медовый месяц они прожили на деньги Дженни. Никогда в жизни он этого не забудет!

Свадьба прошла неудачно (впрочем, Дэвид ожидал еще худшего): расхолаживающая церемония венчания в церкви на Пламмер-стрит, во время которого Дженни держала себя с ненатуральной чопорностью, потом завтрак на Скоттсвуд-роуд, ледяная официальность между двумя враждующими сторонами — Сэнли и Фенвиками. Но неделя в Каллеркотсе заслонила все непри-

ятные воспоминания. Дженни была удивительно нежна к мужу, проявляла пылкость совсем неожиданную, но тем не менее восхитительную. Дэвид ожидал встретить девичью робость... Глубина ее страсти поразила его... Она его любит, любит по-настоящему.

Он, конечно, обнаружил, что с ней еще до свадьбы случилось несчастье. От очевидности неумолимого физиологического факта уйти было нельзя. Рыдая в его объятиях в ту первую, горькую и сладостную, ночь, она поведала ему все, несмотря на то что Дэвид не хотел ничего слушать и в тоске молил ее перестать. Она непременно хотела все *объяснить* и, плача, рассказала, что это случилось, когда она была еще совсем, совсем девочкой. Один преуспевающий коммивояжер шляпного отдела, грубая скотина, настоящий человек-зверь, изнасиловал ее. Он был пьян, кроме того, ему было сорок лет, а ей шестнадцать. Лысый — она помнит это, — с родинкой на подбородке... звали его Гаррис... да, Гаррис. Она честно боролась с ним, сопротивлялась, но это не помогло. Она была в таком ужасе, что побоялась рассказать матери... Это случилось только один-единственный раз, и никогда в жизни, *никогда* больше никто не касался ее.

Слезы стояли в глазах Дэвида, обнимавшего ее: в его любовь влилось теперь и сострадание к Дженни, его страсть пышно возшла на дрожжах возвышенного чувства жалости. Бедняжка Дженни, бедная, любимая девочка!

По окончании медового месяца они уехали прямо в Слискейл, и Дэвид сразу же начал работать в новой школе на Бетель-стрит. Здесь, увы, ему не повезло.

В школе он чувствовал себя плохо. Он и раньше знал, что быть педагогом — не его призвание, для этого он слишком несдержан, слишком нетерпелив. Он мечтал переделать мир. И, превратившись в наставника нормального 3 «а» класса, переполненного мальчиками и девочками не старше девяти лет, неряшливыми, перемазанными в чернилах, сознавал всю иронию такого начала. Его приводила в неистовство трещащая по всем швам система преподавания, регулируемая звонками, свистками и палкой, он ненавидел «Торжественный марш», который барабанила на рояле мисс Миммс, учительница в соседнем 3 «в» классе, и ее кислое: «Итак, дети!..», чуть не пятьдесят раз в день доносившееся из-за тонкой перегородки. Как и в то время, когда он был репети-

тором младших школьников, он жаждал изменить всю учебную программу, выбросить те идиотские, никому не нужные вещи, которым придавали такое значение приезжавшие в школу инспектора, не мучить детей битвой при Гастингсе, широтой и долготой Капштадта, зубрежкой наизусть названий городов и дат, заменить скучную хрестоматию сказками Ганса Андерсена, расшевелить детей, разжечь едва теплившийся в них интерес к учению, дать работу не столько их памяти, сколько уму. Но, конечно, все его попытки, все предложения встречали самый холодный прием. Не было такого часа, когда он не ощущал бы, что чужд всему окружающему. То же самое было и в учительской: он чувствовал себя здесь чужаком, коллеги относились к нему холодно, старая дева Миммс просто замораживала его. Он не мог не видеть и того, что Стротер, директор школы, терпеть его не может. Это был усердный чиновник, окончивший университет в Дерхэме со степенью магистра словесности, нудный и суетливый педант. Густые черные усы и неизменная черная пара придавали ему начальственный вид. Он был раньше помощником заведующего в старой школе и знал все о Дэвиде, о его происхождении и семье. Он презирал Дэвида за то, что тот когда-то работал в шахте, что он не имел степени бакалавра. К тому же его злило, что Дэвида ему навязали против воли, и он обращался с ним сурово, пренебрежительно, старался, где мог, причинить неприятность. Если бы заведующим был мистер Кэрмайкл, все сложилось бы иначе. Но Кэрмайкл, также домогавшийся этой должности, потерпел неудачу. Он не имел нужных для этого связей. Возмущенный, он занял место учителя в сельской школе в Уоллингтоне. Дэвид получил от него длинное письмо, в котором он просил поскорее навестить его и проводить у него иногда свободные дни — субботу и воскресенье. В письме чувствовался пессимизм человека, впавшего в полное уныние. Дэвид же пока не унывал. Он был молод, полон воодушевления и решимости пробить себе дорогу. И, шагая по Лам-стрит, подгоняемый резким ветром, он мысленно давал себе клятву избавиться от школы на Бетель-стрит, от этого ничтожества Стротера и добиться чего-нибудь получше. Случай должен представиться рано или поздно, и он ни за что его не упустит.

Уже пройдя половину Лам-стрит, он заметил человека, шагавшего по той же стороне улицы. Это был Ремедж, Джеймс Ре-

медж, владелец мясной лавки, вице-председатель попечительского совета их школы, кандидат в мэры Слискейла. Дэвид хотел было вежливо поклониться, но передумал. Впрочем, Ремедж прошел мимо, словно не узнавая его: он безучастно остановил на нем свой хмурый взгляд, как будто глядя сквозь него.

Дэвид покраснел, крепко сжал губы. «Вот мой враг», — подумал он. После мучительного дня этот последний щелчок задел его довольно глубоко. Но, входя в свой дом, он старался изгнать все из памяти и, не успев закрыть дверь, весело позвал:

— Дженни!

Дженни появилась в сногшибательной розовой шелковой блузке, в которой он ее еще ни разу не видел; волосы ее были недавно вымыты и уложены в изящную прическу.

— Дженни! Ей-богу, ты похожа на королеву!

Она уклонилась от объятий и сказала, рисуясь, с милым кокетством:

— Не вздумайте измять мою новую блузку, мистер муж!

В последнее время она любила так его называть. Дэвида это ужасно коробило, он всегда останавливал ее. Всегда, но не сегодня... сегодня она может повторять это, пока самой не надоест. Обхватив рукой ее стройную талию, он повел ее на кухню, где в открытую дверь виднелся такой заманчивый огонь. Но Дженни запротестовала:

— Нет, Дэвид, не сюда. Я не хочу сидеть на кухне.

— Полно, Дженни, я привык сидеть на кухне. И здесь так уютно и тепло.

— Нет, не позволю этого, мистер муж! Ты помнишь наш уговор: не опускаться. Мы будем пользоваться гостиной. Сидеть на кухне — самая простонародная привычка.

Она прошла вперед в гостиную, где в камине тлел зеленый огонь, ничего хорошего не обещавший.

— Ты посиди тут, а я принесу чайник.

— Ну, Дженни... Какого черта...

Она утихомирила его ласковым жестом и выбежала из комнаты. Через пять минут она принесла все, что нужно для чаепития: сперва поднос, потом высокую никелированную сахарницу (недавнее приобретение), «задешево» купленную ввиду ожидаемых визитов, и, наконец, две японские бумажные салфеточки.

— Не ворчи, мистер муж! — остановила она протест пораженного Дэвида, раньше чем он успел что-нибудь сказать. Она на-

лила ему чашку не особенно горячего чаю, любезно подала салфетку, пододвинула сахарницу с печеньем. Она была похожа на девочку, играющую с кукольным сервизом. Дэвид наконец не выдержал.

— Господи боже мой! — воскликнул он с шутливым отчаянием. — Что все это значит, Дженни, скажи на милость? Я голоден, черт возьми! Я хочу хорошего горячего чаю и яиц, или копченой рыбы, или парочку пирожков Сюзен «Готовься предстать перед Господом».

— Во-первых, не ругайся, Дэвид. Ты знаешь, что я к этому не привыкла, не так я воспитана. И не злись! Подожди и выслушай. Пить из чашек так красиво! А ко мне скоро начнут приходить гости. Нужно же нам подготовиться. Попробуй эти анисовые лепешки, я их купила у Мэрчисона.

Он с усилием подавил свое возмущение и молча удовлетворился «красотой» чаепития из чашечки, сырыми лепешками от Мэрчисона и плохо выпеченным хлебом из лавки, намазанным вареньем, тоже покупным.

На какую-нибудь долю секунды он невольно подумал об ужине, который, бывало, ставила перед ним мать, когда он приходил из шахты, где зарабатывал вдвое меньше, чем теперь: домашняя булка с хрустящей корочкой, от которой можно было отрезать, сколько хотелось, целый горшок масла, сыр и черничное варенье домашнего приготовления. Ни покупного варенья, ни покупного печенья в доме Марты никогда не бывало. Но это мимолетное видение было вероломством по отношению к Дженни. И Дэвиду стало совестно. Он нежно улыбнулся жене:

— Употребляя твое собственное неподражаемое выражение, ты «девочка первый сорт», Дженни.

— О, в самом деле? Правда? Я вижу, ты исправляешься, мистер муж. Ну, рассказывай, что сегодня было в школе?

— Да ничего особенного, дорогая.

— Всегда один и тот же ответ!

— Ну, если хочешь...

— Да?

— Нет, ничего, дорогая.

Он медленно набивал трубку. Как рассказать ей скучную историю борьбы и неудач? Другим он, может быть, и рассказал бы, но Дженни... Ведь Дженни ожидала рассказа о блестящих успе-

хах, о лестных похвалах заведующего, о каком-нибудь поразительном маневре, благодаря которому Дэвид сразу выдвинется. Ему не хотелось ее огорчать. А лгать он не умел...

Последовало короткое молчание. Затем Дженни беспечно перешла к другой опасной теме:

— Скажи, как ты решил насчет Артура Барраса?

— Мне совсем не хочется браться за это дело...

— Да что ты! Ведь это такая удача, — возразила Дженни. — Подумать только, что сам мистер Баррас тебя приглашает!

Дэвид сказал отрывисто:

— Я и так уже слишком много имел дела с Баррасом. Не люблю его. Я отчасти жалею, что тогда написал ему. Мне тяжело думать, что я ему обязан получением места.

— Глупости, Дэвид! Баррас такой влиятельный человек. Помоему, великолепно, что он тобой интересуется и пригласил тебя в репетиторы к своему сыну.

— А я думаю, что тут вовсе не интерес ко мне... У меня нет времени для таких людей, как он. С его стороны это попросту желание доказать, что он благодетель.

— А кому же он должен это доказывать?

— Себе самому, — отрезал Дэвид сердито.

Дженни решительно не понимала, что он хотел этим сказать. Дело было в том, что Баррас, встретив Дэвида в прошлую субботу на Каупен-стриг, остановил его и с покровительственным видом, с холодным любопытством стал расспрашивать, а затем предложил ему три раза в неделю, по вечерам, заниматься с Артуром по математике. Артур в математике был слаб и нуждался в репетиторе, чтобы подготовиться к экзаменам для получения аттестата зрелости.

Дженни тряхнула головой:

— Мне думается, ты сам не понимаешь, что говоришь.

С минуту казалось, что она собирается добавить еще что-то. Но она не сказала ничего и, сердито, рывком собрав посуду, унесла ее из комнаты.

Тишина наступила в маленькой комнате с новой мебелью и камином, в котором горели сырые дрова. Через некоторое время Дэвид встал, разложил на столе книги, помешал кочергой в камине. Он заставил себя выбросить из головы вопрос о Баррасе и сел за работу.

Он не выполнял намеченной себе программы, и это его расстраивало. Никак не удавалось заниматься столько, сколько он рассчитывал. Преподавание оказалось делом трудным, гораздо труднее, чем он воображал. Он часто приходил домой сильно утомленный. Вот и сегодня тоже. И как-то неожиданно то одно, то другое отвлекало от занятий. Он стиснул зубы, подпер голову обеими руками и сосредоточил все внимание на учебнике. Он должен, должен работать ради проклятой степени бакалавра! Это единственный способ обеспечить Дженни и себя.

С полчаса работалось отлично, никто не мешал. Затем тихонько вошла Дженни и уселась на ручке его кресла. Она раскаивалась в своей давешней раздражительности и вкрадчиво приласкалась к нему, как игривый котенок.

— Дэвид, милый, — она обняла рукой его плечи, — мне совместно, что я такая злющая, право, совместно! Но мне было так скучно целый день, и я так ждала вечера, так ждала!

Он улыбнулся и приложился щекой к ее круглой маленькой груди, по-прежнему упорно не отрывая глаз от книги:

— Ты вовсе не злющая, и я верю, что тебе было скучно.

Она заискивающе погладила его по затылку:

— Да, правда, мне было очень скучно, Дэвид. Я за весь день не разговаривала ни с одной живой душой, кроме старого Мэрчисона и женщины в магазине, где я приценивалась к шелку... ну и двух-трех человек, проходивших мимо дома. Я... я надеялась, что мы с тобой сходим куда-нибудь сегодня вечером и повеселимся.

— Но мне нужно заниматься, Дженни. Ты это понимаешь не хуже меня. — Дэвид по-прежнему не поднимал глаз от книги.

— О!.. Ты же не обязан вечно сидеть, уткнув нос в эти дурацкие книги, Дэвид. Сегодня можно сделать передышку... поработаешь в другой раз.

— Нет, Дженни! Честное слово, нельзя. Ты знаешь, как это важно.

— Нет, ты мог бы, если бы захотел.

Пораженный, недоумевающий, он поднял наконец глаза и с минуту всматривался в лицо Дженни:

— Да куда тебе вздумалось идти, скажи ради бога? На улице холодно и моросит дождь. Самое приятное — сидеть дома.

Но у Дженни ответ был наготове, все заранее обдуманно. Она стремительно принялась излагать свой план:

— Мы можем поехать в Тайнкасл поездом в шесть десять. Сегодня в Эддон-холле общедоступный концерт, это очень интересно. Я в газете прочла, что там будут сегодня некоторые артисты из Уитли-Бэй. Они всегда зимой гастролируют. Будет, например, Колин Лавдей, у него такой приятный тенор. Билет стоит всего один шиллинг три пенса, так что о расходе говорить не приходится. Поедем, Дэвид, ну пожалуйста! Мы славно повеселимся. У меня такое скверное настроение, мне необходимо немножко встряхнуться. Не будь же таким тюленем.

Наступило недолгое молчание. Дэвиду не хотелось, чтобы его считали «тюленем», но он был утомлен, сознавал, что необходимо работать. Вечер, как он сказал Дженни, был сырой и неприветливый, а концерт его не соблазнял. Вдруг его осенила мысль, замечательная мысль. Глаза его заблестели:

— Послушай-ка, Дженни! А что, если мы сделаем так: книги я на сегодня отложу, раз ты советуешь, сбегаю и приведу Сэма и Гюи. Мы подкинем еще дров в камин, сочиним горячий ужин и будем веселиться вовсю. Ты толковала об артистах, но они и в подметки не годятся нашему Сэмми. Ничего подобного ты никогда не слыхала, он тебя все время будет смешить до колик.

Да, честное слово, блестящая идея! Дэвида мучило отчуждение, возникшее между ним и его родными, хотелось прежней близости с братьями, — и вот представлялся отличный случай. Его лицо просияло, но лицо Дженни омрачилось.

— Нет, — сказала она холодно. — Мне это совсем не нравится. Твои родные скверно отнеслись ко мне, а я не из тех, кто позволяет плевать себе в лицо.

Новая пауза, Дэвид крепко сжал губы. Он понимал, что Дженни не права и ее рассуждения нелепы. Нехорошо с ее стороны в такой вечер заставлять его ехать в Тайнкасл. Он не поедет. Но вдруг он увидел, что ее глаза наполняются слезами. Это решило вопрос. Не мог же он доводить ее до слез.

Он со вздохом встал и захлопнул книгу:

— Ну хорошо, Дженни, поедем на концерт, раз тебе так хочется.

Дженни слегка вскрикнула от удовольствия, захлопала в ладоши, радостно поцеловала его:

— Какой ты милый, Дэвид! Право, милый! Теперь подожди минутку, я сбегая наверх за шляпой. Я скоро, у нас еще много времени до отхода поезда.

Пока она наверху надевала шляпку, Дэвид прошел на кухню и отрезал себе хлеба и сыру. Ел медленно, уставившись на огонь. Он подумал с кривой усмешкой, что Дженни, вероятно, уже давно замыслила потащить его на этот концерт.

Только что он доел хлеб, как послышался стук в дверь с черного хода. Удивленный, он пошел отпираться.

— А, Сэмми! — воскликнул он радостно. — Ах ты, старый ша-лопай!

Сэмми с задорной усмешкой, никогда не покидавшей его бледного, но дышавшего здоровьем лица, вошел в кухню.

— Мы с Энни шли мимо, — объяснил он с некоторым смущением, продолжая улыбаться. — И я решил заглянуть к тебе.

— Молодчина, Сэмми. Но где же Энни?

Сэм движением головы указал в темноту за дверью. Этикет был строго соблюден: Энни ждала его на улице. Энни знала свое место. Она не была уверена, что она здесь желанный гость. Дэвид так и видел перед собой Энни Мэйсер, которая с ясным спокойствием прохаживается перед домом в ожидании, когда ее сочтут достойной приглашения. Он крикнул торопливо:

— Позови ее сюда сейчас же, идиот ты этакий! Скорее! Приведи ее сию же минуту!

Улыбка Сэмми стала шире.

В это время появилась Дженни, совсем одетая к выходу. Сэмми в нерешительности остановился на пути к дверям, глядя на нее. Дженни подошла к нему с самой светской любезностью.

— Какой приятный сюрприз, — сказала она, вежливо улыбаясь. — Вы ведь у нас редкий гость. Ужасно неудобно, что мы с Дэвидом как раз собрались уходить.

— Но Сэмми пришел к нам в гости, Дженни, — вмешался Дэвид. — И с ним Энни. Она на улице.

Дженни подняла брови, выдержала надлежащую паузу, приветливо улыбаясь Сэму:

— Ах, какая жалость! Как досадно, право. Надо же было вам попасть к нам как раз тогда, когда мы уходим на концерт. Мы условились встретиться со знакомыми в Тайнкасле и никак не можем их обидеть. Надеюсь, вы заглянете к нам в другой раз?..

Улыбка упорно не сходила с лица Сэма:

— Ничего, ничего. Мы с Энни не особенно занятые люди. Можем прийти в другой раз.

— Никуда ты не уйдешь, Сэмми, — вскипел Дэвид. — Зови сюда Энни. И оба вы посидите у нас и напьетесь чаю.

Дженни устремила на часы взгляд, полный отчаяния.

— Нет, нет, брат. — Сэмми уже двинулся к двери. — Ни за что на свете я не хочу мешать тебе и миссис. Мы с Энни погуляем по проспекту, вот и все. Покойной ночи вам обоим!

Улыбка Сэма продержалась до конца. Но Дэвид, не обманываясь этим, видел, что Сэмми глубоко обижен. Теперь он, конечно, выйдет к Энни и буркнет:

— Пойдем, девочка, мы неподходящая компания для таких, как они. С той поры, как наш Дэвид стал учителем, он, кажется, уж больно много о себе воображает.

Дэвид стоял и мигал глазами, в нем боролись желание догнать Сэма и мысль, что он обещал Дженни повести ее на концерт. Но Сэмми уже ушел.

Дженни и Дэвид успели на тайнкаслский поезд, который был битком набит, шел медленно и останавливался на каждой станции. Приехав, отправились в Элдон-холл. За билеты пришлось уплатить по два шиллинга, так как все дешевые места уже были раскуплены.

Они три часа просидели в зрительном зале. Дженни была в восторге, хлопала и кричала «бис», как и все остальные. Дэвиду же все казалось отвратительным, хотя он изо всех сил уговаривал себя, что ему концерт нравится. Исполнители были бездарные. «О, это артисты первого сорта», — непрестанно шептала ему с энтузиазмом Дженни. Но они были не первого, а четвертого сорта, остатки каких-то ярмарочных трупп: комик, выезжавший главным образом на островах относительно своей тещи, и Колин Лавдей, пленявший богатыми вибрациями в голосе и рукой, чувствительно прижатой к сердцу.

Дэвиду вспомнилось выступление маленькой Салли в гостиной на Скоттсвуд-роуд, бесконечно более талантливое. Он подумал о книгах, ожидавших его дома, о Сэмми и Энни Мэйсер, которые брели рука об руку по проспекту...

Когда они по окончании концерта выходили из зала, Дженни прижалась к нему:

— У нас есть еще целый час до последнего поезда, Дэвид. Нам лучше всего ехать последним, он идет так быстро — до Слискейла без остановок. Давай зайдем выпить чего-нибудь к Перси. Джо всегда водил меня туда. Возьмем только портвейну или чего-нибудь в таком роде... не ждуть же нам на вокзале.

В ресторане Перси они выпили портвейну. Дженни доставило большое удовольствие побывать здесь опять, она узнавала знакомые лица, болтала с лакеем, которого, вспомнив шутку красноречивого комика, называла Чольс.

— Он уморительный, правда? — говорила она, посмеиваясь.

От выпитого портвейна все представилось Дэвиду в несколько ином виде, в смягченных очертаниях, в более розовом свете. Он через стол улыбался Дженни.

— Ах ты, легкомысленный чертенок, — сказал он, — какую власть ты имеешь над бедным человеком! Придется, видно, все-таки согласиться обучать молодого Барраса.

— Вот это правильно, милый! — сразу же горячо одобрила Дженни. Она ласкала его глазами, прижималась к нему под столом коленом и, осмелев, весело приказала Чольсу подать ей еще порцию портвейна.

Потом им пришлось бегом мчаться на вокзал. Скорее, скорее, чтобы не опоздать! Они уже почти на ходу вскочили в пустой вагон для курящих.

— О боже! О боже! — хохотала Дженни, совсем запыхавшись. — Вот умора! Правда, Дэвид, миленький? — Она помолчала, отдышалась. Заметив, что они одни в вагоне, вспомнила, что поезд до самого Слискейла нигде не останавливается, а значит, еще по меньшей мере полчаса впереди... и что-то екнуло у нее внутри. Она всегда любила выбирать необычные места... уже и тогда, когда у нее был роман с Джо. И она вдруг прильнула к Дэвиду:

— Ты так добр ко мне, Дэвид, как мне тебя благодарить... Опустит шторы, Дэвид... станет уютнее.

Дэвид посмотрел пристально и как-то неуверенно на лежавшую в его объятиях Дженни. Глаза ее сомкнулись и под веками казались выпуклыми, бледные губы были влажны и приоткрыты в слабой улыбке, дыхание сильно благоухало портвейном; тело у нее было мягкое и горячее.

— Да ну же, скорее, — бормотала она. — Опустит шторы. Все шторы.

— Дженни, не надо... погоди, Дженни...

В поезде немного трясло, покачивало вверх и вниз. Дэвид встал и опустил все шторы.

— Теперь чудесно, Дэвид.

.....

Потом она лежала подле него; она уснула и тихо похрапывала во сне. А Дэвид смотрел в одну точку со странным выражением на застывшем лице. В вагоне застарелый запах табака смешивался с запахом портвейна и паровозного дыма. На полу — брошенные кем-то апельсиновые корки. За окнами чернел густой мрак. Ветер выл и барабанил в стекла крупными каплями дождя. Поезд с грохотом несся вперед.

XVIII

В начале апреля Дэвид, вот уже почти три месяца дававший уроки Артуру Баррасу, получил записку от отца. Записку эту принес однажды утром в школу на Бетель-стрит Гарри Кинч, мальчуган с Террас, брат той самой маленькой Элис, которая семь лет тому назад умерла от воспаления легких. «Дорогой Дэвид, не хочешь ли в субботу поехать в Уонсбек удить. Твой папа», — было неуклюже нацарапано химическим карандашом на внутренней стороне старого конверта.

Дэвид был глубоко тронут. Значит, отец опять хочет взять его с собой удить на Уонсбек, как брал тогда, когда он был еще малышом! При этой мысли Дэвид почувствовал себя счастливым. Роберт не работал в шахте десять дней, заболев туберкулезным плевритом (сам он равнодушно уверял, что это «обыкновенное воспаление»), но уже поправился и начал выходить из дому. Суббота была его последним свободным днем, и он хотел провести его в обществе Дэвида. Эта записка была как бы предложением мира, шедшим из глубины отцовского сердца.

Дэвид стоял у доски в жужжавшем классе, а в памяти его быстро проносились последние месяцы. Он пошел в «Холм» против воли, отчасти по настоянию Дженни, а больше всего потому, что им нужны были деньги. Но это сильно огорчило его отца.

Разумеется, ему и самому представлялось невероятным, что он теперь коротко знаком с Баррасами, о которых он всегда ду-

мал как о людях, очень далеких от его собственной жизни. Вот, например, тетушка Кэрри. Она вначале присматривалась к нему с недоверчивым любопытством и беспокойством и склонна была отнестись к нему так же, как к людям, приходившим в комнаты в грязных сапогах, или к счету мясника Ремеджа, когда он, по ее мнению, брал с нее лишнее за филе. Довольно долго в ее близоруких глазах читалось тревожное недоверие.

Но мало-помалу тетушкины глаза утратили это выражение. В конце концов она стала положительно равнодушна к Дэвиду и всякий раз к концу урока, часам к девяти, посылала в старую классную комнату горячее молоко и печенье.

Потом молоко в классную стала, к его удивлению, приносить Хильда. Вначале она смотрела на него даже не как на субъекта, который явился в дом в грязных сапогах, а просто как на грязь с этих самых сапог. Дэвид не обращал внимания на ее тон: он был достаточно сообразителен, чтобы увидеть в нем признак душевного разлада. Эта девушка интересовала его. Ей было уже двадцать четыре года. Неприветливость и мрачная некрасивость ее лица с годами стали еще заметнее. «Хильда, — говорил себе Дэвид, — не такова, как большинство некрасивых женщин. Те упорно себя обманывают, прихорашиваются, наряжаются, утешают себя перед зеркалом: „Голубое мне, несомненно, к лицу“, или: „У меня, право, очень красивый профиль“, или: „Ну разве не очаровательная у меня головка, если причесаться на прямой пробор?“ — и так тешатся иллюзиями до самой смерти. Хильда же сразу решила, что некрасива, и еще подчеркивает это своей угрюмостью». Помимо этого, Дэвид чувствовал, что Хильда переживает душевную борьбу: может быть, сильная воля, унаследованная от отца, боролась в ней с материнской пассивностью. Дэвиду всегда чудилось в Хильде такое насильственное сочетание этих двух черт характера. Казалось, зачатая против воли, она еще зародышем восставала против своей судьбы и родилась на свет в состоянии вопиющего внутреннего разлада. Хильда была несчастна. Она постепенно, не сознавая этого, выдавала свою тайну Дэвиду. Ей сильно недоставало Грэйс, которую отправили кончать школу в Хэррогейт. Несмотря на ее обычные замечания вроде: «Никогда ее ничему не научат, эту маленькую пустомелю» или (при чтении писем Грэйс): «Да она делает ошибки в самых простых словах!» — Дэвид угадал, что Хильда обожает Грэйс. Эта де-

вушка представляла собой какую-то своеобразную разновидность феминистки, воюющей тайно, про себя. 12 марта все газеты были полны описания разгрома, учиненного суфражистками в Вест-Энде. На всех главных улицах были выбиты окна в домах, и сотни суфражисток арестованы, в том числе и миссис Сильвия Панкхерст. Хильда вся горела от возбуждения. В этот вечер она была вне себя и затеяла горячий спор. Она говорила, что хочет быть участницей этого движения, что-то делать, ринуться в кипучий водоворот жизни, работать изо всех сил для освобождения женщин от губительного гнета. Сверкая глазами, она привела в пример женщин Армении и торговлю белыми рабынями. Она была великолепна в своем гневном презрении. Мужчины? Ну конечно, мужчин она ненавидит! Ненавидит и презирает. Она приводила доводы, — эту песню она знала наизусть. Это тоже был симптом внутреннего разлада, психоз некрасивой женщины.

Несмотря на то что Хильда никогда не говорила этого прямо, было ясно, что ее озлобление против мужчин коренилось в ее отношениях с отцом. Отец был *мужчина*, олицетворение мужского начала. Хладнокровие, с которым он подавлял все ее порывы и стремления, разжигало в ней злобу, заставляло ее еще глубже, еще острее ощущать гнет. Она хотела уйти из «Холма», из Слискейла, жить своим трудом, где угодно и чем угодно, только бы среди женщин. Она хотела делать что-нибудь. Но все эти иступленно-страстные желания разбивались о спокойное безразличие отца. Он смеялся над ней, он одним рассеянным словом заставлял ее чувствовать себя какой-то дурочкой. Она дала себе клятву, что уйдет из дому, будет бороться. Но никуда не уходила, а борьба шла лишь в ней самой. Хильда ждала... Чего?

Хильда внушала Дэвиду одно представление о Баррасе, Артур, разумеется, — другое. В «Холме» Дэвид никогда не встречался с Баррасом, и тот оставался для него далеким и недоступным. Но Артур много говорил об отце, для него не было большего удовольствия, как говорить об отце. Покончив с квадратными уравнениями, он начинал... Предлогом для этого служило что угодно. И в то время как в словах Хильды об отце сквозила ненависть, Артур говорил о нем с настоящим восторгом.

Дэвид очень полюбил Артура, но в его привязанности скрывалось то же чувство жалости, которое проснулось еще тогда, когда он впервые увидел Артура на заводском дворе, на высоком

сиденье кабриолета. Артур был так серьезен, так трогательно серьезен, но так слаб и нерешителен. Даже выбирая карандаш для рисования, он долго колебался и раздумывал, какой взять — Н или НВ. Быстрое решение было для него настоящей радостью. Он все принимал близко к сердцу, был чрезмерно впечатлителен. Дэвид часто пытался шуткой победить застенчивость Артура, но все было напрасно: Артур не обладал ни малейшим чувством юмора.

Познакомился Дэвид и с матерью своего ученика. Как-то вечером тетушка Кэрри принесла горячее молоко в классную, всем своим видом давая понять Дэvidу, что ему на этот раз оказывается еще большая милость, чем обычно.

Она сказала с важностью:

— Моя сестра, миссис Баррас, хочет вас видеть.

Гарриэт приняла его лежа в постели. Она объяснила, что хочет поговорить об Артуре, то есть просто узнать мнение Дэвида о сыне. Артур очень ее тревожит, она чувствует, что на ней лежит большая ответственность.

— Да, большая ответственность, — повторила она и попросила Дэвида передать ей, если его это не затруднит, одеколон с ночного столика. — Он вот там, у самого вашего локтя. Одеколоном я немного успокаиваю головную боль, когда Кэролайн занята и не может расчесывать мне волосы... Да, — продолжала она, — для отца было бы таким разочарованием, если бы из Артура ничего не вышло.

Она выразила надежду, что мистер Фенвик, о котором Кэролайн так лестно отзывалась, постарается оказать доброе влияние на Артура, подготовит его к жизни. И тут же, без всякого перехода, осведомилась, верит ли Дэвид в лечение гипнозом. Ей недавно пришлось в голову, что надо бы попробовать на себе такой способ лечения, но затруднение в том, что для этого кровать должна быть обращена на север, а в ее комнате этому мешает расположение окна и газовой печки. Обойтись же без печки она, конечно, не может. Ни в коем случае! Так как мистер Фенвик знаком с математикой, то пусть он скажет по совести, считает ли он, что гипноз подействует так же, если кровать обращена на северо-запад? Поставить ее таким образом будет не особенно трудно — нужно только передвинуть комод к другой стене.

Дженни была в восторге оттого, что Дэвид произвел в «Холме» такое хорошее впечатление и что он «подружился с Барраса-

ми». У Дженни было такое тяготение к «высшему обществу», что ее радовала возможность приблизиться к нему хотя бы косвенным образом. По вечерам, когда Дэвид приходил домой, она заставляла его рассказывать все подробно: «Неужели она так именно и сказала?», «...А как там подают пудинг — ставят блюдо на стол или оставляют на подносе?». То, что Хильде, может быть, нравился Дэвид, ничуть не беспокоило Дженни. Она не ревновала и была крепко уверена в Дэвиде. «К тому же эта Хильда — настоящее пугало». Дэвида забавлял жадный интерес Дженни к «Холму», и он часто, поддразнивая ее, выдумывал самые замысловатые происшествия. Но Дженни провести было не так-то легко. У нее, по ее собственному выражению, была голова на плечах. Дженни оставалась Дженни.

Дэвид понемногу узнавал ее ближе. Его часто поражала мысль, что только теперь он начинает узнавать собственную жену. Впрочем, не так уж странно, что до свадьбы он не знал ее. Он смотрел тогда на Дженни сквозь призму своей любви, она была для него цветком, сладкой прелестью весны, ее дыханием. Теперь он начинал узнавать настоящую Дженни — Дженни, которая жаждала «общества», нарядов, развлечений, любила рестораны и была не прочь выпить стаканчик портвейна, была чувствительна, но охотно возмущалась «неприличием», шутя мирилась с серьезными неприятностями и плакала из-за пустяков, которая требовала любви, и сочувствия, и ласк, имела привычку тупо противоречить, не приводя никаких доводов; Дженни, в которой логика сочеталась с диким безрассудством. Дэвид все еще любил ее и знал, что никогда любить не перестанет. Но теперь они часто ссорились. Дженни была упряма, и он тоже. И в некоторых случаях никак нельзя было позволить Дженни поступать так, как ей хотелось. Он не мог, например, позволить ей пить портвейн. В тот вечер в ресторане Перси, когда она заказывала себе одну порцию за другой, он почувствовал, что Дженни слишком пристрастилась к этому напитку. Нельзя допускать, чтобы она держала его в доме. Из-за этого они воевали: «Ты рад отравить другому удовольствию... Тебе бы вступить в Армию спасения... я тебя ненавижу... Ненавижу, слышишь?» Потом — бурные слезы, трогательное примирение и нежность: «О, я тебя люблю, Дэвид, люблю, люблю».

Ссорились они и из-за экзаменов Дэвида. Дженни, разумеется, желала, чтобы он получил степень бакалавра, ей «до смерти» хотелось этого — «назло» миссис Стротер и некоторым другим, —

но она попросту не оставляла Дэвиду времени для занятий. По вечерам всегда оказывалось нужным пойти куда-нибудь, а если они сидели одни дома, то начинались патетические заявления: «Посади меня к себе на колени, Дэвид, миленький, мне кажется, ты уже целую вечность меня не ласкал». Или, слегка порезав палец ножом, которым чистила картофель, она уверяла, что «потеряла такую массу крови» («и когда уж мы сможем наконец держать прислугу, как ты думаешь, Дэвид?»), и никому, кроме Дэвида, не позволяла делать перевязку. В такие моменты степень бакалавра отходила на второй план. Целых полгода Дэвид все откладывал экзамены, а теперь, когда прибавились еще уроки в «Холме», надо было думать, что пропадет опять полгода. Он стал предпринимать поездки на велосипеде за пятнадцать миль в Уоллингтон, деревню, где поселился Кэрмайл. Там он находил успокоение и разумные советы: на что надо приналечь, что можно пока отложить. Кэрмайл хорошо относился к нему, был по-настоящему добр. Дэвид часто проводил у него свободный конец недели — субботу и воскресенье.

Наконец, третьей постоянной причиной ссор между ним и Дженни были его родные. Дэвида ужасно огорчало вызванное его женитьбой отчуждение между ним и семьей. Конечно, между Инкерманской террасой и домиком на Лам-стрит поддерживались некоторые отношения, но это было не то, чего хотелось Дэвиду. Дженни во время визитов держала себя чопорно, Марта — холодно, Роберт молчал, Сэм и Гюи чувствовали себя неловко. И странное дело: когда Дэвид видел, как надменно-покровительственно обращалась Дженни с его родными, он готов был ее поколотить, но с той минуты, как они уходили, он чувствовал, что любит ее по-прежнему. Он понимал, что их брак был ударом для Марты и Роберта. Марта, конечно, встретила этот удар с чем-то вроде горького удовлетворения: она, мол, всегда знала, что уход Дэвида из шахты принесет им одно горе, и вот теперь эта глупая ранняя женитьба показала, что она права.

Роберт держал себя иначе. Он замкнулся в молчании. С Дженни он был всегда ласков, усиленно ласков, но, как ни старался он ободрять молодых, в его молчании сквозила грусть. Он возлагал на Дэвида большие надежды, он так много ждал от него, он, можно сказать, всю свою жизнь вложил в будущее Дэвида. А Дэвид в двадцать один год женился на глупой девчонке — продавщице. Вот что в глубине души думал Роберт.

Дэвид угадывал печаль отца. Ему было очень больно. Он не спал по ночам, думая об этом. Отца возмущает его женитьба. Возмущает и то, что он обратился к Баррасу с просьбой о месте. Возмущают занятия с Артуром в «Холме». И, несмотря на все это, отец приглашает его поехать с ним удить в Уонсбек!

Дэвид вздрогнул, очнулся от задумчивости. Немного виновато успокоил расшумевшихся учеников, торопливо набросал ответ и отдал Гарри; затем с жаром принялся за обычную работу.

Всю неделю он с нетерпением ждал субботы. Он всегда был великий охотник до рыбной ловли, но ему так редко представлялся случай поудить. Стояла весна, он знал, что в Уонсбекской долине сейчас должно быть чудесно. И его тянуло туда.

Наступила суббота. День был самый подходящий для рыбной ловли, теплый, с проблесками солнца сквозь облака и мягким западным ветром. Дэвид встал рано, принес Дженни в постель утреннюю чашку чая, приготовил сэндвичи с вареньем. Он осмотрел удочку, подаренную отцом, когда ему минуло десять лет, — как ясно помнился этот день и лавка Мэрриота на Вест-стрит, куда они с отцом ходили эту удочку покупать. Он попробовал согнуть удочку — она осталась такой же гибкой и вполне годилась. Тихонько насвистывая, Дэвид надел салоги. Дженни была еще в постели, когда он ушел из дому.

Он поднялся на Террасы, прошел по Инкерманской улице к родному дому. Странные ощущения будило в нем сегодня тихое весеннее утро. Сэмми и Гюи работали в утренней смене, но мать была дома и стояла у стола, завертывая в промасленную бумагу завтрак Роберту и обвязывая его тонкой бечевкой. Марта сэкономила бечевку и бумагу, как будто это было золото. При виде сына она кивнула головой, но углы ее губ опустились с недобрым выражением. Видно было, что она еще не простила его.

— Ты плохо выглядишь, — заметила она, пронизывая его угрюмым взглядом.

— Я вполне здоров, мама.

Это была неправда. В последние месяцы ему временами нездоровилось.

— У тебя лицо бело, как бумага.

Он ответил коротко:

— Ну что ж поделаешь. Говорю тебе, что я здоров, отлично себя чувствую.

— А я так думаю, что ты был здоровее, когда жил дома и работал в шахте, как все добрые люди.

Дэвид почувствовал раздражение, но спросил только:

— Где папа?

— Пошел за личинками. Сейчас вернется. А тебе так некогда, что не можешь посидеть минутку и поговорить с родной матерью?

Дэвид сел и стал наблюдать, как она старательно завязывала на пакете последний тугий бантик, — на бечевке не было ни одного узла, так как Марта рассчитывала получить ее обратно и снова пустить в ход.

Марта мало постарела; ее большое крепкое тело было все так же подвижно, движения уверенны, глубоко сидящие глаза зорко и властно глядели с худого, но здорового и энергичного лица. Она вдруг обернулась к сыну:

— А твой завтрак где?

— В кармане.

— Покажи-ка.

Он сделал вид, что не слышит. Мать протянула руку, повторила:

— Покажи.

— Не покажу, мама. Мой завтрак у меня в кармане. Его буду есть я. Вот и все.

Рука Марты все еще оставалась протянутой. Угрюмое выражение ее лица не смягчилось.

— Так ты уже и в глаза дерзишь матери... мало того, что за глаза делал, что хотел!

— О черт! Я вовсе не хочу дерзить тебе, мама. Просто я...

Он сердито извлек из кармана завернутый в бумагу пакетик.

Она взяла его спокойно и с тем же хладнокровием развернула три ломтика черствого хлеба с вареньем, которые он приготовил себе. Лицо ее не изменилось, не выразило никакого пренебрежения, она просто отложила пакет в сторону и сказала:

— Они пойдут в мой хлебный пудинг. — И без дальнейших разговоров подала ему уложенный ею солидный пакет, добавив только: — Этого с избытком хватит на вас двоих.

В ее отношении к нему была несправедливость, но была и доля материнской заботливости. Эта заботливость вдруг ударила его по сердцу. Он сказал горячо:

— Мама, я бы очень хотел, чтобы ты была поласковее с Дженни. Ты очень строго судишь ее. Это несправедливо. Ты не пыта-

ешься наладить с ней отношения. За последние три месяца ты навещала нас не больше трех-четырёх раз.

— А разве она хочет, чтобы я у нее бывала, Дэвид?

— Ты не делаешь так, чтобы ей этого захотелось, мама. Тебе следует быть поласковее к ней. Она здесь одинока. Ты должна ее ободрять.

Марта проворчала еще утрюеёе обычного:

— Ах, так она нуждается в ободрении?

Она сделала паузу. Холодный гнев душил ее. Она ничем не выдала его, но от волнения заговорила вдруг с резким шотландским акцентом, как в юности:

— И она одинока, вот как? А с чего бы это ей быть одинокой, когда у нее есть муж и дом, за которым надо смотреть? Я вот одинокой себя не чувствовала. У меня на это никогда времени не хватало. А она постоянно шляется по городу и лебезит перед теми, кто побогаче да познатнее. Этак она никогда не заслужит ни дружбы, ни уважения настоящих людей. И на твоём месте я бы ей посоветовала не покупать столько бутылок портвейна у Мэрчисона.

— Мама! — Дэвид вскочил, бледное лицо его запылало. — Да как ты смеешь говорить такие вещи...

В ту минуту, как они мерили друг друга глазами — он багрово-красный, она бледная, бесстрастная, — в открытых дверях появился Роберт. Он с одного взгляда все понял.

— Ну, Дэви, я готов, — сказал он мягко. — Едем. А с матерью поговоришь, уже когда вернемся...

У Дэвида вырвался долгий вздох из самой глубины души. Он опустил глаза, чтобы скрыть, как больно он задет.

— Хорошо, папа.

И они вышли вместе. По дороге Роберт говорил больше, чем обычно. Он завел длинный разговор насчет рыбной ловли. Рассказал, что достал отличных личинок на костеобжигательном заводе, а червяков у Миддльрига. И ветер сегодня подходящий, так что ловля будет удачная. И он устроил так, что их подвезет фургон Тисдэйла. Возчик болен, и хлеб развозит Дэн, который после работы в шахте помогает отцу. Он довезет их до фермы Эвори, а оттуда до Морпета мили две. Это очень любезно со стороны Дэна... Славный он парень.

Дэвид слушал, старался слушать, но он понимал, что скрывается за разговорчивостью отца. Пока Роберт беседовал с Дэном

перед булочной Тисдэйла, он стоял в стороне. Как больно слышать от матери такие речи! Но в ее словах было крошечное зерно правды, — и это-то грызло Дэвида, глодало, не давало покоя.

Когда фургон нагрузили, Дэн Тисдэйл влез в него, за ним с трудом, медленно, опершись ногой на медную ступицу колеса, взобрался Роберт, затем Дэвид. В фургоне было не слишком просторно. Они тронулись.

Как только проехали предместье, Дэн начал весело болтать. Сказал, что доставит их до самой фермы Эвори, а хлеб развезет уже на обратном пути. Обидно, что ему нельзя отправиться с ними, — он любит удить, да не часто удается этим побаловаться. Вообще, он любит бывать за городом, любит деревенскую жизнь. Собственно говоря, он всегда мечтал стать фермером, работать на свежем воздухе, а не в паршивой мокрой шахте. Но так уж все сложилось. Тут Дэн засмеялся, немного устыдившись своей откровенности.

Они уезжали все дальше от однообразной равнины с мрачными трубами и надшахтными копрами, и уже вокруг них расстилались поля, другой мир, одетый молодой зеленой листвой и молодой травой. Казалось, Бог только что создал этот кусочек земли и не далее как прошлой ночью уронил его с неба, а люди еще не успели найти и загрязнить его. Поля желтели одуванчиками, тысячами одуванчиков, и радовали глаз. Даже Дэвид повеселел, глядя на эти бесконечные ковры одуванчиков. Он очнулся от задумчивости.

— Как хорошо! — сказал он Дэну.

Дэн кивнул головой:

— Да, красиво. И от них молоко у коров вкуснее.

Минута молчания. Затем Дэн украдкой посмотрел на Дэвида и спросил:

— Ну, как тебе нравится в «Холме»?

— Ничего, Дэн, там неплохо, — ответил Дэвид.

По совершенно непонятной Дэвиду причине что-то вроде стыдливого смущения выразилось на румянном лице Дэна; он отрывисто засмеялся, уставившись на Дэвида ясными голубыми глазами:

— И ты всех их знаешь? Ты уже, должно быть, успел со всеми познакомиться? И Грэйс видел, а?

Когда Дэн упомянул имя Грэйс, на лице его выразилось благоговение. Он сделал горлом глотательное движение, словно при-

нимая святое причастие. Но Дэвид ничего не заметил. Он покачал головой:

— Грэйс я не видел. Она, кажется, живет сейчас не дома. В Хэррогейте, что ли?

— Да, — подтвердил Дэн, погруженный в созерцание вздрагивающих ушей своей лошади. — Она в Хэррогейте. — И после напряженного молчания Дэн Тисдэйл прибавил со вздохом: — Удивительно славная девушка эта Грэйс!

Он снова вздохнул, вздохнул от души, и в этом вздохе излил все томление недостижимой мечты, скрываемое в глубине сердца вот уже почти восемь лет.

В это время они подъезжали уже к ферме Эвори, и на повороте Дэн остановил фургон. Роберт и Дэвид сошли, снова поблагодарили Дэна и пошли полями к Уонсбеку.

Они добрались до реки, полноводной и светлой. Не глядя на сына, Роберт сказал:

— Я пойду за мост, Дэви, а ты начинай тут... тут самое лучшее место для ловли. Потом приходи ко мне, и мы вместе перекусим. — Он кивнул сыну и зашагал по берегу.

Дэвид медленно поднял удочку, довольно равнодушно привязал лесу, потом выбрал для приманки личинки зеленой, коричневой и синей мухи. Пробуя удочку, он взмахнул ею и ощутил легкий трепет: снова все было как встарь. С удочкой в руке он подошел ближе и стал у самой воды, балансируя на горячем сухом валуне. Форель почти бесшумно проплыла посредине реки. Слабый плеск сомкнувшейся над ней воды пронизал Дэвида до мозга костей, — он подействовал на него, как хлопанье пробки, вылетающей из бутылки, действует на пьяницу, который много лет не пил вина. И он принялся удить.

Он постепенно передвигался вверх по берегу, удил, где только можно было, во всех хороших местах. Из-за туч выглянуло солнце и пригревало его яркими лучами. В уши вливалось журчание реки, тихий звук вечно бегущей воды.

Он поймал пять рыб, из которых самая крупная весила по меньшей мере фунт. Но когда они с отцом встретились у моста, оказалось, что Роберт его превзошел. На траве рядышком лежала целая дюжина форелей. Роберт растянулся неподалеку и курил, опершись на локоть. Он бросил удить больше часа тому назад, как только набрал дюжину.

Было уже три часа, и Дэвид успел проголодаться. Они вдвоем принялись уничтожать свои запасы: сэндвичи с ветчиной, крутые яйца, большой кусок пирога с телятиной и — шедевр Марты — ватрушку с малиновым вареньем. В пакете оказалась также бутылка молока, и, чтобы остудить молоко, Роберт поставил бутылку в воду, там, где было мелко.

У Роберта, в противоположность большинству чахоточных, аппетит был плохой. Не соблазняясь вкусными вещами, он и сегодня ел очень мало и скоро взялся снова за свою трубку.

Дэвид все это заметил. Некоторое время он с тревогой всматривался в отца: отец как будто похудел, немного сгорбился. Больные чахоткой уезжают в Швейцарию, Флориду, Аризону; их помещают в прекрасные дорогие санатории; их на все лады выстукивают дорогостоящие доктора; они отхаркивают мокроту в дорогостоящие фляжки с резиновыми пробками. А его отец работает под землей в шахте, никто его не выстукивает, и мокроту он собирает в клочки газетной бумаги... Все былые чувства нахлынули на Дэвида. Он сказал:

- Ты ничего не ел, папа. Не бережешь ты себя совсем.
- Да я здоров, — сказал Роберт с искренним убеждением.

Он отличался оптимизмом, как все чахоточные. Они всегда верят в свое выздоровление, а Роберт притом был болен так давно, что кашель, пот, мокрота стали как бы частью его самого, и он терпел все это без всякого ожесточения. Собственно, он вспоминал о них только затем, чтобы сказать себе, что скоро от них избавится. Вот и сейчас он улыбнулся Дэвиду и постучал себя по груди концом трубки:

- Не беспокойся... от *этого* я не умру.

Дэвид тоже зажег свою трубку. Они лежали и курили, глядя в небо, на белые облачка, которые гонялись друг за другом в вышине. Пахло травой и первыми весенними цветами, табачным дымом и дождевыми червями, лежавшими у Роберта в сумке. Очень приятно пахло. А вокруг, насколько хватал глаз, — только поля, луга, деревья, нигде ни единого домика. То была пора, когда ягнились овцы, отовсюду доносилось бляение, полное мирного спокойствия. И все дышало покоем, двигались только белые облачка в небе да крошечные белые ягнята: они прыгали и сталкивались лбами под животами матерей, которые стояли в ожидании и жевали, широко раздвинув задние ноги. Беленькие ягнята

крепко бодали друг друга, сосали мать, потом опять бодались, но недолго, они убегали от матери и снова принимались играть и скакать, все крепче и крепче стучаясь лбами.

Роберту хотелось знать, счастлив ли Дэвид. Он очень много думал об этом. Может быть, Дэвид только кажется счастливым, а в душе совсем не счастлив? Но спросить об этом сына Роберт не мог: не мог он, как Марта, влезать ему в душу, в тайну отношений между ним и Дженни. Роберт вдыхал запахи весны и думал: «Весенний цветок, пение птицы — и готово, человек влюбился. Единственная птица, которой можно разрешить петь весной, — это кукушка... Если бы Дэвид просто взял эту Дженни (а она, видимо, девушка как раз такого сорта), он не лежал бы здесь сейчас с таким измученным лицом. Но он слишком молод, чтобы понять это, и дело кончилось свадьбой. А теперь он тянет ляжку в начальной школе, обучает молодого Барраса, гонясь за заработком, а экзамен на бакалавра и все те прекрасные планы, которые мы когда-то строили вместе, отложены в долгий ящик, может быть, и совсем забыты». Роберт горячо желал, чтобы Дэвид поскорее выпутался из всего этого, чтобы он шел вперед и создал себе имя, сделал в жизни что-нибудь настоящее. Ведь он мог бы далеко пойти, в нем есть что-то такое... Роберт все еще крепко надеялся, что Дэвид добьется своего. Но он перестал думать об этом, так как у него были другие заботы.

Вдруг Дэвид приподнялся:

— Ты сегодня все молчишь, папа. Видно, тебя что-то тревожит.
 — Право, ничего, Дэви... Здесь так хорошо... — Он помолчал. — Получше, чем внизу, в Скаппер-Флетс...

Дэвид внезапно все понял. Сказал медленно:

— Так вот где вы теперь работаете!
 — Да. Мы уже в Скаппер-Флетс. Три месяца тому назад начали вскрывать дейк.

— Вот как!

— Да.

— А вода есть?

— Есть. — Роберт спокойно пыхтел трубкой. — В моем забое она доходит до вентилятора. Оттого-то я и заболел на прошлой неделе.

От мирного тона отца Дэвиду вдруг стало тяжело. Он сказал:

— А ведь ты изо всех сил боролся, отец, за то, чтоб людей не посылали в Скаппер-Флетс.

— Боролся... Ну и что же? Нас одолели. И мы бы сразу тогда вернулись в Скаппер-Флетс, если бы контракт у Барраса не был расторгнут. Ну а теперь он подписал новый, и мы снова там. Жизнь вертится, как колесо, сынок... ждешь, ждешь, и под конец смотришь — пришла на то же самое место.

После короткого молчания Роберт продолжал:

— Я уже тебе говорил, что не боюсь сырости. Всю жизнь приходилось работать в сырых местах, и чем дальше, тем в худших и худших. Беспокоит меня не это, а вода в отвале. Вот смотри, Дэви, я тебе сейчас объясню. — Он поставил ладонь ребром на землю. — Вот дейк, он служит как бы перегородкой, это сброс, который тянется вниз на север и на юг. По одну сторону от него все старые выработки, отвал для всех шахт старого «Нептуна», которые идут от «Снука». Все нижние этажи отвала залиты водой, там воды тьма, да иначе и быть не может. Так. Теперь, Дэви, вот здесь, по другую сторону дейка, на запад, лежит Скаппер-Флетс, где мы сейчас работаем. И что же мы делаем? Мы вынимаем уголь — и все ослабляем и ослабляем перегородку. — Он снова закурил.

— А я от многих слышал, будто дейк выдержит что угодно, будто это природный целик¹, — заметил Дэвид.

— Возможно, — отвечал Роберт, — но иной раз невольно подумаешь: а что, если мы работаем слишком близко к старым, залитым водой выработкам? Эта естественная перегородка может оказаться слишком тонкой. — Роберт говорил рассудительным тоном, почти задумчиво. Казалось, все его бывшее ожесточение исчезло.

— Ну, папа, знают же они, что делают? Обязаны знать, раз вы так близко работаете от старых забоев! У них обязательно должен быть план копей.

Роберт отрицательно покачал головой:

— У них нет плана старых выработок «Нептуна».

— Они должны у них быть. Тебе следовало бы сходить к инспектору, к Дженнингсу.

— А что толку? — равнодушно возразил Роберт. — Он ничем помочь не может. Не может он навязать им закон, которого не существует. Закон ничего не говорит о копиях, заброшенных до

¹ *Целик* — нетронутый массив, оставляемый вокруг ствола шахты и между выработками, чтобы предотвратить обвал кровли и прорыв воды.

тысяча восемьсот семьдесят второго года, а старые выемки «Нептуна» оставлены задолго до этого. Тогда не требовали, чтобы хозяева предъявляли карты. И они потеряны. Вода может оказаться сразу же по ту сторону дейка, а может быть, она и на полмили от него. — Он зевнул, как бы показывая, что ему надоело говорить об этом, и, улыбнувшись Дэвиду, прибавил: — Будем надеяться, что на полмили.

— Но, папа... — Дэвид замолчал, расстроенный тоном отца. Роберт, видимо, был переутомлен и впал в какой-то фатализм.

Он заметил выражение лица Дэвида и снова улыбнулся:

— Больше я из-за этого не стану поднимать шума, Дэви. Никто в тот раз не верил мне, никто из наших, и забастовали-то они только ради прибавки в полпенни. Я больше не хочу ни о чем беспокоиться... — Он замолчал, посмотрел на небо. — Знаешь, я, пожалуй, приду сюда и в следующее воскресенье. И ты тоже приходи. На Уонсбеке весна — самое лучшее время. — Он закашлялся обычным глухим кашлем.

Дэвид сказал торопливо:

— Тебе из-за твоего кашля следовало бы почаще бывать на воздухе.

Роберт усмехнулся:

— Я сбегу сюда опять на днях. — Он постучал трубкой по груди. — Но кашель — это пустяки. Мы с ним старые друзья. Никогда он меня не убьет.

С безмолвной тоской смотрел Дэвид на отца. Его нервы, до крайней степени взвинченные за последние дни, не могли вынести этого: кашля отца, его беспечного тона, его апатичного отношения к тяжелым условиям работы в Скаппер-Флетс. А что, если им там действительно грозит опасность? Сердце Дэвида сжалось. И он подумал с неожиданной решимостью: «Я *должен* поговорить с Баррасом относительно Скаппер-Флетс. Поговорю с ним на этой же неделе».

XIX

А Джо жил припеваючи. Часто потом, вспоминая об этом периоде своей жизни, он называл его «золотым временем» и твердил: «Вот это была жизнь!»

Ему нравился Шипхед, уютный городок с хорошими трактирами, двумя удобными бильярдными, дансинг-холлом; здесь регулярно каждую субботу устраивались состязания в боксе. Он был доволен переменной обстановки, своей квартирой, своей конторой, которая помещалась напротив Фаунтен-отеля, в комнате с телефоном, двумя стульями, конторкой, сейфом, календарным расписанием скачек и портретами, вырезанными из газет и наклеенными на стенах. Он был доволен и своим новым светло-коричневым костюмом и новой цепочкой для часов, красовавшейся между двумя верхними карманами жилета; доволен своими ногтями, которые приводил в порядок при помощи перочинного ножика, развалясь на стуле, заломив шляпу на затылок и положив ноги на конторку; доволен тем, что с хорошенькой вертушкой, блиставшей в кассе нового кино, у него дело шло на лад. А больше всего нравилась Джо его нынешняя служба. Не служба, а одно удовольствие: нужно было только собирать заявки и деньги, о заявках сообщать по телефону Диду Джоби в Тайнкасл, а деньги хранить до субботнего вечера, когда Дик самолично являлся за ними. Дик считал, что Джо именно тот человек, который нужен для этого дела, — для того, чтобы открыть в Шипхеде новый филиал: он парень подходящий, бойкий, добродушный и общительный, такой сумеет вербовать клиентов, увиливать от полиции, действовать ловко и энергично.

Диду нужна была не какая-нибудь счетная машина — упаси бог! — не чиновник, который сидел бы в конторе и хлопал глазами, ожидая, чтобы дело пришло к нему, — Дик искал ловкого парня, честного и с головой...

Что же, разве Дик ошибся? Джо удовлетворенно улыбнулся даме в трико на противоположной стене, которая, по-видимому, упражнялась во «французском боксе» с белоглазым кафром. «Ловкий малый, с головой на плечах...» Есть ли у него голова на плечах?! Джо чуть не захохотал громко: дело-то уж очень простое, слишком простое... Нужно только не зевать, суметь надуть другого раньше, чем он надует тебя. Джо отложил зубочистку и, сунув руку во внутренний карман, достал оттуда тоненькую книжечку в пестрой обложке. Эта книжечка радовала Джо. В ней, разлинованной красными строчками, было написано, что на счету у мистера Джо Гоулена, проживающего в Шипхеде на Браунстрит, № 7, имеется двести два фунта стерлингов и десять шил-

лингв. Книжечка являлась доказательством, что Джо парень не промах.

Зазвонил телефон. Джо взял трубку:

— Алло! Да, мистер Карр, да! Конечно. В три тридцать. Десять шиллингов на Быстрого, остальные — на Черного Дрозда, в четыре. Сделано, мистер Карр!

Это Карр, аптекарь с Банковской улицы... «Забавно, что играют на скачках такие люди, о которых никто бы этого не подумал», — рассуждал про себя Джо. У Карра такой вид, словно он ни о чем не думает, кроме ялаппы¹ и других аптечных снадобий, и каждое воскресенье он ходит с женой в церковь. А между тем регулярно два раза в неделю ставит по десять шиллингов. И выигрывает. Часто выигрывает порядочные деньги. Сразу можно угадать, кому везет в игре. Такие всегда осторожны и ничем не показывают, что выиграли. И неудачников тоже сразу узнаешь. Вот хотя бы молодой Трэси — тот, что приехал в Шипхед в прошлом месяце: вот это уж, можно сказать, прирожденный неудачник. Глупость прямо на роже написана. С той минуты, как молодой Трэси стал к нему подъезжать в бильярдной у Марки насчет игры на грошовую ставку и поставил один фунт на Салли Слопер, которая пришла к финишу последней из четырех, он, Джо, раскусил этого простака. Молодого Трэси каждый может провести. Этот худой, неряшливый малый без подбородка вечно ухмылялся, и вечно в зубах у него торчала папироска. Но как бы то ни было, у молодого Трэси имелись деньги для игры на скачках; за месяц он поставил двадцать фунтов — и все потерял, ибо постоянно проигрывал. Молодой Трэси больше уже не был добычей всякого, теперь он был добычей одного только Джо, — «уж на этот счет будьте покойны».

Снова телефон.

— Алло! Алло!

При всей своей неотесанности Джо был великолепен, когда разговаривал по телефону. Он начинал приобретать лоск. Он говорил то звучным, бодрым голосом, то холодно, то высокомерно-снисходительно, в зависимости от обстоятельств. Он уже больше не калечил английский язык, если не считать тех случаев, когда ему нужно было изобразить простодушного рубаху-парня.

¹ Ялаппа — слабительное.

Джо, ухмыляясь, еще больше развалился на стуле. На этот раз его вызывали не по делу: это барышня из кассы кино решила «брякнуть» ему, пока не пришел ее хозяин.

— Алло, Минни! Что? А вы думали кто — Чингунгсу? Ха! Ха! Ах вы, ветреница! Что? На трехчасовой... или любой заезд? Да за кого вы меня принимаете, Минни? Рассчитываете, что я буду задаром выдавать государственные тайны? Ни за что, ни даже за ваше милое, чистое, как жемчужина, сердечко, Минни! Я ведь уже говорил вам... Что такое?! — Джо вдруг разинул рот, выпучил глаза и слушал некоторое время молча. — Ну, тогда другое дело, Минни. Разве я не говорил вам, что согласен на все? Это вы все колебались да не могли решиться... Ну, хорошо, Минни... если вы передумали, то я, пожалуй, смогу вам это устроить. — Пыжась от гордости, Джо сохранял, однако, спокойный, убедительный, льстивый тон: — Положитесь на меня, Минни. Ну да, наверняка запишу. Я всегда говорил, что в вас есть эта жилка... Но услуга за услугу, — ведь это наш девиз, а, Минни?.. Однако послушайте, если вы думаете, что можете помимо меня... а, ну ладно, Минни. Я только подумал, что... Так, значит, в одиннадцать часов на улице у кино. Приду, клянусь вашими подвязками! Приду и принесу ваш выигрыш.

Джо весело повесил трубку. Ну не говорил ли он всегда, что именно так надо действовать, — заставлять гору приходиться к Магомету, как говорится в школьных учебниках? Он выпятил грудь. Ему захотелось вскочить и пуститься в пляс, протанцевать кеуок по всей конторе. Но нет, это не подобает выдержанному светскому человеку, кое-чего уже достигшему. Он сунул зубочистку в карман и принялся за дело.

Прежде всего достал все бланки утренних заявок, просмотрел каждую опытным глазом, критически исследовал и взвесил ее содержание, раньше чем отложить заявку в сторону. В конце концов образовались две кучки: в одной, большой, — «подходящие» заявки, а в другой — только три бланка, заявки людей, которые, как он знал, всегда проигрывали. Трэси, например, поставил три фунта (до такого азарта он до сих пор еще не доходил!) на Гортензию, старую жилистую лошадь, которая никогда кандидатом на приз не считалась. Джо слегка усмехнулся глупости Трэси (что он понимает в цифрах?) и, мысленно произведя какие-то подсчеты, разорвал его заявку на мелкие кусочки. На других двух заявках были указаны ставки на Фулбрука и Зеницу Ока. Он

разорвал и их. Все еще усмехаясь, посмотрел на часы: половина второго, больше заявок не будет. Он весело снял телефонную трубку, пошутил с телефонистом, попросил соединить себя с Тайнкаслем, до которого было несколько миль.

— Алло! Это Дик Джоби? Говорит Джо. Сегодня день довольно удачный. Ха! Ха! Правильно, Дик. Если вы готовы, Дик, то слушайте...

Джо стал читать ему одну за другой все неуничтоженные заявки. Читал бойко, внятно, преувеличенно громко.

— Да, это все, Дик. Что? Уверен ли я в этом? Да, могу поручиться, Дик. А вы когда-нибудь видели, чтобы я ошибался? Да, все, Дик. Ну, до скорого. Увидимся в субботу.

Джо со всего размаха повесил трубку, встал, подмигнул даме в трико, заломил шляпу набекрень и, выйдя, запер контору. Он перешел кипевшую суетой улицу и вошел в бар Фаунтен-отеля, кивая на все стороны, одному, другому. Все тут знали Джо Гоулена, комиссионера, большого человека.

Он заказал бифштекс — большой, сочный, пухлый бифштекс с кровью, зажаренный так, как он любил, с луком и ломтиками картофеля, а к нему кружку горького пива. Он смаковал каждую крошку бифштекса, каждую каплю пива. Джо обладал редкой способностью наслаждаться. За бифштексом последовал изрядный кусок стильтонского сыра с булочкой. А хорош этот стильтон... Ей-богу, хорош. Что он, Джо Гоулен, знал о стильтонском сыре еще год-два назад? А теперь!.. Да, он идет в гору, все выше и выше...

Днем Джо был более или менее свободен. Поболтал с Престоном, Джеком Престоном, хозяином Фаунтен-отеля, — славный малый этот Джек! — потом прогулялся до бильярдной Марки и сыграл несколько партий в снукер. Трэси здесь сегодня не было. Не было чудачка Трэси, но это не важно, его три фунта благополучно покоились во внутреннем кармане Джо.

Поиграв в снукер, Джо отправился в гимнастический зал молодого Карлея. Джо был регулярным посетителем этого заведения: человек ни на что не годен, если не следит за своим здоровьем, он тогда и наслаждаться жизнью не способен. А он, Джо, способен! «Всего понемножку и в свое время», — подумал Джо благодушно, вспомнив о Минни и встрече с ней в одиннадцать часов.

В гимнастическом зале Джо разделся, обнажив крепкое, мускулистое тело весом в семьдесят шесть килограммов, поупраж-

нялся на брусьях, потом в боксе, сделав три раунда с самим Карлеем. Он здорово вспотел и пошел в бассейн, где мок долго и основательно. После этого — душ и растирание. Карлей растирал его недостаточно крепко.

— Сильнее, дружище, сильнее, — понукал его Джо. — За что же я плачу вам деньги, как вы полагаете?

Разве он не хозяин заведения Карлея? Значит, Карлей должен стараться. А между тем он в третьем состязании нанес ему слишком сильный удар. Красный, пылающий, Джо соскользнул со скамьи, похожий на большого гладкого тюленя. Шлепая по полу, босиком побежал в кабинку, оделся, бросил Карлею полкроны и вышел.

Пять часов — самое время идти в контору. На обратном пути Джо купил вечернюю газету и с безмятежной уверенностью пробежал глазами спортивную хронику. Как он и ожидал, Гортензии совсем не видно, Фулбрук идет четвертым из шести, Зеница Ока также участвует в заезде. Джо ничем не выдал своих чувств — одни лишь зеленые новички это делают, — и разве только в осанке его появилось чуточку больше самодовольства, когда он перешел улицу и входил в свою контору.

Расположившись за столом, он занялся подсчетами, потом позвонил по телефону в Тайнкасл:

— Алло! Дик Джоби там? Алло... Что? Мистер Джоби давно уехал? Ага, хорошо, я позвоню завтра утром.

«Так, Дик уехал давно. Ну что ж, ничего удивительного, — шутливо сказал себе Джо. — У Дика сегодня день далеко не из приятных». Он встал и, насвистывая, принялся поправлять галстук. Тут дверь вдруг открылась и в комнату вошел Дик Джоби.

— А, Дик! Это замечательно... не ожидал вас...

— Молчите, Гоулен. И садитесь, — сухо, без улыбки Дик Джоби указал ему на стул.

У Джо вытянулась физиономия:

— Но, Дик, старина... — Тут Джо позеленел: за Диком вошел молодой Трэси, а за Трэси — какой-то огромный краснолицый верзила с плечами шириной с дом и суровым, неприятным взглядом. Великан закрыл дверь и предусмотрительно загородил ее спиной. Молодой Трэси, который сегодня уже не выглядел таким простаком, сунул в рот папиросу и безжалостно уставился на Джо.

— Гоулен, — сказал Дик, — вы отъявленный плут и негодяй.

— Что?! — Джо уже овладел собой и делал мучительные усилия сохранить уверенный вид. — Полегче, Дик! Что вы хотите сказать? Я только что, минуту назад, звонил вам в Тайнкасл, чтобы сообщить, что я забыл вставить в список Гортензию. *Его* ставку. — Он указал на Трэси и продолжал со все растущим негодованием: — Честное слово, Дик, я забыл, а как только вспомнил, в ту же минуту позвонил вам.

— Молчите, Гоулен. Вы не только сегодня, вы и раньше меня обкрадывали. Вот уже месяц, как Трэси вручает вам ставки на лошадей. Он внес вам тридцать пять фунтов, а я не получил из них ни одного пенни!

— Что такое? — зарычал Джо. — Если он это говорит, так он мерзкий лгун. Не верьте ему, Дик. Это гнусная ложь. Мое слово стоит не меньше, чем его.

— Да заткнитесь вы, Гоулен, — сказал Джоби в третий раз, почти устало. — Трэси работает со мной. Он проверяет по месяцу каждое из моих отделений так же, как проверял вас. За кого вы меня принимаете? Что же вы думали, что я не контролирую *ничего*? За *всем* слежу, осел вы этакий! И знаю, что вы меня обкрадывали. У вас была хорошая служба и возможность выдвинуться. Ну а теперь я вас выгоню! Понимаете вы, низкий мошенник, в шею выгоню!

«Все пропало», — подумал Джо. Ярость забушевала в нем, и он начал шуметь:

— А вы поосторожнее с такими словами, как «мошенник»! Помните, с кем разговариваете! Я могу на вас в суд подать... Я... — Он запнулся. Ему ничего не стоило бы треснуть хорошенько Дика, но ведь их трое, будь они прокляты! И кроме того, ему, в конце концов, наплевать — он хорошо заработал на этом деле, немалую толику отложил. И он хладнокровнейшим образом собрался уходить.

Но Дик, отвернувшись, с отвращением бросил:

— Обыщи его, Джим.

Джим отделился от двери и шагнул вперед с суровым взглядом, с таким видом, словно он намеревался стену прошибить. «О господи, — подумал Джо, — он отберет у меня все! Будь я проклят, если допущу это».

Он пригнулся и нанес Джиму сильный удар в челюсть. Удар попал в цель, но челюсть была крепкая, как железо. Джим наклонил свою шарообразную голову и кинулся на Джо.

В течение трех минут вся комната ходуном ходила от шума схватки. Но все было напрасно: Джо в конце концов со страшным грохотом растянулся на полу. Он лежал навзничь, а Джим сидел у него на груди. «Ничего мне не поможет... ничего не поможет...» Он не мог помешать Джиму обыскать себя: пестренькая банковская книжка и пятифунтовые бумажки были выложены на стол.

Когда Дик Джоби небрежно сунул деньги к себе в карман и взял в руки банковскую книжку, Джо с усилием поднялся с пола и захныкал:

— Ради бога, мистер Джоби, сэр... Это мои деньги, мои собственные сбережения...

Джоби посмотрел на часы, торопливо подошел к телефону и вызвал управляющего банком. Продолжая хныкать, Джо ошеломленно слушал.

— Извините, что беспокою вас в неслужебные часы, но дело самое срочное. Мистеру Гоулену крайне необходимо получить по чеку... Это говорит Джоби из Тайнкасла, да, да, Дик Джоби... Не сделаете ли вы ради меня это одолжение мистеру Гоулену? Благодарю вас, отлично, весьма вам обязан.

— Я не пойду! — завизжал Джо. — Будь я проклят, если пойду.

— Даю вам одну минуту на размышление, — сказал Дик серьезно. — Если не пойдете, я вызову полицию.

И Джо пошел. Молчаливой процессией все четверо проследовали в банк и потом, так же молча, обратно в контору.

— Давайте! — приказал Дик.

— Побойтесь вы Бога! — завопил Джо. — Здесь есть и мои деньги.

— Давайте все сюда, — повторил Дик. Джим стоял тут же наготове.

«О господи, он опять свалит меня с ног», — подумал Джо и отдал деньги — все, что получил в банке, все свои милые денежки: двадцатифунтовые и пятифунтовые бумажки, соверены — свои заветные двести фунтов, все, что у него было...

— Ради бога, мистер Джоби... — молил он униженно.

По дороге к дверям Дик Джоби остановился, лицо его выражало презрение. Он вынул соверен и бросил его Джо.

— Нате, — сказал он, — купите себе шляпу. — И вышел вместе с Трэси и Джимом.

Минут десять Джо сидел, качаясь из стороны в сторону в порыве отчаяния, и слезы текли по его лицу. Потом он встал и подобрал с полу соверен. В нем кипела бешеная злоба. Он пнул ногой стул — раз, другой, третий. Принялся громить контору. Он уничтожал все старательно, с ожесточением. Мебели здесь было мало и все дешевая. Он всю изломал в щепки. Оплевал весь пол. Проклинал Джоби, выдумывая все новые проклятия. Потом взял синий карандаш и написал на стене большими буквами: «Джоби — мерзкий ублюдок». Написал и другие непристойные ругательства. Затем, присев на подоконник, сосчитал свои деньги. Всего, вместе с тем фунтом и мелочью, которые нашлись в кармане, у него было ровно тридцать шиллингов. Тридцать шиллингов. Тридцать сребреников!

Он бомбой вылетел из разгромленной конторы и направился прямо в бар. Десять шиллингов отложил в карман жилета, на остальные напился. Сидел и пил один до половины одиннадцатого. В половине одиннадцатого он был уже вдрызг, безобразно пьян. Поднялся и нетвердыми шагами побрел к кинотеатру.

В одиннадцать вышла на улицу Минни, желтоволосая, плоскогрудая, с презрительно-пресыщенной миной, шеголя своим золотым зубом и всем прочим. Минни, без всякого сомнения, была лакомый кусочек. И Джо обнял ее, слегка пошатываясь, оглядывая ее с ног до головы.

— Идем, Минни, — сказал он хрипло. — Я принес твой выгырыш — десять шиллингов. Но это пустяк по сравнению с тем, что я добуду для тебя завтра.

— О! — сказала Минни разочарованно. — Всем вам нужно от девушки одно и то же.

— Идем! — повторил Джо.

И Минни пошла. В этот вечер Джо шляпы не купил. Но благодаря этому вечеру он впоследствии купил себе не одну шляпу, а несколько.

XX

В аллее деревья стояли тихо под проливным дождем, роняя капли с потемневших от копоти ветвей. Своими унылыми, неясными очертаниями они напоминали ряды плакальщиц, рыдающих в печальных сумерках.

Но Дэвид, торопливо шагавший по мокрой аллее, не замечал плачущих деревьев. Голова его была опущена, на лице застыло сосредоточенное выражение. Весь во власти одной упрямой мысли, он дошел до дома, позвонил и стал ждать. Дверь сразу же открыли, но не горничная Энн, а Хильда Баррас, которая при виде Дэвида неожиданно покраснела.

— Как вы рано! — воскликнула она, тотчас же овладев собой. — Слишком рано. Артур у отца в кабинете.

Дэвид вошел в переднюю и снял с себя мокрое пальто.

— Я пришел пораньше, потому что мне нужно поговорить с вашим отцом.

— С отцом?! — спросила она с напускной иронией, внимательно вглядываясь в его лицо. — Как серьезно вы это сказали!

— Разве?

— Да, ужасно серьезно.

Дэвид уловил в ее голосе сарказм, но ничего не ответил. Ему чем-то нравилась Хильда. Ее неумолимая резкость была, по крайней мере, искренна. Хотя ей явно хотелось узнать, что он затеял, она не стала расспрашивать и сказала безразличным тоном:

— Они оба в кабинете.

— Могу я пройти туда?

Она пожала плечами, не отвечая. Дэвид перехватил брошенный на него взгляд темных глаз, затем она повернулась на каблуках и ушла. С минуту он стоял, собираясь с мыслями, потом поднялся по лестнице. Постучал и вошел в кабинет.

В комнате, ярко освещенной, было тепло, в камине пылал огонь. Баррас сидел за письменным столом, а Артур стоял у камина, лицом к нему. При входе Дэвида Артур улыбнулся дружелюбно, как всегда. Баррас же поздоровался с ним далеко не так сердечно. Он повернулся и вопросительно посмотрел на Дэвида.

— Что скажете? — спросил он отрывисто.

Дэвид перевел глаза с сына на отца, решительно сжал губы.

— Я хотел бы поговорить с вами, — сказал он Баррасу.

Баррас откинулся на спинку стула. У него сегодня было превосходное настроение. С дневной почтой он получил письмо от лорд-мэра Тайнкасла, который просил его принять на себя обязанности председателя организационной комиссии по пристройке нового корпуса к Городскому королевскому госпиталю. Он уже был избран в судьи, состоял три года председателем местного Комитета просвещения, а теперь еще это новое приглашение!

Баррас был доволен, потому что уже чуял впереди титул, как откормленный мастиф нюхом чует кость с мясом. Своим изящным и аккуратным почерком (в «Холме» пишущих машинок не вошло) он писал лорд-мэру, подобающим образом выражая свое согласие. Здесь, у себя в кабинете, он казался олицетворением какого-то почти животного довольства судьбой, которая была к нему столь милостива.

— О чем же вы хотите говорить? — спросил он. И, заметив взгляд, брошенный Дэвидом на Артура, прибавил нетерпеливо: — Если это относительно Артура, то ему полезно послушать.

Дэвид быстро перевел дыхание. В присутствии властного, критически настроенного Барраса его намерение вдруг показалось ему нелепым и самонадеянным. Но он решил говорить с Баррасом, и ничто не могло поколебать его решимости!

— Это насчет новых разработок в «Парадизе», — заторопился он, раньше чем Баррас успел сказать еще что-нибудь. — Конечно, я не имею права поднимать этот вопрос: я теперь не работаю в шахте. Но там работают мой отец и два брата. Вы моего отца знаете, мистер Баррас, он тридцать лет работает шахтером, и он не паникер. Но с тех пор, как вы заключили новый контракт и начали вскрывать целик, он страшно беспокоится, как бы не произошло прорыва воды и не затопило штольни.

Молчание. Баррас продолжал изучать лицо Дэвида холодно-испытующим взглядом.

— Если вашему отцу не нравится в «Парадизе», он может уйти. С этой же самой бредовой идеей он носился семь лет тому назад. Он всегда был смутьяном.

Дэвид чувствовал, что в нем закипает кровь, но заставлял себя говорить спокойно:

— Не только моему отцу, но и очень многим рабочим там не нравится. Они говорят, что вы ведете разработку слишком близко к старому отвалу, к выемкам в старом «Нептуне», которые, вероятно, доверху залиты водой.

— В таком случае они знают, что можно сделать, — сказал ледяным тоном Баррас. — Они могут уйти.

— Нет, не могут. Им приходится думать о куске хлеба. Почти у каждого есть жена и дети, которых надо кормить.

Выражение лица Барраса внезапно изменилось, стало еще жестче.

— Тогда пускай обращаются к своему Геддону. Ведь он для этого и поставлен, не так ли? Ему платят за то, чтобы он разбирал их жалобы. А вас это дело совершенно не касается.

Атмосфера внезапно стала сгущенной, и Артур смотрел то на Дэвида, то на отца со всевозрастающим беспокойством. Артур не выносил неприятностей, и все, что грозило неприятной сценой, вызывало в нем острую тревогу. Дэвид не сводил глаз с Барраса. Он был бледен, но решимость и самообладание не покидали его.

— Я прошу только, чтобы вы внимательно выслушали то, что рабочие имеют вам сказать.

Баррас отрывисто засмеялся.

— Ну конечно, — сказал он язвительно. — Так вы рассчитываете, что я буду сидеть тут и слушать, как мои рабочие учат меня?

— Значит, вы ничего не сделаете?

— Ровно ничего!

Дэвид стиснул зубы, сдерживая бушевавший в нем гнев, и сказал тихо:

— Ну что ж, мистер Баррас, раз вы так неправильно толкуете то, что мною сказано, мне незачем говорить больше. Конечно, мое обращение к вам неуместно.

Он постоял еще немного, как бы надеясь, что Баррас заговорит, затем повернулся и спокойно вышел из кабинета.

Артур не сразу последовал за ним. Молчание длилось долго.

Наконец Артур сказал робко, опустив глаза:

— Я не думаю, чтобы он хотел тебя обидеть, папа. Дэвид Фенвик славный малый.

Баррас не отвечал.

Артур покраснел. Несмотря на то что он принял очень много холодных ванн и успел чуть не наизусть выучить всю серию красных брошюрок, он все еще не отучился от позорной привычки краснеть. Однако он продолжал с каким-то отчаянием:

— А ты не думаешь, что он до некоторой степени прав? У меня из головы не выходит то, что он сказал. Сегодня на «Парадизе» случилась странная вещь, папа. Насос остановился во время дневной смены.

— И что же?

— В «Куполе» скопилось очень много воды.

— Вот как! — Баррас взял в руки перо и стал рассматривать его кончик.

Артур ждал. Но его сообщение, казалось, не произвело на отца никакого впечатления. Отец по-прежнему сидел величаво, как на троне, и смотрел на него критически и довольно рассеянно. Все-таки Артур неуверенным тоном продолжал:

— Говорят, что в Скаппер-Флетс очень много воды. Видимо, какая-нибудь глыба подсеченного угля оторвалась от дейка и переместилась, как будто сзади на нее что-то давило. Мне казалось, что лучше будет тебе об этом узнать, папа.

— Лучше будет узнать, — повторил Баррас, словно очнувшись. — О да! — И добавил с сардонической любезностью: — Я тебе, разумеется, крайне признателен, Артур. Не сомневаюсь, что ты опередил Армстронга по крайней мере на шестнадцать часов, это очень отрадно.

У Артура был удрученный и обиженный вид, глаза его блуждали по узору ковра:

— Как жаль, папа, что у нас нет планов старых выработок «Нептуна». Тогда мы знали бы наверное... Какая досада, что в прежние времена не чертили карт.

Застывшая величавость судьбы по-прежнему не сходила с лица Барраса. Он не способен был насмехаться. Слова его прозвучали лишь холодным выговором:

— Ты немного опоздал родиться, Артур. Родись ты восемьдесят лет тому назад, ты бы, без сомнения, произвел коренной переворот в горной промышленности.

Снова пауза. Баррас посмотрел на недоконченное письмо, лежавшее перед ним на столе. Взяв его в руки, он стал перечитывать его, восхищаясь стилем. Придумал новый оборот заключительной фразы, поднял перо... и вдруг заметил, что Артур все еще стоит у двери. Баррас минуту задумчиво рассматривал его с тем же выражением, с каким только что перечитывал письмо, и с его лица постепенно исчезала суровость. Он почти развеселился — насколько был способен.

— Твой интерес к «Нептуну» очень похвален, Артур. И я с удовольствием замечая, что ты уже имеешь свои соображения насчет того, как следует им управлять. Не сомневаюсь, что через несколько лет ты будешь руководить копиями и мною! (Баррас засмеялся бы, конечно, если бы умел смеяться, как другие люди.) Ну а пока советую тебе заниматься чем-либо попроще и не думать больше об этом сложном деле. Ступай разыщи Фенвика, и пусть он вобьет немножко тригонометрии в твою глупую голову.

Когда Артур ушел, слегка пристыженный и готовый просить прощения, Баррас вернулся к своему письму. На чем он остановился? Какую фразу хотел изменить? Ах да, вспомнил! И своим аккуратным твердым почерком он принялся писать: «Я со своей стороны...»

XXI

Быстро проходили месяц за месяцем, лето сменилось осенью, осень — зимой, воспоминание о разговоре с Баррасом уже меньше мучило Дэвида. Но зачастую еще его всего передергивало при мысли об этом разговоре. Он вел себя как дурак, как самонадеянный дурак!

В Скаппер-Флетс работали по-прежнему, заказ нужно было выполнить к Новому году. Уроки в «Холме» прекратились. Артур с честью выдержал экзамены и получил аттестат. К тому же времени Дэна Тисдэйла освободили от военной службы.

Дэвид как бешеный накинулся на свою работу. Окончательные экзамены на степень бакалавра были назначены на 14 декабря, и он решил подготовиться к этому времени непременно, чего бы это ему ни стоило. Ему надоело все откладывать да откладывать, он теперь оставался глух к приставаниям Дженни, перешел на последний курс заочного университета и каждые две недели уезжал на свободные дни к Кэрмайклу в Уоллингтон. Он чувствовал, что добьется успеха, но надо было принять к этому все меры.

Дженни изображала теперь «бедную заброшенную женушку», Дженни всегда становилась «женушкой», когда искала сочувствия. Она жаловалась, что у нее никто не бывает, что у нее нет друзей, жаждала общества и даже завела дружбу с женой Скорбящего, которая была их постоянной посетительницей, так как аккуратно являлась за квартирной платой. Дружба между ними продолжалась до тех пор, пока миссис Скорбящая не взяла с собой Дженни на собрание верующих. Дженни воротилась с этого собрания в очень веселом настроении. Дэвиду так и не удалось узнать у нее, что там произошло, она заметила только, что все было ужасно «некультурно».

Наконец Дженни прибегла к последнему средству — вспомнила о своих родных и решила, что хорошо бы пригласить ко-

го-нибудь из них погостить. Но кого? Только не ма, потому что ма все толстеет, становится все тяжелее на подъем, ее целый день с места не сдвинешь, это будет какой-то мертвый балласт в доме. Филлис и Клэри приехать не могут — обе служат у Слэттери, и их не отпустят. Отец тоже не может, а если бы и мог, то не решится расстаться с голубями; папаша скоро и сам превратится в голубя, право!

Оставалась одна Салли. Салли не служила у Слэттери. Она начала блестяще — поступила на тайнкаслскую телефонную станцию, и, если бы оставалась там, все было бы прекрасно. Работа на тайнкаслской телефонной станции была «чистая» и «приличная», не говоря уже о множестве преимуществ. Но, к несчастью, папаша по глупости забрал себе в голову, что у Салли талант актрисы. Вечно водил ее по мюзик-холлам, подстрекал к передразниванию «звезд» варьете, посылал в дансинг — одним словом, валял дурака. И мало того: он убедил Салли выступить в «Эмпайре» на «субботнем конкурсе». Эти «конкурсы» неприличны, на них бывает всякий сброд.

Как ни печально, а Салли на этом конкурсе одержала победу. Она не только получила первый приз, но имела такой успех у галерки, что директор предложил ей ангажемент на всю следующую неделю. К концу этой недели Салли было предложено турне на полтора месяца по северному округу Пэйн-Гоулд.

«И зачем, — с грустью спрашивала себя Дженни, — ах, зачем Салли оказалась так глупа, что приняла это предложение?» Но она его приняла, плюнула на «первоклассную» службу телефонистки со всеми ее преимуществами и отправилась в шестинедельное турне. И это, конечно, погубило Салли.

Вот уже четыре месяца, как она безработная. Никаких турне, никаких ангажементов, ничего. На телефонной станции и слушать о ней больше не хотят. Досадно, но что делать! Это солидное учреждение, и там никогда не возьмут обратно служащего, который пренебрег такой службой. «Да! — вздыхала Дженни. — Боюсь, что бедная Салли сама себя погубила!»

Все же будет приятно, если Салли приедет погостить, да и, кроме того, надо бедняжку чем-нибудь порадовать. Быть может, под сестринской нежностью Дженни скрывалось самодовольное желание покровительствовать, — Дженни всегда стремилась «показать себя» людям.

Салли приехала в Слискейл на третьей неделе ноября и была восторженно встречена сестрой. Дженни шумно выражала свою радость, обнимая «милочку Салли», сыпала восклицаниями, вроде: «И подумать только!..», «Ну вот совсем как в старые времена», — поверяла Салли свои маленькие тайны, заливалась смехом, показывала ей новую мебель в комнате для гостей, бегала наверх то с горячей водой, то с чистым полотенцем, весело примеряла шляпу Салли: «Ну посмотри, милочка, — правда, она мне идет?»

Дэвид был доволен: давно он не видел Дженни такой веселой и оживленной. Но ее восторженное настроение выдохлось до смешного быстро, бегать наверх к Салли ей скоро надоело, журчащий смех затих, и постепенно исчезла увлекательная новизна общения с «милочкой Салли».

— Она переменялась, Дэвид, — с огорчением констатировала Дженни к концу первой же недели, — совсем не та девочка, что раньше. Правда, высокого мнения о ней я никогда не была...

Но Дэвид не находил в Салли особой перемены: она стала разве только немного тише и, пожалуй, мягче. Может быть, Дженни своей экспансивностью смягчила ее. А может быть, Салли присмирела под влиянием мысли, что она — человек конченный. Вся ее бойкость пропала. Во взгляде была какая-то новая для всех серьезность. Она старалась быть полезной в доме, бегая по поручениям, помогая Дженни хозяйничать. Она не требовала никаких развлечений, и затеи Дженни, все ее хвостовство только заставили Салли больше уйти в себя. Раза два, сидя в кухне на некрашеном столе перед ярко пылавшим огнем и болтая ногами, она «снизошла» (по выражению Дженни) до откровенности. Тогда она говорила без умолку, с веселым простодушием рассказывая Дэвиду о своих приключениях во время турне по Пэйн-Гоулд, о квартирных хозяйках, антрепренерах, о «допотопных» уборных провинциальных театров, о своей неопытности, волнениях и промахах.

В Салли не было ни капли самонадеянности. Она отлично передразнивала других, но умела еще лучше посмеяться над собой. Первый ее рассказ сильно развенчивал ее самое, — это был рассказ о том, как ее освистали в Шипхеде, и Дженни слушала его с удовольствием... Салли рассказывала об этом весело, без малейшей горечи. Она не обращала на свою внешность никакого

внимания. Она никогда не завивалась, умывалась холодной водой и каким попало мылом, платьев у нее было очень мало, и она о них не заботилась, — в противоположность Дженни, которая постоянно что-то перешивала, вышивала, разутюживала и держала свои туалеты в идеальном порядке. У Салли имелся единственный коричневый шерстяной костюм, который она носила почти постоянно. Она, как выражалась Дженни, «из этого костюма не вылезала». У Салли было правило: купив платье, сносить его, а тогда уже покупать новое. У нее не было «хороших» платьев, «воскресных» шляп, нарядного вышитого белья. Она носила простое вязаное трико и башмаки на низких каблуках. Фигура у нее была довольно топорная. Она была очень некрасива.

Дэвиду общество Салли доставляло громадное удовольствие, однако его начинала беспокоить все растущая раздражительность Дженни.

Но вот однажды вечером (это было первого декабря), когда он вернулся из школы, Дженни встретила его с прежним оживлением.

— Угадай, кто приехал в Слискейл? — сказала она, вся расплываясь в улыбке.

Салли, подавая на стол ужин Дэвида, сказала уныло:

— Буфало Билл.

— Перестань ты, дерзкая девчонка! — оборвала ее Дженни. — Я знаю, что ты его почему-то не любишь. Нет, Дэвид, в самом деле, тебе ни за что не угадать. Честное слово, не угадаешь. Это — Джо!

— Джо? — повторил Дэвид. — Джо Гоулен?

— Ну да, — подтвердила Дженни, сияя. — И какой он стал шикарный!.. Я чуть с ног не свалилась, когда встретила его на улице. Разумеется, я не собиралась с ним здороваться, в последнее время перед его отъездом я не слишком была довольна Джо Гоуленом. Но он первый подошел и так мило заговорил со мной. Он удивительно переменялся к лучшему.

Салли посмотрела на сестру.

— Ты оставила Дэвиду холодного мяса? — спросила она.

— Нет, нет, — отвечала рассеянно Дженни. — Сегодня для него к чаю ничего нет, мясо оставлено на ужин. Я пригласила Джо зайти, зная, что ты его захочешь повидать, Дэвид.

— Да, разумеется.

— Ты, конечно, понимаешь, что меня он мало интересуется. Но, пожалуй, не мешает показать мистеру Джо Гоулену, что он не один добился кое-чего в жизни. Поверь мне, моим синим сервизом, и салфеточками, и холодным мясом с подогретым горошком я утру нос мистеру Гоулену. Жаль, что у нас треска была вчера, а не сегодня: я бы могла достать мой новый нож для рыбы. Ну да ничего, попрошу у миссис Скорбящей ее ножи для мяса, и у нас все будет очень парадно, уверяю тебя.

— Почему бы тебе, если так, не нанять еще дворецкого? — невинно заметила Салли.

Дженни покраснела. Веселое выражение сошло с ее лица. Она напустилась на Салли:

— Ты, неблагодарная злючка, как ты смеешь говорить со мной таким тоном? Я, кажется, достаточно хорошо к тебе отнеслась, не мешало бы это помнить! И подумать только, что она начинает еще меня критиковать, потому лишь, что я пригласила джентльмена на ужин в свой собственный дом. Нет, только подумать! Это после всего, что я для нее сделала! Не нравится это вам, миледи, так можете отправляться домой!

— Я уеду домой, если ты этого хочешь, — сказала Салли и вышла, чтобы принести Дэвиду чаю.

Джо явился в седьмом часу. Светло-коричневый костюм, чашовая цепочка, внушительный котелок, мина простодушной приветливости. Ни самодовольства, ни шумного хвастовства, которых опасался Дэвид. Джо был вынужден вернуться в родной город, ему порядком не повезло, хотя он не хотел себе в этом сознаваться. Если говорить правду, Джо все еще был без работы. Он подумывал уже о том, чтобы вернуться на завод Миллингтона. В конце концов, разве этот долговязый дурак Стэнли не обещал помочь ему? Что же, хорошо, он пойдет к Миллингтону. Но не сейчас еще, не сейчас. У Джо было кое-что на душе, кое-что совсем не радостное. Он был обеспокоен одним обстоятельством... Господи, какие глупости делает иногда человек! Но, может быть, все в конце концов обойдется?

Этой шаткостью физического и душевного состояния и обьяснялась смиренно-добродетельная мина Джо, его поза человека, возвратившегося наконец, чтобы повидать престарелого отца, и скромно умалчивающего о своих несомненных успехах на жизненном поприще. И так он рад был увидеть Дэвида, так глубоко

зволнован встречей со «старым товарищем»! Это было прямо-таки трогательно!

С Дженни Джо разговаривал смиренно, покорно, виновато. Хвалил ее сервиз, салфеточки, ее платье, ее стряпню. Для человека, привыкшего к более богатому меню, чем холодная говядина с горошком, он даже слишком хорошо поел за ужином. Он, казалось, был поражен, сильнейшим образом поражен переменой к лучшему в положении Дженни.

— Клянусь богом! — повторял он беспрестанно. — Вам здесь получше живется, чем на Скоттсвуд-руд!

Манеры его заметно улучшились. Он теперь уже не гонялся по тарелке ножом за каждой горошиной. Он был предупредителен с дамами. Он стал еще красивее и разговаривал с Дженни почтительным тоном.

Дженни была этим польщена, она растаяла, и «светская» чопорность мало-помалу соскользнула с нее, сменилась милой шаловливостью, снисходительностью, болтливостью.

Нельзя сказать, чтобы Джо много разговаривал с Дженни. Во-все нет. Заметно было, что он теперь уделяет женщинам мало внимания и его интерес к Дженни — простая вежливость и дружеское расположение. Что касается Салли, то он и не взглянул на нее ни разу. Джо был занят исключительно Дэвидом, сыпал вопросами, выражал усиленный интерес и восхищение. Это замечательно, что Дэвид через две недели будет держать экзамен на бакалавра! Занятия с Кэрмайклом по свободным дням, конечно, прекрасная идея. «Ты всегда был парень с мозгами, Дэви, старина!»

Джо и Дэвид долго разговаривали после ужина, а Дженни беспрестанно входила и выходила, весело напевая и время от времени милостиво осведомляясь: «Ну, как вы тут?» Салли с каким-то сдержанным ожесточением мыла посуду в чуланчике за кухней.

— Приятно было повидать тебя, — сказал Дэвид на прощание, когда Джо собрался уходить.

— И я не меньше рад, — отозвался Джо. — Поверь, для меня это первое удовольствие. Я рассчитываю пробыть здесь неделю-другую, и нам с тобой следует это время почаще встречаться. Пойдем, проводи меня. Право, пойдем, еще рано. Да, кстати. — Джо сделал паузу и с веселым простодушием сказал, играя цепочкой: — Чуть не забыл. Видишь ли, Дэви, я сегодня дочиста выскреб все карманы и отдал моему старику изрядную пачку де-

нег — все, что у меня было. Расчувствовался, понимаешь, увидев его. Ты не можешь одолжить мне несколько фунтов — только куда я получу извещение из банка? Два-три фунта, не больше.

— Несколько фунтов, Джо? — Дэвид растерянно уставился на него.

— О, тогда не надо, извини. — Улыбка Джо исчезла, он был явно задет, обижен, его сияющее лицо вдруг выразило оскорбленное достоинство. — Если не хочешь — тогда не надо... это пустяки... Я легко достану где-нибудь в другом месте.

— Нет, Джо... — Обиженный тон Джо резнул Дэвида, он почувствовал себя низким скрягой. У него в спальне, в комодке, было припрятано около десяти фунтов на оплату экзаменов. Чтобы отложить эти деньги, пришлось изрядно экономить. Но он сказал: — Разумеется, я дам тебе, Джо, подожди...

Он помчался наверх, достал три фунта и, воротясь, вручил их Джо.

— Спасибо, Дэвид. — Вера Джо в человека была восстановлена. Он сиял. — Я знал, что ты не откажешь старому товарищу... Только на неделю, понимаешь?

Они вместе вышли на улицу. Джо сдвинул шляпу немного набекрень. Когда он пожелал Дэвиду спокойной ночи, это звучало как благословение.

Дэвид повернул на Каупен-стрит. Он собирался сегодня известить отца, но было уже около десяти часов. Джо задержал его дольше, чем он рассчитывал, а Марта всегда хмурилась, если он забегал к ним поздно, словно поздний приход также был знаком неуважения с его стороны. Он пошел по Фрихолд-стрит и вдруг заметил своего брата Гюи, быстро мчавшегося в темноте, в трусиках и спортивной рубашке. Дэвид окликнул его:

— Гюи, Гюи!

Кричать пришлось громко, потому что Гюи мчался быстро.

Гюи остановился и перешел через улицу. Несмотря на то что он пробежал три мили, он ничуть не запыхался и был свеж и бодр. Узнав Дэвида, он испустил вопль радости и кинулся к нему на шею:

— Дэвид, разбойник!

— Гюи, бойся бога, — отбивался от него Дэвид.

Но Гюи сегодня был неукротим:

— Вышло-таки, Дэви! Наконец-то вышло! Ты знаешь, что я получил сегодня письмо? Мне его отдали, когда я пришел из

шахты. Они меня приглашают, Дэви! Нет, ты подумай, как это замечательно!

— Приглашают? Куда, Гюи? — спросил Дэвид в полном недоумении. Никогда еще он не видел Гюи в таком состоянии, ни разу в жизни. Если бы он не знал Гюи, он мог бы поклясться, что тот пьян.

Всегда молчаливый Гюи был действительно пьян, но пьян от восторга.

— Приглашают играть в тайнкаслской команде! Можешь себе представить? Они в прошлую субботу были на нашем матче, а я и не подозревал... и я забил три гола... и вот теперь меня приглашают на матч с запасной командой в Сент-Джеймском парке в будущую субботу. О господи, ну не чудо ли? Если я сыграю хорошо, я буду зачислен, Дэви... зачислен в объединенную команду.. *В объединенную!*.. — Голос Гюи оборвался от волнения.

Дэвид наконец понял: осуществилась заветная мечта Гюи. Не напрасно, значит, Гюи закалял себя, жил как аскет, не поддавался чарам тех глаз, что так часто искали его взгляда в субботние вечера на Лам-стрит. И Дэвид в порыве искренней радости протянул Гюи руку, поздравляя его:

— Я в восторге, Гюи.

Как смешно прозвучали эти слова, не способные выразить радость, которую он чувствовал!

Гюи продолжал:

— Я много месяцев был у них на примете. Говорил я тебе об этом? Я сейчас не соображаю, что говорю... Но в одном могу тебя уверить: в следующую субботу я буду играть. О Дэви, друг, как это чудесно!

После этого последнего взрыва восторга Гюи, видимо, смутился. Он покраснел и, украдкой взглянув на Дэвида, сказал:

— Я сегодня порядком распустил слюни... Это от волнения. — Он помолчал. — А ты будешь на матче, Дэвид?

— Буду, Гюи. Приду и буду орать, пока у меня голова не треснет.

Гюи улыбнулся своей прежней застенчивой улыбкой:

— Сэмми тоже обещает прийти. Говорит, что свернет мне шею, если я не забью шесть голов!

Он минутку по своей привычке покачался на пятках и сказал:

— Не простудиться бы мне только. Нельзя мне теперь рисковать. До свиданья, Дэви.

— Покойной ночи, Гюи.

Гюи пустился бежать и исчез во мраке.

Дэвид возвращался домой, чувствуя, что у него потеплело на душе. Войдя в комнату, он застал там одну только Салли, которая сидела в кресле у огня, скорчившись и поджав под себя ноги. Углы ее губ были опущены. Она казалась такой маленькой и тихой. Дэвида после радостного возбуждения Гюи поразил ее печальный вид.

— А Дженни где? — спросил он.

— Легла спать.

— О! — В первую минуту Дэвид был разочарован: ему хотелось сразу же рассказать Дженни насчет Гюи. Потом он снова улыбнулся и стал рассказывать об этом Салли.

Сидя все в той же позе, она внимательно смотрела на него, словно изучая. Тень, падавшая от руки, скрывала ее лицо.

— Это замечательно, правда? — заключил Дэвид. — Понимаешь, не потому, что это само по себе так важно... а потому, что он так к этому стремился.

Салли вздохнула. Она все время молчала. Наконец сказала:

— Да, это такое счастье — добиться того, чего хочешь.

Он посмотрел на нее:

— Что это с тобой?

— Ничего.

— Но у тебя такой вид, словно что-то случилось. Ты расстроена?

— Ну, если хочешь знать, — сказала она медленно, — я вела себя довольно глупо. Перед самым твоим приходом я поссорилась с Дженни.

Дэвид торопливо отвел глаза:

— Мне очень жаль...

— Не жалея. Это не первая ссора, и она давным-давно назревала. Не следовало мне говорить тебе... Надо было быть великодушнее и с улыбкой проститься завтра, проявив «кротость и самоотверженность».

— Ты уедешь завтра?

— Да, уеду. Пора мне вернуться к Альфреду. Он не сумел заставить себя уважать в семье, и от него пахнет голубями, но, не смотря на все это, я питаю слабость к старику.

— Мне хотелось бы понять, из-за чего вы ссоритесь, — сказал Дэвид.

— А я рада, что ты этого не понимаешь.

Он с беспокойством посмотрел на нее:

— Мне неприятно, что ты *так* уезжаешь. Пожалуйста, не уезжай.

— Мне нужно ехать, — возразила Салли. — Ничего не изменилось от того, что я все оттягивала... — Она отрывисто засмеялась и тут же разразилась слезами.

Дэвид растерялся, не зная, что ему делать с ней.

Но Салли сразу перестала плакать и сказала:

— Не обращай на меня внимания, я немного расклеилась, с тех пор как из моей попытки стать примадонной ничего не вышло. Но сочувствия я не ищу. Лучше быть «бывшей», чем быть ничем всю жизнь. Я уже опять весела и, пожалуй, пойду спать.

— Мне так жаль, Салли...

— Молчи, — сказала она. — Давно пора тебе перестать жалеть других и начать жалеть себя.

— Господи, да о чем же мне жалеть?

— Ни о чем. — Она встала. — Слишком поздний час для чувствительных излияний. Я скажу тебе завтра утром. — Она отрывисто пожелала ему доброй ночи и пошла спать.

На следующее утро Дэвид не увидел Салли. Она встала рано и уехала с семичасовым поездом.

Весь день Дэвиду не давала покоя мысль о Салли. Вечером, возвратившись из школы, он заговорил о ней с Дженни.

Дженни сказала со своим обычным самодовольным смешком:

— Она ревнует, милый, отчаянно ревнует, вот и все.

Дэвид отшатнулся, неприятно пораженный:

— Не может быть! Я уверен, что это не так.

Дженни снисходительно кивнула головой:

— Она всегда на тебя заглядывалась, еще в те времена, когда ты бывал у нас на Скоттсвуд-роуд. Ее злило, что ты влюблен в меня. А теперь она еще больше злится! — Дженни замолчала, улыбаясь. — Ты ведь все еще в меня влюблен, не правда ли, Дэвид?

Он посмотрел на нее как-то странно, с новой для нее жесткостью во взгляде, и сказал:

— Да, я люблю тебя, Дженни. Я знаю, что ты битком набита недостатками, так же как и я. Иногда ты говоришь и делаешь вещи, которые мне глубоко противны. Иногда я просто не выношу тебя. Но, несмотря ни на что, я все же тебя люблю.

Дженни, не пытаясь вникнуть в его слова, усмотрела в них нечто для себя лестное.

— Ну и чудачок ты у меня! — сказала она игриво и снова углубилась в роман.

Дэвид не привык анализировать свои чувства к Дженни. Он принимал их как факт. Но через два дня после этого разговора, в пятницу, произошел случай, который привел его в странное смятение.

Обычно он никогда не уходил из школы раньше четырех часов. Но в этот день Стротер пришел в три «проверять» его класс. Стротер имел обыкновение экзаменовывать каждую неделю какой-нибудь класс, всегда в один определенный день; он проверял успехи учеников и в присутствии учителя делал колкие и выразительные замечания. Впрочем, с недавнего времени, с тех пор как Дэвид усиленно готовился к экзамену на степень бакалавра, Стротер стал к нему относиться лучше. И сегодня лаконично, но довольно благосклонно сказал ему, что он может идти домой.

И Дэвид ушел. Прежде всего он отправился к Гансу Мессюэру стричься. Пока Ганс, добродушно улыбающийся толстяк с усами, закрученными вверх, как у кайзера, подстригал ему волосы, Дэвид болтал со Сви, который только что вернулся из шахты и брился в задней комнате. Разговор был веселый и носил далеко не назидательный характер. Сви был веселый малый и любил весьма легкомысленные шутки. Он умудрялся бриться, и болтать, и смеяться, и сквернословить — все вместе, ни разу не порезавшись. Разговор со Сви развлек Дэвида. Продолжался он только полчаса. Таким образом, Дэвид пришел домой не в четверть пятого, как всегда, а в половине четвертого. Поднимаясь по дорожке между дюнами, он увидел Джо Гоулена, выходящего из его дома.

Дэвид словно прирос к месту. Он не видел Джо с тех пор, как тот занял у него деньги. Какое-то странное ощущение проснулось в нем, когда он увидел, что Джо выходит из его дома, словно из своего собственного. Это ощущение походило на острое замешательство, тем более что Джо казался тоже очень смущенным.

— Я думал, что забыл у вас свою палку в тот вечер, — пояснил он, избегая смотреть на Дэвида.

— У тебя не было с собой палки, Джо.

Джо засмеялся, внимательно оглядывая переулочек. Уж не думает ли он, что найдет здесь свою палку?

— Нет, была... тросточка... Я всегда ношу ее, но теперь потерял где-то.

И больше ничего. Джо кивнул ему с улыбкой и торопливо зашагал прочь.

Дэвид, задумавшись, прошел по дорожке к дому.

— Дженни, — спросил он, войдя. — Что здесь нужно было Джо?

— Джо? — Она метнула взгляд на мужа, сильно покраснела.

— Я только что встретил его... он выходил от нас.

Дженни стояла посреди комнаты, растерянная, захваченная врасплох. И вдруг она разозлилась:

— А мне какое дело, что ты встретил его? Я ему не сторож! Он забежал на одну минутку. Чего ты уставился на меня?

— Так, — сказал Дэвид и отвернулся. «Почему Дженни ни слова не сказала о палке?»

— Что значит «так»? — настаивала она сердито.

Дэвид молча смотрел в окно. Почему Джо пришел в такое время, когда он, Дэвид, обычно бывает в школе? Почему? Вдруг его осенило: все стало понятно — необычный час визита Джо, его нервность, его поспешный уход. Джо ведь занял у него три фунта. И, видно, все еще не может вернуть их!

Лицо его просветлело, он круто обернулся к Дженни:

— Джо приходил за тростью... да?

— Да! — крикнула Дженни истерическим голосом и бросилась в его объятия. — Ну конечно, за тростью. А ты думал за чем, скажи, пожалуйста?

Он успокаивал ее, глядя красивые мягкие волосы:

— Извини, Дженни, дорогая. Мне было так неприятно, когда я увидел, что он выходит из нашего дома, точно из своего собственного.

— О Дэвид, как ты можешь говорить такие вещи?! — заплакала Дженни.

— А что же такое я сказал? — Дэвид улыбнулся, губы его коснулись белой гибкой шейки.

Дженни умоляла:

— Ведь ты не сердись на меня, Дэвид?

Праведное небо! За что бы ему на нее сердиться?

— Да нет же, конечно нет, дорогая.

Успокоенная, она подняла на него глаза, налитые прозрачными слезами, и поцеловала его. Весь вечер она была нежна с ним,

удивительно нежна. На следующий день, в субботу, она даже встала рано утром, чтобы напоить его чаем. А днем, когда увидела, что Дэвид садится на велосипед, собираясь ехать к Кэрмайклу до понедельника, она прильнула к нему и едва согласилась его отпустить.

Впрочем, в конце концов, после последнего крепкого поцелуя, она его отпустила, потом вошла в дом, беззаботно напевая, довольная, что Дэвид ее любит, довольная собой, довольная тем, что ее ждут два длинных свободных дня, приятных, свободных дня.

Ну разумеется, она не позволит Джо прийти сегодня ужинать! И не подумает! Какое нахальство с его стороны даже и предложить это! Уверяет, будто он хочет прийти, «чтобы поболтать о былых временах». Так она ему и поверила! Она даже не сочла нужным рассказать Дэвиду о наглости Джо, — никакая леди не унижится до того, чтобы говорить о таких вещах.

Проводив Дэвида, она отправилась на приятную прогулку по городу. Перед магазином Мэрчисона постояла, раздумывая, и наконец решила: да, надо взять, это полезная вещь в доме. Войдя в магазин, она с изящной непринужденностью заказала бутылку портвейна, лечебного портвейна, попросив мистера Мэрчисона прислать его обязательно сегодня. Она знала, что Дэвиду это не понравилось бы, — он в последнее время ужасно придирчив, — но он уехал и ничего не узнает. Как это говорит старая пословица: чего глаза не видели, то сердце не тревожит. Хорошо сказано! Посмеиваясь, Дженни пошла домой, переделась, надушила волосы за ушами, как рекомендовалось в журнале «Домашняя болтовня», и старательно принарядилась. Да, Дженни хотела сегодня быть красивой, хотя бы даже для себя самой.

В семь часов Джо позвонил у дверей. Дженни выглянула на звонок.

— Как, это вы? — воскликнула она в добродетельном негодовании. — После всего, что я вам говорила?!

— Ну полно, Дженни, — сказал Джо вкрадчиво. — Не надо быть жестокой.

— Придет же в голову этакое! — возразила Дженни. — Я и не подумаю пустить вас!

Но она его впустила. И выпустила только поздно ночью. Красная, растрепанная, измятая, она глупо посмеивалась. Портвейн, лечебный портвейн, был выпит до капли.

XXII

На следующий день — в воскресенье седьмого декабря — Джек Риди, старший из братьев Риди, и его товарищ Ча Лиминг отработали в Скаппер-Флетс две смены подряд, так как Баррасу нужно было срочно выполнить заказ и в шахте удвоили добычу угля. В той же смене был и Роберт, но он работал гораздо дальше, в глубине штольни, у верхнего конца наклонной просеки. В этом переднем забое работать было тяжело. Забой Риди и Лиминга был лучше, он отстоял от рудничного двора мили на полторы. В пять часов смена кончила работу и поднялась наверх. Риди и Ча Лиминг, раньше чем уйти, оставили на поверхности своего забоя изрядную глыбу подсеченного, но не снятого угля. Из этой глыбы после отбойки наберется пять, а то и шесть вагонеток угля; уголь хороший, и его легко будет вывезти завтра утром, когда они придут в шахту.

Довольные этим, Джек Риди и Ча по дороге домой зашли в «Привет» выпить. У Джека было немного денег. Несмотря на воскресенье, они выпили каждый по несколько стопок, потом еще и еще. Джек развеселился, а Ча дошел до такого состояния, когда человеку море по колено. Обнявшись и распевая, они доплелись до Террас. На следующее утро оба проспали и на работу не пошли. Но все значение этого случая они оценили только позднее.

В понедельник утром, в половине четвертого, Диннинг, десятник по безопасности, спустился в «Парадиз» и стал осматривать выработки. Это полагалось делать до того, как допустить к работе утреннюю смену. С палкой в руке, опустив голову, Диннинг с трудом пробирался по «Миксену» и Скаппер-Флетс. Найдя все в порядке, он вернулся в свою кабинку на воздушно-канатной дороге и принялся составлять служебный рапорт.

Пришла смена из ста пяти человек — восемьдесят семь взрослых мужчин и восемнадцать подростков. Двое шахтеров, Боб Огль и Толли Браун, пошли к Диннингу.

— Джек и Ча проспали, — начал Боб Огль.

— Черт бы их побрал! — сказал Диннинг.

— Можно Толли и мне поработать в их забое? — спросил Боб. — Нам попался такой поганый!

— Черт! Ну что ж, идите! — сказал Диннинг.

Огль и Браун спустились по канатной дороге с группой рабочих, среди которых были Роберт, Гюи, Боксер Лиминг, Гарри

Брэйс, Сви Мессюэр, Том Риди, Нед Софтли и Иисус Скорбящий. За ними шел младший брат Тома Риди, Пат, пятнадцатилетний мальчик, только первую неделю работавший в шахте.

У Роберта было бодрое настроение. Он сегодня чувствовал себя лучше — ночью спал крепко, кашель меньше мучил его. За последние месяцы он с громадным чувством облегчения пришел к выводу, что опасаться затопления шахты нет оснований. Пробираясь во мраке просеки, узкой и низкой, в четыре фута высотой, на глубине шестисот футов под землей, в двух милях от главного ствола шахты, он заметил рядом с собою юного Пата Риди, самого младшего отпрыска семейства Риди.

— Эй, Пат, — крикнул он шутливо, желая подбодрить мальчика, — славное местечко ты выбрал, чтобы погулять на каникулах! — Он хлопнул Пата по спине и, спустившись по углублению, носившему название «Купол», вдвоем с Боксером дошел до своего дальнего забоя. Сегодня забой был суше обычного, так сухо в нем не было уже несколько недель.

Огль и Браун уже добрались до своего нового забоя и нашли глыбу подсеченного угля, оставленного Джеком и Ча. Они принялись за работу, просверлили двухъярдовые скважины на поверхности этой глыбы и такой же глубины скважину направо от выступа. В три четверти пятого пришел десятник Диннинг. Он зарядил и запалил эти шпурьы. Восемь вагонеток угля было собрано после взрыва.

Диннинг видел, что все сделано как следует и поверхность забоя выровнялась.

— Ну что же, ребята, — сказал он, кивком головы выражая свое удовлетворение, — все в полном порядке, черт возьми! — и пошел обратно в свою кабину наверху.

Но десять минут спустя за ним пришел откатчик Том Риди. Он сказал торопливо:

— Огль просит вас прийти вниз. Он говорит, что из взрывных скважин хлынула вода.

Десятник на миг призадумался.

— Черт! — выругался он.

Том Риди и Диннинг спустились к забою. Диннинг внимательно осмотрел поверхность. Он увидел, что посреди забоя, между двумя взрывными скважинами, сочится тонкая струйка воды. Напора не было заметно. Он понюхал воду: она имела скверный

запах — запах углекислоты, показывавший, что где-то близко скопился рудничный газ. Диннингу было ясно, что это не чистая рудничная вода. Все это ему очень не понравилось.

— Черт возьми, ребята, попали мы в переделку! — сказал он растерянно. — Надо попробовать избавиться от воды.

Огль, Браун и Том Риди принялись крепить стену водонепроницаемой металлической крепью, пытались поубавить напор воды, выпуская ее через закладку¹ на низкой стороне штрека, по которому спускали уголь. В это время пришел Джорди Диннинг, сын десятника, работавший в Скаппер-Флетс с Томом Риди в качестве откатчика вагонеток.

— А, Джорди, сынок! — приветствовал его отец.

Диннинг всегда чертыхался, сам не замечая этого, просто по привычке, безобидно. Но — странное дело! — никогда он не чертыхался при сыне.

Он ушел и увел сына с собой наверх. Торопясь в свою кабину, он подумал о телефоне, но телефон находился довольно далеко, и было так рано, что Гудспет, вероятно, еще не пришел к устью шахты. К тому же Диннинг вообще соображал не особенно быстро. Придя в кабинку, он достал огрызок химического карандаша и, усердно слякня его время от времени языком, написал две записки такого содержания:

«М-ру В. Гудспету, помощнику смотрителя.

Дорогой сэр, вода проникла в ветку Скаппер № 6, в шахте она выше сапог и все прибывает, и на откаточном пути ее больше, чем могут выкачать насосы. Вам бы следовало спуститься сюда и посмотреть самому. Я буду в кабинке на канатной дороге „Парадиза“ или в „Миксене“ у столба номер два.

Р. S. Очень сильно опасаюсь, что шахту затопит. Ваш X. Диннинг».

Во второй записке Диннинг написал следующее:

«Вода хлынула в ветку Скаппер № 6. Франк, предупредите на всякий случай других рабочих. Ваш X. Диннинг».

Потом он повернулся к сыну.

Диннинг был человек медлительный, тугодум, у него и мысли и язык ворочались с трудом. Но сейчас он заговорил с непривычной для него быстротой:

¹ *Закладка* — предохранительная стенка, выложенная из пустой породы.

— Джорди, беги к Франку Логану, надсмотрщику, и отдай ему эту записку. Потом поднимись наверх и отнеси вот эту домой к помощнику смотрителя. Скорее, Джорди, скорее беги, мальчик!

Джорди ушел с обеими записками. Он шел быстро. Придя к месту подъема, он поискал глазами стволового¹, но того нигде не было видно. В это время Джорди услышал глухой удар, и струя воздуха изменила направление. Джорди понимал, что это означает катастрофу в Скаппер-Флетс, понимал, что нужно поскорее выбраться наверх из шахты, но помнил и то, что наказывал ему отец. И, не зная, что делать, он потерял голову и бросился по штреку вглубь «Парадиза».

Навстречу мальчику, шагавшему посреди дороги в «Парадиз», вдруг вынырнули из темноты четыре сцепленные между собой, нагруженные углем вагонетки, которые мчались, никем не управляемые, видимо на ходу оторвавшись от поезда. Джорди закричал. Он отскочил, но опоздал на полсекунды. Вагонетки налетели, сшибли его с ног, стремительно проволокли на двадцать ярдов дальше, швырнули вперед, прошли по его телу и оставили это разможенное тело на дороге. Поезд прогремывал дальше.

После того как сын ушел, Диннинг стоял несколько минут, довольный, что принял необходимые меры. Вдруг он услышал продолжительный гул, — это был тот же звук, который слышал его сын, но так как он был ближе, то ему он показался грохотом. Диннинг застыл на месте с открытым ртом, словно окаменел. Он ожидал беды в шахте, но не такой внезапной, не такой страшной. Он понимал, что это прорвалась вода. Инстинктивно он направился к забоям, но не прошел и десяти ярдов, как вода хлынула ему навстречу. Она неслась громадой, достигая кровли, со все нарастающим гулом. Она несла трупы Огля, Брауна и десятка других шахтеров. Поток рудничного газа, двигавшийся впереди этой водяной лавины, потушил лампу Диннинга. За те две секунды, пока он стоял среди гудящего мрака, ожидая приближения воды, Диннинг успел подумать: «Черт возьми, какое счастье, что я услал Джорди из шахты!» (А Джорди в это время был уже трупом.) Затем вода настигла Диннинга. Он боролся, пытался выплыть — тщетно! Он стал четырнадцатым по счету трупом, плававшим на затопленной дороге в Скаппер-Флетс.

¹ *Стволовой* находится у ствола шахты, ведает разгрузкой и нагрузкой клетки и дает сигналы поднимать клетку наверх.

Франк Логан, заведующий вентиляцией в «Парадизе», не получил записки Диннинга, — записка, покрытая кровью, лежала во мраке шахты, зажата в уже оочевневшей руке Джорди. Но Франк тоже услышал глухой шум и через мгновение почувствовал, что стоит по колено в воде, которая льется по скату. Тогда ему без записки стало ясно, что это прорыв. По соседству с ним работало пятнадцать человек. Двоим Франк приказал поскорее пробраться вентиляционным ходом и предупредить всех рабочих в нижних выемках «Парадиза». Остальным тринадцати Франк посоветовал пробираться к стволу шахты, до которого было около мили. Сам же остался на месте. Он знал, что выработки Скаппер-Флетс лежат ниже всех выработок «Парадиза», знал, что они первыми будут затоплены. И, зная это, направился вниз, чтобы предупредить работавших там восемнадцать человек. Но эти люди утонули раньше, чем он двинулся в путь. И Франка Логана тоже никто больше не видел живым.

Тринадцать шахтеров, пробравшихся наверх, к выходу, те, кого направил туда Франк, дошли до штрека «Атлас». Здесь они остановились и стали торопливо совещаться. «Атлас» соединял «Парадиз» с «Глобом» (так назывался вышележащий пласт). Они решили, что в верхнем пласте опасность затопления меньше и безопаснее будет добраться до главного ствола шахты через «Глоб». Здесь они набрали на нескольких каменщиков, работавших на главном откаточном пути и не подозревавших о прорыве воды до тех пор, пока не заметили, что струя воздуха изменила направление. Каменщики заговорили все вместе, потом с минуту прислушивались молча, встревоженные, не зная, оставаться ли им на месте или подниматься наверх. Теперь они решили присоединиться к тринадцати пришедшим из «Атласа», и все вместе двинулись по откаточному пути «Глоба».

Три минуты спустя вода хлынула в главный штрек «Парадиза», затопила «Атлас» и главный откаточный путь «Глоба». Люди услышали шум воды и пустились бежать. Дорога была хорошая, крепко укатанная, туннель просторен и высок, а все спасавшиеся молоды и могли бежать очень быстро. Некоторые из них никогда еще в своей жизни не мчались так быстро.

Но вода мчалась еще быстрее, чем они. Неслась с быстротой просто ужасающей, гналась за ними с жестокостью зверя, затопляла все со стремительностью и неотвратимостью морских волн

в час прилива. Еще минуту назад в «Глобе» не было воды, а в следующую минуту она смыла людей.

Вода неслась все дальше, достигла стволовой шахты и страшной лавиной залила ее. Здесь встретились два потока: один низвергался водопадом из «Глоба», другой бил снизу, со дна «Парадиза». Этот водоворот закружил всех людей, которым удалось добраться сюда со дна шахты, и быстро поглотил их. Затем вода начала бурлить вокруг стойл, заливая их все выше и выше.

В стойлах находились все четыре еще уцелевших пони — Негр, Китти, Вояка и Огонек, и все они испуганно ржали. Вояка лягал копытами воду и как бешеный метался по стойлу; он чуть не сломал себе шею, раньше чем захлебнулся. Остальные стояли не двигаясь и только жалобно ржали, пока вода не покрыла их. К этому времени она поднялась в две главные шахты, отрезав и «Глоб» и «Парадиз» и совершенно закрыв доступ к выработкам сверху, с поверхности земли.

Во внезапности этой катастрофы было что-то совершенно невероятное и фатальное. Прошло не больше четверти часа с момента обвала и прорыва воды — и уже восемьдесят девять человек погибло: одни утонули, другие были убиты или задохнулись от рудничного газа.

Но Роберт и его товарищи были еще живы. Они находились в дальних забоях, у вершины наклонной просеки, и вода прошла стороной, далеко от них.

Роберт первый услышал гул, а через пятьдесят секунд почувствовал перемену в направлении воздуха. Он понял, что случилось. Про себя подумал: «Боже, вот оно!» Рядом с ним, в переднем забое, Боксер Лиминг медленно поднялся с колен.

— Ты слышал, Роберт? — спросил он растерянно, инстинктивно ища поддержки у Роберта.

Роберт сказал торопливо:

— Задержи всех тут, покуда я не вернусь. *Всех!*

Он выскочил из забоя и побежал вниз по скату, к канатной дороге Скаппер-Флетс. Он бежал по этой дороге, оглушенный шумом воды, уже заливавшей ее. Вода плескалась вокруг него все выше и выше, покрывая сапоги, колени, наконец бедра. Роберт знал, что находится где-то близ «Купола» — понижения пласта, тянувшегося на север и на юг и пересекавшего канатную дорогу. Вдруг он потерял равновесие и полетел вниз, прямо в «Купол».

Вода поднимала его, пока голова его не ударилась о базальтовую кровлю. Он уцепился за камень руками, работая ногами в воде, пытаясь выбраться обратно на дорогу. Ему это удалось, и он остановился в мелком месте, дрожа от холода. Теперь было совершенно ясно, что произошло. Вода покрыла «Купол»; на протяжении пятидесяти ярдов она стеной отрезала воздушно-канатную дорогу. Все запасные пути там, где они пересекали «Купол», залиты до кровли.

Вода была холодна. Роберт начал кашлять. С минуту он стоял и кашлял, потом повернулся и продолжал путь вверх по скату. По дороге он наткнулся на маленького Пата Рида. Пат был сильно испуган.

— Что такое случилось, дядя Роберт? — спросил он.

— Ничего, Пат, не бойся, — отвечал Роберт. — Пойдем со мной.

Роберт и Пат дошли до вершины просеки, где нашли остальных, столпившихся вокруг Лиминга. Здесь было десять человек, и среди них — Гюи, Гарри Брэйс, Том Риди, Нед Софтли, Сви Мессюэр и Скорбящий. Все ждали Роберта. Они не знали, что во всем «Нептуне» остались в живых только они одни.

— Ну что, Роберт? — крикнул Боксер, когда тот подошел. Он напряженно смотрел ему в лицо.

— А вот что. — Роберт сделал паузу, стараясь говорить так, чтобы все показалось нормальным и вполне благополучным. Он отжимал воду из своей куртки. — Внизу делали вруб и впустили немножко воды в «Купол». Но мы находимся достаточно высоко и беспокоиться нам нечего. Надо искать другой выход из шахты.

Молчание. Все поняли достаточно, чтобы стать молчаливыми. Только Том Риди спросил:

— Значит, через «Купол» нам не пробраться?

Лиминг свирепо напустился на него:

— Заткни пасть, безмозглый осел, пока тебя не попросят открыть ее.

Роберт продолжал, словно ничего не случилось:

— Так мы вот что сделаем, ребята. Пойдем по обратным вентиляционным штрекам в «Глоб», а оттуда выберемся к подъемной шахте.

Наказав Пату Риди держаться как можно ближе к нему, Роберт пошел вперед к вентиляционному ходу, ведя за собой остальных.

ных. Шли все, кроме Тома Риди. Том был превосходный пловец. Он знал, что отлично плавает и под водой и в воде, и был уверен, что сумеет переплыть «Купол». А переплыв «Купол», легко выбраться наверх, вызвать помощь, — и тогда он покажет Лимингу, осел он или нет. Том отстал и подождал, пока все ушли. Тогда он побежал вниз по просеке, сбросил сапоги, набрал воздух в легкие и бросился в «Купол». Он переплыл «Купол» единым духом. Но Том не предвидел, что за «Куполом» водой залито еще пространство в полторы мили, и по ту сторону «Купола» он попал в главный поток. Том действительно выбрался наверх: пять минут спустя его труп кружился в колодце у рудничного двора.

Роберт же медленно карабкался вперед, ведя за собой товарищей по вентиляционному ходу. Он знал, что они уже где-то вблизи «Глоба». Но вдруг лампа его погасла, словно кто-то тихо дунул на нее, и в тот же миг подле него Пат Риди, задохнувшись, опустился на землю. На этот раз не вода — рудничный газ.

— Назад! — крикнул Роберт. — Назад все!

Все отступили назад на сорок ярдов и здесь привели в чувство Пата Риди. Роберт, следя, как Пат приходил в себя, усиленно размышлял. В глухом забое «Глоба» должны быть люди... Наконец он сказал:

— Кто хочет снова попробовать пробраться со мной в «Глоб»?

Никто не отвечал. Все знали, что такое углекислый газ, и только что видели его действие. Нелегко было при таких условиях проникнуть в «Глоб». Гюи сказал:

— Не ходи, папа, там рудничный газ.

Скорбящий, до того не говоривший ни слова, теперь объявил:

— Я иду.

Он понимал, что Роберт хочет спасти тех, которые, может быть, застряли в «Глобе», одурманенные рудничным газом, но еще живые. Скорбящий храбростью не отличался, но он считал, что долг велит ему идти с Робертом.

Роберт и Скорбящий поползли снова вентиляционным ходом в «Глоб». Они сняли куртки и обернули ими головы, хотя это было просто традицией и мало спасало от газа. Они ползли на животе. Скорбящий сильно трусил, по временам нервно, судорожно вздрагивал, но держался стойко, молясь про себя.

В рудничном газе (шахтеры называли его «черный газ») было очень много окиси углерода. Вода гнала сюда этот газ из старых,

заброшенных выработок, и казалось, что он поднимается вверх и рассеивается. Он был уже несколько выше, когда Роберт и его спутник добрались до «Глоба». Их тошнило и клонило ко сну, но они все же чувствовали, что еще могут идти дальше. Раньше чем уйти, они пережили тяжелые минуты: нашли четырех человек, задохнувшихся от газа. Эти люди сидели группой, словно глядя друг на друга, в совершенно естественных, непринужденных позах. У них был прекрасный вид: газ окрасил в красивый розовый цвет их лица и руки, еще почти не успевшие загрязниться, так как они только что заступили смену. Эти люди казались здоровыми и веселыми. Но все они были мертвы.

Роберт и Скорбящий вытащили их — ведь за тем они и пошли в «Глоб» — и принесли их туда, где ждали товарищи. Но все усилия не могли вернуть к жизни этих четырех людей. При виде мертвецов Пат Риди, никогда еще не глядевший в лицо смерти, разразился рыданиями.

— Помогите, — всхлипывал он, — помогите! Боже, зачем я сюда пошел? Где мой брат Том?

Скорбящий сказал:

— Не плачь, мальчик, Господь нас не оставит! — И в тоне, которым он произнес эти слова, было что-то необычайно внушительное.

Наступило молчание. Роберт стоял в раздумье. Лицо у него было озабоченное. Если в «Глобе» газ, значит там вода. В этот верхний пласт газ мог проникнуть только в том случае, если вода пробилла перегородки. Люди, которых они нашли, очевидно, сначала были пойманы водой в западню, а затем уж задохнулись от газа. Роберт пришел к заключению, что «Глоб» тоже отрезан и спастись этим путем невозможно. Затем он вспомнил о телефоне в дальнем конце Скаппер-Флетс.

— Нам в «Глоб» не попасть, ребята, — сказал он. — Там и газ и вода. Мы проберемся обратно в Скаппер и телефонируем наверх.

При упоминании о телефоне лица у всех просветлели.

— Клянусь богом, Роберт... — восторженно начал Лиминг.

Мысль о телефоне усладила горечь обратного путешествия по вентиляционному штреку. Они не думали о том, что придется возвращаться, не помнили о том, что они в ловушке, — они думали только о телефоне.

Но, когда пришли в Скаппер-Флетс, лицо Роберта выразило еще бóльшую тревогу. Он увидел, что уровень воды в забоях уже выше, чем раньше, и быстро поднимается. Это могло означать лишь одно: вода смыла деревянные крепи. Ничем не поддерживаемая теперь, кровля за «Куполом» обрушилась и закрыла воде выход вниз по главному штреку. Теперь вода идет обратно на них. Так как все пути отрезаны, то у них остается, пожалуй, не более четверти часа на то, чтобы выбраться как-нибудь из тупика, который представлял собой этот глухой забой Скаппер-Флетс.

— Подождите здесь, — сказал Роберт, а сам пошел к телефону. Он порывисто завертел ручку, снял трубку. Он был очень бледен. «Ну, если...» — подумал он.

— Алло! Алло! — Его голос, голос человека, еще живого в своей темной могиле, вырвался из этой могилы, понесся с отчаянной надеждой по проводам, уже наполовину погруженным в воду, на поверхность земли, до которой было две мили.

И сразу же оттуда донесся ответ:

— Алло, алло!

Роберт чуть не лишился чувств. Это говорил Баррас из своей конторы, все время повторяя:

— Алло, алло, алло...

Роберт отозвался с лихорадочной быстротой:

— Говорит Фенвик из Скаппер-Флетс. Вода хлынула за «Купол» и все затопила. Там обвал. Кроме меня, здесь еще девять человек. Мы отрезаны. Что нам делать?

Ответ донесся тотчас же, твердый и четкий:

— Поднимитесь в «Глоб» вентиляционным ходом.

— Мы уже пробовали...

— И что же?

— В «Глобе» полным-полно рудничного газа и воды.

Молчание. Тридцать секунд мучительного молчания, которые кажутся тридцатью годами. Затем Роберт слышит стук двери: должно быть, Баррас, сидя за своим столом, захлопнул ее ногой. Так странно слышать этот звук захлопнувшейся двери в конторе, далеко, на земле.

— Слушайте, Фенвик, — заговорил Баррас, на этот раз торопливо, но каждое слово падало как резкий, твердый удар. — Вам следует направиться через старую шахту Скаппер. Иным путем вам не пройти, обе шахты залиты водой. Вы должны идти через старые выемки к старой шахте Скаппер!

«Старая шахта... Боже милосердный, что он говорит!..»

— Идите прямо вверх по скату, — продолжал Баррас с той же неумолимой четкостью. — Пробреритесь через перемычку крепи в верхнем восточном участке, над плотиной. Вы попадете в верхний этаж отвала старого «Нептуна». Не бойтесь воды, она только в нижних этажах. Идите прямо по дороге — это главный штрек, не сворачивайте на боковые и на откос справа. Держитесь направления на восток, пока не пройдете около мили, — и попадете прямо в старую шахту Скаппер.

«Господи Иисусе! Так он знает расположение старых выработок! — подумал Роберт. — Он знает, знает... — Пот выступил на лбу Роберта. — О господи, так он знал всегда!..»

— Вы меня слышите? — донесся слабо, издалека вопрос Барраса. — Спасательный отряд встретит вас там. Слышите вы меня?

— Слышу! — закричал Роберт.

Затем налетевшим шквалом сорвало провода, и телефонная трубка, мертвая теперь, осталась у него в руках. Он уронил ее, и она закачалась на шнурке.

«...Иисусе!» — снова подумал он, ослабев от ужасного волнения.

— Скорее, папа! — подбегая, кричал как безумный Гюи. — Скорее, скорее, папа! Вода идет на нас!

Роберт обернулся и зашлепал по воде к остальным. «Боже!» — все твердил он мысленно. А подойдя, закричал:

— Мы идем к старым выработкам, ребята! Ничего другого не остается.

Он повел их вверх по откосу, к тупику, куда никто никогда и не пытался добраться. И там действительно оказалась старая перемычка в крепи, не столько плотина, сколько простая перемычка — ряд досок-трехдюймовок, поставленных стоймя, с промежутками в восемнадцать дюймов, заполненными глиной. Лиминг в два счета проложил дорогу через это сооружение, и беглецы вступили в отвал старых выработок «Нептуна».

Там было холодно и пахло как-то странно. Это был не запах рудничного газа, хотя он и тут имелся, а запах заброшенных копей. Здесь не работали вот уже семьдесят лет.

Следуя за Робертом, все с пробудившейся надеждой устремились вперед. Здесь было сухо, они ушли от воды! О, благодарение небу, они всю ее оставили позади! У шести человек лампы

еще горели, а у Гарри Брэйса в кармане нашлись три свечи. Можно было освещать себе дорогу.

Затруднений не было никаких: перед ними тянулась только одна дорога — главный штрек, и она шла прямо на восток.

С четверть мили они прошли по этой заброшенной дороге. Затем пришлось остановиться: впереди была обрушена кровля.

— Ничего, ребята! — крикнул Лиминг. — Это только мелкие камни. Мы живо проберемся.

Он сбросил куртку и, покрепче затянув свой кожаный пояс, первым двинулся в атаку на преградивший им путь обвал.

У них не было с собой никаких инструментов, все их инструменты, сумки с провизией и фляжки с водой лежали под водой, в миле отсюда. И люди принялись действовать голыми руками, очищая путь, выдирая расшатанные камни. Работали парами. Лиминг же работал за двоих. Никто из них не знал, сколько времени это длилось, они работали с таким остервенением, что забыли о времени, об израненных до крови руках. Так они работали в течение семи часов подряд и перебрались через пятнадцать ярдов обрушившейся породы. Первым выкарабкался на дорогу Лиминг.

— Ура! — завопил он, таща за собой Пата Риди.

Вслед за ними перебрались и остальные, говоря все разом, смеясь, торжествуя. Вот счастье, что они уже по ту сторону обвала! От радости они смеялись как дети. Но, пройдя еще пятьдесят ярдов, они перестали смеяться: снова обвал, и на этот раз не щебень, а камень, твердый, сплошной базальт, поддающийся разве только алмазному буру. А у них — ничего, кроме рук. Путь только один — и этот единственный путь загражден. Сплошной базальт, массивный, твердый, как скала. И голые, израненные до крови руки. Наступило молчание. Долгое, леденящее молчание.

— Ну что ж, ребята, — сказал Роберт с деланой веселостью, — не так уж далеко мы от старой шахты. За нами придут. Придется ждать здесь. Рано или поздно до нас непременно доберутся. Ничего не остается, как сесть на корточки и стучать. И не падать духом.

Все сели. Гарри Брэйс, прикорнувший у самой стены, подобрал тяжелый кусок базальта и начал колотить им о поверхность камня, выбивая что-то вроде барабанной дроби. Он рассчитывал, что спасающие услышат стук. Время от времени он испус-

кал долгий и громкий крик. Так они сидели и ждали глубоко под землей, в заброшенном отвале, на расстоянии четверти мили от старой шахты. Стучали, кричали — и ждали.

XXIII

В это утро, часов около шести, Ричарда Барраса разбудил легкий стук в дверь его спальни. Стук продолжался уже некоторое время. Баррас крикнул:

— Кто там?

Из-за двери донесся голос тетушки Кэрри, робкий и испуганный:

— Я не стала бы вас беспокоить, Ричард, но пришел помощник смотрителя с «Нептуна». Он *непрерывно* хочет вас видеть.

У тети Кэрри не хватало духу повторить то, что прямо, без обиняков, сказал Гудспет. Пускай он сам сообщит Ричарду жуткую весть.

Ричард оделся и сошел вниз; он обычно вставал почти в этот час.

— Доброе утро, Гудспет. — Ему бросилось в глаза, что Гудспет полуодет и страшно взволнован. Видно было, что он бежал всю дорогу.

И Гудспет тотчас же выпалил:

— Мистер Баррас, в обеих главных шахтах вода залила все этажи. Клеть нельзя спустить ниже пласта «Файв-Квотерс».

Жуткая пауза.

— Так. — Это было сказано машинально, со спокойствием автота.

— Вся первая смена находится в «Глобе» и «Парадизе». — Обычно спокойный, голос Гудспета теперь дрожал. — Мы не можем до них добраться. Ни один не поднялся наверх.

Баррас внимательно наблюдал Гудспета.

— Сколько человек в смене? — спросил он все с той же механической четкостью.

— Человек сто взрослых и мальчиков... точно не знаю, но около того. Меня только пять минут тому назад подняли с постели, за мной прибежал один из ламповщиков, я его послал к мистеру Армстронгу, а сам — как можно скорее сюда!

Ричард не медлил дольше. Шесть минут спустя они были уже во дворе конторы. Ламповщик Джимми, старший рабочий-рукоятчик, его помощник и табельщик Козенс стояли тесной кучкой, молчаливые, испуганные.

Когда подъехал Баррас, старший рабочий сказал:

— Мистер Армстронг только что пришел, сэр. Он наверху, у подъемника.

Баррас сказал Гудспету:

— Сходите за ним.

Гудспет побежал по лестнице наверх, в помещение подъемника. А Баррас тем временем вошел в контору, где круглые часы на стене над камином показывали четверть седьмого. В ту минуту, когда он вошел в пустую контору, зазвонил телефон из шахты. Он тотчас схватил трубку и сказал своим обычным, сухим и невыразительным, голосом:

— Алло, алло.

Ему ответил голос Роберта Фенвика из Скаппер-Флетс. То был зов людей, погребенных под землей. И когда разговор прервался, Баррас ощупью, как слепой, повесил трубку на место, но затем овладел собой, снова выпятил грудь. Через минуту вошли Армстронг и Гудспет.

— Ну, мистер Армстронг, — начал сразу Баррас властным тоном, — расскажите все, что знаете.

Армстронг заговорил медленно и с усилием. Он говорил минуты две, и все это время его не покидала мысль: «Если плохо кончится, то и службе моей конец». Щека под одним глазом у него задергалась, и, чтобы скрыть это, он заслонил рукой лицо.

— Так, — сказал Баррас, и потом отрывисто: — Позвоните мистеру Дженнингсу.

— Я послал за ним Сола Пикингса, мистер Баррас, — потопился ответить Армстронг. — Это было первое, что я сделал. Ждем его с минуты на минуту.

— Вот это вы хорошо сделали, — сказал Баррас с довольным выражением. Он в совершенстве владел собой, и под влиянием его спокойно-авторитетного тона Армстронг и Гудспет приободрились. В особенности первый.

Баррас продолжал:

— Пойдите к телефону, мистер Армстронг. Сейчас же. Позвоните Ригтеру и Хедстоку в Тайнкасл, братьям Гендерсон в Ситон,

позвоните в Объединенную компанию угольных копей и фирме «Хортон», а главное — мистру Проберту и от моего имени сообщите им о положении на «Нептуне». Просите помощи. Скажите, что нам нужны все виды помощи. Нам понадобятся копры, насосы, все электрическое оборудование, какое они могут нам дать. Просите в Тайнкасле главным образом паровые лебедки. Пусть Объединенная компания пошлет нам спасательный отряд, всех свободных людей, какие у нее имеются. Скорее, пожалуйста, мистер Армстронг.

Армстронг побежал к телефону, в свою контору. Баррас обратился к Гудспету:

— Возьмите десять человек и идите в старую шахту Скаппер. Осмотрите все. Как можно скорее и тщательнее. Выясните, насколько возможно, состояние этой шахты. Потом бегите обратно сюда.

Когда Гудспет вышел, появился мистер Дженнингс. Инспектор копей был плотный, краснолицый и веселый мужчина с решительными манерами. Все знали, что «Дженнингс не потерпит никаких глупостей»; не отличаясь напористостью, он добивался всего благодаря сильному характеру. Немного бесшабашный и бесцеремонный, он, однако, пользовался всеобщим уважением и любовью. В последние дни Дженнингс страдал от большого фурункула на затылке.

— Ой! — сказал он, плюхнувшись в кресло. — Чертовски болит эта штука! Что такое случилось?

Баррас объяснил ему.

Дженнингс сразу забыл о своем фурункуле. На лице его выразился ужас.

— Не может быть, — сказал он в полном смятении.

Помолчав, Баррас официальным тоном предложил:

— Не осмотрите ли площадку?

Дженнингс, только что усевшийся в кресло, тотчас же поднялся и сказал:

— Да, пойду наверх, взгляну.

Баррас пошел вперед. Оба осмотрели площадку у устья шахты. Насосы уже совсем вышли из строя, а вода в обеих шахтах поднялась еще на шесть футов.

Дженнингс расспросил механика подъемной машины. Оба они с Баррасом возвратились обратно в контору. Дженнингс сказал:

— Вам понадобятся добавочные насосы для этих шахт, мистер Баррас. И очень скоро. Но уровень воды так высок, что вряд ли это много поможет...

Баррас выслушал его с подчеркнутой вежливостью. Он дал Дженнингсу высказаться, не сделав ни одного замечания. Когда же Дженнингс кончил, он, словно не слышав всего, сказанного инспектором, объявил безапелляционным тоном:

— Чтобы выкачать воду из главных шахт, понадобится не один день. Надо пройти туда со стороны старой шахты Скаппер, авось удастся пробраться по откаточному штреку. Воды много, это несомненно. Гудспет сейчас вернется из старой шахты. И, как только будет возможно, мы должны спуститься туда.

Дженнингс, видимо, несколько растерялся. Он чувствовал, что столкнулся с волей сильнее его собственной, которая подчиняла его, подавляла. А тут еще мучительно болел затылок. Что ж, Баррас самым ясным образом изложил положение дел, и его план спасения — единственный разумный выход. На грубоватом лице Дженнингса выразилось невольное одобрение.

— Значит, вот как вы хотите действовать, — заметил он. Затем прибавил: — Но как же вы обойдетесь без плана старых выработок?

— Должны обойтись, — возразил Баррас с неожиданной силой.

— Ну-ну, — примирительно сказал Дженнингс, — попытаться, конечно, можно. — Он вздохнул. — Да, был бы у нас план, не случилось бы сейчас всей этой проклятой передраги. Господи, какими идиотами были люди в старые времена! — Он поморщился от боли в затылке: — Черт бы побрал проклятый фурункул! Я стал пить дрожжи, но не вижу, чтобы это сколько-нибудь помогло.

Пока Дженнингс возился со своей перевязкой, вернулся Гудспет.

— Я как следует все осмотрел, мистер Баррас, — доложил он. — Ничего хорошего насчет этой старой шахты не могу сказать. Она завалена пустой породой, хотя и не так уж сильно. Но там не одни обвалы, там и газ тоже, скверный черный газ. Мы спустили туда человека лебедкой, и он вернулся обратно еле живой. Впрочем, я думаю, за сутки можно очистить шахту от закладки и газа.

— Благодарю вас, Гудспет. Мы пойдем в шахту сейчас же.

Сомнений быть не могло: Баррас намеревался сам руководить спасением рабочих. Было что-то надменное в спокойном и решительном тоне его распоряжений, он подчинял себе людей без всякого усилия, подавлял панику, действовал, как самодержавный властитель.

Когда они вчетвером выходили из конторы, к ним навстречу бежал через двор молодой врач Льюис, работавший теперь вместе с доктором Скоттом. Он сказал:

— Я только что узнал... возвращаясь от роженицы... Не могу ли я чем-нибудь помочь здесь? — Он выжидательно замолчал, уже мысленно представляя себе, какие героические подвиги совершит в глубине шахты.

Доктор Льюис был розовощек и юношески пылок, энтузиазм так и бурлил в нем. В Слискейле его за глаза называли всегда «молодой доктор Льюис». Дженнингс посмотрел на него так, словно ему хотелось дать «молодому Льюису» хорошего пинка в его молодой зад, и отвернулся.

Баррас же сказал благосклонно:

— Очень вам признателен, доктор Льюис. Нам, может быть, понадобятся ваши услуги. Ступайте в контору, там Сол Пикингс напоит вас горячим какао. Вы нам можете понадобиться позднее.

Доктор Льюис, обрадованный, суетливо побежал в контору. А Баррас, Дженнингс, Армстронг и Гудспет направились к старой шахте. Только что начинало светать. Было холодно. С невидимого неба тихо падали редкие, легкие, словно трепетавшие в воздухе, хлопья снега. К четверем мужчинам присоединилась партия в двадцать пять человек. Молча шли они через взрытый пустырь. Снег постепенно окутывал их пеленой и скрывал от глаз. То был первый спасательный отряд.

Новость начала уже распространяться по городу. На Террасах распахивалась одна дверь за другой, мужчины и женщины выбегали из домов и мчались вниз по Каупен-стрит. По дороге к бежавшим присоединялись другие. Они бежали, словно гонимые какой-то посторонней силой, словно копи вдруг стали магнитом, притягивавшим их помимо воли. Они бежали, потому что не могли оставаться дома. И все бежали молча.

Марта узнала о несчастье от миссис Брэйс. В первую минуту она подумала скорее с благодарностью, чем с испугом: «Слава богу, моего Сэмми там нет». Прижимая к груди руки, она разбудила Сэма, затем накинула на плечи пальто и вместе с Сэмом по-

бежала к шахте. Рядом бежал и старый Ганс Мессюэр. Ганс брил какого-то раннего посетителя, когда услышал о случившемся. И теперь он бежал, держа в левой руке намыленную кисточку. Дэвида новость застигла по дороге в город. Он сразу повернул велосипед к шахте. Жена Боксера Лиминга узнала о случившемся, еще лежа в постели, а Ча, сын его, — когда выходил с черного хода из трактира «Привет». Сюзен, жена Скорбящего, — во время утренней молитвы. Миссис Риди, повитуха, — у постели роженицы, где она помогала доктору Льюису. Джек Риди, ее старший сын, в это время направлялся в трактир подкрепиться стаканчиком. Вместе с Ча Лимингом он тотчас побежал к шахте. Матери Неда Софтли сказали уже около прачечной. Старый Том Огль услышал новость в уборной и побежал, застегивая по дороге штаны.

Не прошло и нескольких минут, как во двор перед шахтой набилось человек пятьсот мужчин и женщин, а снаружи за воротами толпилось еще больше. Они стояли молча, женщины почти все в платках, мужчины без пальто, резко чернея на белом снегу. Стояли, подобно громадному хору, выстроившемуся в тишине под темным от снежных туч небом. Они не были действующими лицами в разыгрывавшейся трагедии, но это не умаляло их участия в ней. Они стояли в молчании — молчании смерти — под этим бессмертным, немым, хмурым небом.

Было уже десять часов, и падал сильный снег, когда Баррас, Дженнингс и Армстронг, пройдя через «Снук», вошли во двор перед шахтой. Армстронг посмотрел на толпу и сказал:

— Не приказать ли запереть ворота?

— Нет! — возразил Баррас, всматриваясь в людей своими холодными близорукими глазами. — Велите развести костер. Большой костер посреди двора. Им холодно стоять здесь.

Зажгли костер. Чарли Гоулен, Джейк Уикс и рукоятчики притащили кучу досок и другого строевого леса, чтобы поддержать огонь. Как раз к тому времени, когда он разгорелся, явилась первая партия волонтеров из Ситонских копей. Они пошли прямо к старой шахте. Потом приехали из Тайнкасла ремонтные рабочие и прибыли три вагона с оборудованием. Армстронг дежурил у телефона. Баррас и Дженнингс пошли обратно к старой шахте. Из-за рудничного газа невозможно было спуститься туда, но они рассчитывали, что газ скоро выкачают. Уже начали устанавливать копер, лебедку и вентилятор.

В одиннадцать часов приехал Артур Баррас. Он провел субботу и воскресенье в гостях у Тоддов в Тайнкасле и в это утро приехал домой поездом, прибывавшим в Слискейл в три четверти одиннадцатого.

Взволнованный, запыхавшийся, ворвался он в контору:

— Папа, какой ужас!

Баррас медленно обернулся:

— Да, это страшное несчастье.

— Чем я могу быть полезен? Я готов делать что угодно. Надо же было такому случиться, папа!

Баррас мрачно поглядел на сына, махнул рукой и сказал:

— Божья воля, Артур.

Артур ответил взглядом, полным смятения.

— Божья воля... — повторил он каким-то странным тоном. — Что это значит?

Но в эту минуту торопливо вошел Армстронг:

— Объединенная компания дает два насоса. Их сейчас нам отправляют. От Хортоня пришлют новый турбинный. Мистер Проберт сказал, что готов сделать все, что может.

— Благодарю вас, мистер Армстронг, — сказал Баррас механически.

Напряженное молчание длилось, пока не вошел, прихрамывая, старый Пикингс с тремя большими чашками какао. Старому Солу перевалило уже за семьдесят, но, несмотря на деревянную ногу, он был еще очень проворен. Он ковылял по территории рудника, выполняя разную работу наверху, и отлично умел варить какао.

Артур и Армстронг взяли по чашке. Баррас отказался. Артур и Армстронг стали уговаривать его выпить какао, говоря, что это его подкрепит, а Армстронг добавил, что немислимо работать на тощак. Баррас все отказывался. Он казался несколько возбужденным.

— Молодой Льюис спрашивает, нужен ли он вам еще, — сказал Сол Пикингс.

Молодой доктор выпил уже четыре чашки какао, они немного разбавили его героизм, и он был вынужден деликатно осведомиться, где уборная.

Баррас посмотрел на Армстронга:

— Было бы хорошо, если бы врачи нашего города по очереди дежурили здесь ближайшие несколько дней.

— Прекрасная мысль, мистер Баррас! — воскликнул Армстронг. Он поспешно вышел, чтобы переговорить об этом по телефону.

— Папа, — начал Артур с чувством, похожим на отчаяние. — Как это случилось? Я хочу знать.

— Не сейчас, — остановил его Баррас. — Не сейчас.

Артур отвернулся к окну и прижался лбом к холодному стеклу, покрытому морозным узором. Тон отца на минуту заставил его замолчать.

Вошел, запыхавшись, старший брандмейстер Эбенезер Кемау. Он надел форму, украшенную множеством ярко-красных шнуров и восемью внушительными медными пуговицами, которые миссис Кемау всегда начищала до блеска. Мистер Кемау был низенький лысый человек, круглый как шар. Он питал слабость к мундиру; начал свою карьеру рано, с картонной каски в бригаде мальчишек, а теперь состоял одновременно и старшим пожарным и капельмейстером в Слискейле. Он играл на четырех музыкальных инструментах, в том числе на треугольнике, и регулярно получал призы на областной выставке за выращиваемый им душистый горошек. За последние пять лет он потушил единственный небольшой пожар на заброшенном пивоваренном заводе.

— Я к вашим услугам, мистер Баррас, — объявил он. — Люди мои здесь, во дворе. Они выстроены в полном порядке. Все окончили курсы первой помощи. Ждем ваших распоряжений, сэр.

Баррас поблагодарил брандмейстера. Сол Пикингс поднес ему не выпитую Баррасом чашку какао, и мистер Кемау удалился. У него был столь важный и официальный вид, когда он появился во дворе, что два репортера, только что приехавшие из Тайнкасла, сфотографировали его. На следующий день портрет был помещен в тайнкаслском «Аргусе», и брандмейстер вырезал его на память.

Предложения помощи сыпались отовсюду — по телеграфу, по телефону; мистер Проберт, представитель фирмы «Хортон», явился самолично, от Объединенной компании угольных копей прибыли еще три спасательных отряда.

Еще до полудня Баррас с сыном отправились осмотреть копы, вновь установленные над старой шахтой Скаппер. Шахта эта выходила на унылый пустырь, известный под названием «Снук»,

весь в кочках и ямах; теперь пустырь занесло снегом и над ним злобно свистел ветер.

Несмотря на зажженный во дворе костер, почти вся толпа ушла оттуда и собралась на пустыре. Они стояли в стороне, довольно далеко от механиков, которые работали усердно и быстро, устанавливая над шахтой копер. Когда подошли Баррас и Артур, толпа молча расступилась, только небольшая группа мужчин не двинулась с места. И тут-то Артур увидел Дэвида.

Дэвид стоял впереди этой группы людей, не отступивших перед хозяином. Среди них были Джек Риди, Ча Лиминг и старый Том Огль. Дэвид ждал, пока Баррас подойдет близко. От холода и скрытого душевного напряжения его кожа казалась плотно натянутой на скулах. Глаза его встретились с глазами Барраса. И под этим обвиняющим взглядом Баррас опустил свои. Тогда Дэвид заговорил:

— Эти люди хотят вас спросить кое о чем.

— Да?

— Они желают знать, все ли будет сделано для спасения тех, кто остался внизу.

— Меры приняты. — Пауза. Баррас поднял глаза: — Это все?

— Да, — медленно отвечал Дэвид. — Пока все.

Но тут старый Огль выскочил вперед.

— К чему вся эта болтовня? — заорал он на Барраса. Старый Том немного тронулся в уме. Он уже пытался сегодня на глазах у всех прыгнуть в шахту. — Почему вы не спасаете их? Все эти машины ничего не стоят. Там внизу мой сын, мой сын Боб. Почему вы не пошлете людей в шахту, чтобы вытащить его оттуда?

— Мы делаем все, что можно, мой друг, — сказал Баррас спокойно и с большим достоинством.

— Я вам не друг, — прорычал Том Огль и, подняв руку, ударил Барраса кулаком прямо в лицо.

Артур содрогнулся. Чарли Гоулен и другие оттащили Тома, который отбивался и кричал. Баррас стоял выпрямившись. Он не защищался, он принял удар с какой-то внутренней экзальтацией, словно в самой глубине души был доволен им. Спокойно продолжал он путь к шахте, распорядился развести еще костер и остался на месте наблюдать за работой.

Он оставался здесь весь день. Дождался, пока над старой шахтой установили копер, паровую лебедку и вентилятор, пока ее очистили от рудничного газа. Он не уходил до тех пор, пока не

были спущены туда спасательные отряды для уборки пустой породы, завалившей дорогу в старые выработки. Он оставался, пока обе главные шахты рудника № 17 не были снабжены новыми насосами, из которых один выкачивал двести пятьдесят галлонов в минуту, другой, турбинный, — четыреста пятьдесят галлонов. И только тогда он, в полном одиночестве, пошел домой в «Холм».

Он не ощущал ни усталости, ни особенно сильного голода, в нем боролись физическое оцепенение с необычайным душевным возбуждением. Он перестал ощущать свое «я»; все, что он делал, он делал как во сне. Он был похож на приговоренного к смерти, спокойно выслушивающего приговор. Он не все понял до конца. Его вера в собственную невинность оставалась незыблемой.

Тетя Кэрри позаботилась, чтобы для него своевременно приготовили бульон из коровьих хвостов, — она знала, что, когда у Ричарда «трудный день», он всему предпочитает бульон из хвостов. Он съел бульон, крылышко цыпленка и ломтик своего любимого голубого чеддерского сыра. Ел он очень мало, пил только воду. На тетюшку Кэрри, державшуюся на заднем плане и полную трепетной, рабской услужливости, он не обращал никакого внимания, — он ее просто не видел.

За обедом против него сидела Хильда и с каким-то отчаянным упорством не сводила с него глаз. Наконец, не выдержав, она сказала:

— Позволь мне тоже помогать, папа. Прошу тебя! Позволь мне что-нибудь делать.

Хильду доводило до сумасшествия то, что даже теперь, при таких исключительных обстоятельствах, ей не удавалось найти себе дело.

Отец поднял сонные глаза и в первый раз всмотрелся в ее лицо:

— А чем же ты можешь помочь? Все, что надо, уже делается. Женщине там делать нечего.

Он оставил ее одну в столовой, поднялся наверх, вошел к жене. И ей, как Артуру, сказал: «Это воля Божья». Затем, непроницаемый и суровый, он, как был, одетый, лег на свою кровать. Но через четыре часа он уже снова был на руднике и сразу направился к старой шахте. Ему было известно, что проникнуть в «Парадиз» возможно только через эту шахту. И он спустился в нее.

Люди работали бригадами, так энергично, что продвигались на шесть футов в час, очищая главный штрек от закладки. Ее было

больше, чем они рассчитывали. Но бригады кидались, как волны, ударяли в стены, долбили эти стены, и было в их натиске что-то исступленное и отчаянное. Сверхчеловеческим было это продвижение вперед сквозь камень. Когда один отряд выбывал из строя, другой становился на его место.

— Эта дорога идет прямо на запад, — сказал Дженнингс Баррасу. — Она должна привести нас к цели.

— Да, — подтвердил тот.

— Мы, по-видимому, уже добрались почти до конца закладки, — продолжал Дженнингс.

— Да, — отвечал Баррас.

За сутки спасательные отряды убрали из старого штрека сто сорок четыре фута закладки. Они выбрались на свободный путь, в открытый участок старого отвала. Раздалось громкое «ура», этот радостный крик полетел вверх и зазвенел в ушах тех, кто ожидал на поверхности земли.

Но второго «ура» не последовало. Сразу же за разобранной закладкой главный штрек впадал в какую-то яму или котловину, полную воды и непроходимую. Грязный, покрытый угольной пылью, без воротничка и галстука, в старом шелковом кашне, обмотанном вокруг его распухшей шеи, Дженнингс посмотрел на Барраса.

— О господи, — сказал он с безнадежным отчаянием, — будь у нас карта, мы бы знали об этом раньше.

Но Баррас оставался невозмутим:

— Карта не уничтожила бы котловину. Мы знали, что встретим препятствия. Нужно с помощью взрывов проложить новую дорогу, через это озеро. — В его словах звучала такая суровая непреклонность, что даже на Дженнингса они произвели впечатление.

— Черт возьми, — воскликнул он, измученный до того, что готов был заплакать, — ну и энергия у вас! Что ж, давайте взрывать вашу проклятую кровлю!

Начали взрывать кровлю, сбрасывая в воду твердый, как железо, базальт, чтобы, засыпав котловину, пройти через нее. Поставили компрессор, который приводил в действие буры; пустили в ход лучшие алмазные буры. Работа была убийственная. Работали в темноте, в пыли, в поту, среди паров сильно взрывчатых веществ. Работали с каким-то исступлением. Один только Баррас оставался спокоен. Спокоен и непроницаем. Он был движущимся

шей и направляющей силой. Вот уже восемнадцать часов он не уходил из шахты. Только что вернувшись после шестичасового отдыха, Дженнингс умолял его:

— Ради бога, пойдите поспите немного, мистер Баррас, вы себя убиваете!

Уговаривали его и мистер Проберт, и Армстронг, и прибывшие сюда представители министерства. Он уже и так много сделал, твердили все, а чтобы засыпать котловину, понадобится еще по меньшей мере пять дней, пусть же он побережет силы. Даже Артур взмолился:

— Поспи немного. Ну пожалуйста, папа!.. Пожалуйста!

Но Баррас вздремнул только с полчаса на стуле в конторе. Он не уходил домой до вечера четвертого дня. В этот вечер он пошел в усадьбу пешком.

Было все так же мучительно холодно, и земля по-прежнему покрыта только что выпавшим снегом. Какой он был ослепительно-белый!

Баррас шел по Каупен-стрит, сосредоточенный и серьезный, но без единой мысли в голове. Со времени катастрофы он не способен был ни о чем больше думать. Он как-то подсознательно отрешился от всего и всецело сосредоточился на деле спасения погибавших. Эта ледяная отрешенность не изменяла ему, поддерживала его силы. Глубоко под покровом наружного бесстрастия шла большая душевная работа, подобная сильному течению под ледяной корой реки. Баррас его не замечал, но течение прокладывало себе дорогу.

Улицы, по которым он шел, были безлюдны, все двери заперты, нигде не видно ни одного играющего ребенка. Витрины многих лавок были закрыты железными шторами. Тихий ужас смерти реял над Террасами, тишина отчаяния. С противоположных концов Альминской террасы шли навстречу друг другу две женщины. Они были приятельницами. Но, проходя, отвернулись друг от друга без единого слова. Молчание. Даже их шаги заглушены снегом. В домах та же тишина. В жилищах тех, кто погребен в шахте, столы накрыты к завтраку и ждут их возвращения. Такова традиция. Даже ночью не опускаются шторы. В доме № 23 по Инкерманской улице Марта пекла пирог: Роберт и Гюи оба любили горячие пироги.

Сэм и Дэвид сидели молча, не глядя на нее. Они вернулись из старой шахты; оба помогали там. Дэвид целых четыре дня и не

заглядывал в школу. Он забыл о школе, забыл о своих экзаменах, забыл о Дженни. Он сидел молча, опустив голову на руки, думая об отце, погруженный в горькие, ему одному ведомые мысли.

После духоты и шума в шахте Барраса особенно поразили холод и тишина вокруг. Он продолжал путь, и тяжелый вздох вырвался из его груди. Он не сознавал этого. Он не сознавал ничего. Пришел домой. Там ожидала его огромная кипа корреспонденции, письма восхваляющие, сочувственные, соболезнующие, телеграмма от Стэплтона, слискейлского депутата в парламенте, телеграмма от лорда Келла, владельца земельного участка, занятого «Нептуном», телеграмма от лорд-мэра из Тайнкасла: «Ваши геройские усилия спасти погребенных в шахте вызывают величайшее восхищение. Молим Бога об успехе дальнейших мероприятий». И еще одна — от короля, полная всемилостивейшего сочувствия. Баррас прочел все внимательно. Он прочел письмо жены одного фабриканта резиновых шлангов в Лидсе, предлагавшей доставить ему *бесплатно* (подчеркнуто) пятьсот ярдов или *больше* (подчеркнуто) шлангов их фирмы, для того чтобы можно было спускать горячий суп погребенным шахтерам. Забавно! Но он и не улыбнулся.

На следующий день он рано утром вернулся на рудник. Уровень воды в главной шахте снизился уже настолько, что туда могли спуститься водолазы. Водолазам пришлось примириться с тем, что максимальная высота воды в этажах доходила до восемнадцати футов. Несмотря на это, они пробрались по этажам «Глоба» и «Парадиза» до самого места обвала. Они проделали трудное и утомительное обследование. А между тем Баррасу лучше всех было известно, как бесполезно это обследование. Семьдесят два трупа утонувших — вот все, что нашли водолазы. Они вернулись и сообщили, что внизу нет в живых ни одного человека, что не меньше месяца понадобится на полную осушку этажей. Потом водолазы спустились вторично, чтобы вытащить мертвых. И тела утонувших шахтеров, связанные вместе, раскачиваясь, поднимались из шахты наверх, на яркий дневной свет, которого они не могли больше видеть.

Все силы сосредоточены были теперь на продвижении в старую шахту: теперь всем было совершенно ясно, что те, кого недо считались, могли оказаться замурованными в отвале. Хотя с момента катастрофы прошло уже десять дней, люди эти, может быть, еще живы. И в новом бешеном усилии те, кто работал у котло-

вины, удвоили старания. Они напрягали и расточали все свои силы. От начала взрывных работ прошло шесть дней, и, пустив в ход последний заряд, они перебрались наконец через озеро на главный штрек, продолжавшийся за ним. Измученные, но ликующие спасатели ринулись вперед, на запад. Но в шестидесяти шагах от озера им преградила дорогу совершенно обрушившаяся базальтовая кровля. Они остановились в безнадежном отчаянии.

— О боже мой, — простонал Дженнингс. — И осталось-то, может быть, каких-нибудь полмили!.. Никогда мы до них не добремся. Никогда. Это конец.

Он в полном изнеможении прислонился к базальтовой скале и закрыл лицо рукой.

— Мы *должны* идти дальше, — произнес Баррас неожиданно громко. — Должны идти дальше.

XXIV

Первым умер Гарри Брэйс. У Гарри Брэйса было слабое сердце, он был уже немолод, да и купание в Скаппер-Флетс жестоко отозвалось на нем. Он умер просто от истощения. Никто не знал, когда и как это произошло. Нед Софтли наткнулся рукой на мертвое, похолодевшее лицо Гарри и закричал, что Гарри умер. Случилось это к концу третьей ночи; но, впрочем, для них теперь всегда была ночь, потому что лампы опустели и погасли и все свечи догорели, кроме одной, которую Роберт берет на крайний случай. Темнота была не так уж неприятна, она милосердно окутывала их, теснее объединяла и укрывала.

Их было всего десять: Роберт, Гюи, Лиминг, Пат Риди, Скорбящий, Сви Мессюэр, Нед Софтли, Гарри Брэйс и еще два шахтера — Беннет и Сет Колдер. Первый день они занимались лишь тем, что стучали, главным образом стучали... Та-та... та-та... та-та-та-та... Снова и снова: та-та... та-та... та-та-та... — словно четкий бой барабана. Стучать было необходимо, стук указывал, где их найти в непроглядном мраке. Десятки людей были спасены благодаря тому, что их стук услышали спасавшие... Та-та-та-та-та... Они по очереди подходили к каменной стене. Но на второй день Боксер вдруг завопил:

— Перестаньте! Ради Христа, перестаньте, не могу я больше слышать этот проклятый стук!

Нед Софтли, чья очередь была стучать, тотчас же остановился. Видимо, и остальные были довольны, когда стук прекратился. Они не стучали около часу, затем все, в том числе и Боксер, решили, что надо продолжать. Люди, которые придут, должны прийти через старую шахту Скаппер, они, вероятно, уже где-то совсем близко. «Да, они уже, должно быть, так близко, что могут услышать нас», — сказал Сви Мессюэр. И Нед начал: та-та... та-та... та-та-та-та.

Вскоре после этого Скорбящий в первый раз отслужил молебен. Скорбящий и до этого много молился на коленях, но молился про себя, в стороне от остальных, с тем страстным напряжением, с каким и сам Иисус молился некогда в саду Гефсиманском. Скорбящий был молчаливый и серьезный человек, не навязывавший своих убеждений другим, если не считать таких средств пропаганды, как брошюры религиозного содержания и щиты с надписями. На футбольных матчах в Уитли-Бэй или Слискейле Скорбящий обыкновенно стоял где-нибудь или медленно бродил среди шумной толпы, повесив себе на грудь и спину щиты с текстами «О слезах Иисусовых». Это был самый смиренный пропагандист Иисуса из всех, когда-либо существовавших, и далеко не худший, — так что не в его характере было заставлять других молиться. Но, как это ни странно, Роберт, никогда не ходивший в церковь, вдруг заявил, что надо всем вместе помолиться.

Скорбящий ничего не говорил, но ему хотелось этого, очень хотелось, и предложение Роберта обрадовало его. Начал он с очень хорошей молитвы, в которой не было и речи о разрывании на себе одежд или об «одетой в пурпур жене»¹. Молитва эта была полна глубокой веры и грубых грамматических ошибок и кончалась очень просто: «Так выведи же нас отсюда, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь».

Затем Скорбящий прочитал короткую проповедь. Он выбрал текст Евангелия от Иоанна: «Я светоч мира. Тот, кто последует за мной, не будет ходить во тьме, но увидит свет жизни». Он просто беседовал с товарищами, говорил самыми обыкновенными словами.

¹ «Одетая в пурпур жена» — образ из Апокалипсиса — была у протестантов, по одной версии, символом греховности мира, по другой — символом папского Рима.

Потом они спели гимн «Приди, приди, Спаситель»:

По далеким холодным горам я блуждал,
Покинув родную ограду,
Великий Спаситель, приди, о приди,
Прими в свое верное стадо.

Наступила тишина, в которой слышалось только еще не умолкшее эхо. Никому, видимо, не хотелось нарушать молчания. Все сидели совсем тихо, только Лиминг скрипел зубами. Но Лиминг был из тех, кто быстро падает духом.

— О боже, — стонал он, — о Христос, помоги мне!

И Боксер заплакал. Суровый, грубый малый был Боксер Лиминг, но иногда в нем проглядывала какая-то слабость души. Он сидел, опустив голову на руки, и трясся от рыданий; жутко было слышать, как он мучается. У всех нервы к этому времени уже успели развинтиться, всем было трудно сохранять мужество на пустой желудок. У них не было больше ни пищи, ни воды, только тоненькая струйка сочилась медленно с потолка. Казалось странным, что, бежав от ужасающего водяного потока, они теперь имели так мало воды — только-только чтобы утолить жажду, на каждого по глотку солоноватой жидкости, смешанной с угольной пылью.

Время шло, и некоторые начали ощущать голод. Больше всего хотелось есть Пату Риди, самому молодому из них. У Роберта в кармане остались три леденца от кашля. Он сунул Пату один, потом другой. Сколько же времени прошло между первым леденцом и вторым?.. Пять минут или пять дней?.. Одному Богу это было известно.

Съев второй, Пат прошептал:

— Как вкусно, дядя Роберт!

Роберт улыбнулся. Он хотел было отдать Пату третью конфету, но неожиданно мысль, что это — последняя, удержала его. «Я приберегу ее для него», — подумал он.

То же стремление сохранить что-нибудь про запас побудило Роберта припрятать последнюю свечку, хотя вначале темнота была не приятна, а мучительна, страшно мучительна после желтого огонька свечи, вокруг которого они сидели кружком, как вокруг крошечного лагерного костра.

В темноте было гораздо труднее следить за временем. У одного только Роберта имелись часы, но и те остановились, когда он упал в воду в «Куполе». Особенно волновался по этому поводу Гюи. Гюи всегда был молчалив, а теперь молчаливее, чем когда-либо. С тех пор как они дошли до отвала, Гюи вряд ли промолвил хоть одно слово. Он сидел подле отца и, сдвинув брови, размышлял о чем-то. Все его тело напрягалось от какого-то тайного беспокойства. Наконец он спросил вполголоса:

— Папа! Сколько времени мы уже здесь?

Роберт отвечал:

— Не могу тебе сказать, Гюи.

— Ну, папа, как ты думаешь?

— Да, пожалуй, дня два... или, может быть, три...

— Значит, сейчас какой день, папа?

— Не знаю, мальчик... должно быть, среда.

— Среда... — Гюи вздохнул и снова прислонился онемевшей спиной к стене. Если сегодня только среда, то это не так уж плохо: значит, остается еще целых три дня до матча, в котором он должен участвовать. Ему нужно выбраться из этой ямы к субботе, нужно, непременно нужно! И в внезапном приступе страха и тоски Гюи схватил камень и начал колотить по стене: та-та... та-та... та-та-та-та!

После того как он перестал стучать, долго стояла тишина. И тогда-то именно Нед Софтли, вздумав передвинуться на другое место, протянул руку и наткнулся на лицо Гарри Брэйса. Сначала он подумал, что Гарри уснул. Он снова осторожно дотронулся до него, и пальцы его попали прямо в холодный открытый рот мертвого Гарри.

Роберт зажег свечу. Да, Гарри Брэйс был мертв. Бедный Гарри, так и не пришлось ему подарить своей «хозяйке» бандаж, который он все обещал ей. Роберт и Лиминг подняли его. Он был такой тяжелый. Или им казалось это оттого, что они ослабли? Гарри отнесли подальше на дорогу, на тридцать ярдов ниже. Его уложили на спину, Роберт сложил ему руки крестом и закрыл Гарри глаза.

Скорбящий спал, уснув в первый раз за три дня, и громко храпел во сне. Роберт не стал его будить. Он прочитал над Гарри «Отче наш», затем он и Лиминг вернулись к остальным.

— Пускай свеча выгорит еще на один дюйм, ребята, — сказал Роберт. — Все будет немного веселее.

Пат снова тихонько всхлипывал. Во второй раз увидел он смерть, и не очень-то это ему понравилось.

— Ты бы немного размял ноги, — сказал ему Роберт; он обнял рукой трясшиеся от рыданий плечи Пата. — Пора дать тебе какую-нибудь работу. Не хочешь ли не в очередь постучать?

Пат покачал головой.

— Я хочу написать маме, — сказал он, давая волю своему горю.

— Отлично, — согласился Роберт. — Ты напишешь маме. Карандаш у меня есть. А у кого найдется клочок бумаги?

У Неда Софтли оказалась записная книжка, в которой он отмечал число сданных вагонеток. Он передал ее Роберту. Тот вырвал узкий двойной листок, положил его на книжку и вместе с карандашом вручил Пату.

Пат с благодарностью жадно схватил бумагу, книжку и карандаш. Он повеселел, тотчас же принялся за письмо и вывел круглыми большими буквами: «Дорогая моя мама...» Остановился и, склонив голову набок, перечел написанное: «Дорогая моя мама...» Снова взялся за карандаш и снова остановился. «Дорогая моя мама», — перечел он в третий раз и расплакался уже не на шутку. Плакал горько. Пату было только пятнадцать лет.

К тому времени, как Пат немного успокоился, свеча уже выгорела на дюйм. Роберт отнял у Пата записную книжку, карандаш и листок с начатым письмом и положил все это в карман, затем потушил свечу. Левой рукой он обнял Пата Риди, как бы защищая его. Пат так в этой позе и уснул.

Роберт и сам задремал. Время шло. Он проснулся среди тишины и полного мрака и закашлялся. Кашлял долго, своим привычным глухим кашлем, с которым он словно сроднился. Мокрая одежда высыхала на нем, — это было ему вредно. Он подумал: «Не миновать мне опять плеврита, когда мы выберемся отсюда». Потом, с внезапно похолодевшим сердцем, добавил мысленно: «Если выберемся».

Прошло еще некоторое время. Те, что идут на помощь, уже должны быть близко, они, несомненно, уже где-то очень близко!

— Папа! — Это опять Гюи. — Какой сегодня день, папа?

— Не могу тебе сказать, Гюи, голубчик. — Роберт старался говорить спокойно и вразумительно.

— Ну, папа... который же день мы здесь?

— Не знаю, Гюи, не знаю, мальчик.

Роберт все пытался говорить внушительно, но голос его звучал вяло, утомленно.

— Ох, папа... какой может быть сегодня день? Ты ведь знаешь... скоро матч, папа, матч объединенной команды... Мне надо быть там в субботу... мне надо... надо, папа!

Тихий голос Гюи зазвучал пронзительно, истерически. Он в темноте качался взад и вперед. Ему надо выбраться отсюда к субботе, надо... надо выйти не позже субботы!..

А был уже вечер воскресенья.

Проснулся Лиминг. Все теперь дремали: должно быть, сюда начинал проникать рудничный газ. Или это объяснялось просто слабостью? Боксер сказал:

— Боже, какой сон я видел! Если бы только знала моя бедная старуха!.. Чего бы я не отдал сейчас за кружку пива! Есть не хочу совсем, вот только пива хочется! Господи, что это я говорю! Ведь я обещал, что брошу пить, если выйду отсюда. О Боже, выведи нас отсюда! Спаси нас! — Голос его перешел в крик.

Закричал и Нед Софтли. И еще несколько человек: «Спасите!.. Спасите нас!» Даже Скорбящий пал духом — он вдруг воззвал громким голосом:

— Скоро ли, о Господи, пошлешь ты нам избавление?

Все это походило на вой диких зверей, запертых в клетке.

Следующим умер Беннет, а шесть часов спустя — Сет Колдер. Они были «напарники» и работали вместе без малого четырнадцать лет. Четырнадцать лет вместе работали, пьянствовали, играли в шары. Но им вовсе не казалось необходимым и умереть вместе. Беннет был спокойнее, но Сет Колдер с той минуты, как почувствовал, что слабеет, не переставал причитать:

— Я не хочу умирать. Ведь я еще молодой. У меня молодая жена. Не хочу умирать... — Но, несмотря на это, он умер.

Все настолько уже ослабли, что не в силах были перенести куда-нибудь подальше тела умерших Беннета и Сета Колдера. Теперь у Роберта в кармане остались только две спички и маленький огарок. Он отдал последний леденец Пату. Теперь уже недолго осталось ждать тех, что идут сюда из старой шахты. О Господи, пусть же они придут поскорее, не то будет слишком поздно!

Они лежали настолько обессиленные, что уже не были в состоянии двигаться, слишком слабые даже для того, чтобы отойти

в сторону за нуждой. Лежали — и только. Роберту пришла в голову новая идея: он стал окликать товарищей, трижды повторяя каждое имя. Если и на третий оклик ответа не было, то он знал, что этого человека нет больше в живых.

Первым перестал откликаться Нед Софтли. Он, должно быть, умер так же тихо, как Гарри Брэйс. Неда всегда считали полоумным, но умирал он мужественно, без единой жалобы. За ним последовал Сви Мессьюэр. Озорной и веселый малый был этот Сви, но теперь он навсегда перестал рассказывать смешные анекдоты. Как раз в то время, когда умер Сви, сошел с ума Скорбящий. Подобно остальным, он долго лежал молча, но вдруг поднялся на ноги, и, несмотря на темноту, те, кто еще оставался в живых, почувствовали, что перед ними безумный.

Он заговорил:

— Я вижу их! Вижу семь ангелов, что стояли перед Господом! Слышу зов их труб. Господь открыл мои глаза!

Сперва они пытались не обращать на него внимания, но Скорбящий продолжал:

— Я слышу звук их труб. Первый затрубил — и вот пошел град, смешанный с кровью.

— Да замолчи ты, ради бога, Клем! — взмолился Лиминг.

Но Скорбящий продолжал еще громче:

— Затрубил второй ангел — и вот высокая гора, пылающая огнем, рушится в море, и третья часть моря превращается в кровь. Не вода в нем, о братья, но кровь. То, что привело нас сюда, не вода, но кровь!

Лиминг приподнялся и сел:

— Клем, перестань ты, ради Христа, я не могу больше этого выносить!

Но безумный продолжал все так же торжественно:

— Затрубит третий ангел — и падет звезда Полянъ. Горечь и злоба, о братья мои, — вот наш удел на земле, сокрушила нас алчность людская. И затрубит четвертый ангел и пятый — и снова падет звезда в бездонную пропасть. И вот из пропасти дым поднимается. Мы в этой пропасти, братья, и вокруг нас темно от дыма, и печать Господня на нашем челе, а тех, сидящих высоко, кто загнал нас сюда, ждет кара. Я это вижу, братья. Дух пророчества сошел на меня. Я пророк в шахте «Парадиз»...

Тут Роберт понял, что Скорбящий сошел с ума.

— Садись-ка, брат, — стал он его уговаривать. — Сядь, пожалуйста. Скоро нас найдут. Теперь уже, должно быть, недолго. Сядь и жди спокойно.

Но Скорбящий продолжал:

— И затрубит шестой ангел — и услышим глас четырех рогов золотого алтаря, стоящего перед Господом. И послано будет четыре ангела, чтобы умертвить третью часть людей дымом и серой, тех, кто не погиб от прежних казней, но не раскаялся в делах рук своих, не раскаялся в своих злодействах и в колдовстве своем, в прелюбодеяниях и воровстве...

Голос Скорбящего постепенно перешел в крик, который, казалось, сотрясал своды, и ему вторило эхо.

— Нет, я не выдержу! — простонал Лиминг. Он пополз к тому месту, где стоял Скорбящий, нащупывая руками дорогу.

Скорбящий ужасным голосом продолжал:

— И вот затрубит седьмой ангел...

Но раньше, чем затрубил седьмой ангел, Лиминг ухватил Скорбящего за лодыжку и сбил его с ног. Скорбящий свалился со стоном:

— Но трубит седьмой ангел. Я слышу его. Я вижу век, созданный безумием и жадностью человеческой. Деньги, деньги, деньги... Ради них нас губят, убивают. Слушайте мое пророчество... С высоких мест падут они... не вода, но кровь... кровь агнца... Достань молитвенник, мать, и мы споем гимн любви... возьми мою руку, мать, держи меня крепче, ибо в этом нет греха... приди, великий Спаситель, приди...

Голос его оборвался, несколько минут он стонал, потом затих. Пророчество истощило его последние силы. Иисус Скорбящий еще поплакал минуту-другую и испустил дух.

А время шло. Роберт дал Пату Риди напиться. Но Пат был уже в полубессознательном состоянии, — вода, смешанная с угольной пылью, вылилась обратно в сложенные горсточкой руки Роберта.

— О Боже, пусть они придут поскорее, — сказал Лиминг, как в бреду, — иначе они придут, когда уже будут не нужны.

Он дополз до стены и начал стучать в нее. Но он был слишком слаб, и камень выпал из онемевших пальцев.

Прошло еще неизвестно сколько времени. Лиминг поднес руку к горлу и прохрипел:

— Роберт, товарищ, я бы все отдал за одну кружку... — затем свалился на бок и больше не шевелился.

Следующим был Пат Риди. Он лежал, совсем ослабев, на руках у Роберта, положив голову на его костлявую грудь, как ребенок на грудь матери. Перед концом он недолго бредил. Последние его слова были: «Поди сюда, мама, я так рад».

Когда Пат умер, Роберт снова сделал переключку... Потом сказал:

— Остались только мы с тобой, Гюи, мальчик.

Гюи механически спросил:

— Какой сегодня день, папа?

Он спросил это еще раз, потом сказал:

— Папа, мне хочется пить, но я не могу шевельнуться.

Роберт дополз до него и дал Гюи напиться.

Гюи поблагодарил его.

— Теперь уже все пропало, папа, — сказал он: он все еще думал о матче. — Никогда они не пригласят меня опять.

Роберт ответил:

— Нет, Гюи.

— А мне так хотелось сыграть, папа!..

— Знаю, Гюи.

Роберт потерял всякую надежду. Он слушал, слушал, но ни один звук не извещал о приближении людей. Должно быть, им что-то помешало на пути — вода или большой обвал кровли. В его сердце больше не было ни надежды, ни горечи.

Осторожно опустил он на землю тело Пата и обнял рукой плечи Гюи. Он никогда не уделял Гюи много внимания. Гюи был слишком похож на него самого, слишком молчалив и сдержан. Теперь Роберт твердил себе, что недостаточно любил Гюи.

Он хотел поговорить с сыном, но это было трудно, язык его не слушался, говорил не те слова. Он закашлялся, и у него стало солоно во рту и что-то потекло изо рта, подобно этим непослушным словам.

Время шло. Последний слабый вздох шевельнул грудь Гюи. Гюи умер, думая о матче, в котором ему никогда не придется участвовать, умер подлинно от разбитого сердца.

Роберт поцеловал его в лоб, попытался сложить ему руки, как сложил руки умершему Гарри. Но у него уже не было сил сделать это; у него не было сил даже кашлять. Мысленно прочитал он «Отче наш».

Мысли Роберта путались. Ему было странно, что он умирает последним, что он, чахоточный, пережил столько здоровых людей. Ну вот, не говорил ли он всегда, что кашель его не убьет?.. Да, теперь он его уже не убьет. Он не сознавал больше, где находится... он снова был на Уонсбеке, удил рыбу вместе с Дэвидом, его маленьким сыном, учил его забрасывать удочку... смотрел, как Дэвид вытаскивает свою первую добычу — маленькую пятнистую форель... «Ого, Дэви, мальчик, это замечательно! Смотри, какая она красавица!»

Время шло. Роберт пошевелился, открыл глаза... зажег последний огарок, подумав, что жалко оставлять его. Раз это можно, он не хотел умирать в темноте.

Свеча осветила желтым светом неподвижные, призрачные очертания мертвецов. Роберт понимал, что скоро и он будет мертвецом. Он не чувствовал страха, не чувствовал ничего. Но напоследок ему пришлось в голову, что надо бы написать Дэвиду... Дэвид всегда был его любимцем.

Он порылся в кармане и достал записную книжку, карандаш и листок бумаги. С трудом собрал мысли и написал:

«Дорогой Дэвид, ты получишь это, когда меня найдут. Мы застряли в Скаппер-Флетс. Мне удалось позвонить наверх, и Баррас велел идти к старой шахте, но обвал нам помешал. Очень большой обвал. Гюи только что умер. Он не мучился. Скажи матери, что мы молились. Я надеюсь, что ты добьешься чего-нибудь настоящего в жизни, Дэви. Твой папа».

Он подумал мгновение, не сознавая этого, и приписал на обороте:

«P. S. У Барраса, видно, все-таки есть планы старых выработок, потому что его указания были правильны».

Он сложил листок и сунул его под фуфайку, на костлявую грудь. Сидел, привалившись мешком к обломкам кровли, словно задумавшись. Какие-то бесформенные обрывки тьмы застилали сознание. Он закашлялся привычным кашлем, с которым сроднился, который был частью его самого. Потом его тело медленно соскользнуло вниз и растянулось на земле. Он лежал на спине, раскинув руки, словно умоляя о чем-то. Мертвые глаза были открыты. Так лежал он среди своих мертвых товарищей. Свеча постепенно оплывала, пока не потухла.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ



I

Заключительное заседание суда, официально расследовавшего на основании статьи 83 закона об угольных копиях причины и обстоятельства катастрофы в «Нептуне», близилось к концу. Зал муниципалитета на Лам-стрит был до того переполнен, что можно было задохнуться, а снаружи стояла в ожидании огромная толпа, и ее напряженное ожидание словно просачивалось вместе с лучами полуденного солнца сквозь высокие, в свинцовых переплетах окна в насыщенный человеческими испарениями зал. За судейским столом сидели: председатель суда, королевский адвокат, достопочтенный Генри Друммонд, технический эксперт и главный инспектор охраны труда в копиях. В ближайшей к ним части зала находились районный инспектор и мистер Дженнингс, местный инспектор, — оба в качестве представителей министерства горной промышленности, — мистер Линтон Роско, адвокат, выступавший по поручению мистера Джона Бэннермана, нотариуса из Тайнкасла, в качестве защитника Ричарда Барраса, член парламента Гарри Нэджент и Джим Дэджен — представители Союза горняков Англии, Том Геддон — от слискейлской организации Союза, мистер Уильям Снегг — адвокат из Тайнкасла, защищавший интересы семей погибших, и, наконец, полковник Гэскойн — представитель лорда Келла, владельца участка, на котором расположены копи. В первом ряду сидели Баррас, Артур, а дальше — Армстронг, Гудспет и другие ответственные служащие «Нептуна». За ними — три ряда свидетелей, среди которых были Дэвид, Джек Риди, Гарри Огль и еще некоторые обитатели Террас. Свидетели помещались непосредственно за спиной Нэджента. Дальше, в глубине зала, сидели родственники погибших, все больше женщины в глубоком трауре, некоторые без шляп, в платках, все немного ошеломленные, плохо разбиравшиеся

в том, что происходило, полные благоговейного страха. Остальная часть зала была набита шахтерами и городскими обывателями до того, что яблоку негде было упасть.

Согласно установившемуся в судебной практике правилу, следствие было начато лишь спустя некоторое время после катастрофы. Но 27 июля 1914 года начался процесс, и суд заседал вот уже целых шесть дней; зал гудел голосами, пятьдесят четыре свидетеля были допрошены по несколько раз, задано пятнадцать тысяч вопросов, слова летели от одного к другому, сотни, тысячи гневных, убеждающих, горьких слов. Говорил Геддон — со свойственной ему бурной горячностью, теряя поминутно нить аргументов, и его строго призывали к порядку. Говорил Джим Дэджен — мягко и нескладно, поддерживая спокойные и логичные выступления Нэджента, полковник Гэскойн сыпал техническими терминами судебных отчетов, статьями законов и сведениями о геологической формации; выступал Линтон Роско, опытный оратор, в совершенстве владевший искусством жеста и гладко округленных периодов.

Но сейчас все уже близилось к концу, быстро близилось к концу. Линтон Роско стоял у своего места — внушительная осанистая фигура, массивная челюсть, отвислая нижняя губа и цветущий румянец, наводивший на мысль об усиленном употреблении портвейна. Линтон Роско с двух часов вел вторичный опрос свидетелей и теперь с широким мелодраматическим жестом вернулся к судье.

Судья. Вы желаете сделать какое-нибудь заявление, мистер Роско?

Линтон Роско. Я бы желал опросить мистера Ричарда Барраса, сэр. Я полагаю, что если еще в последний раз вызвать его, то можно будет сделать надлежащее заключение по данному делу.

Судья. В таком случае — пожалуйста, мистер Роско.

Вызвали Ричарда Барраса. Он тотчас же поднялся с места и, войдя в ложу для свидетелей, стоял очень прямо, без прежней невозмутимости, со слабым румянцем на резко очерченных скулах, вытянув голову немного вперед, словно выражая стремительную готовность отвечать на все вопросы с полной откровенностью. Артур сидел сгорбившись, не поднимая глаз от пола, заслонив лицо от окружающих.

Линтон Роско. Мистер Ричард Баррас, сожалею, что пришлось вас снова побеспокоить, но в деле имеются пункты, кото-

рые я желал бы осветить. Насколько я помню, вы говорили нам, что вы, владелец угольных копей «Нептун», — горный инженер с почти тридцатипятилетним стажем?

Баррас. Да, именно так.

Линтон Роско. Значит, несомненно, у вас большой опыт в горном деле?

Баррас. Да, думаю, что могу это утверждать.

Линтон Роско. Теперь скажите еще раз, мистер Баррас... *(Медленно.)* Когда вы приступили к разработке дейка, имели ли вы хоть малейшее представление о том, что он каким-то образом граничит с затопленными выработками старого «Нептуна»?

Баррас. Я об этом совершенно не подозревал.

Линтон Роско. Точнее говоря, есть только два способа ориентироваться в приблизительном месторасположении подземных залежей: либо путем бурения, либо при помощи имеющихся чертежей, то есть плана. Не так ли?

Баррас. Совершенно верно.

Линтон Роско *(убедительно)*. Но бурение в сущности показывает только то, что делается на данном участке? И не исключает крупных ошибок? Часто ведь бурение выясняет очень немногое или совсем ничего не выясняет?

Баррас. Да, в таких случаях, как этот.

Линтон Роско. Вот именно. Теперь о другом источнике сведений. Имелись ли у вас какие-нибудь описания, или карта, или чертежи этих старых выработок «Нептуна»?

Баррас. Нет.

Линтон Роско. Такой план, если он когда-либо существовал, вероятно, был утерян или уничтожен во времена первых шагов горной промышленности, когда к планам не относились с должной серьезностью. В вашем распоряжении такого плана не было никогда?

Баррас. Никогда.

Линтон Роско. Значит, вы не могли знать о грозящей опасности... *(С пафосом.)* И логика и здравый смысл говорят за то, что вы в такой же мере оказались жертвой катастрофы, как и те несчастные, что погибли в шахте. *(Обращается к судье.)* Вот это именно, сэр, я считал нужным снова подчеркнуть. Я больше не имею надобности утруждать мистера Барраса.

Судья. Благодарю вас, мистер Баррас, вы свободны.

Баррас вышел из ложи с высоко поднятой головой, словно подставляя себя взглядам всех. Он держал себя с таким достоинством, что со всех сторон раздавался невольный шепот одобрения. Ричард возбудил в публике искреннее сочувствие, о его поведении на суде отзывались одобрительно, и когда стало известно о его стараниях спасти погибающих, это сделало его почти популярным.

Когда Баррас сел рядом с Артуром, не спеша поднялся с места Гарри Нэджент, член парламента. Нэджент был человек спокойный, с прямым и ясным взглядом, человек, в котором чувствовались стойкость и сильная воля. Он был высокого роста, болезненно сухощав, с худым землистым лицом и красивым лбом, на который падали жидкие пряди волос. С первого взгляда он не располагал к себе, но его сердечность и спокойная искренность скоро рассеивали предубеждение, вызванное его наружностью. Последние пять лет Нэджент состоял депутатом в парламенте от тайнсайдского городка Эджели, был восходящей звездой среди деятелей рабочего движения, и некоторые из его приверженцев говорили о нем как о будущем лидере партии. Слегка наклонясь, он заговорил, глядя в лицо судь.

Гарри Нэджент. Раз мой коллега вызвал своего главного свидетеля, то не разрешите ли вы мне, господин председатель, опросить снова Дэвида Фенвика?

Судья. Если вы находите это полезным...

Выкликается имя Дэвида Фенвика. Он встает и торопливо выходит вперед, серьезный и сдержанный. За эти шесть дней его не раз вызывали в ложу свидетелей и подвергали перекрестному допросу, угрожали и лстили, высмеивали его и уговаривали, но он все время угрюмо настаивал на своих показаниях.

Ему вручают Библию и приводят к присяге.

Гарри Нэджент. Я хочу спросить вас еще раз, мистер Фенвик, относительно вашего отца, Роберта Фенвика, погибшего во время катастрофы...

Дэвид. Слушаю.

Гарри Нэджент. Вы утверждаете, что во время его работы в Скаппер-Флетс он высказывал опасения насчет возможности прорыва воды?

Дэвид. Да, он несколько раз говорил об этом.

Гарри Нэджент. Вам лично?

Дэвид. Да, мне.

Гарри Нэджент. И что же, мистер Фенвик, вы придавали значение этим словам отца?

Дэвид. Да, они меня встревожили. И, как я уже вам сообщал, я даже решил поговорить об этом с самим мистером Баррасом.

Гарри Нэджент. Значит, вы действительно обратились к самому мистеру Баррасу?

Дэвид. Да.

Гарри Нэджент. И как он к этому отнесся?

Дэвид. Он отказался меня слушать.

Линтон Роско (*вставая*). Сэр, я протестую. Мистер Нэджент при допросе не только данного, но и других свидетелей останавливался на этом пункте сверх всяких границ. Я нахожу это совершенно недопустимым.

Судья. Мистер Роско, вам дана будет полная возможность снова опросить свидетеля, если вы этого пожелаете. (*Обращаясь к Нэдженту.*) Я полагаю, мистер Нэджент, что у вас больше нет вопросов к свидетелю?

Гарри Нэджент. Нет, господин председатель, я только хотел еще раз обратить ваше внимание на то, что несчастье можно было предотвратить.

Нэджент сел. Линтон Роско снова вскочил и величественным жестом остановил Дэвида, который собирался выйти из свидетельской ложи.

Линтон Роско. Одну минуту, сэр. Где происходил тот ваш разговор с отцом, о котором вы упоминали?

Дэвид. На берегу Уонсбека. Мы с ним удили рыбу.

Линтон Роско (*недоверчиво*). Вы серьезно хотите нас уверить, что ваш отец в то время, когда он испытывал смертельный страх за свою жизнь, спокойно развлекался ужением? (*Эффектная пауза.*) Мистер Фенвик, давайте будем говорить начистоту. Что, отец ваш был человек с образованием?

Дэвид. Он был умный человек.

Линтон Роско. Ну, ну, сэр, отвечайте прямо на мой вопрос. Я спрашиваю, был ли он человеком образованным?

Дэвид. В узком смысле слова — нет.

Линтон Роско. Итак, несмотря на ваше нежелание это признать, мы видим, что он был человеком *необразованным*. В частности, у него не было никаких знаний в области горного дела. Отвечайте: были или нет?

Дэвид. Нет.

Линтон Роско. А у вас?

Дэвид. Нет.

Линтон Роско (*саркастически*). Вы по профессии учитель, как я слышал?

Дэвид (*с раздражением*). Какое отношение это имеет к несчастью в «Нептуне»?

Линтон Роско. Об этом-то я и хотел вас спросить. Вы — младший учитель городской школы и, кажется, даже не имеете еще степени бакалавра. Вы признали свое полное невежество в вопросах горного дела. И тем не менее...

Дэвид. Я...

Линтон Роско. Одну минуту, сэр. (*Ударяя рукой по столу.*) Были вы уполномочены рабочими поднять этот вопрос или не были?

Дэвид. Нет.

Линтон Роско. В таком случае на что вы могли рассчитывать, кроме полного игнорирования мистером Баррасом вашего самонадеянного вмешательства?

Дэвид. Значит, пытаться спасти жизнь сотен людей — самонадеянность?

Линтон Роско. Не будьте наглы, сэр.

Дэвид. Разве наглость разрешена только вам одному?

Судья (*вмешиваясь*). Я полагаю, мистер Роско, что, как я уже говорил раньше, мы обо всем допросили свидетеля и больше в нем не нуждаемся.

Линтон Роско (*поднимая руку*). Однако, сэр...

Судья. Я думаю, что вопрос будет исчерпан, если я заявлю беспристрастно, что усматриваю в этом деле со стороны мистера Ричарда Барраса лишь самые высокие побуждения.

Линтон Роско (*кланяясь с улыбкой*). Почтительно вас благодарю, сэр.

Судья. Угодно вам, чтобы я опять предоставил вам слово?

Линтон Роско. Если позволите, сэр, — только для того, чтобы кратко суммировать факты. Мы можем поздравить себя с тем, что вывод по этому делу совершенно ясен. Отсутствие какого-либо плана, чертежа или карты, выясняющих расположение выработок старого «Нептуна», не оставляет сомнений. Эта старая шахта, как я уже сказал, была заброшена с тысяча восемьсот

восьмого года, задолго до того, как появился закон об обязательном составлении карт или письменных описаний выработанных копей: тогда, вы сами понимаете, ведение записей и вообще организация разработок были до крайности примитивны. И мы, с вашего разрешения, сэр, за это отвечать не можем! Совершенно очевидно, что мистер Ричард Баррас — надежный хозяин и что он проводил работы в Скаппер-Флетс в соответствии с лучшими и благороднейшими традициями данной промышленности. Он и не подозревал о грозившей опасности.

Я не могу поверить, чтобы мистер Нэдгент, выставляя свидетелем Фенвика, действительно хотел доказать, что некоторые из шахтеров, лишившихся жизни во время катастрофы, ранее высказывали опасения насчет вторжения воды в Скаппер-Флетс.

Я прошу вас, сэр, взвесить слова Фенвика о сообщениях, сделанных ему отцом, и признать, что для такого чудовищного предположения не имеется ни малейшего основания. В лучшем случае — это случайный разговор. А мы слышали показания под присягой всех ответственных служащих рудника, что ни один рабочий и ни один местный житель не выражал каких-либо опасений или хотя бы предчувствий катастрофы.

Свидетель Фенвик с достойной сожаления запальчивостью настойчиво твердил нам о своей беседе с мистером Баррасом в вечер тринадцатого апреля. Но, сэр, какое значение мог придать человек, стоящий во главе предприятия, столь необоснованному и дерзкому выступлению, как выступление Фенвика в тот вечер? Если бы вопрос поднят был каким-нибудь компетентным и ответственным лицом — скажем, мистером Армстронгом, мистером Гудспетом или другим служащим, — дело приняло бы совершенно иной оборот. Но приходит посторонний человек и в самых неясных и обличающих неосведомленность выражениях заявляет об угрозе затопления, о сырости в шахте. В «Нептуне», сэр, вообще мокро, но то количество воды, которое там было, не указывало на опасность затопления.

Словом, как мы точно установили, сэр, администрация не знала о непосредственной близости места работ к старой, залитой водой шахте. Не существовало никакой карты ввиду отсутствия соответствующего закона до тысяча восемьсот семьдесят второго года. Вот, сэр, чем объясняется создавшееся положение. И на этом я, с вашего разрешения, закончу.

Судья. Благодарю вас, мистер Роско, за превосходное, четкое изложение сути дела. Мистер Нэджент, желаете вы, чтобы я и вам предоставил слово?

Гарри Нэджент медленно поднялся с места.

Гарри Нэджент. Господин председатель, мне остается сказать немного. Я намерен поднять в палате общин вопрос о пересмотре всего закона о копях, в которых имеется вода. Это не первый случай затопления. Были и раньше такие же случаи, когда погибало множество людей, и при этом шахтовладельцы также ссылались на отсутствие необходимых планов. Я должен еще раз указать на всю серьезность данного вопроса. Если мы хотим добиться безопасности в наших шахтах, то давно пора сделать что-нибудь для этого. Всем нам известны случаи, когда владельцы копей проявляют беспечность, я даже сказал бы — нечто худшее, чем беспечность, предпринимая разработку под землей у самого целика, если в перспективе имеется добыча выгодного для них угля. Такая ненормальность неизбежно связана с системой частной собственности. Даже в благополучные годы в копях нашей страны насчитывается в среднем четыре смертных случая в день в течение круглого года в триста шестьдесят пять дней. Вы только подумайте: каждые шесть часов гибнет человек, каждые три минуты — несчастный случай. Нас здесь обвиняли в резкости. Я прошу вас понять, что меня интересует не столько результат данного единичного случая, сколько общий результат — достижение безопасности в копях. Мы вынуждены пользоваться такими случаями, как этот, в целях агитации за лучшие условия работы и более благоприятные законы, потому что только тогда, когда происходят подобные несчастья, нам уделяется некоторое внимание. Так называемый «прогресс в угольной промышленности», вместо того чтобы принести с собой уменьшение количества смертных и несчастных случаев, увеличил количество тех и других. И мы глубоко убеждены, что до тех пор, пока будет существовать экономическая система, основанная на частном владении, люди будут гибнуть напрасно. Это все, что я хотел сказать сейчас, сэр.

Судья (*отрывисто*). В таком случае мне остается объявить расследование законченным. Но предварительно я хочу поблагодарить всех, кто принял в нем участие. Я хотел бы также выразить сочувствие осиротевшим семьям, в особенности родным тех

десяти человек, тела которых до сих пор не извлечены из шахты. В заключение поздравляю мистера Ричарда Барраса, делавшего геройские усилия спасти погребенных внизу людей, и прошу немедленно занести в протокол, что, на основании всего здесь высказанного, он выйдет из зала суда без единого пятна на своей репутации.

По залу пронесся шепот, глубокий вздох облегчения. Когда судья встал, поднялся грохот стульев, взволнованное жужжание голосов. Двойные двери в глубине распахнулись, и зал быстро пустел. Когда Баррас и Артур вышли на ступени подъезда, полковник Гэскойн и другие пробрались к ним с поздравлениями. Прокричали даже негромкое «ура». Вокруг Барраса толпилось все больше людей, жаждавших пожать ему руку. А Баррас стоял на верхней ступеньке (немного впереди Артура, все еще мертвенно-бледного), без шляпы, слегка покраснев, выпрямив плечи. Он, казалось, не торопился скрыться от лучей своей славы. Он оглядывался направо и налево и победоносно, с выражением торжествующей добродетели, пожимал каждую протянутую ему руку. Его волнение словно передалось ожидавшей снаружи толпе. Снова загремело «ура», потом в третий раз, все громче и громче. Глубоко удовлетворенный, Баррас стал медленно спускаться по ступеням, все еще с непокрытой головой, а за ним — Гэскойн, Линтон Роско, Бэннерман, Армстронг, Дженнингс и позади всех Артур.

Толпа почтительно расступалась перед группой столь видных людей. Баррас впереди всех зашагал через улицу; высоко подняв голову, он жадно высматривал в толпе знакомые лица, ловил льстивые приветствия, важно бросал тому и другому какое-нибудь замечание, чувствуя, что теперь настроение толпы изменилось в его пользу, в пользу человека, вышедшего из зала суда без единого пятна на репутации, человека, не замаранного грязью, которой его забрасывали; в ушах еще звучали последние слова судьи о «подлинно геройских усилиях спасти погребенных в шахте».

Возвращение в «Холм» превратилось как бы в триумфальное шествие.

Между тем в зале суда Дэвид не двигался с места, прислушиваясь к крикам «ура», к тяжелому топоту ног снаружи и туго разглядывая запотевшие стены, мух, жужжавших на грязных оконных стеклах.

Но постепенно к нему возвращалось присутствие духа. Что пользы отчаиваться? Этим горю не поможешь.

Чье-то прикосновение к его плечу заставило Дэвида медленно обернуться. Подле него в опустевшем зале стоял Гарри Нэджент.

Он сказал ласково:

— Ну, вот и кончилось все.

— Да.

Внимательно всматриваясь в безучастное лицо Дэвида, Нэджент присел рядом с ним:

— Неужели вы ожидали чего-нибудь другого?

— Да. — Дэвид, видимо, серьезно обдумывал то, что хотел сказать. — Да, я от суда ожидал справедливости. Я знаю, что Баррас заслуживает осуждения. Его следовало наказать. А вместо этого его восхваляют, кричат «ура» и отпускают его домой.

— Не принимайте это так близко к сердцу.

— Не во мне тут дело. Я-то что? Со мной ничего не случилось. Но другие...

Легкая улыбка скользнула по губам Нэджента. Улыбка самая дружеская. За время следствия и суда он много наблюдал Дэвида и очень его полюбил.

— Мы не так уж мало сделали, — размышлял он вслух. — Теперь мы можем заставить министерство горной промышленности заняться вопросом о старых, залитых водой копях. Мы много лет выжидали удобного случая. Ведь это — главное. Способны вы именно так посмотреть на все это дело?

Дэвид поднял голову, упрямо борясь с ощущением внутренней опустошенности, с горечью поражения.

— Да, способен, — пробормотал он.

Выражение его глаз внезапно нарушило ясное спокойствие Нэджента. Он обнял Дэвида за плечи:

— Я понимаю, что вы чувствуете, мой друг, но не надо огорчаться. Вы действовали правильно. Ваши показания помогли нам больше, чем вы думаете.

— Ничем я не помог. Хотел, но не сумел. Вся жизнь я только говорил о том, что хочу что-нибудь сделать...

— И сделаете. Не упускайте только возможности. Я вас из виду терять не буду. Посмотрим, что можно сделать. А пока не вешайте носа!

Он встал и посмотрел в сторону двери: там его ожидал Геддон, разговаривавший с Джимом Дэдженем.

— Вот что, Дэвид, приходите к шести часам на вокзал. Мы там еще потолкуем.

Он ободряюще кивнул головой и отошел к Геддону и Дэджену. Все трое вышли и направились на Каупен-стрит, где временно помещалось отделение Союза. Через минуту и Дэвид встал, взял шляпу. Выйдя из ратуши, он пошел по Фрихолд-стрит. Он был вконец измучен.

С характерной для него напряженностью переживаний он весь ушел в этот судебный процесс; шесть дней он и не показывался в школе. И вот чем все кончилось! Он упрямо горбатил плечи, снова стараясь вернуть себе самообладание. Не время теперь распускаться! Не время для мелочной злобы и истерик!

Он прошел всю Фрихолд-стрит и, перейдя на другую сторону, свернул на Лам-стрит. Здесь его кто-то окликнул. Это оказался Ремедж. На мяснике была грязная синяя полотняная куртка и широчайший, синий с белым, фартук, перепопсанный ремнем. Он пришел с бойни, и руки его на тыльной стороне были покрыты брызгами уже засохшей крови. Полуденный зной окружал его красноватой дымкой.

— Эй, Фенвик, погодите минутку!

Дэвид остановился, но молчал. Ремедж расстегнул воротник на толстой шее, сунул затем большие пальцы обеих рук за кожаный пояс и откинулся назад, меряя Дэвида глазами.

— Что же, ваш рабочий день в муниципалитете окончился? — сказал он с едким сарказмом. — Неудивительно, что у вас такой довольный вид. Еще бы, вы ведь за эту неделю стали гордостью Слискейла! Выходит и спорит с Линтоном, как настоящий адвокат! — Ремедж фыркал все громче и громче. Очевидно, он был уже осведомлен обо всех подробностях последнего заседания суда. — Но на вашем месте я не был бы так спокоен. Может, это дело обойдется вам дороже, чем вы думаете.

Дэвид ждал, глядя Ремеджу прямо в лицо. Он видел, что против него что-то готовится. Наступила пауза, затем Ремедж переменил саркастический тон на угрожающий и сдвинул брови:

— Что вы, черт вас возьми, думали, бросая школу без разрешения на целых шесть дней? Вы полагаете, что место закреплено за вами навеки?

— Я обязан был присутствовать на суде.

— Никто вас не обязывал. Вы ходили туда только из низкой злобы. Ходили, чтобы обливать грязью одного из виднейших людей нашего города, общественного деятеля, как и я, человека, устроившего вас на службу, хотя вы этого совсем не заслуживаете! Вы укусили руку, которая вас кормила. Но, клянусь богом, вы пожалеете об этом!

— А это уж мое дело, — сказал Дэвид отрывисто и повернулся, собираясь уйти.

— Погодите минуту! — заорал Ремедж. — Я еще не кончил. Я всегда знал, что вы такой же смутьян, как ваш отец. Вы попросту мерзкий социалист. Нам такие учителя в школах не нужны. Мы вас выгоним вон.

Пауза. Дэвид посмотрел на Ремеджа:

— Вы не можете меня уволить.

— Вот как, не могу? Неужели? — В голосе Ремеджа слышалось откровенное торжество. — Если желаете знать, мы созвали вчера вечером попечительский совет, чтобы обсудить ваше поведение, и единогласно решили требовать вашего увольнения.

— Что?

— То, что слышите! Завтра получите от Стротера предупреждение. Ему нужен человек, имеющий степень бакалавра, а не шахтер-недоучка, как вы.

Целую минуту Ремедж злорадно наблюдал за лицом Дэвида, затем с насмешливой улыбкой на жирных губах повернулся к нему спиной и вошел в лавку.

Дэвид шагал по Лам-стрит, опустив голову, глядя в землю.

Воротясь домой, он прошел в кухню и автоматически принялся готовить себе ужин. Дженни была в Тайнкасле у матери, он отправил ее туда на этой неделе, чтобы избавиться от волнений, связанных с судом. Он сел за стол и все помешивал ложкой в чашке, но не дотронулся до чая. Так, значит, его хотят уволить. Он сразу понял, что Ремедж не лжет. Конечно, можно еще повоевать, подать жалобу в Северную ассоциацию педагогов. Но что толку? Лицо Дэвида приняло жесткое выражение. Нет, пускай делают, что хотят. Сегодня в шесть часов он поговорит с Нэджен-том. Пора выбраться из этого тупика, пора приняться за настоящее дело, оправдать свое существование.

В три четверти шестого он вышел из дому и отправился на вокзал, но на полдороге заметил какую-то суматоху в верхнем

конце улицы и, вглядевшись, увидел двух мальчишек-газетчиков, которые мчались вниз по холму, азартно размахивая вечерними газетами. Дэвид остановился и купил газету. Забытые на время суда слухи и тайные опасения вдруг вновь вспыхнули в его памяти. Через всю первую страницу газеты шел черным шрифтом заголовок:

*«Срок ультиматума Англии истекает сегодня
в двенадцать часов ночи»*

II

Во вторую субботу сентября 1914 года Артур около часу дня возвращался домой из «Нептуна». На шахте снова все было по-прежнему, работа возобновилась, трагическая катастрофа, казалось, была забыта, память о ней погребена навсегда. А между тем лицо Артура не выражало удовлетворения. Он шел по дороге походкой усталого человека. Войдя в усадьбу, он увидел, что, как он и ожидал и боялся, сегодня прибыл новый автомобиль. Бартли, отправленный на месяц в Тайнкасл на курсы шоферов, сегодня сам приехал в нем, и автомобиль стоял на дорожке перед домом, — машина типа «ландо», сочетание блестящего коричневого лака со сверкающей медью. У нового автомобиля стоял Баррас, и, когда Артур проходил мимо, он его окликнул:

— Посмотри, Артур, вот он наконец!

Артур остановился; он был в рабочем костюме шахтера. Бросив на автомобиль угрюмый взгляд, он сказал:

— Да, вижу.

— У меня теперь столько дел, что автомобиль попросту необходим, — пояснил Баррас. — Глупо, что я не подумал об этом раньше. Бартли говорит, что у машины прекрасный ход. Сегодня вечером мы с тобой прокатимся в Тайнкасл и испытаем ее.

Артур, казалось, раздумывал.

— К сожалению, я ехать не могу, — сказал он наконец.

Баррас засмеялся. Смех тоже был новый, как и автомобиль. Он ответил:

— Ерунда. Мы проведем вечер с Тоддами. Я заказал для всей компании обед в Центральной.

Артур отвел глаза от автомобиля и уставился теперь на отца. Лицо Барраса не было красно, а между тем оно, казалось, пыла-

ло: глаза и рот были ярче, чем прежде, особенно глаза — маленькие, за сильными стеклами. В нем замечалась какая-то суетливость, непонятное возбуждение: может быть, это новый автомобиль так обрадовал его?

— Я не знал за тобой привычки давать обеды в Центральной, — заметил Артур.

— У меня и нет такой привычки, — ответил его отец с неожиданным раздражением. — Но сегодня особый случай. Алан отправляется со своим батальоном на фронт. Мы все им гордимся. К тому же я некоторое время не встречался с Тоддом. Хочу его повидать.

Артур опять подумал с минуту, затем спросил:

— Ты не виделся с Тоддом с тех пор, как случилось несчастье в копиях?

— Да, — отрывисто подтвердил Баррас.

Наступило молчание.

— Знаешь, отец, меня всегда поражало, что ты не попросил Тодда выступить и поддержать тебя на суде.

Баррас резко повернулся к сыну:

— Поддержать! К чему? Выводы следствия были совершенно удовлетворительны, не так ли?

— Удовлетворительны?

— Да, именно, — отрезал Баррас. Он достал из кармана платок и стер небольшое пятно с радиатора. — Так ты едешь в Тайнкасл или нет?

Артур ответил, глядя себе под ноги:

— Да, папа, поеду.

Оба молчали, пока не прозвучал гонг.

Артур пошел за отцом в столовую завтракать. Баррас шел несколько быстрее обычного. Артуру показалось даже, что он торопится. В последнее время походка отца стала такой быстрой, что всегда казалось, будто он спешит.

— Замечательная машина! — объявил за столом Баррас, обращаясь к тетушке Кэрри. — Надо будет вам покататься в один из ближайших дней, Кэролайн.

Тетушка покраснела от удовольствия, но раньше, чем она успела ответить, Баррас развернул газету — экстренный выпуск, привезенный Бартли из Тайнкасла. Быстро просмотрев первую страницу, он заметил с удовлетворением:

— Ага! Есть новости. И хорошие новости. — Его зрачки слегка расширились. — «Немцам дан серьезный отпор на Марне. У них тяжелые потери. Наши пулеметы косили их продольным огнем. Громадные потери. Насчитывают до четырех тысяч убитых и раненых».

Артур вдруг сделал наблюдение, что отец смакует эти потери, это убийство четырех тысяч человек, с какой-то своеобразной, бессознательной жадностью. По его телу прошла легкая дрожь.

— Да, громадное количество, — сказал он вслух ненатуральным тоном, — четыре тысячи человек! Почти в сорок раз больше, чем погибло у нас в «Нептуне».

Мертвая тишина. Баррас опустил газету, впился глазами в Артура и наконец сказал, повысив голос:

— Со странной меркой ты подходишь к вещам, если способен одинаковым тоном говорить о нашей неприятности в шахте — и об *этом*. Если ты не перестанешь вечно думать о том, что прошло и позабыто, ты превратишься в настоящего маньяка. Надо взять себя в руки. Неужели ты не сознаешь, что на наших глазах происходит народное бедствие? — Он нахмурил брови и снова углубился в газету.

Новая пауза. Артур с трудом доел завтрак и сразу же ушел к себе наверх. Он сел на край кровати и уныло смотрел в окно.

Что такое с ним делается? Несомненно, отец сказал правду: он становится маньяком, настоящим маньяком, и не может с этим бороться. Сто пять человек погибло в шахтах «Нептуна». И он не может забыть о них. Эти люди жили в его сознании, были всегда с ним — во время еды, прогулки, работы. Они являлись ему во сне.

Забуть о них было невозможно. Вся эта «резня», как выражался его отец, эта страшная резня, убийство тысяч людей бомбами, пулями, гранатами, шрапнелью — все, казалось, только усугубляло и заостряло его болезненное копание в себе. Война сама по себе для него не существовала. Она была лишь эхом, мощным отголоском несчастья в «Нептуне». Это был одновременно и новый ужас, и повторение старого. Жертвы войны были и жертвами копей. Война была как бы катастрофой в «Нептуне», увеличенной в гигантском масштабе: то первое наводнение разливалось могучим потоком, ширилась трясина, в которой тонула высокая идея о драгоценности человеческой жизни.

Артур беспокойно зашевелился. С недавнего времени его пугали собственные мысли. Его мозг представлялся ему хрупким стеклянным сосудом, в котором эти страшные мысли мешались и бурлили, подобно химическим веществам, способным соединиться и вызвать внезапный взрыв. Он чувствовал, что не может помешать этим бурным реакциям.

Больше всего пугало Артура его новое отношение к отцу. Он любил отца с детства, любил и преклонялся перед ним. А теперь он все чаще и чаще ловил себя на том, что следит за отцом, критикует его, внимательно наблюдает и нанизывает одно наблюдение на другое, как сыщик, который шпионил бы за Богом. Всей душой хотел бы он прекратить это кощунственное шпионство, но не мог: перемена в отце делала это невозможным. Он знал, что отец переменялся. Знал — и это его пугало.

Долго сидел он на кровати, размышляя. Потом лег и закрыл глаза. Он вдруг почувствовал усталость, потребность уснуть.

Проснулся поздно. Припомнил все, вздохнул и, встав, начал переодеваться.

В шесть часов он сошел вниз. Отец уже ждал его в передней. Когда Артур подошел к нему, Баррас многозначительно посмотрел на часы: в последнее время он усвоил привычку часто, щелкая крышкой, открывать часы и озабоченно хмурился, глядя на циферблат, как человек, которому время дорого.

Да, время, видимо, приобрело теперь новое значение для Барраса; казалось, он спешит использовать каждое мгновение.

— Я боялся, что ты опоздаешь. — И, не ожидая ответа, он пошел впереди Артура к автомобилю.

Когда они уселись в автомобиль и помчались в Тайнкасл, Артур чувствовал себя уже менее угнетенным. В конце концов, это ведь приятная поездка. Он целую вечность не видел Гетти и радовался тому, что увидит ее. Да и автомобиль оказался превосходным. Артур не мог остаться равнодушным к его упругому и ровному ходу. Баррас сидел выпрямившись, с довольным видом, словно ребенок, жадно рассматривающий новую игрушку.

Приехали в Тайнкасл. Улицы кишели людьми. Чувствовалось какое-то тревожное оживление, и это, видимо, было приятно Баррасу. Когда они подъехали к Центральной гостинице, старший швейцар открыл дверцу их машины с той торжественностью, которую швейцары всегда приберегают для дорогих автомобилей. Баррас кивнул ему. Швейцар низко поклонился.

Они вошли в зал, где собралось уже множество народа и царило такое же беспокойное оживление, как на улицах. Здесь было много мужчин в военной форме. Баррас одобрительно посматривал на них.

Гетти весело делала им знаки из угла, где она заняла место у камина, а Алан, ее брат, встал, когда подошли Баррас и Артур. Первым вопросом Барраса было:

— Где же ваш отец?

Алан усмехнулся. Он был очень эффектен в форме младшего лейтенанта и весело настроен, так как успел уже хлебнуть немало.

— У отца приступ его старой болезни, разлитие желчи. Он просит его извинить.

Баррас казался смущенным, лицо у него вытянулось.

Наступила выразительная пауза. Но Баррас быстро оправился и неопределенно улыбнулся Гетти. Через минуту все четверо пошли обедать. В ресторане Баррас, развертывая салфетку, обвел глазами комнату, полную людей. Большинство тех, кто веселился шумнее других, были в хаки. Баррас сказал:

— Как тут весело! Я несколько переутомился за последнее время. Приятно будет развлечься в такой обстановке.

— Вы, верно, рады, что все уладилось? — заметил Алан с многозначительным взглядом.

Баррас ответил коротко:

— Да.

— Это такие пакостники, — продолжал Алан. — Они бы и вам насолили, если бы имели возможность. Знаю я эту свинью Геддона. Ему платят за то, чтобы он поступал по-скотски, но он и без того, по природе своей, настоящий скот!

— Алан! — с недовольной гримаской запротестовала Гетти.

— Знаю, Гетти, знаю, — беспечно продолжал Алан. — Мне немало приходилось иметь дело с людьми. Не проглотить их сам, так они тебя проглотят. Это самозащита.

Артур украдкой посмотрел на отца. Что-то похожее на прежнюю замороженность снова проступило сейчас на лице Барраса. С явным желанием переменить разговор он сказал:

— Ты уезжаешь в понедельник, Алан?

— Да.

— И доволен, конечно?

— Еще бы! — громко подтвердил Алан. — Это здорово приятно!

Подошел лакей с карточкой вин. Баррас взял у него карточку в красной обложке и долго раздумывал над ней. Впрочем, он занят был не столько выбором вина, сколько совещанием с самим собой. Наконец решение созрело.

— Полагаю, нам надо это отпраздновать. Почему не воспользоваться таким случаем?

Он заказал шампанское, и лакей с поклоном отошел.

Гетти обрадовалась. Она всегда немного побаивалась Барраса, его чопорность и холодная важность как-то отпугивали ее, но сегодня он удивил ее, выступив неожиданно в роли любезного хозяина. Она подарила его улыбкой, нежной и почтительной.

— Вот это мило! — шепнула она. Одной рукой она перебирала бусы на шее, а в пальцах другой сжимала ножку своего бокала с вином.

Она обратилась к Артуру:

— Не правда ли, Алану удивительно идет военная форма?

Артур принужденно усмехнулся:

— Алан хорош в любом платье.

— Нет, серьезно, Артур, тебе не кажется, что форма очень его красит?

Артур деревянным голосом ответил:

— Да.

— Но чертовски утомительно все время отвечать на приветствия, — вставил Алан снисходительным тоном. — Вот погоди, Гетти, поступишь в Женский добровольный отряд, так сама узнаешь.

Гетти отхлебнула еще капельку шампанского из своего бокала. Она о чем-то размышляла, склонив набок красивую головку:

— А ты, Артур, будешь просто великолепен в военной форме.

У Артура все внутри похолодело. Он сказал:

— Я как-то не представляю себя в военной форме.

— Видишь ли, Артур, ты, во-первых, строен, у тебя самая подходящая фигура для «Сэма Брауна». И потом — твой цвет лица! Ты будешь очарователен в хаки.

Все посмотрели на Артура. Алан подтвердил:

— Это верно, Артур. Ты бы всех за пояс заткнул. Жаль, что ты не едешь вместе со мной.

Артур не мог бы объяснить, почему он в эту минуту внутренне задрожал. Нервы его были напряжены, весь нынешний вечер представлялся ему чем-то ненормальным, отвратительным. Зачем отец сидит здесь, в шумном ресторане, пьет шампанское, поддерживает патриотическое бахвальство Алана Тодда да и сам так неестественно оживлен и на себя не похож?

— Слышишь, Артур? — повторил Алан. — Нам с тобой следовало бы двинуться вместе.

Артуру пришлось сделать над собой усилие, чтобы ответить. Он старался говорить легким тоном:

— Я думаю, дело без меня обойдется, Алан. По правде говоря, меня оно не очень привлекает.

— Ах, Артур! — разочарованно протянула Гетти.

Считая Артура уже как бы своей собственностью, она желала, чтобы он во всем был на высоте, чтобы он, как она выражалась, «блистал» всегда. А последнее замечание Артура не очень-то блестяще! Подвижное личико Гетти сморщилось в милой неодобрительной гримаске:

— Странная у тебя манера выражаться, Артур. Кто тебя не знает, может подумать, что ты трусишь.

— Пустяки, Гетти, — снисходительно вмешался Баррас. — Артур просто не успел об этом подумать. В скором времени вы увидите, как он со всех ног помчится на ближайший вербовочный пункт.

— О, я в этом уверена, — горячо сказала Гетти, опуская ясные глаза и немного сожалея о своих словах.

Артур промолчал. Он не поднимал глаз от тарелки. Отказался от шампанского. Отодвинул десерт. Он предоставил остальным вести беседу, не принимая в ней никакого участия.

В дальнем конце зала, где было приготовлено место и навощен пол для танцев, заиграл оркестр. Оркестр громко играл «Боже, храни короля», и все встали, загремев стульями, а по окончании долго и громко кричали «ура». Затем оркестр, уже не так громко, стал играть танцы. По субботам в Центральной всегда танцевали.

Гетти через стол улыбнулась Артуру: оба они танцевали хорошо и любили танцевать вдвоем. Когда Гетти танцевала с Артуром, ей часто говорили, что они очаровательная пара. И она ожидала, что Артур сейчас пригласит ее. Но он сидел, мрачно уставившись в тарелку, и молчал.

В конце концов всем стало ясно, что он не в духе. И Алан, всегда услужливый, наклонился к сестре:

— Не хочешь ли пройтись разок со старым боевым конем, Гетти?

Гетти улыбнулась с преувеличенной живостью. Алан танцевал плохо, тяжеловесно, он не любил танцев, и танцевать с ним не доставляло Гетти никакого удовольствия. Но Гетти притворилась довольной. Она поднялась и пошла с Аланом.

В то время как они танцевали, Баррас сказал:

— А Гетти премилая девочка. Так скромна и вместе с тем такая живая!

Тон у него был дружелюбный и уже спокойный. После обеда и шампанского Баррас казался более уравновешенным.

Артур не отвечал. Он искоса наблюдал танцующих Гетти и Алана и изо всех сил старался побороть свое необъяснимо скверное настроение.

Когда Гетти и Алан вернулись к столику, он из вежливости пригласил ее танцевать, — попросил об этом натянуто, все еще огорченный и больно задетый.

Чудесно было танцевать с Гетти, она была так податлива в его объятиях, и при каждом движении ее тела он ощущал аромат духов, составлявший как бы часть ее самой. Но именно потому, что это было так чудесно, Артур поклялся себе, что протанцует с ней только этот единственный раз, не больше.

Потом Гетти сидела, отбивая такт ножкой, обувой в изящную туфельку, пока наконец не выдержала и не сказала с подкупающим выражением живейшего огорчения:

— Что же, никто сегодня не хочет танцевать?

Артур поспешно отозвался:

— Я устал.

Молчание. И вдруг Баррас сказал:

— Если я могу пригодиться, Гетти, то я к твоим услугам. Но боюсь, что не знаю некоторых новых па.

Гетти посмотрела на него с сомнением, несколько растерявшись.

— Да они очень легкие, — возразила она, — надо ходить, больше ничего.

На лице Барраса появилась эта его новая улыбка, неопределенная, но довольная.

— Ну что ж, если ты не боишься, давай попробуем. — Он встал и предложил ей руку.

Артур сидел как одеревенелый, с застывшим лицом, наблюдая за отцом и Гетти, которые, обняв друг друга, медленно двигались в конце зала. Отец всегда относился к Гетти холодно-покровительственно, а Гетти к нему — с робким почтением. Теперь они танцевали вместе. Он ясно различал улыбку Гетти, кокетливую улыбку женщины, польщенной вниманием, которое ей оказывают.

Затем он услышал голос Алана, который предлагал ему выйти вместе из зала, и он машинально встал и пошел за Аланом. Алан был уже явно нетрезв. Лицо его пылало румянцем. В уборной он остановился перед Артуром, немного пошатываясь.

— А твой старик сегодня угостил нас на славу, Артур. Никогда бы не поверил!.. Шикарные проводы устроил старому боевому коню!

Он открыл оба крана так, что вода с силой хлынула в раковину, затем снова повернулся к Артуру и сказал конфиденциальным тоном:

— А знаешь, Артур, мой папаша здорово зол на твоего за то, что он не пригласил его выступить на суде. Он на этот счет много не распространяется, но я знаю, я все отлично знаю, Артур.

Артур с тревогой посмотрел на Алана.

— Беспokoиться нечего, Артур. — Алан махнул рукой с мудрым дружеским участием. — Ни малейшего повода для беспокойства, Артур, понимаешь? И пусть все останется между нами, понимаешь, между наилучшими старыми друзьями.

Артур все смотрел безмолвно на Алана, он не находил слов. Смесь подозрений, неуверенности и страха сразу поднялась в душе.

— Что ты хочешь сказать? — спросил он наконец.

Неожиданно вода в переполненной раковине хлынула через край и стала заливать пол.

Артур ошеломленно смотрел... Вот так и в «Нептуне» — вода заливала шахту, неслась по извилистым незримым каналам, поглощая людей среди ужаса и мрака.

Артур весь трясся, как в припадке. Он твердил себе страстно: «Я должен узнать правду! Хотя бы эта правда меня убила, я должен ее узнать».

III

На обратном пути Артур дождался, пока остались позади шумные улицы Тайнкасла, и, когда автомобиль жужжа понесся по прямой и тихой дороге между Кенстоном и Слискейлом, он сказал быстро:

— Я хочу тебя кое о чем спросить, папа.

С минуту Баррас не отзывался; он сидел в углу, откинувшись на мягкую спинку сиденья, и в темноте лица его не было видно.

— Ну, — сказал он наконец неохотно. — Чего тебе надо?

Тон был сильно обескураживающий, но Артура уже ничем нельзя было остановить.

— Это насчет катастрофы.

Баррас сделал жест досады, почти отвращения. Артур скорее угадал, чем увидел этот жест. Они помолчали, затем раздался голос отца:

— Почему ты вечно носишься с одним и тем же? Мне это порядком надоело. Я провел приятный вечер, с удовольствием танцевал с Гетти, — я не думал, что так легко выучу эти па, — и не желаю, чтобы ко мне приставали с тем, что окончательно улажено и забыто.

— Я не забыл, отец. Не могу забыть.

Баррас некоторое время сидел молча и неподвижно.

— Артур, я от всей души надеюсь, что ты это забудешь. — Он говорил сдержанно, стараясь, видимо, под этой сдержанностью скрыть все растущее раздражение. — Не думай, что я не заметил, как это началось. Я видел. Теперь выслушай меня и попытайся рассуждать здраво. Ты на моей стороне, не так ли? Мои интересы — твои интересы. Тебе двадцать два года. Очень скоро ты станешь моим компаньоном в «Нептуне». Как только война кончится, я это сделаю. И когда ни одна живая душа больше не вспоминает о случившемся, не безумие ли с твоей стороны постоянно возвращаться к этому?

Артуру стало до тошноты противно. Напоминая ему о его доле в «Нептуне», отец как бы предлагал ему взятку. Голос Артура дрогнул:

— Я не вижу в этом никакого безумия. Я хочу знать правду.

Баррас наконец вышел из себя.

— Правду! — воскликнул он. — Разве не было расследования? Одиннадцать дней тянулось это, и все проверено и выясне-

но. Тебе известно, что я реабилитирован. Вот тебе и правда. Чего же ты еще хочешь?

— Расследование было простой формальностью. От такого суда скрыть факты очень легко.

— Какие факты? — вскипел Баррас. — Ты что, с ума сошел?

Артур смотрел перед собой, сквозь стекло, на неподвижные очертания спины Бартли.

— Разве ты не знал и раньше, что затеял рискованное дело, отец?

— Всем нам приходится рисковать, — отрезал Баррас сердито. — Решительно всем. Подземные разработки — такое уж дело, что рискуешь, и рискуешь каждый день. Это неизбежно.

Но Артура не легко было сбить с толку.

— Разве Адам Тодд не предупреждал тебя, раньше чем ты начал выемку угля из дейка? — сказал он с каменным лицом. — Помнишь, в тот день, когда ты приезжал к нему? Разве не сказал он тебе, что это опасно? А ты все-таки поставил на своем.

— Ты говоришь глупости! — Баррас уже почти кричал. — Решать такие вопросы — мое дело. «Нептун» — мой, и я им управляю так, как считаю нужным. Никто не имеет права вмешиваться. Я стараюсь вести дело наилучшим образом.

— Наилучшим для кого?

Баррас всеми силами старался сохранить самообладание:

— Ты полагаешь, что «Нептун» — благотворительное учреждение? Должен я заботиться о его доходности или нет?

— Вот то-то и есть, отец, — тихо произнес Артур. — Ты хотел получить прибыль, колоссальную прибыль. Если бы ты велел выкачать воду из старых выработок, прежде чем приступить к выемке угля в Скаппер-Флетс, не было бы никакой опасности. Но ведь затраты на осушку старой шахты поглотили бы прибыль. Согласиться на это было выше твоих сил. И ты решил рискнуть — оставить воду в старых выработках и послать всех этих людей туда, где им грозила смерть.

— Довольно! — грубо оборвал его Баррас. — Я не позволю тебе так говорить со мной!

Фонари проехавшего мимо экипажа на миг осветили его лицо: оно пылало от прилива крови, лоб был красен, воспаленные глаза сверкали гневом. Затем внутри автомобиля стало совсем темно. Артур, дрожа, прижался к спинке сиденья, губы его были белы, душу раздирало невообразимое смятение.

В словах отца он чуял все то же странное беспокойство, то-ропливость, уклончивость, — это смутно напоминало бегство от опасности. Артур больше не говорил ни слова. Автомобиль свернул в аллею «Холма» и подкатил к подъезду. Артур прошел вслед за отцом в дом, и в высокой, ярко освещенной передней они остановились лицом к лицу. Странное выражение было в глазах Барраса, когда он стоял так, положив руку на резные перила лестницы, собираясь идти наверх.

— Ты что-то очень много рассуждаешь в последнее время, слишком много. Не лучше ли для разнообразия попробовать делать что-нибудь?

— Я тебя не понимаю, папа.

Баррас сказал через плечо:

— Не приходило ли тебе в голову, например, что следует пойти сражаться за отечество?

Затем он отвернулся и, тяжело ступая, начал подниматься по лестнице.

Артур все стоял, откинув голову и следя за удалявшейся фигурой отца. Его обращенное вверх бледное лицо было перекошено судорогой, он чувствовал, что любовь к отцу умерла в нем и что из ее пепла рождалось нечто жуткое и зловещее.

IV

В тот самый субботний вечер, но несколько раньше, Сэмми Фенвик и Энни Мэйсер гуляли по дороге, носившей название Аллея. Вот уже несколько лет Сэмми и Энни гуляли здесь каждую субботу вечером. Каждую субботу они встречались около семи часов на углу Кэй-стрит. Обычно Энни приходила первая и бродила взад и вперед в своих толстых шерстяных чулках и хорошо начищенных башмаках, спокойно ходила по Аллее в ожидании Сэмми. Сэмми всегда запаздывал. Он являлся минут через десять после назначенного часа, со свежевыбритым подбородком и блестящим лбом, в своем парадном синем костюме.

— Я опоздал, Энни, — говорил он с улыбкой. Сэм никогда не извинялся, ему это и в голову не приходило. И, конечно, если бы Сэм вдруг вздумал извиняться, что заставил ее ждать, Энни это показалось бы странным.

И сегодня они вышли на обычную прогулку по Аллее. Не под руку — ничего подобного между Энни и Сэмми не бывало, они никогда не держались за руки, не прижимались друг к другу, не целовались и никаких других неумеренных проявлений чувств себе не позволяли. Сэм и Энни были степенной парой. Сэм уважал Энни. Иногда, когда они проходили по самой темной части Аллеи, Сэм нежно обнимал Энни за талию. И все. Сэмми и Энни просто прогуливались вместе. Энни было известно, что мать Сэма против его выбора. Но она знала, что Сэмми любит ее. И этого было достаточно. Погуляв по Аллее, они возвращались в город. Сэм здоровался со знакомыми: «Здорóво, Нед!» — «Еще раз здравствуй, Том!» — и они по Лам-стрит шли в лавку миссис Скорбящей, где колокольчик звякал и плохо вмазанное стекло в двери дребезжало всякий раз, как входил кто-нибудь. Стоя в темной тесной лавке, они съедали по горячему пирожку с подливкой и выпивали вдвоем большую бутылку лимонаду. Энни предпочитала имбирное пиво, но Сэм больше всего любил лимонад, и, конечно, Энни всегда настаивала на том, чтобы взять лимонад. Иногда Сэм, если он после сверхурочной работы бывал при деньгах, съедал два пирожка, так как пироги миссис Скорбящей были последним словом кулинарного искусства. Но Энни неизменно отказывалась от второго. Энни знала, как подобает вести себя женщине, и никогда не съедала больше одного пирожка. Она обсасывала подливку с пальцев, пока Сэм налегал на вторую порцию. Потом они иной раз болтали с хозяйкой и шли обратно к углу Кэй-стрит, где, раньше чем проститься, любили всегда постоять немного, наблюдая обычную в субботний вечер шумную суету на улицах. И когда они поднимались на Террасы, Сэм думал о том, как чудесно они провели вечер, и какая Энни славная, и какой он счастливеец, что может гулять с ней.

Но в этот вечер, когда Сэм и Энни шли домой по Аллее, видно было, что между ними что-то произошло. Энни была расстроена, а Сэмми в волнении порывался объяснить ей что-то.

— Ты извини меня, Энни... — Он сердито отшвырнул ногой лежавший на дороге камешек. — Я не думал, что тебе это будет так больно, девочка.

Энни промолвила тихо:

— Ничего, Сэмми, ты обо мне не беспокойся. Что же делать! Значит, так надо.

(Как бы Сэмми ни поступил, Энни всегда находила, что так и надо.)

Но ее лицо, тускло белевшее в темноте под деревьями, было печально.

Сэм подбросил ногой камешек:

— Не могу я больше работать в шахте! Честное слово, не могу, Энни. Спускаться туда каждый день с мыслями об отце и Гюи, которые лежат где-то там, внизу, — нет, мне это невмоготу!.. Шахта никогда уже не будет для меня тем, чем была. Никогда, Энни, пока не вытащат оттуда отца и Гюи.

— Я понимаю, Сэмми, — согласилась Энни.

— Видишь ли, мне не то чтобы хочется идти воевать, — продолжал взволнованно Сэм. — Меня мало привлекает вся эта шумиха, трубы, флаги... Но я на это смотрю просто как на выход. Мне надо избавиться от шахты. Пусть что угодно — только не шахта.

— Да, да, Сэмми, — поддержала его Энни. — Я понимаю.

Энни было ясно, что Сэмми, отличный забойщик, любивший свое дело и необходимый в шахте, никогда не ушел бы на войну, если бы не катастрофа в «Нептуне». И печаль, сквозившая в покорности Энни, вызывала в душе Сэма разлад.

— Ах, Энни! — вдруг воскликнул он с чувством. — И надо же было случиться этому несчастью в «Нептуне»! Сегодня, когда я сменился и вынес наверх все мои инструменты, я только об этом и думал все время. А тут еще Дэви. Я здорово расстроен тем, что с ним так поступили. И знаешь, девочка, меня беспокоит его отношение к этому...

Он продолжал с неожиданной горячностью:

— Они не имели права увольнять его из школы. Это Ремедж постарался, он давно точил на нас зубы. Но ведь это позор, Энни!

— Он найдет работу где-нибудь в другом месте, Сэмми.

Но Сэмми покачал головой:

— Он не хочет больше быть учителем, девочка. Он теперь связался с Гарри Нэджентом. Гарри очень отличал его, когда был здесь, и мне думается, что-нибудь из этого да выйдет. — Он вздохнул. — Но я замечаю в Дэви большую перемену.

Энни не отвечала. Она думала о перемене, которая произошла в самом Сэмми.

Они шли по дороге, не разговаривая больше. Было уже почти темно, но когда они проходили мимо «Холма», луна выплы-

ла из-за гряды облаков и облила холодным резким светом дом, квадратный и приземистый, высившийся над дорогой с какой-то вызывающей кичливостью. За широкими белыми воротами, под одним из осенявших их высоких буков, стояли двое — молодой человек в военной форме и девушка без шляпы.

Когда Сэм и Энни дошли до конца Аллеи, Сэм повернулся к Энни:

— Ты видела? Дэн Тисдэйл и Грэйс Баррас.

— Видела, Сэмми.

— Я думаю, Баррасу не понравилось бы, если бы он застал их здесь.

— Да, Сэмми.

— Ох, этот Баррас!.. — Сэмми тряхнул головой и плюнул. — Вышел-таки сухим из воды! Но я на него больше не работник, даже если бы он сам пришел просить меня!

Молчание между ними длилось все время, пока они шли к лавке миссис Скорбящей. Энни крепилась, но мысль, что Сэмми идет на войну, словно парализовала ее. Всякая другая отказалась бы идти в лавку, но Энни угадывала, что Сэмми этого хочется, и поэтому она вошла и мужественно пыталась съесть свой пирожок. Сегодня и Сэмми съел только один и оставил недопITYм полстакана лимонаду.

Когда они остановились на углу Кэй-стрит, Сэм сказал, пытаясь улыбнуться своей обычной улыбкой:

— Не горюй, Энни! В конце концов, и от шахты я не много видел добра. Может быть, война даст мне побольше.

— Может быть, — согласилась Энни. У нее вдруг перехватило горло. — Я еще увижу тебя завтра, Сэмми. Непременно увижу до твоего отъезда.

Сэм кивнул головой, все еще улыбаясь вымученной улыбкой, и воскликнул:

— Поцелуй меня, девочка, чтобы я знал, что ты на меня не сердишься!

Энни поцеловала его и отвернулась, боясь, что Сэм увидит слезы у нее на глазах. Опустив голову, она торопливо направилась домой.

Сэмми медленно взбирался наверх, к Террасам. Он говорил себе, что поступает как дурак, оставляя Энни и хороший заработок ради войны, которая его не интересовала. Но он ничего не мог с собой поделать. После того несчастья в шахте с ним что-то

произошло, — вот так же, как с Дэвидом. Ему все равно, куда уйти, лишь бы уйти из шахты!

Дома мать, как всегда, ожидала его, сидя у окна на жестком стуле с прямой спинкой; и не успел он войти, как она встала, чтобы принести ему горячего какао.

Она подала ему чашку и, стоя у плиты, на которую только что поставила чайник с кипятком, сложив на груди руки с несколько костлявыми локтями, смотрела на сына хмурыми любящими глазами:

— Отрезать тебе пирога, сынок?

Сэм сидел у стола в позе очень усталого человека; сдвинув шапку на затылок, он поднял глаза на мать.

Марта тоже изменилась. Катастрофа не вызвала в ней внутреннего протеста: она приняла ее с мрачным, но спокойным фатализмом женщины, которая всегда знала, что в шахте работать опасно, и давно примирилась с этим. Однако несчастье оставило свой след: морщины на ее лице углубились, щеки еще больше впали, в черных, туго закрученных волосах резко выделялась седая прядь; лоб тоже избородила сеть морщинок. Но Марта все еще без всякого усилия держалась прямо. Ее энергия казалась неиссякаемой.

Сэму ужасно не хотелось сообщать матери новость, но выхода не было. И, как человек бесхитростный, он сразу заговорил об этом.

— Мама, — сказал он, — я записался...

Лицо Марты стало пепельно-серым. И лицо и губы были теперь одного цвета с седой прядью в волосах. Рука ее инстинктивно поднялась к горлу. В глазах появилось что-то одичалое.

— Ты хочешь сказать... — Она остановилась, но в конце концов принудила себя выговорить это слово: — ...в армию?

Он подтвердил угрюмым кивком:

— В пятый стрелковый. Я уже сегодня сдал инструменты. В понедельник выступаем.

— В понедельник, — пробормотала она, заикаясь, все тем же тоном дикого, недоверчивого испуга.

Продолжая глядеть на сына, она опустилась на стул. Сидела медленно, осторожно, все еще прижимая руку к горлу. Она вся сжалась, словно раздавленная его словами, но все еще отказывалась верить. Сказала тихо:

— Тебя не возьмут. Шахтеры им нужны здесь, на родине. Не могут они снять с работы такого хорошего забойщика, как ты.

Сэм избегал ее умоляющего взгляда:

— Меня уже приняли.

Эти слова ее сразили. Наступило долгое молчание. Потом она спросила шепотом:

— Как ты мог сделать такую вещь, Сэмми? Нет, как ты мог это сделать?..

Он отвечал упрямо:

— Я не виноват, мать: не могу я больше выносить шахту!

V

Во вторник, около пяти часов, Дэвид возвращался домой по Лам-стрит. Было еще светло, но уже по-вечернему тихо на улицах. Войдя в дом, Дэвид остановился в тесной передней и первым делом посмотрел на металлический подносик, на который Дженни со своей неизменной страстью к «хорошему тону» всегда клала полученные для него письма. Сегодня на подносе лежало только одно письмо. Дэвид схватил его, и хмурое лицо его просветлело.

Он прошел на кухню, сел у очага, в котором горел слабый огонь, и начал снимать башмаки, одной рукой расшнуровывая их, а другой держа письмо, от которого не отрывал глаз.

Дженни принесла ему домашние туфли. Это было не в ее привычках, но последнее время Дженни вообще была не такая, как всегда: озабоченная, почти робкая, она окружала Дэвида мелочными заботами и, казалось, была подавлена его утрюмостью и неразговорчивостью.

Он взглядом поблагодарил ее. Дыхание Дженни благоухало портвейном, но Дэвид воздержался от замечания: он говорил с ней об этом столько раз, что устал говорить. Дженни уверяла, что пьет очень мало, какой-нибудь стаканчик, когда у нее плохое настроение. А позорное (по ее выражению) увольнение Дэвида из школы, естественно, располагало к унынию.

Дэвид вскрыл конверт и прочел письмо медленно и внимательно, потом положил его на колени и стал смотреть в огонь. Лицо его приобрело теперь сосредоточенное, бесстрастное, зре-

лое выражение. За те полгода, что прошли со времени катастрофы, он как будто постарел на добрых десять лет.

Дженни вертелась на кухне, делая вид, что занята чем-то, но время от времени украдкой поглядывая на мужа: ей хотелось знать, о чем говорится в письме. Она чувствовала, что в душе Дэвида идет какая-то тайная работа, но не вполне понимала, что с ним. В ее глазах читался страх.

— В письме что-нибудь важное? — спросила она наконец. Она не могла удержаться, слова вырвались сами собой.

— Оно от Нэджента, — отвечал Дэвид.

Дженни растерянно уставилась на него, но в следующую минуту лицо ее выразило раздражение. Ей была подозрительна эта внезапно возникшая дружба с Гарри Нэджентом, рожденная несчастьем в «Нептуне». Это был союз двух, из которого она была исключена, — и она ревновала.

— А я думала, что это насчет службы. Меня прямо-таки убивает то, что ты ходишь без работы.

Дэвид очнулся от задумчивости и посмотрел на нее:

— Здесь говорится и о работе, Дженни. Это ответ на письмо, которое я на прошлой неделе написал Гарри. Он поступил санитаром в полевой лазарет, который отправляют во Францию, и я решил ехать с ним, — это единственное, что мне остается.

Дженни ахнула в невероятном волнении. Она мертвенно побледнела, даже позеленела и вся поникла.

Видно было, что она страшно испугана. На одно мгновение Дэвиду показалось, что ей дурно, — у нее в последнее время бывали странные приступы слабости и тошноты, — и он вскочил и подбежал к ней.

— Не волнуйся, Дженни! Нет ни малейшего основания тревожиться за меня.

— Но зачем тебе уезжать? — сказала она дрожащим голосом, в котором слышался все тот же непонятный испуг. — Зачем ты дал Нэдженту втянуть себя в такое дело? Ты ведь против войны, и незачем тебе идти!

Дэвида тронуло ее волнение. Он было уже примирился с мыслью, что Дженни любит его не так, как прежде.

Он не знал, что отвечать ей. Это верно, он не «патриот». Политическая система, вызвавшая войну, связывалась в его уме с системой экономической, вызвавшей катастрофы в шахтах.

За той и другой он видел лишь ненасытную жажду власти и обогашения, неутолимый человеческий эгоизм.

Но, не заражаясь военным патриотизмом, Дэвид все же чувствовал, что не может оставаться в стороне. То же самое чувствовал и Нэджент. Ужасно было принимать участие в этой войне, но еще ужаснее — не принимать в ней участия. Он не хочет идти на войну убивать. Но можно же пойти на войну спасать людей. А бездейственно стоять в стороне, когда человечество бьется в тисках мучительной борьбы, было все равно что навсегда стать в своих глазах предателем. Это было все равно что стоять наверху у спуска в шахту, смотреть, как ползет вниз клеть, переполненная людьми, обреченными на гибель, и, оставаясь наверху, говорить: «Вы в клетке, братья, а я не войду туда с вами, потому что тот ужас и опасность, на которые вас посылают, не должны были бы никогда существовать».

Дэвид протянул руку и погладил Дженни по щеке:

— Это трудно объяснить, Дженни. Помнишь, что я говорил тебе... после несчастья... после того как меня уволили из школы... Я бросаю экзамены на бакалавра, преподавание, все, все. Я хочу порвать со всем и работать в Союзе. Но, пока не кончится война, мне вряд ли удастся делать то, что я хочу делать здесь, на родине. Это была бы не работа, а «шаг на месте». Вот и Сэмми ушел на фронт, и Гарри Нэджент уходит... Только это одно и остается.

— О нет, Дэвид, — захныкала Дженни. — Ты не можешь уйти.

— Ничего со мной не случится, — сказал он, успокаивая ее. — Тебе нечего тревожиться.

— Нет, ты не поедешь, ты не можешь теперь оставить меня, не можешь оставить меня в такое время. — Дженни уже изображала женщину, покинутую не только им, но и всеми, кому она верила.

— Но послушай, Дженни...

— Ты не можешь теперь меня оставить. — Она была вне себя, слова лились стремительным потоком. — Ты мой муж и не можешь меня бросить. Разве ты не видишь, что у меня... что у нас скоро будет ребенок?

Наступила мертвая тишина. Новость потрясла Дэвида; он совершенно не подозревал того, о чем говорила Дженни. Потом Дженни заплакала, поникнув головой, слезы ручьем лились из ее

глаз, она плакала так, как всегда в тех случаях, когда обижала Дэвида. Ему было нестерпимо видеть эти слезы, он обнял Дженни:

— Не плачь, Дженни! Ради бога, не плачь! Я рад, ужасно рад. Ты знаешь, что я этого всегда хотел. Я просто на минуту растерялся от неожиданности, вот и все. Ну перестань же, пожалуйста, не плачь так, как будто ты в чем-то виновата.

Она всхлипывала и вздыхала у него на груди, крепко прижавшись к нему.

Лицо ее снова порозовело; она, видимо, испытывала облегчение, поделившись новостью с Дэвидом.

— Ты ведь не уедешь от меня теперь, Дэвид? Во всяком случае, до тех пор, пока не родится наш малыш?

Что-то почти жалкое было в той настойчивости, с какой Дженни подчеркивала, что это их ребенок — ее и Дэвида. Но Дэвид не замечал этого.

— Ну конечно нет, Дженни.

— Обещаешь?

— Обещаю.

Он сел и посадил ее к себе на колени. Она все еще прижималась к нему и не поднимала головы, словно боясь, что он прочтет что-то в ее глазах.

— И не стыдно тебе так плакать? — сказал он ласково. — Ведь ты отлично знала, что я буду рад. Почему же ты мне ничего не говорила до сих пор?

— Я думала, что ты, может быть, рассердишься. У тебя и без того столько хлопот теперь, и ты так изменился в последнее время. Скажу тебе прямо — ты меня пугал.

Он ответил мягко:

— Я не хочу, чтобы ты меня боялась, Дженни.

— Так ты не уедешь, нет, Дэвид? Не оставишь меня, пока все не кончится?

Он тихонько взял ее за подбородок и поднял залитое слезами лицо вровень со своим. Глядя ей в глаза, он сказал:

— Я перестану и думать об армии, пока ты не будешь совсем здорова, Дженни. — Он помолчал, заставляя ее смотреть себе прямо в глаза. Дженни опять казалась испуганной, готовой задрожать, заплакать.

— Но ты обещаешь мне перестать пить этот проклятый портвейн, Дженни?

На этот раз ссоры не произошло. Лицо Дженни выразило облегчение, и она расплакалась.

— Да, да, обещаю, — причитала она. — Клянусь тебе, что буду хорошей. Ты лучший из мужей, Дэвид, а я глупое, скверное создание. О Дэвид!..

Он крепко обнимал ее, утешая, в нем снова проснулась и окрепла нежность к ней. Среди смятения и мрака его души ему вдруг сверкнул луч света. Из смерти вставало видение новой жизни — сын, сын его и Дженни! И Дэвид был счастлив в своем ослеплении.

Вдруг зазвенел колокольчик у входной двери. Дженни подняла голову; она покраснелась, повеселела. Настроение у нее менялось так же легко, как у ребенка.

— Кто бы это мог быть? — сказала она с любопытством. Посетители с парадного хода были непривычным явлением в их доме в такой час. Но раньше, чем Дженни успела высказать какую-нибудь догадку, снова раздался звонок. Она торопливо побежала открывать.

Через минуту она вернулась очень взволнованная и возвестила:

— Это мистер Артур Баррас. Я проводила его в гостиную. Можешь себе представить, Дэвид, — сам молодой мистер Баррас! Он сказал, что хочет видеть тебя.

Лицо Дэвида снова застыло, глаза стали суровыми:

— Что ему нужно?

— Он не сказал. Я, конечно, не посмела спросить. Но подумай только: пришел запросто к нам в дом! О господи, если бы я знала, я бы затопила камин в гостиной.

Дэвид не отвечал. Ему, очевидно, визит Барраса не казался таким важным событием. Он встал и медленно пошел к двери.

Артур шагал по гостиной в сильном нервном возбуждении, и, когда вошел Дэвид, он заметно вздрогнул. Одно мгновение он смотрел на вошедшего широко раскрытыми глазами, затем поспешно подошел к нему.

— Извините, что побеспокоил вас, — сказал он, — но мне необходимо, просто необходимо было вас увидеть. — Он вдруг сел на стул и заслонил глаза рукой: — Я знаю, что вы думаете, и ни капельки вас за это не осуждаю. Я бы не обиделся даже и в том случае, если бы вы не захотели меня принять. Но я не мог не прий-

ти, — я в таком состоянии, что мне необходимо было увидеть вас. Вы мне всегда нравились, я вас уважаю, Дэвид. И я чувствую, что только вы один могли бы мне помочь.

Дэвид спокойно сел за стол напротив Артура. Контраст между ними был поразителен: одного терзало мучительное волнение, другой вполне владел собой, и лицо его выражало спокойную, сосредоточенную энергию.

— Для чего я вам нужен? — спросил Дэвид.

Артур порывисто отнял руку от глаз и с какой-то отчаянной решимостью посмотрел на Дэвида:

— Услышать правду — вот что мне нужно. Я не буду знать ни сна, ни отдыха, не успокоюсь, пока не узнаю правду. Я хочу знать, виноват ли мой отец в катастрофе. *Должен* знать, понимаете? И вы мне помогите.

Дэвид отвел глаза, пронзенный той непонятной жалостью, которую Артуру, видно, суждено было всегда вызывать в нем.

— Что же я могу сделать? — спросил он тихо. — Все, что я имел сказать, я сказал на следствии. Но меня не хотели слушать.

— Можно потребовать нового следствия...

— А что пользы? Чего мы этим добьемся?

У Артура вырвалось восклицание, полное горечи, и не то смех, не то рыдание.

— Правосудия! — крикнул он страстно. — Справедливости, простой справедливости! Подумайте об этих убитых людях, внезапно отрезанных и умиравших ужасной смертью. Подумайте о страданиях их жен и детей! О боже! Эти мысли невыносимы. Если отец виноват, то слишком жестоко и ужасно то, что это дело замяли и забыли о нем.

Дэвид встал и подошел к окну. Он хотел дать Артуру время успокоиться. Наконец он заговорил:

— Вначале я чувствовал то же самое, что вы. Пожалуй, даже нечто похуже... Ненависть... страшную ненависть. Но я старался побороть ее в себе. Нелегко это. Когда человек бросает в вас бомбу, то первое ваше естественное побуждение — схватить ее и бросить в него обратно. Я говорил обо всем этом с Нэджентом, когда он был здесь. Жаль, что вы не знакомы с ним, Артур, — это самый разумный человек из всех, кого я знаю. Так вот, Артур, ничего нет хорошего в том, чтобы бросить бомбу обратно. Гораздо умнее не обращать внимания на того, кто ее бросил, и заняться

организацией, которая его послала. Бесполезно добиваться наказания отдельных лиц за несчастье в «Нептуне», когда виновата вся экономическая система. Понимаете, что я хочу сказать, Артур? Что пользы отрубить ветвь, когда болезнь подтачивает самые корни дерева?

— Значит, вы ничего не намерены предпринять? — спросил Артур в отчаянии. Слова как будто застревали у него в горле. — Ничего? Абсолютно ничего?

Дэвид покачал головой, лицо его было сурово и печально.

— Я хочу попробовать что-нибудь сделать, — сказал он медленно, — после того как мы покончим с войной. Пока ничего не могу вам сказать. Но, поверьте, я приложу все силы...

Оба долго молчали. Артур нервным, растерянным жестом провел рукой по глазам. Лоб его был покрыт бусинками пота. Он встал, собираясь уходить.

— Так вы не хотите мне помочь? — сказал он сдавленным голосом.

Дэвид протянул ему руку.

— Бросьте это, Артур, — промолвил он с искренним участием. — Не давайте этим мыслям завладеть вами, иначе тяжелее всего придется вам. Забудьте обо всем.

Артур густо покраснел, его худое мальчишеское лицо выражало нерешительность и страх.

— Не могу, — сказал он страдальчески. — Не могу я забыть...

Он вышел из комнаты в крошечную переднюю. Дэвид отпер входную дверь. Шел дождь. Не глядя на Дэвида, Артур пробормотал: «До свидания» — и нырнул в сырой мрак. Дэвид еще постоял на пороге, прислушиваясь к его торопливым шагам, постепенно замиравшим вдали. Потом уже не слышно было ничего, кроме медленного плеска дождя.

VI

Артур добрался до дому только к семи часам. В своем душевном смятении он испытывал потребность быть одному и надеялся, что дома уже отужинали. Но ужин еще не кончился. Когда он вошел, все сидели за столом.

Баррас ликовал. Он побывал сегодня в Тайнкасле и привез весть о новой победе над немцами. В сражении при Лоосе 26 сентября английская армия на западном фронте одержала блестящую победу, потеряв всего только пятнадцать тысяч человек. Тайнкаслский «Аргус» исчислял потери противника в девятнадцать тысяч убитых и раненых, семь тысяч пленных, сто двадцать пять захваченных пушек. «Северная звезда» немного перещеголяла «Аргуса», насчитав двадцать одну тысячу убитых и раненых германцев и три тысячи пленных.

Баррас весь сиял радостным удовлетворением. Он одновременно ел котлеты и громким, торжественным голосом читал вслух официальное сообщение в «Северной звезде». До войны Баррас не покупал вечерней газеты, удовлетворяясь чтением «Таймс», теперь же он никогда не приходил домой без вечернего выпуска «Аргуса», или «Звезды», или даже того и другого вместе. С газетой в руке он вскочил из-за стола и подошел к стене, на которой висела большая карта, вся утыканная флажками союзных армий. Внимательно сверяя газету с картой, передвинул полдюжины флажков Соединенного Королевства — передвинул вперед.

Артур исподтишка наблюдал за отцом, и вдруг у него мелькнула жуткая мысль. Отец его, Ричард Баррас, передвигавший флажки, показался ему каким-то собирательным образом тех, кто вызвал войну. Он, ликовавший оттого, что захвачено несколько сот ярдов разрушенных окопов, и был, в сущности, виновником гибели этих тысяч людей.

Переколов флажки, Баррас принялся внимательно изучать карту. Он весь с головой ушел в эту войну, он считал себя великим патриотом и жил в каком-то вихре, забыв обо всем. Он уже состоял в шести комитетах и намечался в члены Северной комиссии помощи беженцам. Телефон звонил с утра до вечера. Автомобиль вечно носился в Тайнкасл и обратно. А из «Файв-Квотерса» и «Глоба» добывался уголь и великолепно раскупался по цене сорок шиллингов за тонну без доставки.

Баррас вернулся к столу. Садясь, он украдкой посмотрел на Хильду, Грэйс и Артура, точно желая проверить, видели ли они маневры с флажками, затем с явным удовлетворением снова уткнулся в газету. Его прежняя озабоченность и замкнутость исчезли. Жилы на висках немного набухли, и видно было, как пульсировала в них кровь. В нем чувствовалось какое-то смут-

ное, лихорадочное возбуждение. Он напоминал больного, который, вопреки предписаниям врача, упорно остается на ногах, у которого неправильный обмен веществ и усилены все отправления организма.

Читая газету, он все время барабанил пальцами по столу. Звук этот немного напоминал быстрое выстукивание кровли в шахте.

Несколько минут тишину нарушало лишь это частое постукивание. Затем произошла невероятная вещь.

Баррас дважды прочел про себя какую-то заметку в газете и, подняв голову, прочел уже вслух:

— «Лорд Келл великодушно предоставил свой дом в Лондоне под временный лазарет для раненых. Оборудование лазарета будет закончено через месяц. Уже идет набор добровольных сестер милосердия. Лорд Келл выразил пожелание, чтобы сестры по возможности набирались из жительниц Северного района...» — Баррас остановился и посмотрел на Хильду и Грэйс с ласковым и пристальным вниманием: — А вы хотели бы поработать там?

Артур так и прирос к стулу. И это говорит его отец, каменный оплот идеи семейного очага, неумолимая скала, о которую до сих пор разбивались все мольбы Хильды! Артур сильно побледнел. Чуть не с испугом метнул он взгляд на Хильду.

Хильда густо покраснела. Казалось, она не верила своим ушам.

— Ты это серьезно говоришь, папа?

Он ответил все с тем же ласковым оживлением:

— А разве я когда-нибудь говорю несерьезно, Хильда?

Краска отлила от лица Хильды так же быстро, как появилась. Она взглянула на Грэйс, которая сидела рядом с ней, широко открыв глаза и сгорая от нетерпения. Голос ее дрожал от радости:

— Мы обе охотно поедем, папа.

— Что ж, отлично. — Баррас опять торопливо поднял газету. Очевидно, это было дело решенное.

Хильда и Грэйс обменялись быстрым взглядом. Хильда сказала:

— Когда же нам можно будет ехать, папа?

Отец из-за газеты:

— Скоро, я полагаю. Вероятно, на будущей неделе. Завтра я в Тайнкасле увижусь с членом совета Личем. Потолкую с ним и все устрою.

Пауза. Потом с ударением:

— Я буду счастлив, зная, что хотя бы ты и Грэйс выполняете свой долг перед родиной.

Артур почувствовал, что у него вспотели даже ладони. Он хотел встать и выйти из комнаты, но не мог. Он упорно смотрел в тарелку. От волнения его, как всегда, начало тошнить.

Хильда и Грэйс вышли, и слышно было, как они бежали наверх, чтобы поговорить о происшедшем чуде. Тетя Кэрри еще раньше ушла к их матери. Артур снова сделал попытку встать, но ноги его отказывались служить. Он сидел, как парализованный током враждебности, словно струившимся из-за газеты, и ждал.

Как он и думал, отец опустил газету и заговорил:

— Меня очень радует готовность твоих сестер послужить родине.

Артур вздрогнул. Целый океан чувств забушевал в его сердце. Когда-то там жила любовь. Теперь ее сменили страх, недоверие, ненависть. Как произошла такая перемена? Он и знал это — и вместе с тем не знал. Он устал от напряжения сегодняшнего дня, чувствовал, что как-то отупел и в голове у него мутилось.

— Хильде и Грэйс просто хочется уехать отсюда, — с трудом выговорил он.

У Барраса по лицу пошли красные пятна. Он несколько повысил голос:

— Вот как! А почему же?

Артур отозвался равнодушно, как будто не думая о том, что говорит:

— Им уже невтерпеж стало жить здесь. Хильда всегда ненавидела этот дом, а теперь и Грэйс тоже его ненавидит после катастрофы в «Нептуне». Я слышал на днях их разговор. Они говорили, что ты сильно переменился. Хильда сказала, что ты живешь как в лихорадке.

Баррас, казалось, пропустил эти слова мимо ушей. В последнее время он обнаруживал склонность отгораживаться от всего, что могло бы его потревожить, — замечательную способность сознательной самозащиты. Артуру он представлялся Пилатом, умывающим руки. Выждав некоторое время, Баррас сказал ровным голосом:

— Меня беспокоит твое поведение, Артур. Ты сильно изменился.

— Нет, это ты изменился.

— И не меня одного это беспокоит. Сегодня вечером я встретил Гетти в Центральном комитете. Она ужасно встревожена и огорчена твоим поведением.

— Ничем не могу ее утешить, — сказал Артур все с тем же горьким равнодушием.

Баррас продолжал все внушительнее:

— Об Алане упоминается в официальном сообщении. Гетти сказала мне, что они только что получили известие: он представлен к кресту.

— Тем лучше для него, — ответил Артур.

Теперь у Барраса побагровел не только лоб, но и уши и дряблая шея. Жилы на висках надулись. Он сказал громко:

— А у тебя нет желания сражаться за отечество?

— Я не хочу сражаться ни за отечество, ни за что-либо другое, — отвечал Артур сдавленным голосом. — Я никого не хочу убивать. Довольно уже убийств. Достаточно хорошее начало было нами положено в «Нептуне». Оно навсегда внушило мне отвращение к убийству. — Голос его вдруг зазвучал громко, пронзительно, истерически. — Понимаешь? Не случись этого, я бы, может быть, как другие, взял винтовку и пошел воевать, щеголял бы в военной форме и высматривал, кого убить. Но я видел людей, погибших в шахте, и теперь я не успокоюсь... У меня было время подумать над этим, понимаешь? Было время подумать... — Он умолк, тяжело дыша. Он не решался посмотреть на отца, но чувствовал, что тот смотрит на него.

Долгое напряженное молчание. Потом Баррас сделал привычный жест — неторопливо полез в левый карман жилета и выразительно посмотрел на часы. Артур слышал, как шелкнула, захлопываясь, крышка, и что-то ненормальное, пугающее почудилось ему в жесте отца. Опять у него дела в Тайнкасле, какое-нибудь заседание, одно из бесчисленных заседаний. И это его отец, который никогда не выходил по вечерам, сидел и слушал музыку Генделя в тиши своего дома! Его отец, который послал столько людей на смерть.

— Надеюсь, тебе ясно, — сказал Баррас, вставая из-за стола, — что я могу обойтись в «Нептуне» без тебя. Подумай об этом. Может быть, тогда ты скорее решишься выполнить свой долг перед родиной.

Он вышел, захлопнув дверь. Через минуты две до Артура донеслось гудение отъехавшего автомобиля.

У Артура тряслась губа, он дрожал всем телом, новый приступ слабости овладел им.

— Нет, он этого не сделает! — завопил он вдруг, словно обращаясь к пустой комнате. — Не сделает он этого!

VII

В конце сентября Джо Гоулен, как-то неожиданно для всех, рано утром, чуть свет, уехал из Слискейла. Никто не знал, куда и зачем он скрылся, но у Джо были на то веские причины. Он тайно вернулся в Ерроу и отправился в Плэтт-лейн.

Шагая по переулку сырым осенним утром, он заметил необычное оживление на заводе Миллингтона. Из-за высокой ограды виден был не достроенный еще длинный навес из рифленого железа, а в воротах стоял грузовик, с которого снимали тяжелое оборудование. Джо, крадучись, прильнул глазом к щели в заборе. Боже правый, ну и закипела же тут работа! Два новых токарных станка для машинного зала, сверлильный станок, новые изложницы и лотки. Рабочие все это выгружают и тащат. Мастер Портерфилд чертыхается, а вот и Ирвинг выбежал из чертежной с пачкой бумаг в руке. Джо с задумчивым видом отошел от щели и направился в заводскую контору.

Ему пришлось бесконечно дожидаться в проходной, раньше чем его пустили к Миллингтону, но ни ожидание, ни недовольные взгляды Фулера, старшего секретаря, не обескуражили его. Он уверенно вошел в кабинет.

— Мистер Стэнли, это я, Джо Гоулен, — сказал он, улыбаясь с почтительной фамильярностью. — Вы, может быть, меня не помните? Вы обещали найти для меня местечко, когда я вернусь сюда.

Стэнли, сидевший без пиджака у заваленного бумагами стола, поднял голову и посмотрел на Джо. И лицо и фигура Стэнли округлились, он был чуточку бледнее прежнего, волосы у лба поределели, и в нем замечались какая-то вялость и раздражительность. Увидев Джо, он нахмурился. Он узнал его сразу, но элегантность Джо привела его в некоторое недоумение: воспомина-

ние о нем связывалось с воспоминанием о бумажной куртке, о слое грязи и копоти.

— Да, да, конечно узнал. Вы что же, ищите работу? — сказал он растерянно.

— Да, сэр. — Против улыбки Джо, все такой же почтительной, устоять было невозможно, и Стэнли невольно слегка улыбнулся в ответ. — Дела мои все это время шли очень недурно, но захотелось перемены, а меня всегда тянуло обратно к вам, вот я и пришел.

— Так, — сухо сказал Стэнли. — Но, к сожалению, нам сейчас пудлингговики не требуются. А почему же вы не в армии? Такому крепкому парню, как вы, следовало бы быть на фронте.

Сияющее лицо Джо затуманилось безутешной грустью. (Он предвидел это затруднение и не имел ни малейшего намерения идти на фронт.) Он отвечал не задумываясь:

— Меня дважды забраковали, сэр. Бесплезно снова идти. Это из-за колена, сэр: связки или что-то в этом роде. Должно быть, я растянул их, занимаясь боксом.

У Стэнли не было оснований думать, что Джо лжет. Помолчав, он спросил:

— А чем вы занимались, с тех пор как ушли от нас?

И глазом не моргнув, Джо ответил скромно:

— Работал на постройке в Шеффилде. Десятником. У меня под началом было тридцать с лишним человек. Но нигде как-то не хотелось устраиваться прочно, с тех пор как я ушел с вашего завода. Я все время надеялся, что вы, как обещали, дадите мне местечко у себя.

Снова пауза. Миллингтон взял со стола линейку и нетерпеливо вертел ее в руках. Голова у него была занята делами, проектами, договорами. Вдруг у него мелькнула одна идея. Он нашел ее превосходной. Подобно большинству тупых людей, занимающих ответственное положение, он был весьма высокого мнения о своей сообразительности, или, как он называл это, о своей способности быстро принимать решения. И сейчас он чувствовал, что такое решение уже у него созрело. Покровительственно посмотрел на Джо:

— У нас тут некоторые перемены. Вам это известно?

— Нет, мистер Стэнли.

Миллингтон разглядывал линейку с видом усталым и победоносным.

— Завод наш работает на оборону, — объявил он наконец внушительным тоном. — Мы готовим ручные гранаты, шрапнель, восемнадцатифунтовые снаряды.

Устал Стэнли или не устал, а торжествовать он имел право. Его завод благодаря войне занял наконец видное место в стране. За последние годы сбыт сильно уменьшился, прежние рынки исчезли, а новые трудно было найти. Пришлось уволить множество рабочих. И Народный клуб стал уже чуточку менее «народным». Несмотря на добросовестные усилия Стэнли, похоже было на то, что завод в конце концов придется закрыть.

Но сразу же после объявления войны мистер Клегг, отдуваясь, притащился к Стэнли. Старый Клегг теперь сильно страдал от астмы, одряхлел и опустился, но на этот раз его осенило свыше.

— Дело наше кончено, и у нас остался только один шанс, — заявил он хозяину с грубой прямолинейностью. — Началась война, сбывать наши вагонетки и болты в Англии теперь будет так же трудно, как в какой-нибудь Гренландии. Но зато потребуются снаряды, сотни тонн снарядов, больше, чем могут дать все арсеналы Британского королевства. За это дело надо ухватиться, мистер Стэнли, и поскорее перейти на новое производство. Если мы этого не сделаем, то через полгода прогорим. Ради бога, давайте обсудим это!

Они обсудили это — то есть старый Клегг прохрипел свои планы в уши оторопевшему Стэнли. Завод в таком виде, как есть, лишь с некоторыми добавлениями, годится для нового производства. У них есть литейный цех, машинный цех, четыре печи и одна вагранка; все это, правда, не приспособлено для производства крупного военного снаряжения, но можно будет заняться мелким — шрапнелью, шрапнельными пулями, ручными гранатами и небольшими бомбами. Как с чувством заметил Клегг, это такой товар, что и прибыль им принесет, и поможет Англии выиграть войну.

Этот последний довод воспламенил патриотические чувства Стэнли и решил вопрос. Стэнли одобрил мысль Клегга, реализовал все средства, поставил шесть новых плавильных печей и еще одну вагранку. Завод Миллингтона начал изготавливать снаряды и, впервые после пяти лет, буквально ковать деньги, как будто

там отливали не шрапнель, а золотые соверены. Это оказалось до смешного легко, у Стэнли от этой легкости просто дух захватывало. Одно государственное учреждение с лихорадочной быстротой откликнулось на его предложение, заказав полмиллиона бомб по цене три с половиной тысячи фунтов за десять тысяч. На шрапнель спрос был усиленный, постоянный, ее продавали по сто, двести, триста тонн в неделю. У Стэнли имелась уже целая пачка договоров. Он оборудовал завод формами для отливки оболочек восемнадцатифунтовых снарядов и токарными станками. Заводы, где оболочки начинались, требовали, вопили о материале, так что завод Стэнли не успевал их снабжать.

Вот почему Стэнли с такой важностью посмотрел на Джо. Он сделал быстрый, решительный жест:

— Вы, пожалуй, являетесь в подходящий момент, Гоулен. У нас не хватает рабочих рук, главным образом из-за того, что все уходит в армию. Я никогда не задерживаю тех, кто хочет идти на войну. Как раз сейчас ушел Гью, мастер литейного цеха, и мне нужен человек на его место. Мистер Клегг не может этим заняться. Он совсем ослабел за последнее время, и мне пришлось взять на себя часть его обязанностей. Но в цеху мне нужен мастер, не могу же я находиться одновременно в трех местах. И я почти решил взять вас на испытание. Шесть фунтов в неделю и месячный испытательный срок. Что вы скажете на это?

У Джо заблестели глаза, предложение было гораздо заманчивее, чем он рассчитывал. Он едва мог скрыть свою радость.

— Скажу, что согласен, мистер Стэнли, — выпалил он. — Только дайте мне возможность показать, на что я способен.

Воодушевление Джо, видимо, было приятно Миллингтону.

— В таком случае идемте. — Он встал. — Я вас провожу к Клеггу.

Клегга они нашли в цехе, он распоряжался установкой новых опок. Он выглядел больным, опирался на палку, в седых усах застряли сгустки мокроты. Он не помнил Джо, но по предложению Стэнли повел его в литейную. Имея уже некоторый опыт, Джо с первого взгляда убедился, что он с этой работой справится. Котлов было всего шесть, и процесс производства очень прост: чугун и свинец, к которым примешивали двенадцать процентов сурьмы, чтобы придать им твердость, подогревались снизу, и расплавленная масса выливалась в формы. Джо делал вид, что вни-

мательно слушает бессвязные объяснения мистера Клегга, а между тем его живые глаза обегали все вокруг, в том числе и сорок человек, которые работали в красном блеске пламени, наполняя котлы, выпуская массу в формы, выключая печь, отвозя после отливки готовые гранаты, похожие на маленькие незрелые ананасы. «Разок посмотрю — и буду знать все от начала до конца», — говорил он себе.

— Главное — нужно уметь подтягивать людей и добиваться высокой выработки, — заметил Стэнли; он вслед за Джо пришел в цех.

Джо сказал со спокойной уверенностью:

— Можете на меня положиться, мистер Стэнли. Я хорошо присмотрю за всем.

Мистер Стэнли кивнул головой и вышел вместе с Клеггом.

И вот Джо принялся, по его собственному выражению, «присматривать за всем». С самого начала он дал всем почувствовать, что в цеху хозяин — он. Никогда раньше он не имел возможности командовать другими, но чувствовал себя созданным для такой роли. Он не обнаруживал никакой неуверенности, никаких сомнений, был бодр и весел. Он с головой ушел в работу, носился повсюду, следя за смешиванием, за плавкой, за отливкой; у него всегда было наготове одобрительное слово или заряд сочной ругани.

К концу первого же месяца выработка в литейном цехе явно увеличилась, и Миллингтон был доволен. Он поздравил себя мысленно с принятым решением и, вызвав Джо в кабинет, похвалил его и утвердил в должности. Джо, разумеется, не щадя сил утешал хозяину. Стоило Миллингтону прийти в мастерскую, как Джо начинал вертеться подле него, выставляя напоказ то, что сделано, или высказывая свои соображения, придумывая какие-нибудь новые улучшения, и проявлял усиленную хлопотливость и энергию. Употребляя собственное выражение Джо, он «здорово подлизывался» к хозяину, и Стэнли, который по вялости темперамента терялся и падал духом под натиском спешной работы, начинал приходить к убеждению, что Джо надежнейший человек.

По вечерам Джо сидел дома. Сначала у него мелькнула мысль снова поселиться у семейства Сэнли. Но это только в первый мо-

мент: у него было много причин не возвращаться на Скоттсвуд-роуд и не возобновлять старых знакомств. Он считал, что теперь наконец он на верной дороге: завод работал вовсю, деньги так и текли, в воздухе чувствовались возбуждение и перемены. По рекомендации Сима Портерфилда, заведующего механическим цехом, он снял комнату в доме № 4 на Бич-роуд, у миссис Колдор, почтенной пожилой женщины, весьма сухощавой и жилистой, которая, как надеялся Джо, приняв во внимание ее возраст, ее целомудрие и блеск ее линолеума, не стала бы, вероятно, искушать добродетель жильца и, таким образом, разрушать его виды на будущее.

Проходили месяцы, и Джо все более и более сосредоточивал внимание на главной своей цели. И чем более он на ней сосредоточивал внимание, тем зорче следил за механическим цехом и Симом Портерфилдом. Сим был невысокий, молчаливый человек с желтовато-бледным лицом и черной бородкой, страстный дискотетатель и муж набожной и сварливой жены. Его молчаливость создала ему репутацию «философа», он состоял членом ерроуского Фабианского общества и вечно корпел над сочинениями Карла Маркса, которые были не под силу его неповоротливому уму. Он не пользовался популярностью среди рабочих; не любил его и Стэнли, отчасти подозревавший Сима в том, что он «социалист». Сим был хороший человек. Именно он принял Джо на работу в тот памятный день, семь лет тому назад, и первый дал ему возможность выдвинуться на заводе.

Естественно, Джо был «дружен» с Симом, мирился с его скучным обществом, отказывался от более легких развлечений в субботние вечера, для того чтобы сопровождать Сима на площадку, где состязались в метании диска. Еще естественнее, что Джо тратил много времени на наблюдение за Симом, придумывая всякие остроумные способы «подкопаться» под него. Этому мешало примерное поведение Сима. Он никогда не пил больше одной кружки пива, не обращал внимания на женщин и за свою жизнь не утащил из мастерской ни единой гайки. Джо уже начинал думать, что никогда ему не удастся запутать в чем-нибудь Сима, но однажды вечером, когда он в темноте выходил из завода, какой-то незнакомец украдкой сунул ему в руки несколько прокламаций и скрылся на Плэтт-лейн.

У ближайшего уличного фонаря Джо равнодушно взглянул на еще липкие листки:

«Товарищи! Пролетарии всех стран! Долой войну! Не допускайте, чтобы те, кому война выгодна, совали вам в руки ружья и посылали убивать германских рабочих! Вспомните, как они поступают с вами, когда вы бастуете, требуя прожиточного минимума. Они не смогут вести эту войну без вас. Так прекратите же ее! Германский рабочий хочет воевать не более, чем вы, не давайте делать из вас пушечное мясо. Рабочие заводов, изготавливающих снаряды, бросайте работу! Капиталисты продают Германии британские пушки. Долой капитализм! Долой войну!..»

Джо сразу увидел, что это за литература, и хотел уже бросить листки в канаву.

Но вдруг его осенила одна мысль! Ухмыляясь, он бережно сложил листки и, спрятав их в бумажник, пошел домой.

На следующий день он был как-то особенно благодушно настроен, бегал то и дело в машинное отделение, завтракал вместе с Симом (сидевшим без куртки) в уголке столовой, затем, внезапно приняв серьезный вид, отправился в контору и заявил, что ему нужно поговорить с самим Миллингтоном. Он очень долго пробыл у Стэнли в запертом кабинете.

В шесть часов вечера, когда проревел гудок и рабочие, торопливо напяливая куртки, высыпали из машинного зала, Стэнли, Клегг и Джо стали у дверей. Лицо Миллингтона пылало гневом. Когда мимо проходил Сим, он поднял руку и остановил его:

- Портерфилд, вы на моем заводе сеете смуту!
- Что? — переспросил ошеломленный Сим.

Все обернулись, чтобы увидеть, в чем дело.

— Не отпирайтесь! — Голос Стэнли дрожал от ярости. — Мне все известно. Вы с вашим проклятым Марксом... Я мог бы и раньше догадаться об этом...

— Я ничего не делал, сэр, — задыхаясь, пробормотал Сим.

— Вы бесстыдный лгун! — гремел Стэнли. — Вас видели, когда вы распространяли прокламации! А что у вас в этом кармане? — Он вытащил пачку бумажек из кармана расстегнутой куртки Симы. — Так это — *ничего*? Призыв к мятежу? На моем заводе? Вы уволены! Ступайте и получите расчет у мистера Добби, и чтобы я больше не видел вблизи завода вашу физиономию германского агента.

— Послушайте, мистер Миллингтон!.. — дико вскрикнул Сим.

Все было тщетно. Стэнли уже повернулся к нему спиной и величественно удалился с Джо и Клеггом. Сим тупо уставился на одну из прокламаций, валявшуюся на полу, поднял ее, словно во сне, и стал читать. Пять минут спустя, когда он, шатаясь, вышел из ворот, его уже там ожидала толпа мужчин. Поднялся злобный рев. Кто-то завопил:

— Вот он, проклятый немецкий агент! Вот этот ублюдок, ребята! Мы ему зададим перцу!

Сима окружили тесным кольцом.

— Оставьте меня. — Сим тяжело дышал, его смешная борода задорно торчала вверх. — Говорю вам, я ничего не делал.

Вместо ответа стальной болт угодил ему в ухо. Он слепо взмахнул кулаками, но получил страшный удар ногой в пах. Он упал на колени, перед глазами от боли плавал красный туман.

— Германский агент! Грязная скотина!..

Туман гуще, темнее. Последняя, острая как нож, боль от пинка в грудь сапогом, подбитым железом. Потом — черная тьма.

Три недели спустя Джо навестил Сима. Сим лежал в постели; правая его нога была в лубках, грудь облеплена пластырями, на лице застыло ошеломленное выражение.

— Господи Иисусе! — Джо чуть не заплакал. — Сим, никогда бы не поверил!.. Меня эта история просто убила. И подумай только, они взяли да и назначили меня на твое место! О боже, Сим, зачем ты это сделал!..

Раньше чем уйти, Джо предусмотрительно оставил на столе вырезку из «Ерроуских новостей» под заголовком «Рабочие-британцы проучили гадину». Заметка кончалась словами: «Мистер Джозеф Гоулен в настоящее время назначен заведующим литейным и машинным цехом на военном заводе Миллингтона». Сим прочел это безучастно через свои узенькие очки, потом, с тем же деревянным лицом, взял со столика книгу. Но он не мог как следует понять Маркса.

С этих пор акции Джо сильно поднялись: он заслужил расположение хозяина и пользовался на заводе громадным авторитетом. Затем наступило то памятное утро понедельника, когда Стэнли приехал поздно, несколько расстроенный сообщением по телефону, что Клегг заболел и не может сегодня быть на заводе.

Джо был уже в конторе — под предлогом, что ему вместе со Стэнли необходимо просмотреть контрольные ведомости.

Но Стэнли был сегодня сильно раздражен — такими припадками раздражительности у него сопровождалась всякая спешка. Можно было подумать, что на нем одном держатся громаднейшие предприятия. Он долго возился, расстегивая пальто и развязывая кашне, и наконец, сняв перчатки и повесив кашне, крикнул Фулеру, чтобы тот позвал ему Добби, кассира. Затем, пощупав боковой карман пальто, сделал жест досады:

— Ах, черт возьми, я забыл дома чеки! — Он обернулся к Джо и поерошил себе волосы: — Будьте так добры, садитесь в автомобиль и съездите за ними в «Хиллтоп». Попросите Лауру... то есть миссис Миллингтон, или кого-нибудь из горничных дать вам длинный конверт, который я, вероятно, оставил в столовой на столе, а может быть, в передней. Скорее бегите, пока Доддс не уехал.

Джо кинулся исполнять поручение. Он вышел из конторы во двор, где автомобиль Стэнли стоял наготове, с еще работающим мотором. Джо объяснил шоферу Доддсу, в чем дело, и через мгновение они уже мчались в «Хиллтоп».

Утро было холодное, но прекрасное, в воздухе ощущалась бодрящая свежесть. Джо сидел рядом с Доддсом, и ветер от быстрой езды раздвинул ему щеки. В нем ширилось гордое сознание своих способностей, своего всевозрастающего значения в окружающем мире. Когда автомобиль приехал в «Хиллтоп», расположенный в двух милях от завода, и по полукруглой аллее подкатил к дому Миллингтонов — обширной вилле в новейшем вкусе, с площадкой для гольфа перед окнами, — он выпрыгнул, взбежал по ступеням и нажал кнопку звонка.

Открыла нарядная горничная. Он фамильярно улыбнулся ей — Джо не пренебрегал ничьим расположением.

— Я с завода, — объявил он. — Мне нужно видеть миссис Миллингтон.

Девушка проводила его в приемную, где он, стоя у жарко топившегося камина, настороженно ждал. Кресла здесь были глубокие, видно было, что сидеть в них очень удобно, но Джо считал более безопасным постоять. Ему понравилась эта комната — комфортабельная, оригинально убранная, с одной-единственной картиной на стене.

Джо решил, что картина «первоклассная». И он достаточно уже разобрался в таких вещах, чтоб оценить по достоинству старинную мебель.

Появилась Лаура. Она медленно сошла по ступенькам, холодная, элегантная, в голубовато-сером платье с белым воротником и манжетами. С отсутствующим видом она бросила на Джо беглый, ничего не выразивший взгляд и спросила:

— Что скажете?

При всей своей самоуверенности Джо смутился. Он бессвязно пробормотал:

— Я приехал за бумагами. Мистер Миллингтон забыл их на столе, где завтракал.

— Ах да. — Она стояла вполоборота, глядя на него с некоторым любопытством, и Джо покраснел до корней волос, не зная, что делать, и чувствуя, что его рассматривают.

Непривычное смущение, которое он проклинал, сослужило ему, однако, службу, так как Лаура вдруг слегка усмехнулась усмешкой скачущей женщины, уступившей минутному капризу.

— Я вас, кажется, где-то видела раньше? — спросила она.

— Я имел честь танцевать с вами однажды, миссис Миллингтон, — пролепетал Джо. — В клубе.

— Ах да. — Она кивнула головой. — Теперь вспоминаю.

Джо почтительно усмехнулся. Он даже оправился от смущения.

— Я-то, во всяком случае, не забыл этого, миссис Миллингтон. Такие вещи не забываются.

Лаура продолжала с некоторым интересом рассматривать его. Он и в самом деле был очень красив в новом синем костюме, кудрявый и темноглазый. Его красили и легкий румянец, и улыбка, открывавшая крепкие белые зубы.

— Стэнли как-то недавно говорил о вас, — сказала она, словно размышляя. — Вы идете в гору. — Она помолчала. — Вы тот молодой человек, дама которого в клубе устроила сцену? — Она усмехнулась своей холодной, немного насмешливой улыбкой. — Или я ошиблась?

Джо поспешно опустил глаза, чувствуя, что она видит его насквозь и потешается над ним.

— С тем все покончено, — сказал он отрывисто.

Она с минуту помолчала.

— Ну хорошо, пойду за бумагами. — Она направилась к двери, но по дороге обернулась все с тем же безразличным видом: — Не хотите ли чего-нибудь выпить?

— Я, собственно, не пью ничего, — сказал он. — Особенно по утрам. Видите ли, я решил выбиться в люди.

Как будто не слыша, она взяла графин с орехового столика для коктейля и смешала виски с содовой. Потом вышла из комнаты.

Джо еще не допил своего стакана, когда Лаура воротилась. Вручая ему бумаги, она заметила:

— Так, значит, вы хотите выйти в люди, а?

— Ну разумеется, миссис Миллингтон, — подтвердил он с почтительной готовностью.

Наступила пауза, во время которой Лаура со скучающим видом смотрела в огонь, а Джо молча рассматривал ее. Лаура не была красива. Лицо очень бледное, под глазами голубоватые тени, белки глаз нечистые. У нее были самые обыкновенные черные волосы, ничем не замечательная фигура — красивая, но не бросающаяся в глаза. Ноги ее не отличались стройностью, а бедра были несколько широки. Но Лаура была удивительно изящна — не просто элегантна в обычном смысле слова, а безукоризненно изящна. Одета она была с тонким вкусом, волосы и руки обличали тщательный уход. Все с тем же немим восхищением Джо отметил про себя изумительную опрятность Лауры и невольно подумал о том, какое у нее, должно быть, чудесное белье.

Однако виски было выпито, и у Джо не было предлога больше оставаться здесь. Он поставил стакан на камин и сказал:

— Ну, мне пора обратно на завод.

Лаура не отвечала. Отвела взгляд от огня и, снова усмехнувшись своей холодной, чуть-чуть иронической усмешкой, подала ему руку — равнодушно и уверенно. Джо пожал эту руку в высшей степени почтительно и вежливо, — у него руки были тоже холеные, — и через минуту вышел из дому и сел в автомобиль.

Он был как в чаду. Он не знал, не был уверен, но у него мелькнула дикая, фантастическая мысль, что он произвел впечатление на Лауру Миллингтон.

Это была как будто бредовая мысль, но чутье говорило ему, что это правда, и трепетный восторг обуревал его. Он отлично знал, что очень нравится женщинам. Стоило ему появиться на

улице, как он ловил на себе их восхищенные взгляды. Лаура ничем не выдавала себя — ни словом, ни жестом, держала себя чрезвычайно чопорно и надменно; но Джо знал женщин. Он заметил нечто чересчур тщательно скрываемое, какую-то искорку, тлеющую в равнодушно-скучающем взгляде Лауры. И Джо, у которого не было ни стыда ни совести, уже мысленно облизывался. О, если только это правда!.. Ему всегда хотелось, чтобы в него влюбилась настоящая леди. Часто, бродя по Грэйнджер-стрит, в толпе простых смертных, он видел, как останавливался автомобиль и нарядно одетая надменная дама, торопливо пройдя по тротуару, входила в какой-нибудь дорогой магазин, оставляя за собой особенный, возбуждающий аромат и нестерпимое впечатление недоступности. В прежние времена Джо всегда раздражался, сжимал кулаки в карманах и, в гордом сознании своей мужской силы, клялся, что у него когда-нибудь будет вот такая именно женщина, настоящая леди. Будет, как бог свят! Конечно, и «девочки» с улицы имеют свою прелесть, но настоящая леди — совсем другое дело. И с этими мыслями, выпятив губы, он снова шел, увлекаемый толпой, проталкиваясь вперед, иногда останавливаясь у витрины, где выставлено было тонкое, как паутина, нарядное белье. Вот что *они* носят! И его воображение, отвернувшись от единственно доступного ему пока грубого бумажного белья, уносилось к будущему, когда он сможет удовлетворять свои желания во всей их полноте и разнообразии.

Все это вспоминалось Джо, пока он ехал на завод; он на месте не мог усидеть от радостного возбуждения. Он беспрестанно любовался собой в зеркале, укрепленном впереди автомобиля, и проводил рукой по блестящим вьющимся волосам. В конторе он передал Стэнли привезенные бумаги и, весь искрясь оживлением, отправился в литейный цех.

Но дни шли за днями — и ничего, ровно ничего не случилось, так что самодовольство Джо начало таять. Он ожидал от Лауры какого-нибудь знака, хоть слабого намека на интерес к нему, но Лаура вела себя так, словно ей было все равно, существует на свете Джо Гоулен или нет. Джо начинал думать, что ошибся. Он ходил угрюмый, злой, срывал свою злость на рабочих в литейном, и кончилось все это ночью разгула в компании крикливой незнакомой девки, которая стала ему окончательно противна, когда он увидел, какие грязные ногти у нее на ногах.

Прошло три месяца, и вот однажды, в морозный день в конце ноября, когда Джо совещался со Стэнли насчет каких-то поврежденных литейных форм, в контору бесшумно вошла Лаура. Она приехала в своем автомобиле за Стэнли, чтобы отвезти его в Тайнкасл. Серебристый лисий мех очень шел к ее бледному овальному лицу, — и сердце у Джо сильно екнуло.

Стэнли с легким неудовольствием поднял глаза от бумаг. В эту осень раздражительность Стэнли еще усилилась. Лицо у него было бледное, потное, осунувшееся.

«Я сильно переутомлен, — уверял он жалобным голосом. — Вы только подумайте, вот уже шесть недель Клегга нет в конторе». Действительно, старый мистер Клегг, разрешившись идеей о переходе завода на производство снарядов, слег в постель, словно его ослабевший организм не вынес этих родов, — и доктор говорил, что он пролежит долго, а может быть, и не встанет больше. Это сильно тревожило Стэнли. В последнее время Стэнли и сам немного раскис и любил плакаться на то, что полнеет, что все складывается для него неблагоприятно и он уже не может, как бывало, регулярно два раза в неделю играть в гольф. Тон у него в этих случаях бывал такой, как у человека, только что потерявшего запонку и обвиняющего в этом всех домашних.

— Я через минуту кончу, Лаура, — буркнул он. — Ты знакома с Гоуленом? Джо Гоулен. Не считая меня, это единственный человек здесь, который действительно работает.

Джо едва осмелился поднять глаза. Он пролепетал какую-то вежливую фразу, поскорее собрал бумаги и вышел из кабинета.

Стэнли зевнул и бросил перо.

— Я устал, Лаура, — сказал он. — Зверски устал. Слишком много джина выпито вчера вечером, я не выспался. Весь день сегодня я похож на мокрую курицу. Господи, как вспомню, каким я был молодцом!.. Мне недостает гольфа, вот что я тебе скажу. И нужно будет начать снова брать холодные души по утрам. Эх, если бы у меня было время снова встряхнуться! Надоела эта гонка! Деньги так и текут в карман, но на кой черт они мне! Клегг все еще в постели... Не могу я больше. Придется его перевести на пенсию и взять нового человека, нового директора завода.

— Разумеется, так и сделай, — согласилась Лаура.

Стэнли подавил зевок. Лицо его приняло брюзгливое выражение:

— Но ведь найти подходящего человека дьявольски трудно. Все на фронте, счастливицы! Придется дать объявление. В понеделник займусь этим.

Лаура погладила мех своими тонкими белыми пальцами, словно наслаждаясь сладострастным ощущением его шелковистой мягкости.

— Почему бы тебе не испытать этого субъекта, Гоулена? — заметила она лениво.

Стэнли оторопело уставился на нее.

— Гоулена? — воскликнул он с отрывистым смехом. — Джо Гоулен — директор моего завода! Вот и видно, как мало ты смыслишь в делах, дорогая. Гоулен еще недавно был простым рабочим. Это просто смешно!

— Да, пожалуй, — заметила она все так же равнодушно. — Я ведь ничего не смыслю в делах. — Она направилась к двери. Но Стэнли не пошел за ней.

— Должность Клегга черт знает какая ответственная. Директор должен всем ведать, когда меня здесь не бывает. Было бы идиотством думать, что Гоулен справится. — Он в нерешительности поскреб подбородок. — Но все же я не знаю... Он чертовски способный малый. Он мне всячески помогал эти три месяца. У рабочих он пользуется популярностью, умен, честен — словом, золото парень. Помнишь, как он открыл мне глаза на штуки этой свиньи Портерфилда? Черт возьми, Лаура, а ведь это неплохая идея!

Лаура посмотрела на свои крошечные часы в браслете, надетом поверх перчатки:

— Оставим в покое твою идею, Стэнли, нам, право же, пора ехать!

— Нет, ты послушай, Лаура. Я серьезно думаю, что это выход из положения. Как тебе известно, у нас война, а во время войны люди и выдвигаются. Пожалуй, испытать в этой должности Гоулена — не такая уж плохая мысль!

— Делай так, как считаешь нужным.

— Господи, Лаура, можно подумать, что я когда-нибудь поступал иначе! Нет, честное слово, мне это нравится! Не пригласить ли его как-нибудь к ужину и посмотреть, какое он произведет впечатление?

— Как хочешь. А теперь идем, иначе мы опоздаем.

Стэнли одно мгновение стоял, задумчиво наморщив лоб, затем надел котелок и взял пальто. Он прошел коридором вслед за Лаурой и, выйдя во двор, крикнул в машинный зал, чтобы позвали Джо.

Джо медленно подошел, и Стэнли, застегивая пальто, сказал небрежно:

— Кстати, Джо, чуть не забыл. Я хочу, чтобы вы как-нибудь пришли и поужинали с нами. Как насчет завтрашнего вечера? Удобно это вам?

Джо не мог выговорить ни слова.

— Да, — пробормотал он наконец, запинаясь. — Очень удобно.

— Значит, решено, — объявил Стэнли. — Если бы я и забыл вам напомнить, приходите в половине восьмого.

Джо кивнул головой. Он чувствовал на себе взгляд темных глаз Лауры, незаметно наблюдавшей за ним из-за плеча мужа. Потом оба — она и Стэнли — отвернулись и пошли к автомобилю.

Джо смотрел им вслед с бурно колотившимся сердцем. Ему хотелось громко кричать от радости. Наконец-то! Наконец! Значит, чутье его не обмануло! Весь в испарине, торжествуя, воротился он в мастерскую.

Вечером, когда он возвращался домой, он почувствовал, что не вытерпит. Надо с кем-нибудь поговорить, невозможно не поделиться с другими головокружительной новостью. Неожиданно желание овладело им, искушение, перед которым он не мог устоять. Он сел в трамвай, шедший через мост в Тайнкасл, и явился, торжествующий, на Скоттсвуд-роуд.

Когда он, с видом человека, заглянувшего сюда случайно, по пути, вошел к Сэнли, они сидели за ужином — Альфред, Ада, Клэри и Филлис (Салли не было в городе, она уехала во Францию с группой артистов), — и встреча, которую ему устроили, вызвала у Джо еще больший прилив гордости.

— Вот не ожидала!.. — беспрестанно повторяла Ада. — Какой приятный сюрприз!

Джо расположился на своем прежнем месте, у камина, не выражая против того, что Ада послала в лавку за ветчиной и приготовила ему отдельно ужин, или, как он выражался, «закусочку». Поедая затем сэндвичи, он рассказывал всем о своих успехах на заводе Миллингтона. Потянувшись за горчицей, он заметил небрежно:

— Между прочим, завтра вечером я ужинаю в «Хиллтопе» со Стэнли и миссис Миллингтон.

Восхищение и изумление слушателей привело Джо в веселое настроение. Он очень любил хвастать, в особенности перед отзывчивой аудиторией, и теперь нахвастался вволю. Распространялся о том, какая прекрасная и ответственная у него работа. «Кто-нибудь должен же делать пули, бомбы и снаряды для наших фронтовиков», — говорил он, набив рот ветчиной. Для производства снарядов открываются большие перспективы. Он еще на днях слышал, что в Виртлее, на пустыре, на верхушке Ероуского холма, открывается ряд военных мастерских для начинки снарядов, — а это совсем близко от их завода. Мистер Стэнли получил это сообщение прямо из Лондона.

Джо посмотрел на Клэри и Филлис и сказал:

— Почему бы вам обеим не поступить туда? Вам будут платить втрое больше, чем у Слэттери, и работа — одно удовольствие.

Ада была явно заинтересована. Она спросила:

— Так это уже решено, что они открываются, Джо?

— Ну разумеется, — отвечал важно Джо. — За кого вы меня принимаете? Кому же знать, как не мне?

Ада задумалась, лениво раскачиваясь в качалке. В первые месяцы войны у маляров в Тайнкасле заработки были плохие. В доме не было столько денег, сколько хотела бы Ада. Клэри и Филлис получали тоже очень мало. Ада сказала:

— Хорошо было бы, Джо, если бы вы нас известили, когда узнаете что-нибудь достоверное.

Ада всегда питала слабость, трогательную материнскую нежность к Джо. Сегодня он казался ей особенно красивым — настоящий джентльмен, такой шикарный и веселый! Ада вздохнула. Она всегда мечтала, что Джо станет ее зятем, и теперь, когда жизнь его так удачно складывается, особенно обидно, что Дженни упустила такую возможность.

Когда Клэри и Филлис ушли, а Альф занялся своими голубями, Ада посмотрела через стол на Джо и сказала тихонько, грустным и конфиденциальным тоном:

— А вы не слышали новость о Дженни?

— Нет. — Джо вынул портсигар и принялся закуривать.

Ада вздохнула:

— Она в будущем месяце ожидает... Да, мне придется поехать туда и присмотреть за ней. В начале декабря.

Табачный дым попал, видно, Джо в глотку. Он поперхнулся, закашлялся и весь побагровел. Через некоторое время он спросил:

— Вы хотите сказать, что ожидается прибавление семейства? Ада с похоронным видом кивнула головой:

— А живут в обрез. И как только *это* произойдет, Дэвид уедет в армию. Бедная Дженни! Бог знает, что с ней будет. Из школы его уволили. Представляете себе их положение? Я всегда говорила, что она себя погубила этим замужеством. И подумать только, что теперь она так попалась.

Снова Джо одолел кашель.

— Что делать, такие вещи случаются.

Ада стала еще откровеннее с Джо. Они вели приятную интимную беседу в полумраке. Когда беседа окончилась, потому что Джо пора было уходить, Ада почувствовала себя очень утешенной. Визит Джо доставил ей громадное удовольствие.

Джо шел пешком до Бич-роуд, и на лице его было странное выражение. Какое счастье, что он тогда вовремя убрался из Слискейла!

В этот вечер он был необычайно любезен со своей увядшей квартирной хозяйкой, дружески поговорил с ней и, казалось, мысленно поздравлял ее с тем, что она стара и некрасива и не имеет дочерей.

Весь следующий день Джо не мог думать ни о чем, кроме предстоящего ужина у Миллингтона. После работы он забежал в парикмахерскую Григга в конце Бич-роуд, где тщательно побрился и причесался, потом пошел домой и принял ванну. Он сидел голый на краю ванны, тихонько насвистывая и подпиливая ногти. Сегодня он решил показать себя в полном блеске.

После ванны он вернулся в комнату, служившую ему и спальней и гостиной, оделся с особой тщательностью, достав свой самый лучший костюм — светло-серый в едва заметную полоску, копия костюма, который он как-то видел на одном франте в «Эмпайре». Джо мечтал о смокинге, его попросту мучило честолюбивое желание иметь смокинг, но он знал, что для этого время еще не пришло. Впрочем, он и в простом сером костюме был хорош: подбородок гладко выбрит, волосы напомажены, глаза блестящие, живые; тонкая часовая цепочка выпущена высоко на жилете, в галстук булавка с поддельной жемчужиной. Он улыбнулся своему ослепительному образу в зеркале, сделал пробный

поклон, прорепетировал несколько небрежно-изящных поз. Улыбка стала шире, он сказал себе: «Наконец-то ты пробрался, куда хотел, мой мальчик, теперь только следи за собой — и ничто тебе помешать не сможет». Потом он снова стал серьезен и по дороге в «Хиллтоп» репетировал нужный тон — почтительный, но смелый. На лице его, когда он поднимался по лестнице, готовый побеждать, было именно такое мастерски сделанное выражение.

Та же нарядная горничная Бесси впустила его в комнату, где Лаура стояла одна, опершись обнаженной рукой на камин и протянув к огню ногу. В простом черном платье она была удивительно эффектна, огонь румянил ее бледное лицо и играл на чудесно отполированных ногтях. Джо пришел в восторг.

«Она, ей-богу, великолепна!» — подумал он. И, ощущая знакомое внутреннее напряжение, но делая трогательно-смирненное лицо, он подошел поздороваться с Лаурой.

Последовала неловкая пауза. Джо потер руки, пригладил волосы, поправил галстук и улыбнулся:

— Холодный сегодня был день, ужасно холодный, не по сезону. И сейчас как будто подмораживает.

Лаура протянула к огню другую ногу и сказала:

— Вот как?

Джо почувствовал, что его «осадили». Лаура внушала ему благоговейный трепет. Никогда в жизни он не встречал еще такой женщины. Но он не сдался:

— Вы очень добры, что пригласили меня сегодня. Это для меня большая честь, уверяю вас. Когда мистер Стэнли сказал мне об этом, я просто обалдел, ей-богу!

Лаура посмотрела на него со своей невеселой усмешкой, отметив про себя и дешевую цепочку, и фальшивую жемчужину, и одуряющее благоухание помады. Затем, словно жалея, что заметила все это, отвела глаза и сказала, обращаясь к огню:

— Стэнли придет сию минуту.

Джо был обескуражен, он не понимал ее. Он все отдал бы за то, чтобы знать наверняка, что она за женщина и каковы его шансы на успех. Но он не знал этого, и она почти внушала ему страх. Во-первых, она настоящая леди. Не «похожа на леди», как говаривала глупенькая Дженни (он чуть не засмеялся, вспомнив жеманство Дженни, сгибание мизинца, поклоны, всякие кривлянья, фразы вроде «как любезно с вашей стороны» и «как вам будет

угодно»), а действительно настоящая леди. Лауре не надо стараться, она родилась дамой высшего света.

К тому же ее непонятное бесстрашие нравилось Джо, покоряло его. Он угадывал, что она никогда не бывает настойчива: если она не согласна, она просто прекращает разговор и остается при своем мнении, усмехаясь этой странной, невеселой усмешкой. Казалось, Лаура тайно смеется над чем-то. Джо подозревал, что она в глубине души презирает условности и целиком не согласна с общепринятыми суждениями о жизни. Но внешне она соблюдала все приличия. Она чрезвычайно следила за собой, одевалась со строгим изяществом. И все же Джо, несмотря ни на что, чуял в ней презрение к условностям. Он инстинктивно угадывал, что Лаура презирает всех, в том числе и его.

Мысли его прервал приход Стэнли. Стэнли был в хорошем настроении, пожал руку Джо и ударил его по плечу, слишком явно стараясь его ободрить.

— Рад видеть вас у себя, Гоулен. Мы здесь церемоний не придерживаемся, так что будьте как дома.

Расставив ноги, он стал на середину коврика перед камином, спиной к огню, и воскликнул:

— А как насчет *того*, Лаура? Насчет порции рома, которая полагается каждому солдату?

Лаура подошла к ореховому столику, где стояли кувшин со льдом и стаканы. Они выпили по стакану сухого мартини. Потом Джо и Миллингтон — по второму. Миллингтон быстро выпил и налил себе еще третий.

— Слишком много я его пью, Гоулен, — сказал он, облизывая губы. — И спортом мало занимаюсь. Но в самом ближайшем времени я начну тренироваться и опять буду в форме. Гимнастика — вот что главное! Закаляться, как нас закаляли в колледже! — Он согнул руку и, хмурясь, пощупал свои мускулы.

Чтобы подбодриться, Стэнли выпил еще стакан, и они пошли в столовую ужинать.

— Удивительно, как легко человек распускается, — жаловался Стэнли, развертывая салфетку и обращаясь к холодному цыпленку на своей тарелке. — Дела, конечно, вещь хорошая, и чтобы делать деньги, приходится не вылезать из конторы. Но черт побери все! Здоровье — лучшее богатство. Это сказал, *кажется*, Шекспир? Или кто-то другой?

— Не Эмерсон ли, — предположила Лаура, глядя на Джо.

Джо не отвечал. Библиотека его состояла из книжки в истрепанной обложке, под названием «Пикантные анекдоты, переведенные с французского», и Библии, принадлежащей миссис Колдер и с назидательной целью положенной перед стеклянным ящиком с восковыми фруктами. Из этой Библии Джо в воскресные вечера, когда он бывал особенно благочестиво настроен, перечитывал то, что он называл «солеными местами».

— Как жаль, что я не могу вступить в армию, — плаксивым тоном размышлял вслух Стэнли. У него была привычка тупых людей говорить до тошноты об одном и том же. — Только там человека приводят в настоящий вид.

Короткое молчание. Стэнли в минутном недовольстве крошит свою булочку. Моменты безоблачного настроения перемежались у него часто с приступами ворчливости и горькой раздражительности, как у всякого человека, который видит, что он начинает стареть и лысеть. Стэнли, впрочем, всегда был склонен сетовать на судьбу. Полгода тому назад он жаждал заработать много денег и восстановить прежнее положение фирмы. А теперь, когда он этого добился, у него все еще оставалось ощущение неудовлетворенности.

Стэнли один завладел разговором. Лаура говорила очень мало, а Джо, несмотря на всевозраставшую уверенность в себе, вставлял лишь изредка осторожные замечания, соглашаясь с тем, что говорил Стэнли. Пока последний разглагольствовал о бридже или гольфе, а особенно — пока он длинно и подробно описывал, каким способом он однажды загнал шар в лунку, глаза Джо время от времени встречались через стол с глазами Лауры, и намеренная непроницаемость этих глаз вызывала в нем тайную досаду. Он спрашивал себя: что она чувствует к Стэнли? Она его жена вот уже семь лет... Детей у них нет. Она очень внимательна к мужу, слушает все, что он говорит... а может быть, и не слушает? Неужели под ее холодным безучастием не таится никаких чувств и она просто «ледышка»? Праведное небо, да что же она собой представляет? Джо знал, что Стэнли вначале был без ума от Лауры, — их медовый месяц продолжался шесть недель, а то и больше; теперь же Стэнли не казался уже так сильно влюбленным. В нем мало осталось от блестящего донжуана. Теперь часто казалось, что он, по выражению Джо, «совсем выдохся».

После сладкого Лаура встала, и Джо, спотыкаясь от избытка усердия, галантно кинулся открывать перед ней дверь. Стэнли выбрал себе сигару, зажег ее и с великодушной щедростью по-двинул ящик Джо.

— Курите, Гоулен, — сказал он. — Отличные сигары.

Джо взял сигару с наружным смирением и благодарностью. В душе же он был раздосадован покровительственным обращением Миллингтона. «Ну, погоди ты у меня, — думал он, — я тебя проучу когда-нибудь!» Пока же он был олицетворенная почти-тельность. Закурил сигару, не сняв ярлычка.

Последовало долгое молчание. Стэнли, вытянув под столом ноги и расстегнув жилет, посмотрел на Джо.

— Знаете, Гоулен, — объявил он наконец, — вы мне нравитесь.

Джо скромно улыбнулся и ожидал, что будет дальше.

— Я человек свободомыслящий, — продолжал ораторствовать Стэнли. (Кроме коктейлей, он выпил еще полбутылки со-терна и стал словоохотлив.) — И мне решительно наплевать, кто вы такой, лишь бы вы были порядочный человек. Сын герцога или сын мусорщика — мне все равно, меня это не интересует, лишь бы был честный человек. Понимаете?

— Ну разумеется понимаю, мистер Стэнли.

— Ну так вот, Джо, — продолжал Миллингтон, — раз вы поняли, к чему я веду, то я продолжаю. Наблюдал я за вами очень внимательно последние месяца два, и то, что я заметил, меня вполне удовлетворило.

Стэнли остановился и передвинул сигару во рту, следя за выражением лица Джо, затем сказал медленно:

— Клегг — конченный человек, — это во-первых. Во-вторых, у меня явилась одна мысль, Гоулен: хочу испытать вас в должности директора.

Джо чуть не лишился чувств.

— Директора? — с трудом прошептал он.

Миллингтон усмехнулся:

— Да, я предлагаю вам должность Клегга. Теперь ваше дело решать, справитесь вы или нет.

Волнение Джо было так сильно, что комната поплыла у него перед глазами. Он уже раньше чуял что-то в воздухе, но ни о чем подобном и мечтать не смел. Он так побледнел, что лицо у него приняло цвет бараньего сала, и уронил сигару на тарелку.

— О мистер Стэнли! — ахнул он. На этот раз ему не надо было притворяться, это вышло естественно и убедительно. — О мистер Стэнли...

— Ладно, ладно, Джо, не волнуйтесь. Извините, что я вас так сразу огорошил. Но, видите ли, у нас война. А война — время неожиданностей. Вам скоро придется взять все в свои руки. И я думаю, что вы меня не подведете.

Волна радостного возбуждения подхватила Джо. Должность Клетга... ему! Директор завода Миллингтона!

— Вот видите, Джо, я вам доверяю, — сердечным тоном объяснил Стэнли. — И я готов доказать это, потому-то и предлагаю вам такой пост.

В эту минуту в приемной зазвонил телефон, и, раньше чем Джо успел ответить, вошла Лаура.

— Это тебя, Стэнли, — сказала она. — Тебя вызывает майор Дженкинс.

Стэнли извинился и пошел к телефону.

Джо, не глядя, чувствовал, что Лаура здесь, стоит у двери, против него, близко, что она смотрит на него. Радостное волнение бушевало в нем, он чувствовал себя сильным, он пыжился от радости. Он поднял глаза и посмотрел Лауре прямо в лицо. Но Лаура, избегая его взгляда, сказала весьма лаконично:

— Выпейте кофе в гостиной, раньше чем уйдете.

Он не отвечал, не мог выговорить ни слова. Так они стояли друг против друга, а в комнату доносился голос Стэнли, говорившего по телефону.

VIII

Приближалось время родов, и Дженни вела себя во всех отношениях примерно. С того времени, как она сообщила Дэвиду о своей беременности, она «стала другим человеком». Конечно, у нее бывали небольшие припадки сварливости — у кого же в таком положении их не бывает? — и разные «прихоти», как она их называла; в самые неподходящие моменты ей хотелось каких-нибудь особенных деликатесов, которые именовались термином «что-нибудь вкусенькое»: то она, например, требовала имбирных пряников, так как ее «воротит» от хлеба, то маринованного

луку, то тартинок с селедочной икрой. У матери ее, Ады, всегда во время беременности появлялись разные прихоти, и Дженни считала себя вправе иметь свои.

Она готовила нарядное приданое для будущей новорожденной, — она была убеждена, что родится девочка: ей так хотелось дочурку, которую можно наряжать, а мальчишки ужасные! И по вечерам Дженни сидела у камина против Дэвида, как самая домовитая жена, вышивала, вязала, отделявала детские вещицы, руководствуясь указаниями «Журнала для домашних хозяек» и журнала «Малютка». Она мечтательно строила планы будущего своей дочки. Она будет актрисой, знаменитой актрисой, или, еще лучше, великой певицей, примадонной Большого оперного театра. Она унаследует и разовьет талант матери и будет переходить от триумфа к триумфу в Ковент-Гардене, важные особы будут слушать ее и бросать букеты к ее ногам, а Дженни из ложи будет с нежностью и сочувствием следить за успехом, который и ей когда-то достался бы на долю, если бы ей дали возможность выдвинуться. Но на пути актрисы встречаются и соблазны, опасные соблазны, и Дженни морщила лоб при этой мысли. То вдруг картина менялась, и она видела в своем воображении монахиню с бледным и одухотворенным лицом, с тайной печалью на сердце, покинувшую сцену и свет, проходящую по коридорам большого монастыря в полутемную часовню. Начинается служба, звучит орган, и голос монахини разливается вокруг во всей своей чудесной чистоте. Слезы наполняют глаза Дженни, и печальные романтические грезы приобретают уже более трагическую окраску. Нет, не будет никакой маленькой девочки, никакой примадонны или монахини, и она, Дженни, умрет, чует ее сердце! Нелепо воображать, что у нее хватит сил родить ребенка, — у нее всегда было предчувствие, что она умрет молодой. Она вспоминала, что Лили Блэйдс, одна из продавщиц у Слэттери, которая удивительно верно всем гадала, однажды предсказала ей страшную болезнь. Она уже видела себя умирающей на руках Дэвида, который с искаженным, страдальческим лицом молит не покидать его. У постели — большая корзина белых роз; и даже доктор, этот суровый человек, стоит в глубине комнаты, убитый горем.

Настоящие слезы начинали струиться по лицу Дженни, и Дэвид, случайно подняв глаза, восклицал:

— Господи помилуй, Дженни, в чем дело?

— Ничего, Дэвид, — вздыхала она с бледной ангельской улыбкой. — Право же, я счастлива. Вполне, вполне счастлива.

Потом она решила, что ей следует завести кошку, так как кошка привязывается к дому и создает веселье и уют. Она стала просить всех знакомых достать ей котенка. Всех, решительно всех заставила она искать, где только можно, и когда Гарри, мальчик из мясной лавки, принес ей маленького полосатого зверька, она пришла в восторг. Но потом, когда пришел фургонщик Мэрчисона и принес еще одного, а на следующий день миссис Скорбящая прислала третьего, Дженни была уже в меньшем восторге. Немыслимо было вернуть котят, раз она так просила людей достать их, а между тем котята вели себя не очень аккуратно. Пришлось в конце концов двух утопить. Дженни было ужасно жаль милых беспомощных крошек, но что же делать? Она потратила массу времени на придумывание клички для оставшегося в живых котенка. Она назвала его Красавчик.

Потом она вдруг начала заниматься музыкой, целыми днями упражнялась на пианино, пробовала голос — и выучила две колыбельные песенки.

Потом она захотела «стать культурнее». В этот период она всячески давала понять Дэвиду, что ее терзают тайные сожаления: она, мол, недостаточно хороша для него, ей следовало бы во всех отношениях быть лучше, талантливее, развитее.

Она хотела беседовать с Дэвидом на темы, которые его интересовали, только на серьезные темы — социально-экономические, политические. С этими намерениями она раз-другой принималась за его книги, чтобы подготовиться к будущим философским дискуссиям, но книги ее не слишком обнадежили, и в конце концов пришлось их забросить.

Что же, если она не может стать умной, так может стать хорошей! О да, хорошей. Она купила книжечку под названием «Солнечные часы в счастливой семье» и усердно читала ее. Она читала ее, как ребенок учит урок, тихо, шевеля губами, положив книгу на колени, поверх вязанья. Прочтя описание одного особенно «солнечного» получаса, она устремила влажные глаза на Дэвида и в волнении воскликнула:

— Я глупенькая, Дэвид, но, право же, я не плохая! Здесь сказано, что все мы совершаем проступки, но можем потом снова очиститься душой. Скажи, Дэвид, правда, ведь я не скверная?

Он кротко уверил ее, что она не скверная.

Дженни с минуту смотрела на него, потом сказала во внезапном порыве:

— Ах, Дэвид, нет на свете человека лучше тебя. Правда, Дэвид, ты самый лучший человек на свете.

Никогда еще Дженни не казалась Дэвиду таким ребенком. Да, она настоящий ребенок! Казалось просто нелепым, что она скоро будет матерью. Дэвид обращался с нею ласково. Часто по ночам, когда они лежали рядом и она, чем-нибудь потревоженная или испуганная во сне, вздрагивала и жалась к нему, он ощущал ее расплывшее тело и движение ребенка внутри ее. Нежность переполняла его сердце, и он принимался успокаивать жалобно хныкавшую Дженни.

Он спросил у нее как-то, хочет ли она, чтобы Марта, его мать, хозяйничала у них в доме и ухаживала за ней во время родов. Дженни, по-новому покорная, согласилась. Но когда Марта пришла, чтобы сделать нужные приготовления, стало ясно, что примирение невозможно. Марта, возвращаясь к себе, по пути встретила Дэвида. Лицо ее пылало.

— Не могу я за это взяться, — сказала она, сдерживаясь изо всех сил. — И напрасно буду пробовать. Чем меньше мне с ней встречаться, тем лучше. Я ее не выношу, и она меня не выносит. Так лучше раз навсегда с этим покончить.

И прежде чем сын успел ответить хоть слово, Марта пошла дальше.

Таким образом, было решено, что на роды придет Ада Сэнли из Тайнкасла. Ада приехала 2 декабря, в сырой и ветреный день, и, тяжело ступая, вышла из вагона, держа в руках небольшой желтый саквояж, перевязанный веревкой. Встретивший ее на вокзале Дэвид снес этот саквояж на Лам-лейн. Ада прибыла в очень кислом настроении, видимо не слишком довольная поездкой и, во всяком случае, недовольная Дэвидом. Она разговаривала с ним сдержанно и довольно сухо, заранее готовая негодовать на скудость их хозяйства. Не прошло и часу с момента ее появления в доме, как она уже послала Дэвида купить подкладное судно. Ее шумные хлопоты, суета, поднятая ею в доме, были невыносимы. Лишенная комфорта своей грязной «задней комнаты», оторванная от блаженного покоя в любимой качалке, она развила необычайную деятельность, ужасающую суетливость толстой, переваливающейся на ходу женщины. Она проявляла усиленную за-

ботливость по отношению к Дженни, заботливость и жалость. Она как будто говорила мысленно: «Ах ты, бедная моя овечка! Слава богу, что хоть мать подле тебя!»

Особенно деятельно работала Ада языком. Она рассказывала Дженни все новости. Салли неожиданно закончила свое зимнее турне (она участвовала в пантомиме): у труппы вышли какие-то неприятности, так что Салли снова без работы и теперь ищет ангажемента. «Салли всю жизнь только и делает, что ищет ангажемента», — прибавила Ада мрачно. Ходят слухи о концертах для раненых солдат, и Салли, может быть, предложат выступить в них, но это будут благотворительные выступления, за них не заплатят ни пенни. Ада сетовала на неспособность Салли добиться приличного и постоянного заработка и на дурацкое честолюбие, побуждающее ее цепляться за такое безнадежное дело, как сцена. Как жаль, что она бросила тогда службу на телефонной станции!

Постепенно излагая события, Ада дошла до появления Джо. Это было на следующий день после ее приезда, и они с Дженни вдвоем сидели на кухне. Ада наливала Дженни чашку чаю. Как будто невзначай, она сказала:

— Да, кстати, ты знаешь, что Джо приходил нас навестить?

Дженни, полулежавшая на диване, внезапно выпрямилась, и ее бледное томное лицо замкнулось, как устрица. После некоторого молчания она сказала ледяным тоном:

— Я ничего не знаю и знать не хочу о Джо Гоулене. Я его презираю.

Ада старательно поправляла стеганую покрывалку на чайнике:

— Он стал такой шикарный, ты и представить себе не можешь! Заходил еще раза два... Не следует тебе, Дженни, ругать его только потому, что ты его упустила. Сама виновата, миледи! Вот умри я на этом месте, если Джо не отличный парень! Обещает устроить Клэри и Филлис на военный завод в Виртлее, когда он откроется. Джо работает у Миллингтона, и ему живется прекрасно.

— Я сказала тебе, что не желаю ничего слышать о Джо Гоулене! — закричала Дженни натужным голосом. — Если хочешь знать, мне противно даже имя его слышать!

Но Ада, усевшись за стол и положив пухлые руки на крышку чайника, как бы желая их погреть, продолжала с раздражающей настойчивостью:

— Ты не можешь себе представить, как он идет в гору. Он начальник цеха, работа у него чистая, одет великолепно. А когда он приходил к нам в последний раз, то рассказал, что приглашен на ужин в дом к Миллингтону. В «Хиллтоп», Дженни, можешь себе представить? Говорю тебе, моя милая, ты сделала большую ошибку, что упустила Джо. Вот *такого* зятя я бы хотела иметь.

Лицо Дженни было совсем бело, она крепко сжала кулаки, голос ее перешел в визг:

— Я не желаю слушать таких слов, мать! Не хочу, чтобы имя Джо упоминалось здесь рядом с именем Дэвида! Джо — отпетый негодяй, а Дэвид — самый лучший человек на свете.

Дженни с вызовом смотрела на Аду. Но на этот раз ей не удалось взять верх над матерью: беременность ослабила ее физически, да и душевное ее состояние было состоянием какой-то странной внутренней покорности. Ада представлялся случай заставить Дженни хоть раз «смириться» перед ней, и она этим случаем воспользовалась.

— Фи! — сказала она, мотнув головой. — Что за манера разговаривать! Послушать тебя, так можно подумать, что ты никогда с ним не заигрывала.

Дженни опустила глаза, ничего не отвечая.

В эту минуту дверь отворилась, и вошел Дэвид. Он только что воротился из Управления порта, где он временно работал в конторе. Ада повернулась к нему, улыбаясь несколько свысока. Но не успел он и слова вымолвить, как Дженни, упав на диван, испустила жалобный крик и прижала руки к животу.

— О боже! — шепнула она. — У меня схватки.

Ада, глядя на дочь, колебалась между сомнением и неудовольствием.

— Не может быть, — сказала она наконец. — Еще неделя до срока.

— Да, это *оно*, — отвечала Дженни задыхающимся голосом. — Я знаю. Ой, вот опять!

— Подумать только! — воскликнула Ада. — Да, кажется, началось! Бедный мой ягненок! — Она опустилась на колени у дивана и приложила руку к животу Дженни.

— Да, да, это *оно*. Скажите пожалуйста, а! — И обратилась к Дэвиду с таким видом, как будто положение резко изменилось

и он каким-то непонятным образом в этом виновен. — Ступайте за доктором! Нечего стоять тут и смотреть на нее.

Бросив быстрый взгляд на Дженни, Дэвид отправился за доктором Скоттом, у которого еще не кончился вечерний прием больных. Скотт был пожилой, костлявый и краснолицый мужчина, весьма резкий и несловоохотливый, с неприятной привычкой плевать и харкать во время разговора. Он отличался полным отсутствием черт, типичных для людей его профессии, ходил постоянно в рейтузах и длинном клетчатом пиджаке с огромными карманами, набитыми всякой всячиной: там можно было найти его трубку, пилюли, кусок бинта, изюм, парочку футляров от термометров, карманный ланцет, который никогда не стерилизовался, резиновый катетер, выскакивавший на пол всякий раз, как доктор вытаскивал свой ветхий носовой платок. Но, несмотря на неряшливость, причуды и полное игнорирование асептики, это был прекрасный врач.

Доктор Скотт, по-видимому, не находил нужным спешить к Дженни при первых же схватках. Он закашлялся, плюнул и кивнул головой Дэвиду:

— Я найду через час. — И крикнул через открытую дверь в приемную: — Следующий, пожалуйста!

Дэвида расстроило то, что доктор не пошел с ним тотчас же. Придя домой, он увидел, что Ада и Дженни ушли наверх. Он стал с беспокойством ожидать Скотта.

В семь часов вечера доктор наконец явился, и хотя схватки у Дженни были уже гораздо сильнее, он стал уверять Дэвида, что пока ничем помочь не может. Дэвид понял из его объяснений, что первые роды — дело затяжное, и спросил, долго ли придется Дженни мучиться. Уставившись на огонь в камине, раньше чем плюнуть в него, Скотт отвечал:

— Не думаю, чтобы долго. Я приду опять часов в двенадцать.

Ждать до двенадцати было очень трудно. Мучения Дженни становились все сильнее. Казалось, у нее скоро не хватит ни сил, ни мужества их выносить. Она переходила от капризов к испугу, от испугов к истерике, от истерики к изнеможению. В спальне, убранству которой она уделяла столько внимания и забот, в спальне с детской кроваткой в углу, новыми кисейными занавесками на окнах и красивыми кружевными салфеточками на

туалете теперь царил полный беспорядок. Неприятно было, когда Ада опрокинула чайник, но самым неприятным оказался тот момент, когда слабое мяуканье заставило Дженни взвизгнуть и под кроватью был обнаружен Красавчик.

Дженни совсем обессилела. Хоть Ада и говорила ей, что надо ходить, она лежала, раскинувшись поперек кровати, на скомканных простынях, держалась за голову и плакала. Она забыла и про журнал «Малютка», и про «Солнечные минуты в счастливой семье». Она больше ни на что не обращала внимания, лежала поперек кровати на беспорядочной куче белья, раскинув ноги, ее ночная сорочка задралась, волосы рассыпались вокруг бледного, худого лица, со лба струился пот. Время от времени она закрывала глаза и стонала.

— О боже милосердный! — причитала она. — А-а-а, вот опять начинается! О боже, моя поясница, а-а-а... Мама, дай напиток... эта вода нехорошая... скорее, мама, ради бога...

Все оказывалось не так романтично, как воображала Дженни.

Доктор Скотт явился ровно в двенадцать и прошел прямо наверх. Дверь спальни захлопнулась, там остались втроем доктор, Ада и кричавшая Дженни. Крики усилились, тяжело затопали сапоги Скотта, потом наступила тишина.

«Слава богу, хлороформ!» — подумал Дэвид. Он сидел, сгорбившись, на стуле в кухне, перед уже почти потухшим огнем. Он вместе с Дженни терпел все муки, и сейчас тишина после хлороформа принесла ему похожее на смерть облегчение. Страдания других людей всегда больно отзывались в его сердце, а муки Дженни были частью этого неотвратимого человеческого страдания. Он с нежностью думал о ней. Он забыл обо всех ссорах, спорах, недоразумениях между ними, забыл ее мелочность, капризы и суетное тщеславие. Мысли его перешли на ребенка, и снова этот ребенок представился ему символом, символом новой жизни, рождающейся среди мертвых. Ему чудилось поле битвы, где убитые лежали в позах еще более странных, чем мертвецы в шахте. Скоро он будет во Франции, на этих полях смерти. От Нэджента приходили письма с фронта, он работал санитаром в лазарете, сопровождавшем Нортумберлендский стрелковый батальон. Если записаться на том же пункте в Тайнкасле, то он, Дэвид, будет отправлен в тот же батальон. И он надеялся, что его лазарет будет близко от лазарета, где работал Нэджент.

Стон долетел сверху, потом пение, — это пела Дженни. Он ясно различал слова одной из ее любимых сентиментальных песенок, но слова эти звучали теперь до странности неприлично. Таково действие хлороформа, который заставляет людей петь, как поют пьяные.

Потом снова наступила тишина, долгая тишина, внезапно нарушенная новым звуком — слабым голоском, который не был голосом Дженни, Ады или Скотта, — совсем новым голосом, который плакал и пищал, как флейта. Звук этого тоненького голоса, возникшего из мук и воплей и последовавшего за ним мрачного молчания, ударил Дэвида по сердцу. Снова знамение: из хаоса — новая заря. Он сидел неподвижно, сжав руки, подняв голову, и странное предчувствие светилось в его глазах.

Через полчаса Скотт, тяжело ступая, сошел вниз в кухню. На лице его было то усталое и брезгливое выражение, которое часто бывает на лицах переутомленных докторов-скептиков, только что отошедших от постели роженицы. Он порылся в кармане, ища изюм. Скотт всегда уверял, что носит в карманах изюм для того, чтобы давать его детям, так как это отличное средство против глистов. На самом же деле он сам любил изюм, потому и бивал им карманы.

Он нашел изюмину и принялся ее жевать, сказав как-то неохотно:

— Ну, вот и явился маленький человечек.

Дэвид ничего не ответил, только проглотил слюну и кивнул головой.

— Мальчик, — снова сообщил Скотт, как бы автоматически отвечая на немой вопрос Дэвида и тщетно пытаясь вдохнуть в свои слова энтузиазм.

— А с Дженни все благополучно?

— Да, ваша жена чувствует себя хорошо, вполне хорошо. — Скотт помолчал и бросил очень странный взгляд на Дэвида. — Но ребенок слабенький. За ним нужно будет последить.

Он опять с какой-то странной подозрительностью посмотрел на Дэвида, но не сказал больше ничего. Это был огрубевший старый человек, лечивший только деревенских жителей да шахтеров. Но сейчас его поведение объяснялось не грубостью. Видимо, он просто был утомлен жизнью, и в такие моменты она представлялась ему жуткой и непонятной. Закинув руки за голову,

он потянулся и зевнул. Потом, простясь с Дэвидом и плюнув в потухший камин, вышел.

Дэвид стоял несколько минут посреди пустой кухни, прежде чем пойти наверх. Он постучал в дверь спальни и вошел; он хотел быть подле Дженни и их ребенка. Но Дженни была в полном изнеможении, она еще не совсем пришла в себя после наркоза. Ада хлопотала вокруг нее и сразу же сердито прогнала Дэвида из комнаты. Ему ничего не оставалось, как вернуться вниз. Он постелил себе на диване в гостиной. Еще раньше, чем он уснул, в доме наступила полная тишина.

На следующее утро Дэвиду показали малыша. Когда он сидел за завтраком, состоявшим из какао и хлеба, Ада принесла ребенка на кухню с таким гордым видом, как будто это было ее собственное произведение. Он был только что выкупан, присыпан и уложен в обшитый кружевами конверт, изготовленный по фасону журнала «Малютка» и очень эффектно драпировавший крохотное тельце. Но, несмотря на пышный наряд, новорожденный выглядел очень слабеньким и некрасивым. У него были черные волосы и приплюснутый рыхлый носик, он все шурился на свет, такой болезненно-жалкий, крошечный, что сердце Дэвида растаяло от нового чувства нежности. Он поставил на стол чашку и взял сына к себе на колени. Ощущать его на коленях было странно и удивительно приятно. Глаза малыша, боязливо мигая, глядели на него. Что-то виноватое почудилось Дэвиду в этом робком мигании, словно мальчик в чем-то извинялся перед ним.

— Ну, ну! — Ада отняла ребенка и покачала его на руках. — Папа не умеет обращаться с нашим крошечкой.

У Ады было нелепое убеждение, будто никакой мужчина не способен подержать на руках младенца так, чтобы не причинить ему вреда. А между тем — странное дело — ребенок на коленях у Дэвида лежал совершенно спокойно, теперь же он заревел, и ревел все время, пока Ада уносила его наверх.

Дэвид отправился в контору, думая о сыне, и до самого возвращения с работы все думал о нем. Он начинал уже любить это маленькое некрасивое существо.

Было совершенно очевидно, что ребенок родился хрупким. Дженни сама это признавала и с течением времени усвоила себе привычку в присутствии посетителей говорить всегда одну и ту

же фразу, — сострадательно глядя на ребенка, она произносила быстро, без передышки:

— Бедный малютка! Доктор говорит, что он не очень крепкий.

Доктор Скотт прописал ребенку какие-то порошки и мазь для втирания, и Дженни, после слабых протестов, все-таки стала кормить его сама. На этом настоял тот же доктор Скотт.

Воспоминание о родах, казавшихся чем-то незабываемо мучительным, постепенно стерлось. Дженни повеселела, оправилась от разочарования, что у нее не девочка, а мальчик. Она хотела назвать его Дэвидом и упрашивала Дэвида позволить ей назвать сына в его честь.

— Ведь он твой, Дэвид, — говорила она с наивной убедительностью, глядя на Дэвида своими ясными красивыми глазами и улыбаясь, — значит, и назвать его следует твоим именем.

Но Дэвид хотел, чтобы мальчик был назван Робертом. Пускай его живой сын будет Роберт, как его умерший отец. И Дженни, попробовав предложить несколько других имен, в особенности имена Гектор, Арчибальд и Виктор, которые она находила более красивыми и звучными, в конце концов уступила. Она старалась чем только можно угодить Дэвиду — и мальчик получил имя Роберт.

Прошло три недели. Ада уехала обратно в Тайнкасл. Дженни могла уже покинуть спальню и томно полулежала внизу на диване. Но необходимость нянчить Роберта она считала для себя бременем по многим причинам. Когда силы к ней вернулись и жизнь снова потекла нормально, решения, взлелеянные ее романтическим воображением, мало-помалу потеряли свою привлекательность. Роберт из «милого крошки» превратился в «надоеду». Она охотно предоставляла Дэвиду давать Роберту лекарство и купать его, когда чувствовала себя усталой. Но вместе с тем ее несколько сердили заботы Дэвида о ребенке.

— Ведь меня ты любишь больше, не правда ли, Дэвид? — воскликнула она однажды вечером. — Ты не любишь его больше, чем меня?

— Ну конечно нет, Дженни, — засмеялся Дэвид, стоя на коленях с засученными рукавами у жестяной ванночки, где Роберт лежал в мыльной воде.

Дженни не отвечала. Она продолжала смотреть на обоих, и лицо ее приняло еще более недовольное выражение.

Приближался Новый год, и Дженни испытывала все большее раздражение и беспокойство.

Все шло не так, как ей хотелось, ни в чем она не видела утешения. Она и хотела, чтобы Дэвид уехал на фронт, и не хотела. Она то гордилась этим, то ей было страшно. Пытаясь рассеяться, она пристрастилась к чтению дешевых романов в бумажных обложках, отложив в сторону «Солнечные часы в счастливой семье». Она забросила музыку, не подходила к пианино и не пела больше колыбельных песенок; подолгу изучала себя в зеркале, чтобы убедиться, что ее лицо и фигура не пострадали. Опять она горевала о том, что у нее нет друзей: она остается как-то вне всего, жизнь проходит мимо, она ничего не берет от жизни! Такие мысли очень мучили и угнетали ее. Лучше бы она умерла!

К тому же погода стояла сырая, и, хотя Дженни уже была здорова, она не любила выходить в дождь. Да и Роберта надо было кормить через каждые четыре часа, а это, конечно, мешало тем «настоящим» развлечениям вне дома, которых ей хотелось.

Но в канун Нового года дождь прекратился, выглянуло солнце, и Дженни почувствовала, что больше не выдержит: ей необходимо немного развлечься. Необходимо! Кажется, годы, сотни лет она уже нигде не была! И она решила съездить в Тайнкасл навестить мать. При этой мысли лицо ее просияло, она помчалась в спальню, старательно принарядилась и сошла вниз. Было четыре часа. Она накормила Роберта, уложила его в колыбель и торопливо нацарапала записку Дэвиду, сообщая, что вернется в восемь.

Дэвид был очень доволен, когда, придя домой, нашел записку Дженни: его радовало и то, что Дженни развлечется, и в особенности то, что Роберт на это время всецело предоставлен ему.

Роберт спал в своей колыбельке, в углу за печкой. Дэвид снял башмаки и ходил по квартире в одних носках, чтобы не шуметь. Он налил себе чаю и поужинал в обществе Роберта, потом взял книгу и сел у колыбели. Это был Ницше — «По ту сторону добра и зла». Дэвида интересовал Ницше. Но он смотрел больше на Роберта, чем в книгу.

В половине восьмого Роберт проснулся и ожидал, что его будут кормить. Он лежал совершенно смирно на спине и смотрел на сборчатый полог своей колыбели.

«А странное у него, должно быть, представление о мире», — подумал Дэвид.

Добрых полчаса Роберт продолжал благодушно предаваться созерцанию этого странного мира, пока утоляя свой голод тем, что сосал палец. Но в конце концов палец перестал его удовлетворять, и после небольшого предварительного писка Роберт заревел. Дэвид вынул его из колыбели, стал успокаивать. На короткое время это помогло, но потом Роберт снова заплакал.

Дэвид с тревогой посмотрел на часы. Половина девятого. Дженни, должно быть, опоздала на поезд, а следующий прибывал только в десять! Дэвида впервые поразила мысль о том, как всецело благополучие Роберта зависит от Дженни.

Он делал все, что мог. Увидев, что у Роберта мокрая пеленка, он переменял ее, хотя был не слишком опытен в этом деле. Роберт как будто остался этим доволен и в виде благодарности вцепился ручонками в волосы Дэвиду, когда тот снова взял его на руки.

Дэвид засмеялся, и Роберт тоже. Он, видимо, хотя и был голоден, но в остальном чувствовал себя теперь прекрасно. Дэвид положил его на коврик перед огнем, и Роберт, раскинувшись на пеленке, болтал ножками в воздухе. За последние недели он заметно окреп, потолстел, сыпь исчезла, и он уже меньше сопел носом. Но сейчас он был ужасно голоден и снова принялся орать, потому что время близилось к десяти часам.

Все сильнее негодуя на опоздавшую Дженни, Дэвид встал на четвереньки и начал разговаривать с Робертом, пытаясь его утихомирить. В эту минуту дверь распахнулась и вошла Дженни в весьма приподнятом настроении: она ходила с Клэри в кино, а потом угостила себя двумя стаканами портвейна.

Она остановилась на пороге, подбоченившись и широко ухмыляясь красным ртом. Потом вдруг захохотала. Она корчилась от смеха, любуясь зрелищем, которое представляли собой Дэвид и Роберт на ковре.

Дэвид сжал зубы.

— Перестань! — сказал он резко.

— Нет, не могу! — хихикала Дженни. — Мне вдруг пришло в голову... пришла в голову одна мысль.

— Какая?

— Нет, ничего, — сказала она торопливо. — Так, просто шутка. Наступило молчание. Дэвид встал и поднял ребенка.

— Роберт голоден, — сказал он, все еще возмущенный, злой. — Не знаешь ты, что ли, что его нужно кормить?

Она шагнула вперед, ступая не совсем твердо.

— Что же, давай его, — сказала она, — ведь я могу помочь этому горю, а?

Она взяла у него ребенка и не села, а шлепнулась на диван. Должно быть, два стакана портвейна придали некоторую размашистость ее движениям. Дэвид угрюмо наблюдал за ней. Она быстрым движением расстегнула блузку. Большие налитые груди выступали, как коровье вымя, — полные, белые с синими жилками. Молоко уже капало из сосков. Когда Роберт пристроился к одной груди и стал сосать, молоко из другой так и брызнуло. Раскрасневшаяся, счастливая, Дженни улыбалась, блаженно раскачиваясь на диване взад и вперед, не обращая внимания на сочившееся из груди молоко.

А Дэвид отвернулся: ему вдруг стало противно. Он сделал вид, что поправляет дрова в камине, потом снова посмотрел Дженни в лицо.

— Помни! — сказал он серьезно и тихо. — Я рассчитываю, что ты будешь как следует заботиться о Роберте, когда меня здесь не будет.

— Непременно, Дэвид, — стремительно уверила его Дженни. — Ты и сам знаешь, что буду.

На следующий день Дэвид уехал в Тайнкасл, а оттуда его отправили в лагерь у Кэтгерика. Три месяца спустя, 5 апреля, он с полевым лазаретом, прикомандированным к пятому Нортумберлендскому стрелковому батальону, отплыл во Францию.

IX

В этот день, второе воскресенье сентября 1915 года, автомобиль Гетти круто остановился на усыпанной гравием дорожке «Холма». У окна столовой, засунув руки в карманы, стоял Артур и наблюдал, как Гетти выходила из автомобиля, такая изящная в своей форме хаки, и как она потом шла к подъезду.

Артуру было известно, что Гетти придет сегодня. Не знать о приезде Гетти было совершенно невозможно. Об этом возвестила тетя Кэрри, об этом упоминала мать, а в субботу за завтраком и отец, окинув взглядом стол, заметил как-то особенно многозначительно:

— Завтра к чаю придет Гетти. Она специально отпросилась на этот день.

Артур не сказал ничего. Что, они считают его дураком? Все было слишком ясно: это слово «специально» звучало как-то зловеще.

За последние восемь месяцев Гетти часто навещала в «Холм». Вступив одной из первых в Женский комитет содействия армии, она теперь получила место в штабе женского добровольного полка в Тайнкасле. Она часто оказывалась полезной Баррасу и, носясь в своем двухместном автомобиле между Тайнкаслом и Слискейлом, привозила ему на подпись бумаги. Но в это воскресенье, по глубокому убеждению Артура, Гетти собиралась приехать ради дел неслужебного порядка. Он отлично понимал это и, несмотря на все свое ожесточение, чуть не засмеялся громко.

Гетти вошла в столовую. Увидев его у окна, она весело улыбнулась и протянула ему руки, защебетав от удовольствия.

— Ты меня ожидал здесь, Артур, — сказала она. — Как мило!

Гетти была удивительно весела; он это предвидел. Он не ответил улыбкой на улыбку, сказал отрывисто:

— Да, ожидал.

Его тон мог быть для нее предостережением, но он не смутил Гетти.

— А где все остальные? — спросила она беспечно.

— Все исчезли. Все дипломатически устранились, чтобы оставить нас вдвоем.

Она засмеялась и укоризненно покачала головой:

— По твоему тону можно подумать, что тебе это неприятно. Но я знаю, ты не хотел быть грубым. Я знаю тебя лучше, чем ты сам. Ну, что же мы будем делать? Не пойти ли нам погулять?

Артур слегка покраснел и отвел глаза, но через мгновение сказал:

— Хорошо, Гетти, пойдем гулять.

Он надел шляпу и пальто, и они вышли на обычную прогулку (которой не совершали, впрочем, уже несколько месяцев) по Слус-Дин. Осенний день был тих, поросшая лесом долина уже вся желтела бронзой, сучья трещали под ногами. Артур и Гетти шли молча. Дойдя до конца долины, они сели на корни дуба, которые из-за оседания почвы выступали высоко над землей. То было их любимое место. Внизу лежал город, по-воскресному тихий, а за ним простиралось море, сверкая вдалеке и сливаясь с небом. Копры «Нептуна», черные, высокие, выступали на светлом фоне моря и неба. Артур смотрел на них, на эти виселицы над шахтами «Нептуна».

Гетти, с кокетливой стыдливостью прикрыв юбкой красиво обутые ножки, посмотрела в направлении его взгляда.

— Артур, — окликнула она его. — Почему ты смотришь *так* на шахту?

— Не знаю, — сказал он с горечью. — Дела хороши. Уголь продаем по пятидесяти шиллингов за тонну.

— Нет, ты не об этом думал, — возразила она с внезапно проснувшимся любопытством. — Я хочу, чтобы ты мне правду сказал, Артур. В последнее время ты такой странный, на себя не похож. Расскажи мне, милый, и, может быть, я сумею тебе помочь.

Он повернулся к Гетти, — сквозь горечь пробилось теплое чувство. Ему захотелось сказать ей, освободиться от ужасной тяжести, угнетавшей его, раздавившей его душу. Он сказал тихо:

— Я не могу забыть о том, что случилось в «Нептуне».

Гетти пришла в замешательство, но ничем этого не выдала. Она сказала, словно утешая огорченного ребенка:

— Почему же, Артур, милый?

— Потому что я уверен, что это несчастье можно было предотвратить.

Она смотрела в его печальное лицо с тайной досадой, говоря себе, что ей надо наконец разгадать до конца эту раздражающую загадку.

— Тебя что-то не на шутку мучает, Артур, милый. Может быть, ты все же расскажешь мне?

Он посмотрел на Гетти и ответил медленно:

— Я считаю, Гетти, что жизнь всех этих людей была напрасно загублена. — Он замолчал. К чему говорить? Все равно она никогда не поймет.

Но Гетти смутно догадывалась о навязчивой идее, сжигавшей его мозг. Она взяла его за руку, желая успокоить, и сказала мягко:

— Даже если так, Артур, не лучше ли забыть об этом? Это было давно. И всего сто человек. Что это по сравнению с тысячами храбрых, убитых на войне? Вот о чем тебе не надо забывать, милый Артур! У нас война. Мировая война. Это не то что пустяковый несчастный случай в шахте!

— Нет, это все равно, — возразил он, сжимая рукой лоб. — Это совершенно то же самое. Я не могу смотреть на это иначе. В моей голове одно неразрывно связано с другим. Людей на войне губят совершенно так же, как людей в шахтах, — бесполезно, возмутительно. Несчастный случай в «Нептуне» и война — для меня одно и то же. Одно великое массовое избиение.

Теперь Гетти почувствовала себя увереннее и, минуя запутанные лабиринты, куда увлекал ее Артур, пошла прямо к цели. Она по-своему была привязана к Артуру, но она была практична — и гордилась этим. И она желала Артуру добра.

— Я так рада, что ты мне рассказал, Артур, — сказала она стремительно. — Ты себя замучил до смерти — и все из-за пустяков. Я замечала, что ты в последнее время какой-то странный, но мне и в голову не приходило, что из-за этого. Я думала... нет, я просто не знала, что и думать.

Он мрачно посмотрел на нее:

— Что ты думала? Говори прямо.

— Видишь ли... — Гетти замялась. — Я думала, что ты, должно быть... что ты *не хочешь* идти на войну.

— Я и не хочу, — сказал Артур.

— Нет, я думала... я думала, Артур, милый, что ты *боишься* идти.

— Может быть, и боюсь, — вяло отозвался Артур. — Может быть, я трус... почему я знаю!..

— Глупости! — решительно возразила Гетти и погладила его руку. — Просто ты довел себя до полного расстройств нервов. И с самыми храбрыми так бывает. Вот, например, Алан говорил мне, что, перед тем как он так отличился и получил крест, он был в настоящей панике. Теперь выслушай меня, дорогой мой. Ты слишком много думал и волновался. Тебе полезно будет для разнообразия начать действовать. Давно пора мне прибрать тебя к рукам.

Взгляд ее стал пытливым. Она улыбалась, уверенная в себе, в силе своей женской прелести:

— Ну, слушай, глупый мой, родной мальчик! Помнишь то воскресенье в Тайнкасле, когда ты хотел, чтобы мы обручились, а я сказала, что оба мы слишком молоды?

— Да, — медленно отвечал Артур, — я этот день помню. *Меня* никакая суета не заставит его забыть.

Гетти подняла на него глаза с черными зрачками и снова принялась нежно гладить его руку:

— Ну так вот, Артур... все было бы иначе, если бы ты вступил в армию.

Артур сразу внутренне сжался. Вот оно, то, чего он страшился, — оно пришло к нему под ненавистной маской нежности! Но Гетти не заметила порыва отвращения, под влиянием которого Артур стал холоден и нем. Она была увлечена собственным чувством, — чувство это было не любовь, а любованье своей самоотверженностью. Она придвинулась к Артуру и прошептала:

— Ты знаешь, что я тебя люблю, Артур. С самого детства люблю. Почему бы нам не обручиться и не покончить со всеми этими глупыми недоразумениями? Ты тревожишь отца, тревожишь всех, в том числе и твою бедную маленькую Гетти. Ты чувствовал бы себя гораздо, гораздо счастливее в армии, я в этом уверена. Мы оба были бы счастливы, и все было бы чудесно.

А он молчал, и только когда Гетти подняла раскрасневшееся личико с трогательно разметавшимися по щекам прядями гладких белокурых волос, ответил сухо:

— Не сомневаюсь, что это было бы чудесно. Но, к сожалению, я решил в армию не вступать.

— О нет, Артур! — вскрикнула Гетти. — Не можешь ты говорить это серьезно.

— Я говорю совершенно серьезно.

Первым ее чувством был испуг. Она сказала торопливо:

— Нет, послушай, Артур. Пожалуйста, выслушай меня. Ведь это не так просто, как ты думаешь. Тут выбирать не приходится. Скоро объявят обязательный призыв. Я это знаю наверно, слышала в штабе. Призовут всех от восемнадцати лет до сорока одного, кроме тех, кто будет освобожден. А я не думаю, чтобы тебя освободили. Для этого твой отец должен дать заключение, что ты незаменим на руднике.

— Пусть отец мой делает, как ему угодно, — отвечал Артур тихо и злобно. — Я вижу, вы с ним вели переговоры насчет меня...

— Пожалуйста, Артур, ради меня, не упрямясь, — взмолилась Гетти. — Пожалуйста!

— Не могу, — возразил он с твердой решимостью.

Лицо Гетти ярко покраснело от стыда, отчасти за Артура, но больше всего за себя. Она отдернула руку и, чтобы выиграть время, повернулась спиной к Артуру и сделала вид, будто поправляет прическу, потом сказала уже совершенно другим тоном:

— Надеюсь, ты понимаешь, как ужасно для меня быть невестой человека, отказавшегося сделать единственный достойный поступок, который от него требуется!

— Извини, Гетти, — сказал Артур вполголоса, — но неужели тебе не ясно...

— Молчи! — с яростью перебила она. — Никогда в жизни меня еще так не оскорбляли. Никогда. Это... это неслыханно. Не воображай, что я так уж влюблена, чтобы все это терпеть. Я делала это только ради твоего отца. Он настоящий мужчина, а не жалкое подобие мужчины, как ты. Так больше продолжаться не может, между нами больше нет ничего общего!

— Пусть так, — сказал Артур едва слышно.

Желание больно задеть его говорило в ней теперь почти так же сильно, как прежде — потребность самопожертвования. Она яростно закусила губу.

— Я могу сделать только один вывод, и к такому выводу придет всякий: ты трусишь, в этом все дело! — Гетти сделала паузу и бросила ему в лицо: — Да, ты трус, жалкий трус!

Артур сильно побледнел. Она ожидала ответа, но он ничего не сказал. И, сделав сдержанно-презрительную мину, Гетти поднялась. Встал и он. В полном молчании дошли они до «Холма». Он открыл перед нею входную дверь, но, войдя в дом, пошел прямо к себе, оставив Гетти одну в передней. Гетти стояла с высоко поднятой головой. Глаза ее были полны гнева и жалости к себе. Потом она резко повернулась и пошла в столовую.

Там был только один Баррас. Он у стены изучал утыканную флажками карту. При входе Гетти он обернулся, потирая руки, и поздоровался с необычайной для него шумной приветливостью.

— А, Гетти! — воскликнул он. — Ну как, есть новости?

Всю дорогу Гетти держалась стойко, но ласковое выражение лица Барраса растопило ее сдержанность — она зарыдала.

— О боже, боже! — всхлипывала она. — Мне так тяжело.

Баррас подошел к ней, посмотрел на нее с высоты своего роста и, повинуясь внезапному побуждению, обнял одной рукой ее хрупкие, соблазнительные плечи.

— Что случилось, моя бедная маленькая Гетти? — спросил он покровительственно.

Гетти была так расстроена, что не могла ответить, и только жалась к нему, как человек, ищущий прибежища в бурю. Он держал ее в объятиях, успокаивал. Гетти он представлялся в эту минуту спасителем, защитником от Артура. Она чуяла в нем большую жизненную энергию и силу. И, закрыв глаза, отдалась этому новому, неиспытанному ощущению женщины, которая обрела надежную защиту.

Х

В первые полгода после назначения его директором у Джо оказалось очень много дел. Он приезжал в Плэтт-лейн рано утром и уезжал вечером; когда бы он ни был нужен, он всегда оказывался под рукой; он создавал себе репутацию энтузиаста и человека неукротимой энергии.

Вначале он действовал осторожно. Природная хитрость подсказывала ему, что управляющий делами Фулер, заведующий чертежной Ирвинг и кассир Добби недоброжелательно относятся к его выдвижению. Это были люди уже пожилые, и их возмущало то, что ими командует молодой человек, двадцати семи лет, так быстро возвысившийся. Особенно Добби — не человек, а счетная машина, высохший, угловатый, в пенсне, балансировавшем на его крючковатом носу, и в высоком воротничке с закругленными концами, какие носят пасторы, — разговаривал с Джо тоном кислым, как уксус. Но Джо был ловок и осторожен. Он знал, что его время придет, а пока продолжал втираться в милость к Миллингтону.

Для Джо не существовало трудностей. Он старался освободить Стэнли от разных мелких неприятных обязанностей, которые с течением времени расширили сферу его собственной дея-

тельности. В марте он предложил Стэнли устраивать каждую субботу совещание с ним для обсуждения всех накопившихся за неделю важных вопросов. В конце того же месяца он настоял на установке добавочных шести котлов и высказал мысль об использовании женского труда у лотков. Механический цех он поручил Вику Оливеру, а литейный — старому Сэму Даблдэю. И тот и другой были послушным орудием в его руках. В апреле умер мистер Клефт, и Джо послал на гроб громадный венок.

Мало-помалу Миллингтон приблизил его к себе и посвятил во все дела. Джо был поражен размерами прибыли, которую приносил завод. Уж за одни только бомбы Миллса государство платило Стэнли по семь шиллингов шесть пенсов за штуку, тогда как они обходились заводу в среднем всего по девять пенсов. А их выпускали десятками тысяч! «Боже всемогущий!» — говорил про себя Джо, и руки у него так и чесались. Его жалованье, семьсот пятьдесят фунтов в год, казалось ему теперь ничтожным. Он удвоил старания, и они со Стэнли очень подружились, часто завтракали вместе в конторе сэндвичами и пивом, иногда ходили в клуб Стэнли или в ресторан Центральной гостиницы. Вышло так, что Джо сопровождал Миллингтона на первое собрание местного комитета по снаряжению армии. Все это он устраивал очень ловко и незаметно. Когда Стэнли бывал в отъезде, вся ответственность, как будто совершенно естественно и законно, перекладывалась на широкие плечи Джо. «Об этом вы потолкуйте с мистером Гоуленом», — стало неизменной фразой Стэнли, когда ему хотелось увильнуть от какого-нибудь скучного или неприятного разговора. Таким образом, Джо начал приобретать полезные для себя связи и даже сам делал закупки некоторых материалов: лома, свинца, главным же образом — сурьмы. Цена на сурьму поднялась до двадцати пяти фунтов за длинную тонну¹. И именно при закупке сурьмы Джо впервые столкнулся с Моусоном.

Джим Моусон, крупный мужчина с двойным подбородком и маленькими пронырливыми глазками, которые он старательно прятал, был происхождения еще более низкого, чем Джо, и это с самого начала расположило к нему Джо. Моусон важно называл себя «коммерсантом и подрядчиком». Основным его пред-

¹ Длинная, или английская, тонна — 1016 килограммов; короткая, или судовая, — 770 килограммов.

приятием являлся обширный склад в гавани Мальмо под вывеской (на которой, впрочем, почти все уже стерлось): «Джим Моусон. Железо и другие металлы, старая веревка, брезент, волос и жиры, обрезки резины, кроличьи шкурки, тряпки, кости и прочее. Подрядчик и оптовый торговец». Но деятельность Моусона этим не ограничивалась. Он участвовал в новом подряде на постройку барачков в Виртлее и играл на тайнкаслской бирже. Он был одним из тех, кто наживался благодаря войне; он считался человеком состоятельным и богател с каждым днем. Особенно понравилась Джо одна его затея, о которой ему рассказали, — она, по его мнению, доказывала ловкость Моусона. Бумажный кризис в то время уже докатился до Тайнкасла, и Джим Моусон, отлично осведомленный о положении вещей, нанял партию девушек из трущоб Мальмо; девушки выходили каждый день в пять часов утра и доставали бумагу из доброй половины мусорных ящиков города. Они собирали бумагу и картон (дороже всего ценился картон), и каждая из этих тружениц получала два шиллинга шесть пенсов в неделю. (Джим утверждал, что они и этого не стоят.) Сам же Джим выручал за собранную бумагу громадные суммы. Но Джо главным образом восхитила сама идея: вот это ловко — добывать золото из мусора!

Джо чувствовал, что Джим Моусон и он — братья по духу. Перед Моусоном ему не было надобности маскировать свои истинные цели. И у него создалось впечатление, что Моусон в такой же мере расположен к нему. После предварительных переговоров о сурьме Моусон пригласил Джо к себе на Питерс-плейс, в просторный и грязный дом (просроченный заклад, который Моусон оставил себе), полный тяжеловесной желтой мебели, потрепанных ковров и грязи. Здесь Джо был представлен миссис Моусон, завитой, пожилой и умной даме, гордившейся тем, что у нее когда-то была ссудная касса. Джо задобрил мамашу Моусон: весело и почтительно здороваясь с ней, склонился над ее унизированной перстнями, увядшей рукой с таким видом, словно собирался облобызать ее. Ужин состоял из кровавого бифштекса с луком, поданного прямо на сковородке, и нескольких бутылок крепкого портера. После ужина Моусон незаметно перевел разговор на биржевые дела и дал Джо полезный совет. Сидя в глубоком кожаном кресле, Моусон спокойно и лаконично говорил, цедя слова:

— Гм... Я бы мог для вас купить несколько акций Франка. До войны они ни черта не стоили. Фабрика Франка делает совершенно негодные галеты из затхлой муки — и собаку нельзя кормить ими. Но в окопах на них громадный спрос. Акции дают пятнадцать процентов дивиденда. Вам следовало бы стать акционером, пока они еще не падают.

Последовав совету Моусона, Джо положил в карман триста фунтов чистого барыша и, обрадованный этим, решил, что работа в компании с Моусоном откроет ему большие перспективы. Это только еще начало. Война затягивается надолго, и она сделает его большим человеком. Такой замечательной войны еще не бывало! Джо хотел бы, чтобы она никогда не кончалась.

Только одно темное облачко омрачало открывшиеся перед ним ослепительные горизонты — Лаура. Когда Джо думал о Лауре, — а он думал о ней часто, — на лбу его появлялась морщина замешательства и уныния. Он не мог, попросту не мог разгадать ее. Он был убежден, что именно Лауре обязан своим нынешним положением, и не только этим, а еще чем-то более важным. Он ловил себя на том, что бессознательно учится у Лауры, пытается разобраться в новых для него вещах, равняется по Лауре, спрашивая себя всякий раз, как ей понравилось бы то или другое. Он все еще был невеждой, но кое-какие успехи сделал. Перестал помадить голову брильянтином, резкое благоухание которого заставляло Лауру слегка поднимать одну бровь; коричневые ботинки надевались теперь только к коричневому костюму, галстуки стали менее цветисты, часовая цепочка висела уже между нижними, а не верхними карманами жилета; связка печаток фальшивого золота и булавка с фальшивой жемчужиной были в один темный вечер брошены в реку Тайн. Незримое влияние Лауры сказывалось и на более интимных подробностях его туалета. Так, например, заглянув один только раз в ванную комнату в «Хиллтопе» и увидев все эти соли для ванны, хрустальные принадлежности, туалетный уксус, губки и душ, Джо пошел прямо в аптеку и без колебаний купил себе зубную щетку.

Но горе было в том, что Лаура оставалась такой жестокой и недосягаемой. Они виделись часто, но всегда в присутствии Стэнли. А Джо хотелось остаться с нею наедине, — он бы дорого дал за это, но не смел сделать первый шаг. Он не совсем был уверен в чувствах Лауры и боялся совершить страшную ошибку —

лишиться прекрасного места и еще более прекрасных видов на будущее.

По вечерам он сидел у себя в комнате, думая о Лауре, желая ее, вызывая в своем воображении ее образ, спрашивая себя, что она делает в эту минуту: принимает ванну, причесывается, натягивает свои длинные шелковые чулки? Раз эти мысли привели его в такое лихорадочное возбуждение, что он вскочил и помчался к ближайшей телефонной будке. С громко стучавшим сердцем он назвал номер, но с другого конца провода ответил голос Стэнли, и Джо, холодея от испуга, бросил трубку и вернулся к себе в комнату.

Это могло довести человека до бешенства! Лаура вызывала в нем то же чувство, какое вызывала когда-то первая женщина, с которой он сошелся: она представлялась ему чем-то новым, неизведанным, чем-то, что хочется разгадать. А разгадать он не мог. Она все еще оставалась для него загадкой. Он усиленно пытался вникнуть в ее характер, и подчас у него рождались смутные проблески понимания. Во-первых, он подозревал, что Лауре до смерти надоели вечные излияния Стэнли, приступы угрюмости и ворчливости, его патриотизм, весьма усилившийся в последнее время. Ей, должно быть, до слез наскучил тот дух закрытой школы, которым был пропитан Стэнли, высокие идеалы и его манера переходить на детский лепет в моменты нежности. Джо раз слышал, как Стэнли шепнул: «Ну, как себя чувствует мой кисе-ночек?» — и готов был поклясться, что Лауру при этом передернуло. Все же она была верна Стэнли. «Вот в том-то и горе!» — мысленно твердил Джо.

Джо был порядком тщеславен. Он считал себя интересным, красивым, блестящим молодым человеком. Но считала ли его таким Лаура?

Она признавала его способности, проявляла к нему что-то вроде насмешливого интереса, но не питала никаких иллюзий насчет его нравственности. На все его попытки щегольнуть высокими идеалами она отвечала своей невеселой усмешкой. Но вместе с тем, когда Джо ловко менял курс и атаковал ее с противоположной стороны, результат получался совсем уже плачевный. Как-то за чаем он позволил себе немного вульгарную шутку. Стэнли шумно захохотал. Но лицо Лауры приняло непроницаемое, совершенно непроницаемое и ледяное выражение. Джо покраснел,

как не краснел еще ни разу в жизни, он готов был от стыда сквозь землю провалиться. Чудачка она, эта Лаура! Она не такая, как другие, не знаешь, как и подойти к ней.

Странный характер Лауры обнаружился в особенности тогда, когда все стали увлекаться «работой на оборону». Все дамы в Эрроу помешались на этом, началась настоящая эпидемия кружков, отрядов и комитетов. Гетти, сестра Лауры, не расставалась со своей формой хаки. Лаура же об этом и слышать не хотела. Она только иногда дежурила в столовой при новых рабочих бараках военного завода в Виртлее, потому что (как она с иронией сказала Джо) ей нравилось «смотреть на кормление зверей». Она раздавала рабочим кофе с сэндвичами — и только. Лаура оставалась верна себе, и Джо, к его безграничному отчаянию, не удавалось сблизиться с ней.

Наступил июнь, а положение не менялось. Но вот 16 июня Стэнли устроил Джо второй в его жизни потрясающий сюрприз. В четверть первого Миллингтон, которого все утро не было в конторе, приоткрыл дверь в кабинет Джо и сказал:

— Мне надо поговорить с вами, Гоулен. Идем ко мне.

Серьезный тон Стэнли испугал Джо. Со слегка виноватым видом он встал и пошел за ним в его кабинет, где Стэнли бросился в кресло и стал нервно перебирать бумаги на столе. В последнее время он был в каком-то постоянном беспокойстве. Стэнли был странный субъект. Судя по всему, совершенно заурядный; весь его умственный багаж состоял из штампов, ко всему он подходил с готовой графаретной меркой; и вкусы у него были самые заурядные: он любил играть в бридж и гольф, любил почитать хороший детективный роман или рассказ, в котором все вертелось вокруг спрятанных сокровищ; он верил, что один британец стоит пяти любых иностранцев; в мирное время он не пропускал ни одной автомобильной выставки. Он был скучный человек; он постоянно повторял одни и те же анекдоты, он мог часами рассказывать, как в последний год его учения в Сент-Бидском колледже «первые пятнадцать взял Гигтльсвик». Но сквозь все это чувствовалась какая-то тоскливая неудовлетворенность, подсознательный «комплекс бегства от жизни». Он иногда приезжал на завод в понедельник утром с утомленно опущенными углами губ и всем своим видом как бы говорил: «О господи, до каких же пор это будет продолжаться?»

Предприятие его процветало. И вначале он был в ажиотаже. Он хотел «делать деньги», и было «чертовски приятно» наблюдать, как растут барыши, доходя до тысячи фунтов в неделю. Но теперь Стэнли находил, что «деньги еще не все». Его недовольство усилилось, когда был создан отдел военного снабжения. Завод Миллингтона был взят на учет, он стал теперь субпоставщиком новых военных мастерских для начинки снарядов. С ролью пионера было кончено: все было введено в законные, раз навсегда предусмотренные нормы. У Стэнли было уже меньше работы, наступило нечто вроде затишья. И хотя прежде Стэнли ворчливо жаловался, что ему не дают передышки, он был недоволен, когда эта передышка наступила.

Он начал хандрить. В особенности его расстраивали военные оркестры. Всякий раз, когда по улице проходила военная часть под звуки «Типерери» или «Прощай», на щеках Стэнли выступал слабый румянец, глаза загорались, спина выпрямлялась. Но отряд скрывался из виду, музыка затихала, от топота марширующих людей оставалось лишь эхо в его сердце — и Стэнли вздыхал, снова весь как-то обмякнув. Волновали его и плакаты. Ергоу с готовностью отозвался на призыв в армию, и в очень многих домах висели на окнах плакаты: *«Из этого дома ушел Человек сражаться за короля и отечество»*. Слово «Человек» печаталось с большой буквы, а Миллингтон всегда с гордостью считал себя «Человеком с большой буквы».

А плакаты на столбах! Строгое выражение на лице Китчине-ра, и палец, который указывал на него, Стэнли, не желая оставить его в покое. Проходя мимо этих плакатов на столбах, Стэнли кипел, краснел, мучился, стискивал зубами трубку и спрашивал себя, до каких же пор он будет терпеть это.

Впрочем, к окончательному решению привел Стэнли не этот указующий перст, а банкет бывших воспитанников Сент-Бидской школы. Банкет происходил вечером в Тайнкасле, в ресторане Дилли. А наутро Миллингтон, глядя через стол на Джо, важно изрек:

— Джо, во Франции происходят важные события, а я в них не участвую!

Джо не понял. Его первым чувством было облегчение, так как он боялся, что Стэнли узнал о его махинациях с сурьмой.

— И я должен вам сообщить, — продолжал Стэнли уже громче, с истерической ноткой в голосе, — что я решил вступить в армию. Молчание, насыщенное электричеством.

Потрясение было так сильно, что Джо обомлел и, побледнев, пролепетал:

— Но вам нельзя... Как же завод?

— Об этом мы потолкуем потом, — отмахнулся Стэнли и заговорил быстрее: — Завод вы от меня примете, а я еду. Вчера вечером я окончательно решил. Вчера на банкете. Господи, и как только я это пережил, не знаю! Поверите ли, все, все, кроме меня одного, — в военной форме! Все мои товарищи в мундирах, а я один среди них в штатском. Я чувствовал себя совершенным чужаком. И все смотрели на меня так, знаете, словно хотели спросить: «Ну, как делишки, спекулянт?» Хемпсон, мой одноклассник, очень славный парень, прямо убил меня: он уже имеет чин майора. А Роббинс, этот замухрышка, который в школе не был даже во второй команде, — теперь капитан, имеет две нашивки за ранения. Говорю вам, Гоулен, я этого не вытерплю. Я *должен* тоже пойти в армию.

Джо судорожно перевел дыхание, пытаясь собрать взбудораженные мысли.

Он все еще не смел поверить, — это было слишком чудесно, чтобы быть правдой!

— Но вы руководите делом большой государственной важности, и вас отсюда не отпустят.

— Должны отпустить! — рявкнул Стэнли. — Дело теперь уже идет само собой. Договоры заключены и выполняются автоматически. Расчеты ведет Добби. И затем, имеется вы. Вы ведь в курсе всего, Джо.

Джо поспешно опустил глаза.

— Что же, — пробормотал он, — пожалуй, это верно.

Стэнли вскочил и зашагал из угла в угол:

— Я не такой уж восторженный человек, но должен вам сказать: с тех пор как я решил ехать на фронт, я чувствую такое воодушевление! Да, дух святого Георгия еще жив в Англии, он не умер, поверьте мне! Мы боремся за правое дело. Какой же порядочный человек может спокойно мириться со всем этим, с этими воздушными налетами, и подводными лодками, и насилowaniem честных женщин, и бомбардировкой госпиталей, и стрельбой

в детей? О господи, даже когда об этом читаешь в газетах, кровь кипит!

— Мне ваши чувства понятны, — сказал Джо, не поднимая глаз от пола. — Это черт знает что! Если бы не мое колено, я бы...

Заболевание колена, на которое ссылался Джо, он открыл у себя, побывав в какой-то подозрительной лечебнице на Коммерческой улице и выложив семь фунтов и шесть шиллингов за медицинское свидетельство. С тех пор он начинал сильнейшим образом хромать всякий раз, когда в воздухе пахло новым призывом в армию.

Стэнли, шагавший взад и вперед, его не слышал — он был занят исключительно самим собой.

— Я ведь имею право на чин офицера. Я три года проходил военное обучение в Сент-Биде. Мне понадобится на сборы неделя-другая, не больше, а там я надеваю мундир батальона воспитанников закрытых учебных заведений и ухожу на фронт.

— Так, — медленно сказал Джо и откашлялся. — Но миссис Миллингтон это не понравится.

— Да, конечно, она не хочет, чтобы я шел на войну! — Стэнли засмеялся и хлопнул Джо по спине. — Ну, развеселитесь, молодой человек! Очень мило с вашей стороны так огорчаться, но эта чертова война не долго протянется, раз я в нее вмешаюсь. — Он остановился и посмотрел на часы. — Ну а теперь вот что: я тороплюсь в город, я сегодня завтракаю с майором Хемпсоном. Если не вернусь к трем, то вы загляните к Ратли и переговорите с ним насчет последней партии гранат. Старый Джон Ратли вызывал *меня*, но и вы можете объяснить ему все, что нужно.

— Хорошо, — сказал Джо печально. — Я схожу.

Таким образом, Джо отправился к Ратли и вел со старым Джоном утомительный и сложный разговор насчет дефектов отливки, пока возбужденный Стэнли мчался в город завтракать с Хемпсоном.

В пять часов, когда Стэнли после нескольких тостов лежал в клубном кресле и смеялся до колик, слушая очередной анекдот майора о некой девице в некой кофейне, Джо крепко и почтиительно жал руку главе фирмы Ратли, а старик с угрюмым одобрением говорил себе, что этот молодой человек знает дело.

В тот же вечер Джо поспешил к Моусону со свежими новостями. Моусон долго молчал, выпрямившись в кресле и сложив

руки на животе; кожа на его облысевшем лбу собралась в складки, маленькие глазки внимательно смотрели на Джо.

— Что же, — сказал он, как бы размышляя вслух, — это нам на руку.

Джо не выдержал и ухмыльнулся.

— Мы с вами сумеем извлечь из этого пользу, Джо, — сказал Моусон хладнокровно, потом крикнул жене: — Мать, принеси-ка нам бутылочку виски!

Они вдвоем выпили всю бутылку, но когда около полуночи Джо возвращался домой, он был пьян не от виски: его опьяняла удача, сознание, что его ждет власть, деньги, все на свете! Наконец-то и для него «открывается будущее», как выразился Джим. О да, головокружительное будущее! Теперь он попадает в среду больших людей. И только нужно не зевать, когда он станет и сам большим человеком, черт знает каким большим! О господи, ну не чудо ли это?! Чудесный город Тайнкасл, чудесный воздух, чудесные улицы, чудесные дома! Теперь у него есть цель — нажать состояние. И оно у него будет! Да, придет время — и у него будет уйма денег. Какая чудная ночь! Как луна освещает это белое здание! Что это за здание? Кажется, общественная уборная? Ну что же, все равно — чудесная уборная!..

На углу Грэйнджер-стрит с ним заговорила проститутка.

— Эх ты, сучка, убирайся-ка подальше! — сказал Джо благодушно и поплелся дальше, смеясь, бодрый и радостный. «Теперь мне нужен кое-кто почище тебя, — думал он, — да, много почище». Он жаждал Лауры, изысканно-изящной, полной холодного очарования. К черту публичных девок! Вот такие женщины, как Лаура, — совсем другое дело. Идиллические мечты о Лауре далеко увели его в эту ночь, особенно когда он, добравшись до своей квартиры, лег в постель.

Но на следующее утро он ровно в девять был уже в Плэттлейн, свежий, как маргаритка, и более чем когда-либо расторопный и угодливый по отношению к Стэнли. Оказалось удивительно много вопросов, которые им нужно было обсудить вдвоем. И Джо был воплощенная бдительность: ничто от него не ускользало.

— Боже милостивый! — воскликнул Стэнли, зевая, после того как они усердно поработали часа два. — Вы настоящий мучитель, Джо. Я и не подозревал, что вы так интересуетесь каждой

мелочью. — Он весело похлопал Джо по плечу: — Это очень похвально. Ну, пока хватит, я уезжаю, потому что мы условились встретиться с Хемпсоном. До свидания.

Странное выражение лица было у Джо, когда он следил за Стэнли, торопливо выходящим из конторы.

Дни шли за днями, все нужные приготовления были сделаны, и наконец наступил день отъезда Стэнли в Олдершот. Он собирался ехать автомобилем до станции Карнтон, а там сесть на экспресс, вместо того чтобы ехать обыкновенным поездом из Ерроу. В знак особого расположения он предложил Джо поехать с Лаурой на вокзал проводить его.

День был дождливый. Джо приехал в «Хиллтоп» слишком рано, и ему пришлось минут десять дожидаться в гостиной, пока Лаура вышла. На ней был простой синий костюм и темный шелковистый мех, придававший ее бледному лицу ту удивительную прозрачность, которая так восхищала Джо. Он вскочил со стула, но Лаура медленно подошла к окну, словно не заметив его. Оба молчали. Джо смотрел на нее и наконец сказал:

— Как мне жалко, что он уезжает.

Лаура обернулась и бросила на него тот непонятный взгляд, перед которым Джо всегда терялся. Он чувствовал, что Лаура удручена, а может быть, и сердита: ей не хотелось, чтобы Стэнли ехал на фронт, явно не хотелось.

Вошел Стэнли с таким праздничным видом, словно у него уже был ряд медалей на груди. Он весело потирал руки:

— Какая мерзкая погода! Ну да чем хуже погода, тем веселее идет работа! Не так ли, Джо? Ха-ха! А как насчет подкрепления, Лаура?

Лаура позвонила, и Бесси принесла на подносе сэндвичи и чай. Стэнли был настроен удивительно благодушно: он подшучивал над вытянутой физиономией Бесси, смешал себе виски с содой и ходил по комнате, жуя сэндвичи и болтая.

— А вкусные сэндвичи, Лаура! Думаю, что через неделю-другую мне уже таких вещей достать будет негде. Придется тебе послать на фронт посылочки, Лаура. Один парень говорил вчера при мне, что вся их надежда на посылки. — Стэнли засмеялся. — Хемпсон, старый плут, рассказывал, как они тушат жаркое в жестянках из-под консервов. Некоторые из этих вояк — замечательные парни. Интересно, каких товарищей мне пошлет судьба? Вы

читали последний номер «Зрителя»? Остроумно, чертовски остроумно!..

Затем на Стэнли опять нашло патриотическое настроение. Бегая по комнате, он с воодушевлением повторял все, что ему говорил майор, — о контратаках, противогазовых масках, о подземных бетонных укреплениях немцев, о справочнике по вопросам ружейных приемов, о световых сигналах Вери¹ и об отваге британцев.

Все время, пока Стэнли говорил, Лаура сидела у окна, и ее печальный профиль выделялся на фоне темневшего за окном мокрого лаврового куста. Она внимательно слушала патриотические излияния Стэнли, но тот вдруг размашисто поставил свой бокал на стол.

— Ну, однако, пора ехать. Иначе я прозеваю поезд. — Он посмотрел в окно. — Ты бы надела макинтош, старушка: похоже, что будет дождь.

— Нет, я думаю, не стóбит, — отозвалась Лаура. Она встала, парализуя всю суетливость Стэнли своей полнейшей невозмутимостью. — Все ли у тебя уложено в автомобиль?

— На этот счет будь покойна, — сказал Стэнли, первым направляясь к двери.

Они сели в автомобиль, не заводской, а собственный открытый автомобиль Стэнли (новая модель гоночного типа, выпущенная только два года назад), который стоял уже у подъезда. Стэнли нажал большим пальцем стартер, пустил машину, и они отъехали.

Дорога шла в гору, по окрестностям Хиллброу, оставляла позади последнюю уединенную виллу и затем тянулась через поля и вересковую степь. Стэнли правил автомобилем с отчаянной смелостью, не тормозя на поворотах.

— Машина летит, как самолет, правда? — крикнул он с большим воодушевлением. — Право, я почти жалею, что не поступил в авиацию.

— Смотрите, чтобы не буксовали колеса, — предостерегал его Джо. — На дорогах сегодня скользко!

Стэнли снова засмеялся. Джо, сидя один позади, не отводил глаз от спокойного профиля сидевшей впереди Лауры. Ее спо-

¹ Вери — английский изобретатель системы военных сигналов (1877).

койствие поражало и пленяло его. «Стэнли правит так неумело, а она и бровью не шевельнет! Ведь не хочет же она погибнуть так нелепо? Уж мне-то, во всяком случае, не хочется! Видит бог — нисколько не хочется!»

Они молнией пронеслись мимо старой церкви, серой и сильно пострадавшей от непогод; она одиноко стояла на открытом месте, на краю степи, окруженная несколькими замшелыми мегильными плитами.

— Замечательное старинное здание, — сказал Стэнли, повернув голову. — Были вы когда-нибудь внутри, Джо?

— Нет.

— Там дубовые скамьи чудесной работы. Вам бы следовало как-нибудь зайти посмотреть.

Они начали спускаться вниз, мимо деревни Кэддер и нескольких уединенных ферм. Через двадцать минут добрались до узловой станции Карнтон.

Экспресс опаздывал, и, сдав багаж, Стэнли стал медленно прохаживаться по платформе с Лаурой. Джо, делая вид, что дружелюбно разговаривает с носильщиком, уголком глаза ревниво следил за ними. «Эх, черт возьми! — твердил он про себя. — Ничего не выйдет: она, кажется, все-таки любит его».

Пронзительный свисток и грохот приближающегося поезда.

— Вот и он, сэр, — сказал носильщик. — Всего на четыре минутки и опоздал.

Торопливо подошел Стэнли:

— Ну вот, Джо, дождались наконец. Носильщик! Первый класс, вагон для курящих. Если можно, займите мне место лицом к паровозу. Джо, старина, вы мне, конечно, пишите. Я во всем на вас полагаюсь... Да, да, правильно... Прекрасно, прекрасно. Я знаю, что вы все сделаете.

Он подал руку Джо, — тот жал ее крепко и долго, — поцеловал на прощание Лауру и вскочил в вагон. Стэнли был сентиментален до мозга костей, и сейчас, когда наступила минута расставания, он пришел в сильное волнение. Он высунулся из окна с полным сознанием того, что вот он, человек, уходящий на фронт, прощается в последний раз с женой и другом. Слезы вдруг заблестели у него на глазах, но он, улыбаясь, пытался скрыть их.

— Берегите Лауру, Джо.

— Будьте покойны, мистер Стэнли.

— Не забудьте написать.

— Непременно!

Пауза. Поезд все еще не трогается. Молчание становится натянутым.

— Кажется, будет опять дождь, — говорит Стэнли, чтобы его нарушить.

Новая томительная пауза.

Поезд тронулся. Стэнли кричит:

— Поехали! Прощай, Лаура! Прощайте, Джо!

Но поезд дрогнул и остановился. Стэнли хмурится, глядя вперед на рельсы.

— Верно, воду набирает. Постоим еще пару минут!

Но поезд тут же плавно пошел, развивая скорость.

— Ну, до свидания! До свидания!

На этот раз Стэнли уехал. Джо и Лаура стояли на платформе, пока не скрылся из виду последний вагон. Джо усердно махал рукой, Лаура стояла неподвижно. Она была бледнее обычного, в глазах блестела подозрительная влага. Джо это видел. Молча пошли они обратно к автомобилю.

Когда они вышли из крытого вокзала и подошли к машине, уже снова моросил дождь. Лаура хотела было сесть сзади, но Джо с заботливым видом протянул руку:

— Вы совсем промокнете там, миссис Миллингтон. Надвигается большой ливень.

Она сперва поколебалась, но потом, не говоря ни слова, села на переднее место. Джо кивнул головой, как бы говоря, что она поступает благоразумно, затем сел рядом с ней и взялся за руль.

Он ехал медленно, отчасти из-за дождя, туманившего стекло снаружи, главным же образом потому, что ему хотелось продлить это путешествие. Внешне он сохранял почтительность, но его так и распирало гордое сознание выгоды своего положения: Стэнли умчался бог знает куда, каждую минуту все больше удаляясь отсюда, а Лаура сидит в автомобиле рядом с ним. Он осторожно взглянул на нее. Она отодвинулась на самый край сиденья и смотрела прямо перед собой; он чувствовал, что каждая жилка в ней дрожит от возмущения, что она вся насторожилась, словно готовится обороняться. Джо подумал, что ему нужно быть очень осмотрительным, тут не годятся такие штуки, как, например, тихонько прижаться коленом к ее колену; потребуется совсем дру-

гая тактика, недели, а то и месяцы стратегии; придется действовать медленно и с дьявольской осторожностью. У него появилось ощущение, будто Лаура его ненавидит.

Он сказал вдруг тоном кроткого сожаления:

— Вы, кажется, не очень меня жалуете, миссис Миллингтон.

Молчание. Джо продолжал смотреть на дорогу.

— Я над этим вопросом особенно не задумывалась, — отвечала Лаура довольно презрительно.

— О, я знаю. — Заискивающий смех. — Я ничего такого не предполагал... Я только подумал, не поможете ли вы мне немножко вначале с заводом... и... я, право, не знаю...

— Нельзя ли пустить машину побыстрее? — перебила Лаура. — Мне надо к шести быть на дежурстве в столовой.

— Да, пожалуйста, миссис Миллингтон. — Он нажал ногой акселератор, ускорив ход так, что дождь забарабанил в стекло. — Я все же надеюсь, что вы позволите мне делать для вас все, что я смогу. Мистер Стэнли уехал. Какой человек! — Джо вздохнул. — Он дал мне возможность выдвинуться. Я для него готов на все, на все!

Пока он говорил, дождь полил как из ведра. Они находились в открытой степи, и ветер был сильный. Автомобиль, под одним только тонким верхом, совершенно незащищенный с боков, испытывал на себе всю силу проливного дождя.

— Боже мой, — воскликнул Джо, — да вы совсем промокнете!

Лаура подняла воротник жакетки:

— Ничего.

— Как же можно! Смотрите, вы уже промокли до нитки. Надо остановить машину и укрыться где-нибудь. Ведь это настоящий потоп!

Это был действительно настоящий потоп, и Лаура, надевшая макинтоша, уже довольно сильно промокла. Несмотря на это, она молчала. Но Джо, увидев слева от дороги старую церковь, вдруг повернул автомобиль и подъехал к ней.

— Скорее! — настаивал он. — Бегите внутрь! Это ужас что такое! — Он взял Лауру за руку, заставив ее выйти из автомобиля, и пробежал вместе с ней по дорожке до паперти старой церкви, с которой ручьями стекала вода. Двери церкви были открыты.

— Входите внутрь, — крикнул Джо, — иначе вы насмерть простудитесь! Ужас, ужас!..

И они вошли.

После колючего ветра им показалось тепло в темноватой и тесной церковке, пропитанной слабым запахом свечного воска и ладана. В глубине смутно виднелся алтарь, а на нем большое медное распятие и оставшиеся после воскресной службы две шарообразные медные вазы с белыми цветами. Здесь царила тишина, атмосфера какого-то иного мира.

Стук дождя, барабанившего по свинцовой крыше, словно подчеркивал эту теплую тишину.

С любопытством оглядываясь вокруг, Джо прошел по боковому приделу, подсознательно отметив массивные резные скамьи со спинками, о которых упоминал Стэнли.

— Чертовски странное место, но здесь, по крайней мере, сухо. — Потом заботливым тоном: — Нам недолго придется ждать, ливень скоро кончится, и я вовремя доведу вас до столовой.

Он обернулся и вдруг увидел, что Лаура дрожит, прислонясь к одной из скамей и сжав руки.

— О боже! — сказал он с великолепно разыгранным раскаянием. — Что же это я? Ваша жакетка совсем промокла. Позвольте, я помогу вам ее снять.

— Нет, не надо, хорошо и так.

Она упорно не глядела на него и яростно кусала губы. Джо смутно угадывал, что в ней происходит какая-то борьба, глухая, непонятная.

— Но это непременно нужно, миссис Миллингтон, — возразил он все тем же дружеским, убеждающим тоном и взялся рукой за отворот ее жакетки.

— Нет, нет, — пробормотала, запинаясь, Лаура. — Говорю вам, мне не холодно. Не нравится мне здесь. Не следовало сюда приходить. Дождь...

Она вдруг замолчала и торопливо сама сбросила жакетку. Она тяжело дышала, и Джо видел, как поднимается и опускается ее грудь под белой шелковой блузкой, которая местами промокла и прилипла к телу. Обычное спокойствие, казалось, покинуло Лауру, нарушенное смутной таинственностью этого места, стуком дождя, безмолвием. Глаза ее с испуганным выражением блуждали вокруг. Джо смотрел на нее молча, недоумевая. Лауру снова стал бить озноб. Тут Джо вдруг понял... Он сделал шаг вперед.

— Лаура! — вырвалось у него. — Лаура! Лаура!

— Нет, нет! — пробормотала она, задыхаясь. — Мне нужно уйти, мне нужно...

Но уже когда она говорила это, руки Джо обвились вокруг нее. Они порывисто сжали друг друга в объятиях, губы их искали друг друга. Лаура застонала. Еще раньше, чем раскрылись ее губы, Джо знал уже, что ее безумно влечет к нему, что она боролась с этим много месяцев. Дикая, пьяная радость захлестнула его. Не разжимая объятий, они дошли до первой скамьи, широкой, как постель, и усталенной подушками. Руки их сошлись, губы стали влажны от желания. Дождь выбивал дробь по крыше, сумрак церкви стал красным и обступил их. Потом к алтарю вознесся крик Лауры — крик физического упоения. А сверху глядело на них лицо распятого.

XI

Когда законопроект Дерби вошел в силу, отношения между Артуром и его отцом стали уже совсем невыносимыми и перешли в стадию нескрываемой враждебности. Артур числился в официальных списках, но, несмотря на то что он уже после утверждения нового закона получил повестку, он не зарегистрировался. Его неявка пока не имела никаких последствий. Дома он приходил в столовую, когда уже там никого не было, по возможности избегал встреч с отцом, а в «Нептуне» проводил большую часть времени под землей, приходя рано и спускаясь в шахту с Гудспетом до прихода отца. Но, несмотря на все предосторожности, ему не удавалось совершенно уклониться от неизбежных встреч, полных напряженной вражды и вызывавших столкновения. Когда Артур в конце рабочего дня приходил в контору, грязный и утомленный, Баррас делал вид, будто очень занят делом и не замечает его. Он совершенно недвусмысленно давал понять Артуру, что на руднике в нем очень мало нуждаются. Через некоторое время он поднимал голову от вороха бумаг и, словно только что увидев Артура, хмурил брови, как бы говоря: «А, ты здесь, все еще здесь?» И, когда Артур молча отворачивался, Баррас следил за ним с раздражением и начинал быстро барабанить пальцами по столу, багровый от обиды и сильного гнева.

Артур видел, что отцу тягостно его присутствие на «Нептуне». В начале января он был вынужден заявить отцу о плохом качестве деревянных подпорок в «Файв-Квотерс». Баррас сразу вспыхнул:

— Занимайся своим делом и предоставь мне заниматься моим. Когда мне понадобится твой совет, я обращусь к тебе.

Артур ничего не ответил. Он знал, что стойки никуда не годятся, что часть их уже успела подгнить снизу. Его ужасало качество материалов, которые приобретал отец. Цены на уголь росли, работа в шахте велась с лихорадочной спешкой, и деньги так и текли в карманы владельца «Нептуна». А между тем, несмотря на то что первая катастрофа могла бы быть Баррасу уроком, он не расходовал ни гроша на то, чтобы создать лучшие и более безопасные условия работы в шахтах.

В вечер того самого дня, когда у них произошел разговор о стойках, в тайнкаслской газете «Аргус» появилось сообщение крупным шрифтом о том, что утвержден закон о воинской повинности.

Прочитав это известие, Баррас не мог скрыть своего удовольствия.

— Вот будет встряска для тех, кто уклонялся! — объявил он, сидя во главе стола. — Давно пора пересмотреть списки. Слишком много есть таких, которые, празднуя труса, копались в тылу как «незаменимые». — Он отрывисто и торжествующе засмеялся. — Новый закон заставит их призадуматься.

Это было за ужином, в один из тех редких дней, когда Артур присутствовал в столовой, и хотя Баррас со своими замечаниями обращался к тетушке Кэрри, их яд предназначался для Артура.

— Попросту скандально, Кэролайн, — продолжал он громко, — что такое множество здоровых молодых людей, которым следовало бы сражаться за отечество, уклоняются от этого. Они до сих пор укрывались в разных предприятиях и учреждениях, где в них не нуждаются. Они не желали понять намеков и не вступали в армию. Что же, клянусь душой, давно пора подтолкнуть их туда хорошим пинком!

— Да, Ричард, — прошептала тетя Кэрри, бросив трепетный взгляд на Артура, не поднимавшего глаз от тарелки.

— Я знал, что рано или поздно так будет, — продолжал Баррас тем же тоном. — И не сомневаюсь, что мне придется принять

участие в этом деле. Между нами говоря, меня уже пригласили в члены местного трибунала.

— Трибунала, Ричард?! — запинаясь, переспросила тетя Кэрри.

— Да, разумеется, — подтвердил Ричард, старательно избегая взгляда Артура. — И я не потерплю никаких глупостей, будьте уверены. Теперь дело уже наконец приняло серьезный оборот, и чем скорее все они это поймут, тем лучше для них. Только на днях мы говорили об этом с Гетти. Она тоже глубоко убеждена, что лентяев пора расшевелить и вытащить из их убежищ.

Артур медленно поднял глаза и посмотрел на отца. Баррас был в новом сером костюме, с цветком в петлице. За последнее время он сшил себе множество новых костюмов, гораздо эlegantнее, чем его прежние (Артур подозревал, что он переменял портного), и завел привычку постоянно носить цветок в петлице, — обыкновенно это бывала ярко-розовая гвоздика, сорванная в оранжеее. У него был чересчур щеголеватый вид, глаза блестели, он постоянно был в каком-то непонятном возбуждении.

— Вот увидите, Кэролайн, — усмехнулся он с явным удовлетворением, — как все побегут под знамена, когда начнут действовать трибуналы.

Наступило молчание, во время которого тетушка Кэрри, охваченная тревогой, бросала робкие взгляды то на отца, то на сына. Затем Баррас посмотрел на часы:

— Ну, Кэролайн, мне пора ехать. Пусть никто меня не дожидается, — я вернусь, вероятно, поздно. Мы с Гетти едем в Королевский театр. Война войной, а жизнь своего требует. Сегодня идет «Дева гор». Говорят, очень хорошая вещь, и участвует вся лондонская труппа. Гетти очень хочется ее посмотреть.

Он встал, поправил цветок в петлице, затем, упорно не замечая Артура, коротким кивком простился с Кэролайн и вышел из комнаты.

Артур продолжал сидеть за столом, поразительно тихий и молчаливый. Он отлично знал, что Гетти и его отец часто проводят вместе вечера; новые костюмы, бутоньерка, поддельный блеск молодости — все говорило об этом. Началось с миссии искупления: Артур, мол, возмутительно обошелся с Гетти, и обязанность «загладить» это лежит на его отце. Артур подозревал, что их отношения зашли далеко за пределы простого «заглаживания» его ошибки, но он не знал ничего наверное. Думая об этом, он тяже-

ло вздохнул. Этот вздох заставил тетю Кэрри беспокойно зашевелиться.

— Ты почти ничего не ел сегодня, Артур, — шепнула она. — Почему ты не отведаешь пирожков?

— Я не голоден, тетя.

— Но они такие вкусные, дружок, — уговаривала она огорченным тоном.

Он молча покачал головой, глядя на нее как бы сквозь свою боль. У него вдруг появилось желание облегчить душу, излить перед тетушкой то, что его мучило, но он подавил в себе это желание, хорошо понимая, что это было бы бесполезно. Тетя Кэрри добрая женщина и любит его, но из-за своей робости и благоговения перед отцом она просто не способна поддержать его, Артура.

Он встал и вышел из столовой. В передней остановился в нерешительности, поникнув головой. В такие минуты его мягкая впечатлительная натура жаждала чьего-нибудь сочувствия. «Если бы Гетти была здесь!» Клубок подкатился у него к горлу. Он почувствовал себя брошенным, беспомощным. Медленно пошел наверх. Но, проходя мимо спальни матери, вдруг остановился. Невольным движением протянул он руку к двери и вошел.

— Как ты себя чувствуешь сегодня, мама? — спросил он.

Мать быстро оглянулась, лежа на подушках, с недовольно-вопросительным выражением на бледном, пухлом лице.

— У меня мигрень, — отвечала она. — А ты так меня испугал, открыв неожиданно дверь!

— Прости, мама. — Он тихонько присел на край кровати.

— Ох нет, Артур! — запротестовала она. — Не тут, милый мой: я не переносу, когда кто-нибудь садится на кровать, особенно при такой головной боли, — меня это беспокоит.

Он встал, немного покраснев.

— Прости, мама, — сказал он снова. Он поставил себя мысленно на ее место и решил не обижаться на нее. Ведь это его мать. Из глубины памяти вынырнуло воспоминание о ее ласках в детстве, туманное представление о том, как она наклонялась к нему и кружева ее капота нависали над ним, окутывая и защищая его. Растроганный этим воспоминанием о материнской ласке, Артур сказал прерывающимся голосом: — Мама, можно мне поговорить с тобой?

Она недовольно посмотрела на него:

— У меня такая головная боль!

— Я недолго... Мне нужен твой совет.

— Нет, нет, Артур, — возразила она, закрыв глаза, словно испуганная его стремительностью. — Право, не могу. В другой раз, быть может... Сегодня у меня ужасно болит голова.

Артур молча отступил к двери, выражение его лица резко изменилось.

— Как ты думаешь, Артур, — продолжала его мать, не открывая глаз, — отчего это у меня постоянно такие мигрени? Я думаю, не из-за пушечной ли стрельбы во Франции. Знаешь, ведь в воздухе происходят колебания. Конечно, слышать стрельбу я не могу, но мне пришла мысль, что колебания воздуха могут вызвать такие явления... Правда, этим нельзя объяснить мою боль в спине, а она меня в последнее время тоже очень мучает. Скажи, Артур, как ты думаешь, может пушечная пальба иметь какое-нибудь влияние?

— Не знаю, мама, — ответил он глухо и помолчал, стараясь овладеть собой. — Я думаю, вряд ли она может повлиять на твою спину.

— Знаешь ли, на спину я не особенно жалуюсь. Мазь, которую мне дал доктор Льюис, помогает замечательно. Я прочла рецепт: аконит, белладонна и хлороформ — три смертельных яда. Не странно ли, что яд так полезен при наружном употреблении!.. Но о чем я говорила? Ах да, о вибрациях. Я только на днях читала в газете, что ими объясняют сильный дождь, который лил недавно. Это как будто подтверждает мое мнение, и доктор Льюис говорит, что существует совершенно определенное состояние, которое называется «пушечной головной болью». Разумеется, основная причина всего — нервное истощение. Это мое вечное горе, Артур, милый, — сильнейшее нервное переутомление!

— Да, мама, — согласился он тихо.

После новой недолгой паузы Гарриэт снова заговорила. С полчаса она описывала свои ощущения, потом вдруг подняла руку к голове и попросила Артура уйти, так как он ее утомляет. Он молча повиновался. Четверть часа спустя, идя обратно коридором, он слышал ее громкий храп.

Дни шли, а в душе Артура росло сознание, что он одинок со своим горем, отрезан от других людей, чуть ли не отвержен ими.

Инстинктивно он начал сужать круг своей деятельности. Он выходил только на работу и даже там ловил на себе странные взгляды Армстронга, Гудспета и некоторых рабочих. На улицах, когда он шел в «Нептун» и обратно, ему часто кричали вслед оскорбительные слова. Раздор с отцом стал всем известен, и это приписывалось его отказу вступить в армию. Баррас без колебаний публично высказывал свои взгляды; его стойкому патриотизму рукоплескали со всех сторон, все находили прекрасным то, что он не позволял естественному родительскому чувству восторжествовать над сознанием долга в годину великого народного бедствия. Артура парализовала мысль, что весь город следит за борьбой между ним и отцом.

В феврале положение все ухудшалось и ухудшалось, а в середине марта начал свою деятельность слискейлский трибунал. Он состоял из пяти членов — Джеймса Ремеджа, владельца мануфактурного магазина Бэйтса, старика Мэрчисона, его преподобия Иноха Лоу из церкви на Нью-Бетель-стрит и Ричарда Барраса, который был единогласно избран председателем. Кроме этих пяти, в трибунале заседал в качестве постоянного эксперта представитель военных властей, капитан Дуглас из тайнкаслских казарм. Раттер, секретарь слискейлского муниципалитета, исполнял также обязанности секретаря трибунала.

С болезненно-напряженным интересом следил Артур за первыми действиями трибунала. Он не долго сомневался в его суровости: одному за другим трибунал отказывал в освобождении от призыва. Дуглас вел себя настоящим самодержцем. У него была манера надменно и дерзко оглядывать являвшихся, затем поднимать глаза и объявлять коротко:

— Этот человек мне нужен.

Ремеджа и Барраса распирал необузданный патриотизм. С остальными они мало считались. Трибунал взял весьма жесткую линию. Он считал, что если человек возражает против строевой службы, то только от таковой и можно его освободить. Но строевая служба оказывалась наилучшим выходом, так как отказавшемуся от нее грозила тюрьма.

Чем дальше, тем больше росло страстное возмущение Артура. Бледный, подавленный, смотрел он на отца, возвращавшегося оттуда, где он творил суд над людьми. Баррас же неизменно был в приподнятом настроении и, в назидание Артуру, часто расска-

зывал тете Кэрри наиболее интересные случаи из практики трибунала. В последний день марта Баррас вернулся домой, опоздав к чаю, в еще большем, чем всегда, приливе воодушевления.

Демонстративно не замечая Артура, он сел за стол и положил себе на тарелку солидную порцию горячих гренок с маслом. Затем начал разговор, описывая случай, который больше всего занимал его сегодня: молодой студент богословского факультета требовал освобождения по религиозным мотивам.

— Знаете, какой был первый вопрос Ремеджа? — сказал он с полным ртом, пережевывая гренки. — Он спросил у этого малого, принимал ли он когда-нибудь в жизни ванну. — Баррас перестал жевать и победоносно рассмеялся. — Но Дуглас придумал еще лучше. Дуглас посмотрел на меня искоса, потом как заорет на него: «А вам известно, что тот, кто отказывается выполнять свой воинский долг, подлежит расстрелу?» Это попало в точку. Вам надо было видеть, как мальчишка съежился! И согласился идти в армию. Через три месяца будет во Франции. — Баррас опять захохотал.

На этот раз Артур не выдержал. Он вскочил из-за стола, и даже губы его побелели:

— Вы находите это забавным, да? Вам приятно сознавать, что вы вложили человеку в руки винтовку против его воли? Вы довольны, что принудили его пойти стрелять и убивать, лишая жизни кого-то во Франции? «Убивай — или будешь убит!» Какой славный лозунг! Вам бы следовало вышить его на знамени и повесить над вашим стулом в трибунале! Он вам подходит. Говорю вам: это для вас подходящий лозунг! Но если *вы* не имеете никакого уважения к человеческой жизни, то у меня оно есть. *Меня* вы не запугаете и не заставите идти убивать! — Артур умолк, тяжело дыша. С безнадежным жестом он направился к двери, но Баррас остановил его.

— Погоди минутку, — сказал он. — У меня с тобой будет разговор.

Артур обернулся. Он слышал, как тетушка Кэрри тяжело перевела дух.

— Очень хорошо, — ответил он сдавленным голосом, вернулся от двери и снова сел за стол.

Баррас положил себе еще гренок и все время жевал, глядя перед собой. У тетушки лицо стало землисто-серым. Несколько

мгновений она в трепетной муке терпела это молчание, но затем не выдержала — дрожащим голосом пробормотав извинение, поспешно встала и вышла из комнаты.

Баррас допил чай, суетливым жестом вытер рот и устремил на Артура налитые кровью глаза.

— Вот что, — сказал он сдержанно. — В последний раз спрашиваю: намерен ты вступить в армию?

Артур выдержал взгляд отца, лицо его было бледно, но решительно. Он отвечал:

— Нет.

Пауза.

— Я хочу, чтобы ты вполне уяснил себе, что ты мне в «Нептуне» не нужен.

— Очень хорошо.

— Разве это не заставит тебя передумать?

— Нет.

Новая пауза.

— В таком случае, — сказал Баррас, — знай, что вопрос о тебе будет решаться в трибунале во вторник на будущей неделе.

Тошнотворное ощущение страха охватило Артура. Он опустил глаза. В глубине души он не верил, что отец зайдет так далеко. Хотя официально Артур не занимал в «Нептуне» никакой должности, он думал, что на него новый закон не распространяется.

— Пора тебе понять: то, что ты мой сын, тебя не спасет, — медленно продолжал Баррас. — Ты молод и для военной службы годен. У тебя нет никакого оправдания. Мои взгляды всем известны. Я не допущу больше, чтобы ты укрывался за моей спиной.

— Вы воображаете, что таким путем принудите меня идти на войну? — сказал Артур дрожащим голосом.

— Да. И это еще самое лучшее, что может тебя ожидать.

— Вы очень ошибаетесь. — Артур почувствовал сильную внутреннюю дрожь. — Вы думаете, я побоюсь предстать перед трибуналом?

Баррас засмеялся своим отрывистым смехом:

— Вот именно.

— Тогда вы ошибаетесь. Я пойду. Да, пойду туда.

Кровь бросилась в лицо Баррасу:

— В таком случае к тебе отнесутся, как к любому уклоняющемуся. Я уже говорил с капитаном Дугласом. Никакого снисхожде-

дения тебе оказано не будет. Мое решение твердо. В армию идти тебе все равно придется.

Молчание.

— До чего ты пытаешься довести меня? — спросил Артур тихо.

— Я хочу заставить тебя выполнить свой долг.

Баррас стремительно встал. Одно мгновение он стоял у буфета, выпятив грудь:

— Ступай завтра в Тайнкасл и запишись. Это в твоих собственных интересах. Явись раньше, чем тебя *заставят* это сделать. Вот тебе мое последнее слово. — И он вышел из комнаты.

Артур продолжал сидеть за столом. Он еще дрожал и, опершись локтем на стол, опустил голову на руку.

В такой позе застала его тетя Кэрри, минут через десять проскользнувшая обратно в столовую. Она подошла и обняла плечи Артура.

— Ах, Артур, — зашептала она. — Никогда не следует идти против отца. Будь рассудителен. Ты должен быть рассудителен ради себя самого.

Он не отвечал, пустыми глазами глядя в одну точку.

— Пойми, Артур, голубчик, — продолжала умоляющим голосом тетя Кэрри. — Есть вещи, против которых невозможно бороться. Никто не знает этого так хорошо, как я. Волей-неволей приходится смириться. Ты мне так дорог, Артур! Я не могу видеть, как ты портишь себе жизнь. Ты должен сделать так, как хочет отец, Артур.

— Нет, тетя, я этого не сделаю, — возразил он, как будто говоря сам с собой.

— Ради бога, Артур, — умоляла она, — не упрямясь. Пожалуйста, прошу тебя! Я боюсь, не случилось бы чего страшного. И подумай, какой это позор, какой позор! Ну обещай мне, что ты послушаешься отца!

— Нет, — сказал Артур шепотом. — Я должен идти своим собственным путем.

Встав из-за стола, улыбнулся тетушке вымученной улыбкой и пошел к себе.

На следующее утро он получил повестку с требованием явиться в трибунал. Баррас, присутствовавший в столовой, когда принесли почту, исподтишка внимательно следил за сыном, в то вре-

мя как тот распечатывал тонкий светло-желтый конверт. Но если он надеялся, что Артур заговорит, то ошибся. Артур положил письмо в карман и вышел из комнаты. Очевидно, отец рассчитывает, что он покорится. А он твердо решил не покоряться.

Артур не обладал сильным характером, но сейчас он был в экзальтации, и она придавала ему мужества.

Прошли дни, оставшиеся до заседания трибунала, и наступил вторник. Артуру назначено было явиться к десяти часам утра в старую школу на Бетель-стрит.

Трибунал заседал в школьном зале, удобном для этой цели, так как он был очень просторен, а наверху имелись хоры для публики. В конце зала, на возвышении, стоял стол, за которым сидели рядом пять членов трибунала. Секретарь Раттер сидел на одном конце стола, а капитан Дуглас, военноуполномоченный, — на другом.

На стене за судьями висел большой национальный флаг Великобритании, а под ним — стертая классная доска со следами мела; на выступе стенки стоял выщербленный графин с водой, прикрытый опрокинутым стаканом.

Артур пришел в школу на Бетель-стрит без пяти минут десять. Родэм, дежурный сержант, сказал ему, что дело его стоит первым в списке, и пропустил его в зал через вращающуюся дверь.

При входе Артура зал взволнованно загудел. Он поднял голову и увидел, что хоры битком набиты публикой: он узнал рабочих из копей, Гарри Огля, Джо Кинча, Джейка Уикса, нового весовщика, и еще человек двадцать. Среди публики было много женщин с Террас и из города — Ханна Брэйс, миссис Риди, старая Сюзен Колдер, миссис Скорбящая. На скамье репортеров не было ни одного свободного места.

У окна стояли два фотографа. Артур поспешно опустил глаза, с тоской убедившись, что его дело вызвало сенсацию. Его нервное возбуждение, и без того сильное, еще обострилось. Он сел на отведенное ему место посреди зала и взволнованно теребил носовой платок. Его впечатлительную натуру всегда пугал и отталкивал мишурный блеск известности. А тут он вдруг оказался в центре внимания. Его немного знобило. Слабость была той силой, которая привела его сюда, укрепляла его решимость дер-

жаться до конца. Но отвагой он не отличался. Он ясно сознавал свое положение, враждебность толпы. Он испытывал унижительную муку и чувствовал себя так, как будто был обыкновенным уголовным преступником.

Снова поднялось жужжание на хорах, но публику тотчас же успокоили. Из боковой двери вошли один за другим члены трибунала, сопровождаемые Раттером и Дугласом, коренастым мужчиной с красным, изрытым оспой лицом. Роддэм из-за спины Артура командовал: «Встать!» И Артур встал. Затем он поднял голову, и глаза его, словно притягиваемые магнитом, устремились на отца, который в эту минуту садился в высокое судейское кресло. Артур смотрел на него, как смотрят на судью. Он не мог отвести взгляда, его опутала какая-то паутина нереального, он был словно загипнотизирован.

Баррас через стол нагнулся к капитану Дугласу. Они долго совещались, затем Дуглас с одобрительным видом кивнул головой, выпрямил плечи и резко забарабанил по столу пальцами. Последние перешептывания на хорах и в зале замерли, воцарилась напряженная тишина. Дуглас медленно повел вокруг глазами цвета пушечного металла, охватив одним уверенным, зорким взглядом и публику, и представителей прессы, и Артура. Затем он посмотрел на своих товарищей за столом и заговорил громко — так, чтобы всем было слышно.

— Перед нами особенно прискорбный случай, — сказал он, — так как дело идет о сыне нашего уважаемого председателя, уже столько сделавшего для трибунала. Факты ясны. Этот молодой человек, Артур Баррас, работает в «Нептуне», он там совершенно лишний и подлежит призыву на строевую службу. Не стоит повторять того, что вы все уже знаете. Но раньше чем мы приступим к разбору дела, я должен выразить свое восхищение мистеру Баррасу-старшему, который с полнейшим мужеством и патриотизмом не изменил своему долгу ради естественного отцовского чувства. Полагаю, я вправе сказать, что все мы чтим и уважаем его за это.

В зале раздался взрыв аплодисментов. Публику никто не унимал. И когда стало тихо, Дуглас продолжал:

— В качестве представителя военных властей я желал бы заявить, что мы с нашей стороны готовы на компромисс в этом прискорбном и неприятном случае. Подсудимому стоит только вы-

разить согласие вступить в ряды армии, и ему всемерно пойдут навстречу в вопросах строевого учения и отправления на фронт.

Он посмотрел через зал на Артура суровым, испытующим взглядом. Артур облизал пересохшие губы. Он видел, что от него ждут ответа. Собравшись с силами, он сказал:

— Я отказываюсь от военной службы.

— Ну, полноте, не может быть, чтобы вы это говорили серьезно!

— Я говорю серьезно.

Произошла едва ощутимая заминка, атмосфера стала еще напряженнее. Дуглас обменялся быстрым взглядом с Баррасом, как бы говоря, что он ничего больше сделать не может, а Джеймс Ремедж вызывающе поднял голову и спросил:

— Почему вы отказываетесь воевать?

Допрос начался.

Артур посмотрел на этого мясника, чья толстая шея, низкий лоб и маленькие, глубоко сидящие глазки придавали ему сходство и с быком и со свиньей.

Он ответил почти беззвучно:

— Я не хочу никого убивать.

— Говорите громче! — заорал на него Ремедж. — Вас и рядом не слышно.

Артур повторил хрипло:

— Я не хочу никого убивать.

— Но почему? — настаивал Ремедж; он убил на своем веку множество живых тварей, и ему было непонятно такое странное мирозерцание.

— Это против моей совести.

Пауза. Затем Ремедж грубо отрезал:

— Э, слишком чуткая совесть никому добра не приносит!

Тут поспешно вмешался преподобный Инох Лоу. Это был высокий худой мужчина с узкими ноздрями и землистым лицом. Он получал очень маленькое жалованье, половину которого вносил Джеймс Ремедж, главный прихожанин его церкви, и потому Ремедж всегда мог рассчитывать, что преподобный отец поддержит его и извинит его шуточки.

— Послушайте, — обратился этот пастырь к Артуру, — вы ведь христианин, не так ли? Христианская религия не запрещает законного убиения на пользу своей родины.

— Законного убийства не существует.

Его преподобие склонил голову набок:

— Что вы хотите этим сказать?

Артур торопливо принялся объяснять:

— Я больше не признаю религии, религии в вашем смысле слова. Но вы говорите о христианстве, об учении Христа. Ну так вот, я не могу себе представить, чтобы Иисус Христос мог взять в руки штык и воткнуть его в живот германскому солдату, или английскому, все равно. Я не могу себе представить Иисуса Христа, который сидит у английского или германского пулемета и десятками уничтожает ни в чем не повинных людей.

Преподобный Лоу покраснел от ужаса. Видно было, что он невообразимо шокирован.

— Это богохульство, — пробурчал он, обращаясь к Ремеджу.

Но Мэрчисон не мог допустить, чтобы аргумент священника потерпел неудачу. Этот пропахший нюхательным табаком бакалейщик захотел показать, что знает Священное Писание. Нагнувшись вперед, с таким же хитрым видом, с каким отвешивал полфунта ветчины, он спросил:

— Разве вы не знаете, что Иисус Христос сказал: «Око за око и зуб за зуб»?

Преподобный Лоу, видимо, почувствовал себя еще более неловко.

— Нет! — крикнул Артур. — Никогда Иисус не говорил этого.

— Сказал! Я вам говорю, — проревел Мэрчисон. — Это есть в Писании.

И Мэрчисон победоносно откинулся на спинку стула.

Вмешался Бэйтс, торговец мануфактурой. У него имелся в запасе только один-единственный вопрос, который он неизменно задавал всякий раз, и теперь он почувствовал, что пришло время выступить с ним. Поглаживая свои длинные обвисшие усы, он спросил:

— Если бы германец напал на вашу мать, что бы вы сделали? Артур сделал безнадежный жест и ничего не ответил.

Снова подергав себя за усы, Бэйтс повторил:

— Что бы вы сделали, если бы германец напал на вашу мать?

Артур закусил дрожащую губу:

— Как я могу объяснить свои мысли, отвечая на подобные вопросы? Может быть, в Германии спрашивают то же самое? Принимают? Задают тот же вопрос о наших солдатах?

— Что бы вы предпочли — убить германца или дать ему убить вашу мать? — с пафосом настаивал Бэйтс.

Артур пал духом. Он ничего не ответил. И Бэйтс, по-детски торжествуя, оглянулся на своих соседей.

Наступило молчание. Все сидевшие за столом, видимо, ждали, что скажет Баррас. А Баррас, казалось, тоже ждал чего-то. Он отрывисто кашлянул, прочищая горло. Глаза у него блестели, на скулах выступил легкий румянец. Он неподвижно смотрел по-верх головы Артура.

— Так вы отказываетесь признать необходимость этого великого народного движения, этой потрясающей мировой борьбы, которая требует жертв от всех нас?

Когда заговорил его отец, Артур снова почувствовал, что дрожит, и сознание своей слабости парализовало его. Он страстно хотел быть спокойным и смелым, решительным и красноречивым, — а вместо этого у него тряслись губы, и он способен был только пролепетать, заикаясь:

— Я не могу признать необходимостью то, что людей гонят гуртом резать друг друга, то, что во всей Европе моят голодом женщин и детей. В особенности когда никто, в сущности, не знает, для чего все это.

Краска выступила еще резче на лице Барраса:

— Эта война ведется для того, чтобы навсегда покончить с войнами.

— Это самое говорилось всегда, — воскликнул Артур зашевелившим голосом, — и это самое будут твердить, чтобы заставить людей убивать друг друга, когда начнется следующая война!

Ремедж беспокойно заерзал на месте. Он взял перо, лежавшее перед ним, и начал тыкать им в стол. Он привык в трибунале к более решительным действиям, и затягивание допроса его раздражало.

— Прекратите эту канитель, — бросил он тихо и злобно, — и давайте ближе к делу.

Баррас, в прежнее время всегда презрительно отзывавшийся о Ремедже, не выказал никакого возмущения, когда тот перебил его. Он по-прежнему сохранял бесстрастие статуи и только барабанил пальцами по столу.

— Какова истинная причина вашего отказа вступить в армию?

— Я уже вам объяснял, — ответил Артур и быстро перевел дыхание.

— Боже праведный! — вмешался опять Ремедж. — О чем он толкует? К чему все эти выверты? Пускай говорит прямо или держит язык за зубами.

— Изложите свои мотивы, — сказал Артуру преподобный Лоу тоном покровительственной жалости.

— Я не могу сказать больше того, что я уже сказал, — возразил Артур, понижая голос. — Я протестую против того, чтобы несправедливо и напрасно жертвовали жизнью людей. Я не буду принимать в этом участия ни на войне, ни где-либо в другом месте. — Произнося эти слова, Артур не сводил глаз с отца.

— Господи боже мой! — вздохнул Ремедж. — Что за дикий образ мыслей!

Тут произошло замешательство. На хорах встала какая-то женщина, маленькая, деловитая, спокойная, — это была вдова Скорбящего, — и прокричала звучным голосом:

— Он совершенно прав, а вы все не правы. «Не убий» — вспомните эту заповедь, и войне завтра же наступит конец!

Сразу же поднялся рев, целая буря протестов. Несколько голосов завопило:

- Позор!
- Замолчите!
- Выведите ее!

Миссис Скорбящую окружили и, подталкивая к двери,ыв проводили из зала.

Когда порядок был восстановлен, капитан Дуглас громко постучал по столу:

- Еще одно такое нарушение тишины, и я велю очистить зал!

Он повернулся к своим коллегам. При разборе каждого дела наступал момент, когда следовало собрать воедино разрозненные силы всей комиссии и быстро привести дело к надлежащему концу. А здесь оно явно зашло чересчур далеко. Дуглас слушал Артура с плохо скрытым презрением. Это был грубый невежда, выслужившийся из сержантов, толстокожий деспот с суровым лицом и типично казарменным складом ума. Обратившись к Артуру, он отрезал:

— С вашего позволения, подойдем к вопросу с другой стороны. Вы заявили, что не желаете воевать. А вы учли, чем это вам грозит?

Артур сильно побледнел, инстинктивно ощущая мрачную враждебность, как бы исходившую от Дугласа.

— Это не изменит моего решения.

— Так. Но вы ведь не хотите сидеть в тюрьме два или три года?

В зале мертвая тишина. Артур сознавал, что на нем сосредоточено внимание всей толпы. Он подумал: «Неужели все это происходит в самом деле? И это я стою здесь, в таком ужасном положении?»

Наконец он сказал устало:

— Сидеть в тюрьме мне так же хочется, как большинству солдат — сидеть в окопах.

Взгляд Дугласа стал еще жестче. Он сказал, повысив голос:

— Они идут туда, так как считают это своим долгом.

— Может быть, и я считаю своим долгом идти в тюрьму.

Слабый вздох пронесся в толпе на хорах. Дуглас сердито посмотрел туда, затем оглянулся на Барраса. Он пожал плечами и одновременно бросил бумаги на стол, как бы говоря: «К сожалению, это безнадежный субъект».

Баррас, выпрямившись, словно застыл в кресле. Он озабоченно провел рукой по лбу. Казалось, он прислушивается к тому разговору вполголоса, который вели между собой сидевшие за столом. Наконец он сказал сухо, официальным тоном:

— Я вижу, все вы разделяете мою точку зрения, — и поднял руку, призывая к молчанию.

Объявили минутный перерыв. После него, среди того же гробового молчания, Баррас, глядя поверх головы Артура, прочел приговор.

— «Трибунал, внимательно рассмотрев ваше дело, — начал он обычной формулой, — не нашел возможным освободить вас от военной службы».

Тотчас раздался взрыв аплодисментов, долгое и громкое «ура», и секретарь Раттер на этот раз не отдал распоряжения навести порядок. Какая-то женщина крикнула с хоров:

— Правильно, мистер Баррас! Правильно поступили, сэр!

Капитан Дуглас перегнулся через стол и протянул ему руку. Остальные члены трибунала сделали то же самое. Баррас всем по очереди пожал руки, торжественно, но несколько рассеянно.

Он посмотрел на хоры, откуда ему рукоплескали и откуда прозвучали слова той женщины.

Артур все стоял посреди зала, с вытянувшимся, серым лицом, поникнув головой. Казалось, он ждал чего-то, что должно сейчас произойти. Он переживал мучительную реакцию. Как бы стремясь перехватить взгляд отца, он поднял голову. Дрожь пробежала по его телу. Он повернулся и вышел из зала.

В этот вечер Баррас вернулся домой поздно. В передней он натолкнулся на Артура, остановился и каким-то странным тоном, не то огорченным, не то смущенным, неожиданно сказал:

— Ты можешь, если тебе угодно, обжаловать приговор. Ты знаешь, что это разрешается.

Артур пристально смотрел на отца. Теперь он был спокоен.

— Вы довели меня до этого, — сказал он. — И я не обжалую приговор. Я пройду через все.

Несколько мгновений оба молчали.

— Что же, — сказал Баррас почти жалобно, — ты сам себя накажешь. — Он отвернулся и направился в столовую.

Когда Артур шел наверх, ему смутно послышался откуда-то плач тети Кэрри.

В этот вечер в городе царил большое оживление. Поступок Барраса вызвал потрясающую сенсацию. Патриотизм принял размеры горячки, и толпа народа прошла по Фрихолд-стрит с флагами и пением «Типерери». Она выбила стекла в домике миссис Скорбящей, затем направилась к лавке Ганса Мессюэра. С некоторого времени к старому Гансу, как к чужестранцу, относились подозрительно, и теперь взрыв патриотизма превратил это подозрение в уверенность. Парикмахерскую разгромили, разбили зеркальную витрину, перебили бутылки, изорвали шторы, а гордость старого Мессюэра — вывеску, размалеванную красными и синими полосами, — разнесли в щепки. Ганса, в ужасе вскочившего с постели, избили и оставили в беспамятстве на полу.

Два дня спустя Артур был арестован и отведен в тайнкаслские казармы. Все произошло в полном спокойствии и порядке. Он попал в машину, и теперь все шло гладко и независимо от его воли. В казармах он отказался надеть форму. Его немедленно судили военным судом, приговорили к двум годам каторжных работ и постановили перевести в Бентонскую тюрьму.

Уходя после этого второго суда, он думал о том, как все произошло. И странно запомнилось лицо отца: красное, смущенное, смутно недоумевающее.

ХII

«Черная Мария» резким толчком остановилась у Бентонской тюрьмы, и послышался звук отодвигаемых засовов. Артур сидел в темном и тесном отделении «Черной Марии», все еще ошеломленный, пытаюсь освоиться с мыслью, что он едет в тюремной карете, что он — арестант.

Машина опять дернулась с места и так же резко остановилась. Дверь отперли и распахнули настежь, впустив неожиданно струю ночной свежести. Голос тюремного надзирателя прокричал:

— Выходите!

Артур и четверо других арестованных встали в своих узких отгороженных клетках и вышли из машины. Путешествие из Тайнкасла в Бентон было долгим и мучительным, но наконец они оказались во дворе тюрьмы. Ночь была грозовая, небо закрыто тучами, дождь лил как из ведра, в выбоинах асфальта образовались лужи. Артур торопливо огляделся кругом: высокие серые стены с зубцами и остроконечными башенками, ряды дверей с железными засовами, тюремные сторожа в блестящих клеенчатых плащах, тишина и расплывчатый мрак, смягчаемый только слабым пятном желтого света над аркой. Пятеро вновь прибывших узников стояли под дождем, пока один из надзирателей не прокричал команду, и их ввели через другую дверь в выбеленную известкой комнату, белизна которой ослепляла глаза после мрака, царившего снаружи. В этой пустой и светлой комнате сидел за столом полицейский чиновник — пожилой человек с глянцевитой лысиной во всю голову, а перед ним лежала груда бумаг и регистрационный журнал.

Тюремный надзиратель подошел к чиновнику и заговорил с ним. Пока они разговаривали, Артур рассмотрел тех четверых, которых привезли с ним в одной машине. Двое из них были невзрачные люди с черными платками на шее и длинными лицами квакеров, до странности похожие друг на друга и, очевидно, родные братья. Третий, в золотом пенсне, походил на захудалого

клерка. Подбородок его обличал слабого и павшего духом человека, видимо безобидного и угнетенного, подобно описанным уже двум братьям. Четвертый был рослый, небритый, грязный субъект; он единственный из всех не казался ни удивленным, ни расстроенным тем, что находится здесь.

Полицейский чиновник у стола прекратил разговор с надзирателем, взял в руки перо:

— Подойдите и встаньте в ряд вот тут!

Это был приемщик Бентонской тюрьмы. Он начал механически читать вслух подробный приговор относительно каждого из вновь прибывших и вносить его в журнал, куда записывал, кроме того, имя, вероисповедание, занятие каждого и сумму привезенных им с собой денег.

Первым он записал грязно одетого мужчину, у которого не было с собой никаких денег, ни единого медного фартинга. Этот человек, по фамилии Хикс, привлекался к суду за нападение и изнасилование, занятий не имел никаких и был приговорен к трем годам каторжных работ. Следующим записали Артура. У Артура было с собой четыре фунта шесть шиллингов десять с половиной пенсов. Сосчитав деньги Артура, полицейский чиновник сказал саркастическим тоном, словно обращаясь к кучке серебра, акkuratно сложенного на бумажках:

— Этот Касберт¹ — состоятельный малый.

Вслед за Артуром были записаны оба брата и потрепанный клерк. Все трое оказались принципиальными противниками военной службы, возражавшими против нее по моральным мотивам, и чиновник тихо пробурчал какое-то злобное замечание, сетуя на то, что приходится иметь дело с такими скотами.

Покончив с регистрацией, он встал и отпер внутреннюю дверь. Молча и повелительно указал пальцем на дверь — и арестанты гуськом прошли в длинное помещение с рядом узких камер по обе стороны. Полицейский скомандовал:

— Раздеться!

Они разделись. Братья-квакеры были смущены необходимостью раздеваться в присутствии других. Они медленно и боязливо снимали с себя одежду и, раньше чем остаться совсем нагишом,

¹ Так называли в Англии уклонявшихся от отправки на фронт под предлогом «незаменимости в тылу».

стояли некоторое время в кальсонах, стыдливо дрожа. Хиксу это, вероятно, показалось смешным. Раздевшись сразу догола, он обнажил громадное, грязное, волосатое тело, местами покрытое красными прыщами. Он стоял, широко расставив ноги, и, ухмыляясь, сделал непристойный жест в сторону квакеров.

— Эй, девочки, — сказал он, — давайте вместе ловить креветок.

— Замолчите, вы! — прикрикнул чиновник.

— Слушаю, сэр! — подобострастно ответил Хикс; он подошел и стал на весы.

Всех их взвесили и измерили. Когда это было проделано, Хикс, который, очевидно, хорошо здесь ориентировался, пошел впереди всех бетонным коридором в ванную. Ванна, и сама по себе грязная, была до половины наполнена грязной тепловатой водой с налетом пены на поверхности.

Артур посмотрел на Хикса, уже обмывавшего свое прыщавое тело в грязной ванне, затем повернулся к приемщику и спросил вполголоса:

— И мне непременно нужно влезть в эту самую ванну?

Полицейский чиновник был не лишен юмора. Он ответил:

— Да, миленький. — Потом добавил: — И без разговоров!

Артур влез в ванну.

После омовения в грязной ванне им выдали арестантскую одежду. Артур получил желтую фланелевую рубашку, туфли без задков, пару носков и очень узкий костюм хаки, проштемпелеванный во всех направлениях широкими черными полосами. Брюки едва доходили ему до колен. Остановив глаза на тесной и короткой куртке, он вяло подумал: «В конце концов я все же оказался в хаки».

Через одну из внутренних дверей вошел доктор, краснолицый толстяк с множеством золотых пломб в передних зубах. Доктор вошел торопливо, его стетоскоп уже болтался наготове, на шнурке, надетом за уши, и он сразу пустил его в ход. Он осмотрел каждого быстро и небрежно, стоя на некотором расстоянии от них, бесстрастный, как машина. Артуру он велел сказать «девьяносто девять», мимоходом выстукал его в нескольких местах и спросил, не болел ли он венерическими болезнями; затем перешел к другому. Артур не осуждал этого врача за его торопливость. Он подумал: «На его месте я тоже, вероятно, торопился».

бы». Артур старался быть справедливым. Он давал себе клятву сохранить душевное равновесие. Это был единственный исход — спокойно принимать неизбежное. Прошедшей ночью он все это тщательно продумал и понимал, что иначе легко можно сойти с ума.

По окончании медицинского осмотра лысый чиновник ушел вместе с доктором, передав арестантов новому надзирателю, который вошел молча и теперь, все так же молча, разглядывал их. Этот был низенький и тучный, с большой головой на короткой шее и отталкивающими манерами; губы у него были очень тонкие, верхняя — короткая, вздернутая, а большая уродливая голова всегда вытянута вперед, словно он следил за кем-нибудь. Звали его Коллинс.

После молчаливого осмотра надзиратель Коллинс не спеша указал каждому его номер и номер его камеры. Артур превратился в «номер сто пятнадцатый», а камера у него была № 273. Затем Коллинс отпер тяжелые железные ворота и сказал:

— Ну, выходите. Веселее!

Они вышли и под безучастным оком надзирателя Коллинса зашагали рядом к главному корпусу тюрьмы.

Тюрьма своим устройством напоминала колодец — громадный, глубокий, отражающий все звуки колодец, окруженный рядом камер, расположенных в несколько ярусов. Каждая галерея была огорожена массивными железными перилами, так что общий вид всех галерей спереди напоминал огромную клетку. Запах дезинфекционных средств не заглушал сырого, могильного запаха тюрьмы. Почувяв его, Артур содрогнулся.

Надзиратель Коллинс привел Артура в камеру № 273. Она находилась в третьей галерее. Артур вошел. Камера имела в длину тринадцать футов, в ширину — шесть и была очень высока. Стены снизу до половины выложены желто-бурым кирпичом, выше же выбелены. В одной стене высоко прорезано крохотное оконце за толстой решеткой, — вряд ли это можно было назвать окном: даже в яркие солнечные дни сквозь него проникало сюда очень мало света. Электрический шар в металлической сетке, который включали снаружи, в коридоре, тускло освещал камеру. Пол был цементный, и на этом цементном полу стояли эмалированный кувшин и параша. Зловоние, распространяемое сотнями этих параш, придавало тюрьме специфический запах.

Ложем служили нары в шесть футов длиной и в два с половиной фута шириной, с одеялом, но без тюфяка. Над этим ложем, на выступе стены, стояли эмалированная кружка и тарелка с ложкой и оловянным ножиком. Над выступом висела грифельная доска с грифелем, а под доской была предупредительно положена маленькая Библия.

Осмотрев все, Артур обернулся и увидел, что надзиратель Коллинс стоит у дверей, словно ожидая, чтобы он высказал свое мнение о камере, — губу он немного подобрал, голову нагнул вперед. Но, убедившись, что Артур не намерен говорить, он молча повернулся и вышел.

Когда за ним загремела дверь — тяжелая дверь с решетчатым глазком, — Артур присел на край дощатых нар, которые должны были служить ему кроватью. Итак, он в тюрьме. Это тюремная камера, и он заперт в ней. Он больше не Артур Баррас. Он — «номер сто пятнадцатый».

Несмотря на принятое решение, холодный ужас охватил его. Все было хуже, гораздо хуже, чем он ожидал. На воле легко говорить развязно о тюрьме, не имея понятия, что она собой представляет, — а вот когда попадешь в нее, это уже не так просто. Жуткое место! Артур обвел взглядом тесную, слабо освещенную камеру. Нет, что там ни говори, это будет нелегко.

В семь часов принесли ужин. Это был ужин сверх программы, специально для новоприбывших, и состоял он из чашки жидкой овсянки. Несмотря на тошноту, Артур заставил себя поесть. Он ел стоя и, окончив, снова сел на край нар. Он знал, что думать опасно. Но что же больше делать здесь? Библии он не мог читать, на доске писать ничего не хотелось.

Он размышлял: «Отчего я здесь? Оттого, что отказался убивать, отказался пойти и воткнуть штык в тело другого человека где-то на пустынной полосе земли во Франции». Его сюда посадили не за убийство, а за то, что он отказался совершать убийства.

Это было странно, прямо-таки смешно. Но чем больше он об этом думал, тем менее смешным оно ему представлялось. Скоро у него начали потеть ладони — признак нервного расстройства. Пот тек с его ладоней так, что казалось, никогда не перестанет течь.

Вдруг неожиданный звук, что-то вроде воя, заставил его задрожать. Вой доносился снизу, со дна тюремного колодца, с самой

нижней галереи, где были камеры-одиночки. Звериный, неужасный вой, в котором не было ничего человеческого. Артур вскочил. Нервы его трепетали, как натянутые струны, отзываясь на эти жуткие вопли. Он напряженно вслушивался. Вой усилился до нестерпимого crescendo, затем сразу прекратился, оборвался с насильственной внезапностью. Наступившее вслед за тем молчание, казалось, нашептывало догадки о том, *каким образом* был прекращен вой.

Артур зашагал взад и вперед по камере. Он ходил быстро, все ускоряя шаг. Он ждал, что вой начнется снова, но было тихо. Он почти бежал по бетонному полу своей клетки, когда вдруг зазвонил звонок и потух свет.

Артур остановился как вкопанный посреди камеры, потом медленно снял в темноте свое штемпелеванное хаки и лег на дощатые нары. Но уснуть не мог. Он доказывал себе, что сегодня нечего надеяться уснуть, но со временем он привыкнет к твердой доске. Пока же целый калейдоскоп горьких мыслей мелькал и кружился в его мозгу. Казалось, громадное колесо вертится, разрастается, заполняет камеру. В этом колесе кружились лица, сцены. Отец, Гетти, Ремедж, трибунал, «Нептун», мертвецы в шахте, убитые на полях сражений, люди с мертвыми протестующими глазами — все смешивалось и вертелось, вертелось быстрее и быстрее в этом страшном колесе. Артур влажными от пота руками цеплялся за край доски, ища опоры против этого хаоса. А ночь шла.

В половине шестого, когда было еще темно, зазвучал тюремный колокол. Артур встал, умылся, оделся, сложил одеяло и убрал камеру. Только что он кончил, как в замке повернулся ключ. Странный то был звук — лязгающий скрежет, словно два металла соприкасаются против их воли. Этот звук врзался в самый мозг. Надзиратель Коллинс бросил в камеру несколько мешков, в которых перевозят почту, сказав: «Заштопайте их!» — и с треском захлопнул дверь.

Артур поднял с пола мешки, куски грубой рыжей парусины. Он не знал, как их нужно штопать, и снова бросил их на пол. Он сидел и смотрел на эти парусиновые мешки до семи часов, когда опять заскрипел ключ и ему сунули через дверь завтрак. Завтрак состоял из жидкой, как вода, овсянки и куска черного хлеба.

После завтрака Коллинс просунул в приоткрытую дверь свою безобразную голову. Он внимательно посмотрел на незаштопан-

ные мешки, затем, с любопытством, на Артура. Но не сделал никакого замечания. Он сказал только (и довольно мягко):

— Выходите на прогулку.

Артура вывели на тюремный двор. Двор этот представлял собой квадрат грязного асфальта, окруженный стенами громадной высоты, и в конце было устроено возвышение в виде площадки, на которой стоял надзиратель, следя за арестантами, развинченной походкой проходившими мимо него. Он смотрел на их губы, следя, чтобы они не беседовали между собой, и время от времени орал: «Не разговаривать!» Но старые каторжники уже так наловчились, что умели разговаривать, не шевеля губами.

Посреди двора была уборная, металлический навес в виде кольца, подпертый низкими столбами. Кружившие по двору люди поднимали руку в знак того, что просят у надзирателя разрешения сходить в уборную. Когда они находились в ней, над металлическим кольцом виднелись их головы, внизу — ноги.

Оставаться долго в уборной считалось большим развлечением, и этой привилегией пользовались только любимцы надзирателя.

Артур плелся вслед за другими. В бледном свете раннего утра эта группа бредущих по двору людей казалась чем-то нереальным, жутко-нелепым, как группа сумасшедших. На лицах их была печать унижения, навязчивой мысли об одном и том же, угрюмой безнадежности. Их тела пропахли мерзким запахом тюрьмы, их руки висели, как неживые.

Впереди себя Артур заметил Хикса, который ухмыльнулся ему через плечо, как знакомому.

— Не хочешь ли завести дружка, парень? — спросил он, умудряясь незаметно произносить слова углом рта.

— Не разговаривать! — заорал надзиратель Холл с площадки. — Эй, вы там, номер пятьсот четырнадцатый, не разговаривать!

Шагают вокруг двора снова и снова, кружатся, как колесо в ночном бреду Артура, кружатся вокруг непристойного центра — уборной. Надзиратель Холл — как погонщик на беговом круге, его голос щелкает, как бич:

— Не разговаривать! Не разговаривать!

И эта безумная карусель носит название «прогулки».

В девять часов арестантов повели в мастерскую, длинное пустое помещение, где шили мешки. Артуру дали еще порцию меш-

ков. Надзиратель Биби, начальник мастерской, снабдив Артура мешками, заметил его неопытность, наклонился к нему и стал объяснять:

— Смотри, дурачок, вот как надо их шивать.

Он прошил толстой иглой два рубца грубой ткани, показав, как следует делать стежки, и добавил насмешливо, но без всякого недоброжелательства:

— Если сошьешь много, получишь вечером какао. Понимаешь, дурачок? Чашку сладкого горячего какао!

Ласковая нотка в голосе Биби ободрила Артура. Он принялся шить. Человек сто занимались здесь тем же делом. Сосед Артура, старый человек с седыми висками, работал ловко и быстро, чтобы заслужить какао. Кидая на пол готовый мешок, он всякий раз чесал у себя под мышкой и украдкой бросал взгляд на Артура. Но не говорил: заговорить — значило лишиться какао.

В двенадцать часов снова раздался звон. Работу в мастерской прекратили и потянулись по камерам обедать. В камере Артура щелкнул замок. Обед состоял из похлебки и хлеба с прогорклым маргарином. После обеда надзиратель Коллинс отодвинул заслонку отверстия в двери. Его глаз, приложенный к отверстию, казался очень большим и зловещим. Он сказал:

— Вас сюда посылают не для того, чтобы бездельничать. Принимайтесь за мешки!

Артур принялся за мешки. Руки у него болели от проталкивания толстой иглы сквозь ткань, на большом пальце вскочил волдырь. Он не думал о том, что делает и зачем делает. Он работал уже автоматически, все шил и шил. Снова звук ключа в замке. Коллинс принес ужин — опять водянистая овсянка и ломоть хлеба. Войдя в камеру, он посмотрел на мешки, потом на Артура, и его короткая верхняя губа вздернулась, обнажая зубы. Не могло быть сомнений в том, что надзиратель Коллинс почему-то невзлюбил Артура. Но он не спешил издеваться над ним, у него было впереди очень много месяцев, и он по долгому опыту знал, что, если не спешить, получишь гораздо больше удовольствия. Он только сказал, как бы размышляя вслух:

— И это все, что вы сделали? Мы не потеряем здесь отлынивания от работы.

— Я не привык к этой работе, — ответил Артур. Он невольно говорил заискивающим тоном, словно чувствуя, как важно быть в милости у Коллинса. Он поднял глаза, утомленные напряже-

нием, и ему показалось вдруг, что надзиратель стал пухнуть, особенно голова: большая уродливая голова выростала до фантастических размеров и принимала угрожающий вид. Артуру пришлось смотреть на Коллинса, заслонив глаза рукой.

— Советую вам поскорее привыкнуть, черт возьми! — Коллинс говорил очень тихо, но его уродливая голова еще больше надвинулась на Артура. — Не думайте, что если увильнули от военной службы, то вы найдете себе здесь теплое местечко. Шейте мешки, пока не услышите звонок!

И Артур шил, пока не услышал звонок. А услышал он его в восемь часов. Резкий металлический звон наполнил всю глубину тюремного колодца и возвестил Артуру, что впереди — ночь одиночества.

Артур сел на край кровати, тупо разглядывая широкие черные клейма в виде стрел на своих брюках хаки и обводя эти стрелы указательным пальцем. Почему он заштемпелеван стрелами? Он весь покрыт ими. Все его тело, словно скованное столбняком, пронизано потоками широких черных стрел. У него было странное ощущение небытия, ощущение какого-то душевного уничтожения. Эти стрелы его убили.

В девять часов потух свет. Посидев с минуту в темноте, Артур упал, как был, не раздеваясь, на нары и, точно оглушенный, сразу уснул.

Но спал он недолго. Вскоре после полуночи его разбудил тот же вой, что ночью. Но на этот раз вой длился, длился, словно его забыли остановить. В нем звучали бешенство и полная растерянность. Артур в темноте вскочил с постели. Сон восстановил его силы. Душа в нем снова ожила, ужасно, мучительно ожила и не могла вынести этого воя, и мрака, и одиночества. Он и сам завопил:

— Прекратите это, прекратите, ради бога, прекратите! — и начал колотить кулаками в дверь своей камеры.

Он кричал и барабанил в дверь как безумный, и не прошло минуты, как он услышал, что и другие так же вопят и колотят в двери. Из темных катакомб галерей неслись громкие крики и стук. Но никто не обратил на это внимания, и крики и стук постепенно утихли, канули во мрак и молчание.

Артур некоторое время постоял, прижавшись щекой к холодной решетке двери, с протянутыми вперед руками и бурно взды-

мающей грудью. Потом он сорвался с места и начал шагать по камере. Камера была так тесна, что в ней негде было шевельнуться, а он все шагал да шагал, не мог остановиться. Руки его были по-прежнему сжаты в кулаки, он, казалось, не имел силы разжать их. Время от времени он бросался на нары, но напрасно: измученные нервы не давали ему покоя. Только от движения становилось легче. И он продолжал ходить.

Он ходил и тогда, когда заскрипел ключ. Скрип ключа начал новый день. Он подскочил от этого звука и остановился посреди камеры, глядя на Коллинса. Он сказал, задыхаясь:

— Я не мог уснуть из-за этого воя. Не спал из-за него всю ночь.

— Стыд и срам! — фыркнул надзиратель.

— Я не мог уснуть. Не мог! Что это за вой?

— Не разговаривать!

— Кто это воет? Что это такое?

— Сказано вам, не разговаривать! Это один болван взбесился, если уж хотите знать, он находится под наблюдением, как умалишенный. А теперь замолчите. Никаких разговоров! — И Коллинс вышел.

Артур сжал лоб руками, всеми силами стараясь овладеть собой. Голова его валилась на грудь, ноги, казалось, не в силах были поддерживать тело. Он чувствовал себя смертельно больным. Он не мог есть похлебку, которую оставил для него Коллинс, в такой же, как всегда, глиняной миске. Запах ее вызывал у него нестерпимую тошноту. Нет, он не может есть эту похлебку.

Неожиданно заскрипел ключ. Вошел Коллинс и, посмотрев на Артура, вздернул губу. Он спросил:

— Почему не завтракаете?

Артур тупо посмотрел на него:

— Не могу.

— Встать, когда я с вами говорю!

Артур встал.

— Ешьте свой завтрак!

— Не могу.

Губа Коллинса снова поднялась, тонкая и синяя:

— Он недостаточно хорош для вас, а? Недостаточно изысканное кушанье для Касберта? Ешь, Касберт!

Артур повторил вяло:

— Не могу.

Надзиратель спокойно погладил подбородок. Дело принимало приятный для него оборот.

— Знаете, что с вами сделают? — сказал он. — Вас будут кормить искусственно, если вы не образумитесь. Впустят вам в пищевод кишку и вольют суп. Вот. Я это проделывал раньше и проделаю снова.

— Право, не могу, — возразил Артур, опутив глаза. — Я чувствую, что, если начну есть, меня вырвет.

— Берите чашку, — скомандовал Коллинс.

Артур нагнулся и взял в руки чашку. Надзиратель Коллинс наблюдал за ним. Он с самого начала сильно невзлюбил Артура за то, что Артур хорошо воспитан, образован, что он джентльмен. Но была и другая причина. Ее-то Коллинс и принялся медленно излагать:

— Смотрю я на вас, господин уклоняющийся, — терпеть не могу таких, как вы. Я сразу же вас заметил, в ту минуту, как вы вошли. У меня, видите ли, сын в окопах. Этим многое объясняется, не так ли? И этим объясняется то, что вы сейчас съедите свой завтрак. Ешьте, господин уклоняющийся!

Артур начал есть похлебку. Он проглотил половину жидкой массы и сказал страдальческим голосом: «Не могу!» И в тот же миг его стошнило. Рвота облила сапоги Коллинса. Коллинс побагровел. Он подумал, что Артур нарочно выплюнул похлебку на его сапоги. Не задумываясь, он нанес Артуру страшный удар в лицо.

Артур побелел как бумага. Он смотрел на надзирателя мученическим взглядом.

— Вы не имеете права, — сказал он, задыхаясь. — Я пожалуюсь на вас за то, что вы меня ударили.

— Вот как, пожалуетесь? — фыркнул Коллинс, вздернув губу до последнего предела. — Так заодно уж пожалуйте и на это. — Он что есть силы размахнулся и ударом кулака свалил Артура наземь.

Артур упал на бетонный пол камеры и лежал неподвижно. Он слабо застонал, и при этом звуке Коллинс, подумав о сыне в окопах, злобно усмехнулся. Он обтер свои испачканные рвотой сапоги о куртку Артура и, все еще скаля зубы, вышел из камеры. Ключ со скрипом повернулся в замке.

XIII

В тот день, когда Артур лежал без чувств в луже рвоты на цементном полу камеры, Джо Гоулен сидел в Центральной гостинице Тайнкасла перед тарелкой с устрицами. Среди других прелестей Джо недавно открыл устрицы. Занятная штука эти устрицы, занятная во всех отношениях! А особенно любопытно, что их можно съесть такое количество! Джо мог без всякого усилия одолеть полторы дюжины, когда у него бывало подходящее настроение, а оно у него бывало постоянно. И они были очень вкусны с лимонным соком и соусом табаско, особенно крупные и жирные.

Некоторые вещи — например, мясо и цыплят — теперь труднее стало доставать, а вот устриц, когда наступал их сезон, люди опытные всегда могли получить в Центральной. Впрочем, Джо мог достать все, что угодно. Он заглядывал в Центральную так часто, что стал здесь своим человеком, все увивались вокруг него, и даже старший официант, старый Сью (звали его, собственно, Сьючерд, но Джо обращался со всеми запанибрата и фамильярно сокращал имена), — старый Сью прибежал на его зов быстрее всех.

— Почему вы не купите себе несколько крокерских и диксоновских? — спросил Джо так, между прочим, у старика Сью несколько месяцев тому назад. — Не делайте испуганных глаз. Я знаю, что вы спекуляциями не занимаетесь, — семейный человек и все такое. Не так ли, Сью? Но это совсем другое дело, и вам бы следовало просто так, на пробу, купить себе сотенку этих акций.

Через неделю Сью подстерег Джо у входа в ресторан, чтобы подобострастно, чуть не на коленях, поблагодарить его за совет, и усадил его за лучший столик.

— Ну пустяки, Сью, не стоит благодарности. И сколько вы заработали на этом деле? Шестьдесят фунтов? Пригодится на сигары, а, Сью? Ха-ха-ха! Отлично, отлично, вы мне услужите, я — вам. Понимаете?

«Деньги! — думал Джо, поддев последнюю устрицу и ловко отправляя ее в рот. — За деньги все можно достать». Пока лакей убирал раковины и ходил за бифштексом, Джо весело оглядывал зал. Ресторан Центральный в последнее время напоминал модный курорт. Даже по воскресеньям он бывал битком набит; здесь

собирались все преуспевающие люди, дельцы, умевшие ловить самую крупную рыбу в мутной воде. Джо был уже знаком с большинством из них: с Бингамом и Ховардом — членами Комитета снабжения армии, со Снэгом — адвокатом, с Инграмом, совладельцем пивоваренного завода «Инграм и Тугуд», Вэйнратом, столь нашумевшим на тайнкаслской бирже, и Пеннингтоном, специальностью которого было производство «синтетического варенья». Джо заводил связи осмотрительно. Он искал людей с деньгами — всех тех, кто мог быть ему полезен. Личные симпатии здесь никакой роли не играли, он поддерживал знакомство лишь с теми, кто мог помочь ему выдвинуться. И благодаря своей внешней сердечности и умению сходитья с людьми он пролезал повсюду и слыл отличнейшим малым.

Два человека у окна привлекли его внимание. Он кивнул им, и каждый из них в ответ помахал ему рукой. Джо усмехнулся с тайным удовлетворением. Способная парочка эти Босток и Стокс, — да, оба умеют обдeldывать делишки. Босток — это сапоги; до войны у него было небольшое предприятие, маленькая фабрика в Ист-Туане, доставшаяся ему по наследству. Но за полтора года войны Босток сумел обеспечить себя целой пачкой договоров на военные поставки. Дело тут, конечно, не в договорах, хоть они и выгодны, — дело в сапогах. В сапогах, которые поставлял Босток, не было ни дюйма кожи. Ни единого жалкого дюйма! Босток сам проговорился ему об этом как-то вечером в «Канунти», когда подвыпил. Он употреблял вместо кожи особый сорт коры, за непрочность которой можно было поручиться.

— Но дело-то в том, — слезливо объяснял Босток, — что сапоги большей частью переживают тех бедняг, которым они выдаются. Какая жалость! О боже, скажи, Джо, ну не печально ли это? — хныкал пьяный Босток в припадке патриотической скорби, пролив слезу в свое шампанское.

Стокс торговал готовым платьем. За последние несколько месяцев он откупил все помещения над своей мастерской и теперь мог в разговорах упоминать о «собственной фабрике». Стокс был величайший патриот во всем Крокерстаунском районе: постоянно твердя о «нуждах государства», он заставлял своих мастериц работать сверхурочно без оплаты, не давал им обеденного перерыва, держал их и по воскресеньям часто до восьми часов вечера. Большую часть работы он отдавал «на дом», по соседним

квартирам; за шитье пары брюк платил семь пенсов, за полное военное обмундирование — один шиллинг шесть пенсов. Рубашки хаки он отдавал шить по два шиллинга за дюжину и вычитал из этих денег по два-три пенса за катушку ниток; солдатские штаны отдавал в окончательную отделку по одному с четвертью пенса за пару, за теплые набрюшники платил женщинам по восьми пенсов за дюжину, с их нитками и иголками. А сколько же он наживал? Джо даже облизнулся от зависти. Взять хотя бы эти набрюшники. Джо было доподлинно известно, что некто «повыше» откупал их у Стокса по восемнадцати шиллингов за дюжину. А Стоксу они обходились всего по два шиллинга десять пенсов дюжина! Замечательно! Правда, кто-то из этих скотов-социалистов добился, чтобы Стокс платил работавшим на него надомникам на круг по пенсу в час, а в Совете тем же социалистом был поднят вопрос о «потогонной системе» на фабрике Стокса. «Ба! — подумал Джо. — Потогонная система, скажите пожалуйста! Что, разве эти женщины не дрались из-за работы у Стокса? Охотниц сколько угодно, — стоит хотя бы взглянуть на толпы, стоящие в очереди за маргарином! Надо же учесть, что у нас война!»

Джо знал по опыту, что ничто так не помогает человеку стать на ноги, как война. Во всяком случае, свою удачу он приписывал войне. На заводе Миллингтона он сумел взять в руки все, там теперь его боятся и Морган, и Ирвинг, и даже этот старый упрямец Добби. Джо усмехнулся. Развалясь на стуле, он старательно снимал ленточку с гаванской сигары. Пускай себе эти проклятые спекулянты Стокс и Босток курят сигары с неснятыми ярлычками, он получше их знает правила хорошего тона. Улыбка Джо стала мечтательной. Но вдруг он выпрямился и закивал с усиленной приветливостью, увидев подходившего к нему Джима Моусона. Он так и рассчитывал, что Моусон, который по воскресеньям всегда обедал дома, зайдет сюда часам к двум.

Джим неторопливо пробирался через переполненный людями зал к столику Джо. Его глаза из-под тяжелых век поднялись на Джо, молча кивнувшего в ответ: так здороваются люди, понимающие друг друга. Некоторое время Моусон со скучающим видом оглядывал ресторанный зал.

— Виски, Джим? — предложил наконец Джо.

Джим отрицательно покачал головой и зевнул. Снова пауза.

— Как дела на заводе?

— Недурны! — Джо с небрежным видом вынул из жилетного кармана исписанный клочок бумаги. — За последнюю неделю выпустили двести тонн шрапнели, десять тысяч бомб Миллса, тысячу гранат и тысячу пятьсот восемнадцатифунтовок.

— Господи Иисусе, — сказал Джим равнодушно, доставая из стеклянной вазочки зубочистку, — да этак вы одни собственными скромными силами ликвидируете проклятую войну, Джо, если не будете осторожнее!

Джо хитро усмехнулся:

— Не беспокойтесь, Джим. Некоторые из этих бомб таковы, что ими не расколоть и кокосового ореха. Никогда еще я не видел столько раковин¹ в отливке, сколько их было на этой неделе. В этом виноват чугун, который вы нам последний раз доставили, Джим! Безобразие! Половина оболочек вышла похожей на швейцарский сыр. Все эти снаряды не взорвутся. Нам пришлось замазывать дыры и наложить два слоя краски.

— Ах! — вздохнул Джим. — Так они, пожалуй, не угодят в цель, а?

— Нет, конечно. Черт бы вас побрал, Джим! Они, верно, будут лететь не туда, куда надо, если вообще вылетят из жерла.

— Жаль, — посочувствовал Джим, усердно работая зубочисткой, затем спросил: — Сколько вы можете взять на этой неделе?

Склонив голову набок, Джо делал вид, что подсчитывает в уме:

— Пожалуй, пришлите мне сто пятьдесят тонн.

Моусон кивнул головой.

— И вот что, Джим, — продолжал Джо. — В фактуре укажите на этот раз триста пятьдесят тонн. Мне надоело вертеться из-за какой-нибудь лишней сотняги.

Загадочный взгляд Джима, казалось, вопрошал: не опасно ли это?

— Не следует слишком спешить, — сказал он наконец серьезным тоном. — Не забывайте о Добби.

— А, что там! К нему поступит фактура, но он не будет знать, сколько мы израсходовали чугуна в литейной. Если только его чертовы цифры сходятся, он уверен, что весь выпуск продукции у него как на ладони.

Джо говорил, пожалуй, с несколько излишней горячностью; его первые вкрадчивые попытки подкупить Добби, угловатого,

¹ Раковины — дефекты отливки.

чопорного педанта в пенсне, потерпели полную неудачу. Но, к счастью, и в тех случаях, когда Добби вмешивался, его легко было провести. Все его внимание было сосредоточено на точности и аккуратности ведомостей, практическая же сторона дела оставалась ему совершенно неизвестной. Вот уж несколько месяцев Джо в компании с Моусоном проделывал разные ловкие махинации. Сегодня, например, он заказал ему сто пятьдесят тонн железного лома, но в счете, правильность которого он удостоверяет своей подписью, будет указано триста пятьдесят тонн. Добби уплатит за триста пятьдесят тонн, а Моусон и Джо поделят поровну деньги за двести тонн по семи фунтов за тонну. Пустяковый заработок — всего каких-нибудь тысяча четыреста фунтов! Это только второстепенный доход в совместной деятельности Джима и Джо. Тем не менее достаточный, чтобы смиренно благодарить Бога за дары войны.

Закончив деловые переговоры к общему удовольствию, Моусон откинулся на стуле, любовно поглаживая себя по животу. Наступило молчание.

— Ага, вот они оба идут сюда, — объявил Джим.

Стокс и Босток встали, перешли зал и остановились у их столика. Оба раскраснелись от еды и вина, были веселы, но держали себя с достоинством. Стокс протянул Джо и Моусону свой портсигар. Когда Джо, отложив уже наполовину выкуренную гавану, нагнулся, выбирая другую, над оправленным в золото портсигаром из крокодиловой кожи, Стокс сказал с совершенно излишним подмигиванием:

— Нечего вам их обнюхивать, они мне стоят по полдоллара штука.

— Цены не на шутку поднялись, черт возьми, — с напыщенным видом вставил Босток. Он выпил уже четыре порции бренди, немного пошатывался, но сохранял приличную серьезность. — Известно вам, что одно дрянное яйцо стоит пять пенсов?

— Ну вам-то это по средствам, — заметил Джо.

— Я лично яиц не ем, — возразил Босток. — Яйца вредны для печени. И кроме того, я слишком занят: я покупаю сейчас большой дом в Кентоне. И жена моя и дочери этого хотят. О женщины, женщины!.. Но я хотел сказать вот что: как же, черт возьми, сможет еще продолжаться война, если яйцо стоит пять пенсов?

Моусон, обрезая сигару, вставил:

— А вы себя застрахуйте. Я тоже так сделал. Накиньте на свой товар пятнадцать процентов на тот случай, если война окончится в этом году. Это имеет смысл.

Босток возразил степенно:

— Я говорю о яйцах, Джим.

Стокс подмигнул Джо и спросил:

— Почему курица переходит дорогу?

Босток посмотрел на Стокса и сказал важно:

— Дурак!

— Сам дурак, — отвечал Стокс, любовно прислоняясь к плечу Бостока.

Джо и Моусон невольно обменялись быстрым взглядом, выражавшим презрение к этой паре: Стокс и Босток не умеют обращаться с деньгами, они хвастуны; такие долго не продержатся, не сегодня завтра вылетят в трубу. Джо был чрезвычайно польщен молчаливым единомыслием между ним и Моусоном, его уважение к себе возросло. Он испытывал теперь почти пренебрежение к Стоксу и Бостоку, чувствовал себя выше обоих. Он с видом превосходства посасывал сигару и холодно и насмешливо пыхтел, выпуская дым.

— Куда вы собираетесь, Джим? — любезно осведомился Стокс у Моусона.

Моусон вопросительно взглянул на Джо:

— Пойдем в «Каунти», я полагаю.

— Это и нам подходит, — сказал Босток. — Идем в клуб все вместе.

Джо и Моусон встали, и вся компания направилась к двери. Рассыльная, стоявшая у дверей, услужливо распахнула их перед четверкой торжествующих самцов, великолепно откормленных и одетых, перед этими хозяевами вселенной. Внушительное зрелище представляла их группа на ступенях Центральной гостиницы. Джо стоял немного позади, поправляя свое синее шелковое кашне.

Моусон интимно-дружеским тоном обратился к нему:

— Пойдем, Джо, — нас как раз четверо для партии в бильярд.

Джо с сожалением посмотрел на свои красивые платиновые часы в браслете.

— Нет, Джим, мне очень жаль, но я сегодня занят.

Босток заржал и погрозил жирным пальцем:

— Тут замешана юбка! Его ждет леди по фамилии Браун.

Джо покачал головой.

— Дела, — возразил он учтиво.

— Дела военного времени, — предположил Стокс, двусмысленно хихикая. — А такие дела требуют бдительности.

Они с завистью смотрели на Джо.

— Ну, тогда до свидания, — сказал Босток. — Веселой прогулки!

Моусон, Босток и Стокс направились в клуб. Джо посмотрел им вслед, потом сошел на тротуар и торопливо зашагал к тому месту, где оставил свой автомобиль. Он завел мотор и направился в Виртлей: он обещал Лауре заехать за ней в столовую.

Задумавшись, проезжал он улицы, по-воскресному тихие. Голова его была полна мыслей о проектах Моусона, о деньгах, сделках, гранатах, стали, а желудок полон вкусной пищи. Он с удовольствием подумал о том, что ожидает его сегодня. Улыбнулся самодовольной, плотоядной улыбкой. Лаура — молодчина, он ей кое-чем обязан. Она научила его множеству вещей — начиная с того, как завязывать новый галстук, и кончая тем, где найти ту маленькую отдельную квартирку, которую он занимал вот уже полгода. Лаура его обтесала. Ну что ж, раз ей нравится опекать его!.. Вот, например, благодаря ей он стал членом клуба «Каунти», и она же незаметно сумела устроить так, что его приглашают к себе и Говарды, и Теннингтоны, и даже супруга Джона Ратли. Лаура здорово втюрилась в него. (Усмешка Джо стала шире.) *Теперь* он отлично ее понимает! Он всегда был убежден, что знает женщин — и робких, и холодных (эти-то самые несложные из всех), и «притворщиц». Но никогда раньше он не встречал таких страстных женщин, как Лаура. Неудивительно, что она не устояла перед ним, — вернее, впрочем, перед своей страстью.

Когда он проскользнул в сквер за Виртлейским военным заводом (по причинам, вполне понятным, они обычно встречались здесь), Лаура уже вышла из-за угла и шла к нему. Ее пунктуальность понравилась Джо. Он приподнял шляпу и, не выходя из автомобиля, открыл дверцу. Лаура вошла, и Джо, не говоря ни слова, поехал по направлению к своей квартире.

Несколько минут оба молчали, как молчат люди, между которыми полная близость. Джо было приятно, что Лаура сидит рядом с ним. Она чертовски эффектная женщина. Этот темно-синий костюм особенно ей к лицу. Он чувствовал к ней сейчас то

же, что чувствует муж ко все еще любимой жене. Конечно, она теперь уже не возбуждала его так, как прежде, — уверенность в ее привязанности отнимала у вожделиний их прежнюю остроту.

— Где вы завтракали? — спросила она наконец.

— В Центральной, — ответил Джо небрежно. — А вы?

— Я съела в столовой бутерброд с ветчиной.

Джо снисходительно рассмеялся. Он знал, что к еде Лаура была равнодушна.

— Неужели вам еще не надоело ходить в эту столовую и кормить канареек? — сказал он.

— Нет. — Она помолчала. — Мне приятно думать, что во мне еще есть какие-то хорошие инстинкты.

Джо снова расхохотался и переменял разговор. Они говорили об обыкновенных вещах, пока не доехали до самого конца Северной дороги, где в уединенном тупичке, имевшем форму полу-месяца, в стороне от проезжей дороги, находилось жилище Джо. Это был, собственно, нижний этаж разделенного на две половины дома; в комнатах высокие потолки, камин, лепные украшения в стиле Адамса — и впечатление простора благодаря открытым садам впереди и позади дома. Лаура обставила для него квартиру с несомненным вкусом, — она была на это мастерица. Все было отлично налажено. По утрам приходила поденщица делать что нужно по хозяйству, а так как отсюда до Ерроу было целых пять миль, то они с Лаурой были здесь в полной безопасности и могли не бояться, что их связь откроется. Тем, кто видел, как Лаура приезжала и уезжала, давали очень ловко понять, что она — сестра Джо.

Джо отпер дверь своим ключом, и они вошли. В столовой он включил электрическую печку, сел и стал снимать ботинки. Лаура налила себе стакан молока и пила стоя, глядя Джо в спину.

— Выпейте виски с содовой, — предложила она.

— Нет, не хочется. — Он взял воскресную газету, лежавшую на столе, и отыскал биржевую хронику.

Лаура, допив молоко, некоторое время молча наблюдала за Джо. Потом от нечего делать походила по комнате, наводя всюду порядок и как будто ожидая, чтобы Джо заговорил, но, не дождавшись, прошла в смежную со столовой спальню Джо. Он слышал, как она, раздеваясь, ходила по спальне, и, опустив газету, слегка усмехнулся. Они с Лаурой каждое воскресенье после

завтрака ложились в постель — спокойно, степенно, как другие люди ходят по воскресеньям в церковь; но в последнее время желания Джо несколько поостыли, и ему доставляло удовольствие «дразнить» Лауру. Вот и теперь он заставил ее ждать целых полчаса, делая вид, что читает, пока наконец, откровенно зевая, не вошел в спальню. Лаура лежала на спине в его постели, в белой ночной сорочке, простой, но прекрасного материала и покроя. Волосы ее были аккуратно убраны, одежда аккуратно сложена на стуле, и в комнате стоял нежный запах ее духов, исходивший от нее, как призыв. Джо не мог не признать, что она «первоклассная» любовница. Неделию тому назад он немножко побаловался с одной девчонкой, работницей Виртлейского завода, проводил ее домой; девчонка славная, ничего не скажешь, и его прельстили краски рыжеватой блондинки после густой черноты Лауриных волос. Но дешевый шик ее ночного туалета, плохонькие простыни на постели вызвали в Джо отвращение. Да, несомненно, Лаура его воспитала! Очевидно, лучший способ научиться хорошим манерам — это спать с благовоспитанной женщиной.

Чувствуя, что Лаура смотрит на него, он не спеша раздевался, долго выкладывал на комод ключи, золотой портсигар, мелочь из карманов. Он даже постоял еще в нижнем белье, медленно пересчитывая деньги, и только после этого подошел и сел на край кровати.

— Вы что, решали, сколько мне заплатить? — спросила Лаура сдержанно.

Он громко захохотал, довольный, что может дать волю сдерживаемой до сих пор веселости.

— В самом деле, Джо, — продолжала Лаура с той же иронией. — Я как раз сейчас подумала о том, что до сих пор вы только получали от меня все. Портсигар, часы, запонки, разные маленькие подарки. Да еще пользовались моим автомобилем. Даже эту мебель вы сумели у меня вытянуть. Да, да, я знаю: вы все время *собираетесь* дать мне чек. А мне решительно наплевать, дадите вы мне его или нет. Смею думать — я не мелочна. Просто иногда меня интересует вопрос: понимаете ли вы, сколько я для вас сделала?

Джо, придя в отличное расположение духа, щупал свои мускулы.

— Что ж, — отозвался он, — вы делали потому, что вам так хотелось.

— Ах, вы вот как на это смотрите? — Она помолчала. — Как подумаю, с чего все началось... В то утро, когда вы приехали за квитанциями... Минута глупой слабости... А теперь вот что вышло!

— А! — Джо глупо осклабился. — Все равно это должно было случиться. Ведь ты же влюблена в меня, как кошка.

— Как ты мило выражаешься! Знаешь, Джо, я искренне уверена, что ты меня совсем не любишь. Ты просто меня использовал — использовал, как только мог, для своей карьеры.

— А разве и я тебе кое-чем не угождаю?

Молчание.

— Ты делаешь все, чтобы я себя возненавидела, — медленно сказала Лаура.

— Полно, Лаура, не говори таких вещей, — запротестовал Джо и, сбросив рубашку, скользнул в кровать и улегся рядом с нею.

Она испустила вздох, похожий на стон, словно сетуя на свою слабость, на свою страсть, и, повернувшись на бок, прильнула к нему.

Потом они спали около часу, но сон Джо был беспокоен. Ему всегда претило, что Лаура тянется к нему после того, как его желание уже утолено. Вначале он из тщеславия любил щеголять перед ней мужской силой, старался подчеркнуть контраст между своим могучим телом и заметной дряблостью Стэнли, но теперь ему это надоело: он вовсе не намерен ради ее удовольствия изводить себя. Когда Лаура открыла глаза и поглядела на него, он, приподняв голову с подушки, ответил слегка насмешливым взглядом.

— Ты меня больше не любишь, Джо?

— Ты знаешь, что люблю.

Она вздохнула и отвела глаза.

— О господи! — вырвалось у нее.

— Ну, в чем дело?

— Ни в чем. Ты, когда захочешь, бываешь невыносим. Иногда ты приводишь меня в ужасное состояние... Да, я сознаю, что поступаю отвратительно, но ничего не могу с собой поделать.

Джо все смотрел на нее с тем тайным внутренним смехом, который душил его сегодня весь день. Он дошел уже до такой изощренности, что ему доставляло удовольствие наблюдать смену чувств на лице Лауры; особенно любил он наблюдать это лицо в минуты страсти, гордясь своей властью над ней, своей спо-

способностью утишать эту внутреннюю бурю. Да, он «хозяин» Лауры, как он выражался про себя. Разумеется, он еще любит ее, но не мешает, чтобы она иногда чувствовала свою зависимость. И сейчас, заметив в ней прилив страсти, он напустил на себя шутовскую небрежность.

— Я думаю, пора нам чай пить, — сказал он. — У меня все внутри пересохло.

Уже рот его растягивался в улыбку, как вдруг зазвонил телефон. Все еще улыбаясь, Джо перегнулся через Лауру и взял трубку.

— Алло! Да, говорит мистер Гоулен. Да, это я, Морган. Да... Не знаю... нет, понятия не имею... Что?! — Голос Джо слегка изменился, он сделал долгую паузу. — Неужели? Боже милосердный, да не может быть! Получена в конторе? Вот как? Хорошо, Морган... Да, разумеется... Сейчас приеду. Да, приеду сам.

Джо повесил трубку, медленно сел. Наступило молчание.

— Что случилось? — спросила Лаура.

— Видишь ли... — Джо прочистил горло. — Видишь ли...

— Да ну же, говори!

Он медлил, теребя край простыни.

— В конторе только что получена телеграмма...

Лаура тоже села в постели. Вдруг она сказала:

— Это о Стэнли?

— Пустяки, — заторопился Джо. — С ним все благополучно. Простая контузия.

— Контузия! — повторила Лаура. Губы у нее стали совсем белые.

— Да, вот и все, — отвечал Джо. — Ничего больше.

Лаура прижала руку ко лбу.

— О господи! — промолвила она упавшим голосом. — Я знала, что случится что-нибудь такое. Знала. Знала!..

— Но это пустяки, — твердил Джо. — Не огорчайся. У него нет ни царапины. Его только засыпало после взрыва, и он отпущен домой на поправку. Он даже не ранен. Я же тебе говорю — это пустяки! — Он пытался взять Лауру за руку, но она ее отдернула.

— Не трогайте меня! — Она заплакала. — Оставьте меня!

— Но он даже не ранен...

Лаура порывисто отвернулась от него, вскочила с постели и, всхлипывая, сняла сорочку. Склонив обнаженное белое тело

над стулом, она порылась в своих вещах и стала торопливо одеваться.

— Ну, Лаура... — сказал тоном увещания Джо. Он в первый раз видел ее плачущей.

— Молчите! — крикнула она. — Чем меньше вы будете говорить, тем лучше. Я не знаю, что вы со мной сделали! Вы довели меня до того, что я себя презираю. А теперь Стэнли... О боже!..

Она накинула жакетку, схватила шляпу и, не надев ее, в слезах выбежала из комнаты.

Джо с минуту еще лежал, опираясь на локоть, затем пожал голыми плечами, потянулся к столику у кровати, зевнул и закурил папиросу.

XIV

Была весна 1916 года. Уже почти четырнадцать месяцев прошло с тех пор, как Хильда и Грэйс приехали в Лондон работать в лазарете, и никогда еще Хильда не чувствовала себя такой счастливой, как теперь. Тревожная перемена в характере отца, все мучительные отголоски несчастья в «Нептуне», мрачная история Артура, о которой сообщала в своих скорбных письмах тетя Кэри, — все это мало ее трогало. Когда Грэйс пришла к ней в слезах: «Хильда, мы должны как-нибудь помочь Артуру! Не можем же мы сидеть здесь и мириться с этим!» — Хильда отрезала: «А что мы можем сделать? Ровно ничего — только не вмешиваться в такие дела». И при всякой попытке Грэйс вернуться к этой теме Хильда все так же грубо обрывала ее.

Дом лорда Келла находился на Бельгрев-сквер и представлял собой большой особняк, из которого убрали все, за исключением прекрасных хрустальных люстр, нескольких картин и гобеленов, превратив его в лазарет, для которого дом был великолепно приспособлен. Шесть комнат громадных размеров, каждая величиной в средний бальный зал, с высокими потолками и паркетом из полированного дуба, были отведены под палаты. Просторную оранжерею в конце дома преобразили в операционную. И здесь-то Хильда переживала счастливейшие минуты своей жизни.

В доме на Бельгрев-сквер Хильда делала замечательные успехи: через полгода она знала свое дело не хуже любой сестры ми-

лосердия с трехлетним стажем. Мисс Гиббс, старшая сестра, уже отметила Хильду как нечто из ряда вон выходящее. Мисс Гиббс хвалила Хильду и перевела ее в операционную. Здесь Хильда нашла применение своим талантам. Хмурая, замкнутая, педантичная, она выполняла свои обязанности в операционной с неукоснительной и непогрешимой аккуратностью. В свободное время она усердно училась. Но не этим объяснялось совершенство ее работы, а природной интуицией и темпераментом. Стоило посмотреть на Хильду, чтобы убедиться, что она не способна сделать какой-нибудь грубый промах. В первую неделю ее работы в операционной мистер Несс несколько раз останавливался на Хильде свой быстрый и пронизательный взгляд, когда она угадывала его распоряжения раньше, чем он успевал отдать их.

Несс — старший врач, низенький рыжеватый мужчина — был груб и неприятно потел во время работы, но в области хирургии брюшной полости он творил чудеса. Через некоторое время он, как будто мимоходом, сказал мисс Гиббс, что Хильда скоро может оказаться для него очень полезной помощницей в операционной.

Когда Хильде рассказали о том, что Несс заинтересовался ею, она не выказала никакого волнения. «Высочайшая честь» (как напыщенно выражалась мисс Гиббс) ничуть не тронула Хильду. Она испытала лишь легкий трепет внутреннего удовлетворения, быстро ею подавленный, и спокойствие ни на минуту ей не изменило. Успех укрепил давнишнее решение Хильды и поставил перед ней более высокую цель. Когда она стояла подле Несса, наблюдая, как он делает разрезы, накладывает швы или перевязывает сосуды, она думала не о том времени, когда в качестве операционной сестры будет ему уже настоящей помощницей, — нет, она смотрела, как Несс оперирует, и сосредоточенно представляла себе тот день, когда она сама начнет делать операции. В этом и заключалась заветная мечта Хильды: ей всегда хотелось стать врачом-хирургом. Всегда. Немного поздно, пожалуй, начинать, но ведь она еще молода, ей только двадцать пять лет. Со времени чудесного освобождения из домашнего плена Хильда дала себе клятву ни перед чем не останавливаться на пути к этой цели. И она чувствовала себя счастливой — у нее есть будущее, есть работа и есть Грэйс.

Грэйс не могла похвастать такими блестящими успехами, как Хильда. О нет, Грэйс решительно ничем не блистала. Неряшли-

вая, беспечная, бедняжка Грэйс не обладала ни одним из качеств, необходимых для того, чтобы выдвинуться. В то время как Хильда ракетой взвилась в головокружительную высь операционной, Грэйс продолжала внизу скрести полы и мыть тазы. Грэйс на это не обижалась, она ничуть не унывала. Мисс Гиббс вызывала ее дважды по поводу того, что она угощала чаем на кухне жен раненых, а раз из-за того, что она тайком передала папиросы сержанту, обругавшему одну из сестер лазарета и за это посаженному под арест. Грэйс, решительно заявляла мисс Гиббс, ни к чему не способна, безнадежна, из Грэйс никогда ничего не выйдет, если она не изменит своего поведения.

Но «поведение» Грэйс вытекало из ее натуры, и никто, кроме мисс Гиббс и Хильды, по-видимому, не хотел, чтобы Грэйс это поведение изменила. Она была любимицей всех сестер. В их общезжитии на Слоун-стрит, находившемся на расстоянии четверти мили от лазарета, в тесную комнатку Грэйс, где всегда царил беспорядок, каждую минуту забегал кто-нибудь, чтобы попросить или предложить папиросу, или номер «Зрителя», или граммофонную пластинку, или плитку одного из тех суррогатов, что выпускались во время войны под названием «шоколад», или чтобы пригласить Грэйс к чаю, в кино, на свидание с каким-нибудь братом, приехавшим домой в отпуск.

Хильда всего этого терпеть не могла. К Хильде в ее пуритански-опрятную комнату не заходил никто, да она и не хотела никого у себя видеть, никого, кроме Грэйс. Грэйс Хильде была нужна, она хотела владеть ею нераздельно, всем ее сердцем. Она замораживала посетителей Грэйс и разрушала все ее дружеские связи.

— Для чего, — заметила она презрительно как-то утром в конце марта, — для чего, не понимаю, ты водишься с этой Монгомери?

— Старая Монти — человек неплохой, Хильда, — оправдывалась Грэйс. — Мы с ней только ходили к Кардома.

— Она невозможная особа! — ревниво объявила Хильда. — В следующий свободный день ты пойдешь куда-нибудь *со мной*. Я это устрою.

Хильда «устраивала» множество вещей для Грэйс и в своей собственнической любви к сестре продолжала ею командовать. А Грэйс, как всегда кроткая и простодушная, весело покорялась.

Но в одном Грэйс не хотела уступать Хильде — в вопросе о письмах. Она не убеждала Хильду, не противоречила ей, — она просто отказывалась подчиниться. И письма эти огорчали Хильду до смерти. Каждую неделю, а иногда и два раза в неделю приходили письма из Франции со штемпелем «Действующая армия» и с одним и тем же почерком на конверте, мужским почерком. Хильде было ясно, что Грэйс усиленно переписывается с кем-то на фронте, и в конце концов она не выдержала. В один апрельский вечер, возвращаясь вместе с Грэйс домой по темным улицам, Хильда сказала:

— Сегодня ты опять получила письмо из Франции?

Упорно глядя на мостовую, Грэйс ответила:

— Да.

Хильда была расстроена и потому держала себя холоднее и заносчивее обычного.

— Кто же это тебе пишет?

Грэйс сперва не отвечала. Она мгновенно покраснела в темноте. Потом ответила (Грэйс не умела вывертываться и хитрить):

— Это Дэн Тисдэйл.

— Дэн Тисдэйл! — Хильда была явно шокирована, в голосе ее слышалось презрение. — Ты имеешь в виду сына булочника Тисдэйла?

— Да, — просто подтвердила Грэйс.

— Силы небесные! — вспылила Хильда. — Ты это серьезно?.. В жизни не слышала ничего более тошнотворно-идиотского!

— Почему это идиотство?

— Почему? — фыркнула Хильда. — Почему? Неужели ты не находишь для себя унизительным заводить роман с каким-то неотесанным парнем из булочной?

Теперь Грэйс была очень бледна, а голос ее как-то особенно ровен.

— Ты умеешь говорить неприятные вещи, Хильда, — сказала она. — Но дружбы с Дэном Тисдэйлом нечего стыдиться. Таких милых писем, какие он пишет мне, я ни от кого в жизни еще не получала. Я не нахожу в этом для себя ничего унизительного.

— Ты-то не находишь, — язвительно возразила Хильда, — да я нахожу. И я не допущу, чтобы ты вела себя как влюбленная школьница. Уже и так слишком много глупых женщин пожертвовали собой ради разных «героев войны». До чего это противно! Тебе придется прекратить переписку.

Грэйс покачала головой:

— Извини, я этого не сделаю.

— Ты должна это сделать, говорю тебе!

Грэйс вторично покачала головой:

— Нет, не сделаю.

Слезы стояли в ее глазах, но в голосе звучала какая-то новая решительность, которая укротила ярость Хильды и самым настоящим образом испугала ее.

В этот вечер Хильда ничего больше не сказала. Но она заняла новую позицию, пытаясь сломить упорство Грэйс: она выказывала по отношению к Грэйс ледяную холодность, говорила с ней резко, с каким-то гневным презрением, не замечала ее. Это продолжалось целых две недели... а письма все приходили.

Затем Хильда под влиянием тайного страха вдруг переменила тактику: она стала очень приветлива, извинялась перед Грэйс, ласкала и всячески ублажала ее, водила к Кардома, в любимое кафе сестер, и там угощала за чаем всем, что только можно было достать за деньги или благодаря знакомству Хильды с хозяйкой. Целую неделю Хильда баловала Грэйс, а та принимала это так же покорно, как раньше попреки. Потом Хильда снова сделала попытку убедить Грэйс, чтобы она прекратила переписку с Дэном. Но тщетно — Грэйс не соглашалась.

Хильда следила за этими без конца приходившими письмами: ежедневно рано утром она сходилла вниз и с ненавистью отыскивала их на полочке, где раскладывалась почта. Но вот в одно июньское утро она с дрожью увидела на только что прибывшем письме штемпель «Лофборо».

Она остановила Грэйс после завтрака и спросила сдержанно:

— Что, он ранен?

— Да. — Грэйс не смотрела на нее.

— Тяжело?

— Нет.

— В лазарете?

— Да.

Хильда почувствовала тайное облегчение, у нее камень с души свалился: Лофборо далеко от Лондона, очень далеко. Раз рана не тяжелая, Дэна скоро отправят обратно во Францию. Но она скривила губы и сказала язвительно:

— А следовало бы, чтобы его привезли именно сюда. Так ведь полагается обычно в грошовых романах.

Грэйс торопливо отвернулась. Но, раньше чем она успела уйти, Хильда прибавила:

— Так мило было бы, если бы он, проснувшись после хлороформа, увидел у своей кровати тебя, готовую заключить его в объятия!

Дрожь в голосе Хильды выдавала, как мучительно ей было говорить это — да, страшно мучительно. Но она не могла сдержать себя. Она сгорала от ревности.

Грэйс ничего не ответила. Она ушла в палату с письмом Дэна в кармане халата. Во время дежурства она читала его несколько раз.

Дэн участвовал в большом сражении на Сомме и был ранен в левую руку у локтя и у кисти. Он писал, что рана почти сразу стала заживать и рука ничуть не болит, но все дело в том, что он не владеет ею.

В конце июля письма Дэна стали приходиться нерегулярно, и однажды вечером (это было в последний день июля) Грэйс, возвращаясь домой по Слоун-стрит, увидела, что как раз напротив их общежития стоит какой-то военный с рукой на перевязи. Она была одна и шла довольно медленно, утомленная, опечаленная мыслями об Артуре и о переменах дома, в Слискейле. Сегодня как-то сразу все представилось ей в мрачном свете. Мисс Гиббс опять прочла ей нотацию за неряшливость. А главное — она была удручена отсутствием писем от Дэна: просто удивительно, как нужны стали ей эти письма! При виде мужчины в военном она остановилась, все еще не совсем веря глазам. Но вдруг поверила. Сердце у нее так и запрыгало. Это был Дэн. Он перешел через улицу и поклонился ей.

— Дэн! А я думала... Да, я так и подумала, что это вы.

Радость, проснувшаяся в ней при виде Дэна, светилась на ее лице. Она уже не чувствовала усталости, забыла и о ней, и о своей печали.

Они застенчиво, не говоря ни слова, пожали друг другу руки. Дэн до болезненности робел перед Грэйс, он, казалось, боялся взглянуть на нее. Грэйс никогда еще не видела, чтобы кто-нибудь робел перед нею, и это казалось ей таким смешным, что ей захотелось и смеяться, и одновременно плакать. Торопливо, чтобы помешать себе сделать эту глупость, она сказала:

— Вы здесь ждали меня, Дэн? Не заходили в дом?

— Нет, не хотел вас беспокоить. Я подумал, что смогу задержать вас на минутку, когда вы будете проходить.

— На минутку! — Она опять улыбнулась и вдруг остановила взгляд на раненой руке Дэна: — Как ваша рука?

— Врачам пришлось повозиться с кистью... из-за сухожилий, знаете ли. Меня направили сюда для ортопедического лечения в клинике Ленгхема. Электричеством и каким-то новым гимнастическим аппаратом. Потребуется полтора месяца лечения, прежде чем я смогу вернуться на фронт.

— Полтора месяца!

Ее радостное восклицание немного ободрило Дэна. Он сказал с замешательством:

— Я подумал, что вы... что вы, может быть, не откажетесь... если у вас нет ничего более интересного...

— Нет, — сказала она с некоторой стремительностью, — не откажусь. И у меня нет ничего более интересного. — Она помолчала, глядя на него блестящими глазами; волосы у нее смешно торчали из-под шапочки сестры милосердия, одна щека была заметно испачкана сажей. — Завтра у меня два часа свободных. Пойдем куда-нибудь пить чай?

Дэн засмеялся, все еще не поднимая глаз:

— Об этом-то я и хотел просить вас.

— Я знаю, знаю: это неприлично, что я сама себя приглашаю, — болтала без умолку Грэйс. — Но, Дэн, я так рада, что слов не нахожу! За полтора месяца мы можем обойти сотню мест!

Она вдруг осеклась:

— Но, может быть, вы переписывались и с какой-нибудь другой девушкой и теперь захотите проводить время с ней?

Дэн с таким огорчением посмотрел на нее, что пришла очередь Грэйс смеяться. И она радостно засмеялась. Как приятно снова увидеть Дэна! Дэн всегда был чудесный товарищ, еще с тех дней, когда он катал ее в фургоне по Аллее и позволял выбирать в его корзине самую лучшую булочку с кремом. Тот же Дэн делал ей свистки из ивовых прутьев, и показывал гнездо короля в роще, и привозил ей с фермы Эвори венки из колосьев... И несмотря на мундир младшего лейтенанта и руку на перевязи, Дэн ничуть не изменился, был все тем же Дэном ее радостного детства. Полагалось ему вернуться с фронта «совершенно преобразившимся и внутренне и внешне», решительным и властным. Но Дэн,

как и она, никогда не переменится. Он все тот же застенчивый, скромный Дэн. Грэйс и в голову не приходило, что она влюблена в Дэна, но она чувствовала, что с тех пор, как уехала из дому, никогда еще не была так счастлива, как сейчас. Она подала Дэну руку, прощаясь с ним:

— Завтра в три, Дэн. Ждите меня на улице. И не подходите слишком близко, иначе Мэри-Джен уволят из-за вас.

Она взбежала по лестнице раньше, чем Дэн успел что-нибудь сказать.

На следующий день они встретились в три часа и отправились пить чай в новую кондитерскую Гарриса на Оксфорд-стрит. Они не могли наговориться. Дэн, победив свою застенчивость, оказался интереснейшим собеседником, — так, во всяком случае, думала Грэйс. Он со своей стороны заставлял ее рассказывать, жадно слушал все, что она говорила, — и это было для Грэйс так непривычно и так приятно. Осмелев, она рассказала ему о своей тревоге за Артура и отца. Дэн выслушал ее молча и сочувственно.

— Дома неблагоприятно со времени того наводнения в шахте, — заключила она, и глаза ее приняли грустное и серьезное выражение. — Даже трудно поверить, что это тот самый наш старейший дом. Мне и думать тяжело, что я туда вернусь.

Он кивнул головой:

— Понимаю, Грэйс.

Грэйс задумчиво посмотрела на него:

— Вы тоже не вернетесь в «Нептун», не правда ли, Дэн? Мне не будет покоя, если вы вернетесь в эту ужасную шахту!

— Нет, — отвечал Дэн. — Пожалуй, хватит с меня. Понимаете, у меня было время обдумать все. По правде сказать, у меня никогда душа не лежала к этой работе. Но не стоит повторяться, об этом уже много раз говорено... Виновато и несчастье в шахте, и все остальное. — Он помолчал. — Если я вернусь живым с фронта, я хочу стать фермером.

— Это хорошо, Дэн, — сказала она.

Они продолжили разговаривать, и говорили так долго, что кельнерша два раза подходила к ним и надменно осведомлялась, не подать ли им еще чего-нибудь.

Потом они погуляли в парке и не заметили, как прошло время до пяти часов. Перед общежитием сестер Грэйс остановилась и сказала:

— Если я вам не очень надоела, Дэн, то, может быть, мы как-нибудь снова погуляем вместе?

Они стали часто гулять вдвоем: ходили вместе в самые неожиданные места и наслаждались — ах, как наслаждались! Гуляли по набережной Челси, ездили на пароходике до Путнея, омнибусом в Ричмонд; открывали забавные маленькие кофейни, заказывали макароны и minestrone в Сохо — и все это было, может быть, и банально, но упоительно, все это переживалось людьми миллионы раз, но Дэном и Грэйс — впервые.

Однажды вечером, возвращаясь с прогулки в Кенсингтонском парке, они у общежития столкнулись лицом к лицу с Хильдой. Хильде было известно об экскурсиях Грэйс и Дэна, и Хильда, хотя горела желанием высказаться, хранила холодное и язвительное молчание. Но сегодня она остановилась, с ледяной усмешкой посмотрела на Дэна и сказала:

— Добрый вечер!

Это походило на пощечину. Дэн ответил:

— Добрый вечер, мисс Баррас.

Постояли молча. Потом Хильда сказала:

— Вы, по-видимому, берете от войны все, что можете, мистер Тисдэйл!

Грэйс воскликнула запальчиво:

— Дэн ранен. Не это ли ты имеешь в виду?

— Нет, — возразила Хильда все тем же нестерпимо снисходительным тоном. — Совсе не это.

Дэн покраснел. Он смотрел Хильде прямо в глаза. Наступило неприятное молчание, пока Хильда не заговорила снова:

— Мы вздохнем с таким облегчением, когда эта война окончится. Тогда каждый вернется на свое место.

В смысле этих слов нельзя было ошибиться. У Дэна был очень несчастный вид. Он торопливо простился, не глядя на Грэйс, и ушел.

Войдя в дом, Хильда с презрительной миной обратилась к Грэйс:

— Помнишь, Грэйс, как мы в детстве играли в «счастливое семейство»? «Мистер Пирожок, пекаря сынок!..» — И с застывшей на губах холодной и злой усмешкой она не спеша стала подниматься по лестнице.

Но Грэйс догнала ее и яростно схватила за плечо:

— Если ты когда-нибудь еще раз посмеешь говорить так со мной или с Дэном, — сказала она задыхаясь, — я ничего общего с тобой больше иметь не буду, пока я жива!

Глаза сестер встретились в долгом и гневном взгляде. И Хильда первая опустила свои.

Следующую прогулку Дэн и Грэйс устроили в четверг, на последней неделе отпуска Дэна. Это свидание должно было быть прощальным. Рука Дэна зажила, он уже снял повязку, и в понедельник ему предстояло ехать в свой батальон.

Они отправились в Кью-гарденс. Дэну очень хотелось увидеть этот парк. Он обожал сады, и поэтому прогулку в Кью они приберегли к концу. Но прогулка не обещала быть особенно удачной: день был серый и грозил дождем. Обоих, и Грэйс и Дэна, расстроила Хильда. Дэн был молчалив, Грэйс — печальна, очень печальна. Теперь у нее не было никаких сомнений в том, что она любит Дэна; ее убивала мысль, что Дэн уезжает обратно во Францию, не узнав о ее любви к нему. Разумеется, он ее не любит: он видит в ней просто друга. Да и может ли хоть один человек на свете полюбить такую, как она? Она глупая, ветреная, неряха и даже некрасива. Невыносимая боль сжимала ей сердце, и она молча шла рядом с также молчавшим Дэном.

Они подошли посмотреть на водяных птиц, плававших на озерке под самой рощей, где трава была усеяна колокольчиками. Утки были очень красивы, и Дэн похвалил их, потом прибавил уныло:

— Если у меня когда-нибудь будет ферма, разведу таких уток, как эти.

— Да, Дэн. — Грэйс больше не находила, что сказать.

Оба печальные, растерянные, они стояли рядом у самой воды, любуясь ярким оперением птиц. Неожиданно пошел дождь, настоящий ливень.

— О боже! — вскрикнула Грэйс.

— Бежим скорее! — сказал Дэн. — Сейчас польет как из ведра.

Они бросились искать убежища — побежали в оранжерею, где выращивались орхидеи. В другое время это бегство от дождя вызвало бы много смеха, но сегодня их и это не развеселило. Ничто не могло их развеселить.

На Грэйс была синяя форменная жакетка. Дэн же был без пальто, и его куртка промокла насквозь. Когда они очутились уже в оранжеере и отдышались, Грэйс повернулась к Дэну. Она озабоченно наморщила лоб:

— Ваша куртка вся промокла, Дэн.

Она огляделась — они были совершенно одни.

— Не можете же вы оставаться в ней! Давайте, я ее высушу на трубах.

Дэн открыл было рот, чтобы отказаться, но закрыл его снова, не говоря ни слова, стащил куртку и протянул ее Грэйс. Он всегда слушался Грэйс, послушался и на этот раз. В то время как Грэйс брала куртку, с другой стороны оранжереи вошел старик-садовник (он видел, как они бежали сюда, спасаясь от дождя), кивнул головой Дэну и улыбнулся Грэйс:

— Идите сюда сушить, сестрица, здесь трубы горячее.

Грэйс поблагодарила старика и пошла за ним к небольшой нише, где находилась батарея. Она встряхнула куртку Дэна и, вывернув наизнанку, растянула ее на горячих трубах; затем поглядела на себя в квадратное зеркальце, повешенное садовником над трубами: волосы у нее растрепались от ветра и еще больше обычного придавали ей неаккуратный вид. «Боже! — подумала она в отчаянии. — Настоящее пугало! Неудивительно, если Дэну противно на меня смотреть».

Она дожидалась, пока высохнет куртка Дэна, и из вежливости рассеянно слушала болтовню словоохотливого старого садовника, который все время то входил, то выходил и не переставал говорить — больше всего о том, как трудно теперь доставать топливо. Когда куртка высохла, Грэйс отнесла ее Дэну. Дэн у дверей смотрел на дождь. Он обернулся и сказал жалобно:

— Конец недели будет дождливый.

— Да, похоже на то. — И она распрявила на протянутых руках куртку, чтобы помочь Дэну надеть ее.

Дэн пугливо посмотрел на Грэйс, стоявшую перед ним как бы с раскрытыми объятиями, печальную, с взметенными ветром волосами. Он смотрел, смотрел, и вдруг что-то похожее на стон вырвалось у него.

— Я люблю вас, Грэйс, люблю! — вскрикнул он. И они очутились в объятиях друг у друга.

Куртка валялась на земле. У Грэйс бешено колотилось сердце от счастья.

— Ох, Дэн, — шепнула она.

— Я должен был сказать тебе, Грэйс, должен, должен был, я не мог... — твердил он, как будто оправдываясь.

Сердце ее колотилось как безумное, безумное от счастья, глаза были полны слез. Но теперь она ощущала в себе спокойствие и силу.

— Ты в самом деле меня любишь, Дэн?

— Грэйс!..

Она подняла к нему глаза:

— Когда ты уезжаешь, Дэн?

Пауза.

— В понедельник.

— А сегодня какой день?

— Сегодня четверг, Грэйс.

Она спокойно смотрела на него:

— Давай обвенчаемся в субботу, Дэн.

Дэн побелел как бумага. Он смотрел вниз, на Грэйс, и вся его душа перешла в этот взгляд.

— Грэйс! — сказал он шепотом.

— Дэн!

Старый садовник, с любопытством подглядывавший за ними из-за орхидей, совершенно забыл об угольном кризисе, и с ним чуть не сделался сердечный припадок.

Они обвенчались в субботу. Грэйс отвоевала у мисс Гиббс отпуск на два дня. Это был их медовый месяц. Они его провели в Брайтоне. Как и предсказывал Дэн, конец недели был дождливый, но Грэйс и Дэну было все равно.

XV

В конце одного августовского дня клеть медленно поднялась из «Парадиза», и из нее на площадку перед входом в шахту вышел Баррас в сопровождении Армстронга и Гудспета. На Баррасе был костюм шахтера: темная норфолкская куртка и такие же брюки, круглая кожаная шапка, в руке толстая палка. Некоторое время он стоял перед конторой и разговаривал с Армстронгом

и Гудспетом, сознавая, что на него смотрят рабочие, — как актер, выступающий в большой роли.

— Пожалуй, — говорил он, как бы раздумывая, — вам следует сообщить в редакции газет. «Аргусу» во всяком случае. Им это будет интересно.

— Конечно, мистер Баррас, — сказал Армстронг. — Обязательно позвоню им завтра.

— Сообщите им все подробности относительно предполагаемой стоимости нового рельсового пути.

— Слушаю, сэр.

— И кстати, Армстронг, вы можете объяснить им, что на этот шаг я решился главным образом из патриотических побуждений. Раз мы снова начинаем работу в «Парадизе», мы удвоим добычу угля.

Кивнув на прощание, Баррас направился к воротам; понимая, что рабочий костюм шахтера придает ему скромное достоинство, он в таком виде пошел через весь город к себе в «Холм». Через каждые несколько шагов ему приходилось поднимать руку к шапке, отвечая на приветствия и почтительные поклоны. Он стал невероятно популярен. Его патриотическая деятельность приняла громадные размеры. Заключение Артура в тюрьму странным образом подстегнуло его энергию. Сперва этот сомнительный результат его методов воздействия привел его в смятение, но, всецело занятый рядом спешных дел, он гнал от себя тревожащий образ сына, страдавшего в тюрьме. Он занял обдуманную позицию: не только не скрывал того, что Артур в тюрьме, но искал случая упоминать об этом публично с таким благородным прискорбием.

Все находили, что Баррас вел себя замечательно. Об этом случае много писали в газетах: «Аргус» поместил заметку в два столбца под заголовком «Отец-спартанец», «Воскресное эхо» — статью «Шапки долой перед патриотом». Дело это произвело потрясающую сенсацию не только в Слискейле, но и в Тайнкасле. Баррас шествовал в ореоле ослепительной славы, и это было ему далеко не неприятно. Несколько раз, обедая с Гетти в Центральной, он замечал, что является предметом всеобщего внимания, и не мог скрыть своего удовольствия. Он теперь много бывал на людях, греясь в лучах своей популярности. Весь во власти этих новых настроений, он изменил весь строй своей жизни. Вначале

он делал это из инстинкта самосохранения, теперь — сознательно. У него не бывало минут тайного раздумья, проверки себя. Некогда, некогда! Он, запыхавшись, бросал слова на ходу, через плечо, и спешил, спешил куда-то. Он был весь поглощен внешним миром, все больше входил в свою роль общественного деятеля, его тешили только яркий свет, шум, приветственные клики и толпа вокруг.

В трибунале он удвоил рвение. Когда Баррас заседал тут в роли вершителя судеб, то даже в самых бесспорных случаях уже нечего было надеяться на освобождение от призыва. Нетерпеливо барабанил пальцами по столу, он делал вид, что беспристрастно выслушивает бессвязные доводы и взволнованные протесты. На самом же деле он ни во что не вдумывался, его решение бывало принято заранее: никому никакого освобождения.

С течением времени, когда его усердие начало слабеть, он стал ускорять процедуру суда и, пропуская дела одно за другим, гордился тем, что их так много рассмотрено на заседании. После такого удачного дня он возвращался вечером домой с чувством удовлетворения и сознанием, что заслужил одобрение своих сограждан.

А в этот вечер, когда он шел с рудника домой по Каупен-стрит, лицо его еще больше обычного сияло самодовольством. Это чувство было вызвано принятым сегодня решением о прокладке новой дороги в «Нептуне». Много месяцев его удручало то, что доступ в «Парадиз» прегражден обвалом, но он не мог решиться на большие затраты, которых требовало проведение нового штрека через подмытую водой твердую породу. Наконец теперь, представив куда следует свои веские соображения, он получил разрешение отнести расходы по прокладке дороги в «Парадиз» за счет будущих поставок государству угля из «Парадиза». Новая дорога была оплачена еще до ее прокладки. Ничто не могло помешать увлекательному процессу накопления «прибылей военного времени». Цена на тонну угля поднялась еще на десять шиллингов, и Баррас быстро богател. В глубине души он упивался сознанием своего богатства, это сознание поддерживало его, как наркотик.

Он не был скуп, он просто знал цену деньгам. Он любил тратить их, — его, как ребенка, тешила мысль, что истратит пять фунтов для него, все равно что истратит пять пенсов. И то возбуждение, в котором он теперь постоянно находился, вызывало

потребность в мелких тратах, чтобы жизнь, открывшая ему столько возможностей, не прошла буднично, без всяких событий. У него появилась страсть приобретать. В «Холме» уже произошли разительные перемены: новая мебель, ковры, новый граммофон, автомобиль, роскошные новые кресла, специальный аппарат для смягчения питьевой воды, электрическая пианола, заменившая старый американский орган. Знаменательно, что картин он больше не покупал. Это он делал только в те времена, когда тратил деньги осмотрительнее. Правда, его и сейчас еще тешило сознание, что он владеет «сокровищами искусства», и он частенько повторял с довольным видом: «Мои картины — целое состояние», но в годы войны он своей коллекции не умножал. Теперь его привлекало больше все вычурное, вкусы его стали примитивнее и неустойчивее. Он покупал под влиянием прихоти; у него появилась настоящая страсть к выгодным покупкам «по случаю». Он стал постоянным посетителем тайнкальского Пассажа, где было множество лавок антикваров и старьевщиков, и из этих экспедиций всегда возвращался домой с триумфом, привозя какую-нибудь попку.

Подарки, которые он делал Гетти, были в таком же роде. Это были не прежние простые знаки отцовской привязанности, не конфеты, духи или перевязанная лентами коробка носовых платков, а подношения совсем иного сорта.

Думая о Гетти, Баррас самодовольно усмехался. Почти незаметно он привык смотреть на Гетти как на нормальное развлечение после тяжких трудов. Гетти ему всегда нравилась. Еще в те далекие времена, когда она, двенадцатилетняя девочка, садилась к нему на колени и просила «прозрачную тянучку» — так она называла пастилки, которые он всегда носил в жилетном кармане, — он испытывал к ней странное влечение. Он вдыхал исходивший от нее запах мыла и свежей, хорошо вымытой кожи и думал о том, что из Гетти выйдет славная жена для Артура. Но теперь, после позорного поведения Артура, все изменилось. Перемена произошла в то воскресенье, в столовой «Холма», когда Гетти, зарыдав, позволила Баррасу утешать себя. С этой минуты Баррас принялся «искупать» прегрешения Артура. Предлогом служило сострадание к Гетти: нужно было загладить обиду, утешить Гетти, а когда произошла окончательная катастрофа — заключение Артура в тюрьму, — отвлечь ее мысли. Все это отвечало на-

строению Барраса и увлекало его тем сильнее, чем больше возрастало это новое, постоянно подхлестывавшее его возбуждение. Он стал заметно франтить, переменял портного, носил шелковые галстуки и носки; у него вошло в обыкновение заезжать к Стэрроксу на Грэйнджер-стрит — делать себе массаж лица и электризацию головы для укрепления волос.

Мало-помалу он стал приглашать Гетти в театры и рестораны уже с некоторой нарочитой мужской галантностью. Сегодня вечером он хотел повезти ее в Королевский театр посмотреть новое обозрение «Зигзаг».

От предвкушения этого у Барраса сердце прыгало, когда он шел по дорожке к дому и входил в переднюю. Он поднялся наверх, принял ванну, вытянувшись во весь рост в горячей воде, от которой шел пар, затем тщательно оделся и сошел вниз, чтобы выбрать себе цветок в петлицу.

В оранжерее он встретил тетушку Кэрри, которая только что кончила растирать Гарриет спину и шла в огород нарезать спаржи. С тех пор как началась война, огород стал предметом особых забот тетушки Кэрри. Она распространила свою деятельность также на разведение кур и уток, так что, когда были введены для всех «постные» дни и нормировка продуктов, когда множество людей часами простаивало в очередях за несколькими фунтами картошки, или кусочком мяса, или четвертью фунта маргарина, стол «дорогого Ричарда» всегда изобиловал превосходной пищей.

При входе Ричарда тетушка Кэрри подняла глаза и шепнула:

— У вас сегодня был трудный день, Ричард.

Он посмотрел на нее милостивее обычного:

— Я решил провести новую дорогу в «Парадиз», Кэролайн.

— О Ричард! — Его милостивая откровенность привела тетушку в трепет. — Как это хорошо!

— Теперь можно будет извлечь из шахты тех десять человек, — сказал он серьезно. — Это-то меня и радует, Кэролайн.

— Да, понимаю, Ричард.

— Необходимо будет устроить торжественные похороны. Надо почтить их память.

Тетя Кэрри утвердительно наклонила голову. Она направилась к двери:

— Я хочу нарезать для вас спаржи к обеду. Это первая в нынешнем сезоне.

Она напряженно ожидала: Ричард всегда хвалил ее за отличную спаржу.

Он кивнул головой:

— Да, кстати, оставьте сегодня в столовой несколько сэндвичей, Кэролайн. Возможно, что я вернусь поздно. Я еду с Гетти в театр.

Тетя Кэрри покраснела, и ее сердце под вылинявшей шелковой блузкой покатилося вниз, прямо в старые, рваные садовые башмаки. Она ответила дрожащим голосом:

— Хорошо, Ричард, — и вышла в сад.

Она резала спаржу, а на душе у нее было тревожно. В довершение «несчастья с Артуром» (это было совершенно в духе тетушки — смягчить таким двусмысленным выражением арест Артура) ее ужасно волновали отношения между Гетти и Ричардом. Разумеется, Ричард был вне подозрений. Но в Гетти тетушка Кэрри была теперь не слишком уверена; все эти подарки в последнее время вызывали у нее опасения. Временами тетя Кэрри почти ненавидела Гетти.

Весь вечер она не могла отделаться от беспокойства и не решалась лечь спать до возвращения Ричарда.

Он вернулся около одиннадцати. И Гетти приехала с ним. Он предложил ей покататься на свежем воздухе после духоты в театре. А из «Холма» Бартли отвезет ее домой.

Они вошли в гостиную, оба в прекрасном настроении.

— Оставаться у вас долго я не могу, — весело объявила Гетти. Она взяла папиросу, предложенную Баррасом, уселась на ручке кресла и лениво болтала стройной ножкой, перекинув ее через другую.

— Не хочешь ли сэндвич? — блаженно улыбаясь, предложил Баррас и вышел в столовую за подносом с закусками, приготовленным тетей Кэрри.

Ему явно не хотелось отпускать Гетти. Он не спрашивал себя почему. Он всегда считал себя человеком нравственным и довольствовался механическим утолением своих физических потребностей у источника законной любви, наверху в спальне. Но со времени катастрофы он стал другим человеком — он жил какой-то напряженной жизнью, с лихорадкой в крови, он переживал последнюю вспышку молодости. Порой ощущение физического благополучия достигало необычайной остроты. Правда, раз или

два с ним случались такие сильные головокружения, что он шатался и хватался за мебель, чтобы не упасть, но он был уверен, что это пустяки, совершенные пустяки: никогда в жизни он не чувствовал себя здоровее.

Он вернулся в гостиную:

— Вот, закусывай, дорогая.

Гетти молча взяла сэндвич с цыпленком.

— Что-то ты очень притихла, — заметил он, несколько раз украдкой бросив взгляд на ее нежный профиль.

— Ничуть, — сказала она, отводя глаза в сторону.

Сосредоточенное восхищение, выражавшееся на лице Барраса, вдруг обеспокоило Гетти. Перемены в нем нельзя было не заметить: вот уже несколько недель его обращение с ней, знаки внимания и частые подношения предвещали что-то новое, — и это совсем не нравилось Гетти, это ей было не по вкусу. Она хотела бы всегда пользоваться преимуществами своего положения и ничего не давать взамен. Во-первых, Гетти, по ее собственному выражению, была «примерная» девушка. В сущности, у нее не было никаких моральных устоев, но она оставалась чистой потому, что это было выгодно, — от греха ее удерживала высокая рыночная стоимость ее девственности. Она имела твердое намерение «сделать хорошую партию», выйти замуж так, чтобы брак принес ей богатство и высокое положение в обществе, и отлично понимала, как важно для этого сохранить девственность. Это ей было легко, так как, вызывая в других чувственные желания, она сама не знала их. (Лаура, видно, была наделена ими и за себя, и за сестру.) Вначале внимание Барраса льстило Гетти и служило ей утешением. Арест Артура нанес ужасный удар ее тщеславию и разом вычеркнул Артура из ее радужных планов на будущее. Теперь она ни за что не выйдет за него замуж, никогда, ни за что! Сочувствие его отца она принимала как нечто естественное; уже одно то, что ее встречали с ним везде, должно было чрезвычайно способствовать «спасению ее репутации»: они объединились против жалкого человека, который таким постыдным образом скомпрометировал их.

В гостиной горело несколько ламп под новыми абажурами; разливая лужицы мягкого света на ковре, они оставляли потолок в таинственном полумраке.

— Как красиво! — весело воскликнула Гетти.

Она встала, подошла к абажуру и принялась перебирать пальцами бахрому, потом обернулась:

— Отчего вы не курите? — Она подумала, что, занявшись сигарой, Баррас будет не так опасен.

— Не хочется, — ответил он рассеянно, не отрывая глаз от ее лица.

Гетти беспечно рассмеялась, как будто услышав шутку, и сказала:

— Ну а я выкурю еще папиросу.

Когда он зажег ей папиросу, она отошла к граммофону и поставила пластинку с песенкой Вайолет Лоррен «Если бы ты была единственная девушка на свете».

— Завтра я иду к Дилли пить чай с Диком Парвисом и его сестрой, — сказала она вдруг ни с того ни с сего.

Баррас переменялся в лице: он уже дошел до того, что ревновал Гетти. Он не выносил этого Парвиса. Дик Парвис, прежде довольно незаметный друг детства Гетти, теперь был офицер авиации и герой. Во время последнего воздушного налета германцев на северо-восточные графства он вылетел один против вражеского цеппелина и бросил в полной темноте бомбу, от которой загорелся дирижабль. Весь Тайнкасл был без ума от Дика Парвиса; говорили, что он получит крест Виктории, и стоило ему появиться в ресторане, как его встречали бурными овациями.

Все это Баррас вспомнил и, сильно нахмурясь, сказал:

— Ты, кажется, здорово бегаешь за этим Диком Парвисом.

— Ах, нет, — запротестовала Гетти. — Вы знаете, что это не так. Просто на него сейчас такой спрос! Все смотрят на наш столик и завидуют. Это очень весело!

Баррас нетерпеливо зашевелился в кресле. Он мысленно представил себе этого аляповато-красивого юношу с детскими голубыми глазами, льяными волосами, расчесанными на прямой пробор и гладко прилизанными, с самодовольной усмешкой. Представил, как он, сидя в ресторане, курит папиросу и беспрестанно поглядывает вокруг, ища поклонения.

Он с трудом подавил раздражение; снова сел на кушетку, красный, тяжело дыша, и через минуту сказал:

— Сядь возле меня, Гетти!

— Мне хочется походить, — возразила она небрежно. — Я довольно насиделась в театре.

— А я хочу, чтобы ты села возле меня!

Гетти поняла, что отказаться — значит серьезно обидеть его, и неохотно подошла и села, отодвинувшись на самый край кушетки.

— Вы сегодня все на меня ворчите, — сказала она.

— Разве?

Она кивнула с лукавой миной, — по крайней мере, пыталась быть лукавой, но это ей не очень удалось: слишком ощутимо было его присутствие рядом, его налитое кровью лицо, массивные плечи, даже мясистые складки жилета.

— Нравится тебе мой подарок? — спросил он, дотрагиваясь до тонкого платинового браслета на ее руке.

— О да, — сказала Гетти поспешно. — Вы меня балуете, право.

— Я достаточно богат, — возразил он. — Я имею возможность дарить тебе кучу всяких вещей. — Он был ужасно неловок и неопытен: страсть душила его, лишала самообладания.

— Вы всегда добры ко мне, — ответила Гетти, опуская глаза.

Баррас потянулся, чтобы взять ее за руку, но в этот миг граммафон замолк, и Гетти, чувствуя, что спасена, вскочила и отошла к нему.

— Я переверну пластинку, — заметила она и стала снимать ее.

Баррас тяжелым взглядом исподлобья следил за девушкой все с той же застывшей масляной усмешкой. Он дышал тяжелее, чем всегда, его нижняя губа выпятилась.

— Это красивая песенка, — продолжала Гетти. — Она страшно модная и легко запоминается.

Решив не возвращаться на кушетку, она прищелкивала пальцами в такт и двигалась по комнате, точно танцуя под музыку. Но, когда она проходила мимо кушетки, Баррас внезапно нагнулся, схватил ее за тонкую руку и притянул к себе на колени.

Это произошло неожиданно для обоих. Гетти не знала, кричать ей или нет. Она не сопротивлялась, она только уставилась на Барраса широко открытыми глазами.

И в ту минуту, когда они сидели в такой позе, неожиданно отворилась дверь за их спиной и в комнату вошла тетушка Кэри. Услышав необычный шум в такой поздний час, она сошла вниз, но при виде этой пары на кушетке остановилась в дверях, словно окаменев. Глаза ее расширились от ужаса, лицо совсем посерело. Это была самая жуткая минута в ее жизни. Она почувствовала,

что близка к обмороку, но величайшим усилием воли овладела собой и, повернувшись, выскочила из гостиной. Спасаясь бегством, как гонимый дух, она, спотыкаясь, побрела наверх.

Ни Баррас, ни Гетти не заметили ее появления. Баррас был слеп и глух ко всему, кроме Гетти, ее близости, запаха ее духов, ощущения тонких бедер, прижатых к его коленям.

— Гетти, — сказал он хрипло, — ты знаешь, что я тебя люблю.

Его слова вывели Гетти из того странного столбняка, в котором она находилась.

— Не надо, — сказала она. — Пожалуйста, не держите меня так.

Он ослабил объятие и положил руку на ее колено.

— Нет, нет! — вскрикнула она, энергично сопротивляясь. — Не смейте! Я не люблю этого.

— Но, Гетти... — задыхаясь, выговорил Баррас.

— Нет, нет, — перебила она. — Я не из таких, совсем не из таких.

Он вдруг сразу стал ей ненавистен тем, что поставил ее в такое положение, что все испортил, перейдя от покровительства и подарков к этому отвратительному порыву. Ей противно было его красное лицо, мешки под глазами, мясистый нос. Внезапно ей, по контрасту, представилось тонко очерченное молодое лицо Парвиса, и она вскрикнула:

— Пустите меня, слышите? Пустите, или я закричу на весь дом.

Вместо ответа он прижал ее к себе и уткнулся ртом в ее шею. Гетти не закричала, но вывернулась, как кошка, и ударила его по щеке. Затем вскочила, поправляя платье, волосы, и прошипела:

— Вы противный, дрянной старик! Вы хуже своего жалкого сына. Я вас ненавижу! Вы разве не знаете, что я честная девушка? Честная девушка, слышите? Стыдитесь! Никогда в жизни я на вас и не взгляну больше!

Баррас встал, в волнении пытаясь что-то сказать, но, раньше чем он успел открыть рот, Гетти метнулась вон из комнаты, и он остался один. Некоторое время он стоял с протянутой рукой, как будто пытаясь еще удержать ее. Сердце молотом стучало в груди, перед глазами плыл туман, в ушах шумело. Его ошеломило сознание своего унижения, своей старости, о которую разбилась попытка овладеть Гетти. Он все стоял в пустой, мягко освещенной комнате, шатаясь от приступа головокружения. Одну секунду он думал, что у него удар. Поднял руку к голове, которая разрывалась на части, и рухнул на кушетку.

XVI

Между тем тетушка Кэрри, сидя в темноте своей комнаты, услышала гудение автомобиля, увозившего Гетти в Тайнкасл. Она видела, как два тусклых луча света от фар заскользили по комнате, но все сидела среди наступивших затем мрака и тишины, трепещущая и несчастная. То, что она увидела в гостиной, разом убило ее священную веру в Барраса. Чтобы Ричард мог... Ричард! Тетю Кэрри еще сильнее стала бить лихорадка; она дрожала всем телом, жалкая в своем волнении, и стоявшие в ее глазах крупные слезы упали с ресниц, потому что ее опущенная голова тряслась, как у паралитика. «О боже, о боже!» — твердила мысленно тетя Кэрри в приступе горя.

Тетя Кэрри верила в Ричарда, как в Бога. Пятнадцать лет она преданно служила ему. Ее держали на расстоянии, но это не мешало ей обожать Ричарда и ревниво скрывать свое обожание на самом дне души. Для тети Кэрри не существовало ни одного мужчины, кроме Ричарда. Правда, одно время она влюбленно читала память покойного принца Альберта, которого справедливо считала хорошим человеком, но это чувство бледнело перед ее поклонением Ричарду, как бледнеет луна перед солнцем. Тетя Кэрри жила только для этого солнца, купалась в его лучах, согревала им всю свою скомканную жизнь. А теперь, после того как пятнадцать лет это солнце ничем не затмевалось, после того как пятнадцать лет она ставила ему у кровати ночные туфли, заботилась о его пище, записывала его грязное белье, нарезала для него спаржу, наполняла его грелку горячей водой, свято берегла от моли его шерстяное нижнее белье, вязала ему носки, чулки и шарфы, — теперь, после пятнадцати лет этого рабского, набожного служения, тетя Кэрри увидела, как Ричард ласкает сидящую у него на коленях Гетти Тодд. В приливе муки и жалости к себе тетя Кэрри обхватила голову дрожащими руками и горько зарыдала.

Но вдруг, сидя в слезах и изнеможении, она услышала стук палки Гарриэт. Когда Гарриэт что-нибудь было нужно, она поднимала палку, лежавшую у ее кровати, и стучала в стенку, вызывая к себе таким образом тетю Кэрри. Это стало уже чем-то привычным, и в данную минуту тетя Кэрри знала, что Гарриэт стучит, чтобы ей дали лекарство. Но у нее не хватило духу идти к Гарриэт. Она не могла отделаться от мысли о Ричарде, этом «новом» Ричарде, который был ей жалок и страшен.

Тетя Кэрри не понимала, что этот «новый» Ричард — только результат расслоения старого Ричарда; ей и в голову не приходило, что эти новые, оскорбившие ее наклонности родились из старых. Она воображала Ричарда жертвой какого-то неведомого наваждения. Она понятия не имела, какого рода это наваждение: она просто видела, что бог превратился в шута, архангел в сатира, — и сердце у нее болело. Она плакала не переставая. Ричард — и Гетти Тодд у него на коленях! Тетя Кэрри плакала, плакала и не могла примириться с этой мыслью. Но вот она вздрогнула, услышав снова стук Гарриэт. Гарриэт стучала уже целых пять минут, а тетя Кэрри хотя смутно и сознавала это, но не двинулась с места, не откликнулась на зов. Как ей было идти к Гарриэт с опухшими, ничего не видящими глазами, трясущимися руками и этим невыносимым удушьем, которое показывало, что с сердцем у нее неладно. Но идти было необходимо, несмотря ни на что: Гарриэт нужно дать лекарство. Если ей его не дать, она будет все громче и громче стучать, поднимет на ноги весь дом — и может произойти новая ужасная история, которая ее, Кэрри, окончательно доконает.

Сдерживая, насколько могла, рыдания, тетушка вытерла опухшие и словно ослепшие от слез глаза и пошла по коридору в комнату Гарриэт, ощупью находя дорогу. В коридоре царил мрак, потому что ночь была темная, а тетя Кэрри от волнения забыла включить свет на верхней площадке. Темно было и в спальне Гарриэт, и зеленый свет ночника, горевшего у постели, не разгонял неясного полумрака. Из-за постоянных головных болей Гарриэт не выносила яркого света, и теперь тетя Кэрри была этому рада, так как темнота скрывала ее заплаканное лицо. Она не включила верхней лампы.

Когда тетя Кэрри вошла, Гарриэт металась в постели. Ее бледное рыхлое лицо, в котором было что-то коровье, неясно выделялось на подушках. Она дрожала от злости и с лязгом оскалила вставные зубы.

— Почему ты не приходила, Кэролайн? — закричала она. — Я стучу уже добрых полчаса!

Тетя Кэрри подавила всхлипывание. Изо всех сил стараясь овладеть своим голосом, она сказала:

— Прости, дорогая, я и сама не знаю, что на меня нашло. Дать тебе лекарство?

Но Гарриэт не склонна была так легко успокоиться. Она лежала на спине, в полутьме, окруженная аптечными склянками, и ее плоское лунообразное лицо было бледно от гнева и жалости к себе.

— Это невнимание ко мне становится просто возмутительным, — продолжала она. — Я лежу тут с дикой головной болью, мне до смерти нужно принять лекарство — и ни одна душа ко мне не заглянет!

Печальная и пристыженная тетя Кэрри, опустив голову и робко моргая опухшими глазами, проглотила слезы и шепнула:

— Пожалуйста, извини, Гарриэт. Дать тебе лекарство?

— Ну конечно.

— Сейчас, Гарриэт. — И, пряча лицо, тетя Кэрри подошла к столику с одной только мыслью: «О господи, только бы поскорее найти для Гарриэт ее лекарство и уйти отсюда раньше, чем силы мне изменят».

— Валерьянку, Гарриэт? — спросила она.

— Да нет же! — сердито возразила Гарриэт. — Мне нужно мое старое лекарство с бромом — то пахучее, что прописал доктор Льюис. Мне кажется, оно все-таки лучше всего помогает. Вон там, на полке в углу.

— Хорошо, Гарриэт. — Тетя Кэрри с готовностью повернулась к полке и стала ощупью перебирать бутылки. Их было такое множество!

— Где, ты сказала, Гарриэт?

— Да там же, — проворчала Гарриэт. — Ты сегодня совершенная дура! Вон оно, у тебя под рукой! Я сама поставила его туда, когда вставала в последний раз. Отлично помню.

— Это? — Тетя Кэрри почувствовала, что она сейчас опять расплатится. «О Боже, — подумала она снова, — помоги мне выбраться отсюда поскорее, пока я еще могу сдерживаться!» — Это, Гарриэт?

— Нет! Вон рядом, зеленая бутылка. Боже, да что с тобой сегодня? Ну да, эта, теперь правильно.

Тетя Кэрри взяла указанную ей склянку и подошла к столику. Руки у нее так дрожали, что она с трудом удержала мензурку.

— Сколько ты принимаешь, Гарриэт?

— Две столовые ложки! Неужели ты до сих пор еще не знаешь? Наконец, могла бы прочитать!

Но тетя Кэрри не в состоянии была прочитать, тетя Кэрри была слепа, нема и безутешна. Движения ее были движениями автомата, а мысли далеко, в том страшном фантастическом мире, где Ричард держал на коленях Гетти Тодд. Она способна была только делать, что ей приказывали. И у нее было одно желание — вернуться к себе в комнату и дать волю потокам слез, бусевавшим в ней.

Она кое-как отмерила две столовые ложки из бутылки, которую ей, как она думала, указала Гарриэт. Подавленная темнотой вокруг, придирами Гарриэт, мучительной опустошенностью собственной души, она только смутно подумала, что лекарство как-то странно пахнет. Но это, верно, от соленого вкуса ее пролитых и непролитых слез запах лекарства кажется ей странным... А Гарриэт требует лекарства, торопит ее и называет душой!

Она подошла к постели с опущенной головой, пряча лицо, и протянула руку. Гарриэт села и раздраженно вырвала у нее мензурку с лекарством.

— Ты сегодня ужасно неповоротлива и бестолкова, Кэрролайн, — сказала она резко. — И это тогда, когда ты видишь, что я умираю от головной боли!

По своей привычке крепко зажмурив глаза, Гарриэт одним глотком выпила лекарство. Проглотив его, она секунду сидела выпрямившись, с закрытыми глазами и мензуркой в руке, затем открыла глаза и вскрикнула:

— Это не то лекарство! — И стаканчик выпал у нее из рук.

Слезы тети Кэрри сразу заморозил ужас. Одно мгновение она стояла окаменев, затем кинулась к выключателю и зажгла все лампы в комнате, схватила бутылку — и вскрикнула пронзительно, как испуганный кролик. На бутылке было написано: «Наружное». Она дала Гарриэт выпить ядовитую жидкость для втирания! Она закричала еще громче, чем Гарриэт.

Гарриэт, прижав руку к желудку, корчилась на постели. В первый раз, с тех пор как она завела привычку лежать в постели, Гарриэт испытывала настоящую боль. Она была в агонии. Лицо у нее приняло зеленоватый оттенок, губы вздулись, обожженные ядом.

— Воды! — слабо простонала она, все сжимая, теперь уже обеими руками, свой жирный белый живот. — Внутри жжет, как огнем!

Обмирая от ужаса, тетя Кэрри бросилась к кувшину, стоявшему на умывальнике, и принесла Гарриэт стакан воды. Но вода

не проходила в горло. Гарриэт не могла глотать, и вода вылилась обратно из ее распухшего рта на чистую, нарядную постель.

Гарриэт, видимо, не сознавала, что вода здесь, что она льется не туда, куда нужно.

— Воды! — все стонала она, задыхаясь. — Жжет внутри! — Но, как Гарриэт ни старалась, она не могла напиться, чтобы залить огонь внутри.

Сквозь панический ужас у тети Кэрри мелькнул проблеск рассудка, и, швырнув стакан на комод, она стрелой помчалась из комнаты, чтобы вызвать врача. Она пробежала по коридору и вниз по лестнице, ее длинные ноги с мозолями на пальцах развивали сказочную быстроту. У черного хода она наткнулась на Энн, которая шла наверх спать.

Тетя Кэрри уцепилась за Энн.

— Доктор! — простонала она. — Телефонуйте доктору... любому... чтобы пришел сейчас же! Скорее, скорее доктора!..

Энн достаточно было одного взгляда на тетю Кэрри. Она была сообразительная женщина и, поняв, что случилось нечто серьезное и страшное, не стала терять времени на расспросы. Она тотчас же побежала к телефону и позвонила доктору Льюису, который обещал прийти немедленно. Энн подумала минуту, потом на всякий случай позвонила и доктору Проктору, лечившему ее самое, и тоже попросила прийти.

Тетя Кэрри между тем помчалась в кладовую за мелом: она верила, что мел — хорошее противоядие. И, возвращаясь с пакетом мела в руках, вдруг увидела Ричарда, выходявшего из гостиной. Он шел медленно, потревоженный в своих размышлениях непривычной суетой в доме, и, держась за притолоку двери, спросил глухо:

— Что случилось?

— С Гарриэт... — выдохнула тетя Кэрри, в своем волнении так крепко сжав пакет, что из уголка его посыпалась тонкая струйка мела.

— Гарриэт? — повторил тупо Ричард.

Кэрри не могла больше стоять тут, это было выше ее сил. Еще раз вскрикнув, она отвернулась и побежала наверх. Баррас медленно пошел за ней.

Гарриэт лежала все так же распростертая на кровати, под ярким светом ламп, среди бесконечных рядов склянок. Она у же

больше не стонала. Она лежала на боку, скорчившись, с открытым ртом. На распухших и почерневших губах выступила клейкая слюнь.

По временам ноги Гарриэт слегка вздрагивали, и при этом к ней возвращалось дыхание — короткий хрип. Обмирая от ужаса каждый раз, когда слышалось это редкое и короткое хрипение, тетя Кэрри с безумной поспешностью размешала мел и попробовала влить хоть немного в распухший рот Гарриэт. Она была еще занята этим, когда в спальню вошел Ричард. Он остановился, совершенно ошеломленный, глядя на Гарриэт.

— Что это, Гарриэт? — сказал он охрипшим голосом.

Гарриэт ответила лишь тем, что отрыгнула мел тети Кэрри.

Ричард подошел ближе в каком-то оцепенении.

— Гарриэт... — снова пробормотал он, как пьяный.

В эту минуту торопливо вошел доктор Льюис, веселый, с черной кожаной сумкой в руке. Но, когда он увидел Гарриэт, веселость разом с него соскочила, манеры его резко изменились, и он вполголоса попросил тетю Кэрри телефонировать доктору Скотту, чтобы тот немедленно пришел. Тетя Кэрри тотчас убежала. Ричард отошел в нишу окна и остановился там, молча наблюдая, похожий на статую Рока.

Спешно явился доктор Скотт и одновременно с ним доктор Проктор, пришедший пешком из Слискейла. Все три врача сблизили головы над постелью Гарриэт. Они проделали с ней множество вещей: что-то впрыскивали ей из маленьких шприцев, и поднимали несопротивлявшиеся веки Гарриэт, и делали ей выкачивание желудка. Они все выкачивали и выкачивали и извлекли из ее желудка поразительное количество всякой всячины. Все увидели, как хорошо Гарриэт обедала в этот день, — просто невероятным казалось, что можно проглотить такое количество спаржи. Но Гарриэт этого не видела. Гарриэт ничего больше не могла видеть, так как она была мертва.

Наконец, после последней попытки воскресить ее, докторам пришлось признать свое бессилие, и доктор Льюис, отирая лоб, подошел к Ричарду, все еще неподвижно стоявшему у окна:

— Я очень сожалею, мистер Баррас, сэр... — Видно было, что он искренне огорчен. — Но боюсь, что мы ничего больше сделать не можем.

Баррас не сказал ничего. Доктор Льюис, взглянув на него, заметил, как сильно бились жилы у него на висках, как густо

побагровел лоб, и к сочувствию примешалась инстинктивная мысль, что у Барраса, должно быть, высокое кровяное давление.

— Мы сделали все, что было возможно, — добавил он.

— Да, — отозвался Ричард каким-то чужим голосом.

Доктор Льюис в новом приливе сострадания опечаленно посмотрел на Барраса. Разумеется, он не подозревал, что тот, на кого он смотрел, в сущности и был убийцей Гарриэт.

XVII

Даже Хильда была потрясена. После того как они с Грэйс возвратились в лазарет с похорон матери, она много недель была молчалива и задумчива. Теперь и она должна была признать, что в «Холме» неблагополучно. Расстроенная, она делала резкие замечания больным, грубила Нессу и отдалась работе с неутомимой энергией. А с Грэйс опять обращалась деспотически, была нежна и ревнива.

Был конец их свободного дня, и сестры медленно шли по Риджент-стрит, направляясь к Оксфордской площади, чтобы сесть в автобус, идущий к Найтсбриджу. Хильда, заканчивая резкую тираду на тему об унижительных домашних передерягах, насмешливо посмотрела на Грэйс:

— Ты ведь такая любительница все улаживать. Вот тебе случай — поезжай домой и попробуй это сделать.

— Нет, — возразила спокойно Грэйс, — от меня теперь мало было бы пользы дома.

— А почему?

В эту минуту подъехал их автобус.

Грэйс подождала, пока они уселись, затем сообщила Хильде, что ждет ребенка.

Хильда ужасно покраснела. Казалось, ей сейчас станет дурно. Она сидела молча и совершенно неподвижно, пока кондукторша получала с них за проезд. Потом сказала тихо, тоном глубоко уязвленного человека:

— Мало было этого брака! Как будто и без того недостаточно неприятностей в последнее время. Ты просто глупа, Грэйс, ужасно глупа.

— А я не вижу в этом ничего глупого, — отвечала Грэйс.

— Зато я вижу, — отрезала Хильда, бледная и озлобленная. — Ничего нет хорошего в таких «детях войны».

— Я вовсе этого и не говорила, Хильда. Но мой, может быть, и будет хорош.

— Нет, ты просто дурочка, — прошипела Хильда, сурово глядя перед собой. — Сначала потеряла голову из-за Тисдэйла, а теперь еще это! Тебе придется уйти из лазарета. Черт знает что такое! Я умываю руки! Я до сих пор держалась в стороне от семейных дразг — и впредь в них вмешиваться не стану. Боже, как это глупо, какая пошлость! По всей стране это делают теперь все глупые, пошлые девчонки! Отдаваться «героям войны» и рожать от них «детей войны»! О господи, какая мерзость! Я не желаю ничего больше слышать об этом. Можешь убираться прочь и рожать своего поганого младенца, где хочешь.

Грэйс промолчала. Она придерживалась простого правила: ничего не говорить там, где молчание — лучший ответ. Между ней и Хильдой, в сущности, не было больше настоящей близости уже со времени ее брака с Дэном. А тут еще эта новость! То, что Грэйс, которую Хильда баловала и опекала, милая маленькая Грэйс, засыпавшая в детстве в ее объятиях, ждет ребенка, «дитя войны», оскорбляло Хильду, вызывало в ней отвращение, заставило ее дать клятву, что она не будет иметь ничего общего «со всей этой грязью». Слезы стояли в глазах Хильды, когда она чопорно поднялась и вышла из автобуса.

Таким образом, Грэйс предстояло самой устраивать свои дела. На следующее утро она отправилась к мисс Гиббс. По традиции, мисс Гиббс полагалось отнестись к ней ласково, но мисс Гиббс отнеслась к ней не лучше, чем Хильда. Она вышла из себя и «показала зубы»:

— Мне до смерти надоели эти истории, сестра Баррас. Для чего вас сюда приняли, как вы полагаете? Чтобы ходить за ранеными или чтобы разводить потомство? Мы взяли на себя труд обучить вас с той целью, чтобы вы были полезны в лазарете. И вот как вы нас вознаграждаете! К сожалению, должна сказать, что я не слишком вами довольна. Вы не то что ваша сестра. Она не придет заявлять, что у нее будет ребенок. Она знает свою операционную и работает добросовестно. За последний месяц у вас три выговора за небрежность в работе и болтовню в коридорах. А теперь вы являетесь еще с этой новостью. Создается трудное положение. Я недовольна вами. Можете идти.

Грэйс уже начинала чувствовать себя так, как будто она совсем не замужем. Хильда и мисс Гиббс отнеслись к ее беременности, как к чему-то весьма неприличному. Но Грэйс нелегко было привести в уныние. Она была простодушна, наивна, беспечна, была самым нетребовательным существом на свете, но обладала способностью сохранять душевное равновесие во всяком, как выразилась мисс Гиббс, «трудном положении».

И Грэйс принялась собственными силами проводить в жизнь свои планы. После похорон матери ее еще больше пугала перспектива возвращения домой. Она написала тетке. И ответ тети Кэрри, полный невысказанных опасений и благочестивых наставлений, с взволнованной припиской в конце, дважды подчеркнутой, убедил Грэйс, что домой ехать ей нельзя.

Она посидела в раздумье над письмом тети Кэрри, решая, что делать. Грэйс легко принимала решения. Какой-нибудь вопрос, который Хильду тревожил бы целых две недели, совсем не волновал Грэйс, она, казалось, и не задумывалась над ним и шла прямо к цели. Грэйс обладала способностью делать из слона муху. Это объяснялось тем, что она никогда не думала о себе.

В первую субботу января — ее свободный день — она отправилась поездом в Суссекс. Ей почему-то казалось, что это место ей понравится, что там тепло и солнечно и не похоже на суровый и негостеприимный север. Она имела о Суссексе довольно туманное представление, но одна из сиделок как-то отдыхала на праздниках в Винраше, близ станции Барнхем, и дала Грэйс адрес мисс Кэйс, хозяйки, у которой она снимала комнату.

Поезд доставил Грэйс в Суссекс, и она сошла на узловой станции Барнхем. Не очень-то обнадеживающий вид имела эта станция — несколько навесов из рифленого железа, пустые загородки для скота и груды жестяных помятых бидонов для молока. Но это не смутило Грэйс.

Она разыскала дорожный столб, на котором было написано «Винраш»; и так как на нем же было указано, что до Винраша всего одна миля, пошла туда пешком.

День был ветреный, свежий, зеленый. Запах влажной земли чудесно смешивался с соленым запахом моря. Грэйс вдруг больно поразила мысль, что мир так прекрасен, а между тем в нем происходит война, которая увечит лик природы, уродует красоту, уничтожает людей. Ее юное лицо омрачилось, но, когда она пришла

в Винраш, оно немного просветлело. В ту самую минуту, как она вошла в Винраш, она решила, что здесь восхитительно. Винраш представлял собой маленькую деревушку, собственно, короткую улицу, выходящую одним концом в поле, другим — к морю. На этой короткой улице помещалась единственная лавчонка с наклеванной от руки вывеской: «Миссис Кэйс. Бакалея. — Мануфактура. — Аптека». Признаков аптеки было не слишком много — только пачка слабительных порошков Зейдлица в окне. Грэйс лавчонка очень понравилась, и она долго рассматривала ее витрину, узнавая разные вещи, напоминавшие ей детство: конфеты, которые назывались «Тонкий Джим», действительно очень тонкие, настоящие конфеты военного времени; а вот и другие, большие, красивые шарики, красные с белым, — не конфеты, а сплошное надувательство, потому что, покупая, вы были уверены, что внутри — орешек, а его там не оказывалось. Ребятишки из шахтерского поселка называли их «Пустая порода». Словом, Грэйс с интересом рассматривала витрину, потом порывисто вздохнула и вошла в лавку. Она вошла так стремительно, что споткнулась и чуть не упала, потому что в лавке было темно и она не заметила ступеньки у входа. Когда она налетела на бочонок с картофелем, из-за прилавка раздался голос:

— О боже, милочка моя!.. Все эта негодная ступенька!..

Прислонясь к бочонку, Грэйс посмотрела на особу, которая только что назвала ее «милочкой». Она решила, что это, должно быть, миссис Кэйс, и сказала:

— Ничего, я не ушиблась. Я такая неуклюжая, вечно на все натываюсь. Надеюсь, ваш бочонок не пострадал.

Миссис Кэйс ответила, явно довольная собственным остроумием:

— О милочка, я надеюсь, что *вы* не пострадали.

Грэйс улыбнулась: нельзя было не улыбнуться, глядя на миссис Кэйс, такую забавную маленькую старушку, горбатую, с круглыми и блестящими, как бусинки, глазами. В горбе миссис Кэйс не было, в сущности, ничего романтического — просто у нее был искривлен позвоночник от рахита, которым она страдала в детстве, — а тем не менее горб этот выглядел романтично. Голова у миссис Кэйс так ушла в плечи, а глаза были такие круглые, черные и блестящие, что получалось комичное впечатление, будто миссис Кэйс сидит на собственных плечах, как старая наседка на

яйцах, — пестрая наседка, потому что кожа у миссис Кэйс была вся в теплых золотисто-смуглых морщинках, и только под носом было пятно потемнее. Это коричневое пятно под носом наводило на мысль о нюхательном табаке. И действительно, миссис Кэйс нюхала табак.

— Я приехала переговорить насчет комнат, — сказала Грэйс. — Моя знакомая, сестра Монгомери, посоветовала мне обратиться к вам.

— Да, да. — Миссис Кэйс раздумчиво потеряла руки. — Как же, я ее помню, щеголиха такая. Вам комнаты нужны на лето?

— Нет, уже весною, — торопливо возразила Грэйс и прибавила: — Видите ли, у меня совсем особый случай. Я жду ребенка.

— Вот как! — отозвалась миссис Кэйс после довольно продолжительного молчания.

— Видите, это меняет дело.

— Да, милочка. Это *конечно* меняет дело. Я это отлично вижу. Грэйс вдруг расхохоталась: миссис Кэйс так усердно уверяла, что «видит», а в лавчонке было так темно!

Миссис Кэйс мигом рассмеялась тоже, но не совсем искренне, затем сказала:

— Видно, что вы любите пошутить. Но если вы ничего не имеете против, милочка, я бы хотела знать: супруг у вас на войне или где-нибудь в другом месте?

Грэйс ничего не имела против. Грэйс рассказала миссис Кэйс о Дэне. Она более или менее подробно объяснила все, и миссис Кэйс успокоилась и стала опять приветлива. Она сказала:

— Я так и думала, уверяю вас, милочка. Я всегда по лицу узнаю человека. Но в наше время, из-за этих немцев и когда такие цены на масло, приходится быть осторожной. Хотите посмотреть комнаты, милочка?

Комнаты были великолепны. По крайней мере, такими они показались Грэйс. Две смежные комнаты на втором этаже. Полы неровные; потолки выпячивались в самых неожиданных местах; чтобы подойти к кровати, нужно было низко нагнуть голову, а в «гостиной» безусловно можно было только сидеть, но не стоять. Зато комнатки были очень чистенькие, со свежевывстиранными и заштопанными кисейными занавесками, красивой олеографией, изображавшей коронацию королевы Виктории, коллекцией птичьих яиц, собранной племянником миссис Кэйс, увеличен-

ной фотографией ее мужа (который служил на железной дороге и умер от блуждающей почки) и с чудесным видом из окон на сад. Сад был большой, в нем росли вишневые деревья, — и Грэйс уже представляла себе, какие они будут весною, все в цвету, колеблемые ветром. В поле за садом гуляли коровы, а за полем тянулась аллея вязов. Грэйс стояла у окна, и на щеке ее блеснула слезинка: все было так прекрасно, но она подумала о Дэне, и ей стало больно.

Она повернулась к миссис Кэйс:

— Я хотела бы оставить за собой эти комнаты, если вы согласны их сдать.

Довольная миссис Кэйс кивнула головой:

— Пойдемте ко мне вниз, милочка, — выпьете чашку чаю, и мы обо всем потолкуем.

Грэйс и миссис Кэйс сошли вниз — миссис Кэйс держалась за перила, потому что она прихрамывала, — и выпили по несколько чашек чаю и все обсудили. Теперь миссис Кэйс отрешилась от всяких условностей, и, кроме того, жадной она никогда не была.

— Если я спрошу пятнадцать шиллингов в неделю, — сказала она, склонив голову набок, как высматривающая что-то птица, — то, принимая во внимание все обстоятельства, милочка, это ведь не будет слишком много?

— Нет конечно, — согласилась Грэйс, и дело было слажено без единого возражения с ее стороны.

Они продолжали беседовать, и дружеское согласие между ними все росло. Миссис Кэйс оказалась неисчерпаемым источником полезных сведений: телефон имеется в деревне — на ферме у старого мистера Пэрселла, и он, конечно, разрешит пользоваться им; и отсюда всего три мили до Фиттлхемптона, а в Фиттлхемптоне много хороших докторов. Долго, долго разговаривали Грэйс и миссис Кэйс, и хотя в конце пошли уже интимные подробности о том, как блуждающая почка мистера Кэйса унесла его в рай, разговор вышел удивительно оживленный и приятный.

Время поспев на поезд, отходивший от станции Барнхем в четыре десять, Грэйс ехала домой счастливая и бодрая. Грэйс была непрактична. Хильда и мисс Гиббс утверждали, что Грэйс и ветрена, и глупа. Хильда и мисс Гиббс направили бы ее в солидный родильный дом, с резиновыми тюфяками, наполненными водой, и ваннами, и душем. Они сочли бы Грэйс сумасшедшей,

если бы знали, как она путешествовала в Барнхем и затем прижимала свой немного курносый нос к окну лавки миссис Кэйс.

Возвратившись в общежитие, Грэйс чувствовала себя такой счастливой, что ей захотелось помириться с Хильдой. Сияя, вошла она в комнату сестры. Щеки ее раздурмянил свежий ветер, глаза были полны доверия и надежды. Остановившись на пороге, она сказала:

— У меня уже все устроено, Хильда. Я нашла чудеснейшее местечко в Суссексе.

— В самом деле? — холодно заметила Хильда. Она сгорала от желания узнать, куда ездила Грэйс и как она устроилась, но была слишком горда и слишком задета, чтобы это показать.

Сияние на лице Грэйс померкло.

— Рассказать тебе? — спросила она нерешительно.

— Как-нибудь в другой раз, — сказала Хильда и, взяв со стола журнал, принялась его перелистывать.

Грэйс повернулась и вышла из комнаты. Как только дверь затворилась, Хильда вскочила, чтобы бежать за Грэйс, но не пошла — характер не позволял. Она стояла неподвижно, хмурая, с выражением муки на бледном лице, потом злобно швырнула журнал в угол. В эту ночь на Лондон был воздушный налет. Когда это бывало, Грэйс обычно бежала к Хильде в комнату и забиралась к ней в постель. Но в эту ночь, как ни ждала и ни тосковала Хильда, Грэйс не пришла.

Время родов приближалось. В каждый свободный день Грэйс ходила по городу, закупаая разные мелочи, которые могли ей пригодиться, а может быть, и не могли. Это доставляло ей массу удовольствия, особенно экскурсии по магазинам дешевых вещей. Дэн писал ей два раза в неделю. Он надеялся получить отпуск ко времени ожидаемого великого события. Он писал, что вымолит, займет у кого-нибудь или украдет пропуск, что, если надо будет, он дезертирует и переплывет Ла-Манш, но приедет к ней. Впрочем, все, вплоть до переплывания канала, зависело, разумеется, от того, перейдут они в наступление или нет.

Письма Дэна более чем когда-либо служили Грэйс утешением. Она все еще надеялась, что они с Хильдой снова будут друзьями. Но в последний день ее пребывания в лазарете, когда она поднялась к Хильде в комнату, чтобы проститься, оказалось, что Хильда в театре. Пришлось Грэйс уйти ни с чем. Грустно ей было уезжать таким образом.

XVIII

16 апреля 1917 года Стэнли Миллингтон вернулся в Тайнкасл. После прибытия телеграммы прошло несколько недель, и все это время Лаура провела в Собридже, в Уорвикшире, где Стэнли находился в специальном госпитале для больных, возвращенных с фронта с функциональным расстройством нервной системы. Джо ничего не знал о них до тех пор, пока не услышал в конторе, что в «Хиллтопе» получена телеграмма об их возвращении. С самого того вечера, когда Лаура в слезах убежала от него, она не написала ему ни строчки. Однако отсутствие приглашения не помешало Джо поехать на вокзал — нет, конечно нет. В Джо превосходно сочетались бесстыдное нахальство с кожей гиппопотама, и это помогало ему выходить из самого щекотливого положения. Кроме того, он знал, что они рассчитывают увидеть его на вокзале, — почему бы и нет? Он охотно готов был забыть сцену, которую в последний раз устроила ему Лаура, и весело собирался разыгрывать пылкое восхищение героизмом Стэнли и радость по случаю его выздоровления. Он отправился на вокзал встречать Стэнли, преисполненный рвения и дружеских чувств славного малого к другому такому же славному малому.

Но когда поезд подошел, то при первом же взгляде на Стэнли сияние померкло на лице Джо.

— Привет, Стэнли, — сказал он с умеренным энтузиазмом.

Стэнли позволил пожать себе руку.

— Меня засыпало после взрыва, — сказал он.

Джо метнул взгляд на застывшее лицо Лауры. На платформе была толчея, суетились пассажиры, пробирались носильщики с багажом, и Стэнли, стоявший в неподвижной позе, оказывался у всех на дороге. Избегая взгляда Джо, Лаура взяла мужа под руку и повела его к выходу.

По дороге Стэнли снова сообщил Джо:

— Меня засыпало после взрыва.

Они сели в автомобиль. Всю дорогу от Центрального вокзала до «Хиллтопа» Джо старался не смотреть на Стэнли, но невольно украдкой поглядывал на него и твердил про себя: «Боже, боже, можно ли было подумать?»

Он надеялся, что Стэнли больше не повторит своей фразы. Но Стэнли сказал в третий раз:

— Меня засыпало после взрыва снаряда.

Стараясь на него не смотреть, но невольно поглядывая украдкой, Джо сказал:

— Да, да, я понимаю, вас засыпало во время взрыва.

Стэнли ничего не ответил. Он сидел на краешке заднего сиденья как деревянный. Глаза его были устремлены куда-то в пространство, лицо лишено всякого выражения, тело, прежде полное, казалось истаявшим. Он обеими руками держался за стенку. И это был Стэнли, «наш мистер Стэнли»!

— Мы уже почти дома, — сказал ободряюще Джо.

Он думал, что Стэнли вернется здоровехонек, без единой царапины, в самом благополучном виде, — а он вот какой! Вот он сидит! Чтобы поверить, Джо должен был все время твердить себе, что это — Стэнли. Он незаметно посмотрел на Лауру. Она сидела с непроницаемым видом, поддерживая мужа.

Автомобиль подкатил к дому, и Джо выпрыгнул первым. Он проявлял невероятную заботливость и услужливость:

— Вот здесь сходите! Осторожней! Не забудьте, здесь ступенька.

Мистер Стэнли был осторожен. Он очень медленно вышел из автомобиля и остановился на тротуаре. Он был удивительно осторожен. Он держал голову совершенно неподвижно, словно опасаясь за ее целость. Он производил впечатление человека, который не в состоянии от боли повернуть шею, но, всмотревшись, можно было заметить, что все его тело тоже как бы одеревенело. Он двигался словно под влиянием толчков, как идеально сделанный человек-автомат.

— Может быть, вы обопретесь на меня? — предложил Джо.

Стэнли не ответил, — такая у него теперь была манера, — но через минуту сказал:

— С ногами все в порядке, а вот голова... Я лежал в госпитале. Меня засыпало...

Пока Лаура стояла у ворот, отдавая шоферу распоряжения насчет багажа, Джо повел Стэнли в дом. Горничная Бесси стояла на пороге, ожидая их. При взгляде на Стэнли у Бесси глаза чуть не полезли на лоб. Джо весело воскликнул:

— Ну вот мистер Стэнли и вернулся, Бесси!

Не обращая на девушку никакого внимания, Стэнли прошел прямо в гостиную и сел на краешек стула. Казалось, что это не его дом и он в этом доме чужой. Он потербил пуговицы жилета,

посмотрел на Бесси. На этот раз он, видно, ее заметил, так как объяснил ей, что с ним случилось.

Неизвестно почему, Бесси вдруг разразилась рыданиями.

Джо снял шляпу с головы Стэнли.

— Вот и хорошо! — сказал он ласково. — Он будет лучше себя чувствовать, когда позавтракает. Ну-ка, Бесси!

И он улыбнулся Бесси. Славная девушка эта Бесси! Он всегда был с ней ласков.

Бесси вышла похлопотать о завтраке. Джо слышал, как она плакала на кухне и сквозь рыдания говорила что-то кухарке.

Стэнли оглядел комнату. При этом он не поворачивал головы, а поворачивался на стуле всем телом, очень медленно и осторожно. В это время вошла Лаура.

— Как приятно увидеть вас снова, Стэн, — сказал Джо, весело потирая руки. — Не правда ли, миссис Миллингтон?

— Да. — Лаура подошла к Стэнли. Выражение ее лица делало атмосферу почти нестерпимо сгущенной.

— Не хочешь ли пройти наверх? — предложила она.

Но Стэнли отказался. Он не проявлял особенного внимания к Лауре; его даже как будто злила заботливость Лауры. Он все оглядывал комнату. Странные у него были глаза, и отражали они какие-то скрытые усилия сознания. Они казались темнее, чем раньше, эти глаза, как будто затянулись темной пленкой, а под пленкой шла глухая работа. Когда она, как подземный поток, поднималась близко к поверхности, лицо Стэнли выражало что-то похожее на волнение. Трудно было разобрать, что это за чувство, ибо оно появлялось неожиданно и молниеносно исчезало. Но это было жуткое чувство: это был страх. Не опасение чего-либо, а беспредметный страх. Стэнли не боялся чего-то определенно-го — он просто испытывал страх.

Он перестал оглядывать все вокруг и произнес:

— Мы хорошо ехали.

— Да, да, отлично!

— Вот только шум...

— Шум, Стэнли?

— Да, от колес. В туннелях.

«Что за черт!» — подумал Джо.

— Меня...

— Да. Понимаю, — сказал Джо торопливо.

В эту минуту тихо прозвенел гонг.

— Пойдемте, Стэнли, завтрак готов. После завтрака он почувствует себя лучше, не так ли, миссис Миллингтон? Ничто так не помогает человеку встряхнуться, как хороший завтрак.

— Мне надо прилечь после завтрака, — сказал Стэнли. — Это одно из предписаний докторов. Раньше чем меня выписать, они взяли с меня слово, что я буду это делать.

Пошли завтракать. Лаура выразительно остановилась на пороге столовой.

— Разве вам не нужно на завод? — спросила она ровным голосом, не глядя на Джо.

— Ничуть, — с готовностью возразил Джо. — Там все в полном порядке.

— Я думаю, Стэнли лучше побыть одному.

Но Стэнли сказал в приливе раздражения:

— Нет, нет. Пусть Джо остается.

Короткое молчание. Джо весело улыбался. Лаура неохотно отошла от двери. Они сели за стол.

Съев суп, Стэнли, чтобы показать, что он не забыл предписаний доктора, снова сообщил Джо:

— Мне велено ложиться после завтрака, это одно из их предписаний. А когда я встану, я должен заняться вязаньем.

Джо даже рот разинул. «Нет, это совсем не смешно, — сказал он себе. — О господи, нет, это уже не смешно», — и переспросил испуганно:

— Вязаньем?

Лаура сделала жест, полный мýки, словно желая вмешаться. Но Стэнли продолжал объяснять. Казалось, ему это доставляло удовольствие:

— От вязанья голове становится легче. В госпитале, после того как меня засыпало, я научился вязать.

Джо поспешно отвел глаза от лица Стэнли. «Вязанье... вязанье». Мысли его унеслись в прошлое. Он словно старался вспомнить прежнего Стэнли и его речи в этой самой комнате год назад. Превосходный малый, который жаждал «задать перцу этим фрицам», идти в бой за Англию и святого Георгия, чистокровный британец, жалевший, что не поступил в воздушный флот... («Вот это захватывающее дело, правда?») Световые сигналы Вери, батальон воспитанников закрытых учебных заведений... «Наш»

мистер Стэнли, убежденный, что война «замечательная штука». «Интересно, что он думает о ней теперь», — сказал себе Джо, и вдруг ему захотелось смеяться.

Но в эту минуту Стэнли чуть не заплакал.

— Не могу, — захныкал он жалобно, — не могу!

Лаура спросила тихо, наклонясь к нему:

— Что с тобой, милый?

Лицо Стэнли задержалось под застывшей маской:

— Я не могу закрыть горчичницу.

Он пытался закрыть горчичницу, но ему это не удавалось. И оттого, что не удавалось, он уже начал весь дергаться.

Джо вскочил.

— Позвольте, я закрою, — предложил он, передвинул ложечку так, чтобы она не мешала крышке плотно закрываться, мимоходом вытер своей салфеткой соус на подбородке Стэнли, затем вернулся на место.

Силы, видимо, изменили Лауре. Она внезапно поднялась, дрожащим голосом извинилась:

— Мне нужно распорядиться по хозяйству, — и, отвернувшись, вышла.

Несколько минут царило молчание, пока Джо тщательно обдумывал положение. Наконец он сказал:

— Ну, Стэн, дорогой, как я рад, что вы вернулись. Завод в последнее время приносит кучу денег. Прошлый месяц был замечательный.

— Да? — сказал Стэнли.

— Но этот Добби, что сидит у нас в конторе, ни черта не стоит. Теперь, когда вы здесь, надо будет от него избавиться.

— Да, — согласился Стэнли.

— Я, собственно, уже и сам собирался предупредить его об увольнении в конце этого месяца. Вы не возражаете, Стэнли?

Стэнли сказал «да», затем резким движением автомата встал из-за стола, несмотря на то что Джо еще не доел сладкого.

— Мне надо лечь, — пояснил он.

— Конечно, конечно, Стэн, — с готовностью согласился Джо, — пожалуйста, не стесняйтесь. — И с величайшей услужливостью вскочил и взял Стэнли под руку.

Лаура ожидала внизу у лестницы, крепко сжимая в руке мокрый носовой платочек. Она хотела сама вести Стэнли, но от Джо

отделаться было невозможно. Да и Стэнли, видимо, цеплялся за Джо, искал в нем опоры. Он сказал капризно:

— Оставь меня, Лаура.

Джо отвел его наверх в спальню и помог раздеться.

От Стэнли остались кожа да кости. Раздетый, он меньше походил на человека-автомата, скорее на гальванизированный труп. Раньше чем лечь, он медленно проделал некий ритуал: нагнулся и заглянул под кровать, затем выпрямился и заглянул под подушки, исследовал внутри два шкафа, заглянул за портьеры обоих окон; потом с трудом забрался на кровать, лег на спину, вытянув ноги и руки. Мертвые, широко открытые глаза уперлись в потолок. Джо на цыпочках вышел из комнаты.

Внизу, под лестницей, ждала его Лаура с красными, распухшими глазами. Она решительно посмотрела ему в лицо, закусив нижнюю губу с таким знакомым ему выражением.

— Мне нужно сказать вам одну вещь. — Она говорила с трудом, и грудь ее порывисто поднималась и опускалась. — Я прошу вас больше сюда не приходить.

— Да полноте, Лаура, — мягко запротестовал он. — У вас теперь будет столько хлопот со Стэнли, и вам нужно всячески помогать.

— Это вы называете помощью?

— А почему же нет? — уговаривал он ее примирительно. — Никто не огорчен за вас больше, чем я, никто во всем мире. И потом, нам придется многое вместе обсуждать. — Он озабоченно покачал головой. — С фронтом у Стэнли кончено. Я хочу позаботиться о заводе...

— Да, как же! — вставила с горечью Лаура.

— Да! — Он вытянул руку с видом незаслуженно оскорбленного человека. — Черт возьми, Лаура, будьте же доверчивее. Я хочу помочь вам обоим. Хочу свезти Стэнли на завод, снова заинтересовать его делами, оказать ему всю ту поддержку, какую могу.

— Я бы поверила вам, если бы вас не знала.

— Но я говорю искренне, Лаура! Мы должны помогать друг другу! Видит Бог, Лаура, я сделаю, что только могу.

Во время наступившего молчания опухшие глаза Лауры не отрывались от его лица; она задышала чаще и, видимо, мучительно боролась с собой.

— Не верю я, чтобы вы что-нибудь для нас сделали, — отрезала она, задыхаясь, — и ненавижу вас за то, что вы уже сделали... почти так же сильно ненавижу, как себя. — Она повернулась и быстро вышла.

Джо постоял на месте, легонько поглаживая подбородок, потом улыбнулся про себя и вышел. Но на следующее утро, часов в одиннадцать, явился снова с хлопотливым видом, чтобы, как обещал, свезти Стэнли на завод. Лауры дома не было, но Стэнли уже встал и оделся. Он сидел внизу, в гостиной, на краешке стула, развлекаясь граммофоном. Граммофон был хороший, но музыка!.. Музыка, которую выбрал Стэнли, действовала Джо на нервы. Он запротестовал:

— Почему вы не поставите какую-нибудь пластинку повеселее, Стэнли?

— Мне эта нравится, — возразил Стэнли, ставя снова ту же пластинку. — Только эта одна мне и нравится. Я ее ставлю все утро.

Джо в замешательстве выслушал вторично ту же мелодию. Эта музыка и Стэнли, слушающий ее, — что за жуткое сочетание! Джо подошел и посмотрел на пластинку. Это был «Похоронный марш» Шопена. Джо повернулся к Стэнли:

— Ради всех святых, Стэнли, бросьте вы это! Вставайте, веселее! Автомобиль ждет меня у подъезда, едем на завод.

Они медленно доехали до завода и прошли прямо в литейный цех. Джо уже все подготовил заранее. Здесь были развешаны национальные флаги, а через весь цех протянуто большое полотнище с надписью: «Добро пожаловать». Джо откопал его в сундуке с разным хламом.

Когда Стэнли в сопровождении Джо вошел в цех, все прекратили работу и прокричали «ура». В литейном работало теперь очень много женщин. Джо находил, что их труд обходится гораздо дешевле и работают они быстрее пожилых мужчин. Все женщины кричали «ура» как бешеные. Стэнли смотрел на кричавших женщин, женщин в халатах, готовивших шрапнельные пули. Казалось, он не знает, что ему делать здесь, перед этими женщинами. Больше чем когда-либо он казался выходцем с того света. Джо вполголоса предложил:

— Скажите же что-нибудь, Стэнли. Скажите им, что хотите. — И он протянул руку, призывая к молчанию.

Мистер Стэнли посмотрел на женщин. Он сказал:

— Меня засыпало при взрыве снаряда. Я лежал в госпитале.

Снова «ура!» И под эти крики Джо торопливо подсказал:

— Скажите, что вас радует повышение производительности у нас на заводе и вы надеетесь, что они будут и впредь работать так, как сейчас.

Стэнли повторил громко:

— Я рад, что производительность у нас повышается, и надеюсь, что вы и впредь будете работать так, как сейчас.

Новое «ура» — громовое, долгое. Затем Джо взял на себя остальное. Он снова поднял руку, призывая к тишине. Сдвинул шляпу на затылок, сунул большой палец себе под мышку и, с широкой сияющей улыбкой оглядев толпу, начал:

— Все вы в восторге, что видите мистера Стэнли, и я также. Мистер Стэнли не хочет говорить о том, что он сделал, так скажу я вместо него несколько слов. Говорить долго не буду, потому что вам нужно работать, работать для отечества, делать необходимое дело, и вы не можете отрываться от него, чтобы слушать каждого. Я скажу только одно: скажу прямо в лицо мистеру Стэнли, что мы им гордимся! Я горжусь тем, что работаю с ним вместе, и знаю, что и вы с гордостью работаете для него. Мы с мистером Стэнли обсуждали все, и он выразил надежду, что все вы будете продолжать делать здесь свое маленькое дело так же честно, как он выполнял свой долг во Франции. Понимаете, вы должны работать вовсю, чтобы увеличить продукцию завода. Это все, что я хотел сказать. Но прежде чем опять приняться за работу, споемте все наш национальный гимн и потом прокричим «ура» мистеру Стэнли так, чтобы стены задрожали!

Наступила тишина — и затем женские голоса выразительно запели «Боже, храни короля». Вышло очень трогательно. И Джо прослезился.

Попросив Бога хранить короля, они прокричали «ура» мистеру Стэнли, потом Джо, потом всем вместе и с почти религиозным рвением принялись за работу — готовить шрапнель, бомбы и восемнадцатифунтовые гранаты.

А Джо повел Стэнли коридором в контору. Но они ушли недалеко. На полдороге в коридоре стоял колоссальный снаряд. Его изготовил не Джо, как ни лестно было бы ему готовить такие снаряды, — это был подарок Джо от Джона Ратли, старого Ратли

из Ерроу, заседавшего вместе с Джо в Комитете военного снабжения. У Ратли был громадный завод, и он выпускал громадные снаряды. Джо весьма гордился этим великолепным семнадцатидюймовым подарком, знаменовавшим собой многое, а в первую голову — то, что они с Джоном Ратли теперь в некотором роде друзья. Снаряд Джо поставил на красиво отполированную деревянную подставку, и он стоял здесь, сверкающий, гигантский, в немом экстазе поднимая к небу свою верхушку.

Снаряд-то и задержал Стэнли. Стэнли уставился своим застывшим взглядом на этот громадный цилиндр. Джо с нежностью шлепнул ладонью по головке снаряда:

— Красота, не правда ли? Я его окрестил «Кэти».

Мистер Стэнли молчал, но какой-то мрачный огонек мерцал все сильнее и сильнее под затягивавшей его взгляд пленкой.

— Жаль, что у нас не готовят такие крупные снаряды, — заметил Джо. — Это тоже дает чертову уйму денег. Ну, однако, идемте в контору. Там я задержал Добби и Моргана, и мы с ними потолкуем.

Но мистер Стэнли не двигался с места — он не мог пройти мимо снаряда, он все смотрел и смотрел на него. Это был такой же снаряд, как тот, что взорвался там, на фронте, и засыпал его. И душа Стэнли содрогнулась от ужаса перед этим снарядом.

— Да идемте же, — нетерпеливо торопил его Джо, — вы знаете, что нас ждут.

— Я хочу домой! — Голос Стэнли звучал очень странно, и он начал пятиться от снаряда.

«Господи Иисусе, — подумал Джо, — опять с ним это начинается».

Он взял Стэнли под руку, чтобы провести его мимо снаряда. Но Стэнли не мог решиться пройти мимо; кожа на его лбу судорожно двигалась, в глазах запрыгал скрытый до тех пор под пленкой смертельный ужас. Он шепнул, задыхаясь:

— Пустите. Я домой хочу.

— Ведь вы в безопасности, Стэнли, — сказал Джо. — Успокойтесь же! Теперь вы в безопасности. Не укусит вас этот снаряд, он даже не начинен. Будьте же рассудительны, Стэнли, голубчик!

Но Стэнли не в состоянии был внять голосу рассудка. Весь его рассудок вышибло вот таким же точно снарядом во Франции.

Его лицо быстро, судорожно дергалось, и жутко было видеть страх, прыгавший в его глазах.

— Мне надо домой! — Он едва говорил, из-под застывшей мертвой маски проступили невообразимая мука и возбуждение.

Джо покорно вздохнул:

— Ладно, в таком случае поезжайте домой, Стэнли. И не расстраивайтесь, пожалуйста.

Джо не хотел допускать сцены здесь, на заводе, особенно после того, как все так хорошо сошло. Не выпуская руки Стэнли, он с самым любезным видом проводил его обратно через цех. Улыбка Джо показывала, что все в порядке. «Мистер Стэнли просто еще не совсем окреп, только что из госпиталя, сами понимаете... Ну, разумеется, в этом все дело», — говорила его улыбка.

Автомобиль со Стэнли, сидевшим очень прямо на заднем сиденье, уехал в «Хиллтоп», а Джо, послав ему вдогонку последнюю дружескую и успокоительную улыбку, вернулся к себе в кабинет. Там он заперся и закурил сигару. Сидел и курил с сосредоточенным видом. Сигара была хорошая, но Джо о ней не думал. Он думал о Стэнли.

Сомнений быть не могло — Стэнли окончательно «выдохся». Джо стало ясно в первую же минуту, как он увидел Стэнли на вокзале, что эта контузия серьезнее, чем он воображал. Пройдет много месяцев, раньше чем Стэнли опять станет нормальным человеком, — если это вообще когда-нибудь будет. Пока же ему, Джо, придется более чем когда-либо вникать во все дела завода. И вряд ли было бы справедливо, если бы он не получал для себя при этом немного больше дохода, чем до сих пор. Да, вряд ли это было бы справедливо!

Джо внимательно смотрел на горящий кончик сигары и усиленно раскидывал умом. В настоящее время он кладет в карман около двух тысяч фунтов в год «на круг», как сказал бы Джим Моусон. Но ведь это гроши, попросту гроши! Надо подумать о будущем. И, боже, какой ему теперь представляется случай упрочить это будущее — запустить руку куда следует, еще глубже, о да, глубже, чем когда бы то ни было! Да, придется навести некоторый новый порядок на заводе Миллингтона. Так сказать, реорганизовать все... Вот именно — реорганизовать! Это идея.

Облизывая губы, Джо потянул к себе телефонную трубку, позвонил Джиму Моусону. Никогда еще его так не радовало зна-

комство с Моусоном и уверенность в его содействии. Продувной парень этот Джим, умеет и организовать дело, и лавировать так, чтобы не попасть в беду.

— Алло, Джим, это вы? — Джо постарался изложить Джиму все в надлежащем освещении. — Если бы вы видели беднягу, Джим, вам бы это душу надорвало! Он в полном рассудке и все такое, он так же нормален, как мы с вами, но у него что-то с нервами. Контузия, понимаете? Да, да, Джим, контузия... Верно, Джим, вы меня поняли.

Он помолчал, слушая, что говорит Моусон, потом сказал:

— Значит, завтра вечером у вас, Джим? Знаю, знаю, что спешить не следует... Ну разумеется, я знаю Снега, встречал его у Бостока. Ведь это тот, что вел знаменитое дело о контракте?.. Да, конечно... О, черт возьми, Джим, за кого вы меня принимаете?.. Теперь слушайте... да, правда, по телефону не стоит... разумеется... Как здоровье супруги? Это шикарно, Джим! Честное слово, шикарно! Ну хорошо, старина, пока до свидания!..

Джо повесил трубку, но только на одну минуту, — снова его большая рука потянулась к аппарату. Он позвонил Лауре в «Хилл-топ» и заговорил спокойным, сочувственным, рассудительным тоном:

— Мне необходимо потолковать с вами, Лаура. Честное слово, это необходимо. И какой смысл вам держать себя так, Лаура? Конечно, мне понятны ваши чувства, я вас не осуждаю, но все мы только слабые люди, не правда ли, с этим надо мириться. Да, да, браните меня, сколько хотите, — признаюсь, я это заслужил, — но, ради бога, наладим отношения. Мне нужно вас видеть, без этого не обойтись. Что? Хорошо, хорошо, я не могу заставить вас прийти, раз вы не хотите... Но я весь вечер буду дома, на случай если бы вы переменили решение...

Он продолжал говорить еще несколько минут, пока не услышал, что она повесила трубку. Тогда он ухмыльнулся, отошел от телефона и весело принялся за работу.

В этот день он пропустил обычный обед в клубе и вернулся домой часов около шести. Насвистывая, развел огонь в камине, отдал честь холодному пирогу с бараниной, запил его виски, затем умылся, причесался, накинул новый клетчатый халат и сел читать газету и ждать.

Время от времени глаза его обращались к часам на стене. Порой шум автомобиля на улице заставлял его настороженно выпрямляться в кресле. По мере того как стрелки описывали круг за кругом, его гладкий красивый лоб все больше хмурился, но в девять часов резкий звонок у двери заставил его поспешно вскочить.

Лаура вошла с какой-то нервной стремительностью. На ней было непромокаемое пальто и старая коричневая шапочка, плотно обтягивавшая голову, ботинки были забрызганы грязью. Джо подозревал, что она шла пешком всю дорогу от «Хиллтопа». Она была очень бледна.

— Как видите, я пришла, — объявила она с горькой враждебностью, держа руки в карманах пальто и напряженно выпрямившись. — О чем вы хотели говорить со мной?

Джо не пытался даже подойти к ней. Он не поднимал глаз от пола.

— Я рад, что вы пришли, Лаура.

— Ну, а дальше что? — спросила она все тем же сдавленным голосом. — Вы бы лучше сразу сказали, что вам надо. Я не могу оставаться тут долго.

— Присядьте, — попросил он с братской нежностью, — не можем же мы разговаривать стоя. Вы утомлены, у вас совсем замученный вид. — Он тактично отвернулся и помешал угли в камине, так что пламя снова ярко вспыхнуло.

Лаура наблюдала за ним с холодной иронией, затем со вздохом усталости упала в кресло. Сказала с горечью:

— У меня не было ни одной спокойной минуты с тех пор, как я ушла в последний раз из этой проклятой комнаты.

— Я знаю. — Джо сел на свое место с самым невинным видом и стал смотреть в огонь. — Но ведь мы не могли предвидеть то, что случилось, Лаура. Как мы могли это предвидеть?

— Каждый раз, как я на него взгляну... — Рыдание перехватило ей горло. — Каждую минуту... Он меня теперь не выносит. Вы это заметили, да? Ему как будто тягостно, когда я подле него. Он уехал в Борнмаус, в дом отдыха, и просил, чтобы я с ним не ездила. Так мне и надо, поделом мне! О боже, как я ненавижу и презираю себя!

Джо промычал что-то сочувственное.

— Молчите! — вскрикнула Лаура. — И вас тоже я ненавижу и презираю.

— Не следует, чтобы Стэнли узнал что-нибудь о нас, — сказал Джо тоном увещания. — Ничего решительно он не должен знать.

— Еще бы! — Она повернулась к нему с жесткой насмешкой. — Ведь вы-то не собираетесь ему рассказывать, а?

— О нет, — отвечал он странным тоном, встал и, подойдя к буфету, смешал крепкое виски с содовой. — Нет, если вы будете со мной заодно, Лаура. Выпейте-ка это, у вас совсем больной вид.

Она машинально взяла стакан, продолжая пристально глядеть на Джо.

— Что это значит — быть «заодно с вами»?

— Ну... мы должны быть друзьями, Лаура. — Он отхлебнул из своего стакана, хмуро размышляя о чем-то. — «Со всеми в дружбе» — вот мой девиз, я человек миролюбивый. Подумайте, как неудобно было бы, если бы вдруг все открылось. Ни Стэнли, ни нам от этого лучше бы не стало. Стэнли я теперь нужен на заводе. У меня имеются разные проекты насчет расширения, слияния... Да вот только на днях я вел переговоры с Джимом Моусоном из Тайнкасла. Вы, верно, его знаете, это один из самых крупных дельцов в Тайнкасле. И если Моусон, Стэнли и я соединим усилия, то вы представить себе не можете, как мы могли бы реорганизовать завод. Мы превратили бы его просто в золотое дно!

— Понимаю, — прошептала Лаура. — Я вижу, чего вам надо. Вы мною пресытились. А теперь хотите воспользоваться тем, что было между нами...

— Лаура, ради бога, как вам не совестно! Это верх несправедливости. У меня же абсолютно честные намерения. Мы будем работать компанией, — на всех хватит, тут можно загребать кучи денег!

— Денег! Вы ни о чем другом, кроме денег, не думаете. Жалкий человек!

— Я не более как человек, Лаура. Все мы слабые люди. Оттого я и не устоял перед вами.

— Перестаньте! — оборвала она свирепо.

Он замолчал. Лаура выпила виски. Оно ее подкрепило. «Джо, по крайней мере, практичен во всем, что делает», — подумала она и с ненавистью посмотрела на него. В течение всех этих недель она ненавидела его, вспоминая его шутливость, вульгар-

ность, ненасытный эгоизм, физическую грубость. И все же вынуждена была скрепя сердце признать, что он, в сущности, не хам. И он красив, удивительно красив. У него прекрасное мускулистое тело, пленительные карие глаза. И она научила его кое-чему — одеваться, следить за собой, быть чистоплотным. В известном смысле он был ее созданием.

— Вы на меня все еще сердитесь, Лаура? — спросил он смиренно.

— Я о вас просто не думаю.

Пауза. Лаура бесцеремонно протягивает свой пустой стакан:

— Налейте еще. Думаю, что заслужила второй.

Джо поспешно налил ей виски, вздохнул:

— А я очень много думал о вас все это время. Мне вас не доставало.

Она отрывисто засмеялась и проглотила свое виски с таким видом, как будто оно очень горькое.

— Лжете. Путались, верно, с другой, пока меня не было... Пока я ухаживала за человеком, которому я противна, человеком, который контужен и весь высох, вы спали с другой женщиной. Ну, признавайтесь!

— Я говорю правду, — с серьезным видом лгал Джо.

— Не верю, — возразила Лаура, но сердце у нее все же екнуло. — И, во всяком случае, это не имеет значения. Слава богу, я снова стала прежней. Мне все равно, будь у вас хоть сто любовниц. Теперь я всю себя посвящу Стэнли.

— Знаю, Лаура, — сказал он. — Но давайте останемся друзьями. — Он потянулся, чтобы взять у нее пустой стакан, но вместо этого взял ее за руку.

— Как вы смеете, как вы смеете! — Она вырвала руку. Глаза ее наполнились слезами, она вдруг заплакала.

— Только друзьями, Лаура, — умолял Джо. — Просто добрыми товарищами.

— Как вы можете так мучить меня? Разве я мало пережила? Я ухожу... ухожу. — Она встала, как слепая, и в тот же миг руки Джо обвились вокруг нее, ласково удерживая, крепко и уверенно обнимая:

— Ты не можешь так уйти, Лаура.

— Оставьте меня, пустите, ради бога! Оставьте меня! — Она пыталась вырваться, истерически плача.

— Ну пожалуйста, Лаура, прошу тебя!

Борясь с ним, она вдруг почувствовала, что дрожит. Она чувствовала, что тело ее трепещет от близости его тела.

— О, как ты можешь, Джо! Как ты можешь так отвратительно относиться ко мне!..

— Лаура! — Он поцеловал ее.

— Нет, Джо, не хочу... — шепнула она беспомощно, но его губы снова помешали ей говорить. Все растворилось, исчезло из ее души. Осталось лишь ощущение его близости. Это была реакция. Жуткие месяцы в Собридже, одиночество, капризы Стэнли, мертвящая скука жизни с человеком-автоматом, похоронившим свой пол в яме, вырытой снарядом где-то во Франции... Лаура закрыла глаза. Дрожь пронизала ее тело. Джо не любит ее, он просто пользуется ею и готов всегда покинуть ее в трудную минуту... Но к чему думать об этом?.. Она почувствовала, что он поднял ее и несет в спальню.

Когда она вернулась домой в «Хиллтоп», было уже около десяти часов и в гостиной ее ожидала миссис Ратли, жена Джона Ратли.

— О дорогая моя, — сказала она, вставая и с горячим сочувствием беря Лауру за обе руки, — мне сказали, что вы вышли подышать свежим воздухом, но я просто не могла уйти, не дождавшись вас. Мне так больно за Стэнли, дорогая моя! Я не могла удержаться, чтобы не заехать к вам. У вас такой удрученный вид! Что же удивительного, я всегда говорила Джону, что вы со Стэнли — настоящая пара влюбленных голубков. Но не огорчайтесь, дорогая, он у вас скоро поправится.

Лаура неподвижно смотрела на старую даму, лицо ее вдруг дрогнуло кривой усмешкой.

XIX

В середине ноября 1917 года Марта узнала новость об Энни Мэйсер. Новость эту сообщила ей Ханна Брэйс в одно уже позимнему холодное утро. Ханна выразила сожаление, что с такой приличной девушкой, как Энни, приключилась беда. Ханна стояла на улице перед домом, в мужском кепи, под которое подобрала растрепанные пряди волос, сгорбленная, с посиневшим от

холода носом, и на руке у нее висел коврик, который она собиралась вытряхнуть.

— Я чуть в обморок не упала, когда увидела Энни в таком положении, — рассказывала она.

Смятение, написанное на добром лице Ханны, ничуть не отразилось на лице Марты. Черты Марты остались непроницаемыми, и, не ожидая подробностей, о которых Ханне, видимо, очень хотелось посудачить, она вошла в свой домик и закрыла дверь. Несмотря на внешнее безучастие, ее душила мстительная радость. Она села у стола и, опершись подбородком на руку с выступающими суставами, задумалась о том, что ей сказала Ханна. Суровая усмешка тронула ее губы. Не говорила ли она всегда, что ничего хорошего нет в этой девушке, — и вот теперь это подтвердилось. Она, Марта Фенвик, оказалась права.

Конечно, Сэмми виноват. Когда Сэмми в последний раз приезжал в отпуск, он очень редко бывал дома. Он даже, к великому неудовольствию матери, целых два праздничных дня провел где-то вне дома. И вот результат. Да, Сэмми виноват, но это ничего не значит. По понятиям Марты, мужчину в таких случаях осуждать было нельзя. И Марта была довольна, — да, она с беспощадной прямоотой призналась себе в этом, — довольна, что дело приняло такой оборот. Теперь Сэмми перестанет уважать Энни. Навсегда! Марта была убеждена, что мужчина никого так не презирает, как девушку, которая от него забеременела. К тому же Сэмми далеко, очень далеко отсюда. А когда он вернется, она, мать, уж сумеет забрать его в руки. Она его разлучит с Энни Мэйсер. Она знает, как это сделать, отлично знает.

Первым делом, конечно, надо было убедиться, что Ханна не ошиблась. И в то же утро, часов в одиннадцать, Марта надела пальто и медленно пошла по Каупен-стрит, прислушиваясь, не зазвенит ли колокольчик Энни. Мэйсерам в то время приходилось туго: Пэга забрали в армию, а старику Мэйсеру, который боялся мин и которого все больше одолевал ревматизм, приходилось довольствоваться ужением мерлана у берега. Энни помогала ему вбивать колышки, когда кончался прилив, сталкивать ранним утром лодку в воду, насаживать стальные крючки и выезжала вместе с отцом за мол, когда над серой водой занималась бледная заря. Потом, утром, когда город просыпался, Энни ходи-

ла по улицам Слискейла с рыбачьей корзинкой на плече и медным колокольчиком в руке, распродавая улов.

В это утро Марта услышала звон колокольчика Энни в нижнем конце Каупен-стрит. Марту этот звук всегда раздражал, но сегодня, увидев Энни, она позабыла о колокольчике. Однако зоркого взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что Ханна Брэйс права: Энни была «в таком положении».

Не спеша, с суровым видом, шагала Марта, пока не поравнялась с Энни, которая поставила свою корзину на мостовую, чтобы отпустить рыбы миссис Дэйл с Миддльригской фермы. Марта остановилась, наблюдая, как Энни доставала из корзины свежеспотрошенную рыбу потрескавшимися, но чистыми руками и клала ее на протянутую покупательницей тарелку. Марта не могла не признать, что Энни опрятная девушка. Ее обветренное лицо было тщательно вымыто, синий фартук свежесвыстиран и топорщился, как только что выутюженный, обнаженные до локтя руки и розовы и крепки, а глаза ясны, как будто их отшлифовал ветер. Вынужденная признать, что Энни чистоплотна, Марта ощутила еще большую горечь. Она стояла, поджав губы, и ждала, пока Энни рассчитается с миссис Дэйл.

Наконец Энни закрыла корзину и выпрямилась. Она увидела Марту, и лицо ее медленно, неуловимо просветлело. Лицо Энни никогда быстро не меняло выражения, оно дышало невозмутимым, почти тупым спокойствием. Но в эту минуту оно несомненно просияло. Энни подумала, что Марта хочет купить у нее рыбу, а эту честь Марта до сих пор ей ни разу не оказывала. И Энни робко улыбнулась.

— У меня сегодня хороший мерлан, миссис Фенвик, — сказала она.

Марта молчала, и Энни уже упрекала себя в излишней смелости, поэтому она прибавила:

— Он сегодня крупнее, чем всегда.

Марта ничего не отвечала, продолжая смотреть на Энни.

Энни все еще не понимала. Легким движением своего красивого тела она подняла корзину за черную кожаную ручку и показала Марте рыбу.

— Мы с отцом поймали ее сегодня в четыре часа утра, — сказала она. — Мерлан лучше всего ловится, когда над водой еще

стоит туман. Вам не надо будет самой нести ее, я оставлю парочку на вашем крыльце, когда буду проходить мимо.

Для Энни это была длинная речь, поразительно длинная. И красноречие ее объяснялось тем, что Энни страшно хотелось угодить матери Сэма.

Марта не говорила ни слова. И, когда Энни подняла глаза от рыбы, она встретила устремленный на нее ледяной взгляд. Это был взгляд всё знающий, выразительный, многозначительный. И Энни поняла. Затем Марта сказала:

— Не надо мне вашей рыбы и ничего от вас не надо.

Она ждала, что ответит Энни. Но Энни промолчала. Она опустила глаза на корзину, словно пристыженная.

Чувство жестокого торжества охватило Марту. Она подождала еще, но, видя, что Энни не намерена отвечать, повернулась к ней спиной и ушла, высоко подняв голову...

Энни подняла глаза и смотрела вслед удалявшейся Марте. В эту минуту в Энни было что-то удивительно благородное. Ее открытое обветренное лицо не выражало ни стыда, ни смущения, ни гнева, в нем светилась только грусть. С минуту она стояла, как бы охваченная глубокой жалостью, потом подняла на плечо корзину и пошла вверх по улице. Ее колокольчик звенел негромко и ясно.

С этого дня Марта из кожи лезла, стремясь унижить Энни. Она не замедлила «создать Энни репутацию» на Террасах. Это было странно: Марта никогда не любила праздной болтовни, она терпеть не могла сплетен, презирала их. Но теперь ей доставляло жестокое удовольствие распространять новость о беременности Энни.

Она поставила себе за правило встречать Энни как можно чаще и всякий раз, проходя мимо, бросала ей все тот же уничтожающий взгляд. Ни одного слова — только этот взгляд. Она открыла любимое место прогулок Энни, где та бродила одна по вечерам, когда ей удавалось урвать для себя часок, — то была дорога вдоль берега и вверх по крутому холму за «Снуком». Марта, никогда не выходившая за пределы Террас и города, теперь начала прогуливаться там же, где Энни. Иногда Энни первая приходила на утес над морем и стояла, напряженно вглядываясь в даль, а иногда первой приходила Марта. Неизменно устремляла она

на Энни этот молчаливый взгляд. Часто Энни, видимо, хотела заговорить с нею, но взгляд Марты замораживал ее. Марта говорила себе, что столько лет она страдала по милости Энни, теперь пускай Энни помучается из-за нее.

Сэму Марта и словом не обмолвилась на этот счет; в письмах к нему она не сделала ни одного намека. Она была слишком умна для этого. Еще чаще стала она посылать ему посылки, великолепные посылки, — она хотела, чтобы Сэмми оценил любовь матери. Каждую неделю Марта получала по книжке Сэмми его жалованье, и эти деньги давали ей возможность делать то, что ей хотелось. Если бы не жалованье Сэмми, ей бы трудно приходилось.

Проходили дни, проходили недели. В Слискейле было очень мало перемен. В «Нептуне» уже далеко продвинули железную дорогу в «Парадиз». Дженни все еще жила в Тайнкасле у своих родных, и Марта ничего о ней не знала. Гарри Огль, сын старого Тома Огля, был избран в муниципальный совет. Ганса Мессюэра из местной больницы перевели в лагерь для интернированных. Миссис Скорбящая открывала свою пирожковую лавку только два раза в неделю. Джека Риди эвакуировали с фронта из-за тяжелого отравления газами. От Дэвида письма приходили регулярно раз в месяц. Жизнь шла своим чередом.

И Энни Мэйсер по-прежнему торговала вразнос рыбой, которую она и ее отец ловили рано утром, когда над водой еще стлался беловатый туман. Все говорили, что это срам — «в таком положении» ходить по улицам и торговать рыбой! Но Энни ничего другого делать не умела. Брат ее, Пэг, был не такой человек, чтобы отдавать им свое жалованье, и ловля рыбы была для Энни и ее отца единственным средством к существованию. И Энни продолжала ходить с корзинкой по улицам, несмотря на то что все считали это позором.

Но однажды Энни не вышла торговать — это было 22 марта, — в этот день нигде не видно было Энни с ее корзинкой и колокольчиком. Напрасно высматривала ее Марта. И Марта подумала со злобой: «Видно, пришло ей время. Наконец дождалась!»

Но время Энни еще не пришло. Вечером Марта пошла по тропинке вдоль берега, миновала пустырь и поднялась на скалу. Она предприняла эту прогулку отчасти по создавшейся у нее в последнее время привычке, отчасти же для того, чтобы увидеть Энни,

если та придет. Но Энни не было. И Марта стояла, прямая, крепкая, глядя вниз на тропинку, думая все с той же злобой, что Энни «пришло время», что наконец она родит своего ублюдка.

Но Энни еще не пришло время. И Марта, стоя наверху, вдруг сурово выпрямилась, увидев у подножия скалы Энни, поднимающуюся по тропинке. Энни поднималась медленно, а Марта ждала, пока она приблизится, держа наготове тот взгляд, которым она обычно мерила Энни. Сегодня Энни заставляла ее долго ждать. Она взбиралась медленно-медленно, словно изнемогая под тяжелой ношей, но наконец добралась до верхушки. И Марта бросила на нее обычный взгляд.

Но Энни не обратила на это никакого внимания. Она остановилась перед Мартой, необычайно бледная, запыхавшись от подъема и сутулясь, как будто изнемогая под тяжелой ношей. Она поглядела на Марту, устремила глаза вдаль, на море, как всегда ища те места, где находился Сэмми, и сказала, как будто сообщая самый обыкновенный факт:

— Мы с Сэмми в августе поженились.

Марта отшатнулась, как ужаленная, но выпрямилась снова.

— Ложь! — сказала она.

По-прежнему глядя туда, где может быть, находится Сэмми, Энни повторила печально, почти утомленно:

— Мы поженились, Сэмми и я, в августе, когда он в последний раз приезжал в отпуск.

— Неправда, — возразила Марта. — Не может этого быть. — И прибавила в порыве торжества: — Ведь деньги за Сэмми получаю я.

По-прежнему ища глазами ту страну, где находился Сэмми, Энни промолвила:

— Мы решили, Сэмми и я, чтобы деньги по-прежнему получали вы. Мы не хотели, чтобы вы их лишились.

Лицо Марты стало еще суровее, побелело от гнева. Уязвленная гордость бушевала в ней. Она процедила сквозь стиснутые зубы:

— Не верю я этому. Никогда не поверю.

Медленно оторвались глаза Энни от той дали, где мог быть Сэмми. Глаза были сухи. На лице лежала мрачная тень. И больше, чем когда-либо, казалось, что Энни изнемогает под тяжелой ношей. Она протянула Марте телеграмму, которую держала в руке.

Марта взяла телеграмму. Телеграмма была адресована миссис Энни Фенвик. И в ней стояло:

«С прискорбием извещаем Вас, что Ваш муж, капрал Сэмюэль Фенвик, убит в сражении 19 марта».

XX

24 апреля 1918 года истек срок заключения Артура, и в девять часов утра он, переодетый в свое платье, прошел через тюремные ворота. С опущенной головой вышел он из-под серой каменной арки и тихонько побрел прочь. Было сырое туманное утро, но Артуру казалось, что вокруг просто невероятно много света и простора. Где же камера, где стены, которые преграждали ему путь? Внезапно поняв, что стены остались позади, он зашагал быстрее, — хотелось подальше уйти от них.

Но скоро ему пришлось замедлить шаг: он был не в состоянии идти быстро, он был слаб, как человек, только что вышедший из больницы, легко утомлялся, горбился, кожа его приобрела болезненную бледность. Голова его была наголо обрита (об этом позаботился пару дней тому назад надзиратель Коллинс — то была его последняя шутка), и можно было подумать, что Артур перенес какую-нибудь операцию мозга, тяжелую операцию в том большом госпитале, который он только что покинул.

И без сомнения, эта операция была виновата в том, что он так нервно поглядывал на всех встречных, проверяя, не смотрят ли они на него. Смотрят ли на него люди? Смотрят ли?

Пройдя около мили, он очутился в предместье Бентона и вошел в кофейню, посещаемую рабочими. Вывеска гласила: «Хорошая стоянка для телег». Артур уселся, не снимая шляпы, чтобы не обнажать бритой головы, и, опустив глаза, заказал кофе и два яйца всмятку. Он не смотрел на человека, прислуживавшего ему, и видел только его башмаки, грязный фартук и желтые от табака пальцы. Принеся кофе и яйца, лакей сразу попросил уплатить.

Согнувшись над столом, не снимая шляпы с головы, Артур выпил кофе, съел яйца. Его руки неловко орудовали тяжелым ножом и ложкой, привыкнув в тюрьме к оловянным. Платье висело на нем нескладно и свободно. Он подумал, что немного исху-

дал в тюрьме. «Но теперь я на воле, на воле! — твердил он про себя. — Да, слава богу, я вышел оттуда!»

После кофе и яиц он почувствовал себя лучше и уже решил-ся взглянуть на человека, сидевшего у дверей, и спросить у него пачку папирос.

У человека были рыжие волосы и нагло-пытливый взгляд:

— За двадцать?

Артур утвердительно кивнул и положил на прилавок шиллинг.

Рыжий перешел на конфиденциальный тон.

— Долго сидели? — спросил он.

Тогда Артур понял, что он знает о его пребывании в тюрьме. Должно быть, большинство освобожденных заходило сюда. Краска залила его землистое лицо. Не отвечая, он вышел из кофейни.

Первая папироса не доставила ему особенного удовольствия, его немного мутило от нее, но зато ему уже меньше чудилось, что все на улице обращают на него внимание. Мальчик, шедший в школу, увидел, как он открывает коробку с папиросами, и побежал за ним, чтобы попросить «картинку». Артур с радостной готовностью стал доставать онемевшими мозолистыми пальцами пестрый ярлычок из коробки и, достав, протянул его мальчугану. То, что этот ребенок заговорил с ним, беглое прикосновение его теплой ручки каким-то таинственным образом помогло Артуру. Он вдруг почувствовал себя ближе к людям.

В Бентоне, на конечной станции, он сел в трамвай, идущий в Тайнкасл, и в трамвае сидел задумавшись, устремив глаза на пол. В тюрьме он не в состоянии был думать о чем-либо, кроме огромного мира за ее стенами. Теперь же, когда он вернулся в этот мир, он не мог думать ни о чем, кроме тюрьмы. Напутствие тюремного священника еще звучало в его ушах: «Надеюсь, пребывание здесь сделало из вас человека». Докторский осмотр: «Поднимите рубаху, спустите штаны». Прощальная шутка Хикса, сказанная шепотом через плечо во время прогулки: «Что, Касберт, сегодня ночью не обойдется без юбки?» Да, он все помнил. Особенно хорошо помнилась последняя издевка Коллинса. Что-то побудило Артура протянуть руку надзирателю, когда он в последний раз щелкнул ключом, но Коллинс сказал:

— Убери свою поганую руку, Касберт, — и метко плюнул на ладонь Артура.

Вспомнив это, Артур инстинктивно вытер руку о штанину.

Трамвай доплелся до Тайнкасла, проехал по знакомым людным улицам и наконец остановился перед Центральным вокзалом. Артур сошел и направился в здание вокзала. Он намеревался купить билет до Слискейла, но, когда он уже подошел к кассе, им вдруг овладела нерешительность. Он не мог заставить себя сделать это.

— Когда идет следующий в Слискейл? — спросил он у одного из носильщиков.

— В одиннадцать пятьдесят пять.

Артур посмотрел на большие часы над книжным киоском: ему оставалось пять минут на то, чтобы купить билет и сесть в поезд. Но нет, так быстро он не может на это решиться. Ему еще не хочется ехать домой!

Он знал, что мать умерла, — его в свое время об этом известили. И теперь, зачем-то обманывая себя, он пытался объяснить свою нерешительность тем, что матери уже нет в живых. Он отошел от кассы и остановился перед книжным киоском, рассматривая плакат «Начинается великое наступление». Ему приятны были суэта и движение вокруг, приятно было находиться в толпе, где его никто не знает. Когда мимо, нечаянно толкнув его, пробежала какая-то девушка, Артур снова вспомнил замечание Хикса: «Что, Касберт, сегодня ночью не обойдется без юбки?»

Он покраснел и отвернулся. Чтобы убить время, пошел в буфет, заказал кружку чаю и булочку. К чему скрывать: ему хотелось увидеть Гетти. Он был так слаб, утомлен, измучен тоской по ней. Хотелось прийти, стать на колени, обнять ее. Гетти любит его по-настоящему, она поймет, пожалеет, утешит. Горячая нежность томила его, слезы выступили на глазах. Все другое потеряло для него интерес. Он должен, должен увидеть Гетти.

В первом часу он ушел с вокзала и зашагал по направлению к Колледж-роу. Медленно взбирался по некрутому подъему — отчасти потому, что был до крайности истощен, главным же образом из-за томившего его страха. При одной мысли о том, что он снова увидит Гетти, вся кровь отливала от его сердца. Он подошел к дому № 17, бледный от волнения, постоял на противоположной стороне улицы, не сводя глаз с дома Тоддов. Теперь, когда он стоял уже перед этим домом, у него не хватало духа войти, толпившиеся в голове печальные мысли удерживали его. Как

они, должно быть, удивятся, когда он так неожиданно войдет, прямо из тюрьмы! Но нет, у него не хватит смелости подняться по этим ступенькам и позвонить.

Он слонялся вокруг дома в мучительной нерешительности, всей душой стремясь увидеть Гетти, надеясь, что ему повезет и она выйдет или придет откуда-нибудь и тогда они встретятся. Около трех часов им опять овладела слабость, и он почувствовал, что ему необходимо сесть. Он направился к бульвару на Колледж-роу, чтобы посидеть на одной из скамеек под липами, мысленно решив, что потом вернется сюда и снова будет подстергать Гетти. Едва волоча ноги, он перешел через улицу и на углу столкнулся с Лаурой Миллингтон.

Неожиданность этой встречи так его потрясла, что у него захватило дыхание. Лаура сперва его не заметила. Ее лицо, озабоченное, почти апатичное, не изменило выражения, и она собиралась пройти мимо. Но в следующую минуту она узнала Артура.

— Боже мой, Артур! — ахнула она. — Вы?

Он не поднимал глаз от мостовой.

— Да, — пробормотал он в смущении, — это я.

Лаура внимательно смотрела на него, выражение ее лица изменилось, исчезла застывшая на нем грусть.

— Вы заходили навестить моего отца?

Артур молча покачал головой, все еще не глядя на нее. Безнадежность его позы снова острой болью отозвалась в сердце Лауры. Глубоко тронутая, она подошла ближе и взяла его за руку.

— Вы должны зайти к нам, — сказала она. — Пойдемте, я тоже иду домой. У вас совсем больной вид.

— Нет, — пробормотал он, упираясь, как ребенок. — Я там никому не нужен.

— Вы непременно должны зайти, — настаивала Лаура.

И Артур, все так же по-детски, послушался, позволил ей вести себя к дому. Он с ужасом чувствовал, что вот-вот расплчется.

Лаура вынула из сумочки ключ, отперла им дверь, и они вошли в маленькую гостиную, так хорошо знакомую Артуру. При виде его бритой головы Лаура невольно ахнула от жалости. Она взяла его за плечи и усадила в кресло у камина. Бледный, как все, кто долго пробыл в тюрьме, поникнув всем своим исхудавшим в тюрьме телом, на котором платье болталось, как на вешалке, он сидел неподвижно, а Лаура убежала на кухню. Ничего не сказав

кухарке Минни, она сама торопливо принесла Артуру на подносе чай и горячие гренки с маслом. Пока он пил и ел, она с тревогой смотрела на него.

— Все, все доедайте, — сказала она ласково.

Он послушно доел гренки. Чутье сразу подсказало ему, что ни Гетти, ни ее отца нет дома. На миг его мысли отвлеклись от Гетти. Он поднял голову и в первый раз посмотрел в лицо Лауре.

— Спасибо, Лаура, — сказал он смиренно.

Лаура ничего не ответила, но снова живое сострадание мелькнуло на ее бледном лице, как будто осветив его внезапной вспышкой пламени. Артур не мог не заметить, как постарела Лаура. Под глазами легли тени, одета она была небрежно, волосы подобраны кое-как. Несмотря на душевное оцепенение Артура, перемена в Лауре дошла до его сознания и поразила его.

— У вас случилось что-нибудь, Лаура? Почему вы здесь? И одна?

На этот раз сквозь ее внешнее спокойствие прорвалось глубокое и горестное волнение.

— Ничего не случилось. — Она наклонилась и помешала угли в камине. — Я вот уж неделю гощу у отца. А дом в «Хиллтопе» временно оставила.

— Оставили дом?!

Она кивнула, затем тихо пояснила:

— Стэнли уехал в Борнмаус, в санаторий. Вы, вероятно, не знаете, что он контужен. Когда я все здесь приведу в порядок, я поеду к нему.

Артур беспомощно смотрел на нее; мозг его отказывался работать.

— А как же завод, Лаура? — воскликнул он наконец.

— С заводом все улажено, — отвечала она ровным голосом. — Это меня меньше всего беспокоит, Артур.

Он все смотрел на нее с каким-то изумлением. То была новая Лаура, не та, которую он знал. Его поразила сосредоточенная грусть ее лица, эта складка у губ, ироническая и вместе с тем страдальческая. Тайным внутренним инстинктом, рожденным его собственными страданиями, он угадал под маской равнодушия раненую душу. Но сейчас он не мог в этом разобраться. Снова навалилась на него непреодолимая усталость. Наступило долгое молчание.

— Мне совестно, что я вам причинил столько хлопот, Лаура, — сказал он наконец.

— Никаких хлопот вы мне не причинили.

Артур был в нерешительности, спрашивая себя, не хочет ли она, чтобы он ушел.

— Раз я уже здесь, я... я, пожалуй, подожду, пока придет Гетти.

Снова пауза. Артур чувствовал на себе взгляд Лауры, стоявшей на коленях на коврике перед огнем. Она поднялась и сказала:

— Гетти здесь больше не живет.

— Что?!

— Нет, — она покачала головой. — Гетти теперь в Фарнборо... Видите ли... — Она остановилась. — Видите ли, Артур, там Дик Парвис.

— Но какое отношение... — Он замолчал, словно острый шип вонзился ему в сердце.

— Ах да, ведь вы не знаете, — сказала Лаура все так же беззвучно. — Она в январе вышла за него замуж.

Ее глаза избегали глаз Артура, но она положила ему руку на плечо:

— Это случилось так неожиданно... Его наградили крестом Виктории... как раз тогда, когда умерла ваша мать. Он получил крест за то, что сбил цеппелин. Мы никогда не думали, Артур... Но Гетти вдруг решила... О свадьбе сообщалось во всех газетах.

Артур сидел очень тихо, в каком-то оцепенении.

— Значит, Гетти замужем...

— Да, Артур.

— Я никак не думал... — Он сделал движение горлом, словно проглотив что-нибудь, и судорога прошла по всему его телу. — Впрочем, она все равно не хотела иметь со мной ничего общего.

Лаура мудро воздержалась от попыток утешить его.

Он с усилием начал вставать с кресла.

— Ну, мне пора, — сказал он нетвердым голосом.

— Нет, не уходите еще, Артур. У вас совсем больной вид.

— Хуже всего то, что... — Он, шатаясь, встал. — О боже, со мною что-то неладно... в голове туман... Как я доберусь до вокзала? — Он с бессмысленным видом поднял руку ко лбу.

Лаура шагнула вперед и загородила ему дорогу к двери:

— Никуда вы не пойдете, Артур. Я не могу вас отпустить. Вы в таком состоянии, что вам надо лечь в постель.

— У вас добрые намерения, Лаура, — сказал он хрипло и пошатнулся. — И у меня тоже всегда были добрые намерения. Мы оба люди добрых намерений. — Он рассмеялся. — Но *сделать* мы ничего не можем.

У Лауры созрело решение. Она крепко обхватила рукой плечи Артура:

— Послушайте, Артур, я вас не отпущу в таком состоянии. Вы ляжете в постель... здесь, у нас... сейчас же. Не говорите ни слова. Я все объясню отцу, когда он придет.

Поддерживая его, она проводила его в переднюю, а оттуда по лестнице наверх. В спальне зажгла газ, спокойно и уверенно помогла ему раздеться и лечь. После этого она налила горячей воды в бутылку и положила ее к ногам Артура. Она смотрела на него с тревогой:

— Ну, как вы себя чувствуете сейчас?

— Лучше, — солгал Артур. Он лежал на боку, свернувшись калачиком. Он догадывался, что лежит в спальне Гетти, на ее кровати. Забавно! Он — в милой девичьей кровати милой девочки Гетти! «Не обойдется сегодня без юбки, а, Касберт?» Он хотел засмеяться, но не мог. Воспоминание снова расшевелило занозу в его сердце.

Было около пяти часов вечера. Солнце, пробившись сквозь низкие тучи, заливало комнату косыми лучами, от которых пылали обои на стенах. В садике за домом свистели дрозды. Стояла глубокая призрачная тишина, и чем-то призрачным была мягкая постель Гетти. А Лаура, должно быть, ушла из комнаты, и его томила непонятная тоска.

— Выпейте это, Артур, тогда скорее уснете.

Значит, Лаура уже вернулась! Как она добра к нему! Поднявшись на локте, он выпил принесенную ею чашку горячего бульона. Лаура сидела подле него на краю кровати, и от ее присутствия все в этой тихой комнате стало как-то реальнее. Ее руки, державшие перед ним поднос, были белы и нежны. Артур раньше был невысокого мнения о Лауре и не особенно любил ее. Теперь же он был подавлен ее добротой. Он вдруг заплакал от благодарности:

— К чему вы возитесь со мной, Лаура?

— На вашем месте я бы не огорчалась, Артур, право, — сказала Лаура. — Все обойдется.

Она взяла от него пустую чашку, поставила ее на поднос и хотела подняться.

Но Артур протянул руки и уцепился за нее, как ребенок, который боится, что его оставят одного:

— Не уходите от меня, Лаура.

— Хорошо.

Она снова села, поставила поднос на столик у кровати, тихонько стала гладить его по голове.

Он всхлипнул, потом судорожно зарыдал. Он припал к Лауре. Лежать так, зарывшись лицом в ее мягкие колени, было невозможно отраднo — блаженное ощущение, словно теплое молоко, разлилось по всему его телу.

— Лаура, — шепнул он. — Лаура!

В ней вдруг вспыхнула страстная нежность. Его поза, эта жажда утешения, тяжесть его головы, прижавшейся к ее бедрам, разбудили в ней какое-то дикое томление. Застывшим взглядом смотрела она прямо перед собой и вдруг увидела в зеркале, висевшем напротив, свое лицо. И сразу наступила реакция. «Нет, только не это! — сказала она себе яростно. — Нет, этого я не хочу!» Она снова опустила глаза на Артура. Обессиленный, он больше не плакал и уже дремал; губы его были полуоткрыты, на лице выражение беспомощной, беззащитной покорности. Она ясно видела раны в этом сердце. Безграничная печаль была в вяло опущенных веках, в его узком и точно срезанном подбородке.

За окном перестали петь дрозды, и предвечерняя мгла вползла в комнату.

А Лаура все сидела, поддерживая голову Артура, хотя он давно спал. Выражение ее лица было трогательно-прекрасно.

XXI

Две недели пролежал Артур больной в доме Тодда, так ослабев, что не в силах был встать.

Доктор, приглашенный Лаурой, напугал ее предположением, что это злокачественная анемия. Доктор Добби, живший в доме № 1 по Колледж-роу, был своим человеком в семье Тоддов, история Артура была ему известна, и поэтому он вел себя с большим тактом и предупредительностью. Он сделал несколько ис-

следований крови и лечил Артура подкожными впрыскиваниями марганца. Но выздоровлением своим Артур был обязан не столько доктору, сколько Лауре. В заботах о нем она проявила редкое качество — страстную самоотверженность. Она заперла дом в «Хиллтопе» и посвятила все свое время уходу за Артуром: стирала для него, читала ему вслух, а то и просто молчаливым товарищем сидела у его постели. Странное поведение со стороны женщины, раньше такой безучастной, так явно поглощенной собой! Может быть, она видела в этом искупление, неожиданно посланную судьбой спасительную соломинку, за которую она ухватилась в жадном желании доказать себе, что в ней есть все же кое-что хорошее. И потому каждый шаг Артура на пути к выздоровлению, каждое его слово благодарности делали ее счастливой. Залечивая его раны, она залечивала и свою.

Отец ее ни во что не вмешивался. Не в характере Адама Тодда было мешать другим. К тому же он жалел Артура, который так несчастливо для себя пытался плыть против течения. Два раза в день Тодд приходил в комнату больного, становился у постели, неловко пытался поддерживать разговор, умолкал, откашливался и, стараясь быть непринужденным, балансировал то на одной ноге, то на другой, как старый и порядком одряхлевший реполов. Его явные старания избегать опасных тем — упоминаний о «Нептуне», о войне, о Гетти, обо всем, что могло бы взволновать Артура, — были трогательны и комичны. И, бочком пробираясь к двери, он всегда в заключение говорил:

— Спешить незачем, мальчик. Ты можешь оставаться здесь столько, сколько тебе понадобится.

Артур понемногу поправлялся, стал выходить из своей комнаты, а затем и совершать небольшие прогулки с Лаурой. Они избегали людных мест и обыкновенно ходили на Таун-Моор, высоко расположенный участок открытого парка, откуда в ясную погоду видны были Оттербернские холмы. Артур, собственно, еще не сознавал, как многим он обязан Лауре, но иногда он в неожиданном порыве говорил ей:

— Как вы добры ко мне, Лаура!

— Пустяки, — отвечала она неизменно.

Как-то раз, в прохладное и ясное утро, они во время прогулки на несколько минут присели отдохнуть на скамейке в самой высокой части парка.

— Не знаю, что бы я делал без вас, — сказал Артур со вздохом. — Покатился бы, верно, вниз по наклонной плоскости. Морально, конечно. Вы не знаете, Лаура, какое бывает искушение махнуть на все рукой.

Лаура не отвечала.

— Но теперь у меня такое чувство, словно вы опять собрали и склеили меня и сделали из меня что-то похожее на человека. Теперь я чувствую, что некоторые вещи мне уже не страшны. Однако это несправедливо: из нашей встречи пользу извлек только я, вы же ничего не получаете взамен.

— Вы так думаете? — отвечала Лаура странным тоном.

Подставляя лицо свежему ветру, Артур всматривался в ее бледный строгий профиль, в спокойную неподвижность ее позы.

— Знаете, Лаура, кого вы мне напоминаете? — сказал он вдруг. — Одну из рафаэлевских мадонн, которую я видел в какой-то книге у нас дома.

Лаура покраснела — сильно, мучительно, и лицо ее внезапно исказилось.

— Не говорите глупостей, — бросила она резко и, встав, торопливо ушла.

Артур смотрел ей вслед в замешательстве, потом тоже поднялся и пошел за ней.

Когда силы вернулись к Артуру, он был уже в состоянии подумать об отце, о Слискейле и о возвращении домой. Вернуться туда было необходимо, этого требовало его мужское достоинство. Робость и мечтательность были у него в крови, но серьезное решение принято — и это придавало ему мужества.

К тому же тюрьма его закалила, обострила ненависть ко всякой несправедливости и неправде — ненависть, которой он теперь только и жил.

Однажды вечером, на исходе третьей недели, они с Лаурой, по обыкновению, играли после ужина в безик. Артур собрал свои карты и вдруг без всякого предупреждения объявил:

— Мне скоро придется ехать обратно в Слискейл, Лаура.

Больше об этом не было сказано ни слова. Сообщив о своем намерении, Артур поддался было искушению еще немного оттянуть день отъезда. Но 16 мая утром, сойдя вниз завтракать, когда Тодд уже ушел в контору, он раскрыл газету, и ему бросилась в глаза одна заметка. Он так и остался стоять у стола с газетой в руках, застыв в неподвижной позе. Заметка была совсем коро-

тенькая, всего шесть строчек, затерянных среди массы важных известий с театра войны. Но Артур, видимо, придавал ей большое значение. Он сел за стол, не отрывая глаз от этих шести строчек.

— Случилось что-нибудь? — спросила Лаура, наблюдая за ним.

Артур ответил не сразу:

— Новую дорогу провели. В самый «Парадиз». Три дня тому назад по ней добрались до глухого забоя. И там нашли тех десять погибших. Завтра судебный следователь начнет следствие.

Весь ужас несчастья снова обрушился на него, как волна, на время отливающая, чтобы хлынуть обратно с еще большей силой. Душа его сжалась под этим ударом. Он сказал медленно, устремив глаза на газету:

— Они даже вызвали из Франции некоторых родственников... для формального опознания трупов. Я тоже должен ехать туда. Поеду сегодня... сейчас.

Лаура не отвечала, подала ему кофе. Он пил машинально. Снова встало перед ним то, что изменило и разрушило его жизнь, то, от чего не было спасения. Надо ехать, непременно надо!

Кончив завтракать, он взглянул на сидевшую против него Лауру. Она поняла, что им снова овладела его навязчивая идея, и едва заметно кивнула головой. Артур встал из-за стола, прошел в переднюю и надел пальто и шляпу. Укладывать ему было нечего. Лаура проводила его до дверей.

— Обещайте мне, Артур, что вы не сделаете никакой глупости, — сказала она своим обычным ровным голосом.

Артур покачал головой. Они постояли молча. Затем он порывисто взял обе руки Лауры в свои:

— Я не умею благодарить, Лаура. Но вы знаете, что я думаю. Я навещу вас снова. Как-нибудь на днях. Может быть, я тогда смогу быть вам чем-нибудь полезен.

— Может быть, — согласилась она.

Бесстрастный тон Лауры его обескуражил. Он стоял в тесной передней с таким видом, как будто не знал, что делать. Наконец выпустил руки Лауры:

— Ну, прощайте, Лаура.

— Прощайте.

Артур повернулся и вышел на улицу.

Сильный ветер, смешанный с брызгами дождя, дул ему в лицо всю дорогу, но он все-таки добрался до вокзала в двадцать минут одиннадцатого и купил билет в Слискейл.

Поезд местного сообщения был почти пуст, и Артур оказался один в вагоне третьего класса. Пока поезд, пыхтя, неся из Тайнкасла, мимо бесконечного ряда станций, мимо знакомых ландшафтов, через мост над каналом, через Brentский туннель, и наконец стал приближаться к Слискейлу, Артур испытывал чувство человека, который только сейчас приходит в себя.

Было половина двенадцатого, когда он вышел на платформу в Слискейле. В эту минуту со ступенек заднего вагона сходил еще один пассажир в вылинявшей военной форме, и, когда они столкнулись у выхода, Артур с вдруг сжавшимся сердцем узнал Дэвида Фенвика.

Дэвид заметил Артура сразу, но и виду не подал, хотя и не пытался уклониться от встречи. Они вместе вышли узким проходом на улицу.

— Вы, вероятно, приехали для опознания, — тихо сказал Артур. Он не мог не сказать этого.

Дэвид молча кивнул головой. Он пошел по Фрихолд-стрит, и Артур зашагал рядом. На углу ветер с моря ударил им в лицо мелким дождем. Они оба начали подниматься по Каупен-стрит.

Артур сбоку бросил робкий взгляд на Дэвида, смущенный его молчанием и суровой сосредоточенностью его лица. Но через минуту Дэвид заговорил, заставляя себя быть хладнокровным и непринужденным:

— Я приехал еще два дня тому назад. Жена моя живет в Тайнкасле у своих родителей. И наш мальчик с ней.

— Ах, вот оно что, — пробормотал Артур. Он сначала не понимал, почему Дэвид оказался в тайнкаслском поезде. Больше он не находил, что сказать.

Оба молчали, пока не дошли до Инкерманской террасы, где Дэвид круто остановился против дома матери. Стараясь не выдать голосом скрытую горечь, он сказал:

— Не зайдете ли на минутку? Мне нужно вам кое-что показать.

Охваченный непонятным сильным волнением, Артур прошел по развороченной мостовой и последовал за Дэвидом в дом № 23. Они вошли в первую комнату. Шторы были опущены, но в полумраке Артур увидел два гроба, еще открытых, поставленных на козлы посреди комнаты.

Разнообразные чувства бурлили в душе Артура, как волны в узком проливе. С бьющимся сердцем он подошел к первому гро-

бу, и глаза его глянули прямо в мертвые глаза Роберта Фенвика. Тело Роберта пролежало четыре года: лицо было бело, как воск, истлевшая кожа обтягивала высохшие кости, как маска. Артур отшатнулся, закрыл глаза рукой. Он не мог вынести пустого и все же обвиняющего взгляда этих мертвых глаз, глаз жертвы. Содрогаясь, он хотел отойти — и не мог. Стоял в беспомощном оцепенении.

Дэвид снова заговорил, все с той же подавленной горечью:

— Вот что ~~я написал~~ на трупе отца. Никто, кроме меня, этого не видел.

Медленно открыл Артур лицо. Он уставился на бумажку в руке Дэвида, затем порывисто взял ее и поднес к глазам. То было письмо, написанное Робертом перед смертью. Одну секунду Артуру казалось, что он умирает.

— Понимаете? — сказал Дэвид, напрягая голос. — Теперь наконец все ясно.

Артур продолжал смотреть на письмо, лицо его стало землисто-серым, — казалось, он сейчас упадет.

— Я не собираюсь давать этому делу ход, — сказал Дэвид решительным тоном. — Но я считал, что *вам* следует узнать.

Артур поднял глаза от письма и смотрел куда-то, как будто сквозь Дэвида. Он вытянул руку и, ища опоры, прислонился к стене. Комната закружилась у него перед глазами. Казалось, вся совокупность его страданий, подозрений и опасений ударила в него последним страшным ударом. Потом, словно только сейчас заметив Дэвида, он сложил письмо и отдал ему. Дэвид сунул его обратно во внутренний карман. Тогда Артур вымолвил разбитым голосом:

— Можете на меня положиться. Отец узнает об этом.

Его бил озноб. Чувствуя, что ему необходимо очутиться на воздухе, он повернулся, как слепой, и вышел из дому.

Он шел к «Холму» под проливным дождем, хлеставшим пуштынную дорогу, но не замечал его. Он был словно в каком-то трансе. Сложенный листок бумаги, пролежавший четыре года на груди мертвого Роберта Фенвика, все открыл Артуру — все, что он подозревал, чего боялся. Больше не было ни подозрений, ни опасений. Теперь он *знал*.

В нем родилась глубокая уверенность, что ему предопределено было свыше увидеть записку Роберта. Смысл ее все рос и ши-

рился в его глазах, принимал множество разнообразных неизмеримых значений, которых он пока еще не мог постигнуть, но которые все приводили к одному выводу: отец виновен. Гнев и презрение обуяли его. Теперь он хотел поскорее увидеть отца.

Подойдя к ступеням крыльца, он дернул звонок. Дверь открыла тетушка Кэрри. Она застыла в дверях, как в раме, глядя на Артура испуганными, широко открытыми глазами, затем с воплем радости обхватила руками его шею.

— О Артур, родной мой, — всхлипывала она. — Я так рада. А я думала... Я не знала... Как ты скверно выглядишь, мой бедный мальчик, просто ужасно! Но как чудесно, что ты вернулся!

С трудом успокоившись, она повела его в переднюю, помогла снять пальто, завладела его шляпой, с которой текла вода. Короткие восклицания нежности и жалости все время срывались с ее губ. Восторг, в который ее привело возвращение Артура, был трогателен. Она суетилась вокруг него, руки ее тряслись, губы дрожали.

— Ты пока, до завтрака, съешь что-нибудь, Артур, дорогой. стакан молока, бисквит — что-нибудь, милый!..

— Не хочу, тетя Кэрри, спасибо.

Перед дверью в столовую, куда она вела его, он остановился:

— Отец уже вернулся?

— Нет, Артур, — ответила тетя Кэрри, запинаясь, обеспокоенная его странным тоном.

— А к завтраку он вернется?

Тетя Кэрри снова перевела дыхание; ее губы еще крепче сжались, и уголки их нервно опустились.

— Да, конечно, Артур. Он сказал, что к часу будет дома. Я знаю, у него сегодня очень много дел. Разные распоряжения насчет похорон. Все будет устроено самым лучшим образом.

Артур не делал попытки поддержать разговор. Он оглядывался кругом, отмечая про себя перемены, происшедшие здесь за время его отсутствия: новая мебель, новые ковры и портьеры, новая электрическая арматура в зале. Он вспомнил свою камеру, все, что он вытерпел в тюрьме, — и его пронизала судорога такого отвращения к этой роскоши, такая ненависть к отцу, что он задрожал всем телом. Такого нервного возбуждения, походившего на иступление, он не испытывал ни разу в жизни. Он почувствовал себя сильным. Он знал теперь, что ему делать, и желание

сделать это поскорее было почти мучительно. Он обратился к тете Кэрри:

— Я ненадолго схожу наверх.

— Иди, Артур, иди, — заторопилась она с еще большей суетливостью. — Завтрак в час. И сегодня такой вкусный завтрак! — Она замаялась, и голос ее перешел в тревожный шепот: — Ты ведь не будешь... ты не будешь огорчать отца, родной? У него так много дел, и он... он в последнее время немного раздражителен...

— Раздражителен! — повторил Артур. Казалось, он пытается вникнуть в смысл этого слова. Уйдя от тетушки Кэрри, он поднялся наверх, но пошел не в свою комнату, а в отцовский кабинет, в тот самый кабинет, который с самого детства был для него «табу» — священным и запретным местом. Посредине этой комнаты стоял письменный стол отца, массивный стол красного дерева, чудесно отполированный, с шариками по углам, с массивными медными замками и ручками, еще более священный и запретный, чем самая комната. Враждебно смотрел Артур на этот стол, прочный, солидный, как бы хранивший отпечаток личности Барраса, — ненавистный Артуру символ всего того, что разбило ему жизнь.

Резким движением схватил он кочергу, лежавшую у камина, и подошел к столу. Сильным ударом сломал замок, исследовал содержимое верхнего ящика... Потом — соседний замок, соседний ящик, — так, ящик за ящиком, он систематически обыскивал весь стол.

Стол был битком набит доказательствами богатства его хозяина. Квитанции, векселя, список неоплаченных закладных. Тетрадь в кожаном переплете, куда его отец своим аккуратным почерком записывал все ценности и доходы. Во второй тетради с наклеенным на ней ярлычком «Мои картины» против даты покупки указана была стоимость каждой приобретенной картины. Третья тетрадь заключала в себе список вкладов.

Артур бегло просмотрел колонки цифр: все под верным обеспечением, все чисто от долгов, все вклады — небольшими суммами, и не менее двухсот тысяч фунтов стерлингов в надежных ценных бумагах. Артур в бешенстве отшвырнул от себя тетрадь. Двести тысяч фунтов! Величина общей суммы, любовная аккуратность записей, обывательское благополучие, проглядывавшее во всех этих рядах цифр, бесили его. Деньги, деньги, деньги! Пот

и кровь человеческие, превращенные в деньги! Люди не в счет: были бы деньги. Только деньги и ценятся. Смерть, разруха, голод, война — все пустяки, только бы были целы мешки с деньгами!

Артур взломал следующий ящик. Дух мщения владел им. Ему нужны были не эти свидетельства богатства, а нечто большее. Он был убежден в том, что план, план старых выработок «Нептун», лежит где-то здесь. Он знал своего отца, закоренелого собственника. И как ему это раньше не пришло в голову? Отец никогда не уничтожал документов и бумаг; для него было мучительно, просто физически невозможно это сделать. Значит, если письмо Роберта Фенвика не лжет и план существует, то он здесь.

Ящик за ящиком, перерытые, летели на пол. Наконец-то в последнем, нижнем, — тонкий, свернутый трубкой пергамент, очень загрязнившийся и незначительный на вид. Совершенно незначительный.

Громкий крик вырвался у Артура. Вспыхнув от нервного волнения, он разложил карту на полу и, став на колени, стал ее рассматривать. Сразу видно было, что старые выработки, четко показанные на этом плане, тянутся параллельно нижним этажам дейка и отстоят от них не более чем фута на два. Артур всмотрелся еще внимательнее ослабевшими в тюрьме глазами — и различил на полях какие-то маленькие чертежи и расчеты, сделанные рукой отца. Это было последним, окончательным доказательством вины, последней каплей в чаше преступлений!

Артур поднялся с колен и не спеша свернул план. Все хитросплетения этого грандиозного обмана встали теперь перед его измученным взором. Он стоял посреди «священной» комнаты, крепко сжимая в руках план, глаза его горели, с лица еще не сошла бледность, печать тюрьмы. И при мысли о том, что он, осужденный, держит в руках доказательство вины отца, словно забавляясь такой парадоксальностью человеческой справедливости, он усмехнулся бледными губами. Приступ истерического смеха овладел им. Ему хотелось все громить, жечь, разрушать, хотелось разорить всю эту комнату, сорвать со стен картины, выбить окна. Он жаждал возмездия и справедливости.

С большим трудом овладев собой, он вышел из кабинета и спустился вниз. В передней остановился в ожидании, устремив глаза на входную дверь. Время от времени он с лихорадочным

нетерпением поглядывал на высокие часы в футляре, прислушиваясь к медленному неумолимому ритму уходящих секунд. Но вот он вздрогнул: когда стрелки показали тридцать пять минут первого, к дому подъехал автомобиль, послышались торопливые шаги. Дверь распахнулась — и в переднюю вошел его отец. Мгновение полной неподвижности. Глаза отца и сына встретились.

У Артура вырвался не то вздох, не то рыдание. Он едва узнал отца. Перемена в Баррасе была просто разительна. Он очень отяжелел, располнел, жесткие линии его фигуры стали рыхлыми и расплывчатыми. Одутловатые щеки, отвислое брюшко, складка жира над воротником и вместо прежней чопорной уравновешенности — суетливое оживление. Все у него было в движении: руки вертели и перебирали пачку газет, глаза шныряли во все стороны, стараясь увидеть все, что можно; душа жадно, деятельно отзывалась на все жизненные впечатления, тривиальные и ничтожные. И вдруг Артура осенила мысль, что вся эта искусственная деятельность вызвана стремлением утвердить настоящее, отвергнуть прошлое, не думать о будущем, что это окончательный результат разложения.

Он продолжал стоять на том же месте, спиной к лестнице, когда отец вошел в переднюю. Некоторое время оба молчали.

— А, вернулся, — вымолвил наконец Баррас. — Вот неожиданное удовольствие!

Артур не ответил. Он наблюдал за отцом, который подошел к столу, положил на него газеты и какие-то пакетики, болтавшиеся у него на руке. Передвигая и раскладывая все эти вещи на столе, Баррас заговорил:

— Тебе, конечно, известно, что война все еще продолжается. Я своих убеждений не изменил. И ты знаешь, что мне здесь бездельники не нужны.

Артур сказал глухо:

— Я не бездельничал, я сидел в тюрьме.

Баррас издал короткое восклицание, все еще переставляя вещи на столе.

— Ты сам предпочел тюрьму, не так ли? И если ты не одумаяешься, то легко можешь опять угодить туда. Тебе это понятно или нет?

— Мне теперь очень многое стало понятно. Тюрьма хорошо помогает во всем разобраться.

Баррас перестал возиться с пакетами, искоса метнул взгляд на Артура. Начал ходить по передней взад и вперед. Вынул свои красивые золотые часы и посмотрел на них. Наконец сказал с плохо скрытой враждебностью:

— После завтрака у меня деловое свидание. Вечером — два заседания. Сегодня у меня очень трудный день. И мне, право, некогда с тобой рассуждать, я слишком занят.

— Слишком заняты подготовкой победы, отец? Это вы хотели сказать?

У Барраса лицо налилось кровью. На висках сразу заметно вздулись жилы.

— Да, если тебе угодно так ставить вопрос! Я делаю что могу, для того чтобы мы выиграли эту войну.

Крепко сжатые губы Артура злобно искривились. Мощный прилив безудержного гнева захлестнул его.

— Неудивительно, что вы горды собой. Вы патриот. Все вами восхищаются. Вы заседаете в комиссиях, ваше имя упоминается в газетах, вы произносите речи о славных победах, когда тысячи людей лежат, убитые, в окопах. А тем временем вы куете деньги, тысячи, десятки тысяч фунтов, выжимая все соки из рабочих «Нептуна», и вопите, что это делается для короля и отечества, тогда как на самом деле делаете это для себя самого. Да, вот как обстоит дело. — Его голос звучал все громче. — Вам все равно, что люди умирают. Вы думаете только о себе.

— Во всяком случае, я до тюрьмы не докачусь, как другие, — заревел Баррас.

— Как знать! — Артур тяжело задышал. — Похоже на то, что вы скоро там будете. Я не собираюсь покрывать ваши грехи.

Баррас, быстро шагавший по передней, круто остановился. Он даже рот разинул.

— Что такое? — воскликнул он тоном крайнего изумления. — С ума ты сошел, что ли?

— Нет, — возразил Артур запальчиво. — Не сошел, хотя легко мог сойти.

Баррас уставился на него, затем пожал плечами, как бы говоря, что Артур безнадежен. Он снова все тем же суетливым жестом вынул часы и взглянул на циферблат своими небольшими, налитыми кровью глазами.

— Я должен идти, — сказал он невнятно. — У меня назначено важное деловое свидание после завтрака.

— Нет, не уходите, — остановил его Артур. Он дошел уже до состояния белого каления, сжигаемый той ужасной правдой, которую узнал.

— Что?! — Баррас с багровым лицом отступил к лестнице.

— Выслушайте меня, отец, — сказал Артур. Голос его жег, как огонь. — Я теперь знаю всю правду о катастрофе в руднике. Роберт Фенвик перед смертью написал записку. Она у меня. Я знаю, что виноваты во всем были вы.

Баррас заметно вздрогнул. Казалось, его внезапно охватил ужас:

— Что ты говоришь?!

— Вы слышали, что я сказал.

В первый раз во взгляде Барраса проскользнуло виноватое выражение.

— Ложь! Я это категорически отрицаю.

— Можете отрицать. Я нашел план старой шахты.

Лицо Барраса страшно налилось кровью, жилы на шее вздулись. Он покачнулся и инстинктивно оперся о стол.

— Ты сумасшедший! — пробормотал он, заикаясь. — Ты лишился рассудка! Я не желаю тебя слушать.

— Вам следовало бы вовремя уничтожить план, отец.

Баррас вдруг потерял самообладание и закричал:

— Что ты понимаешь в этом?! С какой стати мне что-нибудь уничтожать? Я не преступник. Я поступал так, как считал нужным, и не желаю, чтобы ко мне приставали с этим. Все это конечно. У нас война... Мне надо к двум часам ехать по делу... на заседание.

Задыхаясь, он ухватился за перила и сделал попытку пройти мимо Артура. Лицо его потемнело от прилива крови.

Артур не двинулся с места.

— Идите на свое заседание. Но я теперь знаю, что это вы убили тех людей. И постараюсь, чтобы они были отомщены.

Все тем же захлебывающимся, отрывистым голосом Баррас продолжал:

— Мне надо платить всем жалованье. Мне надо сделать копии доходными. Приходится рисковать... все так делают. Все мы только люди. Все ошибаемся. У меня были самые лучшие намерения. Это все кончено, все позади. Следствия нельзя производить вторично. Мне нужно позавтракать и к двум быть на заседании...

Он сделал привычный торопливый жест, нащупывая карман, чтобы достать часы, но, не найдя кармана, тут же забыл об этом и растерянно смотрел на Артура.

У Артура сжалось сердце. Ведь это его отец, и он его любил когда-то. Но голос его был бесстрастен, как голос человека, отрешившегося от личных чувств:

— В таком случае я передам план куда следует. Вы не можете помешать мне сделать это.

Баррас сжал лоб руками, как будто хотел успокоить биение крови.

— Право, не понимаю, о чем ты тут толкуешь? — промычал он невнятно. — Ты забываешь, что у меня заседание. Мне еще надо умыться, позавтракать. К двум... — Он тарашил глаза на Артура с каким-то ребяческим недоумением. Конвульсивным движением вытащил часы, посмотрел на них хмуро, с сердитым выражением, потом торопливо сделал несколько шагов и, пройдя мимо Артура, стал подниматься по лестнице.

Артур все стоял в передней, с вытянувшимся, словно сразу похудевшим лицом. Он ощущал безнадежную пустоту в душе. Он пришел сюда, готовый сражаться, отчаянно бороться за свои убеждения, требовать справедливости. И вот — никакого сражения, никакой борьбы, никакой справедливости. Нет, правда не восторжествует. Он никуда не передаст план. Слишком жалка эта оболочка, оставшаяся от того, кто некогда был человеком, — от его отца. Сгорбившись, Артур прислонился к перилам; он чувствовал себя раздавленным лицемерной, безжалостной жизнью. Глубокий вздох вырвался из его груди. Он слышал, как ходит отец наверху, неровные, быстрые и гулкие шаги. Он слышал шум льющейся воды. Потом, в ту минуту, когда он повернулся с намерением уйти из дому, вдруг послышался стук, как будто упало что-то тяжелое. Он снова повернулся к лестнице, прислушиваясь. Все тихо. Ни звука больше не слышно. Он бросился наверх. С другой стороны спешила уже тетя Кэрри. Оба добежали до ванной и забарабанили в дверь. Ответа не было. Тетя Кэрри испуганно взвизгнула. Тогда Артур налег на дверь и ворвался в ванную.

Ричард Баррас лежал на полу с наполовину намыленным лицом, еще сжимая в руке мыло. Он был в сознании, но тяжело дышал. Его разбил паралич.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



I

Двадцать пятое ноября 1918 года. Ясный, солнечный день. Надшахтные сооружения «Нептуна» купаются в ярком свете, очертания копров расплываются в воздухе, вращающиеся шкивы мелькают сверкающей радугой. Клубы пара, похожие на вату, поднимаются из машинного отделения и нимбом нависают над шахтой.

Артур Баррас, шедший быстро по Каупен-стрит, видел все — и яркий блеск солнца над шахтой, и радужное сияние шкивов, и облака пара, венцом окружавшие шахту. Он наслаждался этим сиянием дня, затопившим «Нептун», думал о будущем, о себе и улыбался.

Нет, просто невероятным кажется, что он снова счастлив, что упорное, зловещее влияние шахты на его жизнь рассеялось, преобразилось во что-то удивительно прекрасное. Как он терзался сомнениями и страхом, как страдал в эти годы войны! Да, страдал. Он считал, что жизнь его разбита. А теперь перед ним светлое, лучезарное будущее — результат всех его страданий, награда за них.

Он прошел в открытые ворота и легким, бодрым шагом перешел двор, мощенный асфальтом. Артур был одет просто и хорошо — серый костюм, стоячий воротничок с отогнутыми углами, синий с белым галстук-бабочка. Он выглядел старше своих двадцати шести лет, несмотря на сохранившееся до сих пор выражение юношеской стремительности.

Армстронг и Гудспет ожидали его в конторе. Он поздоровался с ними кивком головы, повесил шляпу за дверь, пригладил свои мягкие белокурые волосы, уже редевшие на макушке, и сел за стол.

— Ну, теперь все в порядке, — сказал он. — Вчера Бэннерман оформил последние документы.

Армстронг откашлялся.

— Я, конечно, очень рад, — начал он подобострастно. — И желаю вам всяческого успеха, сэр. Почему бы и нет? В прежние времена у нас в «Нептуне» все шло хорошо.

— А в будущем пойдет несравненно лучше, Армстронг.

— Да, сэр! — Армстронг остановился и украдкой бросил быстрый взгляд на лицо Артура.

Последовала короткая пауза. Артур откинулся на спинку стула:

— Я хочу вам сказать несколько слов, для того чтобы между нами с самого начала все было ясно. Вы привыкли, чтобы здесь распоряжался мой отец, а теперь он болен, и вам придется привыкать к работе со мной. Это первая перемена, но она будет не единственная. Будут и другие, множество других. Теперь для этого наступил подходящий момент. Война окончилась, и больше войн не будет. Как бы различны ни были наши взгляды во время войны, мир не вызовет никаких разногласий. Мы дождались мира и будем его поддерживать. Мы перестали разрушать. Слава богу, можно теперь для разнообразия заняться и перестройкой. Вот этим-то мы займемся и здесь, в «Нептуне». У нас будет безопасный рудник, и не придется бояться новой катастрофы. Понимаете? Безопасный рудник. Для всех будут созданы хорошие условия. И чтобы доказать вам, что намерения мои серьезны... — Он сделал паузу. — Сколько вы получаете, Армстронг? Четыреста, не так ли?

Армстронг покраснел и потупил глаза.

— Да, четыреста, — ответил он. — Если вы находите, что это слишком много...

— А вы, Гудспет? — спросил Артур.

Гудспет засмеялся своим отрывистым, равнодушным смехом:

— Я вот уже три года сижу на двухстах пятидесяти — и ни с места. Мне, видно, не дожидаться повышения.

— Ладно, теперь дождетесь, — возразил Артур. — С первого числа этого месяца вы, Армстронг, будете получать пятьсот, а вы, Гудспет, триста пятьдесят.

Армстронг покраснел еще сильнее. Он пробормотал с благодарностью:

— Это очень великодушно с вашей стороны.

— Да, верно, — подтвердил Гудспет, в тусклых глазах которого наконец-то появился блеск.

— Значит, решено. — Артур торопливо поднялся. — Вы оба будете мне нужны сегодня. В одиннадцать приедет из Тайнказла мистер Тодд. Надо произвести полный осмотр шахты. Понимаете?

— Да, разумеется, мистер Баррас, — с готовностью отозвался Армстронг и вышел вместе с Гудспетом.

Артур остался один в конторе. Он подошел к окну и некоторое время стоял, глядя на залитый солнцем двор. По двору сновали рабочие, по рельсам катились вагонетки, шеголем маневрировал паровоз. Глаза Артура расширились от радостного волнения. Он подумал: «Я страдал даром. Теперь я им докажу. Наконец-то у меня руки развязаны».

Он воротился к письменному столу, сел и вынул из верхнего левого ящика папку со счетами и накладными. В этих документах не было для него ничего нового, большинство из них он помнил чуть не наизусть, но возмущение, которое они в нем вызвали, не улеглось до сих пор. Плохой лес, дешевый сорт кирпича, непрочные подпорки, гнилые кровельные стропила — все хлам и заваль, покупавшиеся у спекулянтов, где попало, лишь бы подешевле; материалы, купленные чуть не задаром. На каждом шагу — ловкий обход существующих обязательных правил: даже запасному канату лебедки было уже десять лет, а он был куплен поддержанным на какой-то распродаже. Да, вот как действовал его отец! Все это — его рук дело. И все необходимо исправить.

Артур сидел за столом, разбираясь в делах и производя подсчеты до тех пор, пока Сол Пикингс, теперь уже семидесятичетырехлетний, но все еще бодрый старик, просунув голову в дверь, не доложил о приходе Адама Тодда. Артур тотчас вскочил и поздоровался с Тоддом, искренне обрадованный его приходом.

Тодд очень мало изменился: все тот же молчаливый, болезненный человек с желтизной под глазами, пропахший гвоздикой. В ответ на приглашение Артура он сел у стола.

Короткое молчание. Затем Артур пододвинул к Тодду папку с бумагами:

— Посмотрите.

Тодд, смочив палец, перелистал счета, медленно и внимательно.

— Тут было сделано несколько очень выгодных покупок, — заметил он наконец.

— Выгодных! — повторил Артур. — Дело не в выгоды. Все эти материалы — никуда не годный хлам.

Старый Тодд ничего не сказал, но Артур видел, что он с ним согласен, и продолжал, из осторожности понизив голос:

— Послушайте, мистер Тодд, я буду с вами совершенно откровенен. Собственно говоря, вам все известно. Вы в свое время предостерегали моего отца. Меня же вам предостерегать не понадобится. Я намерен наконец поставить дело как следует. Я добьюсь того, что в «Нептуне» работать будет *безопасно*.

— Понимаю, Артур, — отозвался старый Тодд, не поднимая глаз от письменного стола. — Надеюсь, ты оформил свои полномочия?

— Бэннерман все устроил. Я присягал и утвержден в правах, — отвечал Артур тихо, но горячо. — Сегодня мы обойдем все. Вы спуститесь со мной в шахту и дадите мне указания, как давали отцу. С той только разницей, что я их буду выполнять.

— Хорошо, Артур.

— Я хочу сменить весь негодный материал. Я велю вынуть каждую гнилую подпорку в этой прогнившей шахте, сжечь всю деревянную крепь, выбросить кирпичную кладку. Новый штрек я буду крепить стальными балками, кровлю — цементировать. Поставлю новое откаточное оборудование.

— Это будет стоить уйму денег!

— Денег! — Артур отрывисто засмеялся. — Деньги текли в этот рудник во время войны... как та вода, что затопила его во время обвала. И я намерен истратить часть этих денег, а если понадобится, то и все. Я создам новый «Нептун». Не ограничусь тем, что сделаю его безопасным, — я покажу, *как* надо извлекать пользу из человеческого труда. Устрою для рабочих ванны наверху, сушилки, комнаты для переодевания, все, что надо.

— Да, Артур, — сказал Тодд, — понимаю.

Артур торопливо встал:

— Пойдемте!

Они осмотрели площадку перед шахтой, машинное отделение и насосы, потом спустились в шахту в сопровождении Армстронга и Гудспета, произвели полный осмотр и наверху и внизу. Все обсудили, проверили. Артур по каждому вопросу имел свое мнение, и всякий раз его мнение оказывалось наиболее правильным.

Было уже около часу дня, когда они воротились в контору. Тодд выглядел несколько утомленным. По его просьбе ему дали «подкрепиться», и после этого он уже не казался таким усталым. Жужа гвоздику, он долго делал вычисления карандашом в блокноте, наконец поднял глаза.

— Знаешь, сколько это круглым счетом будет стоить? — спросил он медленно.

— Нет, — равнодушно отвечал Артур.

— Около ста тысяч фунтов.

— Это только показывает, какое безобразие здесь творилось! — Артур сжал кулаки во внезапном порыве гнева. — Ничего, мы выдержим этот расход. Я не остановился бы и перед вдвое большим. Я обязан это сделать.

— Да, Артур, — снова начал старый Тодд. — Но имей в виду, что будет трудно достать материалы. Все заводы, изготовлявшие шахтное оборудование, во время войны не работали, и только самые дельные из их хозяев снова теперь переходят на прежнее производство. Впрочем, я слышал, что завод в Плэтт-лейн уже начал работать.

— Завод Миллингтона?

— *Бывший* завод Миллингтона, — вздохнул Тодд. — Ведь Стэнли продал его Моусону и Гоулену.

Он уложил бумаги в портфель и закрыл его. Все это спокойно, без всякого нетерпения.

Артур взял его за руку:

— Вы устали? — Он улыбнулся своей прелестной, сердечной улыбкой. — Вам надо позавтракать. Вас ждут сегодня в «Холме». Приехала Хильда. И Грэйс с Дэном гостят у нас, они пробудут день или два. Вы непременно должны поехать со мной.

Они ехали в «Холм» по дороге, залитой жарким солнцем, и, согретый его лучами, Тодд размышлял уже с меньшим пессимизмом, чем обычно: «Хорошее дело задумал Артур, очень хорошее. Никогда его отец не сделал бы ничего подобного». И, продолжая нить своих размышлений, Тодд сказал:

— А знаешь, как-то странно не видеть твоего отца в «Нептуне».

Артур решительно покачал головой:

— Боюсь, что ему больше никогда не придется быть там. — И добавил быстро: — Впрочем, ему теперь лучше, много лучше.

Доктор Льюис говорит, что он может прожить еще много лет. Но правая половина у него совершенно отнялась. И язык тоже. Что-то повреждено — какие-то нервные волокна в мозгу. Откровенно говоря, Тодд, он не совсем... у него голова не совсем в порядке.

Он помолчал, затем сказал тихо:

— Единственное мое желание, чтобы он дожил до того времени, когда будет завершено все, что я затеял в «Нептуне».

Горячее чувство вдруг проснулось в душе Тодда, — тут сыграли роль и этот солнечный день, и виски, и искреннее восхищение замыслами Артура.

— Ей-богу, Артур, — сказал он, — я от души надеюсь, что он увидит это.

Они приехали в усадьбу, оба повеселевшие, радужно настроенные. Было половина второго, час ланча. Они прошли прямо в столовую, где все уже были в сборе. Артур сел на верхнем конце, тетушка Кэрри — на нижнем, Тодд и Хильда — с одной стороны, Грэйс и Дэн — с другой.

Все были веселы, в воздухе, казалось, звенели ноты оптимизма, экстаза, вновь обретенный прочный мир представлялся каким-то чудом. Тодд подумал про себя, что ни разу в жизни он не наблюдал в этом доме такого веселого настроения за столом. Конечно, чувствовалось, что чего-то недостает. Отсутствовало главное. Это главное скрывалось наверху — немое, парализованное, но даже в отсутствии своем странно значительное.

Тодд некоторое время был погружен в свои мысли, потом обратился к Хильде:

— За отцом ухаживаете, вероятно, вы, Хильда? Вот и пригодился ваш опыт сестры милосердия.

Хильда покачала головой:

— Нет, за ним ухаживает тетя Кэрри.

Артур засмеялся — жизнерадостно, весело, как не смеялся никогда до сих пор.

— Вы ни за что не угадаете, Тодд, что затеяла Хильда. Она поступает на медицинский факультет. В будущем месяце едет в Лондон.

— Медицинский факультет, — повторил Тодд и, чтобы скрыть удивление, усердно занялся бараньей котлетой.

— Хильда очень довольна, — продолжал Артур и, усмехнувшись, добавил: — Оттого она так любезна со всеми нами.

Дэн покраснел, так как слова Артура напомнили ему о холодной снисходительности Хильды и его несколько неловком положении в доме. Он приехал сюда только ради Грэйс, чтобы доставить ей удовольствие. И в эту минуту он почувствовал, что рука жены ищет под столом его руку. Он нежно и успокоительно сжал эту руку, подумав о Грэйс, об их ребенке, который сейчас находится наверху, о будущем. И, решив, что заносчивое обращение Хильды ни капельки его больше не тронет, он поднял глаза, все еще несколько красный, и встретил устремленный на него взгляд Тодда.

— Ну что, теперь, когда война окончилась, вы опять вернетесь в «Нептун»? — спросил Тодд.

Дэн поперхнулся картофелем.

— Нет, — возразил он. — Я собираюсь заняться сельским хозяйством.

Вмешалась Грэйс, снова сжав под столом руку Дэна:

— Я не пушу больше Дэна в копи, мистер Тодд. Мы уедем в Суссекс. Там, в Винраше, мы купили небольшой участок... на пенсию Дэна, — добавила она быстро.

— Они оба такие упрямые, — пожаловался Артур. — Я из сил выбился, доказывая Дэну, что мне нужна его помощь в «Нептуне». Но они и слышать об этом не хотят. Чертовски независимы — не желают денег брать ни гроша! Во всем этом, конечно, виновата Грэйс. Она убедилась, что Винраш — очень благоприятное место для детоводства, и теперь хочет попробовать разводить там цыплят и поросят.

Грэйс, ничуть не смущаясь, сказала:

— Вы непременно должны приехать к нам в гости, мистер Тодд... Я собираюсь сдавать комнаты на лето.

Тодд улыбнулся ей своей доброй и тихой улыбкой, любуясь ее воодушевлением, ее решительностью. То, что она делала, казалось ему несколько непонятным, но прекрасным и трогательным. И, думая об этом, он почувствовал себя таким старым...

Тетя Кэрри встала и с опущенной головой бесшумно выскользнула из комнаты. Не было больше Гарриэт, но был другой больной, нуждавшийся в уходе. Умение тетушки Кэрри ловко сменять испачканные простыни и выносить горшки все еще требовалось в «Холме», но уже для другого, более священного объекта.

Все вдруг вспомнили об этом разбитом человеке, беспомощном, заключенном в своей комнате, и за столом наступила тишина. Быстро докончили завтрак. Артур, взяв Тодда под руку, проводил его до автомобиля, который должен был отвезти его на станцию. Тодд не захотел пойти наверх навестить Барраса, благого разумно заметив, что это может расстроить больного. С минутой он и Артур постояли у машины.

— Так, значит, насчет оборудования я тебе сообщу. — Тодд сделал паузу. — Хорошее дело ты задумал, Артур. Если поведешь его, то у тебя будет образцовый рудник.

— Вот это-то и было моей мечтой всегда, — отозвался Артур тихо, — образцовый рудник!

Они помолчали, потом Тодд пожал руку Артуру и сел в автомобиль. Артур стоял у подъезда, пока автомобиль не отъехал. Инстинктивно посмотрел он на небо. Солнце сияло ему, мир ласково обнимал, жуткое прошлое было погребено и забыто. Чудесным образом он воскрес душой, и его идеал готов был осуществиться. О сладостное возрождение!

Он пошел наверх навестить отца, как делал ежедневно. Вошел в комнату и приблизился к постели. Баррас лежал на спине, рыхлой массой, беспомощной и неподвижной. Правая рука была скрючена, пальцы на ней — лилового, мертвенного оттенка; половина лица парализована, и изо рта, по складкам на правой щеке, текла струйка слюны. Все в нем казалось безжизненным, жили одни глаза, — и теперь они обратились к вошедшему в комнату Артуру с жалкой, почти собачьей благодарностью.

Артур сел у кровати. Вся ненависть и горечь, которые раньше вызывал в нем отец, умерли в его душе. Он относился к нему теперь спокойно и терпеливо. Он заговорил с ним, рассказывая кое-что из того, что происходило на шахте (доктор полагал, что это может способствовать восстановлению его умственных способностей). И действительно, Артур заметил, что отец понимает то, что он ему говорит.

Он терпеливо продолжал рассказывать, глядя в эти мрачные, бегающие глаза, глаза связанного животного. Потом умолк, — он видел, что отец пытается заговорить. Какое-то слово пыталось прорваться сквозь губы, замкнутые печатью молчания. Это были даже два слова, но неподвижные губы отказывались пропустить их. Артур наклонился, вслушиваясь, но слова не выходили. Он не мог их услышать, пока еще не мог.

II

Доблестный мир был заключен, и 17 декабря, в субботу, в шесть часов вечера Дэвид вернулся домой. Не успел поезд остановиться у Тайнкаслской центральной станции, как он выскочил и, взволнованный, побежал по платформе, нетерпеливо глядя в сторону решетки, чтобы поскорее увидеть Дженни и Роберта. Но первая, кого он увидел, была Салли Сэнли. Он помахал ей рукой: значит, они вовремя получили его телеграмму. Салли в ответ тоже стала усердно махать рукой, но Дэвид едва ли заметил это: он в это время предъявлял свой льготный билет контролеру. Наконец его пропустили, и он поспешил к ней, запыхавшийся, улыбающийся:

— Привет, Салли! А где мое семейство?

В ответ на его стремительно-радостное приветствие она тоже улыбнулась, но как-то принужденно:

— Приятно увидеть вас снова, Дэвид. Мне надо поговорить с вами. Как поезд запоздал! Я так долго ждала, что должна теперь выпить чашку кофе.

— Что ж, — улыбнулся Дэвид, — если вам хочется кофе, едем поскорей на Скоттсвуд-роуд.

— Нет, — возразила Салли. — Мне хочется выпить кофе сейчас же. Пойдем в буфет.

Недоумевая, он пошел за ней. Салли уплатила у стойки за две чашки кофе и отнесла их на один из круглых столиков. Дэвид наблюдал за ней.

— Не надо мне никакого кофе, Салли, я только что в поезде пил чай, — запротестовал он.

Салли точно не слышала его. Она уселась за столик, испещренный мокрыми кругами в тех местах, где кто-то ставил налитый через край стакан с пивом. Дэвид тоже сел, по-прежнему недоумевая.

Салли сказала:

— Мне надо потолковать с вами, Дэвид.

— Ну что же, говорите. Но разве мы не можем поговорить дома?

— Там неудобно. — Салли взяла ложку и помешала свой кофе, но пить не стала. Глаза ее не отрывались от Дэвида, и в этих глазах была трагическая жалость, но Дэвид ее не замечал. Глядя

на мрачное, некрасивое лицо Салли, скуластое, с несколько массивным подбородком, он заподозрил, что с нею что-то стряслось.

Она пила кофе очень медленно, словно цедила его. Наконец все же почти допила. И Дэвид с подавленным нетерпением потянулся за своим солдатским мешком:

— Ну, пойдем же! Поймите, что со времени моего последнего отпуска прошло девять месяцев! Я умираю от желания поскорее увидеть Дженни и малыша. Как поживает мой сынок?

Салли снова посмотрела ему в лицо, на этот раз с внезапной решимостью:

— Дэвид, Дженни не виновата...

— В чем?!

— Это случилось не потому, что она пошла работать и все такое... — Салли помолчала. — Вы знаете ведь, что мальчик всегда был слабенький. Я хочу, чтобы вы поняли, что Дженни тут, в сущности, ничем не виновата...

Дэвид сидел за мраморным столиком с мокрыми следами от стаканов и смотрел на Салли. В буфете было сильно накурено. Снаружи доносились крики толпы, которая приветствовала возвращавшихся с войны «храбрых ребят». Пронзительно и насмешливо свистел паровоз.

Слова были не нужны. Теперь он знал, почему Салли так пристально на него смотрела. Он понял, что больше никогда не увидит Роберта, которого так мечтал поскорее увидеть.

Пока Салли, понизив голос, рассказывала ему о происшедшем (о том, как в августе у ребенка сделалось внезапное воспаление кишок... он проболел только два дня... Дженни боялась сообщить ему...), он слушал молча, стиснув зубы. По крайней мере, этому он научился на войне — держать себя в руках. Когда Салли кончила, он долго оставался до странности молчалив и неподвижен.

— Вы ведь не будете суровы к Дженни? — умоляюще сказала Салли. — Она нарочно послала меня...

— Нет, я ничего ей не скажу. — Он поднялся, вскинул свой мешок на плечо и открыл дверь, пропуская вперед Салли.

Они вышли из вокзала и направились на Скоттсвуд-роуд. Перед № 117/А Салли остановилась:

— Я сейчас не пойду домой, Дэвид. У меня еще есть кое-какие дела.

Дэвид стоял и смотрел ей вслед. Несмотря на терзавшую его боль, он подумал о том, как хорошо было со стороны Салли

встретить его. Славная душа эта Салли! Может быть, она знала, что он был против поступления Дженни на военный завод в Виртлее и переезда ее с Робертом из Слискейла с его чистым морским воздухом в густонаселенный фабричный город.

Дэвид отмахнулся от этой мысли, усилием воли согнал с лица мрачное выражение и вошел в дом.

Дженни была внизу одна; она лежала, свернувшись калачиком, на старом волосяном диване, сняв туфли и с раскаянием поглаживая пальцы своих ножек в шелковых чулках. Эта знакомая картина — Дженни, отдающая обычную дань искалеченным тесной обувью пальчикам, — затронула в его памяти какую-то струну. Он позвал с порога:

— Дженни!

Она подняла глаза и ахнула, потом взволнованно протянула ему руки.

— О Дэвид! — вскрикнула она. — Наконец-то!

Дэвид медленно подошел к ней. В судорожном порыве обняла она его руками за шею, прижалась щекой к его куртке и заплакала:

— Не гляди на меня так, не сердись, Дэвид, родной... Я не виновата, право, не виновата. Бедный крошка все время бегал, а я была на работе, и мне в голову не приходило позвать доктора. А потом вдруг его милое личико сразу словно съежилось, и он уже меня не узнавал, и... о Дэвид, как я страдала, когда ангелы взяли его от меня... О боже... боже!

Жалобно всхлипывая, она распространялась о пережитом ею горе, незаметно для себя открывая некоторые подробности смерти ее нежеланного ребенка. Дэвид слушал молча, с застывшим лицом. Под конец она воскликнула, кидаясь к нему на шею:

— У меня бы сердце разбилось, если бы ты не возвратился, Дэвид. Как чудесно, что ты уже здесь. Ты не знаешь, как... О господи, господи!.. Как я все эти месяцы... Ведь ты понимаешь, что это не моя вина... Скажи, что понимаешь, Дэвид, ну пожалуйста! Я не могла с этим примириться, я так страдала! — Она громко всхлипнула. — Но теперь все хорошо, раз ты возвратился, раз мой большой храбрый муж возвратился с войны. О, я не могла ни спать, ни есть...

Он успокаивал ее, как только мог. В то время как Дженни рыдала на диване, описывая свои страдания, горе после утраты Роберта и мучительное ожидание Дэвида, одна из подушек свали-

лась с дивана на пол — и под ней оказалась большая, уже наполовину опустевшая коробка шоколадных конфет и юмористический журнал. Продолжая успокаивать Дженни, Дэвид, ни слова не говоря, водворил подушку на место.

Наконец Дженни подняла голову и улыбнулась сквозь слезы:

— Дэвид, ты рад, что вернулся ко мне? Скажи, рад?

— Да, это такое счастье вернуться домой, Дженни. — Он помолчал. — Война позади, и мы с тобой сразу же уедем и начнем жизнь сначала.

— О да, Дэвид, — согласилась она с легкой дрожью в голосе. — Я тоже этого хочу. Право, ты лучший из мужей! Ты будешь держать экзамен на бакалавра, и не успеем оглянуться, как станешь директором школы.

— Нет, Дженни, — сказал Дэвид каким-то странным тоном. — Учителем я больше не буду. С этим кончено. Мне давно следовало бросить это дело.

— Но чем же ты займешься, Дэвид? — спросила она чуть не плача.

У Дэвида появились какие-то новые черточки под глазами и новая суровость в лице, почти пугавшая Дженни.

— Гарри Нэджент дал мне письмо к Геддону в тайнкаслское отделение Союза, и я непременно получу там работу, Дженни! Конечно, небольшую пока, канцелярскую работу, но ведь это только для начала. Это начало, Дженни! — Страстное увлечение прорвалось сквозь вялость его голоса. — И оно приведет меня наконец к настоящему делу.

— Но, Дэвид...

— Да, я знаю, платить будут мало, — перебил он ее. — В лучшем случае — два фунта в неделю! Но этого нам на жизнь хватит. Ты завтра поедешь в Слискейл, Дженни, милая, и приведешь в порядок дом, а я разыщу Геддона и договорюсь с ним.

— Но, Дэвид, послушай, — в ужасе ахнула Дженни. — Два фунта в неделю! А я... я зарабатывала четыре.

Он пристально взглянул на нее:

— На деньги мне наплевать, Дженни. Я не денег добиваюсь. На этот раз не будет никаких компромиссов.

— Но ведь я могла бы... — молила она, по старой привычке теребя его за отворот куртки, — я могла бы продолжать свою работу еще некоторое время. За нее хорошо платят.

Дэвид крепко сжал губы, сдвинул брови.

— Дженни, милая, — начал он спокойно, — нам надо раз навсегда понять друг друга.

— Но ведь мы понимаем друг друга, Дэвид, — заторопилась она с неожиданной уступчивостью, снова прижимаясь головой к его куртке. — И ты знаешь, что я люблю тебя.

— И я тебя люблю, Дженни, — сказал он медленно. — Итак, мы завтра собираем вещи и уезжаем в Слискейл, к себе домой. — Он смотрел прямо перед собой, словно вглядываясь в будущее. — Теперь у меня будет настоящее дело. Гарри Нэджент — мой друг. Я буду работать в Союзе горняков и баллотироваться в муниципальный совет. Если меня проведут...

— О да, Дэвид... Муниципальный совет — это замечательно, Дэвид! — Дженни подняла к нему влажные, полные восхищения глаза.

Она уже видела себя женой члена муниципалитета. Лицо ее приняло довольное выражение, и она инстинктивно оправила платье. Дженни была одета очень хорошо и со вкусом: тяжелый шелковый джемпер, элегантная юбка, плотно обтягивавшая бедра, красивые кольца на руках. Она была, несомненно, красива. Но, должно быть, в последнее время она слишком много работала: под тонким слоем пудры на ее щеках Дэвид подметил мелкие, тоненькие красноватые жилки. Это было похоже на цветы — причудливые, экзотические цветы под пудрой — и почти красиво.

Дженни посмотрела на него, склонив голову набок, полуоткрыв пухлые губы, во всем сознании своей неотразимости.

— Что? — спросила она. — Я тебе еще нравлюсь? — Она засмеялась коротким, задорным смешком. — Па и ма отправились в Уитли-Бэй. Салли достала им бесплатные билеты. Они приедут поздно.

Дэвид резко отвернулся и, подойдя к окну, стал глядеть во двор. Он ничего не ответил. У Дженни опустились уголки губ. Она не могла не отметить про себя, что Дэвид как-то неувлимо изменился: он стал жестче, увереннее в себе и сдержаннее; его прежнее мальчишеское упрямство превратилось в твердую решительность. Позднее, когда пришли Альфред и Ада, перемена в Дэвиде стала еще заметнее. Он был очень любезен с ними, но, не смущаясь обиженным видом Ады, категорически объявил, что Дженни и он завтра уезжают к себе домой, на Лам-лейн.

И Дженни напрасно надеялась, что ей удастся поколебать его решение. На следующее утро она уехала в Слискейл поездом в девять сорок пять, а Дэвид отправился на переговоры с Геддоном.

Местное отделение Союза находилось на Родд-стрит, совсем близко от Центрального вокзала, и состояло из двух просто убранных комнат. В первой от входа помещалась канцелярия, где седой человек с лицом в синих оспинах и руками старого шахтера приводил в порядок картотеку в большом шкафу, а на дверях второй, маленькой, красовалась надпись: «Посторонним вход запрещен». Здесь не было ни линолеума, ни ковра — просто некрашенный и очень пыльный дощатый пол. На стенах — ничего, кроме двух-трех таблиц, карты округа и надписи: «На пол не плевать». Когда Том Геддон появился из внутренней комнаты и вынул изо рта свою коротенькую трубку, он тут же и нарушил это правило, хотя, собственно, нацелился плюнуть в холодный камин.

— Ага, так вы — Фенвик, — сказал он. — Припоминаю. Видел вас на суде, перед войной. Я и отца вашего знал. — Он энергично пожал руку Дэвиду и отстранил протянутое ему рекомендательное письмо. — Гарри Нэджент писал мне о вас, — пояснил он ворчливо. — Уберите свой конверт. Если только в нем нет денег, то он мне не нужен.

Он угрюмо улыбнулся Дэвиду. Том Геддон был суровый человек. Невысокий, смуглый, горячий, с целой копной густых черных волос, густыми черными бровями и желтоватой нечистой кожей, этот человек поражал своей неукротимой энергией. И вечно он плевался, потел, сыпал проклятиями. Он обладал неистощимой способностью есть, пить, работать и ругаться. Он был прекрасный агитатор, с большим запасом стереотипных фраз и блестящим даром остроумия. Но способностей природа отпустила ему очень мало, и из-за этого пустякового изъяна он, разочарованный, вот уже пятнадцать лет как застрял в слискейлском отделении Союза. Он знал, что никогда не пойдет дальше.

Умывался Геддон не слишком часто и имел такой вид, как будто он спал в том же белье, которое носил днем. И так оно на самом деле и было.

— Так вы вместе с Гарри были на этой проклятой войне? — спросил он. — Только не рассказывайте, будто вам там нравилось! Пойдемте ко мне — посидим, потолкуем.

Они вошли в маленький кабинет. Поговорили. Оказалось, что Геддон действительно лишился секретаря, которого призвали, когда вышел «этот проклятый закон Дерби», и затем прострелили «его проклятую башку при Сампрё». Геддон, в угоду Гарри Нэдженту, соглашался взять Дэвида на испытание. Все будет зависеть от Дэвида: ему придется заниматься одновременно выдачей пособий, урегулированием конфликтов с хозяевами и корреспонденцией. Кроме того, выяснилось, что жалование еще меньше, чем рассчитывал Дэвид: только тридцать пять шиллингов в неделю.

— Вам надо познакомиться с моим слогом, — буркнул Геддон. — Вот посмотрите это.

Он с притворным равнодушием открыл ящик и бросил Дэвиду газету — номер рабочего листка «Уикли уоркер», вышедший несколько лет назад. На одной из пожелтевших страниц с неуловимым затхлым запахом лежалой бумаги была отмечена статья.

— Это моя, — сказал Геддон. — Ну-ка, прочтите! Это я написал.

Пока Дэвид читал статью, Геддон делал вид, что не смотрит на него. Она была озаглавлена «Два общества» и отличалась беспощадной едкостью. Здесь противопоставлялись прием в Букингемском дворце — и собрание в доме Блоггса, хорошо знакомом автору. Выражения были неуклюжи и грубы, но контрасты даны с мощной выразительностью.

«Молодая леди Фелингтон была в белом атласном платье со шлейфом, расшитым блестками. Нитка бесценного жемчуга украшала аристократическую шею, а страусовые перья были схвачены алмазной повязкой».

И тут же ниже:

«Старая миссис Слэни — поденщица. Она не носит перьев. На ней какое-то подобие платья, сшитое из старого мешка. Она живет в одной комнате, в доме Блоггса, больна чахоткой, зарабатывает всего двенадцать шиллингов в неделю».

Дэвид прочел до конца статью, невольно увлеченный ее серьезностью и силой. В статье отразился весь Геддон — искренний фанатик, проникнутый свирепой классовой ненавистью.

— Хорошо написано, — сказал наконец Дэвид, и сказал искренне.

Геддон усмехнулся. Дэвид затронул его слабую струнку, и он уже видел в нем друга. Он отобрал газету и заботливо положил ее обратно в ящик, затем сказал:

— Здесь видно, что я о них думаю. Ненавижу всю их проклятую шатию. Кое-кого из них я здорово разделал! Я их заставлю плясать под мою дудку. Возьмите, к примеру, ваш поганый Слискейл. Скоро, на этих днях, мы там немного позабавимся.

Дэвид был заинтересован, и Геддон заметил это.

— Ну, так и быть, слушайте, расскажу вам, — сказал Геддон. — Старый Баррас выбыл из строя, а сынок думает, что сумеет вести дело. Он там козыряет ваннами для шахтеров и всякими гигиеническими затеями — обычное очковтирательство! Он тратит на это кое-что из тех денег, которые старик выжимал из рабочих, жульничая со сверхприбылью и налогами. И он хочет нас уверить, что превратит «Нептун» в какой-то новый Иерусалим. Но погодите, погодите немного, мы не забыли, как они поступили с нами во время катастрофы. Слишком легко они из этого выпутались. Я только дождался окончания войны, чтобы за них приняться. Они получают хорошую встряску, будут знать, как губить людей! А там уж я с ними окончательно разделаюсь!

Геддон замолчал, и с минуту лицо его сохраняло мрачное, суровое выражение. Затем он снова раскурил потухшую трубку и придвинул к себе корзинку с ожидавшей ответа корреспонденцией.

— Значит, вы приступите к работе с понедельника, — сказал он Дэвиду и закончил аудиенцию угрюмой шуткой: — А теперь отправляйтесь, не заставляйте ждать свой «роллс-ройс», иначе ваш ливрейный лакей потребует расчета.

Дэвид поспел на ближайший поезд в Слискейл и по дороге принялся серьезно обдумывать свои планы. Первый шаг по намеченному пути уже сделан. Незаметное, очень скромное начало. Оно оправдывается единственно необходимостью — не необходимостью заработка, а необходимостью неуклонно идти к цели. Цель эта четко рисовалась впереди. Дэвид решил твердо, что больше не должно быть полумер. Выбор сделан.

Он застал Дженни в разгаре хозяйственной деятельности: раздавались то восторженные крики, когда она делала какое-нибудь неожиданное открытие, то восклицания недовольствия.

— Посмотри, Дэвид, я совсем забыла об этих красивых фарфоровых подсвечниках!.. — И затем: — О господи, посмотри, как облезла эта сухарница, а продавец клялся, что она никелированная! — Или: — Правда, Дэвид, милый, я домовитая хозяйюшка?

Дэвид снял куртку, засучил рукава и принялся переставлять мебель. Потом, став на колени, толченым кирпичом и парафином начистил заржавевшую решетку камина. Немножко поскреб пол, выполол густо заросший сорной травой клочок земли, который Дженни когда-то обещала превратить в сад. Так он помогал ей до трех часов, затем они пообедали тем, что имелось под рукой. Поев, Дэвид умылся, привел в порядок свой костюм и вышел из дому.

Радостно было очутиться снова в родном городе, оставив позади грязь, и страдания, и ужасы войны. Он не спеша брел по Лам-стрит, чувствуя, что снова окунается в жизнь Слискейла, и глядел на черные силуэты копров, высившихся над городом, над гаванью и морем. По дороге к Террасам его несколько раз останавливали знакомые, здоровались, поздравляли с благополучным возвращением. Их дружелюбие согревало душу, окрыляло жившую в ней надежду.

Он пошел прежде всего к матери и провел у нее целый час. Смерть Сэмми заметно отразилась на Марте, а известие о его женитьбе она приняла очень странно. Марта не хотела ничего слышать об этом браке, она целиком вычеркнула его из своего сознания. Всему городу было известно о женитьбе Сэма; мальчику Энни было уже одиннадцать месяцев, и при крещении его назвали Сэмюэлем. Но Марта этого брака не признавала. Она отгородилась от него стеной и тешила себя иллюзией, будто Сэмми никогда никому, кроме нее, не принадлежал.

Было уже пять часов, когда Дэвид ушел от матери и направился по Инкерманской террасе к дому Гарри Огля. Гарри Огль был старший из сыновей Огля, брат Боба, погибшего в шахте; сорокапятилетний человек, бледный, жилистый, с тихим и всегда почему-то хриплым голосом. В свое время он поддерживал Роберта Фенвика и преклонялся перед ним. Гарри был популярен и пользовался среди шахтеров репутацией большого умницы. Он состоял секретарем местной организации шахтеров, казначеем кассы врачебной помощи и членом слискейлского муниципального совета от рабочих.

Гарри Огль обрадовался Дэвиду, и, после того как они, сидя в тесной кухоньке, обменялись новостями, Дэвид с сосредоточенным видом наклонился вперед:

— Гарри! Я пришел просить вас об услуге. Я хотел бы, чтобы вы посодействовали выдвижению меня в кандидаты на выборах в муниципалитет в будущем месяце.

Гарри редко задавал вопросы и никогда ничему не удивлялся. На этот раз он довольно долго молчал.

— Выдвинуть в кандидаты легко. В нашем участке твоим соперником будет Мэрчисон. Его вот уже десять лет подряд выбирают в муниципалитет.

— Я знаю! И он бывает на одном заседании из шести.

Ответ Дэвида, видимо, рассмешил Гарри.

— Может быть, оттого-то он так долго и держится.

— Я хочу попробовать, Гарри, — сказал Дэвид с прорвавшейся вдруг тенью былой горячности. — Попытка не пытка.

Новая пауза.

— Ну что ж, — отозвался наконец Гарри. — Раз тебе так этого хочется... Сделаю, что могу.

В этот вечер Дэвид возвращался домой с сознанием, что сделан и второй шаг. Он ничего не говорил Дженни до тех пор, пока, десять дней спустя, не была утверждена его кандидатура. Тогда только он рассказал ей.

Муниципальный совет! Дэвид — кандидат в муниципальный совет! Дженни пришла в бурный восторг. И почему он ей не сказал раньше? Она думала, что Дэвид просто ее дурачит, когда он заговорил об этом в первый раз, на Скоттсвуд-роуд. «Но это ведь замечательно! Попросту замечательно, Дэвид, миленький!»

Дженни с восторгом окунулась в предвыборную кампанию. Она усердно вербовала избирателей, сшила себе прехорошенькую кокарду цветов партии Дэвида, подавала разные советы: у Клэри, мол, есть приятель-шофер, он мог бы одолжить им автомобиль, и она сама будет с Дэвидом объезжать избирательный участок. Или: почему бы не убедить директора нового кино «пропустить на экране что-нибудь насчет Дэвида»? На каждом окне их дома она наклеила плакат с надписью ярко-красными буквами: «Голосуйте за Фенвика».

Эти плакаты приводили Дженни в экстаз. Она по нескольку раз в день выходила полюбоваться на них.

— Ну вот, Дэвид, наконец-то ты будешь знаменит! — твердила она весело и не понимала, почему такие замечания заставляли Дэвида огорченно сжимать губы и отворачиваться.

Она, разумеется, была убеждена, что Дэвид «пройдет», и уже заранее представляла себе, как будет приглашать на чай жен его товарищей, членов муниципалитета, как будет делать визиты миссис Ремедж в новом большом доме Ремеджей на вершине Слус-Дин. Она смутно надеялась, что все это как-то будет способствовать их продвижению в обществе. «Конечно, денег муниципальный совет не даст, но он может открыть дорогу к какой-нибудь карьере», — оживленно рассуждала Дженни. Она органически неспособна была понять побуждения, которые руководили Дэвидом.

Наступил день выборов. Дэвид в глубине души сомневался в успехе. Имя, которое он носил, пользовалось уважением в Слискейле: отец его погиб в шахте, брат убит на войне и сам он три года пробыл на фронте. То, что он перед самыми выборами возвратился с войны, окружало его выгодным романтическим ореолом (которому он не придавал никакого значения). Но у него не было необходимой ловкости и опыта, а Мэрчисон имел обыкновение во время выборов открывать широкий кредит в своей лавке и как бы невзначай совать в корзинки покупателей то кусок душистого мыла, то коробку сардин, — и это делало его опасным соперником.

В субботу днем, когда Дэвид направился на Террасы, он встретил Энни, шедшую из новой школы на Бетель-стрит, где происходило голосование. Энни остановилась.

— А я только что голосовала за вас, — сказала она просто. — Я постаралась пораньше управиться дома, чтобы попасть вовремя.

Дэвид весь вспыхнул, когда Энни сказала это, при мысли, что она нарочно ходила в город голосовать за него.

— Спасибо, Энни.

Они молча стояли друг против друга. Энни никогда не отличалась словоохотливостью. Она не стала делиться с ним своими мыслями, не выражала восторженной уверенности в его успехе, но Дэвид угадывал ее доброжелательность. Он почувствовал вдруг, что ему нужно очень много сказать Энни. Ему хотелось выразить ей сочувствие по поводу смерти Сэмми, спросить о мальчике. У него появилось непреодолимое желание поговорить с ней

о маленьком Роберте. Но мешала шумная людная улица. И вместо всего этого он сказал только:

— Я ни за что не пройду.

— Кто знает? — промолвила Энни со слабой улыбкой. — Можете пройти, а можете и не пройти, Дэви. Но попытаться следует. — И, приветливо кивнув головой, пошла домой нянчить ребенка. Дэвиду понравилось то, что она так ободряюще говорила о его шансах на успех.

Когда был объявлен результат голосования, оказалось, что он получил только на сорок семь голосов больше Мэрчисона. Но в совет он прошел.

Дженни, немного озадаченная шаткостью этой победы, была тем не менее в восторге от избрания Дэвида:

— Видишь, я же тебе говорила!

Она ожидала первого заседания нового муниципалитета с таким суетливым нетерпением, точно это она была новым его членом.

Дэвид едва ли разделял веселое настроение Дженни. Дэвид, получив доступ к архивам, протоколам, документам, ознакомился с мелочными треволнениями местной политики, видел обычную борьбу социальных, религиозных и личных интересов, извечный принцип «рука руку моет». Главной силой был, конечно, Ремедж. Последние четыре года Ремедж полновластно распоряжался всем. Дэвид сразу увидел в Ремедже человека, с которым ему придется воевать.

Вечером 2 ноября собрался новый муниципальный совет. Председательствовал Ремедж. Кроме него, здесь были Гарри Огль, Дэвид, преподобный Инох Лоу из церкви на Бетель-стрит, Стротер, директор школы, торговец мануфактурой Бэйтс, Конноли из «Газового общества» и Раттер, секретарь городского управления. Сперва произошел грубовато-фамильярный обмен приветствиями в передней между Ремеджем, Бэйтсом и Конноли, — они громко смеялись, хлопали друг друга по спине, весело разговаривали о каких-то пустяках, а преподобный Лоу делал вид, что не слышит неприличных шуток, был почтителен к Конноли и подобострастно ухаживал за Ремеджем. На Дэвида и Гарри Огля никто не обращал внимания. Только когда они направились в зал заседаний, Ремедж бросил холодный взгляд на Дэвида.

— Жаль, что нашего старого приятеля Мэрчисона больше нет с нами, — заметил он, по своему обыкновению громогласно и нагло. — Как-то неприятно видеть на его месте чужого.

— Не обращай внимания, парень, — шепнул Дэвиду Гарри. — Ты скоро привыкнешь к его хамской манере разговаривать.

Все заняли места, и Раттер начал читать протокол последнего заседания старого муниципального совета. Читал быстро, сухим, равнодушным, монотонным голосом, затем, почти без перехода, тем же голосом объявил:

— Первый вопрос — утверждение договоров на поставку мяса и сукна. Я полагаю, джентльмены, что вам угодно будет считать их утвержденными.

— Совершенно верно. — Ремедж зевнул и развалился в кресле, во главе стола, подняв к потолку широкое красное лицо и сложив руки на огромном брюхе.

— Да, они приняты, — поддержал его Бэйтс, вертя большими пальцами и упорно глядя на стол.

— Значит, утверждено, джентльмены, — объявил Раттер и протянулся за книгой протоколов.

Но тут спокойно вмешался Дэвид:

— Позвольте, одну минуту!

Воцарилось молчание. Весьма натянутое молчание.

— Я этих договоров не читал, — продолжал Дэвид совершенно хладнокровно и рассудительно.

— Вам и незачем их читать, — фыркнул Ремедж. — Они приняты большинством голосов.

— О! — воскликнул Дэвид удивленным тоном. — А я и не заметил, как мы голосовали.

Секретарь Раттер с важным и недовольным видом уставился на кончик своего пера, как если бы оно сделало недопустимую кляксу. Он чувствовал на себе взгляд Дэвида и в конце концов вынужден был ответить на этот испытующий взгляд.

— Можно мне взглянуть на договоры? — спросил Дэвид. Ему было известно все относительно этих договоров, и он хотел только оттянуть запись решения в книгу протоколов.

Эти договоры были предметом давнишних толков в Слискайле. Договор на поставку сукна особенного значения не имел: дело шло о снабжении форменной одеждой санитарного инспек-

тора, контрольного врача и разных других служащих городского управления, и, хотя Бэйтс (торговец мануфактурой) наживал на этой поставке скандальный барыш, общая сумма договора была не слишком велика. Другое дело — договор на поставку мяса. Этот договор, по которому Ремеджу поручалось все снабжение мясом местной больницы, был вопиющим беззаконием. Цену Ремедж получал как за самое лучшее мясо, а доставлял головы, ноги, кости да обрезки.

Дэвид взял договор на мясо из беспокойных пальцев Раттера. Прочел его. Сумма была большая — триста фунтов. Он умышленно медленно просматривал синевато-серую бумажку, задерживая ход заседания, чувствуя на себе взгляды всех.

— Что же, на эту поставку были устроены торги? — спросил он наконец.

Ремедж, не выдержав, нагнулся к столу, и его красная физиономия исказилась от гнева:

— Я получаю этот подряд вот уже больше пятнадцати лет. А вы против этого, что ли?

Дэвид посмотрел на Ремеджа. Вот он — первый бой, первое испытание. Он был спокоен, вполне владел собой. Сказал хладнокровно:

— Я полагаю, что найдется много людей, которые против этого.

— Врете вы, черт вас возьми! — разразился Ремедж.

— Мистер Ремедж, мистер Ремедж! — проблеял сочувственно преподобный Лоу. Он всегда и в муниципальном совете и вне его лебезил перед Ремеджем, его любимейшим прихожанином, человеком, который был главным инициатором постройки церкви на Бетель-стрит, золотым тельцом среди его редкошерстного стада.

И Лоу принялся сердито отчитывать Дэвида:

— Вы здесь новый человек, мистер... э... Фенвик. Уж не чересчур ли рьяно вы принялись за дело? Не забывайте, что относительно этих поставок мы всегда давали объявление в газете.

Дэвид ответил:

— Да, объявление размером в четверть дюйма, втиснутое, где придется, в местной газете. Объявление, которого никто никогда не видит.

— А для чего его видеть? — загремел Ремедж с конца стола. — И какого дьявола вы суете свой нос в это дело? Я уже пятнадцать лет получаю эту поставку, и никто никогда слова не сказал против.

— Никто, за исключением людей, которых кормят вашим тухлым мясом, — возразил Дэвид ровным голосом.

Наступило гробовое молчание. Гарри Огль метнул на Дэвида растерянный взгляд. Раттер побледнел от испуга. Ремедж, распыряемый яростью, грохнул по столу своим большим кулаком.

— Это клевета! — заорал он. — За такие слова можно под суд попасть! Бэйтс, Раттер, вы все свидетели, что он меня оклеветал.

Раттер протестующе поднял свое кроткое лицо. Преподобный Лоу готовился заблеть. Но Ремедж снова завопил:

— Он должен взять свои слова обратно. Должен, черт возьми!

Раттер сказал:

— Мистер Фенвик, я вынужден просить вас взять свои слова обратно.

С неожиданным для всех задором Дэвид, не сводя глаз с Ремеджа, нащупал в кармане и вытащил пачку бумаг:

— Мне незачем брать обратно свои слова, так как я могу доказать их. Я постарался собрать доказательства. Вот здесь заявления за подписями пятнадцати больных сельской больницы, трех сиделок и самой сестры-хозяйки. Всё это люди, которые ели доставляемое вами мясо, мистер Ремедж, и, по выражению сестры-хозяйки, оно не годится даже для собак. Разрешите прочитать вам эти заявления, джентльмены. Мистер Ремедж может рассматривать их как свидетельские показания.

Среди полной тишины Дэвид прочитал вслух «свидетельские показания» о мясе, которым снабжал больницу Ремедж. «Жесткое, полное хрящей, а иногда и протухшее» — таковы были отзывы об этом мясе. Джен Лори, одна из сиделок больницы, удостоверила, что после того, как она съела кусок вонючей баранины, у нее сделались жестокие колики. У сестры Габбингс завелся кишечный паразит, который мог попасть в желудок только из зараженного мяса.

Даже самый воздух, казалось, окаменел, когда Дэвид кончил. Невозмутимо складывая бумаги, он видел рядом с собой лицо Гарри Огля, выразившее угрюмое восхищение, а напротив — лицо Ремеджа, близкого к апоплексическому удару от ненависти и бешенства.

— Это ложь, — произнес наконец Ремедж, запинаясь. — Я доставляю самое лучшее, первосортное мясо.

Тут в первый раз заговорил Огль.

— Ну, тогда избави нас бог от первосортного мяса, — проворчал он.

Преподобный Лоу примирительно простер свою жемчужно-белую руку:

— Может быть, и попадались когда-нибудь случайно плохие куски — от этого не убережешься.

Гарри Огль буркнул:

— Пятнадцать лет это продолжалось — хороша случайность!

Конноли нетерпеливо засунул руки в карманы.

— Сколько шуму из-за ерунды! Ставьте на голосование! — Он знал, как окончательно уладить дело, и повторил громко: — Давайте проголосуем!

— Они тебя одолеют, Дэвид, — горячим полусшепотом сказал Гарри Огль.

Бэйтс, Конноли, Ремедж и Лоу всегда были заодно, помогая друг другу обдeldывать свои делишки.

Дэвид обратился к преподобному Лоу:

— Я взываю к вам, как проповедующему Евангелие. Неужели вы допустите, чтобы больные люди продолжали есть тухлое мясо?

Преподобный Лоу слегка покраснел, и на лице его появилось упрямое выражение:

— Мне еще надо убедиться в этом.

Дэвид отвернулся от него и, снова остановив взгляд на Ремедже, медленно произнес:

— Я выскажусь яснее. Если в сегодняшнем заседании не будет решено поместить новое и достаточно заметное объявление о приеме заявлений на поставку мяса, то я передам эти отзывы окружному санитарному инспектору и потребую тщательного расследования всего дела.

Взгляды Дэвида и Ремеджа скрестились в поединке. И Ремедж первый опустил глаза. Он испугался. Пятнадцать лет он надувал городское управление, продавая ему скверное мясо и отпуская его с недовесом, и теперь он боялся, ужасно боялся, как бы расследование не обнаружило этого. «Будь он проклят! — подумал он. — На этот раз придется смириться. Проклятая скоти-

на, надо же ему было вмешаться! В один прекрасный день я с ним начисто поквитаюсь, хотя бы это мне стоило жизни!»

Вслух же он сказал грубо:

— Не нужно ставить на голосование. Помещайте объявление, черт с вами. Моя заявка будет не хуже других.

Радостное чувство торжества охватило Дэвида.

«Я победил! — подумал он. — Я победил!» Сделан первый шаг по предстоящему ему трудному пути. Он сумел этот шаг сделать и пойдет дальше!

Заседание продолжалось.

III

Но, увы, результаты избрания Дэвида в муниципальный совет сильно разочаровали Дженни. Дженни неизменно по всякому поводу загоралась таким воодушевлением, что потом ее ждало разочарование. И восторг Дженни по поводу выборов взлетел, подобно ракете, рассыпался красивыми звездами, зашипел и погас.

Она надеялась, что после выборов они поднимутся по социальной лестнице, в особенности же она жаждала знакомства с миссис Ремедж. «За чашкой чая» у миссис Ремедж собиралось все высшее общество Слискейла: миссис Стротер, жена директора школы, и миссис Армстронг, и жена доктора Проктора, и миссис Бэйтс, жена торговца мануфактурой. «Ну а если миссис Бэйтс, то почему же не бывать там и миссис Фенвик?» — спрашивала себя Дженни со страстным нетерпением. На этих вечерах часто играли и пели, а кто же поет лучше ее, Дженни? «Мимоходом» такой прекрасный романс и, так сказать, вполне классический; Дженни сторала от желания спеть его перед всеми слискейлскими дамами в нарядной гостиной миссис Ремедж, в большом новом доме из красного песчаника. «О боже, — волновалась Дженни, — если бы только быть принятой у миссис Ремедж!»

Но со стороны миссис Ремедж не последовало никакого знака внимания, ни даже самой слабой тени поклона при встречах на улице. А затем, в начале декабря, произошел ужасный инцидент. Однажды Дженни пришла в магазин Бэйтса купить муслину («Кузина Мэриэнн» в «Дамском журнале» только что намекнула, что скоро для элегантных женщин «последним криком моды»

будет белье из муслина), а в магазине, у прилавка, рассматривая кружева, стояла миссис Ремедж. Это была крупная, ширококостная женщина с суровым лицом, производившая впечатление человека, несколько помятого жизнью, но сопротивлявшегося ей с исключительным упорством.

Но на этот раз, когда она стояла у прилавка, перебирая кружева, выражение лица миссис Ремедж было менее обычного сурово, более приятно. И когда Дженни подошла к ней вплотную и подумала о том, что их мужья заседают вместе в муниципалитете, — честолюбие ударило ей в голову. Она шагнула вперед к прилавку, самым светским образом улыбнулась миссис Ремедж, чтобы показать свои красивые зубы, и сказала любезно:

— Здравствуйте, миссис Ремедж. Не правда ли, для поздней осени сегодня чудный день?

Миссис Ремедж не спеша обернулась и посмотрела на Дженни. Ужасно было то, что она узнала Дженни и сразу же сделала вид, что ее не знает. В одну убийственную секунду лицо ее замкнулось, как устричная раковина. Она сказала весьма церемонно и свысока:

— Не припоминаю, чтобы мы с вами когда-либо встречались.

Но бедная Дженни в своем ослеплении и возбуждении сама устремила навстречу своей судьбе.

— Я миссис Фенвик, — пролепетала она. — Мой муж в муниципальном совете вместе с вашим мужем, миссис Ремедж.

Миссис Ремедж безжалостно смерила Дженни взглядом с ног до головы.

— Ах, этот... — процедила она и, подняв то плечо, которое было ближе к Дженни, снова занялась кружевами, слащавым тоном обратившись к молодой продавщице: — Знаете, милочка, пожалуйста, я все-таки возьму вот этот, самый дорогой кусок. А вы, конечно, пришлете мне его и запишете на счет.

Дженни багрово покраснела. Она сгорала от стыда. Такое оскорбление — и в присутствии продавщицы! Она повернулась и выбежала из магазина.

В этот вечер она со слезами рассказала обо всем Дэвиду. Он сосредоточенно выслушал ее, сжав губы в одну тонкую черту, затем сказал кротко:

— Вряд ли можно было ожидать, что жена Ремеджа бросится к тебе на шею, Дженни, раз мы с Ремеджем на ножах. За эти три

месяца у меня было с ним несколько столкновений. Я опротестовал договор на поставку мяса. Я стараюсь задержать ассигновку пятисот фунтов, которые он преспокойно требовал у города на прокладку мостовой мимо его нового дома в Слус-Дине, — новой мостовой, никому, кроме него, не нужной! На последнем заседании я поднял вопрос о том, что он на своей грязной частной бойне нарушает шесть существующих правил. Так что можешь поверить, что он не очень-то меня любит.

Дженни с возмущением уставилась на него, горячие слезы выступили у нее на глазах.

— А зачем тебе идти против таких людей? — Она всхлипнула. — Станный ты человек. Для тебя были бы так полезны хорошие отношения с мистером Ремеджем! Я хочу, чтобы ты выдвинулся!

— Ах, Дженни, голубушка, — сказал Дэвид терпеливо. — Я же объяснял тебе, что для меня такое «выдвижение» невысказано. Может быть, я и странный человек, но за последние годы мне пришлось пройти через такие необычайные испытания — несчастье в шахте и война... Ты разве не находишь, Дженни, что пора нам вступить в борьбу со злом, вызывающим такие несчастья, как в «Нептуне», и такие войны, как последняя война?

— Но, Дэвид, — простонала Дженни, следуя своей неопровержимой логике, — ведь ты зарабатываешь только тридцать пять шиллингов в неделю!

Дэвид вдруг тяжело задыхался. Он перестал убеждать Дженни, молча посмотрел на нее, встал и вышел в другую комнату.

Дженни приняла это как знак пренебрежения, и жгучие слезы жалости к себе снова закапали из ее глаз. Она надулась, пришла в состояние сильнейшего раздражения. Да, Дэвид переменялся, он теперь совсем, совсем другой. Напрасно она его всячески убажывает — видно, она потеряла власть над ним. Несколько уязвленная, Дженни пыталась разжечь в муже чувственность, но Дэвид и тут оказался до странности неподатлив, настоящий аскет. Дженни поняла, что физическая страсть, не оправданная нежностью, ему противна. Ее это оскорбляло. Сама она способна была в одну минуту загореться, перейти сразу от бурной ссоры к бурному взрыву страсти и стремительно и настойчиво искать ее утешения. На ее языке это скромно называлось «мириться». Но Дэвид был не таков. И она находила это «ненормальным».

Дженни, по ее собственному выражению, была «не из тех, которые позволяют себя третировать», и разными способами мстила за обиду. Она совершенно прекратила всякие попытки угрожать Дэвиду: возвращаясь домой по вечерам, он находил потухший камин, а ужина ему не оставляли совсем. То, что он никогда не жаловался и не сердился, больше всего злило Дженни. В такие вечера она делала все, что могла, чтобы вызвать его на ссору, а когда это ей не удавалось, она принималась пилить его:

— А знаешь ты, что я зарабатывала во время войны четыре фунта в неделю? Это вдвое больше, чем ты теперь зарабатываешь.

— Я взял эту работу не ради денег, Дженни.

— Я за деньгами не гонюсь, и тебе это известно. Я не мелочна и не скупа. Помнишь, перед свадебной поездкой я подарила тебе костюм? Да, вот была умора — пришлось справить мужу приданое! От тебя и тогда уже не было никакого проку. Я бы на твоём месте не считала себя мужчиной, если бы не была способна каждую неделю приносить домой приличную сумму денег.

— У каждого своя мерка, Дженни.

— Разумеется! (С крайним озлоблением.) Я могла бы получить место в любую минуту, как только захочу. Сегодня утром я просмотрела газету и нашла там полдюжины объявлений о местах, которые я легко могла бы занять. Да что говорить! Место продавщицы в галантерейном магазине я могу найти когда угодно.

— Потерпи, Дженни, быть может, я окажусь не таким ничемным человеком, как ты думаешь.

Если бы Дженни лучше разбиралась в положении вещей, то, истолковав его по-своему, могла бы успокоиться и запастись терпением. Дэвид успешно работал с Геддоном. Он сопровождал его на все собрания в районе, и обычно его просили выступать. В Сегхилле он выступал перед аудиторией в полторы тысячи человек по вопросу о резолюциях, принятых в Сауспорте. Геддон, озадаченный решениями январской конференции, предоставил это Дэвиду. Выступление Дэвида превратилось в настоящий триумф. Он говорил понятно, живо, дельно, со страстной искренностью. По окончании митинга, когда он сошел с трибуны, его окружило множество людей, которые, к его удивлению, хотели непременно пожать ему руку. Джек Бриггс, старшина сегхиллской профорганизации, семидесятишестилетний старец, закаленный в боях и вы-

пивший на своем веку невероятное количество пива, тряс его руку до тех пор, пока она не заболела.

— Ей-богу, — прокаркал старый Джек на местном диалекте, — ты чертовски хорошо говорил, парень! Немало я слышал речей, но такой хорошей ни разу. Ты далеко пойдешь, дружище!

То же самое утверждал Геддон. Казалось невероятным, что Геддон, человек озлобленный и необразованный, не завидует успехам Дэвида. А между тем это было так. У Геддона было мало друзей, его грубость отталкивала всех, кроме самых стойких старых знакомых. К Дэvidу же он сразу почувствовал расположение. Геддон хорошо знал низость человеческую и, ценя незаурядный ум и бескорыстие Дэвида, не мог не полюбить его. Он инстинктивно чувствовал, что перед ним человек, нашедший свое призвание, прирожденный оратор, не заносчивый, проницательный и искренний, умный и глубоко серьезный человек, который мог бы многое сделать для своих ближних. И Геддон, казалось, сердито уговаривал сам себя: «Ради бога, не проявляй же ты мелочной зависти, а сделай все, что можешь, чтобы поддержать этого человека!»

Геддон с восторгом читал отчеты о заседаниях слискейлского муниципального совета, печатавшиеся в тайнкаслских газетах. Тайнкаслские газеты «открыли» Дэвида, и его поход против превосходно организованных злоупотреблений в Слискейле был для них манной небесной в мертвый сезон. Время от времени газеты яркими красками расписывали Дэвида и его подвиги в заметках под заголовками вроде «Переполох в слискейлском муниципалитете», «Слискейлский смутьян опять за работой!».

Геддон закатывался злорадным смехом, читая об остроумных выпадах Дэвида. Выглядывая из-за газеты, он спрашивал:

— Вы в самом деле так и сказали этому мерзавцу, Дэвид?

— Именно так и сказал, Том...

— Хотел бы я видеть физиономию Ремеджа, когда вы ему сказали, что на его чертовой бойне такая грязь, что даже свиньям противно.

Врожденная скромность Дэвида больше всего способствовала его хорошим отношениям с Геддоном. Первые же признаки самонадеянности и чванства навеки убили бы дружбу его с Томом. Но он их не обнаруживал, и поэтому Том вырезал из тайнкаслской газеты «Аргус» самые любопытные заметки о Дэвиде и по-

сылал их своему старому приятелю Гарри Нэдженту, многозначительно отчеркивая их синим карандашом.

Дженни обо всем этом ничего не знала. И она злилась. Рассеянность Дэвида она принимала за пренебрежение к ней. Это мнимое пренебрежение ее бесило, так бесило, что она считала себя вправе искать утешения в лечебном портвейне Мэрчисона. К весне 1919 года Дженни снова стала пить. И приблизительно в это же время произошло одно событие, имевшее большое психологическое значение.

В воскресенье, 5 мая, умер старый Чарли Гоулен. Чарли шесть месяцев болел водянкой, и, несмотря на то что ему делали множество проколов в лоснящееся, раздутое брюхо, Чарли в конце концов отдал богу душу. В том, что Чарли, который никогда не был любителем чистой воды, кончил водянкой, была какая-то мрачная ирония. Но ирония или нет, а Чарли умер, умер в бедности и заброшенности. И два дня спустя в Слискейл прибыл Джо.

Приезд Джо в Слискейл произвел настоящий фурор. Приехал он во вторник утром, в сверкающем автомобиле марки «Санбим» — новеньком двадцатипятицильном зеленом «Санбиме», которым правил человек в темно-зеленой ливрее. Не успел Джо выйти у старого дома на Альминской террасе, где он жил когда-то, как автомобиль обступила толпа любопытных. Гарри Огль, Джейк Уикс — новый контролер — и несколько десятников стояли у дома (приближался час похорон), и, хотя до Террас уже доходили слухи о богатстве Джо, все были явно ошеломлены переменой в нем. Франк Уэлмсли, под началом которого когда-то работал Джо, даже назвал его «сэр». Джо был одет просто, но богато. Краги, запонки матового золота, платиновая часовая цепочка. Он был гладко выбрит, вылощен, ногти отполированы. Он сиял вульгарным благополучием предприимчивого дельца.

Гарри неловко переминался с ноги на ногу перед великолепным Джо, отгоняя воспоминания о том Джо, который был откатчиком в «Парадизе».

— Очень рад, что вы приехали, Джо. Мы, несколько человек, служащих «Нептуна», устроили между собой складчину, мы не хотели, чтобы вашего отца хоронили за счет попечительства о бедных.

— Боже мой! — мелодраматически воскликнул Джо. — Неужели же, Гарри, вы имеете в виду работный дом? Неужели дело дошло до этого?

Глаза его обежали низкую, грязную кухню, где он когда-то слизывал паштет с ножа, и остановились на убогом черном гробе, в котором лежал раздутый водянкой труп его отца.

— Боже мой! — завопил он. — Почему же мне никто не сообщил? Почему вы мне не написали? Все вы знаете, где я и кто я такой. Христианская у нас страна или нет? Стыдно вам должно быть перед самими собой, что вы дали бедному старику умереть таким образом. Видно, вам слишком трудно было даже телефонировать мне на завод!..

Таким же убитым Джо выглядел и на похоронах. У могилы он дал волю своему горю и громко рыдал в большой шелковый носовой платок. Все нашли, что это делает ему честь. Прямо с кладбища Джо поехал к Пикингсу на Лам-стрит и заказал великолепный памятник.

— Счет пошлите мне, Том, — объявил он важно. — Цена роли не играет!

И Том послал счет; потом ему пришлось посылать его очень много раз.

После похорон Джо сделал беглое сентиментальное турне по городу, выказав все те чувства, какие приличны преуспевающему человеку при посещении родных и любимых мест. Он убедил Гарри Огля, что ему необходимо получить фотографию дома на Альминской террасе. Он хотел иметь увеличенную фотографию убогого дома, где он родился. Пусть же Гарри поручит это фотографу Блэру и пошлет фотографию и счет ему, Джо.

К концу дня, часов в шесть, Джо заехал навестить старого друга Дэвида. Весть о прибытии Джо в Слискейл опередила его, и Дженни, сообщив эту весть Дэвиду, с волнением, не жалея денег, делала приготовления к приему Джо.

Но Джо решительно отклонил приглашение Дженни, объявив, что обедает сегодня с друзьями в Центральной в Тайнкасле. Дженни дрогнула, но все же продолжала настаивать. Тогда Джо смерил ее с головы до ног спокойным и выразительным взглядом — да так, что она поняла: надежды больше нет. Веселость ее пропала, исчез кокетливый задор, и она сидела молча, трепеща от зависти.

Тем не менее она вся превратилась в слух и, жадно ловя каждое слово Джо, рассказывавшего о себе, невольно сравнивала двух людей и их достижения в жизни: блестящий успех Джо и плачевные неудачи Дэвида.

Джо говорил весьма откровенно, — он всегда щеголял откровенностью. Было ясно, что он считал прекращение войны преждевременным: «В конце концов, война вовсе не такая уж плохая штука». Впрочем, дела его и теперь великолепны. Джо вынул золотой портсигар, закурил, втягивая ноздрями аромат турецкого табака, затем, наклонясь вперед, дружески похлопал Дэвида по колену:

— Ты знаешь, конечно, что мы, Джим Моусон и я, откупили завод у Миллингтона. Видит бог, мне жаль бедного Стэнли! Теперь он навсегда поселился с женой в Борнмаусе. Славный парень, знаешь, но его здорово скрутило. Совершенная развалина. Говорят, это расстройство нервной системы. Да, пожалуй, для него было самым лучшим выходом то, что мы освободили его от завода. И он получил за него хорошие деньги. О да, деньги немалые!

Джо помолчал, глотая дым папиросы, и безмятежно улыбнулся Дэвиду. Его хвастовство стало теперь несколько утонченнее, он прикрывал его маской кроткого безразличия.

— А знаешь, мы получили заказ на новое оборудование для «Нептуна». Что? Ну да, конечно, мы снова перешли на старое производство — тотчас же, как война кончилась. Пока все простофили сидели на грудах своих гранат и раздумывали над тем, что случилось, мы перешли опять на производство инструментов, и болтов, и кровельных подпорок. Понимаешь... — Джо заговорил с еще большей экспансивностью и доверчивостью: — Пока шла война, копи были заняты только добычей угля, ни один шахтовладелец не имел времени осматривать и ремонтировать шахты, если даже допустить, что он мог бы достать оборудование, — а это было невозможно. Вот мы с Джимом и рассудили, что, когда мир будет заключен, они все завопят о товаре, и никто не сможет откликнуться на этот вопль, кроме таких ранних пташек, как мы с Джимом. — Джо тихо вздохнул. — Вот таким-то образом мы и получили заказ для «Нептуна». Ха-ха, до конца года мы им должны поставить оборудования на пятьдесят тысяч фунтов.

Эта колоссальная, почти сказочная цифра — пятьдесят тысяч фунтов — прогремела в маленькой комнате, заставленной дешевой мебелью и полной дыма от турецких папирос Джо, и оглушила бедную Дженни до того, что у нее чуть не лопнули барабанные перепонки. Подумать только, какими деньгами распоряжается Джо! Она съежилась в кресле, пожираемая завистью.

Джо видел, какой он произвел эффект, видел голодное выражение в глазах Дженни, холодную враждебность в глазах Дэвида, и все это немного ударило ему в голову. Он продолжал со снисходительной развязностью:

— И, скажу тебе, хотя у нас и много дела на заводе... (Хорошо звучит: «Моусон и Гоулен», не правда ли? Уж извините, я немного пристрастен к нашей фирме.) Да, так я хотел сказать, что мы с Джимом имеем еще всякие побочные доходы. Возьмите, например, такой случай... Ты, конечно, слышал, Дэви, о ликвидационной комиссии? Нет? — Джо с сожалением покачал головой. — Ну, жаль, что не слышал. Ты бы мог подзаработать немного денег, хотя, впрочем, браться за эти дела можно, только имея капитал. Видишь ли, правительство, дай ему бог здоровья, во время войны закупило, и заказало, и реквизирировало целую кучу вещей, которые им теперь не нужны, — всё, начиная от резиновых сапог и кончая целой флотилией торговых судов. Ну а раз государству теперь все это не нужно, оно, естественно, желает его сбыть с рук... — Джо, этот верноподданный короля, развалился в кресле, позволив себе слегка ухмыльнуться при воспоминании о том, как он своими скромными силами помогал правительству избавляться от того, что ему не нужно. — Видите мой автомобильчик на улице?

— О да, Джо! — захлебнулась восторгом Дженни. — Какая прелесть!

— Недурен, недурен, — согласился Джо. — Ему один только месяц. Хотите знать, как я его добыл? — Он сделал паузу, его карие небольшие глаза заблестели. — Шесть недель назад Джим и я ездили за Морпет осматривать кое-какое государственное имущество. В одном лесоводстве нам попала на глаза парочка тракторов, которыми пользовались на лесопилках и которые второпях забыли вывезти. Они стояли среди гниющих колод, покрытые ржавчиной и заросшие крапивой до самых маховиков. На первый взгляд машины были хлам, но, осмотрев их как следует, мы увидели, что ход у них хороший, все равно как у новых, и что они стоят каждая добрых несколько тысяч. Ну, мы с Джимом предложили цену как за утиль и забрали машины. Погнали их в Тайнкасл, вычистили, покрасили и в таком нарядном виде продали. Барыш разделили пополам. И этот мой автомобильчик, что стоит там, — Джо махнул рукой по направлению к окну, — моя доля барыша.

Пауза. Затем с бледных губ Дженни срывается невольный вздох восхищения. Этот чудный, чудный автомобиль, сверкающий на улице перед домом, куплен и оплачен благодаря одному лишь деловому маневру. Какая ловкость! О, это было уже слишком, слишком, больше, чем она могла вынести!

Джо на этом кончил разговор. Джо умел произвести впечатление. Он бросил взгляд на дешевые часы на камине и, с восклицанием испуга, проверив время по своим, золотым, вскочил с места:

— Боже! Мне уже надо было быть в дороге! Я прозеваю Джима! Очень жаль, что приходится так скоро вас покинуть, но я обещал быть в семь часов в Центральной!

Он пожал руку Дэвиду и Дженни и пошел к дверям, смеясь и болтая, благодушный, энергичный, веселый, смакующий жизнь, полный собой. Дверь за ним захлопнулась, зажужжал автомобиль — и Джо умчался.

Дэвид поглядел на Дженни с легкой иронической усмешкой.

— Вот тебе и Джо! — сказал он.

Дженни ответила злым взглядом.

— Я знаю, что это Джо! — сердито отрезала она. — Что ты хочешь сказать, не понимаю!

— Да ничего, Дженни. Но теперь, когда он ушел, я вдруг вспомнил, что он все еще мне должен три фунта!

Настоящий демон ярости проснулся в груди Дженни. Ужаленная завистью и сознанием, что Джо окончательно и навсегда от нее отделался, она скривила губы.

— Подумаешь, три фунта! — фыркнула она презрительно. — Такие деньги Джо может швырнуть лакею. У него целое состояние, он мог бы купить и продать тысячу таких, как ты. Джо — настоящий мужчина. Он умеет дела делать, из всего извлекать деньги. Почему ты не берешь с него примера? Посмотри на его автомобиль, посмотри, как он одет, какие курит папиросы, сколько у него золотых вещей. Посмотри на него, говорю тебе, и устыдись! — Ее голос перешел в крик. — Джо такой человек, который устроил бы жене хорошую жизнь, водил бы ее в рестораны, и на танцы, и в разные другие места, окружил бы ее изысканным обществом и все такое. Посмотри на него — и на себя! Ты не достоин развязать тесемки у его башмаков, слышишь? Ты и не мужчина вовсе. Ты тряпка, неудачник — вот ты кто, вот что Джо сейчас о тебе думает. Он едет себе, развалясь, в своем красивом большом

автомобиле и смеется над тобой. Хохочет до упаду. «Неудачник», — говорит он про тебя. Неудачник, неудачник, неудачник!!

Ее голос стал визгливым и оборвался, на губах выступила пена, в глазах светилась ненависть.

Дэвид стоял, сжав руки и глядя ей прямо в лицо. Он с большим трудом сдерживался, понимая, что единственное средство прекратить истерику — это оставить Дженни одну. Он отвернулся, ушел на кухню.

Дженни осталась в гостиной. Она дышала тяжело и прерывисто, но подавила в себе желание пойти за Дэвидом на кухню и высказать все начистоту. Она приберегала для следующего раза те шпильки и язвительные слова, что были у нее на языке. Есть другое средство, получше!

Дженни всхлипнула без слез. Запах дорогих папирос все еще стоял в воздухе и доводил ее до бешенства. Она выбежала из комнаты, надела шляпку и ушла.

Было уже поздно, когда она вернулась домой, около одиннадцати. Но Дэвид еще не спал. Он сидел на кухне за сосновым столом, погруженный в чтение первого оттиска нового, только что утвержденного постановления Комиссии по угольной промышленности. Когда Дженни вошла в кухню, он поднял глаза. Она остановилась в дверях. Шляпка ее съехала немного набок, глаза были мутны, щеки прорезаны тонкими красными жилками. Дженни была безобразно пьяна.

— Привет! — фыркнула она. — Что, все трудишься, деньги зарабатываешь?

Она говорила невнятно, путая слова, и выражение ее лица не оставляло сомнений. Дэвид в ужасе вскочил. Он в первый раз видел ее вдрызг пьяной.

— Оставь меня! — Она оттолкнула его и чуть не упала. — Я не нуждаюсь в твоих заигрываниях! Убери подальше руки! Ты ничего подобного не заслуживаешь...

Дэвид почувствовал к ней отвращение.

— Дженни! — взмолился он.

— Тшенни! — передразнила она его, состроив пьяную гримасу. Она качнулась к нему, подбоченилась с пьяной удалью. — Хорош муж, нечего сказать! Заставляет меня тратить даром лучшие годы. Я здорово веселилась во время войны, пока тебя не было. И хочу так же веселиться теперь.

— Дженни, прошу тебя, — молил он, оцепенев от муки. — Ты бы лучше легла.

— Не лягу. — Она захихикала. — Не лягу, я для тебя...

Наблюдая ее, Дэвид вдруг подумал о ребенке, которого она родила ему, и видеть ее в таком унижительном состоянии стало невыносимо больно.

— Дженни, ради бога, возьми себя в руки! Уж если я ничего больше для тебя не значу, то подумай о нашем ребенке, вспомни о Роберте. Я до сих пор не говорил об этом. Я не хочу тебя расстраивать. Но неужели и память о нем ничего для тебя не значит?

Дженни разразилась пьяным смехом. Она хохотала, хохотала, пока у нее не потекла изо рта слюна.

— Я, кстати, собираюсь сказать тебе насчет этого кое-что, — сказала она глумливо. — Давно собиралась... «*Наш* ребенок»! Вы льстите себе, милорд! Откуда ты знаешь, что он был твой?

Не понимая, он посмотрел на нее с выражением отвращения. Это ее взбесило.

— Дурак! — взвизгнула она вдруг. — Это был ребенок Джо!

Тогда он понял. Поблуднел как смерть, яростно схватил ее за плечи и прижал к двери:

— Это правда?

Отрезвленная физической болью, она уставилась на него мутным взглядом и поняла, что зашла слишком далеко: она вовсе не собиралась выдать тайну Дэвиду. Испугавшись, она заплакала, сразу ослабела, обмякла. Привалившись к Дэвиду, она доплакала до истерики.

— О боже, о боже! Прости меня, Дэвид. Я скверная, гадкая. Я знать больше не хочу мужчин! Никогда, никогда, никогда. Я хочу быть хорошей. Я нездорова, в этом вся беда, я не совсем здорова... приходится выпивать иногда стаканчик, чтобы поддержать силы...

Она все причитала и причитала.

С тем же застывшим, суровым лицом Дэвид дотасил ее до дивана, поддерживая ладонью ее валившуюся назад голову. Дженни в истерическом припадке заколотила пятками. Она продолжала:

— Дай мне возможность исправиться, Дэвид! О, бога ради, дай! Я не дурная женщина, право же нет. Он меня обошел, но теперь все кончено, кончено давным-давно. Ты это мог сам видеть

сегодня, он смотрел на меня, как на мусор под ногами. А ты, Дэвид, самый лучший человек на свете, другого такого нет! Мне тошно, Дэвид, мне ужасно плохо. Я целую вечность уже не отдыhalа, я вправду нездорова... Ах, если бы ты еще раз испытал меня, Дэвид, Дэвид, Дэвид...

Он угрюмо смотрел в сторону, не мешая ей изливаться и этим отделяться от угрызений совести. Тяжкая боль давила ему сердце. Дженни нанесла ему ужасный удар. Любовно хранил он в душе воспоминание о маленьком Роберте. А она и это осквернила!

В конце концов Дженни перестала хныкать, нервное дрыганье ногами прекратилось. Наступила тишина. Дэвид тяжело перевел дух, затем сказал тихим голосом:

— Не будем больше об этом говорить, Дженни. То, что ты сказала, совершенно верно: ты нездорова. Я думаю, тебе было бы полезно уехать на время. Не хочешь ли погостить на ферме у Дэна Тисдэйла в Суссексе? Я легко мог бы это устроить. Я встречаюсь с Дэном.

— На ферму? — ахнула Дженни, потом подняла страдальческие, восторженные глаза. — В Суссекс?!

— Да.

— О Дэвид! — Дженни снова начала плакать. Неожиданно открывшаяся перспектива была так заманчива, и Дэвид так необыкновенно добр, и все так чудесно. — Ты так добр ко мне, Дэвид, обними меня разок и скажи, что все еще любишь меня.

— Ты обещаешь никогда больше не брать в рот вина?

— Да, Дэвид, да, обещаю.

В бурном приливе нежности и преданности она клялась, что выполнит обещание.

— Ну ладно, я это устрою, Дженни.

— О Дэвид! — Дженни всхлипывала, и задыхалась, и прижималась к нему. — Ты лучший человек на свете.

IV

Через месяц, в начале июня, Дэвид однажды утром проводил Дженни на Центральный вокзал в Тайнкасле. Договориться с Грэйс Тисдэйл относительно приезда Дженни в Винраш оказа-

лось очень легко, — Грэйс пришла в восторг. Сумма, которую Дэвид мог платить еженедельно, была довольна мала, но из откровенного, бесхитростного письма Грэйс было видно, что и эта сумма будет принята с удовольствием.

Дженни была оживлена, предвкушение отдыха в деревне кружило ей голову, румянило щеки, придавало блеск глазам. Она была полна горячей нежности и раскаяния. Она уже воображала, как кормит цыплят, гладит прелестных маленьких ягнят, а через три недели возвращается к Дэвиду чистой, облагороженной и красивее прежнего. О, как это замечательно!

Они стояли с Дэвидом у открытой двери купе, а на ее месте в углу была приготовлена пачка газет и журнал. Она подумала, что очень мило было со стороны Дэвида купить ей журнал. Она не то чтобы одобрила его выбор, но приличной даме подобает иметь с собой в дороге какой-нибудь журнал. А для Дженни самой большой радостью было делать то, что «подобает». Она болтала, обращаясь к Дэвиду, бросая на него время от времени умильные взгляды, выражая ими свое раскаяние и искреннее желание исправиться. Дэвид упорно молчал. Дженни часто задавала себе вопрос: что он думает о том... ну, о том, о чем она так глупо проговорила? Иногда ей смутно казалось, что он все забыл или не поверил ей, потому что он ни разу не упоминал об этом. Во всяком случае, она была убеждена, что он ее простил, и это льстило ее тщеславию! Она не понимала, каким страшным ударом было для Дэвида это открытие. Он думал, что она всегда была ему верна. Он с глубокой нежностью берег воспоминание о маленьком Роберте. И одной фразой Дженни все разрушила. Дэвид страдал ужасно, но так как он не обвинял ее, не допрашивал, не выпытывал от нее каждую грязную подробность и не колотил до смерти, то Дженни полагала, что он не страдает. Она, в сущности, не знала Дэвида и не способна была оценить силу характера и благородство, которые заставляли его молчать. В глубине души она недоумевала, но была довольна и, пожалуй, немного презирала Дэвида.

Она посмотрела на большие часы в конце платформы:

— Ну, сейчас отойдет!

Дженни вошла в купе, и Дэвид захлопнул дверь. Раздался свисток. На прощание она крепко обняла Дэвида:

— Ты будешь скучать по мне? Да, Дэвид?

Затем со вздохом удовлетворения она принялась устраиваться в купе. Путешествие было длительное, но Дженни коротала время за журналом и сэндвичами и с интересом рассматривала пассажиров. Дженни чрезвычайно гордилась своим умением «разбираться в людях». Одним зорким взглядом она определяла, как они одеты, сколько стоит шляпка, настоящие или поддельные бриллианты на какой-нибудь даме, принадлежит ли она к «настоящему обществу».

В два часа Дженни пересела в другой поезд, в три она прошла по коридору и выпила чашку чаю за самой светской беседой с симпатичным молодым человеком, сидевшим за тем же столиком. То есть, собственно говоря, он сидел за соседним, но пересел к ней. Странно, он оказался коммивояжером!

Посмеиваясь про себя, она вспомнила о том лысом коммивояжере, которого выдумала для успокоения Дэвида в их медовый месяц. Милый Дэвид! Она держалась, право, очень холодно с симпатичным молодым человеком, проявила только вежливый интерес, когда он объяснил, что занимается распространением хирургических инструментов. О, она держала себя в высшей степени достойно и на прощание пожала ему руку, как настоящая леди.

В половине пятого она приехала на узловую станцию Барнхем, и здесь ее встретил Дэн. Дэн выглядел таким большим, здоровым и счастливым. На нем была старая солдатская рубашка, расстегнутая у ворота, гамаша и короткие кожаные штаны. Дэн приехал в маленьком легковом «форде» и, подхватив саквояж Дженни, как перышко, повез ее на ферму в Винраш.

Ферма очень понравилась Дженни, а прием Грэйс — еще больше. Грэйс приготовила великолепный ужин из самых свежих яиц; и пирога, и множества маленьких, круглых, преаппетитных на вид пирожных, о которых Грэйс сказала, что это суссекские пряники. Они уселись все вместе: Дженни, Грэйс, Дэн, маленькая Кэролайн-Энн и Томас — новый малыш, который отзывался на кличку Дикери-Док и восседал на высоком стульчике справа от Грэйс. Они сидели в просторной кухне с каменным полом, и Дженни восторгалась и пирожными, и свежими яйцами, и Дикери-Доком. Дженни восторгалась всем решительно. «Здесь так мило», — говорила она.

После чая Грэйс повела Дженни осматривать ферму, объясняя ей, что у них очень небольшой участок — только сорок акров,

которые они арендуют у старого мистера Пэрселла. Грэйс не делала тайны из того, о чем проницательная Дженни уже и сама догадалась. Грэйс с удивительной простотой признавалась, что им с Дэном приходится очень туго. Птицеводство, ради которого Дэн главным образом и арендовал ферму, дело трудное, малоодоходное. Но летом они возьмут постояльцев, а постояльцы — Грэйс улыбнулась — платят. Улыбалась Грэйс часто: она была безмерно счастлива с Дэном, Кэролайн-Энн и Дикери-Доком. Ей приходилось работать не покладая рук, но она чувствовала себя счастливой. Ведь она увезла Дэна с рудника, далеко-далеко от проклятой шахты, а это — главное.

— А деньги, — сказала в заключение Грэйс, — деньги — чепуха!

Тронутая откровенностью Грэйс, Дженни горячо ее поддержала.

— Да, — усмехнулась она, гордясь тем, что может поддержать Грэйс соответствующим аргументом, — да, именно так всегда говорит мой Дэвид.

Утомленная поездкой, Дженни в этот вечер рано легла спать. Она хорошо выспалась, а когда проснулась, уже ярко сияло солнце, и зеленые деревья качались под легким ветром, и мычала где-то корова. «О, как мило!» — подумала Дженни, нежась в постели. В дверь постучали.

— Войдите, — пропела Дженни в превосходном настроении.

Вошла аппетитная толстуха, единственная служанка Грэйс, приходившая из деревни на поденную работу, и принесла Дженни завтрак. Девушку звали Пэг. Щеки у нее были красные, как вишни, а короткие ноги массивностью напоминали ножки роля. Дженни очень забавляли ноги Пэг — умора, да и только!

Она маленькими глотками выпила чай, встала, накинула халат и зеленый шарф с красивой отделкой из перьев марабу, пушистый, как ее халат, и «прелестный», затем побежала в ванную. Дом был старый, тесовый, на стенах обоев не было, но Грэйс поработала над ними своей кистью. Яркая окраска стен красиво выделялась на фоне старого потемневшего дерева. Ванная тоже была уютная, очень простая, выкрашенная эмалевой краской. Дома Дженни никогда по утрам не принимала ванны, но когда гостишь в чужом доме, то отчего же нет... Это естественно.

После завтрака Дженни одна побродила по ферме, на каждом шагу открывая новые прелести. Смышленные крохотные цыпля-

та, приятный запах гумна, садик милой Грэйс, где росли красивые камнеломки, очаровательная компания поросят, которые убежали от нее, помахивая хвостиками и подпрыгивая, похожие на свору миниатюрных гончих. «О, как чудесно жить в деревне!» — вздохнула Дженни в экстазе.

В одиннадцать Грэйс спросила Дженни, не хочет ли она поплавать. Грэйс сказала, что летом они «всем семейством» каждый день ходят купаться, как бы заняты они ни были. Она прибавила с улыбкой, что Дэн и она дали торжественную клятву не пропускать ни одного дня. Дженни плавать не умела, но охотно отправилась с ними на берег, короткую полосу песчаного пляжа, окаймлявшую их участок.

Дженни стояла на берегу, наблюдая, как Грэйс, Дэн и их «семейство» входят в воду. Дэн нес Кэролайн-Энн, а Грэйс — шестимесячного Дикери-Дока. Они шумно веселились и дурачились в неглубоком месте у берега; потом дети лежали на горячем песке, а Грэйс и Дэн плавали. Они заплыли далеко и, когда вернулись и вышли из воды, напомнили Дженни картинку на обложке ее журнала. Что-то перехватило ей горло. Крепкое и стройное тело Грэйс было бронзовым от загара, она держалась прямо, с непринужденной грацией. Вот они с Дэном затеяли игру, перебрасываясь Дикери-Доком, как мячом. И вы думаете, Дикери-Доку это не нравилось? Кэролайн-Энн бегала вокруг, визжа от восторга, умоляя маму и папу бросить Дикери-Дока на землю. Но мама и папа не хотели, и в конце концов Дэн схватил Кэролайн-Энн за ноги, и все кучей свалились на песок.

Потом истекли свободные полчаса Дэна, и он умчался домой, чтобы поехать в «форде» в Фиттлхемптон. Дженни, возвращаясь с пляжа вместе с Грэйс, была задумчива. Какое значение имеют деньги для этих счастливых людей? У них прекрасное здоровье, свежий воздух, чтобы дышать, море, чтобы купаться, и солнце, чтобы греться в его лучах.

После завтрака Дженни тотчас же засела за письмо к Дэвиду и написала письмо на четырех страницах, закапанных слезами, восторгаясь прелестями простой жизни и деревенскими удовольствиями. Она прошла пешком всю дорогу до Барнхема, чтобы отправить письмо, и почувствовала себя духовно облагороженной и чистой. Она решила, что нашла свое призвание. Она может тоже, если захочет, стать такой, как Грэйс. Почему бы нет? Дженни

усмехнулась. Она хотела ласково погладить ягненочка, просу-нувшего нос через изгородь, а он убежал от нее и остановился за нуждой посреди поля, у ближайшего стога сена. Но это ничего, ничего — все так чудесно, что словами не выразишь.

Следующий день был солнечный и веселый, за ним другой такой же и третий, — и по-прежнему все еще казалось ей чудесным. Быть может, впрочем... если поразмыслить... пожалуй, не таким уж чудесным. Дженни понимала, что все с течением времени приедается, и поэтому-то ей хотя и нравится на ферме, но не так, как нравилось вначале. «Странно», — Дженни усмехнулась про себя, сидя в субботу одна на берегу и куря папиросу. Ведь это не потому, что Дэн и Грэйс уже менее ласковы к ней. Дэн и Грэйс относятся к ней прямо-таки замечательно. Но, надо сознаться, здесь чуточку — самую чуточку — скучно: на пляже ни души, не говоря уже о том, что нет ни оркестра, ни площадки для гулянья, а что касается кормления цыплят, так ей, надо прямо сказать, это до смерти надоело. А свиньи! Противно и смотреть на этих грязных животных.

Она встала и, чувствуя, что следует чем-нибудь заняться, решила пойти пешком в Барнхем. В Барнхеме она купила еще пачку папирос и утреннюю газету, потом зашла в «Меррисот» и выпила стакан портвейна. Что за дыра! И как у них хватает нахальства называть это отелем?.. А она сегодня особенно эффектна, — ей сказало это зеркало (с рекламой фирмы Басс) на противоположной стене. Так эффектна — и никто ее не видит, кроме корявой старушонки в «Меррисоте», которая смотрела на нее подозрительно и чуть не отказалась подать ей вино! Старуха кормила кур. «О господи, — подумала Дженни, — неужто я никогда не избавлюсь от этих проклятых кур!»

Она воротилась на ферму злая-презлая, прошла прямо в свою комнату и принялась читать газету. Газета была лондонская. Дженни обожала Лондон. Она за всю свою жизнь была там четыре раза, и ей там очень нравилось. Она прочла всю светскую хронику Лондона, затем объявления. Объявления ее очень заинтересовали, в особенности те, в которых говорилось, что требуются опытные продавщицы. В этот вечер Дженни, ложась спать, о чем-то усиленно размышляла.

Назавтра день выдался дождливый.

— О господи, — сказала Дженни, с огорчением глядя на дождь. — Мокрое воскресенье!

Она не захотела идти в церковь, слонялась по ферме, как тень, и неласково обошлась с Кэролайн-Энн. Днем Грэйс прилегла отдохнуть, а Дэн пошел на сеновал за сеном. Пять минут спустя Дженни пришла туда же.

— Привет, Дэн! — позвала она весело, метнув на него игривый взгляд и кокетливо расставив ноги.

Дэн посмотрел на нее, не отвечая на улыбку.

— Привет! — отозвался он без всякого энтузиазма и, повернувшись к ней спиной, снова усердно занялся сеном.

У Дженни лицо вытянулось. Она из самолюбия постояла еще минуту. Ну конечно, ей следовало знать, что для Дэна не существует ни одной женщины, кроме Грэйс! Он просто дубина! Дженни вышла под дождь.

— Дубина, — бормотала она, — настоящая дубина!

Следующий день опять был дождливый. Недовольство Дженни возросло. До каких пор ей придется терпеть скуку в этой проклятой дыре? Еще двенадцать дней?! Нет, ни за что, ни за что! Ей пожить хочется, повеселиться, она создана не для этой капустной идиллии в нищете. Она начала сердиться на Дэвида за то, что он отослал ее сюда, даже возненавидела его за это. Да! Это для него очень удобно! Теперь он, конечно, развлекается в Тайнкасле: ей известно, что проделывают мужчины в отсутствие жен! Он, наверное, отлично проводит время, а она торчит тут, в этой дыре!

И Дженни начала мысленно перетолковывать по-своему всю историю их отношений с Дэвидом. Нет, она не намерена выносить это дольше! С какой стати! Она может сама зарабатывать четыре фунта в неделю и при этом наслаждаться Лондоном. Собственно, она не любит Дэвида...

На другой день выглянуло солнце, великолепное солнце, но оно не вызвало ответного жара на щеках Дженни. Двери и окна фермы были широко открыты, в них влетал приятный ветерок. Грэйс варила варенье, чудное варенье из вишен собственного сада. Раскрасневшаяся, веселая, суетилась она в просторной кухне. Она подумала, что Дженни сегодня, кажется, не в духе, и, когда подоила свою единственную джерсейскую корову, поставила на стол перед Дженни стакан жирного парного молока.

— Я не люблю молока, — сказала Дженни и вышла, хмурая, на залитый солнцем двор.

Пчелы жужжали над цветами, за домом Дэн рубил дрова, и топор его описывал в воздухе красивую сверкающую дугу; на полях, в тени, жуя жвачку, лежали коровы. Отрадная картина.

Но не для Дженни. Теперь все это было ей противно, противно и противно! Она всем сердцем стремилась в Лондон, тосковала по Лондону, по шуму, суете и очарованию его улиц. С высоко поднятой головой дошла она до Барнхема и купила газету. Она стояла у киоска, читая объявления, которых было множество; она была убеждена, что могла бы получить службу по какому-нибудь из них. Так, просто для забавы, она пошла на станцию и разузнала насчет поездов в Лондон. Оказалось, что в четыре часа проходит экспресс. Вмиг Дженни приняла решение. Днем, пока Грэйс была занята приготовлениями к чаю, Дженни уложила чемодан и выскользнула из дому. Она поспела на четырехчасовой поезд в Лондон.

Когда Грэйс пришла звать Дженни к чаю и увидела, что та забрала свои вещи и ушла, она ужасно огорчилась. Бегом помчалась на кухню.

— Дэн! — сказала она. — Дженни уехала. Что мы ей сделали?

Дэн перестал намазывать свежее вишневое варенье на большой ломоть хлеба:

— Уехала, вот как?

— Да, Дэн! Разве мы ее чем-нибудь обидели? Это так неприятно!

Дэн снова занялся хлебом с вареньем. Откусил огромный кусок, потом, медленно прожевывая его, сказал:

— Я бы на твоём месте не расстраивался, дорогая. Я не нахожу в ней ничего хорошего, в этой... — Очевидно, Дэн не был такой «дубиной», как думала Дженни.

Вечером Дэн гнул спину над письмом к Дэвиду. Он выразил сожаление, что Дженни пожелала сократить свое пребывание в Винраше, и надежду, что она благополучно доехала домой.

Дэвид получил это письмо на следующий день к вечеру, и оно его сильно обеспокоило. Дженни не приехала. Он посмотрел на мать, которая на это время переселилась к нему, чтобы вести хозяйство, но ничего ей не сказал. Он решил, что Дженни при-

едет на следующий день. Несмотря ни на что, он все еще любил Дженни. Ну разумеется, она приедет!

Но Дженни не приехала.

V

Осторожно и бережно тетушка Кэрри отвезла Ричарда в кресле на колесах прямо к ракитовому дереву на лужайке. День был теплый и солнечный, и золотистые цветы сплошной массой качались на дереве, превращая его как бы в один большой золотой цветок, бросавший приятную тень на подстриженный газон. В этом тенистом уголке тетя Кэрри стала хлопотливо устраивать Ричарда. Во-первых, надо было приладить дощечку для ног, которую она заставила Бартли специально выпилить, и грелку с горячей водой (из алюминия, так как алюминий дольше всего сохраняет тепло), затем надо было хорошенько подоткнуть со всех сторон теплое одеяло. Тетя Кэрри прекрасно умела делать все так, как удобно Ричарду, и для нее было радостью исполнять каждый его каприз, в особенности с тех пор, как она заметила, что он поправляется.

Тетя Кэрри никогда не могла забыть того дня, когда она впервые обнаружила, что Ричард поправляется, того дня — это было ровно три месяца и неделю тому назад, — когда он заговорил с ней. Лежа в постели, как колода, тяжелая и немая, ворочая глазом, чтобы следить за ее движениями по комнате, — тусклым, но живым глазом василиска, — он пробормотал:

— Это вы... Кэролайн.

От невыразимой радости она чуть не лишилась чувств, как мать при первом лепете ее первенца.

— Да, Ричард. — Она прижала руки к груди. — Это я, Кэролайн... Кэролайн...

Он пробормотал:

— Что я хотел сказать?

Потом снова утратил интерес ко всему. Но теперь это уже не имело значения: ведь он заговорил.

Воодушевленная столь благоприятным признаком, тетушка Кэрри удвоила свою заботливость, старательно обмывала его два раза в день и каждый вечер растирала ему спину метиловым

спиртом, а потом присыпала тальком. Трудно было предотвращать пролежни, для этого приходилось менять мокрые простыни иногда четыре раза в день, но она это делала. Она выхаживала Ричарда. К нему медленно возвращалась способность двигаться, двигать парализованной половиной тела, и тетушка Кэрри по целому часу, стоя, терла его правую руку, так же, как она когда-то подолгу расчесывала щеткой волосы Гарриэт. Пока она это делала, он водил тупым взглядом по всей ее фигуре и часто бормотал:

— Вы славная женщина, Кэролайн... Но они действуют на меня... электричеством...

Одна из его фантазий заключалась в том, что сквозь его тело пропускают электрический ток. По ночам он теперь всегда просил Кэролайн отодвигать его кровать от стены, для того чтобы из соседней комнаты нельзя было пропускать ток. Он говорил невнятно, путал слоги, путал согласные, иногда же и совсем пропускал целые слова.

Крылось ли что-нибудь за этими подозрениями насчет электричества или нет, но тетя Кэрри не выдавала своих чувств. Она не смела сомневаться в здравом рассудке Ричарда. Ее цель заключалась в том, чтобы заинтересовать его, отвлечь от себя самого, — и потому она подумала о миссис Гемфри Уорд, ее любимой писательнице, которая в часы душевного угнетения была для нее настоящей исцелительницей. Итак, она стала каждое утро и каждый вечер читать Ричарду вслух, начав с романа «Дочь леди Розы», — быть может, отчасти из эгоистических побуждений, так как это был ее любимый роман. И когда она дошла до великого момента самоотречения, слезы потекли по щекам тети Кэрри. А Ричард смотрел в потолок, или теребил свою простыню, или засовывал палец в рот и в конце главы заявлял:

— Они на меня действуют... — Затем, понижая голос: — ...электричеством!

Когда наступила хорошая погода, тетушка начала вывозить Ричарда в кресле на свежий воздух; потом пошла еще дальше: усадив его на лужайке, вкладывала ему в левую руку открытую книгу и предоставляла самому наслаждаться чтением миссис Уорд. По-видимому, ему это очень нравилось. Начал он с того, что положил «Дочь леди Розы» на колени, вынул часы, посмотрел на них и спрятал их снова в карман. В следующий раз он взял карандаш и неуклюже, с большими усилиями написал левой рукой

на полях книги: «Начато в 11.15», затем перелистал четыре страницы и написал в конце четвертой: «12.15 × 4 — конец смены». И, проделав все это, с детским торжеством посмотрел на дрожащие, почти неразборчивые каракули.

Но в это ясное майское утро тетя Кэрри, усадив его, присела на скамеечку подле его кресла и, раньше чем он успел попросить книгу, сказала:

— Ричард, сегодня утром я получила письмо от Хильды. Она выдержала еще один экзамен. Не хотите ли послушать, что она пишет?

Он безучастно смотрел на большие желтые цветы раkitника.

— Хильда интересная женщина... И вы тоже интересная женщина, Кэролайн. — Потом прибавил: — И Гарриэт была интересная женщина.

Тетушка Кэрри, привыкнув не обращать внимания на такого рода небольшие странности, ласково продолжала:

— Хильда, несомненно, делает блестящие успехи, Ричард. Она пишет, что ее работа дает ей огромную радость. Вот послушайте, Ричард.

Она прочла вслух письмо Хильды, писанное из Челси и помеченное 14 мая 1920 года. Читала медленно и внятно, стараясь заинтересовать Ричарда и осведомить его обо всем. Но как только она кончила, он захныкал:

— Почему я не получаю писем?.. Никогда ни одного письма. Где Артур? Он больше всех меня обижает... Что он делает в «Нептуне»? Где моя книжка? Я хочу мою книжку!

— Да, да, Ричард, — поспешно успокоила она его и подала ему записную книжку. — Вот она.

Положив книжку на колени, он хитро следил за тетушкой Кэрри, пока она не достала рукоделие и не занялась им. Тогда он заслонил скрюченной, парализованной рукой свою книжку от любопытных глаз и левой рукой написал: «Для охраны „Нептуна“. Новые дополнения к прежним записям. Меморандум. — Он украдкой вытащил часы и взглянул на них. — 12.22 × 3.14 — и, согласно этому...»

Но тут ему помешал какой-то шум, и он с панической подозрительностью перестал писать и неловко захлопнул книжку. По лужайке шла Энн, неся ему молоко. Он смотрел, как она подходила все ближе, лицо его постепенно прояснялось, глаза повесе-

лели, и наконец он заулыбался и закивал ей, — Энн тоже была, по его мнению, «интересная женщина». Энн, как видно, смущали его улыбки и кивки, она передала поднос тете Кэрри, старательно избегая смотреть на Ричарда, и поспешно ушла.

У Ричарда смешно вытянулось лицо: он рассердился, не захотел пить молоко.

— Зачем она уходит? Почему не приходит Артур? Чем он занят? Где он? — Вопросы бессвязно срывались с его губ.

— Ну, ну, Ричард, — бормотала Кэрри. — Он на шахте, разумеется. Вы же знаете, что он придет домой к ланчу.

— Что он делает? — повторял Ричард. — Что он от меня скрывает?

— Ничего, Ричард, решительно ничего. Вы знаете, что он вам все рассказывает... Пейте молоко. Ох, смотрите, оно у вас льется! Ну вот, так хорошо! Дать вам опять вашу книжку? Все в порядке.

— Нет, нет, не в порядке. Он не понимает. Никакой смекалки... и во все вмешивается. Он старается удержать меня здесь... электричеством... сквозь стены. Если он не будет осторожен, — тусклый глаз хитро посматривал на Кэрри, — если он не будет осторожен, он попадет в беду. Несчастный случай... катастрофа... следствие. Ужасно безрассудно!

— Да, Ричард.

— Мне надо еще раз поговорить с ним... Настоять... Не следует никогда откладывать...

— Не следует, Ричард.

— Так уберите от меня стакан и перестаньте болтать. Вы все говорите и говорите! Это меня отвлекает от работы.

Но тут ему помешал шум — на этот раз шаги Артура, подходившего по дорожке. Все с той же торопливостью Баррас отдал тетушке Кэрри пустой стакан и стал ждать Артура, усиленно притворяясь равнодушным, но в душе трепеща от возмущения и недоверия.

Артур перешел лужайку, направляясь к дереву. На нем были короткие штаны и тяжелые сапоги шахтера, он сутулил плечи, словно после тяжелой работы. И неудивительно: вот уже больше года он на всех парах двигал дело вперед, сознавая, в каком нервном напряжении находится, но решив не останавливаться, пока не сделает всего, что задумал. И вот наконец реорганизация

в «Нептуне» была уже почти закончена: новые ванны в шахте оборудованы, а комбинированные раздевальни-сушилки, спроектированные по новейшему образцу, должны были быть готовы к концу июня; вся площадка перед устьем шахты была уже перестроена, старые вентиляторы выброшены и заменены новейшими воздушными насосами, лебедочные канаты, люки и затворы отремонтированы, копры поставлены на бетонный фундамент и снабжались энергией от новой силовой станции.

«Нептун» трудно было узнать — он утратил прежний запущенный вид, стал щеголеватым, безопасным, и работа шла успешно.

Сколько труда вложено! Сколько денег! Но величие того, что он создал, более чем вознаграждало Артура, оно поддерживало его в часы забот и уныния. Временами он встречал препятствия. Рабочие сомневались в чистоте его намерений: его поведение во время войны вызывало недоверие к нему. Кроме того, по своему темпераменту Артур склонен был к частым приступам беспричинной меланхолии и тогда чувствовал себя одиноким и беспомощным.

Такое именно настроение было сегодня у Артура, поэтому, остановившись подле отца, он заговорил еще мягче и ласковее обычного:

— Папа!

Баррас воззрился на него с нелепо-авторитетным видом:

— Что ты делал?

— Я был все утро внизу в «Глобе», — кратко пояснил Артур, почти довольный, что может поговорить с отцом. — Мы теперь там выбираем уголь.

— В «Глобе»?

— Да, папа, потому что в настоящее время на наш уголь спрос небольшой. Мы сбываем главным образом лучший газовый уголь, по цене пятьдесят пять шиллингов за тонну.

— Пятьдесят пять шиллингов! — На миг проблеск разума мелькнул во взгляде Барраса; он принял обиженный вид, прежний вид оскорбленного достоинства. — Я за этот уголь получал по восьмидесяти шиллингов. Это никуда не годится... никуда не годится. Ты что-то замышляешь... скрываешь что-то от меня.

— Нет, папа. Не забывай, что цены упали. — Он сделал паузу. — Каменный уголь на прошлой неделе подешевел еще на десять шиллингов.

Проблеск разума погас в лице Барраса, но он продолжал по-дозрительно смотреть на Артура, пока его искалеченный мозг пытался работать. Наконец он проямлил:

— О чем я говорил? — Потом: — Скажи мне... Скажи, что ты делаешь?

Артур вздохнул:

— Я уже тебе объяснял, папа. Я делаю что могу для «Нептуна». Безопасность и производительность идут рука об руку — такова честная политика. Как ты не понимаешь, папа? Если мы будем давать много рабочим, то и они нам будут давать много. Это первое правило логики.

Слова Артура привели Барраса в сильное волнение, руки у него затряслись, — казалось, он сейчас расплчется.

— Ты тратишь много денег. Ты уже истратил слишком много денег.

— Я затратил только то, что следовало затратить много лет тому назад. Ты это, конечно, сам знаешь, папа!

Баррас сделал вид, что не слышит.

— Я сердит на тебя, — захныкал он. — Я сердит на тебя за то, что ты растратил столько денег. Все эти деньги истрачены впустую.

— Пожалуйста, не волнуйся, папа. Пожалуйста! Тебе это опасно!

— Опасно! — Кровь прилила к лицу Барраса. Он заикался. — Что ты хочешь сказать? Ты глуп. Вот подожди, на будущей неделе я вернусь на рудник. Подожди, тогда я тебе докажу!..

— Да, да, папа, — сказал Артур мягко.

В доме прозвенел гонг к завтраку. Артур ушел.

Баррас, дрожа от гнева, подождал, пока Артур не скрылся за входной дверью. Тогда лицо его приняло выражение детского лукавства. Он пошарил под пледом, которым был укрыт, и, взглянув украдкой на тетю Кэрри, вынул записную книжку и записал:

«Для охраны „Нептуна“. Запросить на будущей неделе относительно сумм, истраченных против моей воли. Главное — помнить, что распоряжаюсь всем я. Пока временно отсутствую на руднике, зорко следить за главным вредителем».

Окончив, он с детской радостью просмотрел написанное. Затем сделал тетушке Кэрри знак, чтобы она отвезла его в дом.

VI

В это утро Дэвид проснулся с радостной мыслью, что сегодня увидит Гарри Нэджента. Обычно первой его мыслью при пробуждении была мысль о Дженни — воспоминание о том, что она уехала, разлучена с ним, исчезла неведомо куда.

Но сегодня утром он думал о Гарри. С минуту он лежал, размышляя о своей дружбе с Нэджемтом, о тех днях во Франции, когда они, согнувшись в три погибели, носили вдвоем хлопающие на ветру носилки и потом с трудом тащили их назад уже с грузом. Сколько таких безмолвных экскурсий они проделали вместе с Гарри Нэджемтом!

Шаги матери, спускавшейся с лестницы, и запах шипевшей на сковороде свинины вывели Дэвида из задумчивости. Он вскочил, выбрился, умылся, оделся и сошел вниз на кухню. Не было еще восьми, а Марта уже с час или больше была на ногах: огонь разведен, очаг вычищен графитом, а решетка наждаком; на столе, застланном белой скатертью, Дэвида ожидал обычный завтрак — яйца и поджаренные ломтики ветчины, только сию минуту снятые со сковороды.

— Доброе утро, мама, — сказал Дэвид, садясь и беря в руки лежавший у тарелки «Херолд».

Марта кивнула, не отвечая, — она не имела привычки желать доброго утра или доброй ночи; Марта говорила только то, что необходимо, никогда не тратила попусту слов.

Она взяла башмаки сына и молча принялась их чистить.

С минуту Дэвид не отрывался от газеты: накануне Гарри Нэджемт, Джим Дэджен и Клемент Беббингтон выступали на открытии нового рабочего клуба в Эджели. В газете была помещена фотография Гарри, а на переднем плане рядом с ним — Беббингтон.

Случайно подняв глаза, Дэвид увидел, что Марта чистит его башмаки. Он покраснел и запротестовал:

— Ведь я тебя просил не делать этого, мама.

Марта спокойно продолжала свою работу.

— Я это всегда делала, — сказала она, — и тогда, когда их было пять пар, а не одна. Чего ради мне теперь перестать?

— Почему ты не даешь это делать мне самому? — настаивал Дэвид. — Почему ты не садишься за стол и не завтракаешь со мной вместе?

— Некоторым людям меняться нелегко, — сказала она вызывающе, по-прежнему вода щеткой по башмаку. — И я из таких.

Дэвид в замешательстве посмотрел на нее. Перебравшись к нему, чтобы вести хозяйство, мать без устали работала. Делала для него все, что нужно. Никогда в жизни о нем никто так не заботился. И все-таки он чувствовал, что мать что-то таит про себя, чувствовал какое-то угрюмо-критическое отношение к нему даже в заботе о его удобствах. Сейчас, наблюдая за ней, он из любопытства захотел ее испытать:

— Я сегодня приглашен Гарри Нэджентом на ланч, мама.

Марта подняла с полу второй башмак. Ее мощная осанистая фигура рисовалась на фоне окна, лицо было хмуро и непроницаемо. Подышав на башмак, она сказала презрительно:

— Ланч, говоришь?

Дэвид внутренне усмехнулся: да, вот мать и выдала себя! Он неторопливо продолжал:

— Ну, завтракать с ним, если тебе так больше нравится, мама. Ты, конечно, слышала о Гарри? Гарри Нэджент — член парламента. Он мой большой друг. С таким человеком, как он, сто́ит работать.

— Да, оно и видно! — Марта поджала губы.

Дэвид все больше забавлялся внутренне, незаметно вызывая ее на откровенность притворным хвастовством:

— Еще бы, не каждому удастся завтракать с членом парламента Гарри Нэджентом: он в Союзе большой человек. Это для меня честь, мама, неужели ты не понимаешь?

С угрюмо-презрительным выражением лица, готовая разразиться горькими словами, Марта подняла глаза и поняла, что Дэвид над ней подтрунивает. Покраснев оттого, что он поймал ее на удочку, и пытаясь это скрыть, она торопливо наклонилась и поставила его башмаки сушиться у огня. Губы ее дрогнули неохотной улыбкой.

— Будет тебе хвастать, — промолвила она. — Меня не проведешь.

— Но это правда, мама. Я самый настоящий подхалим. Я много хуже, чем ты обо мне думаешь. Ты еще увидишь меня в крахмальной сорочке и тогда махнешь на меня рукой.

— Ну, уж я-то не стану ее гладить для тебя, — возразила она, кривя губы.

Стратегия Дэвида восторжествовала: он заставил мать улыбнуться.

Наступила пауза. Затем Дэвид, пользуясь хорошим настроением Марты, сказал с неожиданной серьезностью:

— Не будь же ты всегда против меня и против того, что я делаю, мама. Я это делаю не напрасно.

— Я против тебя ничего не имею, — возразила она, все еще наклоняясь над огнем, чтобы скрыть лицо. — Мне только не слишком по душе твоя работа в муниципальном совете, и политика, и все такое... Эта национализация, о которой ты так хлопочешь, и тому подобные глупости — мне все это совсем не нравится. Нет, нет, это не по мне, и в моем роду этим никто не занимался. Во времена моих предков и в мое время в копиях всегда был хозяин и рабочий, и рассчитывать на что-либо иное — просто бред.

Наступило молчание. Несмотря на резкость ее слов, Дэвид чувствовал, что она смягчилась, что она теперь лучше к нему относится, и под влиянием внезапного побуждения переменял разговор. Он воскликнул:

— Да, мама, еще одно...

— Что такое? — спросила она подозрительно.

— Да насчет Энни, мама... и маленького Сэмми. Замечательный мальчишка! И Энни о нем на редкость хорошо заботится. Я давно хотел поговорить с тобой об этом. Я хочу, чтобы ты забыла старую вражду и приняла их в дом. Я очень хочу, чтобы ты это сделала, мама.

— А с какой стати?

— Сэмми — твой внук, мама. Удивляюсь, как это тебя не трогает? Не то было бы, если бы ты его знала так, как я. И потом Энни... она одна из лучших женщин, каких я встречал. Старый Мэйсер уже не встает с постели, он ужасный ворчун, вечно кричит, стонет, а у Пэга на руднике теперь дела плохи, и они с трудом перебиваются. Но как Энни умеет поддерживать всю семью — это просто чудо!

— А мне что за дело до них? — злобно сказала Марта и крепко сжала губы. Щедрые похвалы по адресу Энни задели ее за живое.

Дэвид вдруг понял это и спохватился, что сделал промах.

— Скажи на милость, какое мне до них дело? — повторила она, повысив голос. — Что общего может быть у меня с этой шантрапой, с этими беспутными людьми?

— О, ничего, — сказал спокойно Дэвид и снова углубился в газету.

Через минуту мать положила ему на тарелку новую порцию ветчины. Это была ее манера доказывать свое беспристрастие и доброту. Дэвид нарочно не обратил на это внимания. Он находил поведение матери дико-безрассудным, но знал, что уговаривать ее бесполезно. Уговаривать Марту всегда было бесполезно.

В три четверти девятого он сложил газету и встал из-за стола. Марта помогла ему надеть пальто.

— Ты вернешься вовремя, несмотря на этот знаменитый ланч? — спросила она.

— Да.

Он улыбнулся ей на прощание. Сердиться на Марту тоже не имело смысла.

Бодро шагал Дэвид по направлению к вокзалу. Утро было холодное, на дороге уже похрустывала ранняя изморозь. Несколько шахтеров, шедших с Террас в «Нептун», поздоровались с ним, — Дэвид шутливо сказал себе, что вот пища для самомнения, если бы он был к нему склонен. Он видел, что становится в городе заметной фигурой, да и не только в городе, а во всем районе, но принимал это без всякого тщеславия. Приветствие Стротера у школы на Нью-Бетель-стрит очень позабавило его: быстрый, полуиспуганный взгляд, полный невольного восхищения. Стротер до смерти боялся Ремеджа, председателя попечительского совета школы, он очень страдал от оскорблений и запугивания с его стороны, и все выступления Дэвида против Ремеджа и восхищали, и пугали Стротера, и вызывали в нем сильное желание пожать Дэвиду руку. Это забавляло Дэвида: ведь в прежние времена Стротер с таким презрением взирал на него сверху вниз!

Пройдя полдороги по Фрихолд-стрит, он увидел ряд новых, еще не достроенных домов для шахтеров, которые тянулись от Хедли-роуд. Издали видно было, как люди таскают кирпич, замешивают известковый раствор, строят, строят... Это радовало Дэвида. В этом был своего рода символ, было обещание победы! Ах, если бы можно сравнить с землей дома Террас с их разбитыми каменными полами, лестницами без перил, кишевшими в стенах клопами, уборными на улице! Построить десять рядов новых жилищ, расположив их так (Дэвид усмехнулся при этой мысли), чтобы все они были видны из дома Ремеджа в Слус-Дин.

Он сидел в вагоне рассеянный, задумчивый и даже забыл прочитать в дороге газету.

В Тайнкасле он направился на Родд-стрит, все так же погруженный в свои мысли. На углу Родд-стрит на прилавке газетного киоска громко вопил заголовок: «Шахты — шахтерам!» Это была рабочая газета. Другой возвещал: «Жена пэра верхом на пони на прогулке в Парк-лейн». То была уже не рабочая газета. «Это интересно!» — с неожиданным воодушевлением подумал Дэвид, и подумал, конечно, не о жене пэра.

Геддона в конторе не оказалось. Дэвид повесил пальто и шляпу, перекинулся несколькими словами со старым конторщиком Джеком Хезерингтоном и прошел в следующую комнату.

Он работал все утро. В половине первого пришел Геддон, явно в дурном настроении, ибо он, как всегда в этих случаях, был неразговорчив и груб.

— Вы были в Эджели, Том? — спросил Дэвид.

— Нет. — Геддон разбрасывал по столу бумаги, ища что-то, а когда нашел, то оно, очевидно, оказалось уже ненужным.

— Что вы сделали с сегхиллскими отчетами? — рявкнул он минуту спустя.

— Занес их в книгу и подшил к делу.

— На кой черт вы это сделали? — проворчал Геддон. — Вы из породы добросовестных дураков. — Он бегло посмотрел на Дэвида, затем отвел глаза со смешанным выражением смущения и ласки.

Он опять нахлобучил шляпу и сердито плюнул по направлению к камину.

— Какие-нибудь неприятности, Том? — спросил Дэвид.

— Помалкивайте и идем, — отрезал Геддон. — Пора идти на этот поганый банкет. Я все утро провел с Нэдгентом, и он сказал, что опаздывать нельзя. Джим Дэджен и само всемогущее божество, Беббингтон, также будут там.

Геддон молчал все время, пока они шли по Грэйнджер-стрит к Северо-восточному отелю. Они пришли в отель слишком рано, было только три четверти первого. Но они уселись за один из плетеных столиков в холле, и Геддон (для этого он, вероятно, и спешил сюда) выпил несколько рюмок, после чего как будто подобрел. Он поглядел на Дэвида с какой-то мрачной веселостью.

— Собственно говоря, я чертовски доволен этим, — сказал он. — Только порядком придется повоевать!

- Да о чем вы толкуете? Объясните, ради бога!
- Ни о чем, мой милый... Эге, а вот и наша аристократия пожаловала!

Он встал, так как вошли Гарри Нэджент, Дэджен и Клемент Беббингтон. Дэвид, тоже встав, горячо пожал руку Гарри и был представлен Дэджену и Беббингтону. Дэджен потряс ему руку, как старому знакомому, а Беббингтон поздоровался холодно и свысока. Геддон залпом допил свое виски. Дэджен предложил было всем выпить до завтрака, но Нэджент только покачал головой, и они прошли в ресторан.

Длинная комната с окнами, выходящими с одной стороны на тихий Элдон-сквер, с другой — на шумный вокзал, была уже почти полна, но их встретил старший официант и проводил к столику, почтительно поклонившись Беббингтону. Очевидно, он его узнал. Клемент Беббингтон в последнее время стал весьма заметной фигурой.

Высокий, одетый с не бросающейся в глаза элегантностью, этот самоуверенный человек, с бегающим взглядом, слащавой учтивостью и неприятной усмешкой, умел как-то привлекать к себе внимание. В нем чувствовалась известная закалка — следствие глодавшего его честолюбия, старательно скрываемого под маской скуки и безразличия. В сущности, это был аристократ, продукт Винчестера и Оксфорда. В Лондоне он много бывал в обществе и каждое утро упражнялся в фехтовании у Бертрана. Что привело его к лейбористам — убеждения или честолюбие, оставалось тайной Беббингтона. На последних выборах он отвоевал у консерваторов их оплот — Чельвортский участок — и с блеском прошел в парламент. Он еще не состоял пока в исполнительном комитете, но метил туда. Дэвид с первого взгляда почувствовал к нему антипатию.

Дэджен — тот был совсем в другом роде. Джим Дэджен, как и Нэджент, много лет состоял в исполнительном комитете Союза горняков. Низенький, тучный, благодушный, он был хороший рассказчик и исполнитель веселых песенок. В течение почти двадцати пяти лет его единогласно избирали в парламент от Сегхилла. В своем участке он называл всех по именам. Очки в роговой оправе делали его похожим на старую сову, когда он, шурясь на лакея и показывая руками размер и толщину, заказывал большую отбивную и кружку пива.

Каждый заказал себе что-нибудь: Геддон — то же, что Дэджен, Нэджент и Дэвид — ростбиф с жареным картофелем, Беббингтон — жареную рыбу, соль, гренки Мельба и виши.

— Рад, что опять вижу вас, — сказал Нэджент Дэвиду со своей дружелюбной, ободряющей улыбкой.

В Гарри Нэджете было много доброты, искренности. Он отличался прямым и решительным характером и не стремился, подобно Беббингтону, пленять людей; держал себя непринужденно, в высшей степени естественно, был всегда самим собой. Сегодня Дэвид почуял что-то новое в поощрительном тоне Нэджента. Он чувствовал, что Беббингтон и Дэджен тоже словно проверяют его. Это было странно.

— А тут недурно, — заметил Дэджен, жуя булку, оглядываясь вокруг и потирая руки.

— Вам здесь нравятся зеркала, не правда ли? — сверкнул неприятной усмешкой Беббингтон. — Если немного повернуть шею, вы можете доставить себе неизмеримое удовольствие видеть шесть Дэдженов одновременно.

— Верно, Клем, верно, — согласился Дэджен, веселее обычного потирая руки. Джим в моменты политического кризиса способен был плакать и смеяться от волнения, но к насмешкам и личным обидам он был нечувствителен, как гиппопотам. — Посмотрите, какая хорошенькая девушка. Вон та, с синим пером на шляпе.

— Ах вы, донжуан!

— Что поделаешь, я всегда питал слабость к прекрасному полу, Клем.

— Так почему бы вам не подобраться к ней и не назначить ей свидание сегодня вечером?

— Нет, Клем, нет! Здравомыслив, я от этого отказываюсь. Идея, впрочем, была бы недурна, если бы не то, что нам надо поспеть на трехчасовой в Лондон.

На это Геддон рассмеялся, а Беббингтон посмотрел на него с холодным удивлением, словно только что заметил его, и затем немедленно о нем забыл.

Нэджент повернулся к Дэвиду:

— Вы, как я слышал, взбудоражили весь Слискейл?

— Нет, Гарри, мне об этом ничего не известно, — возразил Дэвид с улыбкой.

— Не верьте ему, — развязно вмешался Геддон. Уязвленный высокомерием Беббингтона, Геддон решил не пасовать перед каким-то недопеченным лондонским политиканом. Он уже успел влить в себя пинту пива вслед за двумя двойными порциями виски и теперь испытывал потребность разрядить энергию. — Разве вы не читали в газетах? Он только что провел новый проект жилищного строительства, лучший во всем графстве. Он открыл родильный дом и наладил бесплатный отпуск молока детям бедняков. В Слискейле издавна засела компания взяточников. Городское управление там — один смех, да и только. Но теперь наконец между этих жуликов затесался честный человек, и все они в страхе божием сидят и молят, чтобы им разрешено было вступить в Союз Надежды. — Геддон с азартом отхлебнул из кружки. — Да, если хотите знать, он их прямо-таки изничтожил.

Последовала пауза. У Нэджента был довольный вид. Дэджен полил котлету томатным соусом и сказал, ухмыляясь:

— Жаль, что мы не можем сделать то же самое у нас, Гарри. Мы бы вышвырнули вон Дакхема и сразу же навели порядок.

При этом намеке на недавнее выступление в палате Дэвид, внезапно заинтересованный, наклонился вперед:

— А разве национализация предполагается скоро?

Беббингтон и Нэджент обменялись взглядами, а Дэджен скрыл свою веселость за роговыми очками. Он ткнул пухлым указательным пальцем в скатерть перед Дэвидом.

— Вам известно, что предлагает сэр Джон Сэнки в своем докладе? Государство должно скупить все угольные копи и связанные с ними предприятия. Вы знаете, что сказал восемнадцатого августа в палате общин мистер Ллойд Джордж? Что правительство начинает проводить политику предоставления государству прав на добычу угля, и в этом вопросе вполне единодушны все доклады Королевской комиссии! Вот! Чего вам еще надо? Разве вы не видите, что это дело решенное? — И Джим Дэджен захохотал в припадке самой безудержной веселости.

— Вижу, — отвечал Дэвид тихо.

— А забавно было наблюдать комиссию. — Дэджен засмеялся еще веселее. — Вам надо было слышать, как Боб Смилли спорил с герцогом Нортумберлендским насчет этой реформы, а Франк беседовал с маркизом Бютом о происхождении его прав на дохо-

ды с копей и дорог, находящихся на его земле. Все эти права даны одним росчерком пера десятилетнего мальчика, Эдуарда Шестого... Ох, ну и редкая же была потеха! Но это еще ничего. Я бы отдал свою шляпу за то, чтобы иметь случай отделать как следует лорда Келла. Его прапрапрапрадед получил весь угольный бассейн за то, что удачно сосводничал кого-то Карлу Второму. Ну можно ли терпеть такое безобразие? Миллионные доходы за то, что его величество провел приятное воскресенье!

Дэджен откинулся на стуле и смаковал собственную шутку до тех пор, пока не задребезжали на столе ножи и вилки.

— Мне это вовсе не кажется забавным, — сказал Дэвид с горечью. — Правительство всецело положилося на комиссию. Вся затея — грандиозное надувательство.

— Именно так и заявил Гарри, когда выступал в палате общин. Но, боже мой, это дела не меняет. Эй, кельнер, принесите мне еще порцию жареного картофеля!

Пока Дэджен говорил все это, Нэджент следил за выражением лица Дэвида, вспоминая, как они вели долгие споры, сидя на корточках за мешками с песком на полевом перевязочном пункте, в то время как серебряная луна плыла вверх, освещая проводочные заграждения, грязь и воронки от снарядов.

— Вы все еще крепко стоите за национализацию? — спросил он.

Дэвид кивнул, не отвечая. В этой компании никакой другой ответ не мог бы произвести большего эффекта.

Наступила короткая пауза. Нэджент, казалось, безмолвно вопрошал о чем-то Дэджена, а тот, набив рот картофелем, издал выразительный звук горлом, потом посмотрел на Беббингтона, который осторожно и уклончиво выразил на лице согласие. Наконец Нэджент повернулся к Дэvidу.

— Слушайте, Дэвид, — начал он внушительным тоном. — Совет постановил соединить здесь три района и образовать из них один, совершенно новый. Главным штабом будет новый рабочий клуб в Эджели. И нам нужен организатор, который был бы не только районным казначеем, но и секретарем Северной организации углекопов. Мы ищем человека молодого и энергичного. Я уже беседовал об этом сегодня с Геддоном, а сейчас говорю официально. Мы вас пригласили сюда, чтобы предложить вам этот пост.

Дэвид в полной растерянности уставился на Гарри Нэджента; он был так потрясен этим предложением, что густо покраснел.

— Значит, мне следует подать заявление?

Нэджент покачал головой:

— Ваша кандидатура и три другие были представлены на рассмотрение комитета на прошлой неделе. Комитет перед вами, и вы — наш новый секретарь. — Он протянул руку.

Дэвид машинально взял ее, только сейчас в полной мере оценив предложение.

— Но Геддон... — Он внезапно обернулся, посмотрел на Тома Геддона, которому его так явно предпочли, и лицо его омрачилось.

— Геддон дал о вас прекрасный отзыв, — сказал спокойно Нэджент.

Глаза Геддона на один быстрый миг встретились с глазами Дэвида, и в этот миг Дэвиду открылась больно уязвленная, но мужественная душа этого человека; затем Геддон запальчиво выдвинул подбородок:

— Я бы не взял этого места ни за что на свете. Им нужен человек молодой, разве вы не слышали? Я врос в Родд-стрит и никому не уступлю свою работу.

Улыбка хотя и вышла несколько натянутой, но почти удалась ему. Он ударил Дэвида по плечу.

Бebbингтон посмотрел на свои часы на руке, утомленный всей этой «сентиментальностью».

— Поезд отходит в три, — заметил он.

Все поднялись и через боковую дверь вышли на вокзал. Когда они шли по кишевшей людьми платформе, Нэджент немного отстал и стиснул руку Дэвида.

— Наконец-то вам представился случай поработать, — сказал он. — Это настоящая удача. Мне очень хотелось, чтобы вы прошли. Посмотрим, что вы сумеете сделать на этом поприще.

У поезда ждал фоторепортер. Увидев его, Джим Дэджен надел очки и сделал официальное лицо: он очень любил сниматься.

— Наши акции поднимаются, — бросил он Дэвиду. — Сегодня меня второй раз ловит фотограф.

Услышав эти слова, Бebbингтон холодно усмехнулся, но постарался занять место на переднем плане.

— Ничего нет удивительного, — сказал он, — оба раза это устроил я.

Гарри Нэджент не сказал ничего, но когда поезд тронулся, то последним впечатлением Дэвида, стоявшего на платформе рядом с Геддоном, была спокойная ясность лица Гарри.

VII

К началу февраля, когда Артур заключил контракт с фирмой «Моусон, Гоулен и К^о», он почувствовал, что наконец-то дела принимают новый оборот. Последний год они были в плачевном состоянии. Ремонтные, выжимая из Германии уголь, несли ущерб экспорту, от которого в значительной степени зависел сбыт угля «Нептуна». Франция, естественно, предпочла германский уголь, достававшийся ей либо очень дешево, либо совсем даром, превосходящему, но дорогому углю Артура. И, словно этого было мало, Америка самым нелюбезным образом выступила в качестве могущественного и безжалостного конкурента Англии на тех рынках, которые во время войны обслуживала исключительно Англия.

Артур был неглуп. Он хорошо понимал, что это пережитый Европой угольный голод вызвал искусственное вздутие цен на экспортный английский уголь. Он остро сознавал обманчивость этого благополучия и благоразумно прилагал все усилия к тому, чтобы завязать связи с местными потребителями и перейти на сбыт угля внутри страны.

Взаимный договор с фирмой «Моусон и Гоулен» стал необходим, когда заказ «Нептуна» на оборудование отодвинули на заводе на 1918 год. «Моусон и Гоулен» была крупнейшей фирмой. Только теперь Артуру удалось убедить их выполнить свое обещание; при этом он был вынужден сильно снизить цену на уголь.

Тем не менее сегодня утром он испытывал естественный подъем духа, когда, держа в руках черновик договора, встал из-за письменного стола и прошел в комнату Армстронга.

— Взгляните, — сказал он, — ближайшие четыре месяца будем работать круглые сутки в две смены.

Армстронг с обрадованным видом достал из кармана очки — зрение у него было уже не то что прежде — и не спеша просмотрел договор.

— «Моусон и Гоулен»! — воскликнул он. — Ну и дела! И подумать только, что этот парень Гоулен работал при вашем отце откатчиком у меня вот в этой самой шахте!

Шагая взад и вперед по конторе, Артур невесело рассмеялся:

— Лучше ему об этом не напоминать, Армстронг. Он придет сюда к десяти часам. Да, кстати, вы мне понадобится, чтобы удостовериться наши подписи.

— А теперь он важная персона в Тайнкасле, — рассуждал вслух Армстронг. — Они с Моусоном ни одного выгодного дела не пропустят. Я слышал, что они откупили завод Юнгса — знаете, латунный завод в Тайнкасле, который лопнул в прошлом месяце.

— Да, — отвечал Артур отрывисто, словно напоминание еще об одном банкротстве в их районе было ему неприятно. — Гоулен идет в гору. Потому-то мы и заключаем этот договор.

Армстронг уставился на Артура поверх золотого ободка своих очков и снова вернулся к договору — перечел его с глубоким вниманием, шевеля губами; потом, не глядя на Артура, сказал:

— Я вижу, здесь имеется пункт о неустойке.

— Конечно.

— Ваш отец никогда на этот пункт не соглашался, — пробормотал Армстронг.

Артура раздражало, когда ему ставили в пример отца. Он быстрее зашагал по комнате, заложив руки за спину, и с нервной горячностью возразил:

— Не такое теперь время, чтобы привередничать. Приходится идти людям навстречу. Если мы этого не сделаем, то это сделает кто-нибудь другой. И кроме того, мы вполне можем выполнить свои обязательства по этому договору. С рабочими заминки не будет. Мы еще находимся под государственным контролем, и нам категорически обещано не снимать его до тридцать первого августа. Нам гарантировано более шести месяцев на то, чтобы выполнить договор, рассчитанный на четыре месяца. Что же вы еще хотите? И, черт возьми, нам заказы необходимы.

— Так-то оно так, — медленно согласился Армстронг. — Я только подумал, что... Впрочем, вам лучше знать, сэр.

Шум автомобиля во дворе помешал Артуру ответить. Он перестал ходить и остановился у окна. Наступило молчание.

— Вот и Гоулен, — сказал он, глядя во двор. — И по его виду незаметно, чтобы он собирался опять в откатчики.

Через минуту в контору вошел Джо, эффектный в своем синем двубортном костюме, и стремительно двинулся к Артуру, с сердечной улыбкой протягивая ему руку.

Он крепко потряс руку Артуру и Армстронгу и, сияя от радости, оглядел контору:

— Если бы вы знали, как приятно побывать снова на «Нептуне»! Вы, верно, помните, мистер Армстронг, мальчиком я работал здесь.

Вопреки опасениям Артура, Джо держал себя без всякой ложной скромности. Его откровенность «широкой натуры» была естественна и умилительна.

— Да, под вашим руководством, мистер Армстронг, я прошел первую школу, а от вашего отца, мистер Баррас, получил впервые в жизни заработанные деньги. Впрочем, если подумать, то это не так уж давно и было! — С веселым, победоносным видом он сел и подтянул кверху брюки со щегольски заглаженной складкой. — Да, должен вам сказать, что я с настоящим восторгом думаю о заключении этого договора. Может быть, это немножко сентиментально, но что поделаешь: люблю этот рудник, и мне нравится ваш метод работы, мистер Баррас. Великолепное здесь место, великолепное! Именно это я говорил моему компаньону, Джиму Моусону. Некоторые утверждают, что в делах нет места чувству. А по-моему, такие люди понятия не имеют, что такое дела! Не так ли, мистер Баррас?

Артур улыбнулся. Невозможно было устоять перед таким веселым и обаятельным человеком, как Джо.

— Разумеется, и мы со своей стороны очень довольны, что заключаем с вами договор.

Джо любезно закивал головой:

— Что, дела не так хороши, как могли бы быть, а, мистер Баррас? Знаю, знаю, можете не говорить. Тот, кто складывает все яйца в одну корзинку, никогда не может быть спокоен... Потому-то мы с Джимом и беремся за всякие дела.

Он остановился и рассеянно угостил сам себя папиросой из коробки, стоявшей на письменном столе Артура, затем объявил с некоторой важностью:

— Вы знаете, что в будущем месяце мы реорганизуемся?

— То есть учреждаете акционерное общество?

— Вот именно. Для этого настало время. На рынке большое оживление.

— Но вы, конечно, не поступитесь своими интересами?

Джо от души рассмеялся:

— За кого вы нас принимаете, мистер Баррас? Мы получаем двести тысяч за согласие, кучу акций и право контроля над управлением.

— Вот как! — Артур слегка вздрогнул. На одну секунду подумав о своих неудачах, он ощутил жажду такого же успеха, таких же сногшибательных доходов.

Пауза. Затем Артур подошел к столу:

— Ну, так как же насчет договора?

— Да, да, мистер Баррас, сэр, я готов, когда вам будет угодно. Всегда готов заняться делом... Ха-ха! Хорошим, чистым, благородным делом!

— Я возражал бы против одного только пункта. Это — относительно неустойки.

— Да?

— Не может быть ни малейшего сомнения в том, что мы договор выполним.

Джо ласково усмехнулся:

— Почему же в таком случае вас беспокоит пункт о неустойке?

— Он меня не беспокоит, но раз мы так понизили цену и включили в нее стоимость доставки в Ерроу, то я думаю, что вы, быть может, согласитесь вычеркнуть этот пункт.

С лица Джо не сходила улыбка — все та же ласковая, приветливая улыбка, но уже с легким оттенком благородного пригорбания.

— Видите ли, мы должны себя обеспечить, мистер Баррас. Если мы заключаем с вами договор на коксующийся уголь, то мы должны быть уверены, что получим его. В конце концов, это только справедливо. Мы свое выполняем и хотим гарантии, что вы выполните свое. Но если вам это не подходит, то, разумеется, нам просто придется...

— Нет, — возразил торопливо Артур. — Это не важно. Раз вы настаиваете, то я согласен.

Артур больше всего на свете боялся упустить эту сделку. И он уже не сомневался, что пункт о неустойке совершенно справедлив, что это просто деловое требование, которого в такое тревожное время можно было ожидать от любой фирмы.

Готовясь подписать договор, Джо вынул толстое «вечное перо» в золотой оправе, подписал свое имя с затейливым росчер-

ком, и Армстронг, который некогда осыпал Джо проклятиями на протяжении доброй полумили канатной дороги за то, что тот слишком быстро пустил вагонетку, теперь со смиренным усердием удостоверил его подпись. Затем Джо, сияя и крепко пожимая всем руки, сел в свой автомобиль и победоносно умчался в Тайнкасл.

Проводив Джо, Артур сел за стол, немного волнуясь (он волновался всегда, после того как принимал какое-нибудь решение) и раздумывая: не дал ли он Гоулену провести себя? Вдруг его осенила мысль, что он может застраховать себя от отдаленной возможности невыполнения договора. Повинуясь этому внезапному побуждению, он снял телефонную трубку и позвонил в контору общества «Ореол», услугами которого обычно пользовался.

Но оплата, которой там потребовали, оказалась слишком высокой, нелепо высокой, она поглотила бы всю ту скромную прибыль, на которую он рассчитывал. Артур повесил трубку и выкинул из головы эту мысль.

А 10 февраля, когда в шахтах началась круглосуточная работа в две смены, Артур забыл свои тревоги среди кипучей деятельности, хлопот и оживления на руднике. После долгого затишья он ощущал темп новой жизни рудника как биение собственного пульса. Вот ради чего стоило жить! Ради этой великолепной деятельной мощи «Нептуна». Вот этого он и желал — работы для всех, честной работы, честной оплаты ее и честных доходов. Уже много месяцев он не чувствовал себя таким счастливым, как сейчас. В этот вечер, воротясь с рудника, он вошел к отцу торжествуя:

— Мы работаем круглые сутки, в две смены. Я полагаю, тебе интересно узнать это, папа. В шахте работа снова идет полным ходом.

Молчание, полное недоверия. Баррас вглядывается в Артура с кушетки у камина, на ней он проводит время в своей комнате, куда его загнала холодная погода. В комнате нестерпимо жарко, двери и окна при содействии тети Кэрри наглухо закрыты, чтобы помешать проникнуть сюда «электричеству». Из-под пледа выглядывает спрятанная там пачка исписанных каракулями бумаг, а рядом — палка, с помощью которой Баррас уже может ковылять по комнате, волоча правую ногу.

— Ну и что же? — пробормотал он наконец. — Разве это не... разве так не должно быть всегда?

Артур слегка покраснел:

— Да, конечно, папа. Но в наши дни это не так-то легко!

— В наши дни! — Брови, теперь седые, сердито задергались. — Наши дни, ха-ха! Что ты понимаешь! Я потратил годы, многие годы... но я выжидаю... О да, я выжидаю...

Артур с нерешительной улыбкой глядел на расprostертую фигуру отца:

— Я просто думал, что тебе интересно это узнать, отец.

— Ты глуп. Я *знаю*, знаю заранее все, что бы ты ни сказал. Да, да, смейся... смейся, как дурак. Но запомни мои слова... на руднике не будет порядка, пока я не вернусь туда.

— Да, папа, — сказал Артур, желая его успокоить. — Ты должен поскорее поправиться и вернуться на шахту.

Он еще минуту пробыл в комнате, затем, извинившись, весело пошел в столовую пить чай.

Несколько дней он был очень весел — с удовольствием ел, с удовольствием работал, с удовольствием отдыхал. Он вдруг с удивлением констатировал, что за последнее время у него было очень мало досуга: вот уже много месяцев, как он душой и телом ушел в работу на «Нептуне». Теперь же можно было вечером и отдохнуть, и почитать, вместо того чтобы сидеть согнувшись в кресле и усиленно размышлять, где бы достать заказы. Он написал Хильде и Грэйс. Он чувствовал себя возрожденным, полным новых сил.

Все шло гладко до утра 16 февраля, когда он с ощущением покоя и благополучия сошел к завтраку и раскрыл газету. Как когда-то его отец, он по утрам завтракал один и с аппетитом принялся за еду. Как вдруг внимание его привлек заголовок в отделе сообщений, на средней странице. Парализованный ужасом, он не отводил глаз от этого заголовка, — отложил ложку и прочел весь столбец. Он забыл о завтраке, бросил салфетку, отодвинул стул и кинулся в переднюю к телефону. Схватив трубку, вызвал Проберта из Объединения угольных копей. Проберт был также и видным членом правления Северного общества горнопромышленников.

— Мистер Проберт... — начал он, заикаясь. — Вы читали сегодня «Таймс»? Правительство собирается снять нас с контроля... тридцать первого марта! Это говорил король в своей речи. Они хотят немедленно ввести новый закон.

Донесся голос Проберта:

— Да, я читал, Артур. Да, да, знаю... Это будет гораздо скорее, чем мы...

— Тридцать первого марта, — с отчаянием перебил Артур. — Через месяц! Это что-то невероятное! Ведь нас заверили, что контроль не будет снят до августа!

Голос Проберта отвечал спокойно и плавно:

— Я не менее вас поражен, Артур. Да, попали мы в переделку! Это как гром с ясного неба.

— Мне необходимо вас повидать! — закричал Артур. — Я должен сейчас же с вами переговорить, мистер Проберт. Еду прямо к вам.

Не дожидаясь возможного отрицательного ответа, Артур повесил трубку. Накинув пальто, он побежал к гаражу и выехал в двухместном легковом автомобиле, заменившем большой «салон». Как бешеный мчался он к Проберту в Хедлингтон, проехал четыре мили вверх по набережной и через семь минут был на месте. Его сразу же провели в комнату, где в глубоком кожаном кресле, у пылающего камина, сидел с газетой на коленях Проберт, курия после завтрака сигару. То была очаровательная картина: теплая, устланная толстыми коврами комната, осанистый, упитанный старик, благоухающий крепкими ароматами кофе и гаванской сигары, урвавший минутку для отдыха перед дневными трудами.

— Мистер Проберт, — выпалил Артур сразу, — не могут они этого сделать!

Эдгар Проберт встал и с приветливой серьезностью взял Артура за руку.

— Меня это точно так же волнует, как и вас, дорогой мой мальчик, — сказал он, все не выпуская руки гостя. — Клянусь душой, я очень озабочен!

Проберт был высокий, величавый старик лет шестидесяти пяти, с гривой совершенно белых волос и очень черными бровями, — внешность, внушающая доверие, и он умел этим пользоваться самым выгодным образом. Он был членом Северного общества горнопромышленников, колоссально богат, окружен всеобщим уважением и щедро жертвовал на местные благотворительные учреждения, которые печатали в газетах списки жертвователей. Каждую зиму его портрет, благородная львиная голова, появ-

лялся на плакатах, приглашающих жертвовать на тайнкаслскую больницу общества «Чудаков», а под портретом было напечатано крупными буквами: «Мистер Эдгар Проберт, столь щедро поддерживающий наше дело, просит вас последовать его примеру». В течение тридцати лет он не переставал выжимать соки из своих рабочих. Это был совершенно очаровательный старый негодяй.

— Присядьте, Артур, дружок, — сказал он, слегка помахивая сигарой.

Но Артур был слишком взволнован, чтобы сидеть спокойно.

— Что это все означает, хотел бы я знать? — воскликнул он. — Я совершенно потерял голову.

— Боюсь, что это означает неприятности, — отвечал Проберт, вытянув ноги на ковре и рассеянно глядя в потолок.

— Но почему это делается?

— Видите ли, Артур, — проворковал Проберт, — правительство берет большую долю наших прибылей, но не желает делить с нами убытки. Попросту говоря, они хотят от нас отмежеваться вовремя, пока положение не ухудшилось. Но, если пошло на откровенность, я об этом нисколько не жалею. Скажу вам строго между нами: я имею частные сведения из Вестминстера. Пора нам навести у себя порядок! С самого начала войны между нами и рабочими назревал конфликт. Мы должны окопаться, действовать все как один и начать борьбу.

— Борьбу?

Проберт утвердительно закивал головой, окружив себя ароматными волнами табачного дыма. У него был такой благородный вид, — он походил на «Серебряного Короля» и вместе с доктором Бернардо, но был симпатичнее их обоих.

— Я предложу всем снизить заработную плату на сорок процентов.

— Сорок процентов! — ахнул Артур. — Да ведь это ниже военных ставок. Рабочие ни за что не согласятся. Ни за что на свете! Они будут бастовать.

— А мы не дадим им возможности бастовать. — В словах Проберта — никакой враждебности, все то же кроткое равнодушие: — Если они сразу не образумятся, мы устроим локаут.

— Локаут! — повторил, как эхо, Артур. — Но это — разорение!

Проберт, все так же спокойно улыбаясь, отвел глаза от потолка и покровительственно посмотрел на Артура:

— Я полагаю, что у большинства из нас за годы войны отложен кое-какой запасец на черный день. Вот мы им и продержимся, пока рабочие не одумаются. Да, да, придется поклевать свой запасец.

— «Запасец»!

Артур подумал о капитале, затраченном на оборудование и улучшения в «Нептуне», о договоре, который требовал круглосуточной работы, — и вдруг почувствовал прилив бурного гнева.

— Я не рассчитаю своих рабочих, — сказал он. — Нет, этого я не сделаю! Мы работаем в «Нептуне» в две смены, круглые сутки. Снижать плату на сорок процентов — это безумие. Я в состоянии оплачивать труд прилично и не собираюсь останавливать работу в шахте. Я не намерен ради кого-то там перерезать себе горло.

Проберт еще покровительственнее похлопал Артура по спине. Он помнил его скандальное поведение во время войны, презирал его как неуравновешенного и трусливого молокососа, но скрывал все это под миной пастырского благоволения.

— Ну, ну, мой друг, — сказал он успокоительно. — Не раздувайте событий! Я знаю, что вы от природы немного горячи. Но вы возьмите себя в руки. Через неделю состоится собрание всего нашего Объединения. К тому времени вы станете благоразумнее и примкнете к остальным. Другого выхода у вас нет.

Артур уставился на Проберта напряженным взглядом; на щеке у него дергался мускул. Другого выхода у него нет! Это верно, совершенно верно! Сотни различных уз связывают его с этим Объединением, связывают по рукам и по ногам.

Он застонал:

— Это для меня тяжелое испытание.

Проберт еще нежнее погладил его по плечу.

— Рабочим надо указать их место, Артур, — сказал он. — Вы завтракали? Не позвонить ли, чтобы вам принесли кофе?

— Нет, благодарю, — пробормотал Артур, поникнув головой. — Мне надо ехать домой.

— Как здоровье папаша? — ласково осведомился Проберт. — Вам, должно быть, очень трудно управляться без него на руднике? Ну еще бы! Но, говорят, он поправляется с удивительной быстротой? Он мой самый старый товарищ по Объединению.

Надеюсь, мы скоро увидим его среди нас. Передайте ему от меня горячий привет!

- Благодарю! — С отрывистым кивком Артур пошел к двери.
- Так вы решительно не хотите кофе?
- Нет.

Артура ужалила мысль, что старый лицемер смеется над ним. Поспешно вышел он из дома Проберта и вскочил в автомобиль. Медленно, медленно доехал он до «Нептуна», вошел к себе в кабинет и сел к столу. Опустив голову на руки, он со всех сторон обдумывал создавшееся положение. У него рудник на полном ходу, замечательно оборудованный и работающий с полной нагрузкой благодаря выгодному контракту. Он готов платить своим рабочим так, как следует. Предложение Проберта насчет заработной платы — просто издевательство. С замирающим сердцем Артур схватил карандаш и стал подсчитывать. Да. Если перевести это на прожиточный минимум, то выйдет, что реальная заработная плата сейчас меньше довоенного фунта в неделю. Значит, например, рабочий у насоса будет получать довоенные шестнадцать шиллингов и девять пенсов в неделю, проработав пять смен. Шестнадцать шиллингов и девять пенсов! И на это кормить семью, одеваться, платить за квартиру! Да нет, было бы безумием рассчитывать, что рабочие пойдут на это. Это не предложение, а просто вызов на борьбу. А он, Артур, прикован к Объединению шахтовладельцев. Порвать с ними и думать нечего — это означает финансовое самоубийство. Пришлось бы закрыть «Нептун», лишит людей работы, пожертвовать контрактом... Подумав о скрытой в этом мрачной иронии, Артур чуть не засмеялся.

В эту минуту в кабинет вошел Армстронг. Артур с нервной стремительностью обратился к нему:

— Армстронг, я хочу, чтобы вы тотчас же поставили людей сверхурочно на выемку коксующегося угля. Выбирайте возможно больше и вывозите наверх, на площадку. Понимаете? Сколько можно! Примите все меры, пошлите туда всех людей.

— Слушаю, мистер Баррас, — отвечал Армстронг тоном крайнего изумления.

У Артура не хватило духу объяснить Армстронгу, в чем дело. Он сделал еще несколько подсчетов у себя в блокноте, потом швырнул на стол карандаш и уставился в одну точку.

Было это 16 февраля.

А на следующий день состоялось собрание Объединения. После него всем шахтовладельцам был разослан секретный циркуляр, осторожно предупреждавший о предстоящем локауте и требовавший, чтобы делались запасы угля. Получив этот конфиденциальный документ, Артур горько усмехнулся. Возможно ли за какие-нибудь шесть недель выполнить четырехмесячную норму добычи!

24 марта вошел в силу закон о прекращении государственного контроля над угольной промышленностью. Артур предупредил своих рабочих о снижении заработной платы. И 31 марта, когда его обязательства перед фирмой «Моусон и Гоулен» были выполнены еще только наполовину, началась забастовка.

День был дождливый. После полудня, когда Артур стоял в конторе, уныло наблюдая, как последние вагонетки выходили из шахты под проливным дождем, дверь отворилась и совершенно неожиданно вошел Том Геддон. В его безмолвном появлении было что-то зловещее.

Мрачный, грязный, он стоял, прислонясь спиной к закрытой двери, глядя в упор на Артура, и его массивные плечи горбились, словно под бременем предстоящего локаута. Он промолвил:

— Мне надо с вами поговорить. — Он сделал паузу. — Вы снизили ставки всем, кто работает в вашей шахте.

— Так что же? — с усилием ответил Артур. — Я сделал то, что делают все.

Геддон засмеялся отрывисто, с горьким сарказмом:

— Вы на особом положении. Ваши копи самые сырые во всем районе, а вы намерены снизить плату десятникам по безопасности и рабочим насосного отделения!

Сияясь сохранить самообладание, Артур сказал:

— Мне самому это слишком неприятно, чтобы спорить с вами, Геддон. Но вы знаете, что обязательства вынуждают меня снизить плату рабочим всех специальностей.

— Захотели второго затопления? — спросил Геддон странно вибрирующим голосом.

Стойкость Артура уже была на исходе. Но он считал, что осуждать его не за что. Он не потерпит грубостей от Геддона! В приливе нервного раздражения он сказал:

— Десятники по безопасности будут продолжать работу.

— Да неужели? — фыркнул Геддон. И, помолчав, сказал, злобно подчеркивая слова: — Попрошу вас запомнить, что они продолжают работу только по моему приказу. Если бы не я и не те, кто стоит за мной, то вашу проклятую шахту затопило бы в двадцать четыре часа. Понимаете, она была бы затоплена и разрушена! Шахтеры, которых вы пытаетесь довести до голодной смерти, продолжают работать у насосов для того, чтобы вы жирели на легком хлебе и блаженствовали в своей проклятой гостиной! Вот вы над чем поразмыслите и поймите, чем это пахнет!

Неожиданно, резким движением, словно не доверяя больше своей выдержке, Геддон круто повернулся и вышел из комнаты, хлопнув дверью. Артур сел к столу. Сидел долго, пока сумерки не прокрались в контору и с шахты не ушли все, кроме десятников по безопасности. Тогда только он поднялся и пошел домой.

Локаут начался. Потянулись долгие, унылые недели. После того как Артур обеспечил безопасность «Нептуна», оставалось только стоять в стороне и наблюдать борьбу рабочих с призраком нужды. День за днем Артур с тяжелым сердцем отмечал результаты этой неравной борьбы — втянутые щеки у мужчин, женщин, даже у детей, уныние на всех лицах, улицы без смеха, без детских игр. Сердце его сжималось и холодело. Возможна ли такая жестокость человека к человеку! Сначала — война во имя всеобщего разоружения, ради великого и постоянного мира, ради наступления новой славной эры. А теперь — это! Получай свои жалкие гроши, раб, и трудись в преисподней, в поту, в грязи, в опасности. Бери их — или умирай с голоду! На Инкерманской террасе умерла в родах женщина, и доктор Скотт, прижатый к стене следователем, поставил диагноз, который в официальном протоколе был приведен в смягченном виде: «Смерть от недостаточного питания». Маргарин и хлеб; хлеб и маргарин; а иногда ни того ни другого. Вот и расти крепкого сына во славу империи!

Такие мысли пылали в мозгу Артура. Он не мог, не хотел мириться с этим. К концу первого месяца он организовал в поселке питательные пункты для раздачи супа, частную благотворительную помощь для облегчения страшной нужды на Террасах. Его старания встречались не с благодарностью, а с ненавистью. И он не осуждал за это рабочих. Их озлобление было ему понятно. С острой болью Артур сознавал, что не умеет расположить к себе людей. В «Нептуне» рабочие с самого начала не доверяли ему,

а теперь у входа в открытый им питательный пункт были нацарапаны слова: «К черту святош!»

Стертая со стены, эта (или какая-нибудь другая, еще менее лестная) фраза ночью писалась заново мелом, и на следующее утро глаза Артура снова встречали ее. Враждебнее других относилась к нему группа молодых рабочих во главе с Джеком Риди и Ча Лимингом; в ней было много людей, братья и отцы которых погибли во время катастрофы в «Нептуне». И теперь, по непонятной причине, их ненависть перешла на Артура.

А жуткая комедия все длилась и длилась. С чувством омерзения прочел Артур о том, что формируется «защитный отряд» полиции, целая армия из восьмидесяти тысяч человек в полном вооружении и обмундировании. «Защитный отряд»! От чего же он должен защищать?

В мае на предприятиях компании Объединенных угольных копей начались беспорядки, и в район были посланы войска. Появилось множество королевских воззваний, и мистер Проберт отбыл со всем семейством на заслуженный и в высшей степени приятный отдых в Борнмаус.

Артур же оставался в Слискейле весь апрель, и май, и июнь. В июне начали приходить открытки, анонимные открытки с детски-глупой, оскорбительной клеветой и даже непристойностями. Каждый день неизменно приходила такая открытка, написанная расплзающимися во все стороны буквами, как будто несформировавшимся еще почерком, который Артур сперва считал нарочно измененным. Вначале он не обращал внимания на эти открытки, но мало-помалу они начали причинять ему боль. Кто это с такой злобой преследует его? Он никак не мог догадаться. Но вот к концу месяца виновник был обнаружен: застигнут в тот момент, когда он передавал только что нацарапанную открытку одному из почтальонов, приходивших в усадьбу. Это был Баррас.

Еще нестерпимее было постоянное наблюдение старика, который неотступно следил и следил за Артуром, отмечал всякий его уход и приход, злобно радовался его унынию, торжествовал при каждом явном признаке неблагополучия. Как удар плети, падал на Артура этот выслеживающий взгляд налитых кровью старческих глаз, подтачивая его энергию, опустошая душу.

Первого июля смертельное изнеможение рабочих привело борьбу к концу. Рабочие смирились, были побеждены, разбиты.

Но Артур от этого ничего не выиграл. Невыполнение заказа повлекло за собой большие убытки.

Все же, когда он увидел, как люди снова, медленным и безмолвным потоком шли через двор к шахте, как снова вращались колеса над копром, — он стряхнул с себя уныние. Что же, превратности в жизни неизбежны. И в этом несчастье он не был виноват. Он не сдастся. Нет, с этой минуты он начнет сначала.

VIII

Однажды в воскресенье, летом 1925 года, Дэвид, возвращаясь с послеобеденной прогулки по дюнам, встретил на Лам-стрит Энни и ее маленького сына.

Увидев Дэвида, Сэмми с радостным криком бросился к нему (он обожал Дэвида) и пропел:

— А у меня в субботу начинаются каникулы! Правда, здорово?

— Ну еще бы, Сэмми! — улыбнулся Дэвид, подумав в то же время, что Сэмми сильно вытянулся, похудел и явно нуждается в отдыхе. Сэмми минуло уже восемь лет. У него было бледное лицо, шишковатый лоб и веселые синие глаза, исчезавшие в щелочках всякий раз, как он засмеется, — совершенно так же, как когда-то у его отца. По случаю воскресной прогулки с матерью он был одет очень опрятно и мило — в костюм, сшитый Энни из серой шерстяной материи, приобретенной на распродаже у Бэйтса. Сэмми рос быстро, и его башмаки, купленные на рост и отличавшиеся не столько красотой, сколько прочностью, казались огромными на торчавших из них длинных худых ножонках.

— У вас будет немало хлопот, Энни, — обратился Дэвид к матери Сэмми, которая неторопливо подошла к ним. — Знаю я эти каникулы!

— Я сердита на Сэмми, — промолвила Энни совсем не сердитым голосом. — Вздумал залезть на ворота в Слус-Дине и разорвал свой новый целлулоидный воротничок!

— Это из-за желудей, — серьезно пояснил Сэмми. — Понимаешь, Дэви, мне хотелось набрать желудей.

— Не Дэви, а «дядя Дэвид»! — с упреком поправила его Энни. — Как тебе не стыдно, Сэмми!

— Какие пустяки, Энни, голубушка, — сказал Дэвид. — Ведь мы с ним старые друзья. Правда, Сэмми?

— Правда, — широко улыбнулся Сэмми. Улыбнулся снова и Дэвид. Но, взглянув на Энни, он перестал улыбаться.

Энни, видимо, совсем замучила жара: под глазами у нее были темные круги, и она была еще бледнее Сэмми, у которого, как у его отца, бледность кожи была природная. Энни держалась рукой за стену, слегка прислонясь к ней. Дэвид знал, что ей жилось все время очень трудно. Ревматизм окончательно превратил старого Мэйсера в калеку, Пэг не имел постоянной работы в «Нептуне», а Энни к тому же нужно было заботиться о Сэмми. И чтобы сводить концы с концами, Энни ходила на поденную работу — стирать и убирать. Дэвид десятки раз предлагал ей помощь, но Энни и слышать не хотела о деньгах, она была очень независима.

Дэвид спросил вдруг под влиянием внезапной мысли:

— А кстати, вы-то сами когда последний раз отдыхали, Энни?

Ее кроткие глаза немного расширились от удивления.

— У меня бывали каникулы, когда я училась в школе, — сказала она. — Ну вот так же, как теперь у Сэмми.

Таково было представление Энни об отдыхе, — ни о чем ином она и не слыхивала. Она не знала ничего о необходимости перемены обстановки и воздуха, о белых эспланадах, веселых пляжах, о музыке, сливающейся с шумом волн. От трогательной наивности ее ответа у Дэвида защемило сердце, и он принял быстрое и совсем неожиданное решение. Сказал небрежным тоном:

— А почему бы вам и Сэмми не прокатиться со мной на недельку в Уитли-Бэй?

Энни стояла неподвижно, устремив глаза на горячую от солнца мостовую. Сэмми испустил радостный вопль, впад затем в состояние священного трепета.

— Уитли-Бэй! — повторил он. — Честное слово, мне бы хотелось туда поехать!

Дэвид не сводил глаз с Энни.

— Гарри Нэдждент вызывает меня туда к двадцать шестому... А я решил поехать на неделю раньше и отдохнуть там, — солгал он.

Энни по-прежнему стояла не двигаясь, глядя на мостовую, и была еще бледнее прежнего.

— О нет, Дэвид, — возразила она. — Я этому не верю.

— Ну, мама!.. — умоляюще воскликнул Сэмми.

— Вам не мешает передохнуть, Энни, да и Сэмми тоже.

— Сегодня действительно жарковато, — согласилась она.

Перспектива провести с Сэмми неделю в Уитли-Бэй была ошеломительна, но Энни подумала о разных препятствиях к этому. О, препятствий было с полсотни, не меньше: ей не во что одеться, она «осрамит» Дэвида, некому будет присматривать за отцом и домом, Пэг может запить, если его предоставить самому себе... Тут ее осенила блестящая идея. Она воскликнула:

— Возьмите с собой Сэмми!

Но Дэвид свирепо возразил:

— Сэмми шагу не сделает без своей мамы!

— Ну, мама!.. — снова прокричал Сэмми, и в его бледном личике было предостерегающее отчаяние.

Наступило молчание, потом Энни подняла глаза и улыбнулась Дэвиду своей кроткой улыбкой.

— Ну хорошо, Дэвид, — сказала она. — Раз вы так добры, что хотите взять нас с собой...

Вопрос был решен. Дэвид почувствовал неожиданно глубокое удовлетворение. В нем словно что-то внезапно разгорелось ярким пламенем. Он смотрел, как Энни и Сэмми (в своих слишком больших башмаках и лопнувшем воротничке) шли по направлению к Кэй-стрит, мальчик прыгал подле матери, болтая, вероятно, об Уитли-Бэй. Потом Дэвид направился домой по Ламлейн. Теперь на дорожке, которая вела к его дому, не видно было больше сорной травы, садик у дома был приведен в полный порядок, и по белым шнуркам на стене вились выращенные Мартой ярко-желтые настурции. Крылечко перед дверью было вычищено и обмазано белой трубочной глиной, а занавески на окнах украсились целыми двенадцатью дюймами чудеснейших фестонов, связанных так, как умели вязать только руки Марты... Во всех лучших домах шахтеров висели такие занавески с вязаными кружевами, признак благосостояния хозяев, — но во всем Слискейле не найти было кружев красивее этих.

Дэвид повесил в передней шляпу и прошел на кухню, где уже возилась Марта, приготавливая ему кресс-салат и чай.

Марта постоянно что-нибудь делала для него: в ее трезвой душе жило нечто вроде азарта гордой своим домом хозяйки. В кухне была такая чистота, что, по выражению домохозяйек, «можно бы пить чай прямо с пола». Деревянные части мебели так и блестели, посуда на поставке сверкала, семейная реликвия — краси-

вые мраморные часы, полученные отцом Марты как приз за отличную игру в шары и перекочевавшие сюда вместе с Мартой из дома на Инкерманской террасе, который она оставила навсегда, важно тикали на высоком камине. В доме царила мирная воскресная тишина.

Дэвид внимательно посмотрел на мать и спросил:

— Почему бы и тебе не съездить на недельку в Уитли-Бэй, мама? Я еду туда девятнадцатого.

Марта, не оборачиваясь, продолжала тщательно исследовать листья салата: она не могла допустить, чтобы на латуке или салате оставалось хоть единое пятнышко.

Когда Дэвид уже начинал думать, что она не слышала его слов, она вдруг отозвалась:

— А чего я там не видала, в Уитли-Бэй?

— Я думаю, тебе это доставит удовольствие, мама. Там будет и Энни с мальчиком. — Голос его звучал просительно. — Право, поедem, мама!

Она все стояла спиной к нему и с минуту не отвечала.

Но наконец сказала тихо:

— Нет. Мне и здесь хорошо! — И, когда повернулась к Дэвиду с тарелкой салата в руках, на лице ее было выражение застывшей суровости.

Дэвид знал, что убеждать ее бесполезно. Усевшись на диван под окном, он взял последний номер «Независимого рабочего». На первой странице была помещена его очередная статья — из серии, которую там печатали последний год, а на средней странице приведена полностью, слово в слово, речь, с которой он выступал во вторник в Сегхилле. Он не стал читать ни той ни другой.

Дэвиду минуло уже тридцать пять лет. Последние четыре года он работал как вол, не щадя сил, разъезжал по району в качестве агитатора и организатора. Он довел в Эджели число членов Союза до четырех тысяч с лишним. О нем говорили как о мужественном, стойком и способном человеке. В Энвиле были напечатаны три его монографии, а за статью «Государство и копи» он получил Русселевскую медаль. Медаль затерялась где-то — вероятно, завалилась за комод.

Дэвиду на миг стало грустно. Сегодня днем там, внизу, среди дюн, он слышал пение жаворонка, и это напомнило ему о маль-

чике, часто приходившем сюда почти двадцать лет тому назад. Потом мысли его перешли на Дженни. Где она? Милая Дженни! Несмотря ни на что, он все еще любил ее, и скучал, и думал о ней. И мысль о ней, пробившись сквозь впечатления солнечного дня и песни жаворонка, опечалила его. Встреча с Энни и Сэмми, правда, привела его в хорошее настроение, но сейчас ему снова взгрустнулось. Может быть, в этом виновата мать, ее непреклонность? Ему ли стремиться изменить пути человечества, когда душа близкого человека для него остается неизменно закрытой и недоступной? Вот мать: она неумолима, ничего не прощает.

После чая его настроение улучшилось, — салат, приготовленный неумолимой Мартой, был очень хорош, — и он сел писать письмо Гарри. Дэджен, и Беббингтон, и Гарри — все в этом году снова прошли на выборах и остались в парламенте. Беббингтону пройти было нелегко: ходили сплетни в связи с бракоразводным процессом сэра Питера Аутрема, и о них вспомнили, когда была выставлена кандидатура Беббингтона. Но дело это замяли, и Беббингтону удалось пройти.

Дэвид написал Гарри длинное письмо. Потом взял книгу Эриха Флитнера «Опыт государственного контроля». Последнее время он зачитывался Флитнером и Максом Зерингом, в особенности его книгой «Атака на общество». Но сегодня Зеринг мало занимал его. Он все время думал о другой атаке — предстоящей атаке на Уитли-Бэй, и решил, что будет очень весело учить Сэмми плавать. А сливочное мороженое! Как бы не забыть о нем! Ведь очень может быть, что Энни питает тайную слабость к сливочному мороженому. Мороженое там настоящее итальянское, просто объедение. Неужели Энни устоит перед такой прелестью? Он откинулся назад и громко засмеялся.

Все десять дней до отъезда у него не выходили из головы Уитли-Бэй, плавание, Энни и Сэмми. Утром 19 мая он с настоящим волнением приехал на Центральный вокзал в Тайнкасл, где они с Энни уговорились встретиться. В последнюю минуту его задержали в суде, где разбиралось дело о выплате какой-то компенсации рабочим, и он поздно примчался к билетной кассе, где Энни и Сэмми уже дожидались его.

— А я боялся, что опоздаю! — воскликнул он, улыбаясь, запыхавшись и подумав про себя, что хорошо быть молодым, способным радостно волноваться и бежать что есть духу.

— Времени у нас еще много, — сказала Энни со свойственной ей положительностью.

Сэмми не говорил ничего — ему наказали не болтать, — но сияющие синие глаза на великолепно вымытом лице выражали целую гамму чувств.

Они сели в поезд, идущий в Уитли-Бэй. Дэвид нес чемоданы. Энни это не понравилось, она хотела сама нести свой (вернее, чемодан, взятый ею на время у Пэга), потому что он был тяжелый и слишком потрепанный: неудобно, чтобы Дэвида видели с таким чемоданом. У Энни был такой расстроенный вид, словно она считала это верхом неприличия, а между тем она сама часто таскала корзину с рыбой в три раза тяжелее. Впрочем, протестовать она не посмела. Они вошли в купе, раздался свисток, и поезд тронулся.

Сэмми уселся в углу, рядом с Дэвидом, а Энни — напротив. Когда поезд миновал предместья, помчался среди полей, Сэмми пришел в величайший восторг и, забыв, что дал клятву молчать, щедро делился впечатлениями с Дэвидом.

— Посмотри, какой паровоз! А вагоны, а кран! — кричал он. — Ох, смотри, какая большая труба! Никогда еще я не видал такой большой трубы!

Труба вызвала серьезный и увлекательный разговор о тех, кто чинит трубы, и о том, как восхитительно, должно быть, стоять на верхушке трубы («на такой высоте!»), где между тобой и землей — двести футов пустого пространства!

— Уж не хочешь ли ты стать кровельщиком, когда вырастешь, Сэмми? — спросил Дэвид с улыбкой в сторону Энни.

Сэмми покачал головой.

— Нет, — сказал он как-то сдержанно. — Я буду тем же, чем мой папа.

— Шахтером? — спросил Дэвид.

— Да, вот кем я хочу быть, — твердо заявил Сэмми. У него был при этом такой важный вид, что Дэвид не мог удержаться от смеха.

— У тебя впереди много времени, можешь еще и передумать, — заметил он.

Путешествие было приятное, но недолгое, они очень скоро приехали в Уитли-Бэй. Дэвид снял комнаты на Террент-стрит, тихой улице, которая начинается от бульвара, вблизи гостиницы

«Веверлей». Комнаты ему рекомендовал Дикки, секретарь слискейлской профорганизации, сказав, что у хозяйки, миссис Лесли, часто останавливаются делегаты Союза во время областных съездов. Миссис Лесли была вдовой врача, погибшего в Хедлингтоне во время несчастного случая в шахте лет двадцать тому назад. Один из крепильщиков застрял тогда под обвалившейся кровлей, так как его разможенная рука оказалась зажатой между двух каменных глыб и ее не могли освободить. Доктор Лесли спустился в шахту, чтобы ампутировать руку и этим дать возможность извлечь рабочего из-под обвала. Он уже почти закончил операцию, геройски им проделанную над таким же героем-крепильщиком, который перенес ее без наркоза, лежа на животе в грязи и крови, как вдруг неожиданно обвалилась вся кровля и погребла под собой и доктора и рабочего. Теперь об этом случае уже все позабыли. Но из-за этого обвала кровли пришлось миссис Лесли сдавать меблированные комнаты жильцам в убогом переулке, вдоль которого тянулся ряд красных кирпичных домиков, каждый с палисадником (площадью в четыре квадратных ярда), с тюлевыми занавесками, с зеркалом над камином и многострадальным фортепиано.

Миссис Лесли была высокая брюнетка со сдержанными манерами. Она не была ни комична, ни сварлива, в ней не было ничего того, что обычно связывается с традиционным представлением о квартирной хозяйке на курорте. Она спокойно поздоровалась с Дэвидом, Энни и Сэмми и проводила их в комнаты. Но при этом миссис Лесли неожиданно совершила неловкость, обратясь к Энни со следующими словами:

— Мне думается, вам и вашему мужу лучше занять большую комнату, а мальчика поместить в меньшей.

Энни не покраснела, скорее даже, пожалуй, побледнела. И без малейшего замешательства ответила:

— Это не муж мой, а деверь, миссис Лесли. Мой муж убит на войне.

Тут покраснела уже миссис Лесли, покраснела мучительно, до корней волос, как краснеют сдержанные и скромные женщины.

— Как глупо с моей стороны... Я могла бы понять это из вашего письма.

Таким образом, Энни и Сэмми поселились в первой, большой комнате, а Дэвид — в маленькой. Но миссис Лесли почему-то ка-

залось, что она своим замечанием больно ранила Энни, и она изо всех сил старалась угождать ей. Очень скоро миссис Лесли и Энни стали настоящими друзьями.

Каникулы проходили хорошо. Сэмми вносил в них большое оживление. Он, как электрическая игла, заряжал Дэвида энергией, хотя Дэвид в этом и не нуждался, — он в обществе Сэмми веселился не меньше его самого. Дни стояли теплые, а свежий морской ветерок, который постоянно дует в Уитли-Бэй, не давал теплу перейти в знойную духоту. Каждое утро они купались и играли на песке во французский крикет. Они невероятно объедались мороженым и фруктами и делали прогулки пешком в Каллеркотс, заходя в забавный старомодный ресторанчик, где старуха-хозяйка подавала им крабов. Дэвид испытывал угрызения совести, опасаясь, не вредны ли крабы для желудка Сэмми, но Сэмми любил их, и оба с виноватым видом шмыгали в маленькую столовую домика, состоявшего всего из двух комнат, в которых стоял запах смолы и рыбачьих сетей. Здесь они усаживались на волосяную кушетку и ели свежего краба прямо из жесткой скорлупы, а старуха-хозяйка, посасывая свою глиняную трубку, смотрела, как они ели, и называла Сэмми «миленький».

Крабы были замечательно вкусны. Так вкусны, что они вряд ли могли причинить Сэмми какой-нибудь вред.

На обратном пути Сэмми повисал на руке Дэвида, и они шли домой по бульвару. Тут наступало время вопросов. Сэмми разрешалось спрашивать о чем угодно, и он, подпрыгивая рядом с Дэвидом, попросту бомбардировал его вопросами; Дэвид то, что знал, объяснял правильно, а если не знал чего-нибудь, то фантазировал. Но Сэмми всегда угадывал, где начинаются «выдумки». Он поглядывал снизу вверх на Дэвида искрящимися щелочками глаз и заливался смехом:

— Э, дядя Дэвид, ты уже начинаешь выдумывать?

Но эти выдумки нравились Сэмми даже больше, чем правдивые ответы.

Они предпринимали вдвоем много увлекательных экскурсий. Энни, словно понимая, что им нравится быть вдвоем, держалась больше в сторонке. Она всю жизнь привыкла стусевываться, и, когда Дэвид и Сэмми звали ее гулять, у нее всегда оказывалось какое-нибудь дело: то надо идти за покупками, то что-нибудь починить, то она приглашена на чашку чая к миссис Лесли. Энни

при участии миссис Лесли постоянно изобретала новые варианты меню и старалась угадать, что любит Дэвид. Благодарность Энни не знала границ, но еще безграничнее была ее боязнь показаться Дэвиду навязчивой, и в конце концов между ними дело дошло до объяснения.

В четверг после полудня Дэвид пришел с пляжа и на лестнице встретил Энни, которая шла наверх; на плече у нее висели сложенные серые фланелевые брюки, — она только что гладила их на кухне, попросив утюг у миссис Лесли. Дэвид, увидев это, вдруг рассвирепел:

— О боже мой, Энни, и чего ради вам вздумалось их гладить! Торчать дома в такую чудную погоду! Почему вы не пошли на берег с Сэмми и со мной?

Энни потупила глаза. Она была огорчена тем, что дала поймать себя с поличным, и сказала, словно извиняясь:

— Я приду попозже, Дэвид.

— Попозже! — кипятился он. — Вечно от вас только и слышишь: «позже», или «через минутку», или «вот когда я поговорю с миссис Лесли!» Что же, вы так и не хотите хоть немного отдохнуть? А как вы полагаете, для чего я привез вас сюда?

— Я думала, для того, чтобы заботиться о вас и Сэмми.

— Какая ерунда! Я хочу, чтобы вы отдохнули по-настоящему, гуляли и веселились, чтобы вы бывали всегда с нами, Энни.

— Ну хорошо, — сказала она с легкой улыбкой, — если я вам не наскучу... А я думала, вы не хотите, чтобы я вам мешала.

Она надела шляпу и пошла с Дэвидом и Сэмми на пляж, и они сидели втроем на мягком песке и были счастливы. Время от времени Дэвид поглядывал на Энни, которая сидела с откинутой назад головой и закрытыми глазами, подставляя лицо яркому солнцу. Энни была для него загадкой. Славная она, всегда была замечательно славная девушка: тихая, скромная, честная и мужественная. В Энни не заметно женского кокетства. А между тем у нее красивая, статная фигура, красивые руки и ноги, тугая грудь, прекрасная мягкая линия шеи. Ее спокойное лицо, в эту минуту обращенное к солнцу, по-настоящему прекрасно серьезной, немного меланхолической красотой. Она совершенно не обращает внимания на свою наружность, а между тем обладает почти классической красотой, которой гордилась бы любая женщи-

на на ее месте. Да, Энни совсем не тщеславна, вот что странно; она упрямо-независима, но нет в ней ни суетности, ни сомнений. У нее так мало сомнений, что она боится ему «наскучить», боится помешать. Дэвида удивляло, что Энни так благоговеет перед ним, никогда он этого за ней не замечал раньше. А теперь, хотя бы уже по всевозраставшей почтительности к нему миссис Лесли (явное влияние Энни!), он чувствовал, что Энни почти боится его. И, лежа подле нее на песке, в то время как Сэмми возился со своим ведром у воды, он вдруг приподнялся на локте и сказал:

— Что такое за последнее время стало между нами, Энни? Ведь мы когда-то были наилучшими друзьями.

Все еще жмуря глаза от солнца, она отвечала:

— У меня нет на свете лучшего друга, чем вы, Дэвид.

Он хмуро посмотрел на нее, пропуская сквозь пальцы золотистый песок:

— Хотел бы я знать, что у вас на уме, Энни. Хотел бы трясти вас до тех пор, пока не вытрясу из вас правду. А то вы превратились в какую-то Мону Лизу. Ей-богу, я, кажется, готов отколотить вас.

— На вашем месте я бы не стала рисковать, — сказала она, улыбаясь, — я довольно сильная.

— Послушайте, — сказал Дэвид после минутного молчания. — Я знаю, что с вами делать! — Он с комическим гневом смотрел на закрытые глаза Энни. — Сегодня вечером, когда вы уложите Сэмми, я свезу вас в луна-парк. Я вас заставлю проделать все сумасшедшие, головокружительные и жуткие аттракционы, какие только там имеются. Я вас втисну в самую гущу танцующих, покатаю на электрическом моторе и «американских горках». И когда вы будете вертеться в воздухе со скоростью восьмидесяти миль в час, я хорошенько погляжу на вас и увижу, жива ли еще в вас прежняя Энни.

— Я бы хотела покататься на «американских горках», — заметила она все с той же веселой, обезоруживающей невозмутимостью. — Но это стоит дорого, да?

Дэвид упал на песок и захохотал:

— Энни, Энни, вы неподражаемы! Мы покатаемся на «американских горках», хотя бы это стоило миллион и грозило нам верной смертью!

И они отправились. Ничего не подозревавший Сэмми был убаготворен мятными конфетами и уложен раньше обычного, а Дэвид с Энни пошли в луна-парк в Тайнмаус. Ветер улегся, и наступил тихий, ласковый вечер. Дэвиду почему-то неожиданно ярко вспомнились вечера, которые они с Дженни проводили в Каллеркотсе в их медовый месяц. И, когда он и Энни проходили мимо Каллеркотса, ему захотелось поговорить о Дженни. Он сказал:

— Вы знаете, что я когда-то приезжал сюда с Дженни?

— Да, как же, знаю, — ответила Энни, невольно бросив на него странный взгляд.

— Теперь это кажется таким далеким...

— А между тем прошло не так много времени.

Они помолчали. Потом Дэвид, погруженный в свои мысли, внезапно охваченный нежностью к Дженни, заговорил снова:

— Знаете, я очень скучаю по Дженни. Иногда мне ее ужасно не хватает. Я все еще не перестал надеяться, что она вернется ко мне.

Опять наступило молчание, и длилось оно долго. Потом Энни отозвалась:

— Я тоже надеюсь на это, Дэвид. Я всегда знала, что вы к ней крепко привязаны.

Остальной путь они прошли молча, и когда пришли в луна-парк, то почти казалось, что вечер будет неудачен, так как Энни была не только молчалива, но и неизвестно почему, удрученной. Но Дэвид твердо решил расшевелить ее и вывести из этой беспричинной меланхолии. Забыв о своем собственном скверном настроении, он попросту из кожи лез: водил Энни повсюду — начал с зала кривых зеркал, а оттуда перешел к «чертову колесу». Когда они сорвались вниз, оба на одну циновку, Энни улыбнулась дрожащей улыбкой.

— Вот это уж лучше! — сказал одобрительно Дэвид и потащил ее к «американским горкам».

Там было еще интереснее. Они мчались в вагончиках по рельсам, стремительно меняющим направление, проваливались в какие-то мрачные туннели подземного царства, и у Энни просто дух захватывало. Но больше всего им понравились гигантские шаги. Они набрали на них около девяти часов и качались, взлетали и ныряли вниз с головокругительных высот до тех пор, по-

ка весь луна-парк не завертелся перед ними ослепляющей радугой. Ничего не могло быть увлекательнее гигантских шагов, ничто на небесах, в аду, в чистилище и всех других углах вселенной. На гигантских шагах вы поднимались на невероятную высоту, а внизу далеко сияющей панорамой огней расстилалась вся территория парка. Вы взбирались медленно, с коварно-обманчивой медленностью, наслаждались прохладой, тишиной и, чувствуя себя в безопасности, любовались видом. Вы, попросту говоря, ползли наверх. А затем, пока вы все еще спокойно любовались панорамой внизу, тележка раскачивалась на краю и совершенно неожиданно летела стремглав вниз, в бездну. Вы падали все ниже, ниже, в неведомую, вопиющую тьму, у вас душа уходила в пятки, вы растворялись, умирали и вновь рождались во время этого жуткого и восхитительного полета. Но одним полетом дело не ограничивалось: тележка взлетала на новую вершину и снова падала вместе с вами, все ниже, ниже и ниже. И вы умирали и воскресали всякий раз снова.

Дэвид помог Энни выйти из тележки. Она стояла пошатываясь, держась за его плечо, щеки ее горели, шляпка съехала набок, а в глазах было такое выражение, словно ей было приятно держаться за плечо Дэвида.

— О Дэви, — выговорила она, задыхаясь, — никогда больше не катайте меня на этой штуке! — И засмеялась. Она все смеялась и смеялась — неслышно, про себя, потом снова ахнула: — Нет, как это было чудесно!

Дэвид с улыбкой смотрел на нее сверху вниз.

— Я таки заставил вас посмеяться, — сказал он. — А я только того и хотел.

Они слонялись по луна-парку как добрые товарищи, с живым интересом наблюдая все. Вокруг музыка лилась каскадами, орари разносчики, предлагая свой товар, пылали огни, кружилась толпа. Здесь были всё простые люди, веселые бедняки. Углекопы из Тайнсайда, клепальщики из Шипхеда, литейщики и пудлинговщики из Ерроу, каменотесы из Сегхилла, Хедлингтона и Эджели. Шапка на затылке, на шее шарф, концы которого развеваются по воздуху, за ухом папироса. С ними были их подружки, раскрасневшиеся, веселые, лакомившиеся всякой всячиной из бумажных мешочков. Когда мешочки пустели, их надували и ударяли по ним кулаком, так что они с треском лопались. Пускали

в ход и хлопушки, которые разрывались, пугая прохожих. То был праздник скромных, простых, безвестных людей. И вдруг Дэвид сказал Энни:

— Вот мой мир, Энни. Вот мои товарищи. И среди них я чувствую себя счастливым.

Но Энни не хотела согласиться с этим. Она энергично покачала головой.

— Вы пойдете далеко, Дэвид, — возразила она с обычной своей спокойной прямолинейностью. — Все так говорят. На будущих выборах вы пройдете в парламент.

— Кто это говорит?

— Да все ребята в «Нептуне». Мне Пэг рассказывал. Они говорят, что вы для них там кое-что сделаете.

— Ах, если бы мне это удалось! — сказал он с глубоким, долгим вздохом.

Когда они берегом возвращались домой на Террент-стрит, большая луна выплыла из-за моря и глядела на них. Шум и огни луна-парка остались позади. Дэвид рассказывал Энни, что он думает делать. Он едва помнил о присутствии Энни, шедшей рядом с ним ровной, неторопливой походкой, — она говорила так мало и так умела слушать! — но он излил перед ней все чаяния своей души. Он не мечтает ни о каких личных успехах. *Ему* ничего не нужно. Он хочет лишь справедливости к шахтерам, к людям его класса — класса, который так долго и так жестоко угнетали.

— Справедливости и безопасности, Энни, — сказал он тихо. — Горная промышленность отличается от всех других. Она нуждается в национализации. От этого зависит жизнь рабочих. До тех пор пока будут частные хозяева, которые гонятся за большой прибылью, жизнь рабочих не может быть в безопасности. И будут происходить такие несчастья, как в «Нептуне».

Они молчали все время, пока шли по Террент-стрит. Наконец Дэвид, уже другим тоном, спросил:

— Я вам не надоел своей трескотней?

— Нет, — возразила Энни. — Это вовсе не трескотня. Это все очень важно...

— Я хочу вас познакомить с Гарри Нэдженгом, он завтра придет, — сказал Дэвид. — Вот Гарри — тот действительно умеет убеждать людей. Он вам понравится.

Энни отрицательно покачала головой:

- О нет! Я не хочу с ним знакомиться.
- Да отчего же? — спросил Дэвид с удивлением.
- Так, просто не хочется, — объявила Энни решительно, с неожиданной твердостью.

Дэвид был безотчетно обижен. Ему было больно от этой непонятной сдержанности Энни после его дружеского участия, после попыток развлечь ее. Он перестал говорить и сразу замкнулся в себе. Когда они вернулись домой, он отклонил предложение Энни поужинать, простился с ней и ушел к себе в комнату.

На следующий день приехал Гарри Нэджент. Гарри любил Уитли-Бэй. Он клялся, что нигде в мире не дышится так, как в Уитли-Бэй. Всякий раз, как ему удавалось урвать свободный день, он приезжал сюда глотнуть этого удивительного воздуха.

Он остановился в гостинице «Веверлей», и Дэвид встретился с ним там в три часа.

Несмотря на ранний час, они сразу же уселись внизу пить чай. На этом настоял Нэджент. Он был большой любитель чая, выпивал его бесконечное количество, чашку за чашкой, и всегда умудрялся находить предлог для чаепития. А между тем чай был ему вреден, усиливал его катар желудка. Нэджент был человек слабого здоровья. Худое, тщедушное тело и желтое, изможденное лицо говорили о том, что его организм не приспособлен к жизни, полной напряженного труда. Он часто и сильно страдал от разных мелких и весьма прозаических недугов, — так, например, он полгода промучился из-за свища. Но он никогда не жаловался, не щадил себя, не поддавался болезни. Он умел от души, до смешного, наслаждаться мелкими радостями жизни — папирсой, чашкой чая, свободным днем в Уитли-Бэй или прогулкой в Кенсингтон. Нэджент был прежде всего простой человек, простой и добрый. Это выразалось и в улыбке, мягко освещавшей его некрасивое лицо, — улыбке, в которой было что-то мальчишеское благодаря редким передним зубам.

Принимаясь за третью по счету чашку чая, он сказал:

- Что же, теперь, я думаю, можно перейти прямо к делу?
- Да, ведь это ваше правило, — отвечал Дэвид.

Нэджент закурил папиросу и, держа ее между испачканными табаком пальцами, сказал с неожиданной серьезностью:

— Вы знаете, Дэвид, Крис Степлтон болен. И болен он, бедняга, серьезнее, чем мы думали. На прошлой неделе ему сделали операцию в больнице Франкмасонов. Опухоль на внутренних

органах... Вы понимаете, что это значит? Я видел его вчера. Он уже без сознания, и конец его близок. — Гарри засмотрелся на горящий кончик своей папиросы, долго молчал, потом прибавил: — В будущем месяце в Слискейле будут дополнительные выборы.

Внезапное и сильное волнение овладело Дэвидом, томительным испугом глянуло из его глаз. Снова наступило молчание.

Нэджент внимательно посмотрел на Дэвида и кивнул головой.

— Все в порядке, Дэвид, — сказал он. — Я снесся с вашим исполнительным комитетом... Совершенно ясно, кого они хотят. Ваша кандидатура будет выставлена обычным порядком...

Дэвид не верил. Он смотрел широко раскрытыми глазами на Нэджента, немой, обессиленный волнением. Потом глаза ему застлал какой-то туман, мешая видеть Гарри.

IX

Первый, кого встретил Дэвид по возвращении в Слискейл, был Джеймс Ремедж. В этот понедельник утром Дэвид приехал в Тайнкасл из Уитли-Бэй вместе с Энни и Сэмми, проводил их на вокзал и усадил в поезд, шедший в Слискейл, затем поспешил в Эджели, где проработал весь день. Было уже семь часов вечера, когда он вышел из здания слискейлского вокзала и чуть не столкнулся с Ремеджем, который направлялся к киоску за вечерней газетой.

Ремедж круто остановился посреди дороги, и Дэвид по его лицу понял, что новость ему уже известна. В воскресенье ночью Степлтон умер в больнице, и в утреннем выпуске «Тайнкаслского вестника» появилась уже соответствующая заметка.

— Так, так, — начал Ремедж насмешливо, делая вид, что новость его очень забавляет. — Вы, говорят, намерены баллотироваться в члены парламента?

Со всей язвительной любезностью, на какую он был способен, Дэвид ответил:

— Да, мистер Ремедж, совершенно верно.

— Ха! И вы думаете, что пройдете?

— Да, надеюсь, — подтвердил Дэвид с убийственным хладнокровием.

Ремедж не пытался больше сохранять насмешливый тон. Его широкое красное лицо еще больше побагровело. Он сжал руку в кулак и изо всех сил ударил им по ладони другой руки:

— Так не будет же этого, пока я в силах помешать вам! Не будет, клянусь богом! Мы не желаем, чтобы проклятые агитаторы были представителями нашего округа!

Дэвид почти с интересом наблюдал искаженную физиономию Ремеджа, на которой отражалась откровенная ненависть. Он вынудил Ремеджа доставлять больнице хорошее мясо, воевал с ним из-за его бойни и антисанитарного доходного дома на Кэй-стрит, — вообще он старался направить Джеймса Ремеджа на путь истинный. И Джеймс Ремедж за это готов был убить его. Не забавно ли?

Он сказал спокойно, без всякой злобы:

— Что же, вы, конечно, будете стоять за своего кандидата.

— Уж в этом будьте уверены! — вспыхнул Ремедж. — Мы вас с треском провалим на выборах, уничтожим вас, сделаем посмешищем всего округа!.. — Он запнулся, ища еще более сильных выражений, но, не найдя, с невнятным бормотанием повернулся спиной к Дэвиду и в ярости зашагал прочь.

Дэвид, задумавшись, шел по Фрихолд-стрит. Он знал, что Ремеджа нельзя считать выразителем общего мнения, но он вполне отдавал себе отчет, какая предстоит борьба. В Слискейлском округе лейбористы довольно уверенно могли рассчитывать на успех своего кандидата. Степлтон, представлявший этот округ в парламенте последние четыре года, был пожилой человек, к тому же пораженный ужасным недугом — раком. На последних выборах, когда у власти оказалось правительство Болдуина, Слискейл немного оплошал: Степлтон получил только на тысячу двести голосов больше, чем кандидат консервативной партии, Лоренс Роско. Конечно, и на этот раз будет выставлена кандидатура Роско. А он опасный противник — молод, красив, богат. Дэвид несколько раз встречал этого долговязого, узкоплечего мужчину лет тридцати четырех, с высоким лбом, ослепительно-белыми зубами и странной манерой выпрямлять неожиданно резким движением несколько сутулую спину. Это был сын адвоката Линтона Роско, теперь уже «сэра Линтона», одного из директоров Тайнкаслской компании центральных копеек. Следуя фамильной традиции, Роско-сын также был адвокатом — и адвокатом с прекрасной практикой — в северо-восточном судебном округе. Бла-

годаря видному положению отца и его личным способностям дела так и сыпались на него. У него был полученный в Кембридже значок за отличную игру в крикет, а во время войны он служил в воздушном флоте. Он и сейчас еще увлекался полетами, имел аттестат пилота и часто в свободные дни летал из Гестона в поместье отца в Морпете. Дэвид видел какой-то сокровенный смысл в том, что сын человека, с которым они некогда так яростно сражались в суде, теперь выступит его противником на выборах. «Ну да ничего! — подумал Дэвид с мрачной усмешкой. — Чем они выше летают, тем ниже садятся».

Он пришел домой. Марта за столом, водрузив на нос очки в стальной оправе (которые она, пренебрегая советом Дэвида обратиться к окулисту, недавно приобрела себе в новом магазине Вульворта), просматривала газету. Никогда Марта не интересовалась вечерней газетой, но сегодня Ханна Брэйс забежала к ней и рассказала о заметке насчет выборов, и Марта первый раз в жизни пошла и купила газету. При входе Дэвида она встала с виноватым видом. От него не укрылось, что она поражена, почти ошеломлена. Но она не хотела, ни за что не хотела сдаваться. По ее властному, угрюмому лицу видно было, что она борется с собой. Заслоня газету, она сказала с упреком:

— Ты сегодня рано пришел, я ждала тебя не раньше девяти.

Но Дэвид хотел заставить ее высказаться:

— А что ты думаешь об *этом*, мать?

Она медлила. Наконец сказала сурово:

— Мне это не по душе, нет, — и пошла за ужином.

Это было все, что он от нее услышал.

За ужином Дэвид обдумывал то, что предстояло сделать. Ему говорили: «Нужно поднять энергичную кампанию». Но не так-то легко сделать это, когда ты беден. Нэдженг относительно денег высказался с грубой откровенностью: достаточно, мол, того, что Союз поддерживает его кандидатуру. Впрочем, Дэвида этот вопрос не очень пугал. Можно сократить расходы. Старый Питер Вилсон, его агент, — человек благоразумный. Надо будет нанять один из легких грузовиков кооператива и произносить речи больше на открытом воздухе, только заключительное собрание устроить в зале муниципального совета. Решив так, Дэвид улыбнулся Марте, которая в эту минуту подала ему тарелку тушеных слив. Он не любил слив, и мать это знала.

— Сливы! Члену парламента! — пошутил он.

— Рано еще об этом толковать, — ответила она загадочно.

Список кандидатов был объявлен 24 августа. Их оказалось только два. Предстояло состязание между Дэвидом и Роско — борьба в открытую. 24 августа была очень скверная погода, дождь лил как из ведра. Как шутливо заметил Роско, это было дурным предзнаменованием для одного из кандидатов. Дэвид надеялся, что не для него. Его чуточку подавляла бьющая через край самоуверенность Роско. Было ясно, что консервативная партия действует в три раза энергичнее рабочей. Питер Вилсон, мелкий стряпчий в Слискейле, был такой ничтожной фигурой рядом с агентом Роско, Бэннерманом, джентльменом в визитке, привезенным из Тайнкасла. И, помимо всего прочего, дождь, хлеставший весь день, очень мешал ораторствовать с грузовика. Таким образом, Дэвид, остро чувствуя невыгодность своего положения, вынужден был отложить первое выступление: он пошел домой переменить промокшие башмаки.

Но на следующий день небо было синее, сияло солнце, и Дэвид душой и телом ринулся в битву. Когда первая смена выходила из «Нептуна», он был уже наготове у ворот, стоял с открытой головой на грузовике, а рядом с ним Гарри Огль, Уикс — контролер от рабочих — и Билл Сноу. В качестве добровольца-шофера впереди восседал Ча Лиминг.

Дэвид произнес сильную, острую речь, умышленно сократив ее, насколько можно. Он понимал, что рабочие голодны, спешат обедать, и не хотел их задерживать. Роско, никогда не выходивший голодным из шахты, мог бы не понять, а он понимал. И речь его имела успех.

Программа Дэвида была проста, скромна, но тем не менее на такую программу крепко можно было опереться. Она гласила: справедливость к шахтерам! И шахтеры знали, что без национализации рудников им этой справедливости никогда не добиться. Дэвид намерен был бороться за национализацию как за единственный выход. Он был вполне подготовлен к борьбе за то, что всю жизнь было для него символом веры.

В конце первой недели Том Геддон приехал из Тайнкасла, чтобы «сказать слово» за Дэвида. Во всех своих речах Дэвид не касался личности второго кандидата, так как и Роско сражался честно и они не пытались забрасывать друг друга грязью. Но Геддон

оставался Геддоном, и, несмотря на то что Дэвид перед собранием просил его быть корректным, Том не пожелал щадить противника. С хмурой усмешкой он начал:

— Слушайте, ребята, что я скажу. На этих выборах выставлено два кандидата — Роско и Дэвид Фенвик. Теперь послушайте меня. Когда Роско в Интоне или Херроу, в своем фланелевом костюмчике, гонял мяч на крикетном поле, а его папаша, и мамаша, и сестрица стояли тут же под нарядным зонтиком и хлопали ему, Дэвид Фенвик работал под землей, в «Нептуне», голый до пояса, весь в поту и грязи, катал проклятые вагонетки с углем, как все мы делали в свое время. Теперь ответьте мне, ребята, за кого же из двух вы будете голосовать? За того, кто гонял проклятые вагонетки, или за того, кто гонял мяч?

Так он ораторствовал с полчаса. Сочная, ловко состряпанная и вовремя сказанная речь пришлась слушателям по душе. Позднее Том по секрету сказал Дэвиду:

— Такая речь — неважное кушанье, Дэвид. Меня самого от нее мутит, но если она принесла тебе хоть какую-нибудь пользу, то я очень рад.

Если бы Том Геддон был более одаренным человеком, он мог бы претендовать на место в парламенте; и он это понимал. Но так как Том ничем не блистал, ему оставалось, по крайней мере, быть бескорыстным. Впрочем, его бескорыстие не спасало его от минут глубокой горечи, тайных терзаний, более мучительных, чем терзания грешников в аду.

Выборы были назначены на субботу, 21 сентября, а 20-го, в пятницу вечером, Дэвид выступил на последнем предвыборном собрании в слискейльской ратуше. Зал был полон: люди стояли в три ряда в проходах, толпились у широко открытых дверей, так как вечер был жаркий. Все сторонники Дэвида собрались на эстраде: тут был и Том Геддон, и Гарри Огль, и Уикс, и Кинч, юный Брэйс и старый Том Огль, Питер Вилсон и Кэрмайкл, специально приехавший из Уоллингтона, чтобы провести два свободных дня с Дэвидом.

Когда Дэвид вышел вперед, наступила мертвая тишина. Он стоял у столика с засиженным мухами графином воды, которой никто никогда не пил. В зале было так тихо, что можно было услышать слабый плеск волн, набегавших на «Снук». Перед ним — бесконечные ряды людей, все лица обращены к нему. В падав-

шем с эстрады ярком свете они казались трагически бледными, их взгляды, казалось, смутно молили о чем-то. Среди этой массы Дэвид различал отдельные лица, и все они были знакомы ему. В первом ряду он увидел Энни, с напряженным вниманием смотревшую на него, рядом с нею — Пэга, и Неда Синклера, и Тома Таунли, Ча Лиминга с Джеком Риди, мрачным и озлобленным, Вудса, Слэттери и десятки других рабочих «Нептуна». Он знал всех их — углекопов, своих товарищей. Он чувствовал глубокое смирение, сердце его было полно любви к ним. Он заговорил с ними просто, от всей души, без штампованных слов, политической казуистики, трескучей риторики.

— Я знаю большинство тех, кого я вижу здесь сегодня, — начал он, и голос его дрожал от волнения. — Многие из вас работали в «Нептуне» в одно время со мной. И сегодня я, если бы и мог, не хочу ударяться в красноречие. Я вижу в вас друзей. И буду говорить с вами, как говорят с друзьями...

Тут из задних рядов раздался ободряющий голос:

— Говори, Дэви, товарищ, мы все тебя слушаем!

Его поддержали громкими криками. Потом все стихло. Дэвид продолжал:

— Ведь если вдуматься, то станет ясно, что жизнь всех мужчин и женщин в этом зале тем или иным образом связана с шахтой. Все вы — шахтеры или жены, сыновья, дочери шахтеров. Всем вам от шахты никуда не уйти. И вот именно о ней, о том, что имеет для вас очень важное значение, я хочу говорить с вами сегодня...

Голос Дэвида, звучавший страстной серьезностью, одиноко раздавался в душном зале. Дэвид внезапно ощутил уверенность в своих силах, в том, что сумеет овладеть вниманием слушателей, убедить их. Он принялся излагать свои мысли. Он говорил о системе частной собственности, при которой пренебрегают охраной труда, о системе, которая зиждется на погоне за прибылями, при которой на первом месте интересы акционера, интересы же рабочего — на самом последнем. Он перешел к вопросу о королевских патентах на разработку недр — этому недопустимому, несправедливому закону, по которому у каждой области в пользу частного лица отнимаются огромные суммы, и не за услуги, оказанные обществу, а исключительно в силу монопольных прав и привилегий, пожалованных сотни лет тому назад. Потом он стремительно принялся излагать слушателям ту новую систему,

которой надо добиваться. Национализация! Слово, которое годами оставалось гласом вопиющего в пустыне. Он просил их вдуматься в значение этого слова. Национализация — это, прежде всего, объединение всех копей под одним управлением, усовершенствование методов работы и новый порядок распределения угля между потребителями. Во-вторых, национализация означает безопасность шахтеров. В Англии имеются сотни шахт с плохим и устаревшим оборудованием, но так как это шахты частные, то шахтеру приходится прежде всего думать о том, чтобы его не выкинули на улицу, а не об опасностях, грозящих ему, и о недопустимых условиях работы. А заработная плата? При национализации она увеличится, потому что годы упадка промышленности будут уравновешиваться годами расцвета. Во всяком случае, заработная плата будет не ниже прожиточного минимума. И жилища у рабочих будут лучше, чем теперь. Государство ни за что не допустит, чтобы дома шахтеров были в таком плачевном состоянии, как сейчас. Ведь этого требует честь самого государства. Жалкое состояние рабочих жилищ — наследие прошлого, результат многолетней жадности, эгоизма и равнодушия эксплуататоров. Те, кто работает в копях, выполняют общественно полезное дело, опасное дело, и на них следует смотреть как на слуг общества. Они требуют только справедливого, человеческого отношения, той справедливости, в которой им веками отказывали. Они хотят быть слугами государства, а не рабами капитала...

Полчаса Дэвида слушали молча, как загипнотизированные, ловя на лету каждое его слово, каждый довод. Убежденность, с которой он говорил, покоряла всех. Он увлек слушателей историей их собственного класса: беззаконие за беззаконием, предательство за предательством. Он воодушевил их словами о солидарности рабочих, товарищеской верности и отваге перед лицом опасности.

— Помогите же мне, — воскликнул он в заключение, протянув руку со страстным призывом, — помогите бороться за вас, добиться для вас справедливости!

Он умолк и стоял как слепой, побежденный сильным внутренним волнением. С минуту было очень тихо. Но вот загремели одобрительные крики, настоящий ураган приветствий. Гарри Огль вскочил и тряс Дэвиду руку. Кинч, Вилсон, Кэрмайл и Геддон — все были тут, подле него.

— Вы их захватили! — пытался Геддон перекричать шум. — Всех до единого!

Уикс хлопал Дэвида по спине, множество орущих людей ринулись вперед, окружили его, тянулись пожать ему руку, говорили все разом, так что Дэвид совсем растерялся. Внизу, в зале, стоял ужасающий шум, топот ног, хлопки. И все эти звуки летели в ночь, будя эхо.

На следующий день за Дэвида было подано 12 424 голоса. Это была победа, триумф, о котором он и мечтать не смел, — такого большинства голосов не получал ни один кандидат в Слискейле за последние четырнадцать лет. Дэвид стоял без шапки перед зданием муниципалитета, а ликующая толпа, тесно окружив его, кричала «ура», колыхалась вокруг, кричала все снова и снова. И у него кружилась голова, он чувствовал прилив нового воодушевления, новых сил. Да, вот он преодолел все, сам не зная как, и теперь он у цели.

Роско пожал ему руку. Толпа еще оглушительнее закричала «ура».

Роско держал себя молодцом, он улыбался, несмотря на жестокое разочарование. Но Ремедж не улыбался. Ремедж тоже был здесь, вместе с Бэйтсом и Мэрчисоном. Он не поздоровался с Дэвидом. Он стоял, насупив брови, угрюмый, грозный, и на лице его было смешанное выражение упрямого недоверия и непримиримой враждебности.

Дэвид произнес короткую, но пылкую речь. Он не помнил, что и как говорил. Он благодарил их, благодарил от всего сердца. Он обещал работать для них, бороться за них. Он хотел слушать им.

Ему подали телеграмму — поздравление от Нэджента. Телеграмма Гарри Нэджента так много значила для Дэвида! Он прочел ее торопливо и сунул в карман на груди. Все новые и новые люди подходили и поздравляли, все новые рукопожатия, приветственные клики. Неожиданно толпа запела песню, которая началась словами: «Он славный товарищ». Они пели эту песню для него. Какой-то репортер, ныряя в толпе, проталкивался к нему. «Небольшое интервью для „Аргуса“, мистер Фенвик! Ну пожалуйста, сэр, хоть пару слов!» Фотографы в проходе, яркая вспышка магния. Опять крики. Наконец толпа медленно начинает расходиться. Еще слабо доносится «ура» из различных частей города.

Питер Вилсон, доверенное лицо Дэвида, посмеиваясь и подшучивая над ним, провожает его вниз по лестнице. Все кончилось! Он победил!

Наконец Дэвид добрался до дому и, все еще не вполне опомнившись, вошел в кухню. Бледный, в полнейшем изнеможении, стоял он и смотрел на мать. Он сразу вдруг почувствовал, что устал и ужасно голоден. Сказал медленно, как во сне:

— Я избран в парламент, мама. Ты знаешь, что я избран?

— Знаю, — сухо отвечала Марта. — И знаю, что ты с утра ничего не ел. Может быть, не побрезгуешь нашим шахтерским пирогом?

Х

Неизбежная реакция наступила, когда Дэвид, попав в палату общин, почувствовал себя маленьким, ничтожным человеком, не имеющим здесь ни единого друга. Он упрямо боролся с таким настроением. Как это ни забавно, в первый день в палате его ободряли главным образом чины лондонской полиции. Он пришел рано и сделал обычную для всех новичков ошибку — пытался войти тем ходом, который предназначен для публики. Его остановил полисмен, дружелюбно объяснив, где находится отдельный вход для членов палаты. Дэвид прошел через двор, по которому важно гуляли голуби, мимо статуи Оливера Кромвеля, мимо автомобильного парка с рядами машин и затем вошел через специальный, служебный, ход. Тут другой приветливый полисмен указал ему дорогу в гардеробную — длинную комнату, всю ошестинившуюся вешалками, с которых кое-где свисали петли из розовых шнуров необычного вида. Когда Дэвид снял шляпу и пальто, еще один полисмен любезно занялся им: изложил ему географию палаты общин с легким уклоном в историю и даже открыл тайну розовых петель:

— Они остались с тех времен, когда носили мечи, сэр. Здесь джентльмены вешали мечи, раньше чем войти в палату.

— И как эти шнуры не износились до сих пор? — удивился Дэвид.

— Господь с вами, сэр! Ведь за этим следят. Когда какой-нибудь из них изнашивается, его сейчас же заменяют новым. Уж как об этом заботятся, сэр, если бы вы знали!

В три часа приехали Нэджент и Беббингтон. Дэвид прошел вместе с ними по широкому коридору, где на полках стояло множество книг в синих обложках: то были официальные стенограммы заседаний палаты, билли, протоколы. У книг был такой вид, словно их никогда никто не читал. Дэвид смутно сознавал, что они вошли затем в длинный и высокий зал, увидел людей в креслах, спикера с жезлом. Быстро и невнятно прочитана молитва, затем выкликается среди других и его фамилия, и он торопливо идет к задним скамьям. Робость мешалась в нем с гордым сознанием высокой задачи, сознанием, что наконец-то начинается для него настоящее дело.

Он снял комнаты на Блоунт-стрит, в Бэттерси. Это была, собственно, маленькая квартирка наверху: две комнаты — спальня и гостиная, кухонька с газовой плитой и ванная; но квартирка эта не была отдельной, ход в нее был из общего коридора и по внутренней лестнице. Он платил один фунт в неделю, причем хозяйка, миссис Такер, обязалась убирать комнату и постель. Обо всем остальном Дэвид решил заботиться сам. Он собирался даже сам готовить себе завтрак, чем привел в несказанное удивление миссис Такер.

Блоунт-стрит не принадлежала к числу парадных улиц, это была унылая, полная копоти артерия города, проходившая между двумя рядами грязных домов. На замусоренных тротуарах множество хилых ребятишек карабкались на утыканные острями заборы или сидели дружной компанией (главным образом девочки) на краю тротуара, спустив ноги в водосточную канаву.

Но от Блоунт-стрит было не более мили до парка Бэттерси, а дом № 33, где поселился Дэвид, был этажом выше других, так что из своих комнат Дэвид за бахромой дымовых труб мог видеть небо и зеленые деревья. Парк в Бэттерси ему сразу понравился. Он не был так красив, как Гайд-парк, или Зеленый парк, или Кенсингтонские сады, но был как-то ближе его сердцу. Здесь Дэвид встречал рабочую молодежь, которая упражнялась в беге и прыжках на покрытой шлаком аллее, и учеников городских школ, с увлечением и большой ловкостью игравших в футбол, и бледных машинисток, которые гоняли мяч на усыпанных песком площадках и маневрировали своими ракетками так ловко, как никогда и не снилось никому в Уимблдоне. Здесь не было нарядных нянь и хорошо одетых детей, прыгающих подле укра-

шенных монограммой колясочек. Такой хорошо воспитанный ребенок, как Питер Пэн¹, ни за что не заглянул бы вторично в Бэттерси-парк. А Дэвид среди отдохавших тут представителей неотшлифованной части человечества находил отраду и могучее вдохновение.

В первый раз он как следует осмотрел этот парк в ту субботу, когда завтракал с Бейбингтоном. Выступления Дэвида на предвыборных собраниях и то, что он получил громадное большинство голосов, произвело на Бейбингтона сильное впечатление. Таков уж был Бейбингтон: всегда стремился сблизиться с заметными людьми, присоединиться к чужому успеху. Оттого-то он и помогал Гарри Нэджену провести Дэвида в парламент. Позднее Бейбингтон от него отшатнулся.

— Вы на ближайшие свободные дни уедете за город?

— Нет, — отвечал Дэвид.

— А я приглашен, — продолжал Бейбингтон внушительно, украдкой следя за впечатлением, которое произведут его слова на Дэвида, — приглашен на домашний праздник в «Ларчвуд-парк» — знаете, поместье леди Аутрем. Но в последнюю минуту мне навязали доклад в Демократическом клубе в воскресенье вечером. Черт знает что такое! Терпеть не могу проводить свободные дни в городе. Давайте позавтракаем вместе в субботу, если у вас не предвидится ничего более интересного.

— С удовольствием, — согласился Дэвид после минутного колебания. Ему не особенно нравился Бейбингтон, но отказаться было бы невежливо.

И они завтракали вместе в зеленом с золотом ресторане «Адалия», за столиком у окна, откуда открывался чудесный вид на Темзу. Сразу же обнаружилось, что в этом знаменитом ресторане для избранного круга Бейбингтон знал всех решительно. И очень многие знали его. Чувствуя, что взгляды присутствующих устремлены на его осанистую фигуру, Бейбингтон разговаривал с Дэвидом покровительственно-любезным тоном, наставляя его, кого из членов палаты ему следует держать и кого избегать. Но больше всего он говорил о себе.

— Да, трудно мне было сделать выбор, — заметил он. — Предстояло одно из двух: либо украшать собой министерство иностран-

¹ Герой популярной детской книжки.

ных дел, либо примкнуть к партии лейбористов. А я, знаете, честолюбив. Впрочем, я считаю, что поступил мудро. Вы согласны со мной, что работа в партии дает больше простора, больше возможностей?

— Каких же это возможностей? — резко спросил Дэвид.

Бebbингтон поднял брови и отвел глаза, как будто вопрос был несколько дурного тона.

— Разве мы друг друга не понимаем? — сказал он тихо.

На этот раз отвел глаза Дэвид. Ему уже до тошноты надоел Бebbингтон — его тщеславие, самолюбование, его жесткий, непоколебимый эгоизм. Глаза Дэвида блуждали по ресторанному залу, отмечая стремительную услужливость лакеев, цветы, вино во льду, дорогие блюда, нарядных женщин. Особенно занимали его женщины. Как экзотические цветы цвели они в этой теплой, насыщенной запахом духов атмосфере. Ничего общего не было у них с женщинами Террас, руки которых покрывались мозолями, а лица — морщинами в вечной борьбе за существование. На *этих* женщинах были дорогие меха, жемчуга, драгоценные камни. Их ногти были алы, словно слегка обмакнутые в кровь. *Эти* женщины ели икру из России, паштет из Страсбурга, раннюю землянику, выращенную в парниках и доставленную на самолете из Южной Франции. За соседним столиком сидела молодая, красивая женщина и с нею старик — жирный, лысый, с крючковатым носом. Его обвислые щеки говорили о жизни, полной излишеств, его брюхо непристойно переваливалось через край стола. А женщина томно улыбалась ему. Огромный бриллиант, величиной с боб, сверкал у нее на пальце. Старик приказал подать большую, двойную, бутылку шампанского, объяснив своей спутнице, что в таких бутылках шампанское бывает всегда высокого качества; даже если он хочет выпить один стакан, он всегда заказывает двойную бутылку. Когда же ему затем подали счет — подали чуть ли не с коленопреклонением, — Дэвид видел, как он жирной рукой положил на тарелку шесть фунтов. Эта пара за каких-нибудь полчаса шутя проела здесь сумму, на которую семья шахтера могла бы прожить целый месяц.

Дэвиду казалось, что все это сон. Нет, это не явь! Не может быть явью такая чудовищная несправедливость! Социальный строй, допускающий такое неравенство, несомненно прогнал насквозь! До самого конца завтрака Дэвид был очень молчалив,

и аппетит у него пропал. Он вспоминал детство, забастовку, когда, прокравшись на чужое поле, он грыз сырую репу, чтобы утишить муки голода. Все в нем возмутилось против этой преступной роскоши, и он вздохнул с облегчением, когда наконец вышел оттуда. У него было такое чувство, словно он вышел из оранжереи, где губительные, сладострастные ароматы пьянили, разжигая чувственность и убивая душу. Вот тогда-то, уйдя из этого ресторана, он оценил простор и неоскверненную чистоту парка Бэттерси.

После завтрака с Беббингтоном, который ввел его в новый для него мир, еще больше окрепла страстная решимость Дэвида жить просто. Ему попала в руки любопытная книга: «Жизнь кюре д'Ара». Кюре этот был простодушный, набожный деревенский священник где-то во Франции, и его суровый образ жизни и умеренность в пище произвели на Дэвида глубокое впечатление. После той распущенности, которую он наблюдал в «Адалии», он почувствовал еще больше почтения к этому простому человеку, который за целый день съедал только две картофелины, запивая их стаканом ключевой воды.

Намерение Дэвида вести спартанский образ жизни беспокоило миссис Такер. Это была пожилая, говорливая ирландка (ее девичья фамилия, как она с гордостью объявила Дэвиду, была Шенахан), зеленоглазая, веснушчатая и огненно-рыжая. Муж ее служил сборщиком в Газовой компании, а два взрослых неженатых сына — счетоводами в Сити. В характере миссис Такер не было ни следа флегматичности, отличающей ирландцев, — об этом свидетельствовал уж хотя бы огненный цвет ее волос. И она (употребляя ее собственное выражение) привыкла «приводить в порядок мужчин». Отказавшись от того, чтобы она готовила ему завтрак и ужин, Дэвид в корне подрывал достоинство урожденной Шенахан, и она дала волю языку. А Нора Шенахан была большая любительница поговорить, и ее язык наделал много бед.

В последнюю субботу января Дэвид отправился днем за покупками на Булл-стрит. Эта улица, одна из главных в их районе, начиналась сразу за углом Блоунт-стрит. Дэвид часто покупал здесь фрукты, или печенье, или кусок сыра — в некоторых лавках на Булл-стрит продукты были и дешевле, и хорошего качества. Но в этот день он купил себе только сковородку. Давно он носился с мыслью о сковородке, на которой так просто и ско-

ро можно приготовить утром завтрак. И вот наконец сковородка куплена. Продащица в лавке скобяных изделий, изорвав несколько газет и посмеявшись вместе с Дэвидом, отказалась от попытки завернуть такой неуклюжий предмет, как сковородка, и предложила Дэвиду взять ее как есть. И Дэвид взял новенькую незавернутую сковородку и, не смущаясь, донес ее до дома № 33 на Блоунт-стрит.

Но у подъезда этого дома произошло следующее: молодой человек в коротких брюках, непромокаемом пальто и фетровой шляпе, который в последнее время часто попадался Дэвиду на глаза, вдруг вытащил фотографический аппарат и моментально снял Дэвида, затем приподнял свою фетровую шляпу и торопливо удалился.

На следующее утро в «Дейли газетт» на видном месте появилась фотография с надписью: «Член парламента со сковородкой», а пониже — добрые полстолбца текста, в котором восхвалялся аскетизм нового члена палаты от Северного угольного района. Приводилось краткое, но пикантное интервью с миссис Такер, изобиловавшее всякими глупостями.

Дэвид покраснел от гнева и отвращения. Он вскочил из-за стола и бросился на площадку, к телефону, позвонил в редакцию газеты и стал возмущенно протестовать. Редактор сказал, что очень сожалеет, но не видит в заметке ничего неприятного для Дэвида. Наоборот, разве это не хорошая реклама? Первосортная реклама! Миссис Такер тоже не могла понять, отчего Дэвид злится: ее привело в полный восторг то, что имя ее упоминается в газете, «и не как-нибудь, а с почтением».

Но Дэвид в это утро шел в палату сердитый и сконфуженный, утешая себя только мыслью, что, быть может, эта заметка не обратила на себя внимания. Напрасная надежда! Когда он вошел, его приветствовал тихий насмешливый гул. Первое выступление — и в таком смешном виде! Он вспыхнул и опустил голову, сторя от стыда: а вдруг они подумают, что он добивался столь дешевой рекламы?

— Смейтесь над этим, и больше ничего! — ласково убеждал его Нэджент. — Это самый верный способ — посмеяться и забыть.

Нэджент понимал его. А Беббингтон — нет. Беббингтон говорил с ним теперь сухо, с холодной иронией: он считал, что эта реклама предусмотрительно подготовлена Дэвидом, и без коле-

баний заявил об этом вслух. Может быть, он завидовал «известности» Дэвида.

В тот же вечер Нэджент пришел к Дэвиду на квартиру, сел и, нащупывая в кармане свою трубку, осмотрел комнату спокойным, но внимательным взглядом. Лицо его было еще желтее обычного, волосы жидкими прядями падали на лоб, но его неукротимая мальчишеская веселость заставляла забывать обо всем. Он закурил трубку и сказал:

— Я давно собирался заглянуть к вам. Уютная у вас квартира!

— Да за один фунт в неделю большего и требовать нельзя, — отозвался Дэвид неохотно. — Но имущество мое не все здесь: проклятая сковородка на кухне.

У Нэджента глаза заискрились смехом.

— Не следует огорчаться из-за такой ерунды, — сказал он добродушно. — Эта заметка может принести вам некоторую пользу: популярность на севере, среди ваших избирателей.

— Я хочу *им* принести какую-нибудь пользу, — рассердился Дэвид.

— Все придет со временем, — сказал Нэджент. — В настоящий момент мы не можем сделать много, мы топчемся на одном месте. Против нас сплошной стеной идут тори — четыреста девятнадцать членов палаты против наших ста пятидесяти одного. Что мы можем сделать при таких условиях? Только держаться крепко и выжидать, пока придет наш черед. Мне понятно ваше настроение, Дэвид. Вам хочется действовать. Хочется покончить с бюрократизмом, с перегородками и барьерами, со всем этим парадом и церемониалом. Хочется увидеть какие-то результаты работы... Но потерпите, Дэвид. Не сегодня завтра у вас будет полная возможность сорваться с цепи и пойти в атаку.

Дэвид не отвечал и только через некоторое время сказал медленно:

— Меня бесит бессмысленная потеря времени. В копиях зреет буря, — это за милую всякий увидит. Когда государственный контроль будет снят, шахтовладельцы начнут наступать единым фронтом, удлинят рабочий день и снизят заработную плату. А мы сидим и предоставляем все естественному течению!

— Они продолжают носиться с мыслью о новой субсидии. — Нэджент усмехнулся. — В тысяча девятьсот двадцать первом го-

ду десять миллионов фунтов было ухлопано на субсидию. Потом им в голову пришла гениальная идея — создать комиссию. Очередная выдумка! И раньше чем комиссия успела доложить о результатах своих расследований, правительство дает новую субсидию. Затем комиссия публикует свои выводы и высказывается против всяких субсидий. Весьма поучительно! Даже занятно!

— О господи, когда же мы добьемся национализации?! — сказал Дэвид с жаром. — Это единственный выход. Что же, мы будем дожидаться, пока ее нам поднесут на блюде?

— Мы будем дожидаться рабочего правительства, которое и введет ее, — сказал Нэджент хладнокровно и усмехнулся. — А пока продолжайте заниматься Синими книгами и своей скорородкой.

Они опять помолчали. Потом Нэджент продолжал:

— Важно, чтобы *люди* оставались стойкими. Нас окружает такая чертова уйма всяких соблазнов и окольных путей, что, если не быть очень осторожным, пропадешь. Ничто так не выявляет слабостей человека, как общественная деятельность. Личные интересы, честолюбие, отвратительный эгоизм и корыстолюбие — вот где проклятие, Дэви. Возьмите, к примеру, нашего Беббингтона. Вы думаете, он очень печется о нуждах тех двадцати с лишним тысяч дерхэмских шахтеров, которые послали его в парламент? Да ему на них решительно наплевать! Он печется только о себе самом. Если бы вы знали все то, что знаю я, вас бы это убило. Вот вам другой пример — Чалмерс. Боб Чалмерс пришел сюда, четыре года тому назад, настоящим фанатиком, энтузиастом. Он со слезами на глазах клялся мне, что добьется семичасового рабочего дня для ткачей — или умрет в борьбе за это. И что же? Семичасовой рабочий день до сих пор в Ланкашире не введен, а Боб... Боб не умер. Он живехонек. Им овладела золотая лихорадка. Связался с компанией Клинтона, добывает нужные им сведения и загребает деньги в Сити. Та же история с Клегхорном. Но этот гонится не за деньгами, а за высоким положением в обществе. Он женился на даме высшего света. И теперь он пропустит какое угодно заседание, чтобы пойти на премьеру в Вест-Энде со своей аристократкой-женой. Я стараюсь быть терпимым, но, уверяю вас, Дэвид, все это может довести человека до отчаяния. Я тоже не святой, но, видит бог, я человек честный. Поэтому я от всей

души рад, что вы зарылись здесь и стараетесь вести жизнь простую и честную. Не уклоняйтесь с этого пути, голубчик мой, ради бога, держитесь!

Никогда еще Дэвид не видел Гарри в таком волнении. Но это продолжалось только одну минуту. Он быстро овладел собой, и обычная невозмутимость вернулась к нему:

— Рано или поздно вы столкнетесь с этим. Вы попадете в атмосферу разложения, как попадает шахтер в атмосферу рудничного газа. Здесь все заражено ею, Дэвид. Зайдите в буфет палаты общин. Посмотрите, с кем вы там пьете. Понаблюдайте Бембингтона, Чалмерса, Диксона. Я знаю, что говорю сегодня языком какой-нибудь благочестивой брошюры, но все, что я говорю, — святая истина. Главное — быть честным с самим собой, а тогда наплевать, что бы ни случилось.

Гарри выколотил свою трубку:

— Вот и конец проповеди. Мне необходимо было отвести душу. И если после этого я, придя к вам, увижу на камине кучу разных дурацких пригласительных писем, я вас здорово отколочу. Когда захотите развлечься, пойдите как-нибудь в хорошую погоду со мной — смотреть, как играют в крикет на «Овале». Я очень люблю крикет.

Дэвид сказал с улыбкой:

— И у вас, оказывается, есть слабость.

— Вот именно. Она мне обходится две гиней в год. Я бы не отказался от крикета даже ради того, чтобы стать лидером партии.

Посмотрев на часы, Нэджент неторопливо встал и потянулся:

— Ну, мне пора. — Он шагнул к двери. — Да, кстати, не думайте, что я забыл насчет вашей первой речи в палате. Недели через две у вас будет очень хороший случай выступить: Кларк предложил внести поправку в билль об охране труда в копиях. Вот вам прекрасный повод высказаться.

После визита Нэджента Дэвид немного успокоился и повеселел. Такое влияние на него всегда оказывал Нэджент. Да, Гарри был прав: он стал очень нервен; косность парламентской рутины слишком резко противоречила пережитому недавно жестокому напряжению предвыборной борьбы и его пылкому энтузиазму. Его возмущала медлительность, пустая трата времени, бесцельная болтовня, нелепые вопросы, слащаво-вежливые ответы, учти-вое лицемерие. Во всем ложь, стремление пустить пыль в глаза. Вместо быстрого жужжания колес он слышал лишь нудное

кряхтенье машины. Но Нэджент сумел показать ему, что негодование его и естественно, и в то же время неразумно. Нужно выработать в себе терпение. Он жадно, но с некоторым страхом ожидал дня своего первого выступления в палате. Очень важно, чтобы речь была хороша и произвела впечатление. Надо подготовить ее так, чтобы успех был обеспечен. Поправка к биллю об охране труда шахтеров — замечательный повод для выступления. Он уже ясно представлял себе, как построит речь, каковы будут ее тезисы, что надо подчеркнуть, что обойти молчанием.

Речь начала создаваться в его мозгу, сильная, красивая, формируясь, как постепенно формируется живое существо. Воображение унесло его далеко за пределы его комнаты: снова шахта поглотила его, он был там, в темных туннелях, где люди трудились под постоянной угрозой смерти или увечья. Кто не знает их жизни, тому легко отмахнуться от этих вопросов. Но *он*-то знает! Яркую картину того, что ему известно, он должен запечатлеть в умах и сердцах тех, кто не знает ничего. Тогда все изменится.

Занятый этими мыслями, Дэвид сидел перед огнем, когда раздался стук в дверь и вошла миссис Такер.

— Вас спрашивает какая-то дама, — доложила она.

Дэвид вздрогнул, очнулся от задумчивости.

— Дама? — повторил он, и внезапно у него мелькнула безумная надежда. Его никогда не покидала уверенность, что Дженни где-то здесь, в Лондоне. Возможно ли? Может ли это быть, чтобы Дженни вернулась к нему?!

— Она внизу. Проводить ее сюда?

— Да, — сказал Дэвид шепотом.

Он встал, глядя на дверь, сердце у него екнуло. Но вслед за тем выражение его лица изменилось, сердце перестало замирать, мгновенно вспыхнувшая надежда исчезла так же быстро, как появилась. Вошла не Дженни, а Хильда Баррас.

— Да, это я, — объявила она со своей обычной прямолинейностью, заметив внезапную перемену в лице Дэвида. — Сегодня утром из газеты узнала, где вы обитаете, и решила зайти поздравить вас. Если вы заняты, скажите прямо — и я уйду.

— Не говорите глупостей, Хильда, — запротестовал Дэвид.

Появление Хильды было для него полной неожиданностью, но после испытанного в первую минуту разочарования он ей обрадовался.

Хильда была в строгом сером костюме, на шее дорогой, но не бросающийся в глаза мех. Смуглое суровое лицо Хильды затронуло какую-то струну в памяти Дэвида: он вдруг вспомнил их бурные споры в былые времена и улыбнулся. И, странно, Хильда улыбнулась в ответ. А в те времена, когда он бывал у них дома, она улыбалась очень редко, почти никогда.

— Присаживайтесь, — сказал он. — Вот это действительно сюрприз!

Она села и сняла перчатки. Руки у нее были очень белые, тонкие, но сильные.

— Что вы делаете в Лондоне? — спросил Дэвид.

— Очень любезно с вашей стороны! — отозвалась спокойно Хильда. — Если принять во внимание, что вы здесь уже около месяца... Беда с этими провинциалами!

— Сами вы провинциалка!

— Мы, кажется, опять начинаем спорить?

Ага, значит, и она не забыла их споры! Дэвид отвечал:

— Не хватает только горячего молока и печенья.

Хильда захохотала самым настоящим образом. Когда она смеялась, она очень хорошела: у нее были прекрасные зубы. Она вообще стала гораздо приятнее, угрюмое выражение, портившее ее лицо, исчезло, она казалась счастливее, увереннее.

— Совершенно очевидно, что в то время, как я с интересом следила за вашими успехами, вы окончательно забыли о моем существовании.

— Нет, — возразил Дэвид. — Мне известно, например, что года четыре тому назад вы получили диплом врача.

— Врача! — иронически повторила она. — А *какого* врача? Уж не смешиваете ли вы меня случайно с такими врачами, каких изобразил Лью Филдис? Нет, я не прописываю ипекакуану и слабительное. Я хирург, слава богу! Институт окончила с отличием. Впрочем, вас это, вероятно, не интересует. А теперь я главный врач женской больницы Святой Елизаветы, как раз напротив вашей улицы, на том берегу Темзы, — на Клиффорд-стрит, в Челси.

— Но это замечательно, Хильда, — сказал обрадованно Дэвид.

— Да, не правда ли? — Теперь в ее голосе уже не было сарказма, она говорила просто и искренне.

— Значит, вам нравится ваша работа?

— Я ее *люблю*, — ответила она с неожиданной силой. — Я только ко ей и живу.

«Так вот что ее изменило», — инстинктивно подумал Дэвид.

И как раз в эту минуту Хильда подняла глаза и каким-то почти сверхъестественным чутьем угадала его мысли.

— Я вела себя гнусно, не так ли? — сказала она спокойно. — Гнусно по отношению к Грэйс, к тете Кэрри, ко всем, — и к себе самой тоже. Пожалуйста, хоть на этот раз не спорьте со мной! Сегодняшний мой визит — попытка загладить прошлое.

— И я надеюсь, что вы этот визит повторите.

— Вот это мило с вашей стороны. — Хильда слегка покраснела. — Скажу вам откровенно: у меня в Лондоне ужасно мало друзей. Ужасно мало. Я слишком замкнутый человек. Не умею сходиться с людьми. Но вы мне всегда нравились. Только не поймите меня превратно — я глупостями не занимаюсь. Ни-ни! Я только хотела сказать, что, если вы согласны, мы могли бы иногда встречаться и состояться в остроумии.

— Остроумии! — воскликнул Дэвид. — Да у вас его ни на грош не имеется!

— Начинается! — сказала в восхищении Хильда. — Я знала, что мы с вами найдем общий язык.

Дэвид стоял спиной к огню, засунув руки в карманы, и смотрел на нее:

— Я собираюсь ужинать. Какао и сухари. Не поужинаете ли вы со мной?

— Поужинаю, — согласилась она. — А какао вы варите в скороводке?

— Вот именно, — подтвердил он и ушел на кухню.

Хильда из комнаты слышала его кашель и, когда он вернулся, спросила:

— Отчего вы кашляете?

— Обычный кашель курильщиков плюс немного германского газа.

— Вам следовало бы полечиться.

— А вы, кажется, говорили, что вы хирург?

Они поужинали какао с сухарями. Болтали и спорили. Хильда рассказывала о своей работе в операционной, о женщинах, прожившихся под ее нож. Дэвид немного завидовал ей: вот это настоящее дело, истинная помощь страдающим людям.

Но Хильда усмехнулась:

— Я не филантропией увлекаюсь, а техникой дела. Это своего рода прикладная математика, требует хладнокровного обду-

мывания. — Она помолчала и прибавила: — А все-таки эта работа сделала меня человечнее.

— Это еще вопрос! — возразил Дэвид. И они снова начали поддразнивать друг друга.

Потом речь зашла о его предстоящем выступлении в палате. Хильда говорила об этом с интересом и увлечением. Дэвид изложил ей план своей речи, она его резко раскритиковала. Вечер прошел очень весело и совсем так, как в старые годы.

Пробило десять часов. Хильда поднялась.

— Вы непременно должны меня навестить, — сказала она. — Я варю какао гораздо лучше, чем вы.

— Приду. А насчет какао — не верю.

Возвращаясь домой в Челси, Хильда с радостным чувством говорила себе, что все было очень хорошо. А ведь ей пришлось сделать над собой большое усилие, чтобы пойти к Дэvidу. Она боялась, что ее поступок может быть истолкован Дэвидом неверно. Но этого не случилось. Дэвид был для этого слишком умен, слишком чуток. И Хильда была довольна. Хильда была прекрасным хирургом, но не слишком тонким психологом.

В день выступления Дэвида она поторопилась купить вечернюю газету. Речь его была отмечена — и отмечена благосклонно. Утренние газеты отзывались о ней еще одобрительнее. «Дейли геральд» посвятила ей полтора столбца, и даже в «Таймс» снисходительно похвалили искренность и убедительное красноречие нового члена палаты, депутата от Слискейла.

Хильда пришла в восторг. Она подумала: «Непременно позвони ему, непременно!» И, перед тем как обходить палаты, позвонила по телефону Дэvidу и тепло поздравила его. Из телефонной будки она вышла довольная. Пожалуй, даже немного подозрительно сияющая... Но ведь речь была замечательная! И размещается, только речь Дэвида ее и интересовала.

XI

Артур стоял у окна конторы, глядя на толпившихся во дворе шахтеров. Толпа во дворе вызывала мучительные воспоминания о локауте 1921 года, этом первом конфликте с рабочими, первым из целого ряда конфликтов, в которые его втянули и которые окончились всеобщей забастовкой в 1926 году.

Артур провел рукой по лбу, словно отгоняя воспоминания об этой бессмысленной борьбе. К счастью, все кончилось, забастовка прекращена, люди вернулись в шахту. Вот они толпятся во дворе, все напирая и напирая на будку табельщика. Они не просили работы, а безмолвно вопили о ней. Это было написано на их лицах. Работы! Работы! Любой ценой! Стоило взглянуть на эти застывшие лица, чтобы увидеть, какую блестящую победу одержали шахтовладельцы! Рабочие были побеждены. В глазах у них светился панический страх перед голодной зимой. На каких угодно условиях, за какую угодно плату, только бы дали работу! Они напирали, работая локтями, проталкиваясь к навесу, где за загородкой стоял Гудспет подле старика Петтита, раздавая рабочим номера и внося их фамилии в ведомости.

Глаза Артура неотрывно следили за этой процедурой. Рабочие подходили по очереди, Гудспет пристально оглядывал каждого, взвешивал мысленно «за» и «против» и, посмотрев на Петтита, кивал головой. Кивок означал, что все в порядке, — рабочий принимался на работу. Ему вручали номер, и он проходил мимо загородки, как душа, допущенная в рай, проходит мимо трона Судии. Удивительное выражение было на лицах тех, кого принимали на работу: неожиданное просветление, судорога глубокого облегчения, молитвенная благодарность, благодарность за то, что их снова допустили в мрак преисподней, в «Парадиз».

Принимали, однако, не всех — о нет! — ибо работы на всех не хватало. Ее могло бы хватить, если бы работали по шести часов в смену. Но ведь Закон и Порядок — эти силы, направляемые правительством и поддерживаемые британским народом, — восторжествовали, одержали блестящую победу, так что смена была восьмичасовой. Ну да все равно, пускай восемь часов, все что угодно, любые условия — только дайте работу, ради бога, работу!

Артур хотел отойти от окна — и не мог. Лица рабочих удерживали его, особенно одно лицо — Пэга Мэйсера. Артур прекрасно знал Пэга. Он знал, что это ненадежный рабочий. Он опаздывал, а по понедельникам и совсем не выходил на работу, пил... И видно было, что Пэг это сознает. Сознание, что он недостойн получить работу, читалось на физиономии Пэга вместе с желанием ее получить, и борьба этих двух чувств вызывала томительное беспокойство, которое жутко было видеть. У Пэга было такое выражение, какое бывает у собаки, которая ползет на брюхе, чтобы получить кость.

Артур ждал, как загнипнотизированный. Подходила очередь Пэга. Перед ним было принято подряд четыре человека, а каждый человек уменьшал шансы Пэга получить работу. Это тоже читалось на его лице. Наконец и он подошел к загородке, немного задыхаясь от тяжелого волнения, от борьбы между надеждой и страхом.

Гудспет бросил только один взгляд на Пэга, один беглый взгляд, — потом отвел глаза. Кивка не последовало, он даже не дал себе труда повернуться к Петтиту, он просто посмотрел куда-то мимо Пэга. Пэга не хотели брать. Он остался за бортом. Артур видел, как шевелил губами Пэг; слов он слышать не мог, но видел, как губы все шевелились и шевелились с отчаянной мольбой. Тщетно. Пэг остался за бортом, он был в числе тех четырехсот, которых на работу обратно не приняли. Выражение его лица, выражение всех этих четырехсот лиц сводило Артура с ума. Он резко отвернулся, рванулся от окна. Ему хотелось оставить на работе этих четыреста человек, но он не мог этого сделать. Не может, не может, черт возьми!

Он машинально уставился на календарь, на листке которого стояла дата 15 октября 1926 года, подошел к календарю, со злостью оторвал листок. Нервное напряжение искало какого-то выхода. Скорее бы прошел день!

Выйдя за ворота, Пэг Мэйсер пошел прочь от шахты по Каупен-стрит. Он не шел, а едва плелся, глядя себе под ноги, немного горбясь, ощущая на себе взгляды женщин, которые смотрели ему вслед с порогов домов на Террасах: один из четырехсот шахтеров, не нужных более, выкинутых вон.

Он свернул в переулок, который вел на Кэй-стрит, и дошел до своего дома.

— А Энни где? — спросил он, остановившись на пороге убого обставленной комнаты с каменным полом.

— Вышла, — отвечал отец с кровати. Старик Мэйсер, скрюченный ревматизмом, теперь уже совсем больше не вставал, а так как он всегда был человеком живым и деятельным, его нынешняя полная беспомощность делала его капризным и сварливым. Его недуг вызывал постоянную боль в пояснице, и старик решил, что у него больные почки. Он клялся, что это почки, и все гроши, какие ему удавалось наскрести и сберечь, он тратил на «почечные пилюли доктора Пауперта», — патентованное шарлатанское

средство, которое изготовлялось в Уайтчепеле субъектом по фамилии Лорберг, обходилось ему по одному пенни и одному фартингу коробка, а продавалось по три пенса и шесть фартингов и состояло из мыла, патоки и метиленовой синьки. От пилюль моча старого Мэйсера делалась синей, а так как в рекламе было предусмотрительно указано, что это объясняется выделением из организма вредных веществ, то старик был очень доволен. Он считал, что выздоровел бы совершенно, если бы только мог «очистить» таким образом свои почки. Но горе было в том, что он не имел возможности покупать пилюли в достаточном количестве. Реклама объясняла, что пилюли обходятся дорого, так как готовятся из дорогих индийских трав, собираемых на склонах Гималаев в период Карма Шалия, по рецепту, который покойный доктор Пауперт узнал от одного индийского мудреца.

В настоящее время у старого Мэйсера пилюль не было, и поэтому он посмотрел на Пэга сердито и с легкой тревогой:

— Почему ты не пошел в шахту?

— Потому что не пошел, — отрезал Пэг угрюмо.

— Раз ты рабочий, так и иди на работу, Пэг.

— Это я-то рабочий? — процедил Пэг. — Да я собираюсь совершить прогулку на яхте в Испанию.

У старика затряслась голова:

— Ты не можешь перестать работать, Пэг! Кто же будет кормить меня, старика?

Пэг не отвечал. Он стоял злой, беспомощный, усталый.

— У меня уже нет пилюль, Пэг, мне надо купить пилюль.

— К черту твои пилюли! — сказал Пэг и, тяжело опустившись на стул, сидел, не снимая засаленной кепки, засунув руки в карманы и неподвижно глядя на вспышки пламени в большом очаге.

Энни пошла отнести работу — она шила для миссис Проктор — и попутно проводить Сэмми в школу. Она скоро вернулась.

Как только она вошла и увидела погруженного в размышления Пэга, она поняла, что случилось. Знакомая мучительная тревога резнула ее по сердцу. Но она не сказала ничего. Сняла шляпу и пальто и принялась убирать со стола и мыть посуду.

Пэг заговорил первый.

— Я безработный, Энни, — сказал он.

— Ну, ну, как-нибудь проживем, Пэг, — отозвалась Энни, продолжая возиться с посудой.

Но позор этого увольнения продолжал глодать и мучить Пэга.

— Я для них недостаточно хорош, — сказал он сквозь стиснутые зубы. — Недостаточно хорош, видишь ли. Это я-то, который, когда нужно, может работать за двоих.

— Знаю, знаю, Пэг, — утешала его Энни. Она любила Пэга и остро чувствовала его обиду. — Не горюй, мальчик.

— Они хотят, чтобы я был безработным и клянчил пособие, — проворчал Пэг. — А я хочу работать. Пособие!..

Молчание. Старый отец с постели прислушивался к разговору. Полный жалости к себе, он смотрел испуганными глазами то на сына, то на дочь и наконец вмешался:

— Надо будет написать Дэви Фенвику, Энни. Теперь уже придется принять от него помощь.

— Как-нибудь проживем, отец, — сказала Энни. Она ни за что не хотела брать деньги от Дэвида. — Ведь мы всегда кое-как управлялись сами.

Энни решила, что она возьмет еще какую-нибудь работу. И этим же утром, сделав что нужно по хозяйству, ушла из дому на поиски. Она хотела работать поденно по домам, но даже черную работу найти оказалось трудно.

Она побывала у доктора Скотта, у миссис Армстронг. Она даже, спрятав в карман гордость, обратилась к миссис Ремедж. Но всюду потерпела неудачу. Миссис Проктор обещала дать ей еще кое-что сшить, а миссис Лоу, жена священника с Нью-Бетель-стрит, неохотно предложила прийти в понедельник на один день стирать. Этак она сможет, по крайней мере, заработать полкроны, хотя миссис Лоу всегда платила с таким видом, точно милостыню подавала. Как ни старалась Энни, она больше никакой работы не нашла. Она делала попытки и на другой день, и в следующие, но все с тем же результатом. На труд поденщицы в Слискейле спрос был невелик, а кроме своего труда, Энни продавать было нечего.

Пэг тем временем начал хлопотать о пособии, которое выдавалось безработным. Он сначала не хотел получать этого пособия, но, когда глодавшее его чувство обиды потеряло первую остроту, он отправился на биржу труда. Рабочие в Слискейле называли биржу труда «бюро». Перед бюро стоял длинный хвост.

В этой очереди не толкались, не спорили, как в очереди у шахты, — здесь спешить было некуда. Все ожидали. Считалось само собой понятным, что если хочешь получить пособие, то надо ждать. Пэг молча стал в конце, рядом с Леном Вудсом, и Слэттери, и Ча Лимингом. Никто не начинал разговора. Пошел дождь, но не ливень, который дал бы им повод выругаться, а мелкий, тихо морозящий дождик. Пэг поднял воротник куртки и стоял, стоял без мыслей в голове и ждал. Спустя пять минут пришел Джек Риди.

Джек не сразу занял место в очереди. Он вел себя не так, как остальные: ходил взад и вперед мимо ожидавших, словно эта очередь приводила его в бешенство. Затем он подошел к началу очереди, медленно расстегнул куртку и обратился к толпе с речью. Джек был братом Тома и Пата Риди, погибших в «Нептуне». Когда-то красивый и статный парень, Джек, снедаемый горем и ненавистью, превратился в худого, с впалой грудью, озлобленного человека. Сначала — несчастье в шахте, потом Джек, горя желанием сразиться с кем-нибудь, пошел сражаться на фронт, и там ему прострелили бедро, после этого он стал хромать. И сейчас Гудспет отказался принять его обратно на работу в «Нептун».

Пэг поднял голову и вяло прислушался к тому, что говорил Джек, хотя заранее знал, что он скажет.

— Да, вот мы кем были, товарищи, когда мы им нужны были на фронте, — говорил Джек, и горькая злоба кипела в его голосе, бунт против жизни, судьбы и того строя, который довел его до такого состояния. — Мы были «народными героями», а что мы сейчас?.. «Безработные лентяи, подонки общества» — вот как они нас величают *теперь*. Послушайте меня, ребята, я вам все растолкую. Кто строит самолеты, и броненосцы, и пушки, кто делает снаряды? Рабочие! Кто во время этой проклятой войны стрелял снарядами из пушек? Рабочие! А что рабочим дала война? А вот что — право стоять под дождем и протягивать руку за подачкой. Нам велели драться за Англию, нашу собственную родную землю. И мы дрались, не так ли? Вот мы стоим на этой «собственной» земле. Дерьмо, чистейшее дерьмо — вот что мы получили. А дерьмо мы есть не можем. Дерьмом не прокормишь наших жен и ребятешек. — Джек остановился, бледный, как мертвец, и провел рукой по губам, потом продолжал, все повышая голос, с искаженным от боли лицом: — В то время как вы и я трудились и сража-

лись на проклятой войне, копи давали миллионы прибыли. Это было написано черным по белому, ребята: сто сорок миллионов дохода! Вот почему хозяева так дружно сплотились против нас во время забастовки. Что же, они всегда берут над нами верх. Теперь слушайте, ребята...

На плечо Джека опустилась чья-то рука. Джек сразу умолк, застыв на месте, потом медленно обернулся.

— Это не разрешается, — сказал Роддэм. — Ступайте, станьте в очередь да придержите язык.

Роддэм, теперь толстый, важный пятидесятилетний мужчина, был полицейским сержантом в этом участке.

— Оставьте меня, — ядовито прошипел Джек, и глаза его на мертвенно-бледном лице засверкали. — Я дрался на этой проклятой войне, слышите? И я не привык, чтобы меня хватали за плечо такие субъекты, как вы.

Люди, стоявшие в очереди, проявили живой интерес к этому диалогу, гораздо больший интерес, чем раньше к речи Джека.

Роддэм побагровел:

— Заткни глотку, Риди, или я сведу тебя в участок.

— Я имею такое же право говорить, как и вы, — огрызнулся Джек.

— Ступайте в очередь, — кипятился Роддэм, подталкивая Джека к концу ряда. — Вот туда, в самый конец, живо!

— Незачем мне становиться в хвосте! — кричал Джек, отбиваясь и дергая головой. — У меня занято место, вон там, рядом с Мэйсером.

— Назад! Туда, куда я приказываю! — скомандовал Роддэм. — В самый конец! — И он дал Джеку пинок.

Джек обернулся. Грудь его тяжело вздымалась, он смотрел на Роддэма такими глазами, точно готов был его убить. Но затем вдруг потупился, видимо стараясь овладеть собой, приберегая силы до другого раза, и заковылял к концу ряда. Вздох пронесся в толпе зрителей, тихий вздох разочарования. Напряжение ослабло, мысли каждого снова устремились на его личные заботы. Роддэм с официальным видом прохаживался мимо очереди, весьма величественный в своем высоком клеенчатом кепи, с эффектной бляхой на поясе и цепью. Рабочие стояли и ожидали. Тихо сеял дождик.

Иногда выдавались и сухие дни, но в общем зима была плохая, и стоять в очереди за пособием приходилось большей час-

тью под дождем, часто под проливным. Раза два в дни выдачи шел снег. Но безработные всегда были на месте, они вынуждены были стоять здесь и ждать. И Пэг стоял и ждал вместе с другими.

Маленькому Сэмми не нравилось, что Пэг стоит в очереди за пособием. Когда Сэмми, возвращаясь из школы, проходил мимо биржи труда, он смотрел в сторону, притворяясь, что не видит Пэга, а Пэг, который при появлении Сэмми острее чувствовал свое унижение, никогда не пытался его окликнуть. Ни Пэг, ни Сэмми никогда не касались в разговоре этого вопроса, тем не менее он глубоко волновал Сэмми. Сэмми во многом чувствовал перемену. Например, Пэг теперь не мог уже давать ему картинки с папиросных коробок, потом он лишился того пенни, которое Пэг по субботам, после получки, всегда украдкой совал ему. А хуже всего было то, что Пэг больше никогда не водил его на футбольные матчи, хотя безработные платили за вход только три пенса. Да, это, пожалуй, было хуже всего!

Впрочем, нет, это вряд ли было самое худшее. Дома их меню становилось все скуднее и скуднее, и иногда еды было меньше, чем хотелось бы Сэмми. Даже во время большой забастовки было лучше: тогда было лето, а в летнее время голод вдвое легче переносить. Зимой же совсем другое дело. Как-то раз Пэг не выдержал и пропил свое пособие, — и после этого в доме целую неделю не было ни куска пирога. А мать Сэмми пекла первоклассные пироги! Всю ту неделю они ели только суп да кашу, кашу да суп, и дед постоянно бранился. Если бы мать не ходила к чужим людям стирать и шить, им и совсем есть было бы нечего. Сэмми хотел бы быть немного постарше, — тогда он стал бы работать и помогать матери. Сэмми был уверен, что, несмотря на плохие времена, он мог бы найти работу: в «Нептуне» всегда требовались мальчишки-коногоны.

Неделя за неделей Сэмми, проходя, видел, как Пэг стоял в очереди за пособием, и притворялся, что не замечает его, и очередь каждую неделю становилась все длиннее. Это так мучило Сэмми, что он теперь бегом мчался мимо. Как только он подходил близко к бирже, он обнаруживал вдруг что-нибудь страшно интересное в конце Нью-Бетель-стрит и, устремив вперед глаза, несся к этому месту, вниз по улице. Разумеется, когда он добежал до конца Нью-Бетель-стрит, там ничего любопытного не оказывалось.

Но вот однажды, в последнюю пятницу января, когда очередь у биржи была длиннее, чем когда бы то ни было, а Сэмми сломя голову неся мимо нее вниз по улице, случилось кое-что. Промчавшись по Нью-Бетель-стрит и завернув за угол Лам-стрит, Сэмми налетел прямо на свою бабушку, Марту.

От этого столкновения пострадал Сэмми: он поскользнулся и, не устояв на ногах, упал. Он не ушибся, но был испуган тем, что случилось. Неловко поднялся, подобрал шапку и книги и, весь красный, собирался уйти. Тут он заметил, что Марта смотрит на него.

Сэмми отлично знал, что это Марта Фенвик, его бабушка. Но раньше она никогда на него не смотрела: она проходила мимо него по улице так же, как он проходил мимо Пэга, стоявшего в очереди, — не замечая его, как будто его и не было.

А теперь она остановилась и смотрела на него, все смотрела и смотрела таким непонятым взглядом, потом заговорила:

— Ты не ушибся?

— Нет, мэм. — Сэмми сконфуженно покачал головой.

Молчание.

— Как тебя зовут?

Глупее этого вопроса ничего нельзя было придумать, и голос у нее так нелепо обрывался.

— Сэмми Фенвик, — отвечал он.

Она повторила:

— Сэмми Фенвик.

Она пожирала глазами его бледное лицо, и шишковатый лоб, и веселые синие глаза, его вытянувшуюся фигурку в заплатанном костюме, сшитом дома, тонкие ноги в тяжелых башмаках. Сэмми и не подозревал, что в течение многих месяцев Марта каждый день, когда он шел в школу, тайком следила за ним из-за занавески в боковом окне дома на Лам-лейн. Мальчик рос таким похожим на ее покойного сына Сэмми! Теперь ему уже десять лет. Марта очень страдала оттого, что он не с ней. Неужели ничто и никогда не сломит ее холодную гордость?

Она осторожно спросила:

— А ты знаешь, кто я такая?

— Вы моя бабушка, — без запинки ответил Сэмми.

Она густо покраснела от удовольствия. Сэмми наконец разбил ледяную кору, сковывавшую сердце старой женщины.

— Подойди ко мне, Сэмми.

Он подошел, и она взяла его за руку. Сэмми это показалось ужасно странным, и он чуть было не струсил, но все же пошел с ней к дому в переулке. Они вошли вместе.

— Садись, Сэмми, — сказала Марта. Ей доставляло острую, нестерпимо острую радость снова произносить вслух это имя.

Сэмми сидел и оглядывал кухню. Хорошая тут кухня — такая же чистенькая, как у них дома; но здесь мебель лучше и ее больше. Потом у Сэмми заблестели глаза: он увидел, что Марта режет пирог — отрезает громадный кусок сладкого пирога с изюмом.

— Спасибо, — поблагодарил он, принимая этот кусок от Марты, и, положив книги и шапку на колени, набил рот пирогом.

Суровые темные глаза Марты сосредоточенно изучали юное лицо. Это было лицо ее собственного Сэмми.

— Вкусный пирог? — спросила она с живостью.

— Да, мэм. — Сэмми еще больше налег на пирог. — Первоклассный.

— Ты никогда еще не пробовал такого хорошего пирога, правда?

— Видите ли... — Сэмми колебался, смущенный, боясь обидеть Марту, но счел своим долгом сказать правду: — Мама печет такие же вкусные пироги, когда у нее есть все, что нужно. Но у нее теперь не бывает всего, что нужно для пирога.

Но даже это заявление не могло нарушить радости Марты.

— Твой дядя Пэг получает пособие как безработный?

Худое личико Сэмми вспыхнуло:

— Да, но это только теперь, ненадолго.

— Твой отец никогда не остался бы безработным, — объявила она с гордостью.

— Я знаю, — согласился Сэмми.

— Он был лучшим забойщиком в «Нептуне».

— Я знаю, — опять сказал Сэмми, — мне мама говорила.

Наступило молчание. Марта смотрела, как он доедал пирог, потом отрезала ему еще кусок. Сэмми взял его с застенчивой улыбкой, улыбкой ее покойного Сэма.

— Кем ты хочешь быть, когда вырастешь, Сэмми?

Он подумал, а она жадно ожидала ответа.

— Я хотел бы быть тем же, чем был мой папа, — сказал он наконец.

— Вот как! — прошептала Марта. — Вот ты чего хочешь, Сэмми.

— Да.

Марта стояла неподвижно. Она ощущала какую-то блаженную слабость, волнение мешало ей говорить. Ее родной Сэмми вернулся к ней, чтобы продолжать славную традицию! Она еще увидит снова Сэмми Фенвика первым забойщиком «Нептуна»!

Сэмми съел пирог до последней крошки, поднял с колен шапку, книги и встал.

— Не уходи, Сэмми, — запротестовала Марта.

— Мама будет беспокоиться, — возразил Сэмми.

— Ну так возьми это с собой в карман, Сэмми, возьми, потом съешь. — Она с лихорадочной торопливостью снова отрезала для него кусок пирога, завернула его в промасленную бумагу, достала из буфета румяное яблоко и заставила Сэмми сунуть то и другое в карман. У двери она остановила его: — Приходи ко мне завтра, Сэмми. — И голос ее умолял... умолял.

— Ладно, — сказал Сэмми и рыбкой метнулся из дома в переулок.

Марта стояла и все глядела ему вслед, даже и тогда, когда он давно исчез из виду. Потом повернулась и вошла обратно в кухню. Она двигалась медленно, словно с трудом. На кухне взгляд ее упал на начатый пирог. Она стояла безмолвная, неподвижная, а перед ее застывшим взором проносился поток воспоминаний. Вдруг лицо ее дрогнуло. Она села у кухонного стола, опустила голову на руку и горько заплакала.

XII

Процесс политического развития Дэвида был подобен развитию человеческого тела: медленный рост, неощутимый день ото дня, но весьма заметный, если сравнить его результаты с тем, чем был Дэвид пять лет тому назад. Цель стояла перед ним ясная и четкая, но шел он к ней длинными и трудными путями. Он работал. Работал невероятно много. И ждал. Он многому научился, а главное — воспитал в себе терпение. За первой его речью в палате через несколько месяцев последовала вторая — о бедствиях в угольном районе. Толки, вызванные этой речью, побуди-

ли некоторых лидеров партии обратиться к нему за сведениями. Потом в палате было произнесено еще несколько блестящих речей по поводу неблагополучия в угольном районе, и, хотя эти речи были почти целиком сочинены Дэвидом, слава досталась не ему. Впрочем, несколько позже его в виде благодарности избрали в ведомственную комиссию по исследованию вопроса о нетрудоспособности горнорабочих. Весь год он работал в этой комиссии над вопросом о профессиональных заболеваниях горнорабочих — дрожании глазного яблока, болезни коленных связок и явлении силикоза¹ в нерудных копях. Перед концом сессии он был кооптирован в комиссию по установлению квалификации административного персонала в копях. В следующем году Нэдждент, который должен был выступить в Олберт-холле на митинге, устроенном Советом профсоюзов, заболел инфлюэнцей и, по его настоянию, был заменен Дэвидом. Речь Дэвида перед аудиторией в пять тысяч человек была «гвоздем вечера», она отличалась пламенным воодушевлением, глубоким чувством и острой меткостью выражений. Как ни парадоксально, но блестящее выступление в один тот вечер привлекло к нему больше внимания, чем все усердные труды за предыдущие два года. Он стал заметной фигурой на разного рода конференциях. Это он составил для Совета профсоюзов докладную записку о национализации рудников. Его статья «Электричество и прогресс» была прочитана в Америке на конференции Рабочей партии. Потом он был избран главным представителем шахтеров в комиссию, пересматривавшую вопрос о затоплении шахт. Осенью 1928 года он состоял уже членом фракции лейбористов в парламенте и наконец в начале 1929 года достиг вершины успеха: он был избран в Исполнительный комитет Союза горнорабочих.

Дэвид был полон надежд. Он чувствовал себя прекрасно, чувствовал, что голова у него свежа, что он справится с каким угодно количеством работы. И ему казалось, что обстоятельства складываются благоприятно, как никогда. Правительство было при последнем издыхании, уныло готовилось уйти. Страна, которой надоели косность режима, избитые фразы и старое, твердолобое правление, устремляла ищущий взор к новым горизонтам. Наконец-то сквозь ограниченность и равнодушие обывателей начи-

¹ Силикоз — разрушение ткани легких вследствие вредного действия силикатов (кремнекислых соединений).

нали пробиваться сомнения в разумности той политической и экономической системы, которая не способна устранить нужду, лишения, безработицу. Стали распространяться новые и смелые идеи. Люди больше не отступали в ужасе перед утверждением, что капиталистический строй оказался несостоятельным.росло убеждение, что никогда не перестроить мир путем насилия и экономического угнетения наций. Безработных больше не клеймили кличками «лентяи» и «подонки общества». Лживые ссылки на «международное положение» стали любимым предметом шуток в мюзик-холлах.

Дэвид верил всей душой, что его партия восторжествует. В этом году предстоят выборы, их необходимо провести под лозунгом «Решить вопрос о копях!». Ведь партия взяла на себя такое обязательство. И какая же высокая задача — помочь шахтерам и улучшить благосостояние страны!

В одно ясное апрельское утро Дэвид в превосходном настроении сидел у окна в своей комнате, просматривая газету. Была суббота. Он рассчитывал утром поработать над докладом о новых достижениях для секции электрификации, но неожиданно планы его были нарушены: зазвонил телефон.

Он ответил не сразу, так как обычно к телефону подходила миссис Такер, но телефон продолжал звонить, и он отложил газету и, выйдя на площадку, снял трубку. Донесся хриловатый и резкий голос Салли, — Дэвид сразу узнал его.

— Алло, алло, — говорила Салли. — Вы, видно, страшно заняты, я вот уже целых пять минут не могу дозвониться.

Дэвид со смехом прокричал в трубку:

— Салли!

— Ага, узнали?

— Вас ни с кем не путаешь.

Оба расхохотались, и Дэвид спросил:

— Где вы находитесь?

— В гостинице Стентона, знаете — возле Британского музея. И Альф со мной!

— Но что вы делаете в Лондоне, скажите, ради бога?

— Вот в чем дело, Дэви, — отвечала Салли. — Я выхожу замуж. И решила, раньше чем мы с папой расстанемся, прокатить его в Лондон. В Кристалл-паласе открывается выставка голубей, и папе хотелось ее посмотреть.

— О, это великая новость, Салли, — сказал Дэвид, удивленный и обрадованный. — А кто же *он*? Я с ним знаком?

— Не знаю, Дэвид. — Голос у Салли был счастливый и чуточку самодовольный. — Это Дик Джоби из Тайнкасла.

— Дик Джоби! — воскликнул Дэвид. — Ого, Салли, это блестящая партия!

Салли молчала, но он чувствовал, что она довольна. Она сказала:

— Я хочу вас видеть, Дэвид. И Альф тоже. Хотите закусить с нами сегодня? Так слушайте, мы днем идем в Кристалл-палас, но вы можете прийти завтракать с нами в гостиницу. Приходите сейчас, Дэвид!

Дэвид подумал: «Доклад подождет».

— Ладно! — прокричал он в трубку. — Приеду около двенадцати. Да, да, Салли, я знаю, где отель Стентона. Приеду!

Он отошел от телефона все еще улыбаясь. Салли всегда приносила с собой атмосферу какой-то неугомонной жизнерадостности, от которой становилось легко на душе.

В половине двенадцатого он доехал в метро до Музейной станции и прошел пешком по улице Теккерея до тихой и невзрачной на вид гостиницы Стентона в Уоберн-сквере. Утро было ясное, в воздухе чувствовалась весна, деревья уже оделись листвой, и в сквере весело шумели воробьи у скамейки, где какой-то старик кормил их крошками. Даже в гудках проезжавших такси слышалось что-то веселое, как будто и они радовались весеннему дню. Дэвид пришел в гостиницу за несколько минут до двенадцати, но Альф и Салли уже ожидали его в холле. Они сердечно поздоровались с ним. Дэвид несколько лет не видел Альфа Сэнли, но за это время Альф мало изменился. Разве только усы еще больше побурели от табака и обвисли, лицо еще больше пожелтело да искривление шеи стало заметнее. Но он остался все тем же славным, простым, упрямо-безалаберным человеком. На нем был приличный случаю черный костюм, слишком новый, который к тому же был ему несколько широк, новенький галстук и ботинки, должно быть тоже новые, так как они скрипели при каждом его движении.

А Салли изменилась. Унаследовав, видно, от матери склонность к полноте, она сильно растолстела. Кисти рук были окружены, как браслетами, валиками жира, и лицо ее заметно округ-

лилось. Заметив удивление Дэвида, которое тот безуспешно старался скрыть, она усмехнулась:

— Что, потолстела я немного, да? Ну да это все равно. Идем завтракать.

Они уселись в тихом ресторане за столик, освещенный солнцем, и завтракали холодным мясом и салатом. Холодное мясо с салатом было очень вкусно, и поданная затем ватрушка с ревенем — тоже. Салли ела много и с аппетитом; одна выпила бутылку вина. Ее пухлое лицо разругалось, она, казалось, вся расплывалась от удовольствия, которое доставляла ей вкусная еда. Окончив, она удовлетворенно вздохнула и без всякого стеснения отпустила посвободнее свой кушак. Дэвид, сидя напротив за столиком, улыбался ей:

— Итак, значит, вы выходите замуж. Да, когда-нибудь это должно было случиться.

— Дик — славный малый, — сказала Салли со вздохом. — Ничего особенного собой не представляет, но лучше многих других. Могу сказать — я счастлива. Понимаете, Дэвид, мне начинает надоедать бродячая жизнь. Я колесила с трупной по Пэйн-Гоулдскому району до тех пор, пока у меня голова не пошла кругом. Мне надоели летние Пьеро и зимние пантомимы. И, кроме того, я стала безобразно полнеть. Через год-другой я буду годиться только для роли царицы фей. А я, пожалуй, предпочитаю любовь Дика любви злого духа. Хочу осесть на одном месте и жить спокойно.

Дэвид насмешливо смотрел на нее, вспоминая беспокойные искания ее ранней юности, страстное желание добиться славы на сцене.

— А как же насчет великих стремлений, Салли?

Она благодушно засмеялась:

— Они тоже немножко заплыли жиром, Дэвид. Вам бы хотелось видеть меня такой, какими изображают в романах героинь, и чтобы мое имя огнями сияло на Пикадилли. — Салли перестала смеяться и покачала головой, затем подняла глаза и в упор посмотрела на Дэвида: — Этого достигает одна из миллиона, Дэвид. А я не оказалась такой счастливицей. Может быть, у меня и есть капелька таланта, но теперь с этим кончено. Думаете, я до сих пор этого не понимала? Дайте мне настоящую роль — и я окажусь для нее негодной.

— Ну, в этом я вовсе не уверен, Салли, — запротестовал Дэвид.

— Вы не уверены, а я уверена, — отвечала она с оттенком былой горячности. — Я пробовала — и знаю, на что способна. Все мы приходим на сцену с большими ожиданиями, Дэви, но очень немногие достигают того, чего ожидали. Счастье, что я остановилась на полпути и нашла подходящее пристанище.

Наступило молчание. Салли быстро успокоилась, в глазах ее потух огонь, но она оставалась необычайно серьезной. Она рассеянно играла ложкой, рисуя ею узоры на скатерти. Лицо ее омрачилось, как будто она что-то вспомнила и это лежало у нее на душе. Вдруг, решившись, она посмотрела на Альфа, который развалился в кресле, надвинув на глаза котелок и орудуя зубочисткой, только что сделанной из спички.

— Альф, — сказала она, что-то обдумывая, — мне надо поговорить с Дэвидом. Погуляй несколько минут в сквере.

— Что?! — Альф выпрямился в кресле и с изумлением смотрел на нее во все глаза.

— Мы с Дэвидом будем ждать тебя здесь, — настаивала Салли.

Альф кивнул головой. Слово Салли было для него законом. Он встал, поправил на голове шляпу. Глядя ему вслед, Салли размышляла вслух:

— Хороший он у нас. Не человек, а золото. Слава богу, теперь я могу избавить его от свинцовых белил. Я покупаю ему бунгало в Госфорте. Дик сказал, чтобы я не жалела денег. Я поселю там Альфа, и пускай себе разводит голубей сколько ему угодно.

У Дэвида от ее слов потеплело на душе. Его всегда трогали проявления великодушия и отзывчивости. И он видел то и другое в нежности Салли к отцу, этому старому человеку в черном, плохо сидевшем костюме, скрипучих ботинках и новом галстуке.

— Вы молодчина, Салли, — сказал он. — Вы, вероятно, за всю свою жизнь никогда никого не обидели, никому не сделали больно?

— Не знаю. — Салли была по-прежнему серьезна. — Боюсь, что, может быть, сейчас я *вам* сделаю больно.

— Каким же это образом? — спросил с удивлением Дэвид.

— Вот видите ли... — Она остановилась, открыла сумочку и медленно вынула из нее какое-то письмо. — Мне надо вам кое-что показать. Ужасно не хочется... Но я должна, вы возненавидели бы меня, если бы я этого не сделала... — Снова пауза. — Я получила весточку от Дженни.

— От Дженни? — ахнул Дэвид.

— Да, — подтвердила Салли тихо. — Она прислала мне вот это письмо. — И, ничего больше не говоря, протянула ему письмо.

Дэвид машинально взял его. Плотная сиреневая бумага с зубчатыми краями, сильно надушенная, была исписана круглым, детским почерком Дженни. На конверте с темно-лиловой подкладкой указан адрес отправителя: отель «Эксцельсиор», Челтенхем, — и дата. Письмо было послано несколько недель тому назад.

«Дорогая моя Салли! Чувствую, что мне следует взяться за перо и прервать долгое молчание, которое объясняется больше всего тем, что я была *за границей*. Уж не знаю, что ты обо мне подумала. Но подожди, пока я все тебе расскажу. Когда я была в Барнхеме, я прочла в газете объявление, что пожилой даме требуется компаньонка. Ну, я просто для забавы написала и, к своему удивлению, получила очень любезный ответ и деньги на проезд до Лондона. Я поехала к этой даме, и, понимаешь, дорогая, она и слышать не хотела о том, чтоб я отказалась. Она уезжала за границу, в Испанию, Италию, и в Венецию, и в Париж. У нее белоснежные волосы и чудные кружева, и такие красивые добрые глаза, а платье на ней было цвета мов!¹ Ты не можешь себе представить, как я ей понравилась. Она все твердила: „Вы такая милочка, я вас не отпущу“. Одним словом, пришлось мне остаться. О, я знаю, что поступила дурно, но я не могла устоять против поездки за границу. Милочка, мы побывали *езде* — и в Испании, и в Италии, и в Венеции, и в Париже, и даже в Египте. И какой шик! Повсюду наилучшие отели, слуги кланяются и ногами шаркают. Во всех чужих городах ездили в оперу. И представь себе: ложа и графы в мундирах! Миссис Венситтер ни на шаг меня от себя не отпускает, она меня обожает. Она говорит, что я ей — как родная дочь. И в завещании меня упомянула. Я только читаю ей вслух и езжу с ней на прогулки и в гости и все такое. Ну и цветы расставляю в вазах. Везет мне, не правда ли, Салли? О, я ни за что на свете не хочу вызывать в тебе зависти, Салли, но если бы ты только могла видеть, как мы шикарно живем, у тебя бы глаза на лоб полезли! Я рассчитывала устроить так, чтобы с тобой увидеться, но мы пробудем здесь, на водах, всего несколько дней, потом опять уедем. Милая, милая Салли, мне живется очень ве-

¹ Розовато-лиловый цвет.

село, я бы хотела, чтобы тебе так повезло, как мне. Целую ма, и Филлис, и Клэрис, и па, и, конечно, тебя. Если увидишь Дэвида, скажи ему, что я иногда о нем думаю. У меня теперь никого нет, Салли, это ты тоже ему скажи. Я нахожу, что мужчины — скоты. Впрочем, он не такой, он был добр ко мне. Кончаю письмо, так как пора одеваться к обеду. У меня новое черное платье с блестками, представь себе, какова я в нем, Салли! Ну просто мечта! Прощай и будь здорова. Твоя вечно. Дженни».

Молчание. Потом долгий вздох Дэвида. Он читал, читал эти нелепые излияния, каждая строчка которых нашептывала воспоминание о Дженни, мучительные и постыдные и все же согретье каким-то умилением.

— Отчего вы мне не сообщили раньше? — с трудом спросил он наконец.

— А к чему? — спокойно возразила Салли. Она нерешительно помолчала. — Видите ли, Дэвид, я ездила в Челтенхем, в отель «Эксцельсиор»... Дженни действительно жила там несколько дней во время скачек... Но не с миссис... как ее там?..

— Я так и думал, — сказал Дэвид уग्रомо.

— Не принимайте этого близко к сердцу, Дэвид. — Салли перегнулась через стол и дотронулась до его руки. — Ну, будьте же паинькой, развеселитесь! Вы знаете теперь, что она жива и здорова, — и то хорошо.

— Да, разумеется, и то хорошо.

— Правильно я сделала, что показала вам письмо? — спрашивала с беспокойством Салли.

Дэвид сложил письмо, вложил его в конверт и сунул к себе в карман.

— Очень хорошо сделали, Салли, — сказал он. — Уж мне, во всяком случае, следовало это знать.

— Да, я тоже так подумала.

Оба молчали, пока не пришел Альф. Он бросил быстрый взгляд на дочь, потом на Дэвида, но не спросил ничего. Молчаливость Альфа порой оказывалась даром более ценным, чем самое блестящее красноречие. Спустя полчаса они вышли из гостиницы, и Дэвид проводил Альфа и Салли до автобуса. Он притворялся спокойным, даже смеялся. Салли была счастлива, и он не хотел омрачать ее счастья своим личным горем и не хотел дать ей почувствовать, что, показав ему письмо (разумеется, она была

обязана это сделать), она разбередила глубокую и болезненную рану. Он сознавал, что письмо пошлое, дрянное, лживое. Безошибочным чутьем он угадывал, как все было, представлял себе картину: Дженни остается на часок одна в этой сомнительной гостинице, пока ее сожитель проводит время на скачках или в ближайшем трактире; у нее является минутное желание от скуки воспользоваться пребыванием в Челтенхеме (ведь это такое аристократическое место!), чтобы похвастать перед родней, утолить ненасытное тщеславие своей романтической души.

Дэвид вздохнул. Его до тошноты раздражал запах духов, исходивший от дешевой бумаги. «Скажи Дэвиду, что я о нем иногда думаю!» Почему это его трогает? «Но неужели Дженни и вправду думает обо мне?» — спрашивал он себя с грустью. Что же, может быть, и думает, точно так же, как он думает о ней. Несмотря на все, что было, он не мог ее забыть. Он все еще чувствовал к ней какую-то нежность. Воспоминание о ней не покидало его, легкой тенью лежало на душе. Он знал, что ему следовало бы презирать, даже ненавидеть ее, но никак он не мог отогнать эту тень, уничтожить в себе тайную нежность к Дженни.

Эту ночь Дэвид просидел в задумчивости у огня. Доклад лежал на столе нетронутый, он не в состоянии был приняться за работу. Непонятное беспокойство овладело им. Поздно ночью он вышел из дому и долго бродил по опустевшим улицам. Это беспокойство томило его день за днем. Он бродил по городу. Побывал снова в картинной галерее Тейта и стоял безмолвно перед небольшим полотном Дега «Lecture de la lettre»¹, которое ему всегда нравилось. Он искал утешения и просветления у Толстого, чей беспокойный импрессионизм соответствовал его нынешнему настроению. Он спешил перечесть «Анну Каренину», «Три смерти», «Воскресение» и «Власть тьмы». Ему, как и Толстому, человеческое общество представлялось жертвой роковых и противоречивых стремлений. Низменное себялюбие тянуло людей к земле, но иногда благородный, самоотверженный порыв поднимал их ввысь.

В конце концов Дэвид снова обрел способность работать. Прошел апрель, наступил май. А в мае события с головокружительной быстротой сменяли друг друга. Становилось все более очевидным, что дни правительства сочтены.

¹ «Чтение письма» (фр.).

Дэвиду, захваченному подготовкой к энергичной кампании, некогда было предаваться размышлениям. Он все же урвал время, чтобы съездить в Тайнкасл на свадьбу Салли. Но больше ни одной минуты не мог выкроить для себя.

10 мая парламент был распущен, в двадцатых числах того же месяца начали намечать новых кандидатов на местах, а 30 мая происходили выборы. Главным пунктом программы лейбористов была национализация. Их партия выпустила следующее обращение к народу:

«Положение в угольной промышленности настолько катастрофично, что необходимо принять меры к облегчению бедствий в угольном районе и реорганизации промышленности от начала до конца как в отношении процессов производства, так и сбыта, и, наконец, к сокращению рабочего дня.

Если наша партия составит в парламенте большинство, она национализирует копи и все минеральные богатства страны, так как это единственный способ создать удовлетворительные условия работы. Это обеспечит рациональное использование каменного угля и его ценных побочных продуктов, которые теперь расточаются без пользы».

Под воззванием были подписи:

*Д. Рамзей Макдональд
Д. Р. Клайн
Герберт Моррисон
Артур Гендерсон.*

Благодаря этому воззванию и его лозунгу «Национализация!» лейбористы прошли в парламент. Дэвид на этот раз получил почти на две тысячи голосов больше; Нэджент, Беббингтон, Дэджен, Чалмерс, Клегхорн тоже собрали больше голосов, чем на всех прежних выборах. С чувством восторга и нетерпения возвращался Дэвид в Лондон. Он уже видел в своем воображении, как билль об угольных копиях, давно подготовленный его партией, внесен в парламент, брошен в лицо всей оппозиции и торжественно обсуждается. Эта мысль кружила голову, как вино. «Наконец-то, — твердил он мысленно, — наконец!» И 2 июля 1929 года произошло официальное открытие сессии.

ХІІІ

В один туманный вечер в начале осени Дэвид и Гарри Нэджент вышли из здания парламента и остановились, разговаривая, на нижней ступени подъезда. Два с половиной месяца тому назад король произнес тронную речь. Новые министры-лейбористы целовали королевскую руку. Джим Дэджен, в коротких, до колен, панталонах и эффектной треуголке, с величайшей готовностью позировал перед дюжиной фоторепортеров. Премьер-министр, спешно посетивший Соединенные Штаты, прислал оттуда съезду лейбористов следующую телеграмму: «Мы должны извлечь угольную промышленность из того упадка, в который привели ее долгие годы косной и слепой политики».

Однако на лице Дэвида, неясно видимом в тумане, было выражение, странно не вязавшееся со столь многообещающим началом. Засунув руки в карманы и пряча голову в поднятый воротник пальто, он стоял с видом озабоченным и упрямо-недовольным.

— Дождемся мы в этом году билля или нет — вот что я хотел бы знать... — спрашивал он у Нэджента.

Плотнее укутывая шею шарфом, Нэджент ответил своим обычным спокойным тоном:

— Да, к декабрю, если верно то, что я слышал.

Дэвид смотрел задумчиво в мутную белизну тумана, которая как бы отвечала его настроению.

— Что же, увидим, каков будет текст билля, — сказал он со вздохом. — Но не могу понять этой проволоочки. Она меня злит. Похоже на то, будто все мы слишком заняты стараниями доказать, что мы настроены конституционно, что мы вообще порядочные люди, — и ни у кого не остается времени на проявление какой-либо инициативы.

— Дело тут не только во времени, — медленно возразил Нэджент. — Правительство очень многозначительно напоминает нам, что мы — в кабинете, но не у власти.

— Я уже столько раз слышал эти слова, Гарри! Чувствую, они скоро доведут меня до могилы.

— Жаль, потому что тогда вы вряд ли попадете в министры.

Губы Гарри чуть дрогнули улыбкой, но он сразу же снова стал серьезен:

— Впрочем, вы правы, когда говорите, что надо ждать билля. А пока — надейтесь на лучшее.

— Буду надеяться, — угрюмо произнес Дэвид.

Наступила пауза, во время которой длинный темный автомобиль бесшумно подкатил к подъезду. Оба собеседника молча посмотрели на него. Из вестибюля за их спиной тотчас же вышел Беббингтон. Он поглядел на Нэджента и Дэвида со своим обычным беззаботным видом.

— Мерзкая погода, — сказал он приветливо. — Не подвезти ли вас?

Дэвид вместо ответа отрицательно покачал головой, а Нэджент сказал:

— Нет, благодарю. Мы ждем Рэлстона...

Беббингтон усмехнулся с некоторой холодностью и высокомерием и, слегка кивнув, сошел по ступеням, торопливо сел в автомобиль. Шофер укутал ему колени меховой полостью и вскочил на заднее сиденье. Машина, жужжа, скрылась в тумане.

— Замечательный автомобиль у Беббингтона, — сказал Дэвид каким-то странным тоном, размышляя вслух. — Это «Минерва», не правда ли? Интересно, откуда, собственно, он у него?

Гарри искоса посмотрел на Дэвида. Глаза его под выпуклыми лобными буграми приняли слегка насмешливое выражение.

— Может быть, он получил его за великие заслуги перед государством?

— Нет, серьезно, Гарри, — настаивал Дэвид, не улыбувшись. — Беббингтон вечно ноет, что у него нет ничего, кроме жалованья. И вдруг у него появляется автомобиль и шофер.

— Стоит ли об этом говорить серьезно? — Гарри скривил губы в необычную для него циничную усмешку. — Если уж непременно хотите знать, наш приятель Беббингтон недавно вступил в правление общества «Объединенные копи». Ну, ну, не хмурьтесь так грозно! Таких прецедентов было уже немало. Все приличия соблюдены, и ни вы, ни я, ни один человек не посмеет сказать ни слова.

— «Объединенные копи»! — Невольная горечь прозвучала в голосе Дэвида. Он сердито посмотрел на Нэджента. Пассивность, с которой Гарри отнесся к этому факту, еще усилила тревогу и недовольство Дэвида. В последнее время Нэджент стал как-то уставать, казался больным, даже походка стала медленнее.

То, что его не провели в кабинет министров, он принял с почти покорным равнодушием. Без сомнения, здоровье Нэджента сильно пошатнулось, и вся прежняя жизненная энергия, казалось, ушла из него. Только потому Дэвид не считал нужным продолжать этот разговор. Когда вышел Рэлстон, они заговорили о собрании Лиги демократического контроля, на котором все трое обещали сегодня быть, и зашагали в тумане по направлению к улице Виктории.

На душе у Дэвида было невесело. Сессия, начавшаяся с таким подъемом, проходила до странности вяло, до странности похоже на все предыдущие. Часто за эти недели мысли Дэвида обращались к Слискейлу, к рабочим, которым он обещал добиться справедливости. Он взял на себя обязательство. И вся их партия в целом взяла на себя обязательство. Именно это принесло им победу на выборах. Значит, обязательство надо выполнить, хотя бы для этого понадобилось апеллировать ко всей стране. Положение в Слискейле было так ужасно: город задавлен нищетой, среди рабочих назревало скрытое озлобление против режима, допускаявшего такие бедствия, — и Дэвид все более и более ощущал настоятельную необходимость действовать. Он держал связь с рабочими, с Геддоном, Оглем и местными организациями. Он был обо всем осведомлен. Знал, что кризис не воображаемый, что он существует во всей своей мрачной реальности. Положение было отчаянное.

Дэвид сосредоточил все надежды на новом законопроекте об угольных копях. Он видел в нем единственное решение вопроса, единственное разумное оправдание политики их партии и спасение для рабочих. Время от времени он справлялся о законопроекте, который еще разрабатывался в министерской комиссии при участии специальной комиссии, выделенной Союзом горняков. Но ни Дэвид, ни Нэджент в эту комиссию не входили и поэтому были очень мало осведомлены о положении дела. Лейбористское руководство усвоило себе политику строгой официальности, и к членам комиссии было не подступиться. Невозможно было узнать хоть что-нибудь о форме и содержании подготовляемого законопроекта. Но как бы то ни было, а он подготовлялся, это было несомненно. Декабрь был на носу, и Дэвид уговаривал себя, что его предчувствия нелепы, что они попросту отзвук его нетерпения. Он ждал со все растущим упованием.

Совершенно неожиданно 11 декабря билль был внесен в парламент. Одобренный министром торговли, поддержанный министром юстиции и министром горной промышленности, он был официально внесен в палату общин. В этот день палата была далеко не в полном составе и важность момента не ощущалась. Все прошло очень обыкновенно, даже с какой-то поспешностью. Формулирован билль был коротко, в самых общих и уклончивых выражениях — не более десяти строк, быстро прочитанных вслух. Все, от начала до конца, продолжалось десять минут. Дэвид слушал с возрастающим ужасом. Он не вполне понимал, что происходит. В билле не было указаний на сферу его действия. Но даже по этому первоначальному проекту можно было судить об ее ограниченности. Поспешно встав, Дэвид вышел в кулуары и, обратившись к нескольким членам комиссии, стал настойчиво просить у них копию билля. Он даже к Беббингтону подошел, так ему хотелось достать копию. И в тот же вечер полный текст билля оказался у него в руках. Только тогда оценил он все значение нового закона. Его волнение было неопишимо. Он был не только ошеломлен, он был в ужасе.

Случилось так, что в этот день, 11 декабря, Нэджент был вызван в Эджели, и Дэвид провел вечер в одиночестве, изучая копию билля. Он все еще не верил собственным глазам. Это было что-то невероятное, убийственное — это был сокрушительный удар.

Он сидел над биллем до ночи, размышляя, пытаясь наметить план действий. В нем зрело твердое решение. Он знал теперь, что можно сделать, что сделать *нужно*.

На другой день он пришел пораньше на заседание парламентской фракции лейбористов. Заседание было немногочленно, людей собралось вдвое меньше обычного. У Дэвида сердце упало, когда он увидел это жалкое сборище. Правда, в последнее время министры вообще неаккуратно посещали заседания, но сегодня это имело особое значение, тем более что отсутствовал и министр горной промышленности. В комнате находились только Дэджен, Беббингтон, Нэджент, Рэлстон, Чалмерс и еще человек двадцать. Настроение было вялое, как после сытного завтрака, — Чалмерс даже расстегнул две нижние пуговицы жилета, а Клегхорн, полузакрыв осоловелые глаза, собирался сладко вздремнуть.

Председательствовал Джим Дэджен. Он просмотрел бумаги в папке, обвел стол своими совиными глазами и быстро прочел:

— «На эту неделю в палате утверждена следующая программа занятий: совещание по вопросу о безработице, прения по жилищному вопросу и вторичное чтение законопроекта об угольных копиях...»

Дэвид вскочил с места.

— Господин председатель, — воскликнул он, — разрешите спросить, считает ли фракция, что этот законопроект отвечает программе нашей партии?

— Слушайте, слушайте! — загремело несколько человек с левого крыла.

Дэджен вовсе не казался смущенным. Он благодушно осмотрел Дэвида с головы до ног:

— А у вас есть основания полагать, что билль не выражает мнения партии?

Дэвид старался сохранить спокойствие, но в его тоне невольного прорвался едкий сарказм:

— Мне представляется, что этот билль в его нынешней форме *слегка* не соответствует тому, чего мы ожидали. Нас вторично выбрали в парламент с наказом добиться национализации. Мы обязались в воззвании, подписанном партией, облегчить тяжкое положение рабочих угольного района и коренным образом реорганизовать промышленность на государственных началах. Как же мы предполагаем это сделать? Я не знаю, все ли члены нашей фракции ознакомились с полным текстом законопроекта. Смею вас уверить, он нарушает все данные нами обещания.

Наступила тишина. Дэджен в раздумье потирал подбородок, поглядывая на Дэвида из-за больших роговых очков.

— Вы забываете одно — что мы в правительстве, но не у власти. Мы вынуждены изворачиваться, как умеем. Кабинет должен идти на компромисс.

— Компромисс! Это не компромисс. Это чистейшая трусость. Даже и консерваторам трудно было бы сочинить более выгодный законопроект для капиталистов. Этот законопроект целиком для шахтовладельцев. В нем сохранена система квот, выброшены все предложения об обязательном минимуме заработной платы. Это билль в угоду тори, и каждый член парламента скоро это поймет.

— Минутку! — мягко остановил его Дэджен. — Я человек практический. Во всяком случае, таким меня считают. Я люблю идти прямо к делу. Формулируйте конкретно свои возражения.

— Мои возражения! — вскипел Дэвид. — Вы не хуже меня знаете, что этот билль не разрешает целого ряда затруднений. Его основное назначение — снабдить рынок углем. Это нелепая попытка примирить два совершенно непримиримых принципа. Система квот — определенное нарушение прав шахтеров и ничем иным быть не может. Если сравнить то, чего мы обещали добиться, с тем, что сейчас предлагает правительство, то видишь, что это просто вопиющее издевательство.

— А если бы и так, что можно сделать? — возразил Дэджен. — Не забывайте о нашем положении.

— Вот об этом именно я и не забываю, — подхватил Дэвид, который дошел уже до белого каления. — О нашем положении и нашей чести!

— Господи боже мой! — вмешался Чалмерс, глядя в потолок. — Чего, собственно, хочет этот член фракции?

— А вот чего: этот билль сначала надо исправить так, чтобы он выполнял наши обязательства и чтобы у каждого члена партии совесть была чиста. И только после этого внести его в палату. Если его провалят, то мы можем обратиться за поддержкой к нашим избирателям. И рабочие будут знать, что мы боремся за них.

Новые крики «Слушайте! Слушайте!» с дальнего конца комнаты. В центре же за столом — ропот неодобрения. Чалмерс медленно наклонился вперед.

— Меня здесь посадили, — сказал он, для пущей выразительности тыча указательным пальцем в стол. — И тут я останусь.

— Неужели вы не понимаете, — примирительно резюмировал Дэджен, — что мы должны доказать стране нашу способность управлять? Мы своей тактикой завоевываем себе блестящую репутацию.

— Не обманывайте себя, — с горечью возразил Дэвид. — Над нами смеются. Почитайте газеты тори! Мы для них — низший класс, который обезьянничает, тянется за теми, кто стоит выше. Прирученные звери. По их мнению, мы не правим, а играем комедию. И если мы уступим им в вопросе об этом билле, они только будут презирать нас.

— К порядку, к порядку! — вздохнул укоризненно Дэджен. — Мы не хотим слушать таких резких речей в нашей партийной среде. — Он с раздражением сощурился на Дэвида: — Разве вам не разъясняли, что мы вынуждены действовать не спеша?

— Не спеша! — яростно повторил Дэвид. — При таких темпах мы и через две тысячи лет все будем «подготавливать» национализацию!

Тут в первый раз заговорил Нэджент.

— Фенвик прав, — начал он медленно. — Из принципа мы, бесспорно, должны вступить в борьбу. Мы можем просидеть тут еще год, играя во власть, помогая дурачить людей и, попросту говоря, обманывая самих себя. Но кончится тем, что нас выгонят в шею. Почему бы нам лучше не уйти отсюда с честью, как сказал Фенвик? Мы не должны забывать о рабочих. В Тайнсайдском районе они дошли уже до последних пределов человеческого терпения. Это я вам говорю, а я знаю, что говорю.

Клегхорн сказал кислым тоном:

— Если вы требуете, чтобы мы вышли из кабинета министров только потому, что в Тайнкасле имеется несколько смутьянов, то напрасно стараетесь.

— А когда вы просили их голосовать за вас, вы их тоже называли «смутьянами»? — крикнул Дэвид. — Того, что там происходит, достаточно, чтобы довести рабочих до революции!

Чалмерс злобно грохнул кулаком по столу:

— Вы становитесь совершенно невыносимы, Фенвик! К черту вашу революцию! Мы не желаем, чтобы в такое время насаждали тут русские идеи!

— Весьма неудобные для буржуазии, — глумливо вставил Беббингтон.

— Вы сами видите, — продолжал Дэджен спокойно и плавно, — мы все здесь согласны, что человеческий труд нуждается в полнейшей переоценке. Но не можем же мы взять да так сразу и отвергнуть существующий порядок, как сбрасывают старый башмак. Приходится соблюдать осторожность и уважать конституцию. Черт побери, я слишком популярен, чтобы выступать против британской конституции!

— Вы предпочитаете не делать ничего! — Порыв гнева обуял Дэвида. — Заседать и класть в карман жалованье министра, в то

время как тысячи шахтеров умирают с голоду, получая грошовое пособие.

Поднялся крик и возгласы: «К порядку! К порядку! Пусть возьмет свои слова обратно!»

— Я ни ради кого не намерен совершить политическое самоубийство, — пробурчал Дэджен багровея.

— Так вот какова точка зрения комиссии? — спросил Дэвид, пристально оглядывая всех вокруг. — Что же вы намерены делать? Сдержат данные вами обещания или нарушить их?

— Я намерен сохранить за собой репутацию здравомыслящего человека, — ледяным тоном произнес Беббингтон.

— Слушайте! Слушайте! — взывало несколько человек.

Затем раздался голос Клегхорна:

— Господин председатель, предлагаю перейти к следующему вопросу.

Шум усилился.

— Я прошу пересмотреть билль. — Дэвид отчаянно старался перекричать всех. — Я не могу поверить, что вы отказываетесь внести в него поправки. Ну хорошо, не будем говорить о национализации. Но прошу вас вставить хотя бы пункт об обязательном минимуме заработной платы.

Чалмерс на этот раз сердито заерзал в своем кресле:

— Господин председатель, у нас нет времени продолжать эту дискуссию. Член палаты Фенвик может держать свои теории при себе и предоставить правительству сделать все, что возможно при данных обстоятельствах.

Несколько голосов прокричало:

— Переходите к следующему вопросу, господин председатель!

— Я не теории вам тут излагаю, — вопил Дэвид. — Я с вами говорю о живых людях! Я предостерегаю комиссию, что билль этот доведет шахтеров до отчаяния, до восстания...

— В свое время вам будет предоставлена возможность внести поправки, — отрезал Дэджен. Затем спросил громко: — Как будет угодно собранию?

Хор его сторонников заорал:

— Перейти к следующему вопросу!

Дэвид, в отчаянии, все еще пытался добиться обсуждения. Но тщетно. Монотонным голосом Дэджен уже читал прерванный доклад. Заседание комиссии продолжалось.

XIV

В одно холодное декабрьское утро Артур пешком дошел до «Нептуна». Было еще рано. Войдя в контору, он повесил шляпу и пальто, постоял минуту, глядя на календарь, затем торопливо подошел и оборвал листок. Еще день прошел. Это хорошо. Вот прожит еще один день.

Он сел за письменный стол. Недавно встав с постели, он, однако, чувствовал себя усталым, так как плохо спал. Он устал от бесконечной борьбы, бесконечной войны с экономическими силами, которые грозили ему уничтожением. Лицо Артура исхудало, было изборождено морщинами. Он имел вид человека, которого грызли заботы.

Он нажал кнопку звонка на столе, и тотчас же Петтит, его секретарь и табельщик, принес утреннюю почту, разложенную с методической аккуратностью: самое большое письмо внизу, самое маленькое наверху. Петтит всегда был очень аккуратен.

— Доброе утро, Петтит, — сказал Артур. Он чувствовал, что голос его звучит искусственно, несмотря на усилия говорить сердечно и ободряюще.

— Доброе утро, мистер Баррас. Сегодня ночью был сильный мороз, сэр.

— Да, Петтит, холодно.

— Отчаянно холодно, сэр. Не подбросить ли угля в камин?

— Нет, спасибо, Петтит.

Не успел секретарь выйти из комнаты, как Артур потянулся за самым верхним письмом. Он его ожидал — это было письмо от его банкира из Тайнкасла.

Взрезав плотный конверт, он быстро прочел официальное извещение без удивления, даже, пожалуй, без смятения. Ему сообщали, что в настоящее время банк отказался от практики краткосрочных ссуд и правление глубоко сожалеет, что впредь не имеет возможности...

Артур уронил письмо на стол. «Сожаление»!.. Да, красивое слово. Все выражают «глубокое сожаление», когда из высших соображений отказывают ему в деньгах. Артур вздохнул. Впрочем, он этот ответ предвидел раньше, чем написал банкиру. Он уже превысил размеры своего кредита в банке, взял оттуда все

до последнего фартинга под залог оборудования. По крайней мере, хорошо, что он теперь знает, как обстоят его дела в банке.

Он продолжал сидеть за столом. Несмотря на усталость, он с трудом заставлял себя сидеть спокойно, нервное возбуждение требовало выхода. С лихорадочной поспешностью он снова все прикинул в уме. Лицо его приняло напряженное выражение. Какой длинный путь пройден со времени катастрофы! А теперь дороги впереди нет — одно болото, трясина, застой. Цена на уголь упала еще на пятнадцать шиллингов на тонну. Но даже по такой цене Артуру не удавалось продать его. Крупные объединения и синдикаты сбывали свой уголь, а он, мелкий частный предприниматель, оказывался бессильным. Между тем предприятие требовало накладных расходов, нужно было ремонтировать насосы, платить налоги — шесть пенсов с каждой тонны вынутого из шахты угля. А рабочие? При этой мысли Артур вздохнул. Он надеялся привлечь их на свою сторону примирительной политикой и заботами об их безопасности. Но его постигло горькое разочарование. Рабочие как будто были против его попыток перестройки, подозревали за этим какие-то корыстные побуждения. Устроенные им на руднике чудесные бани до сих пор у многих вызывали раздражение, были предметом скабрёзных шуток. Артур сознавал, что он плохой руководитель. Он часто проявлял нерешительность, убеждал там, где нужно было быть твердым, упрямылся в таких случаях, когда человек с более сильным характером посмеялся бы и уступил. Рабочие видели его слабость и пользовались ею. Суровость старика Барраса была им понятна: она вызывала страх и даже восхищение. А доброта Артура и его высокие идеалы внушали им недоверие и презрение.

Неумолимая парадоксальность этого факта задевала Артура за живое. При мысли о ней он в гневе потряс головой. Он отказывался понять это.

Нет, он еще не побежден. Он просто временно на мели. Он будет бороться и победит. Прилив непременно снова снимет его с мели. Он уже недалек, этот прилив.

И Артур с новой энергией принялся обдумывать выход из создавшегося положения. Голова его усиленно работала, и положение со все большей четкостью вырисовывалось перед ним, факты приобрели ясность, цифры выстроились перед его мысленным взором. Рудник заложен, кредит в банке исчерпан, добыча

угля ниже, чем когда-либо за последние двадцать лет. Но Артур был глубоко убежден, что сбыт должен теперь увеличиться. Кризис должен кончиться — и скоро. Надо продержаться, продержаться до тех пор, пока кризису не наступит конец, и тогда все будет хорошо. «Нептун» может работать при таких условиях еще по меньшей мере год — это он знал наверное. Предвидя отказ банка, он уже обдумал все заранее, разработал план в мельчайших подробностях. Ничего не было упущено. Надо сократить штат, проводить во всем экономию и держаться — да, держаться крепко! Он сумеет это сделать, сумеет!

Артур судорожно вздохнул. Самое неприятное — это сокращение штата, но оно совершенно необходимо. Сегодня надо уволить еще пятьдесят человек. Он снимет их с работы на пласте «Файв-Квотерс» и закроет эти выработки до того времени, пока не улучшится сбыт угля. Ему очень жаль тех, кого он сегодня предупредит об увольнении, отправит к тем шестистам рабочим «Нептуна», которые уже ходят на биржу труда за пособием. Но другого выхода нет. И он примет их обратно на работу, как только будет малейшая возможность.

Артур вдруг торопливо посмотрел на часы. Надо сейчас же сказать Армстронгу. Он распахнул дверь и быстро прошел по коридору в комнату Армстронга.

Они с Армстронгом проговорили с полчаса, обсуждая, кого из рабочих уволить. Артур настаивал, чтобы в каждом отдельном случае, раньше чем вычеркнуть имя рабочего, взвешивались все обстоятельства. Для него не было ничего мучительнее этой процедуры. В числе увольняемых были старые опытные рабочие, которые в течение двадцати лет и более добывали уголь в «Нептуне». Но и им предстояла безработица. Им предстояло вместе с шестьюстами ранее уволенными стоять в очереди за пособием, увеличить нищету и бурлившее в Слискейле недовольство.

Наконец список был составлен. Артур смотрел, как Армстронг шел через двор к будке табельщика, ветер трепал белый листок в его руке. Странное и мучительное волнение овладело Артуром, он чувствовал себя убийцей этих людей. Он поднял руку и сжал ею лоб, не замечая, как дрожит его рука. Затем отвернулся от окна и пошел обратно в свой кабинет.

Кабинет теперь уже не был пуст. У самой двери его ждал Гудспет, красный и рассерженный. Гудспет привел с собой высоко-

го неуклюжего подростка, который стоял с угрюмым видом, засунув одну руку в карман, а в другой держа шапку. Артур узнал его — это был Берт Уикс, сын Джейка Уикса, весовщика-контролера от рабочих. Берт работал в «Глобе».

С первого же взгляда на эту пару Артур понял, что произошло что-то неприятное, и каждый нерв в нем напрягся, как струна.

— В чем дело? — спросил он, пытаясь сохранить спокойствие.

Гудспет ответил:

— Взгляните! — и протянул ему пачку папирос и коробку спичек.

Все трое смотрели на папиросы и спичечную коробку, — даже Берт Уикс и тот смотрел. И эти обыкновенные предметы явно производили громадное впечатление.

Гудспет сказал:

— В стойлах, на новом штреке в «Глобе», сидит себе в конюшне среди соломы и курит! Вы бы этому поверили, мистер Баррас? Форбс, десятник по безопасности, только что доставил его наверх!

Артур продолжал пристально смотреть на папиросы и спички, — он не в силах был отвести глаз, в особенности от спичек. Все в нем ходило ходуном, какие-то волны захлестывали его, он должен был весь сжаться, чтобы противостоять им. В забоях нового «Глоба» имелся гремучий газ, недавно исследование обнаружило его в такой концентрации, которая грозила взрывом... Артур не решался взглянуть на юного Уикса, боясь потерять власть над собой.

— Ну, что вы можете сказать?

— Я ничего не сделал, — сказал Берт Уикс.

— Вы курили.

— Я только разох и затянулся там, в конюшне. Ничего я не сделал.

Легкая дрожь пробежала по телу Артура:

— Вы взяли с собой в шахту спички. Вы курили.

Уикс ничего не отвечал.

— И это несмотря на вывешенные правила, — продолжал Артур, стиснув зубы, — и на все мои предостережения относительно огня в «Глобе».

Берт Уикс мял в руках шапку. Он знал, что рабочие думают об Артуре и что они говорят о нем: они ругали все его затеи — от

бань и прочего «баловства» до «дурацких правил безопасности». Берт был парень грубый и упрямый, смутить его было нелегко. Он сказал полуиспуганно-полусердито:

— А мой отец говорит, что в «Нептуне» нет и не было никакого гремучего газа. Он говорит, что запрещение носить с собою спички — просто чепуха.

Нервы Артура не выдержали, он вышел из себя. Какое невежество, какая тупость, какая дерзость! Он жертвовал собой, почти разорился, он убивал себя трудами и хлопотами, чтобы сделать «Нептун» безопасным и дать рабочим приличный заработок, — и вот благодарность! Не помня себя от гнева, он шагнул вперед и ударил Уикса по лицу.

— Болван! — сказал он. Он задыхался, словно от бега. — Проклятый невежественный болван! Ты что же, хочешь, чтобы шахту разнесло на куски? Чтобы у нас произошла новая катастрофа? Этого ты хочешь? Этого, я тебя спрашиваю? Я выбрасываю на улицу честных, хороших работников, а ты тут прячешься по углам, лодырничаете и куришь, так что все мы можем взлететь на воздух! Убирайся вон! Уйди с глаз моих, ради бога! Ты уволен. Возьми свои спички и свои дрянные папиросы. Вон отсюда, пока я не вышвырнул тебя сам!

Он схватил Уикса за плечи, повернул и вытолкал за дверь. Уикс в коридоре растянулся во всю длину и ушиб ногу о ступеньку. Артур с треском захлопнул дверь.

В кабинете наступила тишина. Артур оперся о стол, все еще дыша прерывисто, как после быстрого бега, — казалось, ему не хватало воздуха. Гудспет бросил на него один только быстрый и растерянный взгляд. Взгляд был инстинктивный, и Артур это понял.

— Он заслужил это, — воскликнул он, — я должен был его уволить!

— Да уж, конечно, такого парня оставлять незачем, — согласился Гудспет, смущенно глядя себе под ноги.

— Могу ли я допускать подобные вещи?

— Нет, конечно, не можете, — подтвердил Гудспет, все еще в замешательстве не поднимая глаз от пола. Помолчав, он прибавил: — Теперь он пойдет и скажет своему отцу Джейку Уиксу, контролеру.

Артур делал усилия казаться спокойным:

— Я его ударил не больно.

— Он будет уверять, что вы его чуть не убили. Эти Уиксы — такие вредные люди... — Гудспет круто оборвал и двинулся к двери. — Пойду делать обход, — сказал он и вышел.

Артур все стоял, прислонясь к столу. Он сделал ошибку, ужасную ошибку, ударив Берта Уикса. В этом виноваты заботы и переутомление. Гудспет отправился заглаживать его промах. Ах, если бы все обошлось! Артур отошел от стола и вышел в раздевальню за кабинетом. Там он надел рабочий костюм, так как хотел сегодня утром осмотреть «Новый Парадиз». Входя в клеть, чтобы спуститься в шахту, он еще надеялся, что все обойдется.

Но дело не обошлось. Берт, поднявшись, отправился на площадку у входа в шахту, где отец его проверял вес подъезжающих вагонеток. У Берта болела нога в том месте, где он ушиб ее о ступеньку, и чем больше он думал о своей ноге, тем больше она болела. Он уже боялся ступить на нее.

Его отец, Джейк Уикс, видел, как Берт подходил, особенно осторожно ступая на одну ногу.

Джейк остановил вагонетки.

— Что с тобой случилось, Берт? — спросил он.

Громко всхлипывая, Берт рассказал все. И Джейк, выслушав его, объявил:

— Он не имеет права делать подобные вещи.

— А он это сделал, — возразил Берт. — Он ударил меня и сбил с ног, вот он что сделал! И когда я уже лежал на земле, он еще раз пнул меня.

Джейк сунул за пазуху записную книжку, в которой отмечал вес вагонеток, и ту же затянул свой кожаный пояс.

— Он не имеет права делать это, — повторил он. — Он не имеет права так с нами обращаться.

Джейк хмуро размышлял. И все это из-за того, что бедняга Берт забыл выбросить из кармана несколько спичек, раньше чем спуститься в шахту! Все только из-за этого, из-за проклятых новых правил! Этого никто не потерпит, а тем более он, контролер от рабочих! Он сказал отрывисто:

— Пойдем, Берт!

Он бросил вагонетки и проводил Берта в больницу. В этот день дежурил доктор Веббер, молодой врач, недавно окончивший учение и назначенный сюда интерном. Джейк внушительным

тоном человека, знающего себе цену, попросил доктора Веббера осмотреть ногу Берта.

Джейк Уикс, помимо должности контролера, в которой он сменил Чарли Гоулена, состоял еще казначеем санитарной комиссии. И для доктора Веббера было очень важно заручиться расположением Джейка Уикса, так что он проявил величайшую любезность и услужливость и долго и внимательно осматривал ногу Берта.

— Что, есть перелом? — спросил Джейк.

Доктор Веббер этого не находил. Собственно, он убедился, что нога не сломана, но в таких вещах никогда нельзя быть уверенным и, во всяком случае, выражать такую уверенность вслух было бы неосмотрительно. В медицинских журналах постоянно приводились случаи врачебных ошибок с пренеприятными последствиями для врачей. А с Джейком Уиксом связываться было опасно. Доктор Веббер, надо прямо сказать, струсил и объявил:

— Придется сделать рентгеновский снимок.

Джейк Уикс нашел, что это хорошая мысль.

— А что, если мы уложим его в кровать на сутки? — услужливо предложил доктор Веббер. — Пролежать сутки в постели тебе не повредит, Берт. А это даст возможность поставить правильный диагноз. Как вы находите?

И Джейк и Берт нашли, что это наилучший маневр при данных обстоятельствах. Берта уложили в мужской палате, а отец его отправился прямо в клуб и позвонил Геддону в отделение Союза, в Тайнкасл.

— Алло! Алло! — начал он осторожно. — Это Том Геддон? Говорит Джейк Уикс. Знаете, контролер в «Нептуне»? — С Геддоном Джейк разговаривал совсем другим тоном, чем с доктором Веббером.

— Ну, в чем дело? — донесся в телефон отрывистый голос Геддона. — И говорите покороче, пожалуйста. Не целый же день мне вас слушать. Что такое?

— Да я насчет моего парня, Берта, — начал Джейк весьма заискивающим тоном. — Тут дело идет о нападении и преследовании. Вы *должны* выслушать, Том.

Целых пять минут слушал его Геддон. Он сидел по другую сторону провода, прижав трубку к уху, и мрачно слушал, с ожесточением грызя ногти и сплевывая огрызки на лежавшую перед ним папку.

— Ладно, — сказал он, выслушав до конца. — Ладно, говорю! Я приеду.

Двумя часами позже, когда Артур поднялся из «Парадиза» наверх и, выйдя из клетки шел по двору, Геддон уже сидел в конторе, ожидая его. Увидев Геддона, Артур почувствовал удар в сердце. Он вдруг весь похолодел.

Геддон не встал с места и сидел с угрожающим видом, словно прирос к стулу. Он не начинал разговора.

Молчал с минуту и Артур. Он прошел в ванную, вымыл руки и лицо, затем вернулся, вытираясь, но видно было, что умывался он рассеянно, так как руки его оставляли на полотенце темные пятна. Он встал спиной к окну, продолжая вытирать руки. Нужно было что-то делать — это немного успокаивало нервы. Вытирая руки, он чувствовал себя увереннее. Пытаясь говорить небрежным тоном, спросил:

— Что случилось, Геддон?

Геддон взял со стола линейку и вертел ее в руках.

— Вы сами знаете, — ответил он.

— Вы пришли из-за Уикса, — сказал Артур. — Но я ничего сделать не могу. Я уволил его за дерзкое неподчинение правилам.

— Вот как?

— Его застали курящим внизу, в «Глобе». Вам известно, что там обнаружен гремучий газ. Я истратил массу денег на то, чтобы сделать этот рудник безопасным. Я не хочу, чтобы произошла новая катастрофа, ужаснее первой.

Геддон удобно скрестил ноги, все еще вертя линейку. Он не спешил, но в конце концов заговорил.

— Берт Уикс в больнице, — сказал он, обращаясь к линейке.

У Артура все внутри точно оборвалось. Ему чуть не стало дурно. Он перестал тереть руки полотенцем.

— В больнице?!

И затем, через минуту:

— А что с ним такое?

— Вам лучше знать.

— Я не знаю.

— Думаю, что у него сломана нога.

— Не верю я этому! — закричал Артур. — Я ему ничего не сделал. Мистер Гудспет был при этом. Он вам скажет, что это ерунда.

— Уиксу на завтра назначено просвечивание — тогда увидим, ерунда или нет. Это распоряжение доктора Веббера. Я только что из больницы.

Артур был очень бледен; у него ослабли ноги, пришлось присесть на подоконник. Он вспомнил, что Берт Уикс за дверью полетел на пол.

— Ради бога, Геддон, — сказал он тихо. — Скажите, к чему вы клоните?

Геддон положил линейку. Геддон не признавал никаких «нежностей» и «братской любви к ближнему». Ему, по роду его обязанностей, полагалось быть суровым и настойчивым, и он не намерен был отступать от своих обязанностей.

— Слушайте, Баррас, я буду говорить прямо. Вы сегодня вышли из себя и напали на рабочего. Не отпирайтесь. Не важно, что сделал этот человек. Но вы учинили над ним физическое насилие. Вы чуть не сломали ему ногу. А это дело серьезное. Тут уж возвращением на работу не отделаешься. Это — уголовное преступление. Не перебивайте меня! Я говорю от имени всех рабочих, которые еще остались на вашем проклятом руднике. И стоит мне поднять палец, как они все забастуют.

— А что даст им забастовка? — сказал Артур. — Им работа нужна, а не забастовка.

— Рабочие должны стоять друг за друга. Задев одного, вы задеваете всех. Не нравится мне этот рудник. Он у меня на примете с тех пор, как здесь произошло несчастье. Я не намерен допускать никаких глупостей.

От резкого тона Геддона у Артура упало сердце.

— Да знаете ли вы, сколько каторжного труда я вложил в этот рудник? — слабо запротестовал он. — Что вы затеваете?

— Вы это скоро узнаете, — отвечал Геддон. — Мы сегодня в шесть часов созываем собрание в клубе. Рабочие очень волнуются. Я вас только предупредить хотел. Теперь бесполезно что-нибудь предпринимать. Дело кончено. Вы попали в переделку. Да, в чертовски неприятную переделку!

Артур молчал. Он как-то обмяк весь, ему претили Геддон и угрозы Геддона. Эти угрозы входят в обязанности Геддона. Он старался его запугать, и, кажется, успешно. Но в глубине души Артуру не верилось, что Геддону удастся поднять рабочих: они слишком дорожат работой, чтобы решиться бастовать. Во всем

районе царила страшная нужда, город кишел безработными. Те, кто еще работал, считались счастливыми.

Артур встал и сказал утомленно:

— Делайте как знаете. Я уверен, что вы не захотите вовлечь рабочих в беду.

Геддон тоже поднялся. Он привык, чтобы хозяева стучали кулаками по столу, рычали на него и требовали, чтобы он убирался к черту. Он привык к переругиванию, проклятиям, угрозам. Ему платили за то, чтобы он воевал, — и он воевал. Летаргия Артура вызвала что-то вроде жалости в его глазах.

— Я все сказал. О дальнейшем вы узнаете. — И с коротким поклоном вышел.

Артур стоял неподвижно. Он все еще держал в руках полотенце и теперь аккуратно сложил его, прошел в ванную и повесил на горячую трубу. Потом заметил, что полотенце не совсем чисто, снял его и бросил в пустую ванну.

Он переоделся в свой обычный костюм. Сегодня ему было не до ванны. Он все еще ощущал усталость, тупое безразличие, физическую слабость. Все представлялось нереальным. Собственное тело казалось ему чем-то невесомым. Он был очень впечатлителен и склонен остро все переживать, но когда впечатление переходило некоторый определенный предел, он становился нечувствителен. Такое именно оцепенение души он испытывал сейчас. Он вдруг увидел себя в небольшом четырехугольном зеркале, висевшем на белой кафельной стене. Неудивительно, что он чувствует такое изнеможение! Он казался десятью годами старше своих тридцати шести лет. У глаз — морщины, волосы потеряли блеск, а макушка почти облысела. Зачем он тратит напрасно свою жизнь, превращается раньше времени в старика, гонится за бредовыми идеалами, влюбленный в безумную мечту о справедливости? Другие наслаждаются жизнью, пользуются всюю своими деньгами, а он торчит тут, на этой унылой шахте, тянет лямку, не видя благодарности. В первый раз Артур подумал: «Боже, какой я дурак!»

Воротясь в кабинет, он посмотрел на часы. Скоро шесть. Он взял шляпу и вышел. Прошел пустой двор, зашагал по Каупен-стрит. Следовало бы, конечно, зайти в больницу и справиться о юном Уиксе, но он решил отложить это. Такое оттягивание было вполне в его характере. Проходя по площади, он слышал го-

лоса со стороны клуба шахтеров. Голоса доносились глухо, говорили ему о чем-то ненужном и далеком. Он знал, что никаких беспорядков быть не может, слишком глупо в такое время опасться беспорядков.

XV

Однако Артур ошибался. Факты изредка опрокидывают всякую логику. И события этого вечера, 14 декабря, вовсе не доказывают, что Артур рассуждал неверно. Они просто произошли, вот и все.

Собрание в клубе началось в шесть часов. Оно продолжалось недолго. Геддон принял меры к тому, чтобы оно было непродолжительным. Политика Геддона была ясна: он не хотел допускать беспорядков. Касса Союза была в плачевном состоянии и не выдержала бы никаких неурядиц. Тактика Геддона сводилась к тому, чтобы запугать Артура, держа его в неизвестности и тревоге целые сутки, а затем на другой день приехать и поторговаться с ним, добиться обратного приема Берта Уикса, выплаты ему компенсации, ну и еще чего-нибудь для ровного счета. Но больше всего Геддон стремился попасть поскорее домой, переменить носки, которые были мокры, так как ноги у него сильно потели, сесть пить чай в сухих носках и домашних туфлях, а затем с трубкой в зубах погрузиться в кресло у камина. Геддон был уже не молод, чувства в нем остыли, ненависть молодых лет уже не пылала, а только тлела. Он действовал еще достаточно энергично, но руководила действиями не столько голова, сколько ноги. Он со стремительной быстротой провел собрание, отчитал Джейка Уикса, внес в протокол кратко изложенное мнение Гарри Огля и заторопился уходить, чтобы успеть на поезд в Тайнкасл в шесть сорок пять.

Но на ступенях подъезда он остановился, немного оторопел при виде толпы, собравшейся на улице. «О, черт побери! — сказал он про себя. — Чего это им здесь понадобилось?»

Здесь было человек пятьдесят мужчин, в напряженном ожидании толпившихся у дверей и разговаривавших между собой. Большую часть толпы составляли безработные.

Очутившись перед таким скопищем людей, Геддон счел должным обратиться к ним с речью. Он засунул руки в карманы, нагнул вперед голову и коротко объявил:

— Слушайте, ребята. У нас сейчас тут было заседание, обсуждали сегодняшний случай. Мы не допустим издевательства ни над одним членом нашего Союза. Я не буду поддерживать неправильного увольнения. Но пока мы это дело отложили. Я вернусь сюда завтра для дальнейших переговоров. Вот и все, ребята.

С коротким поклоном Геддон сошел вниз и направился к вокзалу.

Рабочие криками приветствовали Геддона, шедшего по Фрихолд-стрит. Геддон казался этим людям выразителем их чаяний и надежд. Они сознавали шаткость и некоторую обманчивость этих надежд, но все же то были надежды на табак, пиво, теплую постель, теплую одежду и работу, — потому-то отчасти они и кричали Геддону «ура». Но «ура» было негромкое, в нем легко было подметить вялость, ноту неудовлетворенности и беспокойства.

Джейк Уикс вышел из клуба шахтеров через пять минут после того, как скрылся Геддон, и по его лицу было видно, что он тоже далеко не удовлетворен. Медленно, с обиженным видом сошел он по ступеням, и его тотчас же окружили толпившиеся в ожидании рабочие, которые хотели узнать подробности. Все хотели услышать их, а больше всех — Джек Риди и его компания. Компания Джека составляла часть этой толпы, но вместе с тем держалась как-то особняком, несколько отличаясь от остальных. Это была большей частью молодежь, они говорили мало, и у всех в зубах были папиросы. Они до странности походили друг на друга: на всех лицах был отпечаток какой-то жесткости, как если бы этим людям уже было все нипочем. Лицо Джека Риди говорило ясно, что теперь ему уже на все наплевать. Черты лица Джека как-то исказились и застыли. Лицо это с втянутыми щеками и впалыми висками было очень бледно, и только в одном углу над верхней губой желтело пятно от табака. И еще лицо Джека имело одну любопытную особенность: видно было сразу, что застывшая маска не может больше улыбаться и, если Джек попытается улыбнуться, маска разобьется.

— Ну, как там было дело? — спросил он у Уикса, протолкавшись вперед.

Джейк Уикс посмотрел на Джека Риди, и Вуда, и Слэттери, и Ча Лиминга, придвинувшихся к нему.

— Нет, можете себе представить, — фыркнул он. — Геддон взял да все дело изгадил! — Злым голосом Уикс рассказал, что произошло на собрании.

— А насчет пособия он ничего не говорил? — крикнул Гарри Кинч из толпы.

— Ни черта! — отвечал Джейк.

Рабочие озлобленно притихли. Государственное пособие безработным было снижено еще в начале месяца, а касса взаимопомощи Союза прекратила выдачу ссуд.

Джек Риди обратился к Уиксу свое застывшее лицо. Что-то грозное было в его бесстрастии. Джек спросил своим обычным жестким и презрительным тоном:

— А какого он мнения насчет забастовки?

— Ну, это ему меньше всего улыбается, — возразил Уикс, так и кипя негодованием. — Он совсем выдохся. Ничего он не делает.

— Ничего не сделает? — повторил Джек Риди как бы про себя. — Что же, тогда придется нам самим сделать что-нибудь.

— Надо опять устроить демонстрацию, — вставил Вуд.

— Демонстрацию! — промолвил Джек с горечью.

И с вопросом о демонстрации было кончено. На той неделе уже была одна демонстрация безработных — ходили на «Снук» с красным флагом, в сопровождении конной полиции, говорили речи. Все было как следует, полицейские ехали рядом, как добрые товарищи, и все прошло великолепно, без ущерба для кого бы то ни было. Джек думал об этом с глубокой горечью. Такие вещи бесполезны. *Бесполезны*. А он хочет действовать, он *должен* действовать, всем своим существом жаждал он действий.

Джек горячо надеялся, что увольнение Берта Уикса послужит Геддону предлогом объявить забастовку. Забастовка — это массовое выступление, и такое выступление — единственный выход. Выступление нескольких человек или нескольких сот человек ничего не даст, а выступление всех уже кое-что значит: это значит, что «Нептун» прогорит. Это значит — показать кому следует свою силу, это значит — действовать, действовать!.. А тут вдруг оказывается, что никакой забастовки не будет!

Лоб Джека сморщился, как от боли. Джек походил на глухонемого, который пытается осмыслить что-то непонятное. Он пробормотал:

— Это собрание никуда не годилось. Нам надо устроить другое. Надо что-нибудь делать... Ради бога, дайте кто-нибудь покурить!

Тотчас же Вуд протянул ему папиросу. И эта и другие папиросы были добыты на улице из автомата, который Вуд наловчился «обрабатывать». Слэттери подал Джеку зажженную спичку, прикрывая ее рукой. Джек только наклонил свое мертвенно-бледное лицо и жадно затянулся, потом оглядел окружавших его людей и заговорил громко:

— Слушайте, ребята. Сегодня в восемь — митинг. Поняли? Передайте дальше. В восемь часов!

Слова эти были переданы дальше, а Джейк Уикс полуиспуганно-полузаискивающе запротестовал:

— Смотри, Джек, отвечать придется тебе.

— А, наплевать! — сказал Джек все с той же бесшабашностью. — Можешь сидеть дома, если хочешь. Или беги в больницу к своему Берту.

Грубое лицо Уикса покраснело, но он промолчал: с Джеком Риди лучше было не связываться.

— Ну, идем! — обратился Джек к остальным. — Вы намерены тут торчать всю ночь, что ли?

Он пошел вперед, прихрамывая, по Каупен-стрит и вошел в трактир «Привет». Джек не открывал рукой вертящуюся дверь, он нажал на нее плечом и прошел. Остальные сделали то же самое.

Трактир был полон, за стойкой стоял Берт Эмур. Уж много лет стоял Берт за этой стойкой, словно врос в нее, меднолицый, гладковолосый, с аккуратно закрученным на лбу коком, как будто зализанным коровой.

— Здрóво, Берт, — сказал Джек с угрожающей любезностью. — Что вы будете пить, ребята?

Все спутники ответили на вопрос, и Берт наполнил кружки. Никто не платил, и в усмешке Берта выразалось беспокойство.

— Наливай, Берт, — скомандовал Джек, и Берт дрогнул. Его медно-красное лицо стало еще краснее. Но все же он снова наполнил кружки. Простояв столько лет за прилавком в «Привете»,

Берт Эмур знал, когда следует наливать, улыбаться и ничего не говорить. Торговля спиртными напитками имела свои особенности, и Берт понимал, что ему лучше не ссориться с Джеком Риди и его компанией.

— Скверная это история, Джек, — начал Берт, пытаясь завести разговор, — скверная вышла история с молодым Уиксом.

Джек притворился, что не слышит, но Ча Лиминг вежливо перегнулся через прилавок:

— А тебе что об этом известно?

Берт поглядел на Лиминга и решил, что благоразумнее не отвечать на его вопрос. Ча был весь в отца, Боксера Лиминга, с той только разницей, что Ча побывал на фронте и стал как-то современнее. На войне Ча получил медаль, и после демонстрации на «Снуке» на прошлой неделе он привязал эту медаль к хвосту бездомного пса. Пес бегал по всему городу, волоча в грязи красивую боевую медаль, и Ча окрестил его «героем войны». «За такую штуку не миновать тюрьмы, и рано или поздно Ча туда непременно угодит», — думал Берт.

Берт протянул руку, чтобы взять обратно бутылку виски, но, раньше чем он успел это сделать, Джек взял бутылку с прилавка и отошел к столику в углу. Все двинулись за ним. За столом сидело несколько человек, но они спешно ретировались. Джек и его товарищи уселись и начали беседовать. Берт издали наблюдал за ними, обтирая прилавок. Он не спускал с них глаз.

Они сидели за столом в углу, толковали о чем-то и пили, доканчивая бутылку. Вокруг них скопилось все больше народу, слушали, принимали участие в разговоре, пили. Шум становился все более и более ужасающим, все говорили разом, горячо обсуждая историю с Уиксом, бездеятельность Геддона, прекращение выдачи ссуд из Союза, надежды на новый закон о копяx. Говорили все, кроме Джека Риди.

Джек сидел у стола, глядя в одну точку своими мертвыми глазами. Он не был пьян, никакое количество выпитой водки не могло опьянить Джека — это-то и было хуже всего. Его узкие губы были крепко сжаты, и он все время кусал их, словно давая выход накопившейся злобе. Жизнь наполнила горечью душу Джека. Весь он был воплощенная внутренняя боль и полными болями глазами глядел на страдающий мир. Душу Джека сформировали и несчастье в шахте, и война, и мир, унижения и муки

безработицы, лишения, вечные ухищрения как-нибудь прожить, заклад вещей, жестокость нищеты, опустошенность, более страшная, чем голод. Все эти разговоры приводили его в отчаяние: горланят без толку, болтают на ветер. И то же самое будет на митинге в восемь часов — слова, слова, ничего не стоящие, ничем не помогающие, ни к чему не ведущие! Чувство глубокой безнадежности овладело Джеком.

Вдруг дверь распахнулась, и в трактир ворвался Гарри Кинч. Гарри был племянником того самого Вилла Кинча, который много лет тому назад прибежал сюда, когда Ремедж отказал ему в обрезках для его маленькой дочки Элис. Но и тут сказывалась разница поколений. Гарри гораздо лучше разбирался в политике, чем Вилл. И у Гарри в руках был последний номер «Аргуса».

Он остановился на одно мгновение, оглядывая посетителей, затем прокричал:

— Об этом написано в газетах, товарищи! Наконец-то все ясно... — Голос его обрывался. — Нас продали... обманули...

Все глаза обратились на Кинча.

— Что такое? — спросил хрипло Слэттери. — О чем ты, Гарри?

Гарри откинул волосы со лба:

— В газете напечатано... новый закон... это величайшее надувательство, такого еще не было... Они не дали нам ничего, товарищи. Ни единого... — Тут голос совсем изменил ему.

Гробовая тишина наступила в трактире. Все знали, что им было обещано. И бессознательно надежды каждого из этих людей были сосредоточены на новом законопроекте.

Первым зашевелился Джек Риди.

— Покажи скорее газету! — сказал он. Схватил ее и принялся читать. Все склонились над столом, толкая друг друга, вытягивая шеи, чтобы заглянуть в газету, где крупным шрифтом были напечатаны все пункты предательского закона.

— Клянусь богом, так и есть! — сказал Джек.

Ча Лиминг, уже полупьяный, в бешенстве вскочил со стула.

— Это уж слишком, — заорал он. — Мы этого так не оставим!

Все заговорили разом, поднялся шум. Газета переходила из рук в руки. Теперь встал и Джек Риди, снова хладнокровный, сдержанный. В этом хаосе он прозревал новые возможности. Глаза его уже больше не были мертвы, они горели.

— Дай еще виски, — сказал он. — Живее!

Он залпом выпил виски, оглядел присутствующих, затем крикнул:

— Я иду в клуб. Кто хочет, может идти за мной!

Раздался ответный рев. Все кинулись за Джеком. Толпа хлынула из трактира в грозовую тьму улицы и устремилась, с Джеком Риди во главе, по Каупен-стрит, к зданию клуба.

Там у подъезда собрались уже и другие рабочие, все больше безработная молодежь, люди, уволенные из «Нептуна» при первом сокращении, ввергнутые в беспросветное отчаяние этой новостью, которая молнией облетела Террасы и окончательно убила все надежды.

Джек взбежал по ступеням и остановился лицом к толпе. Над дверью горел электрический рожок, похожий на желтую грушу на прямом суку, и свет падал на лицо Джека, в котором отражался его несломленный дух. Внизу было уже почти темно. Уличные фонари слабо мерцали, разливая только местами лужицы света.

С минуту Джек стоял перед толпившимися во мраке людьми. Выпитое им виски превратило горечь души в яд, во всем его теле, казалось, бурлила эта горькая отравка. Джек чувствовал, что наступает его час, тот час, ради которого он страдал, для которого был рожден.

— Товарищи! — крикнул он. — Мы только что узнали новость. Нас обманули. Они повернули нам спину, как Геддон. Они нас скрутили, как всегда. И это после всех обещаний!.. — Он с трудом перевел дух, сверкающими глазами глядя в толпу. — Они не собираются нам помочь. Никто нам не поможет. Никто! Слышите? Никто! Мы должны сами себе помочь. Если не поможем, то никогда не выберемся из ямы, куда нас загнал капитализм. Разве вы не видите, товарищи, что вся экономическая система гниет, как навоз? У них — деньги, автомобили, прекрасные дома, ковры на полу, — и все это добыто ценой нашей крови. Мы работаем на них до седьмого пота. А что получаем? Даже еды достаточно не получаем, товарищи, ни топлива, ни приличной одежды, ни башмаков для наших ребятишек. Чуть что-нибудь не так, нас гонят в шею! Нас выбрасывают на улицу, переводят на хлеб и маргарин, да и того не хватает, чтобы прокормить жен и детей. Не говорите мне, что это из-за нехватки денег! Страна купается в деньгах, банки битком набиты ими, миллионами и миллионами! Не говорите мне, что у них не хватает для нас пищи. Они бросают рыбу обратно в море, сжигают запасы кофе и пшеницы, режут

свиней, чтобы они не плодились, и оставляют мясо гнить, а мы тут умираем с голоду. Пусть Бог поразит меня на месте, если *это* справедливый порядок. — Новый судорожный вздох. Затем голос Джека зазвучал еще громче: — Мы этого не понимали, когда они довели дело до катастрофы в «Нептуне» и убили сто человек рабочих. Не понимали и тогда, когда они на войне убивали миллионы людей. Но теперь, видит бог, мы это поняли. И мы этого больше терпеть не будем, товарищи. Надо действовать... Надо показать им... Мы должны действовать, должны, говорю вам! Если теперь не начнем, то будем гнить в этом аду до конца дней! — Голос его перешел в крик. — Я намерен действовать, товарищи, а кто хочет, может идти со мной. Я начну сию же минуту! Я проучу хозяев «Нептуна», в котором погибли мои оба брата!.. Я разрушу проклятую шахту, ребята! Я хочу хоть немного отплатить им за себя. Идете со мной или нет?

Громкие крики раздались среди рабочих. Воспламененные словами Риди, они теснились к нему, когда он сбежал вниз, провожали его всей толпой по улице. Некоторые, струсив, ускользнули по направлению к Террасам. Но не меньше ста человек присоединилось к Джеку. Все они двинулись к «Нептуну», совершенно так же, как больше двадцати лет тому назад толпа двинулась к лавке Ремеджа. Но здесь было больше рабочих, гораздо больше. Шахта притягивала их сильнее, чем лавка Ремеджа. Шахта была фокусом, центром, на котором сосредоточивались и чаяния и ярость их душ. Она была ареной, амфитеатром. И в черной пыли этой арены, этого мрачного амфитеатра смешались жизнь, и смерть, и труд, и деньги, и пот, и кровь.

Толпа с Джеком Риди во главе хлынула во двор перед шахтой. Двор был тих и пуст, контора заперта, и шахта зияла, как вход в огромную пустую могилу. Внизу, под землей, не было никого, ночные смены теперь не работали больше. На «Нептуне» не оставалось ни души. Даже площадка перед шахтой казалась пустынной, хотя там дежурили десятники по безопасности и механики у насосов. Оба механика находились в машинном отделении, за рабочей раздевальней. Их звали Джо Дэвис и Гью Гэлтон. Толпа бросилась к машинному отделению, где находились Дэвис и Гэлтон, и Гэлтон первый услышал шум. Одно из окон оставалось приоткрытым, так как в машинном отделении было жарко и пахло нефтью. И Гэлтон, пожилой человек с седой бородкой, высунул голову наружу.

Толпа уже окружила дом. Толпа в сто человек, и все лица поднялись к Гэлтону, показавшемуся в окне наверху.

— Чего вам надо? — крикнул механик.

Глядя вверх, Джек Риди сказал:

— Выходите сюда, вы нам нужны.

— Для чего? — спросил Гэлтон.

Джек повторил повелительным тоном:

— Выходите! Если выйдете, вас не тронут.

Вместо ответа Гэлтон с треском захлопнул окно. Прошло секунд десять, во время которых слышалось только мерное пыхтение насосов. Затем Ча Лиминг заорал и швырнул кирпичом в окно. Стекло зазвенело, и этот звук прорезал глухое постукивание и пыхтение машин. Он послужил как бы сигналом. Джек Риди взбежал по лестнице в машинное отделение, а за ним Лиминг и десяток других. Они ворвались внутрь.

В машинном отделении было очень жарко и светло, стоял запах нефти и вибрирующий шум.

— Какого черта... — начал Джо Дэвис, сорокалетний мужчина в синем бумажном комбинезоне с засученными рукавами. Вокруг шеи у него висели обтирочные «концы», так как он только что чистил латунные части полировальным порошком и парафином.

Джек Риди посмотрел на Дэвиса из-под козырька своей кепки и сказал быстро:

— Мы вам ничего не сделаем, ни одному из вас. Мы только хотим, чтобы вы ушли. Понимаете?

— Черта с два! — сказал Джо Дэвис.

Джек сделал шаг вперед, внимательно наблюдая за Дэвисом, сказал:

— Вы уйдете прочь. Этого хотят рабочие.

— Какие рабочие? — спросил Дэвис.

Тут Джек кинулся на него и обхватил его вокруг пояса. Они стали бороться. Боролись с минуту, а все вокруг стояли и смотрели. Во время борьбы они опрокинули жестянку с парафином. Это была большая жестянка, и весь парафин из нее вытек на решетку и в ящик с ветошью для обтирки частей. Один только Слэттери видел, как парафин залил тряпки, все остальные следили за борьбой и ничего не заметили. Повинуясь какому-то рефлексу, Слэттери вынул изо рта папиросу и бросил ее в ящик с ветошью. Папироса угодила горящим кончиком прямо в середину ящика. Это видел только один Слэттери, так как в тот самый момент

Дэвис поскользнулся и упал, а Джек очутился на нем. Все устремились вперед, схватили Дэвиса, затем набросились на Гэлтона и выволокли обоих из машинной камеры.

Затем все произошло очень быстро. И не кто-нибудь один, а все были в этом виноваты. Виноваты были те, кто разбросал запасные инструменты, и гаечные ключи, и обыкновенные штанги, и тяжелый молот, и даже жестянку с полировальным порошком среди сети поршней. Собственно, всю беду причинил молот: он задел за головку шатуна, отскочил и упал на главный цилиндр, расколол его, потом со всего размаха упал на подшипники. Понеслись ужасный скрежет и шипение пара. Машина задрожала и самым позорным образом остановилась. Вся камера затряслась до основания, и работа в ней прекратилась.

В это время Слэттери, словно только что сделал неожиданное открытие, завопил:

— Горит, господа Иисусе! Смотрите! Огонь!

Люди посмотрели на ящик с ветошью, из которого вырывалось пламя, на остановившиеся моторы насосов — и бросились к двери. В паническом страхе протискивались они наружу. Джек Риди остался последним. Джек всегда отличался изобретательностью. Он подошел к колонке с нефтью и отвернул кран. С минуту наблюдал, как вытекала темная жидкость. Взгляд его был мутен, и холоден, и полон злобного торжества. Наконец-то он что-то сделал! Он торопливо вышел, захлопнув за собой дверь.

Перед машинным зданием во дворе все стояли тесной толпой. Сначала огня не было видно, только густые клубы дыма, но вскоре вырвалось и пламя, длинные языки пламени.

Люди понемногу отступали перед огнем, который освещал их поднятые вверх лица в темном амфитеатре двора. Горячие струи воздуха доходили до них сквозь холод ночи. Затем, когда огонь перебросился на крышу силовой станции, черепицы начали с треском отскакивать. Они так забавно шелкали, выскакивая из крыши, как горох из барабана, — одна, другая, третья, целый град черепиц летел вниз, и каждая описывала в воздухе красивую сверкающую дугу, потом с грохотом падала на бетонные плиты двора.

Толпа отступала все дальше, к стенам конторы, потом дальше — к воротам, и из ворот — на Каупен-стрит. Отпустили Дэвиса и Гэлтона. Сейчас это было кстати. Гэлтон побежал в контору звонить по телефону. Его никто не остановил. Теперь все шло как надо. Новый залп черепиц грохнул сверху, и здание ламповой

осветилось, затрещало. Гэлтон как бешеный звонил по телефону. Он позвонил Артуру, Армстронгу, на пожарную станцию, позвонил и в контору Союза в Тайнкасле. Он сообщил на центральную телефонную станцию, чтобы дали знать всем в районе, кто мог бы прийти на помощь. Потом он стрелой помчался из конторы, чтобы сделать что возможно. Когда он вышел во двор, докрасна раскаленная черепица просвистела мимо. Пролети она на какой-нибудь дюйм ближе, она бы размозжила ему голову. Черепица грохнулась на пол в конторе, и осколки весело разлетелись во все стороны — один угодил прямо в мусорную корзинку и зашипел там. В конторе вспыхнул пожар.

Все происходило со стремительной быстротой. Во дворе шахты появились новые группы рабочих — десятник по безопасности Форбс, Гарри Огль, кое-кто из администрации, старые шахтеры. Потом явилась полиция — сержант Роддэм и с ним наряд из двенадцати человек. Гэлтон вместе с полицией, десятником и служащими побежал в предохранительную камеру, где Джо Дэвис уже разматывал пожарные шланги. Они вытащили шланги во двор, соединили их с пожарным краном. Шланги дергались и отскакивали, и из дюжины прорезов брызгала вода: кто-то продырявил шланги, приведя их в негодность.

Артур и Армстронг приехали одновременно. Когда позвонил Гэлтон, Артур читал у себя в комнате, а Армстронг ложился спать. Оба, придя в шахту, кинулись к группе людей у спасательной камеры. Пламя играло на их лицах, то освещая, то оставляя в тени. Некоторое время они торопливо совещались. Затем Артур побежал в контору к телефону. Но контора была уже в огне.

Наконец прибыл из Слискейла пожарный насос, и Кемау наладил шланги. Тонкая струя воды, шипя, брызнула в огонь. Присоединили второй рукав, и полилась вторая струя. Но струи были тонки и слабы. А на руднике больше рукавов не имелось.

События развертывались все быстрее, и смятение возрастало. Люди металась по двору, ныряя среди падающих бревен и докрасна раскаленных кирпичей. Огонь пожирал все — дерево, щебень, камень и металл. Время от времени раздавались взрывы, и звук их гремел во всем городе, подобно пушечным выстрелам с моря. На Каупен-стрит сплошной стеной стоял народ, и все глядели, глядели...

Половина площадки была уже совершенно разрушена, когда приехал Геддон. Он бежал со станции, проталкиваясь сквозь тол-

пы на улицах, на которых от зарева было светло, как днем. В то время как он пытался попасть во двор, мимо со звоном пролетели две пожарные машины общества «Объединенные копии». Геддон прицепился сзади к последней машине и въехал таким образом во двор «Нептуна».

Силовая станция, спасательная станция, ламповая и насосное отделение — все сгорело. Свежий ветер раздувал пламя. Жара стояла удушающая.

Геддон скинул пиджак и стал помогать только что приехавшим пожарным. Шланг за шлангом посылали мощные струи воды, вздымавшиеся над пылающей площадкой. Среди дыма бурлил пар, образуя в воздухе туманную пелену, которую медленно относил ветром. Взлетали вверх лестницы. Люди бежали, карабкались по ним, кашляли от дыма, обливаясь потом. А ночь шла.

Когда занялась заря, огонь уже не пылал, только тлел. Холодный серый свет утра осветил страшную картину разрушения.

Артур, прислонясь к пожарной лестнице, смотрел на обломки надшахтных построек. Вздых вырвался из его груди. Он знал, что внизу дело обстоит еще хуже. Вдруг он услышал чей-то крик. Это кричал Геддон.

— Эй, Армстронг! — орал он. — Надо поскорее установить новые насосы.

Армстронг посмотрел на Геддона и пошел дальше. Он направился к обугленным надшахтным копрам, туда, где стоял Артур у пустой клетки. Подойдя, сказал разбитым голосом:

— Надо достать новые насосы. Надо сейчас же позвонить в Тайнкасл... если это может помочь.

Артур медленно поднял голову. Лоб его почернел, глаза были воспалены от дыма, лицо выражало полнейшую душевную опустошенность.

— Ради бога, — прошептал он, — ради бога, оставьте меня в покое!

XVI

Несмотря на то что в его дневнике появились новые, старательно составленные «меморандумы» под заголовком «Дальнейшие доказательства в пользу сметы Р по „Нептуну“» и какие-то сложные расчеты, Ричард не вполне уяснил себе положение дел.

Каждый день около полудня он кое-как добирался до конца лужайки, мимо обнаженного раakitника, и опирался на чистенькую белую калитку, которая вела в поле. Это место, откуда он мог видеть только верхушки копров «Нептуна» и ничего более, он имел новал «Наблюдательным постом № 1».

Странно, очень странно: никаких признаков, что копры работают, ни пара, ни дыма. Вращаются ли колеса подъемников? Невозможно определить даже тогда, когда к окруженным морщинами глазам приставляются, на манер телескопа, сложенные щитком трясущиеся руки. Странно. Да, очень странно.

Однажды в начале января Баррас вернулся с «Наблюдательного поста № 1» одновременно растерянный и торжествующий: до его сознания смутно дошло, что на руднике, как он предсказывал, неблагополучно. Торжествовал он, конечно, единственно потому, что предсказание его сбылось. И теперь *те* его призовут, призовут тотчас же, немедленно, чтобы он выручил их из беды.

Но, несмотря на триумф, он выглядел дряхлым и больным стариком. Передвигался он с трудом, и даже тетушка Кэрри находила, что в последнее время бедный Ричард плохо поправляется. И сегодня, на обратном пути через лужайку, он шатался и чуть не упал. Походка его напоминала речь заики: заспешит — и остановится; шагает быстро, все быстрее — вдруг шаги обрываются, словно кто-то подставил ему ногу, и он начинает спотыкаться; после этих внезапных остановок он начинал сначала — совершенно так же, как делает заика, пытаясь произнести нужный слог. Однако, несмотря на все эти трудности, Ричард непременно желал прогуливаться в одиночестве, резко и даже с какой-то подозрительностью отказываясь опереться на руку тети Кэрри. Это было вполне естественно: ведь им насильно распоряжались, за ним следили, ему угрожали. Ему надо было охранять свои интересы. Должен же человек позаботиться о себе!

Перейдя лужайку, он уклонился от ласкового и печального взгляда Кэрри, стоявшей в ожидании у крыльца, и доковылял до французского окна гостиной. В это окно он вошел, с большим трудом перешагнув через узкий подоконник. Он пошел в курительную и расположился удобно в кресле, приготовляясь писать. Приготовления эти состояли в том, что он старательно приваливался спиной к креслу, а затем начинал постепенно сползать вниз.

Он писал дрожащими буквами: «Отчет с наблюдательного поста № 1, 12,5 × 3,14. Сегодня опять нет дыма. Плохой знак. Главный преступник не являлся, но я убежден, что случилась беда. Со дня на день ожидаю, что меня призовут спасать „Нептун“. Будет ли это? Я все еще озабочен присутствием здесь моей дочери Хильды и этого человека, Тисдэйла. Для чего они здесь? Ответ на этот вопрос, может быть, даст ключ к разгадке. Впрочем, сюда часто приезжают и уезжают, особенно со времени исчезновения Энн. Прежде всего я должен себя обезопасить и быть в полной готовности».

Какой-то шум помешал ему, и он сердито поднял глаза. Вошла тетя Кэрри. Кэролайн постоянно приходит; почему она не может оставить его в покое? Он ревниво закрыл свою книжку и съехался в кресле, сморщенный, сердитый, подозрительный.

— Вы не отдыхали, Ричард?

— Я не нуждаюсь в отдыхе.

— Ну хорошо, Ричард. — Тетя Кэрри не настаивала. Она посмотрела на него с привычной грустной нежностью; веки ее глаз покраснели и опухли. Сердце тетушки исходило жалостью к Ричарду: бедный, милый Ричард, ужасно, что он не знает правды, но, может быть, было бы еще хуже, если бы он узнал ее. Тетя Кэрри и подумать об этом боялась.

— Я хотел у вас спросить, Кэролайн... — Тусклый, недоверчивый взгляд засветился игриво и просительно. — Скажите, Кэролайн, что делается в «Нептуне»?

— Да ничего, Ричард, — сказала она с запинкой.

— Я должен оберегать свои интересы, — продолжал Ричард, пуская в ход тонкую хитрость. — Каждый человек должен себя обеспечить, тем более такой пострадавший человек, как я. Понимаете, Кэролайн?

Мучительная пауза. Тетушка снова умоляюще говорит:

— Вам следует теперь немного отдохнуть, Ричард...

Доктор Льюис постоянно настаивал, чтобы Ричард больше лежал, но Ричард не хотел лежать. Тетя Кэрри была убеждена, что, если бы Ричард больше отдыхал, это было бы на пользу его бедной голове.

Ричард спросил:

— Зачем приехала Хильда?

Тетя Кэрри улыбнулась с вымученной веселостью:

— Да как же, приехала вас навестить, Ричард, и Артура повидать. Грэйс приехала бы тоже... Но она опять ждет ребенка... Помните, Ричард, я говорила вам.

— И зачем только все эти люди постоянно приезжают сюда?

Тетушка по-прежнему храбро улыбалась, и никакими клещами из нее не вытянуть было правды. Если Ричарду и придется узнать, то пусть он узнает не от нее.

— Полно, Ричард, какие еще люди? Пойдемте-ка в спальню и прилягте. Ну пожалуйста.

Он пристально посмотрел на нее с раздражением, лихорадочно вспыхнувшим, но затем так же внезапно исчезнувшим. И когда оно прошло, он почувствовал, что мысли у него путаются. Тусклые глаза опустились, и он увидел, как тряслась его рука, державшая дневник. Его руки часто дергались таким образом. И ноги тоже. Ему вдруг захотелось плакать.

— Ну хорошо! — Весь поникая, испытывая детскую потребность в сочувствии, он объяснил: — Это на меня так действует ток... электричество...

Тетя Кэрри помогла ему встать, повела наверх, помогла раздеться и лечь в постель. Он казался старым, измученным человеком, и лицо его было очень красно. Он сразу уснул и спал два часа. Во сне громко храпел. После сна он почувствовал себя превосходно, совершенно свежим, полным сил, голова работала хорошо. Жадно съел он хлеб и выпил молоко — целую большую кружку; молоко было вкусное, жирное и не обжигало рот, а рука больше не дергалась от электричества. Он проверил, ушла ли тетушка Кэрри, затем вылизал языком остатки молока в чашке. Это — самое вкусное.

Потом он лежал, уставясь в потолок, ощущая, как разливаются в желудке теплота, прислушиваясь к жужжанию мухи на окне, не мешая приятным мыслям жужжать в голове, упиваясь сознанием своих необыкновенных сил и способностей. Всякого рода проекты, планы мелькали в его гениальном мозгу. А за всеми ними — даже картина брачной церемонии, туманная, но возбуждающая, с музыкой, мощными звуками органа и стройной девой несравненной красоты, влюбленной в него, Ричарда.

Так он лежал, когда его потревожил вдруг шум подъезжавших автомобилей. Он приподнялся на локте, вслушиваясь, и очень

быстро сообразил, что приехали *те* люди. Лицо его приняло довольное и хитрое выражение. Вот для него удобный случай, замечательно удобный случай, пока электричество еще не действует...

Он встал. Это было нелегко, требовало сложных и многочисленных движений, но, когда у человека столько внутренних сил, все для него возможно. Он, упираясь на локоть, боком скатился с постели. С глухим стуком бухнулся на колени; подождал с минуту, проверяя, не услышал ли кто-нибудь стук; потом на коленях дополз до окна и выглянул наружу. Один автомобиль, второй. Это было увлекательно, он радовался, ему хотелось смеяться.

Держась за подоконник, он медленно поднялся — это было самое трудное, но в конце концов он преодолел и это — и надел халат. У него на это ушло целых пять минут. Так трудно было влезть в рукава, и он начал с того, что надел халат задом наперед, но в конце концов халат был надет на белье и шнур завязан. Башмаков он не надел, так как они производят шум. Он постоял, торжествуя, в халате и носках, затем с большой осторожностью вышел из комнаты и начал спускаться по лестнице.

Сойти вниз можно было только одним-единственным способом. Перила ни к чему, они только задерживают и мешают. Нет, единственный способ спуститься с лестницы состоял в том, чтобы стать поудобнее на самой верхней ступеньке и смотреть прямо вперед, как пловец, который готовится нырнуть, а затем вдруг двинуть с места ноги. Ноги стремительно начинали движение вниз по ступеням, и главное — не следовало на них смотреть и думать о них.

Таким образом Ричард добрался до передней, остановился, очень довольный собой, и прислушался. *Они* были в столовой; он ясно слышал голоса и тихонько подошел к двери в столовую. Да, они были там, до него доносился разговор, и он стал слушать. Хорошо, очень хорошо! Ричард присел на выложенном плитками полу, приложив глаза к замочной скважине. «Наблюдательный пост номер два», — подумал он. О, прекрасно, очень хорошо — он видит и слышит все.

Все сидели за обеденным столом: мистер Бэннерман, адвокат, — на верхнем конце, Артур — на нижнем. Здесь были и Кэрри, и Хильда, и Адам Тодд, и «этот человек» — Тисдэйл. Перед мистером Бэннерманом лежала целая куча бумаг, и перед Арту-

ром — тоже бумаги, Адам Тодд держал только одну, а у Хильды, и Кэрри, и Тисдэйла не было никаких бумаг. Говорил мистер Бэннерман:

— Это выгодное предложение. Вот как я смотрю на это. Вам делают выгодное предложение.

Артур возразил:

— Это не предложение, а низкое издевательство.

Ричард уловил горечь в голосе Артура, и это его обрадовало. У Артура был угнетенный и безнадежный вид, и говорил он, подпирая лоб рукой. Ричард захихикал про себя.

Мистер Бэннерман внимательно перечитывал бумагу, которую ему не было никакой надобности перечитывать. Он был худ, засушен, в тугом воротничке. Покачивая моноклем на широкой черной ленте, он плавно говорил:

— Повторяю, это *единственное* предложение, какое мы получили, и оно конкретно.

Пауза. Затем заговорил Тодд:

— Разве невозможно провести откачку воды из шахты? Восстановить надшахтную площадку? Неужели это совершенно невозможно?

— А кто даст на это деньги? — воскликнул Артур.

— Все это уже обсуждалось нами раньше, — сказал мистер Бэннерман, стараясь не смотреть на Артура, но все время на него поглядывая.

— Жаль, — пробормотал Тодд удрученно. — Очень жаль... — Он вдруг поднял голову. — А как насчет картин вашего отца? Нельзя ли превратить их в деньги?

— Они ничего не стоят, — возразил Артур. — Я вызывал молодого Винцента для их оценки. Он только посмеялся. Картины Гудделя и Копа не удастся сбыть. Никто их теперь не покупает.

Новая пауза. Потом решительно заговорила Хильда:

— Артура надо избавить от всех этих треволнений. Вот все, что я могу сказать. В его теперешнем состоянии он их не вынесет.

У Артура опустились плечи, и он еще больше заслони́л лицо рукой. Он с трудом произнес:

— Ты очень добра, Хильда. Но я знаю: все вы думаете, что это я безнадежно загубил все дело. Я поступал так, как считал разумным и справедливым. Я не мог иначе. Пожар — простой случай. Но все вы думаете, что до этого никогда бы не дошло, если бы управлял «Нептуном» не я, а отец.

За дверью лицо Ричарда сияло удовлетворением. Он, конечно, не понимал, в чем дело, но видел, что пришла беда и что в нем нуждались, чтобы от нее избавиться. Теперь его призовут!

Снова заговорил Артур. Он сказал с тоской:

— Я всегда вопил о справедливости. Вот я ее и дождался! У нас прижимали рабочих, и затопляли копи, и губили людей. А теперь, когда я стараюсь все для них сделать, рабочие восстали против меня, и затопили копи, и разорили меня.

— О Артур, дитя мое, не говори так, — захныкала тетя Кэрри, положив дрожащую руку на руку Артура.

— Простите, тетя. Но так я смотрю на это.

— Не перейти ли нам к делу? — предложил мистер Бэннерман весьма сухим тоном.

— Что же, продолжайте, — сказал Артур угрюмо. — Продолжайте и оформляйте все это проклятое дело. И давайте закончим с ним.

— К вашим услугам.

Вмешалась Хильда:

— Что это за предложение, мистер Бэннерман? В чем оно состоит?

Мистер Бэннерман вставил монокль и посмотрел на Хильду:

— Положение таково: с одной стороны, разруха на руднике — затоплены выработки, сторело оборудование; с другой — предложение взять «Нептун», откупить все это неработающее предприятие со всем имуществом и, да будет мне позволено сказать, со всей водой, заливающей шахты.

— Они отлично знают, как легко избавиться от этой воды, — сказал Артур с горечью. — Я истратил тысячи на прокладку подземных путей. Мой рудник — самый благоустроенный во всем районе, и они это знают. Они предлагают меньше чем десятую часть его стоимости. Согласиться на это — чистейшее безумие.

— Времена теперь трудные, Артур, — сказал мистер Бэннерман. — А обстоятельства, в которых вы очутились, еще труднее.

Хильда спросила:

— Ну а если мы примем это предложение? Тогда как?

Мистер Бэннерман медлил с ответом, вынул монокль из глаза и рассматривал его.

— Видите ли, — начал он. — Мы бы освободились от наших обязательств. — Он сделал паузу. — Артур, смею сказать, тратил

деньги безрассудно. Нельзя забывать о долгах, в которые мы влезли.

Хильда хмуро смотрела на мистера Бэннермана. Ее особенно раздражало это «мы», так как мистер Бэннерман ни в какие долги не влез и никаких обязательств не имел. Она сказала довольно резко:

— Не можете ли вы добиться, чтобы они дали больше?

— Это люди деловые, — возразил мистер Бэннерман. — Деловые люди. Предложение окончательное.

— Но это чистый грабеж! — простонал Артур.

— А кто они такие? — спросила Хильда.

Мистер Бэннерман снова осторожно вставил свой монокль.

— Это фирма «Моусон и Гоулен», — сказал он. — Переговоры ведет мистер Джозеф Гоулен.

Наступило молчание. Артур медленно поднял голову и посмотрел на Хильду. Голос его прозвучал жестокой иронией.

— Ты знаешь, кто это, не правда ли? — сказал он. — Видела новый дом их фирмы на Грэйнджер-стрит? Весь облицован черным мрамором. За один только участок они заплатили сорок тысяч. Этот Джо Гоулен работал у нас в «Нептуне» откатчиком вагонеток.

— Ну а теперь он там не работает, — констатировал мистер Бэннерман. Изучая заголовок лежавшего перед ним документа, он прибавил: — Господа Моусон и Гоулен входят теперь в правление Общества северной стальной промышленности, Объединения медной промышленности, Тайнсайдской коммерческой корпорации и Ресфордской авиакомпании.

Снова пауза. У Адама Тодда был очень несчастный вид, и он жевал гвоздику с таким выражением, как будто это было что-то очень невкусное.

— Неужели нет другого выхода? — спросил он, беспокойно ерзая на стуле. — Мне известно, какой уголь в «Нептуне». Дивный уголь! Уголь Барраса всегда славился. Нет ли другого выхода?

— Есть у вас какие-нибудь предложения? — спросил вежливо мистер Бэннерман. — Если да, то будьте любезны нас с ними ознакомить.

— Почему бы тебе не сходить к этому Гоулену, — сказал неожиданно Тодд, обращаясь к Артуру, — и не попробовать с ним

договориться? Поторгуйся с ним. Скажи, что не хочешь продавать за наличные, что хочешь вступить с ними в компанию. Потребуй места в правлении, акций — словом, участия в деле, Артур. Если только Гоулен возьмет тебя в компаньоны, твое дело в шляпе!

Артур медленно краснел.

— Блестящая идея, Тодд. Но, к сожалению, ничего не выйдет. Видите ли, я уже пытался...

Он посмотрел на всех и с неожиданным взрывом горького цинизма прокричал:

— Два дня тому назад я ходил к Гоулену, в его проклятую новую контору. Господи! Вам надо было бы видеть этот дом: массивные бронзовые двери, каррарский мрамор, лифт из тикового дерева и обит гобеленами. Я пытался продаться Гоулену. Но вы знаете, что это за субъект. Начал он свою карьеру с того, что обманом отнял у Миллингтона завод. Сразу разбогатев, он надул своих акционеров. Он за всю свою жизнь ни одного дня не жил честным трудом. Все, что у него есть, он добыл нечестным путем — эксплуатируя своих рабочих, мошенничая на подрядах во время вакханалии с заготовкой снарядов. Но я закрыл глаза на все это и пытался продать свою совесть. — Артур помолчал, весь дрожа. — Вы бы посмеялись, если бы слышали! Он играл со мной, как кошка с мышью. Начал с того, что это, мол, для него большая честь, но что наши взгляды, по-видимому, немного не сходятся. Он говорил о своем новом заводе в Ресфорде, который выпускает сотнями военные самолеты и продает их всем странам Европы. Он распространялся о выгодности этого производства, так как самолеты, по его словам, имеют более сокрушительную силу, чем другая продукция военных заводов. Так он, шаг за шагом, меня обрабатывал, вставляя здесь намек, там обещание, до тех пор пока я не проклял все, во что я когда-либо верил. И когда он вывернул всего меня наизнанку, он посмеялся надо мной и предложил мне место помощника смотрителя в «Нептуне».

Снова молчание вокруг, на этот раз длительное. Дэн Тисдэйл сердито заерзал на стуле и в первый раз заговорил:

— Это позор! — Его румяное лицо выражало живейшее негодование. — Почему вы не бросите все это, Артур, и не уедете к нам? Мы не наживаем капиталов. Но они нам и не нужны. Мы и без них вполне счастливы. Есть вещи поценнее — и ценить их

научила меня Грэйс: быть здоровым, работать на свежем воздухе, видеть, как наши дети растут крепкими. Переезжайте к нам, Артур, и начните новую жизнь с нами.

— Хорошо бы я был среди цыплят! — сказал Артур с мучительным унынием.

Бэннерман опять сделал нетерпеливый жест:

— Могу я узнать наконец, какие вы даете мне директивы?

— Разве я не сказал вам: продавайте? — В словах Артура звучало глубокое разочарование, и он резко встал, как бы желая покончить со всем этим делом. — Продайте и «Холм» тоже. Гоулен и его хочет купить. Пускай берет все это проклятое наследство. Он может получить и меня в придачу в качестве помощника смотрителя, мне все равно.

За дверью Баррас, стоя на коленях, смотрел во все глаза. Лицо его было очень красно и выражало ужасное смятение. Он не вполне уяснил себе, что происходит в комнате, но своим отуманенным мозгом уловил все же, что в «Нептуне» случилась беда, которую только он один может поправить. Все они забыли о нем, о том, что он сумеет добиться невозможного. Ну, хорошо же!

Он присел на корточки на плитах передней. В столовой больше не разговаривали, а он немного устал и хотел расположиться поудобнее и все обдумать.

Вдруг, в то время как он сидел тут на корточках, дверь столовой отворилась и все вышли. От неожиданности Ричард свалился на спину. Его халат распахнулся, открывая худые голени, нижнее белье, всего его в натуральном виде — высохшего, уродливого, хитрого, безумного, жалкую пародию на человека.

Однако Ричард не смутился. Он приподнялся и сел тут же на холодных плитах в передней, лукаво поглядывая на всех и хихикая.

На всех лицах выразилось огорчение, и Хильда бросилась к нему с криком:

— Бедный папа!

Тисдэйл и Хильда подняли его, проводили наверх в его комнату. Бэннерман, подняв одну бровь, пожал плечами и чопорно простился с Артуром.

Артур остался в передней и стоял, глядя в упор в желтые глаза Адама Тодда — того, кто несколько лет тому назад умолял его не плыть против течения. Он сказал неожиданно:

— Едем вместе в Тайнкасл, Тодд. Мне сегодня надо напиться!

XVII

В последовавшие за этим дни Ричард был очень слаб и оставался в постели. После инцидента, внесенного в его записную книжку под наименованием «Открытие на наблюдательном посту № 2», Хильда внушительно посоветовала держать его в постели. Он так ослабел и ноги настолько его не слушались, что Хильда перед своим отъездом в Лондон настояла, чтобы его по крайней мере не выпускали из спальни. Это всполошило Ричарда, так как он находил, что из спальни не сможет руководить операциями на «Нептуне». Но он прикидывался образцовым пациентом, был кроток, послушен и делал все, что приказывала тетя Кэрри.

Его мысли теперь сосредоточились на новой великой цели — восстановлении его рудника. Все утро в пятницу он был так воодушевлен этой мыслью, что с трудом сдерживался. Он сидел в своей комнате, а в голове стучало молотом, и ему казалось, что кожа у него на голове натянута, как кожа барабана. Раз даже мелькнула мысль, что на него опять действуют электрическим током. Но он откинулся на подушку и не открывал глаз до тех пор, пока они не выключили ток.

Когда он очнулся, он увидел подле себя Артура.

— Поправляешься, папа? — спросил Артур и посмотрел на отца с тенью грусти на застывшем лице. Артур не мог без грусти видеть несчастного, глупого, ссохшегося старика и его робко бегущие по сторонам, хитрые, налитые кровью глаза.

— Я решил зайти и поговорить с тобой, папа. Ты понимаешь меня?

Понимает ли он! От такой дерзости кровь опять бросилась в голову Ричарду. Он сразу же замкнулся в себе:

— Не теперь.

— Мне хотелось бы объяснить тебе все, папа, — продолжал Артур. — Тогда ты легче все примешь. Ты обеспокоен и так возбужден. Ты не сознаешь, что нездоров.

— Я здоров, — сердито возразил Баррас. — Никогда в жизни я не был здоровее.

— Знаешь, что мне пришло в голову, папа, — продолжал Артур, желая как можно осторожнее подготовить его к предстоящей перемене. — Пожалуй, было бы неплохо расстаться с «Холмом» и переехать в усадьбу поменьше. Видишь ли...

— Не говори ничего сейчас, — перебил его Ричард, — может быть, завтра поговорим. Сейчас я не стану и слушать. В другой раз. Я просто не стану слушать... Не теперь.

Он лежал с закрытыми глазами в кресле и не слушал Артура, так что Артур в конце концов отказался от своего намерения и вышел из комнаты.

Он пока еще не желал говорить с Артуром! Нет, разумеется! Позднее, когда он закончит восстановление «Нептуна», он будет диктовать Артуру свои условия.

Тут он, вздрогнув, открыл глаза, и его рассеянный лихорадочный взгляд тупо уставился на белый потолок. О чем это он думал? Ах да, вспомнил! Разумеется, о своем «Нептуне»! Тупое выражение исчезло с лица. Тусклые глаза увлажнились и засверкали. И как он не подумал об этом раньше? Мысль пришла смелая и блестящая. Он бросит всем вызов, явившись самолично в «Нептун»!

Трепеща от волнения и радости, он встал и сошел вниз. Пока все шло отлично. Внизу он не встретил никого. Все были заняты, озабочены, расстроены. Он прокрался в переднюю, торопливо схватил там свой котелок и нахлобучил на голову. Волосы, давно не стриженные, висели из-под котелка спутанной бахромой. Но ему было все равно. С большой осторожностью он вышел за дверь и остановился, пошатываясь, на ступеньках. Перед ним тянулась аллея с открытой калиткой в глубине, и у калитки не было никого. Там далеко, за лужайкой и раkitником, начиналась область запретная, опасная. Как Хильда, так и доктор Льюис объявили ее совершенно запретной и опасной. Предприятие было отчаянное, но Ричард шел на все. Спотыкающимся аллюром одолел он разом и ступени и дорожку — и наконец очутился на свободе. Правда, при этом покачнулся и чуть не упал, но какое это имело значение, раз он так скоро от всего избавится — от спотыкания, от стука в висках, «электричества», от всего этого отвратительного заговора против него.

Он прошел по аллее до Слус-Дин. Он не так глуп, чтобы идти к «Нептуну» обычной дорогой: эта дорога, конечно, под надзором и его перехватят. Нет, нет! Он не так глуп! Он выбрал длинный обходный путь — мимо рощи, через поле и «Снук», чтобы прийти на рудник с другой стороны. Он упивался ловкостью своего контрвыступления. Замечательно придумано, замечательно!

Но шел сильный дождь, и дорога, им выбранная, была грязна. От ливня все рытвины превратились в большие лужи, и Ричард едва волочил ноги. Скоро он вымок под дождем, был весь забрызган грязью. Он, спотыкаясь, шлепал по воде и грязи, пока не добрался до высокого перелаза в конце Слус-Дин.

Тут он остановился. Перелаз являлся непредвиденным препятствием. Ричард видел, что придется на него карабкаться. Но он не мог поднять ноги выше чем на шесть дюймов от земли, а ступенька перелаза находилась на высоте по меньшей мере восемнадцати дюймов.

Ричард не в силах был взобраться на такую высоту, и слезы задрожали в отуманенных старостью глазах.

Слезы и ярость — да, бешеная ярость! Он не побежден, нет! Эта приступка в плетне — только часть все того же заговора против него. Он должен и ее одолеть, эту коварную приступку! Дрожая от ярости, Ричард поднял руки и упал на плетень. Живот его пришелся у верхней ступеньки перелаза. Он секунду балансировал всем телом, словно плавая, на верхней ступеньке, затем кувырнулся через плетень. О чудо, чудо, он уже на той стороне! Он тяжело упал лицом в лужу грязи и лежал, задыхаясь, оглушенный; изо рта текла слюна, а молот в голове и «электричество» действовали вовсю, сквозь грязь и слякоть.

Долго лежал он так, потому что молот, казалось, что-то размозжил у него в голове, а грязь холодила ее снаружи. Но в конце концов поднялся — да, поднялся на локтях, потом стал на колени и наконец ужасным усилием — на ноги. Земля слегка качалась под ним, он потерял шляпу, его руки, лицо и одежда были сплошь измазаны грязью, но все это пустяки. Он опять на ногах и идет — идет к «Нептуну».

Идти теперь было уже не так легко. Молот ушиб его тяжело, правая нога онемела, приходилось волочить ее, как лишний груз. Это было странно, так как обычно и молот и «электричество» мучили его левую ногу, теперь же они принялись за правую ногу и за правую руку тоже. Вся правая сторона у него была как будто парализована.

Он шел все вперед, за лесок, потом по дорожке к «Снуку», пошатываясь и волоча одну ногу, с непокрытой головой, весь в грязи, с лихорадочным беспокойством устремив красные, налитые кровью глаза на копры «Нептуна», видневшиеся за послед-

ним рядом домов, окаймлявших «Снук». Он хотел идти быстро, но шел медленно; весь он был точно связан, точно тяжесть какая-то висела на нем, мешая идти. Он сознавал, что идет медленно, и это его бесило. Пытался заставить себя идти быстрее — и не мог; его преследовала мысль, что в «Нептуне» что-то происходит — разговор или катастрофа — и что он не попадет туда вовремя. Это доводило его до исступления.

Потом опять начал хлестать дождь, настоящий ливень. Дождь поливал его обнаженную голову. Длинные седые волосы прилипли к черепу, дождь, смывая грязь, заливал ею глаза, мешая видеть, стегал и мочил его.

Он остановился. Вся его ярость испарилась куда-то, и он стоял неподвижно под свистящими струями дождя. Он был испуган — и вдруг заплакал. Слезы мешались с каплями дождя и еще больше мочили щеки. Как слепой, двинулся он вперед. Ему хотелось найти какое-нибудь убежище.

В конце ряда домов, окаймлявших «Снук», находился кабачок, известный под названием «Приют шахтера», — убогое заведение, которое содержала вдова Сюзен Митчел. Сюда заходили только самые бедные рабочие, жившие в районе «Снука». Но Ричард вошел в эту харчевню под вывеской «Приют шахтера».

Он вошел, как будто занесенный сюда порывом ветра и дождя, и стоял на каменном полу, промокший до нитки, качаясь на ногах, как какой-нибудь старый и пьяный бродяга. В харчевне было только двое мужчин, двое рабочих в молескиновых штанах, — они играли в домино, и на единственном столике подле них стояли пустые пивные кружки. Рабочие усталились на Ричарда и захохотали.

Они его не узнали. Они приняли его за старого бродягу, который, видно, уже хватил малую толику. Один подмигнул другому и обратился к Ричарду:

— Эге, миленький, ты, видно, побывал на какой-нибудь свадьбе!

Ричард поглядел на него, и что-то в этом взгляде заставило обоих рабочих снова расхохотаться. Они тряслись от смеха. Затем второй сказал:

— Ничего, ничего, друг. Бывали и мы под хмельком. — Взяв Ричарда за плечи, он довел его до деревянной скамьи у окна. Ричард упал на нее. Он не сознавал, где находится, не понимал, кто

эти двое людей, глазевших на него. Он порылся в кармане, ища онемевшей рукой носовой платок, и в то время, как он его доставал, из кармана выпала монета и покатилась по каменному полу. Это была монета в полкроны.

Второй рабочий поднял ее, поплевал на нее и ухмыльнулся:

— Эге, брат, да ты богач, как я вижу! Поставишь по осьмушке на брата?

Ричард не понял, но второй рабочий решительно постучал по прилавку и крикнул:

— Три осьмушки!

Из задней комнаты вышла женщина, худая и бледная брюнетка. Она налила три порции виски, но, наливая третью, посмотрела с сомнением на Ричарда.

— Ему бы лучше не пить виски, — заметила она.

Первый рабочий сказал:

— Лишняя капля ему уже вреда не принесет.

Второй подошел к Ричарду.

— На, дружище, — сказал он. — Выпей!

Ричард взял поданный ему стакан и выпил его содержимое. От виски у него захватило дух, разлилась внутри теплота и снова молотом застучало в голове. Виски заставило его опять вспомнить о «Нептуне». Он решил, что дождь перестал. Рабочие смотрели на него так, что он в конце концов испугался их. Он вспомнил, что он — Ричард Баррас, владелец «Нептуна», человек с положением и состоянием. Он хотел уйти отсюда, добраться до «Нептуна», с усилием поднялся со скамьи и заковылял к двери. Вслед ему несли хохот двух мужчин.

Когда Ричард вышел из «Приюта шахтера», дождя уже не было. Яркое солнце над дымившейся равниной «Снука» резало ему глаза, но сквозь слепящий свет он разглядел копры «Нептуна», высившиеся над шахтой в божественном блеске. «Нептун», его «Нептун»! Рудник Ричарда Барраса! Он пустился бежать через «Снук».

Путешествие по «Снуку» было ужасно. Баррас не сознавал ничего. Ноги спотыкались на скользких кочках и в полных грязи выбоинах пустыря, ноги его не слушались, безжалостно ему изменяли. Он полз и карабкался на руках. Он барахтался на земле, как какая-то странная амфибия. Но он всего этого не сознавал. Он не чувствовал, что падал, что поднимался и снова падал. Тело

его было мертво, мозг мертв, но дух парил, стремясь к высокой жизненной цели. «Нептун», «Нептун»! Величие этих копров «Нептуна», высившихся впереди, тянуло его к себе, держало крепко. Все остальное было как смутный ночной кошмар.

Но он не добрался до рудника. На полдороге через «Снук» он упал и не встал больше. Его лицо под слоем грязи посерело, губы пересохли и посинели, он дышал учащенно и хрипло. «Электричество» больше не действовало — оно исчезло, оставив его тело обмякшим и расслабленным. Но молот в голове стучал еще сильнее — стучал, стучал так, что голова готова была лопнуть.

Баррас сделал слабую попытку подняться. Но тут молот нанес еще один, последний удар. Ричард упал ничком и не шевелился. Последние лучи заходящего солнца, пробиваясь из-за обугленных копров над шахтой, осветили изборожденную землю пустыря и распростертое мертвое тело. В безжизненной руке была зажата горсточка грязи.

XVIII

Наступил день третьего чтения билля о копях. Комиссия уже успела доложить его парламенту, он был ловко сведен на нет и испещрен поправками оппозиции. Сейчас обсуждалась поправка, внесенная достопочтенным членом парламента Сент-Клер-Буни, делегатом от Кестона. Мистер Сент-Клер-Буни с достойной восхищения юридической точностью предлагал в строке 3 пункта 7 перед словом «назначен» вставить слова «должным образом». И вот уже больше трех часов шло мирное обсуждение этого оборота, и все это время члены правительства и его сторонники из оппозиции имели широкую возможность восхвалять билль.

Дэвид сидел, скрестив руки, с бесстрастным видом, и слушал дебаты. Один за другим поднимались сторонники правительства и перечисляли трудности, с которыми пришлось им столкнуться, и исключительные усилия, которые они делают и будут делать, чтобы эти трудности преодолеть. Кипя негодованием, слушал Дэвид речи Дэджена, Беббингтона, Хьюма и Клегхорна. Каждое слово — защита компромисса и проволоочки. От искушенного и еще обостренного волнением слуха Дэвида не ускользал ни один оттенок: в каждой фразе — тайное заискивание,

усердное стремление позолотить пилюлю. Сидя тут, внешне спокойный, но в душе разъяренный, Дэвид старался перехватить взгляд спикера. Он должен сегодня взять слово! Невозможно оставаться пассивным свидетелем такого предательства! Неужели для этого он трудился, боролся, этому отдал свою жизнь?

Пока он ждал, все сделанное им за эти годы прошло в его памяти: скромное начало в конторе Союза горняков, барахтанье в луже местной политики, длительные неослабные усилия в последние годы, тяжелый труд, борьба, в которую он вкладывал всю душу. И для чего, если этот ничтожный законопроект, это отречение от всяких обязательств, эта пародия на справедливость, все разом уничтожила?

Он порывисто поднял голову, полный яростной решимости, сверля расширенными зрачками очередного оратора. Говорил Стон, старый Юстес Стон, который начал свою деятельность в качестве радикала, на выборах перешел к либералам, а потом, во время войны, раз навсегда перекрасился в цвета тори. Стон, мастер политической казуистики, хитрая старая лиса, превозносил билль в надежде на то, что попадет в ближайший список лиц, пожалованных званием пэра. Всю свою жизнь Стон жаждал этого титула, и теперь он облизывался на него, как на роскошную кисть винограда, которая клонится все ниже и ниже, дюйм за дюймом, пока не окажется почти у его щелкающих челюстей. В своем стремлении к популярности он разбрасывал букеты направо и налево, ударился в цветистую декламацию. Его тезисом было благородство шахтера, — и он искусно пользовался им, опровергая всякие мнения, будто новый закон может вызвать недовольство среди рабочих.

— Кто здесь, в парламенте, — звучным голосом провозглашал он, — осмелится утверждать, что в сердце британского шахтера таится хотя бы малейшая тень вероломства? Лучшим из всего, когда-либо сказанного на этот счет, является столь поэтически выраженное мнение уважаемого делегата Карнарвонского округа. Прошу разрешения у почтенного собрания прочесть эти памятные строки. — Он сложил губы бантиком и процитировал: — «Я видел рудокопа на работе — и нет работника лучше его. Я видел его в роли политического деятеля — и нет политика более здравомыслящего, чем он. Я слушал его, как певца, — и не слыхивал пения слаще. Я видел его на футбольном поле — и он гроза всех

футболистов. На всех поприщах он надежен, и серьезен, и важен...»

«О господи, долго это еще будет продолжаться?» — просто-насленно Дэвид. Он думал о пожаре в «Нептуне», этом акте саботажа, который сам по себе был непростительным безумием и в то же время естественным восстанием шахтеров против своей участи. И по мере того как лицемерные фразы одна за другой сыпались с губ хитрого Стона, в душе Дэвида разгоралось страстное возмущение. Он бросил быстрый взгляд на Нэджента, который сидел рядом с ним, заслонив лицо рукой. Нэджент чувствовал то же, что и он; но у Нэджента было больше покорности, был какой-то фатализм, помогавший ему смиряться перед неизбежным. Дэвид же не мог смириться, подобно Нэдженту. «Никогда, ни за что!» — твердил он себе. Он должен, должен сегодня выступить. В мучительном ожидании этой минуты он готовился быть спокойным, хладнокровным и смелым. Как только Стон довел до конца свою хитроумную и высокопарную речь и, сияя на все стороны улыбкой, сел на место, Дэвид вскочил.

Он ждал, застыв в напряжении. Перехватил взгляд спикера. Он вздохнул долгим, мучительным вздохом, и с этим вздохом все его тело как будто пронизала волна решимости. Он решил сделать одно великое усилие и противопоставить биллю мощь той правды, за которую он боролся всю жизнь. Он снова перевел дух. Заговорил медленно, почти бесстрастно, но с такой беспредельной искренностью, что после напыщенного красноречия предыдущего оратора внимание всего зала сразу же приковалось к нему.

— Я целый день сегодня слушал прения. Я от души жалею, что не могу разделить восторгов моих уважаемых коллег по поводу законопроекта. — Пауза. — Но, внимая их пышным фразам, я невольно подумал о тех рабочих, о которых так поэтично говорил здесь предыдущий оратор. Члены палаты знают, что я несколько раз уже обращал их внимание на неблагополучие в угольном районе, не раз предлагал я уважаемым членам палаты сопровождать меня туда и собственными глазами убедиться, какое страшное, безнадежное отчаяние крадется там по улицам. Увидеть выброшенных из жизни мужчин, убитых отчаянием женщин и детей, у которых голод написан на лицах. Если бы уважаемые члены палаты приняли мое приглашение, они бы ахнули от удивления: «Да как же умудряются эти люди жить?» На это

один ответ: они *не живут*, они прозябают. Они разбиты, деморализованы, несут бремя, которое тем ужаснее, что оно тяжелее всего ложится на слабых и молодых. Мои почтенные коллеги, без сомнения, встанут и заявят мне, что я преувеличиваю. Позвольте мне сослаться на отчеты школьных медицинских работников в угольных районах, хотя бы в моем районе, — в отчетах этих вы найдете полное и подробное подтверждение моих слов. Разутые и раздетые дети, вес которых значительно ниже нормального, дети, признанные недоразвитыми вследствие недостаточного питания. Недостаточное питание! Может быть, у достойных членов парламента хватит пронизательности, чтобы понять истинный смысл этого деликатно завуалированного выражения? Не так давно, на открытии нынешней сессии парламента, мы еще раз имели возможность видеть всю ту пышность, великолепие и блеск, которые — как будут, конечно, убеждать меня коллеги — говорят о величии нашей нации. А сопоставил ли хотя бы один из вас на миг всю ту роскошь с той нищетой, горем, лишениями и страданиями, которые существуют наряду с величием нации? Может быть, я очень несправедлив к данному собранию. — Нота горького возмущения прозвучала в голосе Дэвида. — Но я дважды слышал, как один из членов палаты вносил предложение открыть сбор пожертвований для облегчения нужды в районе копей. Ну слыхано ли что-нибудь более позорное? Эти люди, хотя и изголодавшиеся до полного истощения, не нуждаются в вашей благотворительности! Они нуждаются в справедливости! А новый законопроект им ее не даст. Это — помощь только на словах, это — лицемерие! Разве вы не понимаете, что угольная промышленность по самой природе своей отличается от всякой другой? Она единственная в своем роде. Это не только процесс добывания угля, это основная промышленность, доставляющая сырье для половины процветающих предприятий нашей страны. И людей, с опасностью для жизни добывающих этот на-суточно-необходимый продукт, держат в нищете, платят им гроши, которых не хватило бы на то, чтобы оплатить счет за сигары любого из членов парламента. И неужели кто-нибудь из вас честно убежден, что этот лицемерный, совершенно не отвечающий цели билль спасет промышленность? Если найдется такой человек, пускай он выйдет вперед! В нынешней системе разработки царит хаос — следствие не экономических, а исторических

и личных влияний. Как мы уже говорили, она построена не на геологических, а на генеалогических данных. Подумали ли члены парламента о том, что Англия — единственная в мире страна, которая при крупной добыче угля не имеет общественного и государственного контроля над разработками? Две назначенные королем комиссии настойчиво рекомендовали ввести национализацию минеральных богатств, чтобы государство могло реорганизовать угольные разработки на основе новейших научных изысканий. Нынешний кабинет перед избранием обязался национализировать все рудники. И как же он сейчас выполняет это свое обязательство? Продолжая поддерживать хаос, слепо ища выхода в старой системе конкуренции, применяя насильственное удушение производства, уменьшая добычу, вместо того чтобы расширять рынок, и субсидируя неисправные копи, вместо того чтобы их закрывать, выбрасывая на улицу сотни, тысячи рабочих — тех, кто создает богатство страны. Предупреждаю вас: вы еще можете, конечно, в течение короткого времени продолжать в таком же духе, но это неизбежно приведет к полному угнетению рабочих и разорению страны.

Голос его зазвучал громче:

— Вы больше не сможете для оживления промышленности высасывать кровь из жил шахтеров. Их жилы ссохлись и опустели. Нищенская оплата труда и голод существуют в горнопромышленных районах постоянно с начала войны, и все это время член палаты, который только что выступал до меня, твердил народу, что нам надо только убить достаточное количество германцев, чтобы жить затем в мире и благоденствии до конца своих дней. Так пусть же парламент поостережется обречь шахтеров на дальнейшие годы страданий!

Дэвид снова остановился и после паузы заговорил убеждающим, почти молящим тоном:

— Этот предлагаемый нам законопроект, в сущности, признает, что рудники частных владельцев не могут выдержать конкуренции с большими объединениями. Разве это уже само по себе не указывает на необходимость национализации промышленности? Палата не может остаться слепой к тому факту, что имеется разработанный великий план, который устранил расточение богатств страны, даст возможность работать с высочайшей производительностью, снизит себестоимость и цены, вызовет большее

потребление электрической энергии. Почему же наше лейбористское правительство игнорирует этот план, предпочитая поддерживать капиталистические объединения? Почему правительство не заявит смело: «Мы намерены раз навсегда покончить с беспорядком, который оставлен нам в наследство нашими предшественниками. Мы навсегда уничтожим систему, которая привела нас к этому хаосу. Мы передадим в собственность всего народа горные разработки и будем управлять ими на благо всей стране».

Последняя пауза, и затем голос Дэвида поднялся до высочайшего пафоса страстной мольбы:

— Я призываю палату, во имя чести и совести, пересмотреть вопрос, о котором я говорил сейчас. И до голосования я обращаюсь особенно к моим товарищам по партии, вошедшим в правительство. Я заклинаю их не изменять рабочим и тому движению, которое привело их сюда. Я умоляю их вновь обдумать свое решение, отказаться от этой паллиативной меры, выполнить свои обязательства и внести честный проект национализации. Если мы потерпим поражение в этих стенах, мы можем обратиться за полномочиями ко всему народу. Я прошу вас, умоляю добиваться их в случае этого доблестного поражения.

Когда Дэвид сел на место, в зале наступило мертвое молчание, молчание нерешительное и вместе с тем напряженное. Речь произвела впечатление, но затем Бейбингтон тоном холодного безразличия бросил следующие слова:

— Уважаемый делегат Слискейлского района, очевидно, полагает, что правительству национализировать копи так же легко, как ему — получить разрешение держать собаку.

По залу прошелестел неуверенный, неловкий смешок. Потом состоялось историческое выступление достопочтенного Бэзила Истмена. Этот член палаты, молодой консерватор из центральных графств, в свои редкие посещения палаты все время находился в дремотном состоянии, как будто страдал наследственной сонной болезнью. Но он обладал одним редким талантом, за который его и ценили в партии тори: он умел в совершенстве подражать крикам различных животных. И сейчас, очнувшись от обычной сонливости при слове «собака», он выпрямился на стуле и вдруг завизжал, залаял, подражая встревоженной гончей. Палата дрогнула, все затаили дыхание и вслед за тем захихикали. Хихиканье становилось громче, перешло в смех. Палата гре-

мела восторженным хохотом. Несколько человек поднялось. Комиссия поставила вопрос на голосование. Критический момент прошел благополучно. Когда делегаты повалили в кулуары, Дэвид, никем не замеченный, вышел на улицу.

XIX

Дэвид направился в Сент-Джеймс-парк. Шел быстро, будто спешил по какому-нибудь делу, и смотрел прямо перед собой. Он и не заметил, как пришел в парк, он думал только об одном — о своем провале.

Он не испытывал ни унижения, ни досады по поводу этого провала — одну только большую печаль, как груз, пригивавшую его к земле. Заключительный выпад Беббингтона не уязвил его, глумление Истмена и хохот в палате не вызвали в нем никакого озлобления. Мысли его устремлялись куда-то вперед, к какой-то отдаленной точке, где они сосредоточивались и излучали печаль, — и печаль эта была не о себе.

Он вышел из парка к арке Адмиралтейства, так как машинально сделал круг по главной аллее, и тут шум уличного движения проник в его сознание. Он стоял некоторое время, наблюдая бурлившую вокруг жизнь, спешивших куда-то мужчин и женщин, поток такси, омнибусов, автомобилей, которые мчались перед его глазами в одном направлении, все ускоряя ход и гудя, словно каждый из них отчаянно старался опередить всех. Они протискивались один мимо другого, не оставляя свободным ни единого дюйма, и мчались все в одну сторону, как бы совершая круговорот.

Дэвид смотрел, и тоска все сгущалась в его печальном взгляде. Бешеный бег автомобилей был как бы символом человеческой жизни, этого движения в одном направлении. Все вперед да вперед, вперед да вперед. Всегда в одном направлении. И каждый — сам по себе.

Он изучал лица спешивших мимо мужчин и женщин, и в каждом чудилось ему странное напряжение, словно каждый из этих людей был поглощен созерцанием интимной, отдельной жизни, происходившей внутри него, — и ничем больше. Одного занимали только деньги, другого — еда, третьего — женщины. Первый

отнял сегодня пятьдесят фунтов у другого человека на бирже — и был доволен, второй вызывал в своем воображении раков, и паштет, и спаржу — и силился решить, что ему более по вкусу, а третий взвешивал мысленно свои шансы на обольщение жены компаньона, которая вчера вечером за обедом улыбалась ему весьма многозначительно. Дэвида вдруг поразила ужасная мысль, что каждый человек в этом мощном, стремительном потоке жизни живет своими собственными интересами, своей личной радостью, личным благополучием. Каждый думает только о себе, и жизнь других людей для него — лишь дополнительные аксессуары его собственного существования, не имеющие значения; важно лишь все, что касается его самого. Жизнь других людей кое-что значила для каждого лишь постольку, поскольку от нее зависело *его* счастье, и каждый готов был принести в жертву счастье и жизнь других, готов был надуть, мошенничать, истреблять, уничтожать во имя своего блага, личных выгод, во имя себя самого.

Эта мысль убивала Дэвида. Он хотел уйти прочь от нее и от бешеного круговорота уличного движения — и торопливо зашагал дальше.

Он пошел по Хей-Маркет. На Хей-Маркет на углу Пентон-стрит стояли и пели несколько рабочих, группа из четырех человек. Дэвид узнал в них углекопов. Они стояли друг против друга, все молодежь, и сблизили головы так, что их лбы почти соприкасались. Они пели песню на уэльском наречии. Это были молодые углекопы из Уэльса: доведенные до полной нищеты, они пели на улицах, а мимо них проносилось все богатство, вся роскошь Лондона.

Песня была допета, и один из рабочих протянул коробку. Да, видно было, что это шахтер. Он был гладко выбрит, его костюм, хоть и убогий и нескладный, был опрятен — словно он старался подтянуться, не опускаться, удержаться от падения в ту тряси-ну, что ожидала его. Дэвид различал мелкие синие шрамы — следы шахты — на этом чистом, гладковыбритом лице. Он положил в коробку шиллинг. Рабочий поблагодарил без подобострастия, и Дэвид с еще большим унынием подумал: «Может быть, этот шиллинг поможет больше, чем все мои усилия, и стремления, и речи за последние пять лет?»

Медленно направился он к станции метро на Пикадилли.

Придя туда, взял билет и сел в первый поезд. Напротив него сидел рабочий и читал вечернюю газету — читал его речь, появившуюся уже в последнем выпуске. Рабочий читал медленно, сложив газету маленьким квадратиком, пока поезд громыхал через темные гулкие туннели подземной дороги. Дэвиду хотелось спросить у этого человека, что он думает о его речи. Но он не спросил.

На станции Бэттерси он вышел и пошел к Блоунт-стрит. Входя в дом № 33, он почувствовал, что устал, и с некоторым облегчением поднялся по лестнице, устланной истертым ковром. Но миссис Такер остановила его на полдороге, появившись в открытой на лестницу двери своей гостиной. Дэвид повернулся к ней.

— Вас вызывала по телефону доктор Баррас, — сообщила хозяйка. — Она звонила несколько раз, но ничего не хотела передать через меня.

— Благодарю вас, миссис Такер.

— Она сказала, чтобы вы позвонили ей, как только придете.

— Хорошо.

Он подумал, что Хильда звонила, чтобы выразить ему сочувствие, и, благодарный за это, однако, не был склонен выслушивать утешения. Но миссис Такер настаивала:

— Я обещала доктору Баррас, что вы позвоните ей в ту же минуту, как придете.

— Да, да, хорошо, — сказал опять Дэвид и подошел к телефону, тут же на площадке. Когда он вызывал номер телефона Хильды, он услышал, как удовлетворенно щелкнула дверь миссис Такер.

Дозвониться к Хильде удалось не сразу, но как только их соединили, Хильда ответила. Она, очевидно, сидела в ожидании у телефона.

— Алло! Хильда, вы? — Голос Дэвида, помимо его воли, звучал равнодушно и устало.

— Дэвид! Я весь день пыталась вас поймать!

— Слушаю.

— Мне нужно вас видеть, сегодня, сейчас.

Он медлил:

— Простите, Хильда, но я несколько устал. Может быть, вы позволите...

— Это необходимо, — перебила она. — Очень важно. Сейчас.

Пауза.

— Но в чем же дело?

— Не могу объяснить по телефону. — Она помолчала. — Дело касается вашей жены.

— Что?!

— Да.

Он стоял с телефонной трубкой в руке, как наэлектризованный. Исчезла усталость, безразличие — все!

— Дженни? — сказал он как бы про себя.

— Да, — подтвердила Хильда.

Снова мгновение без слов, потом Дэвид заговорил быстро, почти бессвязно:

— Вы видели Дженни? Где она? Говорите же, Хильда. Вам известно, где Дженни?

— Да, известно, — донесся ответ Хильды.

И снова в душе Дэвида все всколыхнулось.

— Так скажите же! Почему вы не можете мне сказать?

— Вам надо прийти ко мне, — отвечала она ровным голосом. — Или, если хотите, я приду к вам. По телефону мы об этом разговаривать не можем.

— Ну хорошо, хорошо, — торопливо согласился он. — Я сейчас приеду.

Он повесил трубку и бегом спустился по лестнице, по которой только что так медленно поднимался. Наняв на Булл-стрит проезжавшее такси, он помчался к дому, где жила Хильда. Через семь минут он звонил у ее двери.

Прислуги не было дома, и Хильда открыла сама. Он жадно смотрел на нее, чувствуя, как колотится сердце от этой спешки и волнения. Он изучал лицо Хильды.

— Ну? — сказал он быстро.

Он почти надеялся, что Дженни окажется здесь, у Хильды. Может быть, поэтому Хильда просила его приехать к ней?

Но Хильда покачала головой. Лицо ее было бледно и печально. Она ввела его в комнату, окно которой выходило на Темзу, и села, не глядя на него.

— В чем же дело, Хильда? — спросил он. — Случилось что-нибудь неприятное?

Она сидела совершенно прямо и неподвижно в своем строгом темном платье. Черные волосы, зачесанные назад, открывали

бледный лоб, красивые бледные руки лежали на коленях, выделяясь на темном платье. Казалось, она боится заговорить. И она действительно боялась. Но наконец сказала:

- Дженни сегодня пришла ко мне в клинику.
- Она больна? — Лицо Дэвида выразило тревогу.
- Да, больна.
- И она в больнице?
- Да, в больнице.

Молчание. Живая радость сразу сменилась острой болью. Клубок подкатился к горлу.

- А чем она больна? — спросил он. — Неужели серьезно?
- Да, боюсь, что довольно серьезно, Дэвид.

Хильда все еще не глядела на него.

— Она сегодня днем пришла ко мне на амбулаторный прием. Она не подозревает, что так серьезно больна. Она просто обратилась ко мне, так как меня знает...

- Но это опасно? — попытывался Дэвид с испугом.
- Да... внутренняя опухоль... Думаю, что опасно.

Он смотрел широко открытыми глазами на Хильду, но видел не ее, а Дженни, бедную маленькую Дженни, и в глазах его были тревога и глубокая нежность.

Он сделал инстинктивное движение:

— Я сейчас иду в больницу. Не буду терять ни минуты. Вы пойдете со мной или мне одному идти?

— Погодите, — сказала Хильда.

Он остановился, не дойдя до двери. Теперь у Хильды побелели даже губы. Она была в сильном замешательстве.

— Мне не удалось поместить Дженни в клинику Святой Елизаветы, — сказала она. — Я сделала все, что могла, но не удалось. Видите ли... есть причина... мне пришлось отослать ее... устроить в другой больнице... пока.

— В какой?

Хильда наконец взглянула на него. «Все равно, рано или поздно он узнает», — подумала она и сказала:

— В больнице для венериков на Кеннон-стрит.

Дэвид сначала не понял и в каком-то удивлении уставился на смущенное лицо Хильды; но это продолжалось несколько секунд. Неясный крик боли вырвался у него.

— Ничего не поделаешь, я не могла скрыть это от вас, — сказала Хильда и отвела глаза, потому что ей было тяжело видеть,

как он страдает. Она стала смотреть в окно на реку, катившую свои воды вниз. Река текла бесшумно. И в комнате стояла тишина. Тишина длилась долго-долго, пока не заговорил Дэвид:

— Меня пустят к ней?

— Да, я могу это устроить. Позвоню туда сейчас.

Она запнулась, все еще не глядя на него:

— Или, может быть, хотите, чтобы я поехала с вами?

— Нет, Хильда, я пойду один, — пробормотал Дэвид.

Он стоял, пока Хильда разговаривала по телефону с врачом больницы. И когда она сказала, что все устроено, он торопливо поблагодарил ее и вышел. У него подкашивались ноги. Одну минуту ему казалось, что он сейчас упадет в обморок, и он прислонился к окружавшей дом ограде. Ему это было ужасно неприятно, он боялся, что Хильда выглянет из окна и увидит его, но ничего не мог с собой поделать. В одной из нижних квартир граммофон играл: «Ты сердца моего отрада». Эту песенку теперь повсюду играли и пели, весь Лондон помешался на ней.

Дэвид вспомнил, что он с утра ничего не ел, и подумал: «Надо поесть, иначе мне может стать дурно в больнице».

Он выпустил из рук холодные железные острия ограды, за которые было ухватился, и прошел по набережной до ближайшей кофейни. Это был, собственно, извозничий трактир. Хозяин, заметив, должно быть, что Дэвид чувствует себя нехорошо, принес ему горячего кофе с сэндвичем.

— Сколько? — спросил Дэвид.

— Пять пенсов, — отвечал хозяин.

Все время, пока Дэвид пил кофе, закусывая сэндвичем, граммофонный мотив не выходил у него из головы.

Больница для венериков. Она была недалеко, и такси быстро доставило его туда. Он сидел, сгорбившись, в чистеньком, новом такси с пучком желтых бумажных цветов в металлической вазе. В такси слабо пахло духами и папиросами, казалось, что это желтые бумажные цветы благоухают духами и дымом.

Швейцар венерической больницы на Кеннон-стрит был старый человек в очках. От старости он был медлителен и, несмотря на переговоры Хильды по телефону, задержал Дэвида у входа. Дэвид ожидал в вестибюле, пока старик звонил по внутреннему телефону в палату. Пол был выложен красными и голубыми плитками, а края его загибались к стенам, чтобы помешать скоплению пыли.

Медленно провизжал лифт, и Дэвид очутился перед дверью в палату. Там внутри была Дженни, его жена. Сердце его билось так часто, что он задышался. Он вошел вслед за сестрой в палату.

Это была длинная, прохладная и белая комната с узкими белыми койками вдоль стен. Все здесь было ослепительно-бело; и в каждой ослепительно-белой постели лежала женщина. А в голове у Дэвида граммофон продолжал наигрывать: «Ты сердца моего отрада».

Дженни... Наконец-то Дженни, его жена, — на последней койке, в белоснежной постели, за красивой белой ширмой. Лицо Дженни, такое знакомое и любимое, появилось перед его глазами среди странно внушительной белизны палаты. Сердце в нем перевернулось, дышать стало еще труднее. Он весь дрожал.

— Дженни! — шепнул он.

Палатная сестра бросила на него только один взгляд и вышла. Губы сестры были поджаты, бедра колыхались.

— Дженни, — шепнул он вторично.

— Я так и знала, что ты придешь, — сказала она и слабо улыбнулась ему своей прежней, вопросительной и заискивающей, улыбкой.

У Дэвида сжалось сердце, он не мог вымолвить ни слова и тяжело опустился на стул у койки. Больше всего поразило его выражение глаз Дженни. Оно напоминало взгляд побитой собаки. Щеки ее покрылись сеткой тонких красных жилок, губы были белы. Она все еще была хороша и не постарела, но это красивое лицо уже несколько обрюзгло. На нем был трагический отпечаток истасканности.

— Да, — повторила она, — я так и думала, что ты придешь. Тебе, может, странно, что я обратилась к доктору Баррас, но когда я заболела, мне не хотелось обращаться к кому-нибудь чужому. Про Хильду Баррас я слыхала. В Слискейле мы были с ней знакомы и... Ну, вот я и пошла к ней! И потом, я подумала, что ты, наверное, узнаешь и придешь меня навестить.

Дэвид видел, что она рада его приходу. В Дженни не замечалось и следа того мучительного чувства, которое глодало его. Лицо ее выражало удовольствие, смешанное с легким раскаянием. Дэвид сделал над собой усилие и заговорил.

— Хорошо тебе здесь? — спросил он.

Она покраснела, немного стыдясь того, что в старые времена назвала бы «своим положением», и сказала натянуто:

— О да, очень хорошо. Конечно, это бесплатная больница. Но сестра у нас такая милая. Настоящая леди.

Голос у Дженни был несколько сиплый. Один из зрачков был расширен и казался чернее и больше другого.

— Я рад, что тебе тут хорошо.

— Да, — продолжала она. — Впрочем, я никогда не любила больниц. Помню, когда папа сломал ногу... — Она улыбнулась Дэвиду, и ее улыбка резнула его по сердцу: ох, это заискивающее выражение побитой собаки!

Он сказал тихо:

— И хоть бы раз ты написала мне, Дженни!

— Я читала про тебя. Так много читала о тебе в газетах. И знаешь, Дэвид... — Она вдруг оживилась. — Знаешь, ты на улице как-то прошел мимо меня. На набережной. Ты прошел так близко, что чуть не задел меня.

— Почему же ты меня не окликнула?

— Видишь ли... Сначала я хотела, потом раздумала... — Дженни снова немного покраснела. — Понимаешь, со мною был один знакомый.

— Понимаю.

И, помолчав, Дэвид сказал:

— Так ты жила в Лондоне.

— Да, — подтвердила она смиренно, — я ужасно полюбила Лондон. Его рестораны, и магазины, и все такое... Жилось мне хорошо, даже очень хорошо. Не думай, что мне все время не везло. Бывали хорошие времена, и очень часто.

Дженни замолчала и протянула руку за стоявшей у постели чашкой с носиком, из которой поят больных. Дэвид торопливо взял ее и подал.

— Какая забавная! — заметила она. — Совсем как маленький чайничек!

— У тебя жажда?

— Нет, но с желудком что-то неладно. Это скоро пройдет. Доктор Баррас сделает мне операцию, когда я окрепну. — Она говорила это почти с гордостью.

— Разумеется, Дженни.

Она отдала обратно поильник и при этом посмотрела на Дэвида. Что-то в его взгляде заставило ее опустить глаза. Оба молчали.

— Ты прости меня, Дэвид, — сказала она наконец, — прости, если я поступила с тобой нехорошо.

Слезы выступили на глазах Дэвида. С минуту он не мог ни слова выговорить, потом сказал шепотом:

— Выздоровливай, Дженни. Это единственное, чего я хочу.

Она спросила глухо:

— Ты знаешь, какая это палата?

— Да.

Молчание. Потом Дженни:

— Меня от этого вылечат до операции?

— Конечно, Дженни.

Новая пауза. Потом Дженни вдруг заплакала. Она плакала тихо, в подушку. Из глаз, напоминавших глаза побитой собаки, тихо бежали слезы.

— Ах, Дэвид, — всхлипывала она, — мне стыдно смотреть на тебя.

Вошла сестра.

— Уходите, уходите, — сказала она. — Я думаю, на сегодня довольно.

И стояла бесстрастная, суровая.

Дэвид сказал:

— Я опять приду, Дженни. Завтра.

Дженни улыбнулась сквозь слезы:

— Да, приходи завтра, Дэвид, непременно приходи!

Он встал, нагнулся и поцеловал ее.

Сестра проводила его до вертящейся двери, сказала холодно:

— Вам бы следовало знать, что вряд ли благоразумно целовать кого-нибудь в этой палате.

Дэвид ничего не ответил. Вышел из больницы. На Кеннон-стрит шарманка играла: «Ты сердца моего отрада».

XX

Было около десяти часов, когда тетушка Кэролайн, любуясь прекрасным октябрьским днем из окна своей комнаты на Линден-плейс, решила совершить «маленькую прогулку». Когда погода благоприятствовала, тетушка два раза в день — утром и после обеда — совершала небольшие прогулки. Эти мирные и чинные прогулки были главным развлечением тетушки Кэрри в Лондоне.

Да, она жила в Лондоне. Странно ей было очутиться в этом центре империи, который всегда издали казался таинственным и пугал ее. Впрочем, что ж тут такого странного? Ричард умер, «Нептун» продан, восстановлен и пущен в ход фирмой «Моусон, Гоулен и К^о». «Холма», увы, тоже больше нет: его избрал своей резиденцией мистер Гоулен и, по слухам, тратил огромные суммы на перестройку дома и на сад. О боже, боже! Тетя Кэрри вздрогнула при мысли о том, что ее грядок со спаржей коснутся неумелые руки. Как можно было примириться со всеми этими переменами и оставаться в Слискейле? Да ее и не приглашали остаться. Артур, поступивший на место помощника смотрителя в «Нептуне», был всегда мрачен и угрюм и не предложил ей поселиться с ним в маленьком домике, снятом им на Хедли-роуд. Никогда она не забудет ту ужасную ночь, когда он воротился из Тайнкасла пьяный и резко предупредил ее, что ей теперь придется «устраиваться как знает». Бедный Артур! Он не подозревал, как больно его слова задели ее. И не потому, что она стремилась остаться там, где чувствовала себя некогда в подходящей сфере, но где теперь была бы предметом тягостного сострадания. Ей только шестьдесят четвертый год. У нее сто двадцать фунтов годового дохода. Это давало независимость. И Лондон, город интеллекта и культуры, ждал ее. Замирая перед собственной отчаянной смелостью, она все это обдумала со своей обычной обстоятельностью. В Лондоне она будет подле Хильды, которая в последнее время добра к ней, и недалеко от Грэйс, которая всегда к ней хорошо относилась.

«Милая Грэйс, — думала тетя Кэрри, — все такая же простодушная и нетребовательная! Она бедна, но живет беззаботно со своим мужем и выводком ребят, не гонясь за деньгами и всякими материальными благами. Счастливая! Да, счастливая и здоровая». Тетушка намеревалась каждый год непременно проводить месяц-другой в Барнхеме. Наконец, имелась еще Лаура, Лаура Миллингтон, которая все эти годы жила со своим инвалидом-мужем в Борнмаусе. Разумеется, надо будет съездить и к Лауре. Вообще, тетя Кэрри рисовала себе радужные перспективы жизни в Южной Англии. Последние тридцать лет она провела главным образом у постели больных — Гарриэт и Ричарда. Может быть, тетюшка немного и устала ходить за больными и менять им испачканное белье.

Из кварталов Лондона ее, естественно, привлекал больше всего Бейсуотер. Никто не знал лучше тети Кэрри, что Бейсуотер «помнит лучшие времена», а она ведь несколько гордилась тем, что тоже знавала эти лучшие времена.

Остатки аристократического величия Бейсуотера будили сентиментальный отзвук в ее сердце и заставляли ее склонять голову с чувством смирения, не лишенным приятности. К тому же Линден-плейс — такое подходящее место: весной деревья здесь зеленеют так нежно и пленительно на фоне линияло-желтой штукатурки старых домов, а улица одним концом упирается в церковь, которая создает должную атмосферу и приносит сердцу утешение. Тетушка Кэрри в последнее время стала еще набожнее, утренние и вечерние службы в церкви Святого Филиппа, которую она усердно посещала, часто исторгали из ее глаз сладостные слезы. С колокольной летел ввысь чистый и тонкий звон, на улице весело кричал развозчик молока, из нижних этажей разносился запах жарившейся баранины. Дом миссис Гиттинс, № 104, в котором после тщательного обследования тетюшка Кэрри выбрала себе комнату, имел в высшей степени почтенный вид, и ванна была всегда чистая, хотя эмаль во многих местах треснула и откололась. Опустив в щель автоматической газовой колонки монету в два пенса, вы получали отлично нагретую воду, и, как и полагается в приличных домах, стирка в ванной комнате была строго запрещена. Население дома миссис Гиттинс состояло исключительно из пожилых дам, если не считать одного молодого индуса, студента-юриста. Но даже и он, несмотря на то что был темнокожий, соблюдал в ванной безупречную чистоту.

Думая о многочисленных удобствах своего жилища, тетя Кэрри отвернулась от окна и обозрела комнату. Здесь она чувствовала себя уютно, окруженная всеми своими вещами, своими сокровищами. Какое счастье, что она никогда в жизни ничего не выбрасывала! Теперь комната вся обставлена и украшена дорогими ее сердцу вещами. На столе — модель швейцарского шале, которую Гарриэт привезла ей из Люцерна сорок лет тому назад; резьба чудесная, а внутри — крошечные коровки. И подумать только, что однажды она чуть не отослала эту модель на благотворительный базар в Сент-Джеймсе! А вот на ручке звонка, над мраморной полкой камина, висят три открытки, которые Артур прислал ей когда-то из Булони и которые она много лет тому назад сама

вставила в картонные рамочки. Ей всегда нравились эти открытки, на них такие веселые краски, — ну и, конечно, иностранные марки, которые так и остались на оборотной стороне, со временем могут иметь некоторую ценность. А на другой стене — ее собственная работа, выжигание по дереву, сделанное для дорогой Гарриэт четырнадцать лет тому назад. Очень хороши стихи, которые начинаются так: «Великий день, когда впервые ты узрела свет». Ну и работа искусная: ведь она в свое время считалась мастерицей в этом деле.

Все здесь, все решительно! Безделушки, фотографии, альбом на столике, сервиз госсовского фарфора, пожелтевший глобус, сохранившийся с ее школьных дней, большая раковина, которая всегда стояла рядом с глобусом, принадлежности для игры в солитер, среди которых не хватало одного стеклянного шарика, потерянного Артуром, когда ему было семь лет, — о, как она перепугалась тогда, боясь, не проглотил ли он шарик! — перочистка, соединенная с клякспапиrom, придворный адрес-календарь и географический справочник 1907 года. Она сберегла даже плетеную хлопущку для мух, которую купила для Ричарда в последние дни его жизни.

Эта комната была как бы отображением всей жизни тетушки Кэрри; и в ней тетушка не жаловалась на судьбу, — нет, здесь она вспоминала все ее милости, и вспоминала с благодарностью.

Однако пора было идти на прогулку. Она подошла к квадратному зеркальцу, надела перед ним шляпу. Шляпа была куплена семь лет тому назад и, пожалуй, немножко выцвела за это время, а перо немного растрепалось, но все же это отличная шляпа. Натянув перчатки, тетушка взяла под мышку туго свернутый зонтик так, как держат ружье. В последний раз оглядела комнату: полхлеба и кувшинчик молока аккуратно убраны на полку; рядом — оставшиеся со вчерашнего дня томаты, жестянка с какао, прикрытая, чтобы оно не отсырело, заботливо выключенная газовая горелка, окно, открытое ровно настолько, чтобы проветривалась комната, нигде ни единой брошенной спички, всюду чистота и порядок. Удовлетворенная осмотром, тетя Кэрри вышла с гордо поднятой головой.

Она гуляла по Линден-плейс и Вестборн-Гров, рассматривая витрины магазинов и любуясь многими из выставленных вещей. Потом в конце Вестборн-Гров зашла к Меррету с деловым видом

постоянной покупательницы. Магазин у Меррета чудесный, это лучший из больших универсальных магазинов, здесь можно ходить и любоваться всем, решительно всем. С полчаса тетя Кэрри бродила по отделениям магазина, склонив набок голову в старомодной черной шляпке, разглядывая все, и даже раза два останавливалась и приценивалась. Продавцы были относительно вежливы, и тетя Кэрри особенно ценила это, ибо ее покупки у Меррета были весьма скромны. Ее материальное благосостояние, выразившееся в ста двадцати фунтах годового дохода, было вполне прочно; тем не менее факт оставался фактом: безрассудных трат она себе позволять не могла.

Однако в это утро она все же совершила безрассудство. Уже несколько недель она заглядывалась на ножик для открывания конвертов. Он ничем не отличался от ножей из настоящей слоновой кости и на одном конце был замечательно искусно изогнут в виде клюва попугая. «И как только они умудряются это делать? — удивлялась тетя Кэрри. — Да, этот ножик — настоящая жемчужина, но ведь он стоит девять пенсов».

Однако в это утро у тети Кэрри глаза широко раскрылись от радостного удивления: к ножичку был прикреплен картонный ярлычок с надписью: «Цена снижена до 6¹/₂ пенса». Боже! Такой случай, такая дешевка! Тетушка Кэрри купила нож. Ей завернули его в зеленую бумагу и перевязали зеленой ленточкой. Она решила подарить этот нож Хильде.

Довольная своей покупкой, так как она считала делом чести время от времени покупать что-нибудь у Меррета, тетюшка направилась к лифту. Одетая жокеем лифтерша, нажав кнопку, вместе с тетюшкой Кэрри взвилась на самый верхний этаж. «Комната для чтения и отдыха», — выкрикнула она звонко. Комната была нарядная, с панелями из кедрового дерева, зеркалами, удобными креслами, со множеством газет и журналов для отдыхающих дам.

Когда тетюшка Кэрри выходила из лифта, ее зонтик, который она все еще держала, как держат ружье, вонзился лифтерше в бок.

— Ах, простите! — воскликнула тетя Кэрри, перо ее затрепало от раскаяния. — Это совершенно нечаянно, уверяю вас!

— Ничего, не беспокойтесь, сударыня, — ответила девушка. Этакая учтивость!

Целый час тетя Кэрри читала газеты. Множество дам, подобно ей, казалось, читали газеты. Может быть, это зеркала создавали оптический обман, но здесь так много было пожилых дам, немного сморщенных, одетых в поношенные черные платья и прочитывавших свободные газеты от первой строчки до последней. Сегодня газеты были полны новостей. Страна находилась в сильном возбуждении. Мистер Макдональд снова посетил короля, Национальный кабинет выпускал замечательные декларации, и много было разговоров о предстоящих выборах. Тетя Кэрри была решительной сторонницей «национального» правительства: оно такое надежное. В «Трибуне» напечатана была превосходная статья под заголовком «Не допустите, чтобы социалисты растратили ваши деньги», а в «Метеоре» — статья «Большевики сошли с ума». Тетушка Кэрри прочла и ту и другую. Все прочитанные газеты доставили ей большое удовольствие — все, кроме одной лишь дрянной газетки лейбористов, полной искаженных подробностей о нужде в Южном Уэльсе. В «Холме» у тети Кэрри мало времени оставалось для чтения, поэтому она теперь так наслаждалась досугом.

Тот же лифт доставил ее снова вниз, и та же лифтерша улыбнулась ей. Славная девушка, право, — и тетюшка Кэрри мысленно от души пожелала ей получить повышение.

Выйдя из магазина Меррета, тетя Кэрри направилась к Хильде, чтобы поднести свой подарок. Она, как всегда, шла через Кенсингтонский парк. Это была приятная дорога, но на этой дороге встречалось одно искушение в виде погребка «Цветы яблони». Тете Кэрри редко удавалось устоять перед восхитительными пирожными и печеньем домашнего приготовления. И, несмотря на сегодняшнюю разорительную покупку у Меррета, она все же зашла в «Цветы яблони». Молоденькая продавщица уже знала ее: она с улыбкой подошла к проволочной корзинке, достала оттуда двухпенсовое пирожное с кофейным кремом и уложила его в бумажный мешочек.

— Кажется, будет дождь, — заметила она, подавая тете Кэрри мешочек.

— О, надеюсь, что нет, милочка, — сказала тетя Кэрри, вручая девушке два пенса.

Вот у нее уже куплен и ножик для открывания конвертов, и пирожное, которое, если есть его маленькими кусочками, доставит

ей сегодня за чаем столько удовольствия! Одним словом, можно сказать, сегодняшнее утро она посвятила закупкам.

Кенсингтонский парк был прекрасен, а дети, игравшие у круглого пруда, как всегда, очаровательны. Сегодня среди них был один, совсем еще карапуз, как назвала его мысленно тетя Кэрри, и этот карапуз в красном пальтишке ковылял и ковылял, убегая от своей няни, до тех пор, пока чуть не свалился в пруд. Настоящий ангелочек!

Были тут и чайки, они камнем падали вниз и кричали, ожидая, чтобы им бросили хлеба и корочек от ветчины. О, тетя Кэрри была влюблена в чаек! Им бросали столько хлеба, что весь круглый пруд был по краям окаймлен плавающими кусками, сотнями кусков плавающего хлеба. «Бросайте хлеб свой в воду», — вспомнилось тетушке Кэрри, но все же как-то неприятно было видеть так много пропадающего даром хлеба, в то время как (если верить этой ужасной газете, в которую она заглянула у Меррета) столько детей нуждались в нем. Впрочем, этого не может быть, — это грубое преувеличение. Наконец, имеются же благотворительные общества.

Успокоенная этой мыслью, она продолжала свой путь по Эксбишен-роуд. Южный Кенсингтон — чудный район, и Челси тоже... Карлейль, туговое дерево...

Тетя Кэрри дошла до квартиры Хильды. Она очень радовалась тому, что увидит Хильду. В глубине души она питала неясную надежду, что когда-нибудь Хильда пригласит ее к себе в качестве домоправительницы. Она уже представляла себе, как в черном закрытом платье впускает в приемную Хильды тяжело больных знатных людей, — чем знатнее пациенты и чем серьезнее они больны, тем лучше. Тетушка хотя и избавилась от ухода за больными, но сохранила к ним какое-то нездоровое влечение.

Горничная сказала, что Хильда дома, и тетя Кэрри, улыбаясь девушке той слегка заискивающей улыбкой, с которой в течение тридцати лет обращалась к слугам в «Холме», последовала за нею в комнаты.

Но тут тетю Кэрри ожидало потрясение. Хильда была не одна, и тетушку привело в трепет то обстоятельство, что гостем Хильды оказался Дэвид Фенвик. Войдя в комнату, она остановилась у двери, и ее заостренное книзу лицо покраснело.

— Извини, Хильда, — сказала она, задыхаясь. — Я понятия не имела... Я думала, ты одна.

Хильда встала. До этой минуты она сидела молча и, видимо, не слишком рада была приходу тетушки. Все же она сказала:

— Входите, тетя Кэрри. Вы ведь знакомы с Дэвидом Фенвиком.

В еще большем трепете тетушка пожала руку Дэвиду. Ей было известно о дружбе Хильды с Дэвидом. Но, увидев здесь воочию этого симпатичного молодого человека, который когда-то был репетитором Артура, а теперь выступал в парламенте с такими недопустимо мятежными речами, она с трудом сохранила самообладание. Она уселась в кресло у окна.

Дэвид посмотрел на часы.

— Пожалуй, мне пора, — сказал он Хильде, — иначе я не паду сегодня в больницу.

— О, пожалуйста, не уходите из-за меня! — поспешно воскликнула тетя Кэрри. Она нашла, что Дэвид побледнел и осунулся. И глаза у него были страдальческие. Да, страдальческие: в них было выражение мучительной тоски.

— Чудесный день сегодня, — продолжала тетушка быстро. — Я думала, что будет дождь, но никакого дождя нет.

— Не думаю, чтобы был дождь, — сказала Хильда после неловкого молчания.

Тетя Кэрри отозвалась:

— Надеюсь, что не будет.

Снова пауза.

— Я шла через Кенсингтонский парк, — настойчиво пыталась тетя Кэрри поддержать разговор. — Он теперь особенно хорош.

— Вот как? — сказала Хильда. — Впрочем, да, я думаю, в это время года он должен быть красив.

— Очаровательного малыша я видела у Круглого пруда, — с улыбкой продолжала тетя Кэрри, — в красном пальтишке. Жаль, что ты не могла его видеть. Этакая прелесть!

Несмотря на все свои усилия, тетя Кэрри смутно чувствовала, что Хильда не обращает на нее внимания: она в каком-то замешательстве смотрела на Дэвида, который стоял у окна, молчаливый и озабоченный.

Тетушка чутьем угадывала, что здесь что-то неблагополучно, — у нее на это был нюх, как у лисицы, которая чует охотника. В ней заговорило любопытство. Но Дэвид снова поглядел на часы, затем на Хильду.

— Теперь мне в самом деле пора, — сказал он. — Увидимся снова в три часа.

Он простился с тетей Кэрри и вышел. Насторожив уши, тетушка слышала, что он о чем-то разговаривает с Хильдой в передней. Но, к своему разочарованию, не могла разобрать, что именно они говорили. На этот раз любопытство победило в ней робость, и, когда Хильда воротилась, она воскликнула:

— Что случилось, дорогая? У него такой расстроенный вид. И почему он упоминал о больнице?

Хильда как будто не слышала. Но затем сказала неохотно, тоном, не допускающим дальнейших расспросов:

— У него жена в больнице. Сегодня ей будут делать операцию.

— Боже! — ахнула тетя Кэрри, широко раскрывая глаза. — Но...

— Хватит! — оборвала ее Хильда. — Операцию делаю я. И предпочитаю на эту тему не разговаривать.

Глаза тети Кэрри раскрылись еще шире. Помолчав, она смиренно шепнула:

— Хильда, дорогая, а ты ей поможешь этой операцией?

— А ты как думаешь? — резко ответила Хильда.

Лицо тети Кэрри выразило уныние. О боже, Хильда все еще бывает очень груба! Тете Кэрри страшно хотелось спросить, чем больна жена Дэвида, но выражение лица Хильды ее пугало. Оробевшая и покорная, тетя Кэрри глубоко вздохнула и опять с минуту молчала, потом, вдруг что-то вспомнив, просяла:

— Да, между прочим, Хильда, я принесла тебе премилый маленький подарок. По крайней мере, мне он очень нравится, — прибавила она скромно и, радостно улыбаясь хмурой Хильде, протянула ей нож для вскрывания конвертов.

XXI

В половине второго Дэвид пришел в больницу Святой Елизаветы, куда перевели Дженни после того, как анализ крови дал хороший результат.

Дэвид знал, что придет слишком рано, но ему невтерпех было сидеть дома и думать о том, что Дженни сейчас подвергается операции. Дженни, его жене, сегодня делают операцию!

За эти месяцы лечения, которое было необходимой подготовкой Дженни к операции, он все спрашивал себя: какого рода чувство он к ней питает? Это не была любовь. Нет, это не могло быть любовью, — любовь умерла давно. Но все же это было большое и властное чувство. Нечто большее, чем жалость.

Теперь ее история была ему вполне ясна. Лежа в постели с неизменным вышиванием в руках, Дженни рассказывала ему кое-что урывками, делая тщетные, жалкие попытки преобразить факты своей фантазией. Приехав впервые в Лондон, она поступила на службу в большой универсальный магазин. Но работа там была тяжела, гораздо тяжелее, чем у Слэттери, а платили гораздо меньше, чем ожидала Дженни с присущим ей оптимизмом. И скоро она завела «друга», затем второго. «Друзья» Дженни все вначале представлялись ей настоящими джентльменами, а в конце концов оказывались настоящими скотами. Служба в качестве компаньонки у старой леди была, конечно, мифом, — Дженни никогда не уезжала из Англии.

Дэвиду казалось странным, что Дженни так мало сознает свое положение. Она все так же по-детски легко прощала себе все и по-детски слезливо жалела себя. Она была в унынии, но виноватой себя не считала.

— Ах, эти мужчины, Дэвид! — плакала она. — Ты не поверишь... Я никогда и видеть больше не захочу ни одного мужчину, кроме тебя. Никогда, до самой смерти!

Все та же Дженни. Когда он принес ей цветы, она была очень довольна, но не потому, что любила цветы, а потому, что это докажет сестре, насколько она, Дженни, выше тех, кто лежит в этой палате. Дэвид подозревал, что Дженни сочинила для сестры какую-нибудь историю, без сомнения романтическую и хорошего тона. Точно так же отнеслась она и к тому, что при ее переводе в больницу Святой Елизаветы Дэвид выхлопотал для нее удобную комнату: это покажет новой сестре, как высоко ее, Дженни, ценит муж. Даже в больнице она сохранила свое легкомыслие. Это казалось невероятным, но это было так. Осудив грубость мужчин, она попросила Дэвида достать из сумочки (которую она тайком держала в ящике ночного столика) палочку губной помады. А под крышкой столика она прятала зеркальце, в которое смотрелась всякий раз перед приходом Дэвида. Держать зеркала запрещалось, но Дженни сохранила свое. Она объяснила Дэвиду, что ей хочется «выглядеть получше» для него.

Свернув с набережной и подходя к больнице, Дэвид, все время думавший о Дженни, вздохнул. Хоть бы все окончилось благополучно! Он от души на это надеялся.

Он посмотрел на часы перед подъездом больницы. Было все еще рано, слишком рано, но он чувствовал, что должен войти внутрь. Он не может ждать на улице, не может томиться здесь, он должен войти в больницу. Миновав швейцарскую, он поднялся наверх. Подошел к второй двери, за которой находилась Дженни, и остановился в высоком прохладном коридоре.

В коридоре было множество дверей: в кабинет Хильды, в комнату дежурной сестры, в приемную. Но взгляд Дэвида притягивала только одна стеклянная двустворчатая дверь операционной. Он смотрел на эту дверь, на ее два белых матовых стекла; было мучительно думать о том, что происходило за нею.

Дежурная сестра Клефт вышла из палаты; эта сестра не работала в операционной. Она посмотрела на Дэвида с кроткой укоризной и сказала:

— Вы очень уж рано! Операция еще только началась.

— Да, я знаю, — отвечал Дэвид. — Но я не мог усидеть дома.

Сестра ушла, не предложив ему пройти в приемную. Она оставила его здесь, и он стоял, прислонясь спиной к стене, стараясь быть как можно незаметнее, чтобы его не прогнали отсюда, и смотрел на белые матовые стекла операционной.

И в то время как он стоял, смотря на них, ему почудилось, что стекла стали прозрачными и он видит происходящее внутри. Ему часто приходилось присутствовать при операциях в военном госпитале, и все представлялось ему так ясно и четко, словно он стоял в самой операционной.

В центре зала стоит металлический стол, похожий скорее на сверкающую машину с рычагами и колесами, при помощи которых можно придавать этому столу самые разнообразные положения. Нет, пожалуй, на машину этот стол тоже не похож. Он похож на цветок — большой сверкающий металлический цветок, поднимающийся от пола на сверкающем стебле. Но это не цветок, не машина, а стол, на котором кто-то лежит. Сбоку у стола Хильда, с другой стороны — ее ассистент, а вокруг плотной стеной сестры, они словно напирают на стол и пытаются рассмотреть то, что лежит на нем. Они все в белом, в белых шапочках и белых масках, но руки у всех черные и блестящие: на руках — мокрые, гладкие резиновые перчатки.

В операционной очень жарко, слышится какое-то бульканье и шипение. У верхнего конца стола, на круглой белой табуретке, сидит врач, дающий наркоз, а подле него — металлические цилиндры, и красные трубки, и громадный красный мешок. Этот врач тоже женщина, и лицо у нее спокойное и скучающее.

Подле стола стоят большие цветные бутылки с антисептическим раствором и подносы с инструментами, которые вынуты горячими из пышущих паром стерилизаторов. Инструменты подаются Хильде. Хильда, не глядя, протягивает свою черную резиновую руку, в нее кладут инструмент, и Хильда начинает им действовать.

Она немного наклоняется над столом. Почти невозможно увидеть то, что лежит на столе, потому что сестры теснятся вокруг, словно стараясь заслонить его. А это — Дженни, тело Дженни. И вместе с тем это не Дженни, не ее тело. Все оно прикрыто, закутано белым, словно ради большей таинственности; повсюду белые полотенца.

Только один правильный квадрат на теле Дженни оставлен непокрытым, и этот квадрат резко выделяется на фоне белых полотенец, потому что он красивого ярко-желтого цвета. Это сделала пикриновая кислота. И внутри желтого квадрата все и происходит, внутри этого квадрата Хильда орудует своими инструментами в гладких резиновых руках.

Сначала — надрез; да, сначала надрез. Еще горячий блестящий ланцет медленно проводит четкую линию по ярко-желтой коже, и на коже появляются губы и улыбаются широкой красной улыбкой. Тонкие струйки чего-то красного брызжут из ухмыляющихся красных губ, а черные руки Хильды все движутся, движутся; сверкающие щипцы уже легли кольцом вокруг всей раны.

Новый надрез, все глубже и глубже внутрь красного рта раны, который теперь уже не улыбается, а хохочет, — так широко раскрыты губы.

Затем рука Хильды погружается прямо в рану. Черная блестящая рука становится маленькой и острой, как черная блестящая головка змеи, и проникает глубоко. Похоже, будто хохочущий красный рот проглотил головку змеи.

Потом идут в ход другие инструменты, и щипцы в кольце ложатся близко друг на друга. Кажется, не разобраться в путанице инструментов, но это не так, здесь все необходимо и все математически точно. Лица Хильды за белой марлевой маской разгля-

деть невозможно, но ее глаза темнеют над этой белой маской, и взгляд их тверд, как сталь. Руки Хильды становятся продолжением ее глаз. И они тоже неумолимы, как сталь.

Да, тут закалка необходима. В операционной здоровое тело лишается всех своих чар, а больное — бесстыдно в своем страдании. Следовало бы пустить мужчин в операционную, чтобы они увидели это последнее завершение — кровавую улыбку зияющей раны. Нет, бесполезно, совершенно бесполезно. Все слишком легко забывается. Даже вот сейчас, во время операции, рана уже теряет свою жуткость и, когда убраны инструменты, становится снова только тепло улыбающимся ртом, только красной улыбкой. Губы его смыкаются, по мере того как быстро накладываются швы. Хильда с замечательной ловкостью сшивает рану, и губы сжимаются в узкую складку. Теперь все почти окончено, зашито, забыто. Шипение и бульканье слабеет, в комнате уже как будто не так жарко. Сестры не теснятся больше вокруг стола. Одна кашлянула в свою маску и разбила долгое молчание. Другая принялась считать окровавленные тряпки.

В прохладном высоком коридоре Дэвид стоял недвижимо, устремив глаза на матовые стекла двери. И наконец дверь распахнулась, и появилось нечто вроде кровати на колесах. Две сиделки везли ее, и она катилась бесшумно на резиновых шинах. Сиделки не видели Дэвида, прижавшегося к стене, а Дэвид смотрел на Дженни, распростертую на кровати. Лицо Дженни было повернуто в его сторону, красно и вздуто. Особенно веки и щеки сильно распухли, и казалось, что Дженни спит глубоким и блаженным сном пьяного. Щеки то надувались, то опадали, — Дженни храпела. Волосы выбились из-под белого чепчика и были так спутаны, словно кто-нибудь их нарочно растрепал. У Дженни был совсем непривлекательный вид.

Дэвид смотрел, как закрылась вертящаяся дверь, пропустив кровать на колесах, на которой везли Дженни на ее место в конце палаты. Потом он повернулся и увидел Хильду, шедшую из операционной. Она подошла к нему.

Лицо у Хильды было холодное, презрительное, чужое. Она сказала отрывисто:

— Ну, все позади, и теперь она должна выздороветь.

Дэвид был ей благодарен за холодность: другой тон был бы ему сейчас невыносим. Он спросил:

— Когда мне можно будет навестить ее?

— Сегодня вечером. Она недолго была под наркозом. — Хильда подумала. — Часов в восемь она уже сможет принимать посетителей.

И на этот раз тоже сухость ее тона была приятна Дэвиду: ласковость показалась бы ему несносной, была бы нестерпимо унизительна. Что-то от твердости и холодного блеска хирургических инструментов оставалось в Хильде, и слова ее резали, как нож. Она не хотела стоять здесь, в коридоре, почти нетерпеливо рванула дверь в свой кабинет и вошла туда. Дверь осталась открытой. И хотя Хильда, казалось, забыла о нем, Дэвид последовал за ней. Он сказал тихо:

— Я вам очень благодарен, Хильда.

— Благодарны!

Хильда ходила по комнате, брала со стола какие-то ведомости и клала их обратно. Под наружной холодностью она таила глубокое волнение. Единственной целью, к которой она стремилась, был успех операции, — она внушала себе, что должна успешно выполнить эту операцию, показать Дэвиду свое искусство в полном блеске. А теперь, когда это было сделано, ей все было противно. Ее тонкое искусство представлялось ей грубым и примитивным, оно исцеляло только тело, не касаясь души. Что же толку от этого? Она починила тело животного — и все! Эта негодная женщина вернется к мужу, здоровая телом, но по-прежнему больная духом. Эти мысли мучили Хильду еще сильнее из-за ее чувства к Дэвиду. То была не любовь — о нет! — а нечто гораздо более утонченное и неуловимое. Дэвид был единственный мужчина, к которому когда-либо влекло Хильду. Одно время она почти внушила себе, что влюблена в него. Но это невозможно! Она не может любить никого. Как бы Дэвид ни нравился ей, она не может любить его, — и все-таки ей тяжело возвращать ему эту женщину, эту Дженни.

Она круто обернулась к Дэвиду.

— Я буду здесь сегодня вечером в восемь часов, — сказала она. — И передам через кого-нибудь, можно ли вам ее увидеть.

— Хорошо.

Она подошла к крану, пустила воду сильной струей, наполнила стакан и, скрывая волнение, выпила его весь.

— Теперь мне надо обойти палаты.

— Хорошо, — повторил Дэвид.

Он ушел. Спустился вниз, вышел из больницы; в конце Джон-стрит вскочил в автобус, шедший к Бэттерси-Бридж, и, сидя в автобусе, углубился в свои мысли. Несмотря на все, что Дженни сделала с ним и с самой собой, его радовало ее спасение. Он никогда не мог совершенно отвернуться от Дженни, она всегда легкой тенью лежала у него на сердце. Все эти годы разлуки она смутно жила в его мыслях, он никогда ее не забывал. И теперь, когда он снова нашел ее и было ясно, что прошлое умерло, в нем все же упорно говорило чувство связанности с нею и какой-то вины. Он прекрасно видел, что Дженни — дрянная, пошлая, пустая бабенка, знал, что она была уличной женщиной. Она должна была бы, естественно, вызывать в нем отвращение и ужас. Но он не мог так отнестись к ней. Странно: ему вспоминалось лишь все то, что в Дженни было хорошего, — минуты ее бескорыстия, ее добрые порывы, ее щедрость, а особенно медовый месяц в Каллеркотсе и настояния Дженни, чтобы он на ее деньги купил себе костюм.

Он вышел из автобуса и по Блоунт-стрит дошел до своего дома. В доме было очень тихо. У себя в комнате он сел у окна и смотрел на видневшиеся из-за крыш верхушки деревьев, на небо за деревьями. Тишина комнаты входила в душу, тиканье часов приобретало медленный, мерный ритм, напоминало шаг медленно марширующих людей.

Он бессознательно выпрямился, и в глазах его, устремленных на далекое небо, загорался огонек. Он больше не чувствовал себя побежденным. Упрямая потребность бороться, бороться до конца воскресла в нем. Поражение позорно лишь тогда, когда влечет за собой покорность. Он ни от чего не отречется! Ни от чего! С ним по-прежнему его вера, и его поддерживает вера людей, стоящих за ним. Будущее принадлежит им! Надежда стремительно возвращалась к Дэвиду.

Вскочив, он сел к столу и написал три письма. Написал Нэдженту, Геддону и Вилсону, своему доверенному лицу в Слискейле. Последнее письмо было особенно важно. Он извещал Вилсона, что придет в Слискейл послезавтра, чтобы выступить на собрании местного исполнительного комитета. Письмо дышало бодрым оптимизмом. Дэвид сам это почувствовал, перечитывая его, и остался собой доволен.

За последние несколько дней, в то время как предстоящая Дженни операция вытеснила из его головы все другие мысли, намечавшийся политический кризис стал заметно близок. В августе, как и предсказывал Дэвид, силы, действовавшие в финансовых и политических сферах, вытеснили нерешительное правительство. На прошедшей неделе, 6 октября, временный блок сам собой распался. Оглашение кандидатов для новых выборов назначено было на 16 октября.

Дэвид крепко сжал губы. На этих выборах он будет бороться, как никогда. Намечавшуюся «национальную» политику он рассматривал как решительную атаку на нормальный уровень благосостояния рабочих во имя интересов крупных банков. Сильнейшее сокращение пособий по безработице оправдывали нелепой фразой, что «все должны одинаково приносить жертвы». При этом на жертвы со стороны рабочего рассчитывали твердо, на жертвы же со стороны других слоев общества — гораздо меньше. А между тем утечка британских капиталов за границу достигала четырех миллиардов. Партия лейбористов переживала величайший в ее истории кризис. Ей не помогло то, что некоторые ее лидеры соединили свою судьбу с судьбой коалиции.

Половина седьмого. Взглянув на часы, Дэвид увидел, что уже поздно, позднее, чем он думал. Он сварил себе чашку какао и выпил ее медленно, читая вечернюю газету, только что принесенную миссис Такер. Газета вела агитацию с помощью всяких подтасовок и инсинуаций. «Берегите промышленность от национализации», «Большевизм — безумие», «Кошмары лейбористского правления» — вот такие фразы мелькали перед глазами Дэвида. Имелась в газете и карикатура, изображавшая храброго Джона Буля, попирающего ногой отвратительную гадюку. Гадюка была снабжена откровенной надписью: «Социализм». На видном месте было напечатано несколько отборных изречений Беббингтона. Беббингтон был теперь героем «национального» движения. Не далее как накануне он объявил: «Мирному развитию промышленности угрожает учение о борьбе классов. Мы оберегаем рабочего от него самого!»

Дэвид мрачно усмехнулся и бросил газету на стол. Когда он вернется в Слискейл, у него найдется что сказать по этому поводу. Пожалуй, немножко по-иному, чем Беббингтон, будет он говорить об этом!

Был уже восьмой час, и он встал, умылся, взял шляпу и вышел. На душе у него было все так же удивительно легко, и этому способствовала красота вечера. Когда он переходил мост Бэттерси, небо было все алое и золотое, река отражала краски неба. Дэвид подошел к больнице в совсем ином настроении, чем днем. Прежнего уныния как не бывало. Ему уже казалось, что легко будет *всего* добиться, если не терять мужества.

На верхней площадке лестницы он наткнулся на Хильду. Она только что окончила вечерний обход и стояла с сестрой Клегг в коридоре, разговаривая перед уходом.

Дэвид остановился.

— Можно мне сейчас к ней? — спросил он.

— Можно, — сказала Хильда. Она была спокойнее, чем днем. Быть может, и она, как Дэвид, убедила себя быть спокойной. Тон у нее был сдержанно-официальный, но прежде всего спокойный. Она прибавила: — Думаю, что вы найдете ее в прекрасном состоянии. Наркоз на ней не отразился, она удивительно хорошо все перенесла.

Дэвид не нашел что сказать. Он чувствовал, что обе женщины наблюдают за ним. В особенности сестра Клегг всегда проявляла по отношению к нему какое-то непобедимое женское любопытство.

— Я ей сказала, что вы придете, — продолжала Хильда спокойно. — Она очень довольна.

Сестра Клегг поглядела на Хильду со своей холодной усмешкой и буркнула словно про себя:

— Она у меня спрашивала, в порядке ли ее прическа.

Дэвид слегка покраснел. Он находил бесчеловечным это холодное подчеркивание легкомыслия Дженни. Ответ был уже у него на языке, но он не произнес его вслух. В тот миг, когда он поднял глаза на сестру Клегг, из палаты выбежала молодая сиделка. Это была, верно, самая младшая, еще не вышколенная сиделка, иначе она не выбежала бы таким образом. Лицо ее было бело, как мука, она казалась испуганной. Увидев сестру Клегг, она облегченно вздохнула:

— Пойдемте, сестра, пойдемте скорее!

Сестра Клегг ничего не спросила: по лицу молодой сиделки она поняла, что случилась беда. Сестра Клегг повернулась и, не сказав ни слова, пошла в палату.

Хильда постояла и тоже ушла туда.

Дэвид остался один в коридоре. Все произошло так внезапно, что он растерялся. Он не знал, можно ли ему пройти через палату к Дженни, раз в палате что-то случилось. Но раньше, чем он успел решить что-нибудь, вернулась Хильда.

— Ступайте в приемную, — приказала она решительно.

Дэвид устался на нее. Две сиделки вышли из палаты и торпливо прошли к операционной. Они шли бок о бок, словно авангард процессии. Затем шелкнули выключатели в операционной, и мертвое стекло в двери засияло белым светом, как освещенный экран кинематографа.

— Ступайте в приемную, — повторила Хильда. В ее голосе, взгляде, жестком выражении лица чувствовалась такая настойчивость, что нельзя было не подчиниться. Дэвид вошел в приемную. Дверь за ним захлопнулась, и он услышал быстрые шаги Хильды.

Беда случилась с Дженни, — он почувствовал это с внезапной, холодящей душу уверенностью. Он стоял в пустой приемной, прислушиваясь к шагам людей, ходивших взад и вперед по коридору. Услышал лязганье лифта. Снова шаги. Потом на время тишина. Потом звук, который привел его в полнейший ужас, — кто-то бежал: пробежал из операционной в кабинет Хильды и затем обратно.

У Дэвида сжалось сердце. Если там, несмотря на дисциплину, *так* бегали, значит случилось серьезное несчастье, очень серьезное. От этой мысли он застыл на месте.

Прошло много времени, очень много. Он не знал сколько — полчаса, а может быть, и час? Он оцепенел в напряженной позе вслушивающегося человека, и мускулы ему не повиновались, он не мог вынуть часы.

Вдруг дверь отворилась и вошла Хильда. Дэвиду не верилось, что это Хильда: перемена в ней была слишком разительна, в ней чувствовалось полнейшее изнеможение, физическое и душевное. Она вымолвила почти устало:

— Вы бы сходили сейчас ее повидать.

Дэвид поспешно сделал шаг вперед:

— Что случилось?

— Кровотечение.

Он повторил вслух это слово.

У Хильды задрожали губы. Она сказала отдельно и с горечью: — Как только сестра вышла из комнаты, она села в постели, потянулась за зеркалом... чтобы посмотреть, хорошо ли она выглядит. — В голосе Хильды были ужасная горечь и угнетенность. — Да, чтобы посмотреть, красива ли она, гладко ли лежат волосы, чтобы накрасить губы! Можете себе представить? Полезть за зеркалом! После того как я столько над ней потрудилась! — Хильда замолчала, совсем подавленная. Недавняя бодрость изменила ей, у нее была только одна мысль — что искусная операция пропала даром. Это доводило ее до отчаяния. Безнадежным жестом распахнула она дверь настежь: — Идите сейчас, если хотите ее увидеть.

Дэвид вышел из приемной и прошел через палату в комнату Дженни. Дженни лежала, вытянувшись, на спине, и конец кровати был поднят высоко на козлы. Сестра Клеэг делала Дженни впрыскивание в руку.

В комнате царил беспорядок, повсюду тазы, лед, полотенца. Осколки разбитого ручного зеркала валялись на полу.

Лицо у Дженни было землистого цвета. Она дышала прерывисто и с трудом. Глаза смотрели в потолок — в них был ужас, в этих глазах, они, казалось, цеплялись за потолок, боялись его выпустить.

Сердце Дэвида словно расплавилось и затопило все внутри.

Он стал на колени у постели.

— Дженни! — сказал он. — Ах, Дженни, Дженни!

Глаза оторвались от потолка и обратились на него. Белые губы, как бы извиняясь, прошептали:

— Мне хотелось тебе понравиться.

Слезы потекли по лицу Дэвида. Он взял ее бескровную руку и не выпускал ее больше:

— Дженни! О Дженни, Дженни, родная моя!

Она прошептала, как затверженный урок:

— Мне хотелось тебе понравиться.

Слезы душили его, он не мог говорить. Он прижал белую руку к своей щеке.

— Пить! — Она слабо всхлипнула. — Дай воды.

Он взял чашку («Какая забавная, совсем как чайничек!») и поднес ее к бескровным губам. Дженни с трудом подняла руку и взяла поилку. Но тут слабая дрожь пробежала по ее телу. Жидкость из чашки вся вылилась на ее ночную сорочку.

В последний миг все вышло так хорошо — мизинец руки, которой она все еще держала чашку, был изящно согнут. Дженни было бы приятно, если бы она могла это видеть. Дженни умерла, как прилично благовоспитанной особе.

XXII

В утро после похорон Дженни, в половине девятого, Дэвид вышел из вагона на платформу в Слискейле и был встречен Питером Вилсоном. Весь предыдущий день, 15 октября, прошел как в тумане, в отрешенности горя, в быстрой смене последних печальных впечатлений. Он проводил на кладбище то, что оставалось от Дженни, возложил венок на ее могилу. Он выехал из Лондона ночным поездом, и спать пришлось мало. Но он не чувствовал усталости. Свежий ветер с моря дул на платформе и заряжал его энергией. С ощущением особенной физической бодрости он поставил на землю свой саквояж и пожал руку Вилсону.

— Вот и вы! — сказал Вилсон. — И не слишком-то рано!

В ленивой и добродушной усмешке Вилсона было сегодня что-то уклончивое. Остроконечная бородка беспокойно дергалась, что у него всегда было признаком душевного волнения.

— Очень жаль, что вы вчера пропустили собрание. Комитет был сильно этим озабочен. Ведь никогда не знаешь, с чем придется столкнуться.

— Думаю, что нам предстоит трудная борьба, — отвечал Дэвид спокойно.

— Может быть, труднее, чем вы думаете, — заметил Вилсон. — Слышали, кого они выставляют против вас? — Он помедлил, смущенно и пытливо глядя в глаза Дэвиду, потом бросил резко: — Гоулена.

У Дэвида сердце остановилось, весь он похолодел и содрогнулся при звуке этого имени.

— Джо Гоулена?! — повторил он глухо.

Натянутое молчание. Вилсон хмуро усмехнулся:

— Это выяснилось только вчера вечером. Он теперь живет в «Холме» — и живет на широкую ногу. С тех пор как он вновь открыл «Нептун», он стал местной знаменитостью. Всеми командует — и Ремеджем, и Конноли, и Лоу. Большинство консер-

ваторов слушается его во всем, ест из его рук. Из Тайнкасла тоже сильно нажимают в его пользу... Да, он выставлен кандидатом. Это окончательно оформлено.

Тупое удивление, смешанное с чем-то похожим на ужас, овладело Дэвидом, — он не мог поверить. Нет, это слишком дико, слишком невыносимо! Машинально он спросил:

— Вы серьезно говорите?

— Никогда в жизни не говорил серьезнее.

Значит, правда. Значит, эта потрясающая жестокая новость — правда! С застывшим лицом Дэвид поднял саквояж и пошел за Вилсоном. Они вышли из вокзала и зашагали по Каупен-стрит, не обменявшись больше ни словом. Джо, Джо Гоулен упорно не выходил у Дэвида из головы. Преимущества Джо несомненны: у него — деньги, успех, влияние. Он пройдет в парламент, как прошел Леннард, например, который, нажив состояние продажей дешевой дрянной мебели, хладнокровно купил Клиптон на последних выборах; Леннард, который не произнес в своей жизни ни единой речи, который в свои редкие посещения палаты только и делал, что угощался в буфете или решал «головоломки» в курительной. И это один из законодателей страны! «Впрочем, — с горечью сказал себе Дэвид, — не в пример легкомысленному Леннарду, Джо использует свое пребывание в парламенте для чего-нибудь посерьезнее, чем решение „головоломок“. Нельзя предвидеть, для каких разнообразных и любопытных целей Джо может использовать свое положение, если попадет в парламент...»

Дэвид резко отогнал горькие мысли. Что пользы в них? Единственный ответ на создавшееся положение заключается в том, что Джо *не должен* пройти в парламент. «О Господи, — думал Дэвид, шагая навстречу резкому морскому ветру, — о Господи, если суждено мне еще хоть что-нибудь сделать, пускай это будет победа на выборах над Джо Гоуленом».

Более чем когда бы то ни было полный сознания лежавшей на нем ответственности, он позавтракал у Вилсона, и они принялись обсуждать положение. Вилсон ничего не скрывал от Дэвида: непредвиденная задержка Дэвида в Лондоне создала неблагоприятную атмосферу. Более того, Дэвид уже знал, что исполнительный комитет лейбористской партии не поддержал его кандидатуры. Со времени его речи в палате о новом угольном законе он считался бунтовщиком, к нему относились враждебно и подозрительно. Но партия, бывшая в долгу у Союза горняков,

не хотела открыто проваливать его кандидата. Это не помешало ей, впрочем, послать доверенное лицо для агитации среди шахтеров в пользу другого кандидата.

— Он затесался среди нас, как проклятый шпион, — прорычал Вилсон в заключение своего рассказа. — Но ничего ему не удалось сделать. Местная организация шахтеров хочет вас. Она нажала на избирательную комиссию, и этим все дело кончилось.

Затем Вилсон настоял на том, чтобы Дэвид пошел домой и выспался до заседания, которое должно было состояться в три часа. Дэвиду спать не хотелось, но он все же пошел домой: надо было на досуге все самому обдумать.

Марта ожидала его, — он накануне вечером известил ее о приезде телеграммой. Глаза ее сразу устремились на траурную повязку. Эти глаза ничего не выдавали, и Марта ничего не спросила.

— Ты изрядно опоздал, — сказала она. — Вот уже целый час завтрак готов и ждет тебя.

Он сел к столу:

— Я завтракал с Вилсоном, мама.

Недовольная этим, она настаивала:

— Неужели ты не выпьешь хотя бы чашку чаю?

— Ну хорошо, — согласился Дэвид.

Он наблюдал, как она заваривала свежий чай, сначала налив кипятку в коричневый чайничек, затем точно отмерив порцию чая из медной коробки, доставшейся ей еще от матери. Он наблюдал ее уверенные и четкие движения и чуть не с удивлением подумал о том, как мало она изменилась. Ей уже около семидесяти лет, а она все та же крепкая, черноволосая, упрямая, неукротимая женщина.

Дэвид вдруг произнес вслух:

— Дженни умерла три дня тому назад.

Лицо Марты оставалось все так же непроницаемо и сурово.

— Я так и думала, что этим кончится, — сказала она, ставя перед ним чай.

Наступило молчание. Неужели это все, что она может сказать? Дэвиду показалось нестерпимо жестоким, что мать приняла весть о смерти Дженни без единого слова сожаления. Но пока он про себя возмущался ее злопамятностью, Марта сказала почти резко:

— Мне жаль, что это тебя расстроило, Дэвид.

Она словно выжала из себя эти слова, затем с каким-то замешательством искоса глянула на него:

- А что ты будешь делать теперь?
- Снова выборы... снова все сначала.
- И не надоело тебе это?
- Нет, мама.

Напившись чаю, он пошел наверх, полежать час-другой. Лег, закрыл глаза, но сон долго не шел. В голове все время стучала одна мысль — настойчивая, тревожащая, походившая на молитву: «О Господи, помоги мне провалить Джо Гоулена, не допустить его в парламент!» Все то, против чего он боролся в своей жизни, сосредоточилось в этом человеке, теперь выступавшем его противником. Он *должен* победить Джо Гоулена! Должен! Он хотел этого всеми силами души. И в мыслях об этом он задремал, а потом наконец и крепко заснул.

Следующий день, 16 октября, был днем официального оглашения кандидатов, и в одиннадцать часов утра, когда кампания еще только что началась, Дэвид столкнулся с Джо. Встреча произошла перед входом в зал муниципалитета. Дэвид с Вилсоном поднимался по лестнице, чтобы вручить комиссии свои документы, и в это же самое время Джо, сопровождаемый Ремеджем, Конноли, преподобным Лоу и всеми членами их комитета, а также группой сторонников, выплыл из двери и начал спускаться вниз. Увидев Дэвида, он круто остановился в картинной позе и посмотрел на него с видом благородного человека, отдающего должное врагу. Он стоял на две ступеньки выше Дэвида, красивый, крупный, внушительно выпятив грудь; двубортный пиджак расстегнут, в петлице большой пучок голубых васильков. Возвышаясь над Дэвидом во всем своем грубом великолепии, он протянул ему мясистую руку. Он улыбался своей характерной открытой улыбкой.

— Добро пожаловать, Фенвик! — воскликнул он. — Лучше рано, чем поздно, а? Надеюсь, что у нас будет честное состязание. Во всяком случае, таким оно будет с моей стороны. Честная игра, никому никаких привилегий. И пусть победит лучший!

В группе сторонников Джо пробежал шепот одобрения, а Дэвид, с омерзением в душе, старался сохранить внешнее хладнокровие.

— И не думай, — продолжал Джо, — что это будет бой в лайковых перчатках, — нет, никаких перчаток. Все время — голыми

руками. Я считаю, что сражаюсь здесь за конституцию, Фенвик, — да, за британскую конституцию. Предупреждаю тебя, чтобы ты не ошибался на этот счет. Во всяком случае, мы будем сражаться открыто и честно. Как британские спортсмены — вот что я хочу сказать. Как британские спортсмены!

Снова возгласы одобрения из быстро увеличивавшейся толпы сторонников Джо, и в порыве энтузиазма несколько человек протиснулись вперед, чтобы пожать ему руку. Дэвид отвернулся с холодным отворачиванием. Не сказав ни слова, он вошел в зал. А Джо, неприятно пораженный невежливостью своего соперника, продолжал направо и налево пожимать руки. О, он, Джо, не тщеславен, — видит бог, он готов пожать руку любому человеку, если это человек порядочный, британец и славный малый. Стоя на лестнице ратуши, Джо испытывал потребность выразить свои чувства собравшейся аудитории. Он объявил:

— Я охотно и с гордостью готов пожать руку каждому порядочному человеку... — пауза вследствие глубокого волнения, — если он желает пожать мне руку. Но большевики пускай и не пытаются. Нет, клянусь богом, пусть и не пытаются! — Джо задорно выпятил грудь. Он сознавал свою силу, влияние, он упивался ими. — Я хочу, чтобы вы знали, друзья, что я против большевиков, и красных, и всяких других изменников. Я — за британскую конституцию, за британский флаг и британский фунт. Мы недаром же воевали и дома работали на войну. Я — за порядок, и законность, и всеобщую дружбу. Вот за что я борюсь здесь, на выборах, и вот за что вы будете голосовать. Никто не имеет права оставлять после себя мир таким же, каким он его застал. Мы должны делать что можем, чтобы мир стал лучше. Мы должны стоять за нравственность и образование и соблюдать десять заповедей! Мы не потерпим никакого антихристианского большевизма и анархических выступлений против десяти заповедей. Никакого анархического отношения к британскому флагу, к британской конституции, к британскому фунту. Вот почему я прошу вас, ребята, голосовать за меня. И если не хотите остаться без работы, не забывайте этого!

По сигналу Ремеджа раздались крики «ура», долго не смолкавшие. Эти крики опьяняли Джо; он чувствовал себя прирожденным оратором, был воодушевлен одобрением собственной совести и ближних. Он сиял и пожимал руки всем стоявшим поблизости, затем сошел вниз.

Как раз в ту минуту, когда он очутился на тротуаре, неподалеку какой-то малыш споткнулся и упал. Джо с преувеличенной поспешностью поднял его и поставил на босые ножонки.

— Вот так! — засмеялся он с отцовской нежностью. — Вот так!

Смех Джо, видно, испугал мальчика, оборвыша лет шести, с бледным, истощенным от недоедания личиком и давно не стриженными волосами, падавшими на большие испуганные глаза. И он вдруг заревел. Его мать, с ребенком на одной руке, подбежала, чтобы увести его с дороги и дать пройти Джо и остальным.

— Славный мальчуган у вас, миссис, — сказал Джо, широко улыбаясь. — Настоящий богатырь! Как его зовут?

Молодая женщина зарделась от нервного волнения, оказавшись предметом внимания такого большого человека. Она плотнее запахнула истрепанный платок, в который кутала у груди ребенка, и робко ответила:

— Его зовут Джо Таунли, мистер Гоулен. Брат его отца, то есть дядя, Том Таунли, работал когда-то в «Парадизе», рядом с вами, в соседнем забое... когда вы еще работали в копях... до того, как вы стали... такой, как теперь.

— Да неужели! — подхватил Джо, сияя. — Подумать только! Ну а муж ваш тоже работает в «Нептуне», миссис Таунли?

Миссис Таунли еще гуще покраснела от смущения, стыдясь и пугаясь собственной смелости:

— Нет, мистер Гоулен, сэр, он безработный. О сэр, если бы можно было взять его обратно на работу!..

Джо с внезапной серьезностью кивнул:

— Положитесь на меня, миссис. За это я и борюсь на выборах, — объявил он горячо. — Да, видит бог, я намерен изменить здесь кое-что к лучшему!

Он погладил по голове маленького Джо Таунли и опять улыбнулся, с великолепно разыгранной скромностью озирая толпу:

— Славный малыш! И мой тезка! Кто знает, быть может, он когда-нибудь вырастет вторым Джо Гоуленом!

Все с той же улыбкой он пошел к ожидавшему его автомобилю. Эффект от этой сцены был блестящий. На Террасах мигом распространилась весть, что Джо Гоулен обещал принять обратно в «Нептун» мужа Сары Таунли и дать ему «первоклассную» работу, лучший забой на всем руднике. В Слискейле было немало таких, как Сара Таунли. И новость принесла Джо громадную пользу.

Успех Джо как оратора возрастал. Он обладал здоровыми легкими, абсолютной уверенностью в себе и медной глоткой. Он оглушал толпу. Он был настоящий мужчина. Он провозглашал громкие лозунги. Во всех концах города появились громадные плакаты:

ДОЛОЙ ПРАЗДНОСТЬ, БОЛЕЗНЬ, НУЖДУ
И ПРЕСТУПЛЕНИЯ!

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ЗАКОН, ПОРЯДОК, СПОРТ
И БРИТАНСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ!

ГОЛОСУЙТЕ ЗА ДЖО ГОУЛЕНА!

Джо был оплотом морали. Но, разумеется, вместе с тем и человек простой, свой человек — молодчина, одним словом. На первом же собрании в школе на Нью-Бетель-стрит, после того как он уговаривал слушателей поддержать британский флаг, он, лукаво улыбаясь, заключил:

— И на ближайших скачках в Госфорт-парке поставьте все, что имеете, до последней рубахи, на Радио!

Радио была его собственная лошадь. При этом совете весь зал загудел.

Часто также его гордость, человека влиятельного и богатого, уступала место богобоязненному смирению.

— Я такой же рабочий, как и вы, товарищи! — кричал он. — И я тоже не родился в сорочке. Воспитывали меня строго, как полагается. Я сам проложил себе дорогу. И моя цель — дать каждому из вас возможность сделать то же самое.

Но главным козырем Джо, козырем, который он никогда открыто не пускал в ход, а ловко скрывал в рукаве, было то, что в его власти дать людям работу. Хоть он и был «простой» человек, «свой брат-рабочий», знававший ту же нужду, что и они, — все же он был *хозяин*. Все это шумное бахвальство и вранье имело целью выставить его благодетелем, который восстановил разрушенный «Нептун» и теперь обещал дать честную работу всем, всем решительно. Разумеется, *после* выборов.

Кампания велась им энергично и с большой помпой. Ремедж, который некогда наградил юного Джо пинком в зад за кражу свиного пузыря, теперь был его усерднейшим прихвостнем. По приказанию Ремеджа преподобный Лоу произнес пламенную про-

поведь с кафедры на Нью-Бетель-стрит, доказывая преимущества законности и порядка, восхваляя мистера Джозефа Гоулена и грозя вечным пребыванием во тьме крошечной тем, кто осмелится голосовать за Фенвика. Конноли на своем газовом заводе открыто заявлял, что каждый, кто не поддержит Гоулена, — «красная сволочь» и будет немедленно уволен. Тайнкаслская пресса единодушно стояла за Джо. Джим Моусон, загадочно скрываясь на заднем плане, пускал в ход различные тайные пружины во имя высокой общественной задачи. Ежедневно с Ресфордского завода прилетали два самолета и кувыркались над Слискейлом, рекламируя Джо. В ясные дни пускалась даже в ход реклама в воздухе — из букв, образуемых полосками дыма от самолета. Деньги действовали многими окольными путями. Какие-то чужие люди появлялись в Слискейле, они не упускали случая затесаться в толпу рабочих, собирали людей на углах, ставили угощение в «Привете»... А что до обещаний — так на них Джо не скупился.

Дэвид видел, какие силы направлены против него, и сражался с отчаянной отвагой. Но как ничтожно было его оружие против арсенала Джо! Куда бы Дэвид ни повернулся, он чувствовал, что его сдавливали предательские тиски, мешая действовать. Не щадя себя, он удваивал старания, пускал в ход все свои силы, всю закалку, весь опыт политического деятеля. Но чем энергичнее он боролся, тем искуснее Джо парировал и наносил удары. Перекрестные вопросы, которыми с самого начала перебивались речи Дэвида, теперь стали просто беспощадны. С обычными помехами он умел справляться и даже часто обращал их себе на пользу, но эта травля была чем-то из ряда вон выходящим. Она велась шайкой тайнкаслских хулиганов, которые появлялись на каждом митинге под предводительством Пита Беннона, бывшего боксера среднего веса с верфи Мальмо, всегда готового полезть в драку. Открытые сражения происходили редко. Как правило, все уличные митинги, на которых выступал Дэвид, прерывались дикими скандалами. Вилсон в ярости обращался в полицию, требуя охраны от хулиганов. Но его протесты выслушивались весьма апатично.

— Это нас не касается, — нагло заявил ему Роддэм. — Этот Беннон к нам никакого отношения не имеет. Ваши оборванцы-распорядители сами могут наводить порядок.

«Честная» кампания продолжалась, избирая теперь уже более щекотливые пути. В следующий вторник, утром, Дэвид по до-

роге в штаб избирательной комиссии увидел в конце переулка Лам-лейн грубо намалеванную на белой стене надпись: «Спросите Фенвика насчет его жены!»

Дэвид побледнел и сделал шаг вперед, словно порываясь стереть эту недостойную надпись. Нет, бесполезно, совершенно бесполезно! Надпись кричала на весь город, на каждой сколько-нибудь заметной стене, на каждом выступе дома, даже на запасных железнодорожных путях лезли в глаза эти грубые слова, на которые ничего нельзя было ответить. В каком-то дурмане муки и ужаса Дэвид прошел Лам-стрит и вошел в помещение комитета, Вилсон и Гарри Огль ожидали его. Оба видели надпись. Огль от негодования переменялся в лице.

— Нет, это уж слишком, Дэвид, — простонал он. — Это слишком гнусно. Мы должны пойти к нему... заявить протест.

— Он будет отрицать свое участие, — возразил Дэвид металлическим голосом. — Ему ничто не доставит такого удовольствия, как то, что мы придем к нему жаловаться.

— Ну тогда, клянусь богом, мы сами сумеем за себя постоять! — сказал Гарри запальчиво. — У меня найдется что сказать о нем, когда я буду выступать за тебя сегодня вечером на «Снуке».

— Не надо, Гарри, — покачал головой Дэвид с внезапной решимостью. — Я не хочу ничего делать из мести.

В последнее время это организованное преследование не вызвало в нем ни гнева, ни ненависти, лишь усиленную душевную работу. В этой внутренней работе он видел подлинное оправдание жизни человека, независимо от его верований. Чистота побуждений — вот единственное мерило для оценки людей. Остальное не имеет значения. И острое сознание своей цели не оставляло места злобе или ненависти.

Но Гарри Огль чувствовал иначе. Гарри пылал негодованием, его простая душа требовала честности в борьбе или по крайней мере простой справедливости — меры за меру. И в этот же вечер, в восемь часов, на «Снуке», когда он один проводил под открытым небом собрание сторонников Дэвида, Гарри, не выдержав, стал критиковать тактику Джо. Дэвид в это время был в конце Хедли-роуд, в новом квартале шахтеров, и домой приехал поздно.

Ночь была темная и ветреная. Несколько раз какой-нибудь звук снаружи заставлял Дэвида поднимать голову и настораживаться, так как он ожидал, что Гарри забежит, чтобы рассказать,

как прошел митинг на «Снуке». В десять часов он встал и пошел запира́ть входную дверь. И тогда только в переднюю ввалился Гарри с бледным, окровавленным лицом, в полуобморочном состоянии. Из глубокой раны над глазом обильно лилась кровь.

Лежа навзничь на кушетке с холодным компрессом на зияющей ране, пока посланный Дэвидом Джо Кинч мчался за доктором Скоттом, Гарри рассказывал прерывающимся голосом:

— Когда мы шли обратно через «Снук», они напали на нас, Дэви, — Беннон и его хулиганы. Я обмолвился на митинге словечком насчет того, что Гоулен эксплуатирует своих рабочих и что он занимается изготовлением военных самолетов и снарядов... Я бы сумел им дать отпор, но у одного из них был обломок свинцовой трубы... — Гарри слабо усмехнулся и лишился чувств.

Гарри наложили на голове десять швов, отвезли домой и уложили в постель.

Джо, разумеется, пылал праведным гневом. Возможно ли, чтобы такие вещи происходили на британской земле! С трибуны муниципалитета он громил красных дьяволов, этих большевиков, которые доходят даже до того, что нападают на собственных вождей. Он посылал Гарри Оглю выражения соболезнования. Трогательная заботливость Джо усиленно рекламировалась, его наиболее великодушные тирады дословно приводились в газетах. Словом, случай этот был Джо весьма на руку.

Между тем для Дэвида утрата поддержки Гарри была серьезным ударом. Гарри, человек уважаемый, пользовался доверием в кругу осторожных обывателей Слискейла, а теперь люди пожилые, обманутые слухами и немного устрашенные, перестали посещать собрания, созываемые Дэвидом. К тому же то был момент, когда охвативший всю страну порыв истерической враждебности к лейбористам достиг кульминационной точки. В народе сеяли панику, исступленно предсказывая финансовый кризис. Рабочий, которому платили пачками ничего не стоящих бумажек, в отчаянной погоне за куском хлеба рисовал себе безумные картины. Люди были далеки от того, чтобы считать нависшую над ними катастрофу следствием существующей экономической системы, и все сваливали на лейбористов. «Не дадим забрать наши деньги!» — был всеобщий клич. «Спасение в деньгах. Сохранить наши деньги во что бы то ни стало, сберечь их, эти священные деньги!.. Деньги!»

С почти нечеловеческим упорством Дэвид ринулся в последнюю борьбу. 26 октября он объезжал город на старой грузовой машине, помнившей еще его первый успех. Весь день он провел на воздухе, время от времени съедая что-нибудь на скорую руку. Он произносил речи до тех пор, пока почти не лишился голоса. В одиннадцать часов, по окончании митинга при смоляных факелах перед клубом шахтеров, он возвратился домой на Лам-лейн и в полном изнеможении бросился на кровать. Уснул сразу. На следующий день предстояли выборы.

Первые известия говорили, что подача голосов идет медленно. Все утро до полудня Дэвид оставался дома. Он сделал, что было в его силах. Сейчас он ничего уже сделать не мог. Он сознательно не хотел думать о результатах, предугадывать тот приговор, который вынесет ему его собственный класс. Но в глубине его души надежда боролась со страхом. В Слискейле всегда обеспечена победа его партии, этому оплоту горняков. Рабочие знают, что он, Дэвид, всегда стоял за них. Не его вина, что он потерпел неудачу. Несомненно, они снова дадут ему возможность работать и бороться за них в дальнейшем. Он не закрывал глаза на преимущества Гоулена, на стратегические выгоды его положения как владельца «Нептуна». Он понимал, что бессовестные приемы Джо должны были расколоть объединенную массу рабочих, бросить тень сомнения и подозрения на репутацию его соперника. При воспоминании о гнусном намеке на Дженни, повредившем ему больше, чем все клеветнические выпады Джо, у Дэвида сжалось сердце. На миг представилась ему Дженни в гробу. И он ощутил прилив жалости и тоски по ней — старое, знакомое чувство, теперь еще более сильное и прочное.

Всей душой он жаждал победы, доказательства, что в людях добро торжествует над злом. Его обвиняли в том, что он проповедует революцию. Но единственный переворот, которого он желал, был переворот в человеке, переход от низости, жестокости, себялюбия к верности и благородству, на который способно человеческое сердце. Без этого всякий другой переворот бесполезен.

Около шести часов Дэвид отправился навестить Гарри Огля и, медленно проходя по Каупен-стрит, заметил издали человека, шедшего ему навстречу по Фрихолд-стрит, — это был Артур Баррас. Когда они сошлись, Дэвид устремил глаза в пространство,

решив, что Артур, может быть, не захочет его узнать. Но Артур остановился.

— Я ходил голосовать за вас, — сказал он отрывисто. Голос его звучал невыразительно, сухо; лицо, изжелта-бледное, временами подергивалось. От него несло спиртом.

— Очень вам признателен, Артур, — ответил Дэвид.

Оба постояли молча.

— Я днем был занят внизу, в шахте. Но когда поднялся наверх, вдруг вспомнил, что сегодня выборы.

В глазах Дэвида светились жалость и волнение. Он сказал смущенно:

— Я никак не мог рассчитывать на вашу поддержку, Артур.

— Отчего же? — возразил Артур. — Я теперь никто, не красивый и не голубой¹, никакой. — И с неожиданной горечью добавил: — Да и какое это имеет значение?

Новая пауза, во время которой только что произнесенные слова, казалось, дошли до сознания Артура. Он беспомощно поглядел на Дэвида.

— Странно, не правда ли, кончить так, как я? — сказал он, равнодушно кивнул, отвернулся и пошел дальше.

Дэвид продолжал свой путь к дому Огя, глубоко взволнованный и расстроенный этой встречей, во время которой так немного было сказано и так много подразумевалось. Эта встреча была как бы предостережением, напоминанием о том, как ужасно может быть поражение. Мечты Артура были разбиты. Он вышел из жизни, ступившаяся, и каждая жилка в нем вопила: «Я довольно страдал. Не хочу больше страдать!» Битва кончилась, огонь догорал. С этими мыслями Дэвид, вздохнув, вошел в домик Гарри.

Он провел вечер с Гарри, который чувствовал себя значительно лучше и был в отличном настроении. Хотя мысли обоих были заняты выборами, они мало говорили о них. Впрочем, Гарри со своей обычной мягкой серьезностью предсказывал победу, — ничего иного он себе и представить не мог. После ужина они чуть не до одиннадцати часов играли в криббедж. Гарри был большим любителем этой игры. Но глаза Дэвида все время невольно обращались к часам. Теперь, когда скоро должен был стать известен результат, он испытывал нестерпимое напряжение. Дважды он

¹ Голубой — цвет консервативной партии тори.

заговаривал о том, что ему пора идти, что подсчет в муниципалитете уже, должно быть, начался. Но Огль, вероятно понимая беспокойство Дэвида, настаивал, чтобы он еще посидел немного. Результаты будут оглашены не раньше двух часов ночи. А до тех пор здесь к его услугам и огонь в камине, и уютное кресло.

И Дэвид покорился, обуздав свое нетерпение. Но в самом начале второго он наконец поднялся. Перед уходом Гарри пожал ему руку:

— Так как я не могу быть там, то хочу сейчас тебя поздравить. Обидно, что я не увижу физиономии Гоулена в ту минуту, когда он узнает, что ты его победил.

Ночь наступила тихая, ярко светил молодой месяц. Подходя к зданию муниципалитета, Дэвид удивился при виде толпы народа на улице. С некоторым трудом удалось ему пробраться к подъезду. Но в конце концов он попал внутрь и разыскал в кулуарах Вилсона. В зале заседаний происходил открытый подсчет. Вилсон с загадочной миной отодвинулся, давая Дэвиду место рядом. У него был утомленный вид.

— Еще полчаса — и узнаем результат.

Кулуары постепенно наполнялись публикой. Через некоторое время на улице медленно загудел автомобиль. И спустя минуту вошел Гоулен со всей свитой: здесь были Снэг — его агент, Ремедж, Конноли, Босток, несколько тайнкаслских соратников Джо и, ради такого торжественного случая, сам Джим Моусон собственной персоной.

На Джо было пальто с каракулевым воротником, распахнутое так, что виден был смокинг. Его сытое лицо было немного красно. Он сегодня допоздна засиделся за обедом со своими приятелями, а после обеда они пили старое бренди и курили сигары. Джо важно прошел в кулуары через толпу, расступавшуюся перед ним. Перед дверью в зал, где происходил подсчет, он остановился, спиной к Дэвиду, и тотчас же его окружили сторонники. В этой группе слышались громкий хохот и болтовня.

Десять минут спустя старый Раттер, секретарь и архивариус муниципалитета, вышел из зала с бумажкой в руке. Сразу же наступила тишина. У Раттера был невероятно важный вид, при этом он улыбался. Когда Дэвид увидел улыбку Раттера, сердце у него ёкнуло и куда-то покатилося. Не переставая улыбаться, Раттер поверх очков в золотой оправе оглядывал набитую людью

ми комнату, затем все с тем же важным видом выкликнул имена двух кандидатов.

Немедленно группа Джо хлынула за Раттером через раскрытую настежь двустворчатую дверь. Вилсон встал.

— Идем, — позвал он Дэвида. И в голосе его звучала тревожная нотка.

Поднялся и Дэвид и вслед за другими протиснулся в зал совета. Здесь не соблюдали никакого порядка, никакого старшинства, всех захватил порыв несдержанного возбуждения.

— Позвольте, джентльмены, позвольте! — твердил, не переставая, Раттер. — Дайте же пройти кандидатам!

Вверх по знакомой железной лестнице, через маленькую комнату комиссии и наконец на балкон. Прохладный ночной воздух был так приятен после духоты и яркого света внутри. Внизу под балконом — огромное скопление народа, вся улица перед муниципалитетом запружена. Бледный молодой месяц плыл в вышине над копрами «Нептуна» и осыпал море серебряной чешуей. Ропот ожидания поднимался из стоявшей внизу толпы.

Балкон был битком набит. Дэвида вытолкнули вперед, в крайний угол. Рядом с ним оказался Ремедж, оттертый в давке от Гоулена. Толстый мясник уставился на Дэвида, его большие руки судорожно сжимались, глубоко посаженные глаза под седыми кустиками бровей сверкали злобой. На лице его было написано откровенное желание увидеть Дэвида посрамленным.

Раттер с бумагой в руке вышел на середину балкона, обратясь лицом к притихшей толпе. Мгновение немой наэлектризованной тишины. Еще никогда в жизни Дэвид не переживал такой мучительной, такой волнующей минуты. Сердце его бешено колотилось. Прозвучал громкий, резкий голос Раттера:

— Мистер Джозеф Гоулен — 8852 голоса. Мистер Дэвид Фенвик — 7490 голосов.

Раздались громкие крики. Первым заорал Ремедж: «Ура! Ура!» Он ревел, как бык, размахивая руками, в настоящем экстазе.

Одно «ура» за другим раскалывало воздух. Странники Джо толпились вокруг него на балконе, засыпая его поздравлениями. Дэвид схватился за холодные железные перила, стараясь сохранить мужество и самообладание. Побежден, побежден, побежден! Он поднял глаза, увидел Ремеджа, который наклонился к нему, увидел, как прыгали его губы от неистового восторга.

— Провалили-таки вас, черт бы вас побрал! — злорадствовал Ремедж. — Проиграли! Всё проиграли!

— Нет, не всё, — возразил Дэвид тихо.

Снова «ура», приветственные выкрики, настойчиво призывающие Джо. Он в самом центре балкона, у перил, упоенно внимает лести этих тесно сбившихся, возбужденных людей. Он возвышается над ними своей массивной, внушительной фигурой, которая, чернея в лунном свете, кажется неправдоподобно большой и угрожающей. Внизу бледные лица. Все — на его стороне, все готовы служить его интересам, его целям. Ему принадлежит земля, принадлежит и небо; слабое жужжание донеслось издалека — это ночной полет его ресфордских самолетов. Он царь и бог, его могущество неограниченно. И это только начало. Он будет подниматься все выше и выше. Глупцы, что стоят там, у его ног, будут помогать ему. Он достигнет вершины, расколет мир, как орех, голыми руками, молнией рассечет небо. Мир и война будут зависеть от его воли. Деньги принадлежат ему. Деньги, деньги... и рабы денег. Подняв обе руки к небу жестом слащавого лицемерия, он начал:

— Дорогие друзья мои!..

XXIII

Холодное сентябрьское утро. Пять часов. Еще не рассвело, и ветер, вынырнув откуда-то со стороны невидного во мраке моря, пронесся по небесному своду и отполировал звезды до ярко-го блеска. Тишина нависла над Террасами.

Но вот, пробившись сквозь безмолвие и мрак, засветился огонек в окне Ханны Брэйс. Огонек продолжал мигать, и десять минут спустя дверь отворилась. Старая Ханна вышла из домика, задохнувшись от ледяного ветра, рванувшегося ей навстречу.

На Ханне были большой платок, подбитые гвоздями башмаки и целый ворох нижних юбок, под которые ради тепла была подложена серая оберточная бумага. Мужская кепка, напыленная на голову, покрывала жидкие пряди седых волос, а уши и щеки повязаны полоской красной фланели. В руках Ханна держала длинный шест. С тех пор как старый Том Колдер умер от плеврита, Ханна исполняла на Террасах обязанности сзывающего на рабо-

ту, очень довольная, что в такие тяжкие времена может заработать лишний грош. Слегка переваливаясь из-за своей грыжи, она медленно двигалась по Инкерманской улице, похожая скорее на жалкий узел старого тряпья, чем на человека, и стучала в окна своей палкой, будя шахтеров, работавших в первой смене.

Но перед домом № 23 Ханна не остановилась. «Здесь будить не приходится никогда!» — подумала она с мимолетным одобрением и прошла мимо освещенного окна. Дрожа от холода, переходила она от дома к дому, поднимала палку, стучала и звала, звала и стучала, пока не исчезла в сплошном мраке Севастопольской улицы.

В домике № 23 Марта суетилась в ярко освещенной кухне. Огонь был уже разведен, ее постель в алькове прибрана, чайник кипел, в кастрюле шипели сосиски. Проворно разостлала она на столе голубую клетчатую скатерть, поставила один прибор. Легко, даже как-то весело несла она бремя своих семидесяти лет. Лицо ее теперь дышало удовлетворением. С тех самых пор, как она вернулась в свой старый дом на Инкерманской, к своему собственному старому очагу, это глубокое удовлетворение всегда светилося в глазах Марты, разглаживало угрюмую складку на лбу, придавая лицу непривычно веселое выражение.

Обзор кухни показал, что все готово и в порядке, а взгляд на часы (знаменитый мраморный приз за игру в шары) — что время близится к половине шестого. Легко двигаясь в своих войлочных туфлях, Марта быстро поднялась на три ступеньки по открытой лестнице и крикнула наверх:

— Дэвид! Половина шестого, Дэвид!

И, наставив ухо, прислушивалась до тех пор, пока не услышала возню в комнате над ее головой — шаги, плеск воды, льющейся из раковины, и кашель Дэвида.

Через десять минут Дэвид сошел вниз, постоял немного, грея озябшие руки над огнем, затем сел к столу. На нем был рабочий костюм шахтера.

Марта тотчас подала завтрак — сосиски, домашний хлеб и чайник кипящего чая. С настоящей нежностью наблюдала она, как Дэвид ест.

— Я положила в чай немного корицы, — заметила она. — От этого твой кашель сразу пройдет.

— Спасибо, мама.

— Помню, это помогало твоему отцу. Он очень верил в чай с корицей.

— Да, мама.

Дэвид посмотрел на мать не сразу, а через некоторое время, неожиданно подняв голову и застигнув Марту врасплох. Горячее, на этот раз не замаскированное чувство, выразившееся на ее лице, поразило его. Торопливо, почти с замешательством, отвел он глаза: в первый раз в жизни он видел на лице матери откровенную нежность к нему. Скрывая волнение, он продолжал есть и, наклоняясь над столом, прихлебывал горячий чай. Разумеется, он знал, чем объясняется эта нежность: тем, что он в конце концов вернулся в шахту. Все годы его учения, потом преподавания в школе, работы в Союзе, даже его пребывания в парламенте сердце матери оставалось для него закрытым, но теперь, когда он вынужден был вернуться в «Нептун», она видела в нем своего сына, следовавшего традициям отцов, видела наконец настоящего человека, настоящего мужчину.

Не из бравады вернулся Дэвид в шахту, а из горькой необходимости. Нужно было найти работу, и найти поскорее, — а это оказалось до странности трудно. В отделении Союза не было больше вакансий; путь педагога для него, недоучившегося, был закрыт. И он вынужден был вернуться на рудник, стать в очередь перед конторкой Артура, нынешнего помощника смотрителя, и просить, чтобы его снова отправили работать под землей. Не он один пострадал. Не он один испытал перемену судьбы. Провал лейбористов на выборах поставил многих из оставшихся за бортом кандидатов в отчаянное положение. Рэлстон поступил клерком в контору судового маклера в Ливерпуле. Бонд — помощником к лидскому фотографу, а Дэвис, славный старый Джек Дэвис, играл на рояле в кинематографах Ронды. Зато те, кто изменил делу, устроились получше! Дэвид мрачно усмехнулся, подумав о Дэджене, Чалмерсе, Беббингтоне и остальных, которые грелись в лучах народной любви и спокойно подписывались под политической программой, коренным образом противоречившей идеям лейбористов. Особенно Беббингтон — его портреты появлялись в каждой газете; на прошлой неделе все радиостанции передавали его блестящую речь, гремевшую избитыми пошлостями и благонамеренным ура-патриотизмом. Его провозглашали спасителем нации.

Дэвид резко отодвинул стул и потянулся за своим шарфом, висевшим на перилах у плиты. Стоя спиной к огню, он обмотал шарф вокруг шеи, зашнуровал тяжелые башмаки, потопав сначала ногами по каменному полу, чтобы их легче было натянуть. Марта держала наготове сумку с едой, — все аккуратно обернуто в промасленную бумагу, фляжка наполнена чаем и надежно закупорена. Другой рукой Марта обтирала о свою юбку большое красное яблоко, полировала его до тех пор, пока оно не заблестело.

— Ты всегда был охотник до яблок, Дэви, я вспомнила об этом вчера, когда была в лавке.

— Да, мама. — Он улыбнулся в ответ. Это доказательство ее заботливости и трогало и забавляло его. — Но в прежние времена они не так уж часто мне доставались!

Марта с легкой укоризной покачала головой, затем сказала:

— Не забудь вечером после работы привести ко мне Сэмми. Я сегодня пеку сладкий крендель с изюмом.

— Ну, мама, — запротестовал Дэвид, — в конце концов Эрни подаст на тебя в суд, если ты будешь каждый день похищать у нее Сэмми и к завтраку и к обеду.

Марта отвела глаза. В лице ее не было вражды, одно лишь легкое замешательство.

— Ну что ж, — пробормотала она наконец, — раз ей это неприятно, пускай и сама приходит. Мой Сэмми сегодня в первый раз идет на работу в шахту, — как же можно, чтобы я не испекла ему крендель?

Она замолчала, пытаясь скрыть волнение под притворной суровостью.

— Слышишь, Дэвид? Позови и ее тоже.

— Слышу, мама, — ответил он, направляясь к двери.

Но Марта считала своим долгом проводить его и собственными руками открыть перед ним дверь. Она теперь всегда это делала, это было с ее стороны величайшим доказательством расположения к нему. Стоя в темноте, на пронизывающем ветру, она медленным движением головы ответила на его прощальный кивок и потом, упершись одной рукой в бок, глядела, как фигура сына мелькала по Инкерманской улице. Только когда он скрылся из виду, Марта, закрыв дверь, вернулась в теплую кухню. И тотчас же, несмотря на ранний час, она с какой-то тайной радостью

принялась доставать все, что нужно для пирога, — муку, коринку, цукат, выкладывать все это торопливо, любовно, чтобы приготовить пирог для Сэмми. Она пыталась, но не могла скрыть радость, победно сияющую на ее всегда хмуром и надменном лице.

Дэвид шел по Террасам, и шаги его, будя эхо, звучали среди других шагов в предрассветном морозном сумраке. Смутные тени шагали рядом с ним, как добрые товарищи, — это шли рабочие утренней смены. Глухие приветствия: «Здорóво, Нед», «Здорóво, Том», «Доброе утро, Дэви». Но большинство идет молча. Идут тяжело ступая, с опущенной головой, дыхание белым паром вьется на морозе, там и сям слабо вспыхивают огоньки трубок; идут сплошной толпой теней, шагают вперед люди предрассветных сумерек.

Со времени своего возвращения в «Нептун» Дэвид всякий раз остро переживал эти минуты. Он говорил себе, что если ему не удалось быть в авангарде борющихся, то, по крайней мере, он идет в рядах своих товарищей, рабочих. Он не изменил ни им, ни себе. Его участь связана с их участью, его будущее — их будущее. Эта мысль рождала в нем мужество. Быть может, наступит день, когда он снова выйдет из шахты, чтобы повести армию тружеников навстречу свободе. Он инстинктивно поднял голову.

Напротив Кэй-стрит Дэвид перешел через улицу и постучал в дверь одного из домиков. Не дожидаясь ответа, повернул ручку и, пригнувшись, вошел внутрь. В этой кухне тоже пылал яркий огонь. И Сэмми, в полной боевой готовности, до последнего узелка на башмаках, стоял в нетерпеливом ожидании посреди кухни, а Энни, его мать, безмолвно смотрела на него, укрываясь в тени очага.

— Ты вовремя готов, мальчик! — весело воскликнул Дэвид. — А я боялся, что придется стаскивать тебя с постели.

Сэмми осклабился, причем его синие глаза от восторга превратились в щелочки. Для своих четырнадцати лет он был не очень высок, но возмещал это избытком темперамента: он весь трепетал от предвкушения великого события — первого дня в шахте.

— Он эту ночь почти не спал от волнения, — сказала Энни, подходя ближе, — и поднял меня с постели вот уж час тому назад.

— У него вид заправского шахтера. — Дэвид улыбнулся. — Мне прямо-таки повезло, что у меня будет такой подручный, Энни.

— Ты побереги его, Дэви, — шепнула Энни тихонько.

— Ну, мама! — запротестовал Сэмми, краснея.

— Я присмотрю за ним, Энни, не беспокойся, — успокоил ее Дэвид.

Он посмотрел на Энни. На ее красивом бледном лице играли теплые отсветы огня, верхняя пуговица блузки была расстегнута и открывала гладкую, стройную шею. В ее фигуре, полной энергии даже в минуты покоя, были и сила и женственность. Легкая тревога за Сэмми, только наполовину скрытая, придавала ей удивительное выражение молодости и беспомощности. И сердце Дэвида дрогнуло от нежности к ней. Какая она мужественная, честная, какая самоотверженная! Вот где подлинное благородство.

— Да, между прочим, Энни, — заметил он, стараясь говорить небрежно, — ты и Сэмми сегодня вечером приглашены к нам. Будет настоящий пир!

— Неужели и меня звали? — спросила она не сразу.

Дэвид выразительно кивнул головой, внимательно глядя на нее:

— Это собственные слова моей матери.

Тень грусти исчезла с лица Энни. Веки опустились. Она явно была глубоко тронута тем, что старая женщина наконец признала ее.

— Я охотно приду, Дэви, — сказала она.

Сэмми был уже у дверей и сгорал от нетерпения. Он в виде намека повернул ручку двери. И Дэвид, торопливо простившись с Энни, вышел за ним на улицу. Оба зашагали рядом по дороге к шахте. Занятый своими мыслями, Дэвид был молчалив. Выражение глаз Энни, когда она смотрела на своего мальчика, удивительно воодушевило его. «Мужаться и надеяться, — твердил он себе. — Мужаться и надеяться!»

Они прошли мимо лавки Ремеджа. Когда Дэвид возвращался из «Нептуна» по окончании смены, шторы лавки бывали опущены, дверь открыта, и Ремедж стоял на пороге как вкопанный, ожидая Дэвида, чтобы насладиться его унижением. Все эти четыре недели Ремедж ежедневно поджидал его, подло злорадствуя, извлекая массу удовольствия из зрелища своей победы.

Но вот Дэвид и Сэмми подошли уже ко двору «Нептуна». Они сделали небольшой круг, избегая вагонеток, на которых большими белыми буквами была указана фирма «Моусон и Гоулен». Прошли дальше, в медленно двигавшемся потоке рабочих. Над ними маячили в темноте новые копры «Нептуна», выше

прежних, царя над городом, гаванью, морем. Дэвид украдкой сбоку посмотрел на Сэмми, на лице которого уже немного потускнело сияние, так как его, видимо, страшила близость великой минуты. И, придвинувшись к мальчику, Дэвид заговорил с ним, стараясь его развлечь:

— В субботу мы с тобой, Сэмми, поедем удить. Сентябрь — лучший месяц для ужения на Уонсбеке. Мы добудем личинок у Миддльрига и махнем туда. Согласен, Сэмми?

— Да, дядя Дэви. — А сам жадными, но полными тревоги глазами смотрит на копры.

— И пусть меня повесят, Сэмми, если я на обратном пути не угощу тебя пирожками и лимонадом в лавке старой миссис Скорбящей!

— Ого, дядя Дэви! — А глаза всё прикованы к копрам. Затем Сэмми спрашивает с легкой поспешностью: — А там, внизу, порядком темно, да?

Дэвид ободряюще улыбнулся:

— Вовсе не так уж темно, старина. И во всяком случае, ты скоро привыкнешь.

Они прошли через двор и вместе с другими поднялись по ступенькам. Оберегая Сэмми, Дэвид благополучно провел его через толпу в большую стальную клеть. Сэмми близко прижался к нему, и во мраке клетки его рука отыскала руку Дэвида.

— А что, она быстро спускается? — спросил он шепотом, словно что-то сдавило ему горло.

— Не так уж быстро, — шепнул в ответ Дэвид. — Только сначала задержи дыхание, мальчик, и все будет в порядке.

Тишина. Лязгнул запор. Снова тишина. Отдаленный звонок. Люди стояли в клетке, сбившись в кучу, теснясь в молчании при тусклом свете зари. Над ними высились копры, царя над городом, гаванью и морем. Под ними могилкой зиял подземный мрак. Клеть тронулась и стала внезапно быстро падать в этот скрытый мрак. И звук ее падения донесся наверх из-под земли, как глухой стон, достигающий самых дальних звезд.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	5
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	233
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ	443

Кронин А.

К 83 Звезды смотрят вниз : роман / Арчибалд Кронин ; пер. с англ. М. Абкиной. — М. : Иностранка, Азбука-Аттикус, 2021. — 672 с. — (Иностранная литература. Большие книги).

ISBN 978-5-389-17296-8

Один из лучших романов классика английской литературы!

«Звезды смотрят вниз» — это книга о больших социальных проблемах в Англии начала XX века, о тех, кто поддался искушениям, и о тех, кто устоял против них, о тяжелой жизни шахтеров, о борьбе за справедливость, о жадности и жестокости, порождающих смерть и горе. Это роман об истинной любви, о преданности и неверности, о войне, о стремлении следовать собственным идеалам и о лжи ради самовозвышения. Свет и тьма сражаются в каждой строке. А звезды смотрят вниз, где в глубине угольных шахт мерцает истинное Солнце.

УДК 821.111

ББК 84(4Вел)-44

Литературно-художественное издание

АРЧИБАЛЬД КРОНИН
ЗВЕЗДЫ СМОТРЯТ ВНИЗ

Ответственный редактор Ольга Рейнгерверц
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Татьяна Тихомирова
Корректоры Ксения Казак, Наталья Бобкова

Подписано в печать 07.09.2021. Формат издания 60 × 90 ¹/₁₆.
Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 42. Заказ № 6019/21.

Знак информационной продукции
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):



ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» –
обладатель товарного знака «Издательство Иностранка»
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1
Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» в Санкт-Петербурге
191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Отпечатано в соответствии с предоставленными материалами
в ООО «ИПК Парето-Принт».
170546, Тверская область, Промышленная зона Боровлево-1,
комплекс № 3А.
www.pareto-print.ru

ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19
E-mail: sales@atticus-group.ru; info@azbooka-m.ru

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»
Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60. E-mail: trade@azbooka.spb.ru

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»
Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: sale@machaon.kiev.ua

Информация о новинках и планах на сайтах: www.azbooka.ru, www.atticus-group.ru

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества
размещена по адресу: www.azbooka.ru/new_authors/



H-TLN-25814-04-R

Арчибальд Джозеф Кронин (1896–1981) — шотландский писатель, врач. Его наиболее известные российскому читателю романы: «Замок Броуди», «Звезды смотрят вниз», «Цитадель», «Юные годы», «Путь Шеннона», «Памятник крестоносцу». Уже будучи студентом, он выигрывал конкурсы сочинительства. Благодаря исключительным способностям Кронин был награжден стипендией для изучения медицины в Университете Глазго и блестяще его окончил. В качестве корабельного хирурга будущий писатель совершил путешествие в Индию. В 1924 году Кронин был назначен медицинским инспектором рудников Великобритании.

В общей сложности он работал врачом более десяти лет, прежде чем целиком посвятил себя литературе. Свой первый роман «Замок Броуди» Кронин написал всего лишь за три месяца. Этот роман имел сенсационный успех и принес автору заслуженное признание в литературных кругах.

Многие из его книг были бестселлерами и переводились на множество языков. Сила писательского дара Кронина заключалась в сочетании хорошего повествования, острых диалогов, тонких наблюдений и ярких образов героев. Кроме романов, Арчибальд Кронин написал большое количество рассказов и эссе.

